Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АХИЛЛ ТАТИЙ

ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

●

ЛОНГ

ДАФНИС И ХЛОЯ

●

ПЕТРОНИЙ

САТИРИКОН

●

АПУЛЕЙ

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ

ПЕРЕВОДЫ С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО И ЛАТИНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1969

Вступительная статья
С. Полякової

Иллюстрации
В. Бехтеева и Б. Дехтерева

ОБ АНТИЧНОМ РОМАНЕ

Знакомясь с античным романом, читатель знакомится с первыми шагами того жанра, который, начиная с XIX столетия, занимает главенствующее положение в литературе европейских стран.

Роман древних греков и римлян во многом обусловил возникновение и развитие позднейшей художественной прозы. Повествовательная техника европейского романа широко заимствовала открытия греческих и римских романистов, новеллистика — сюжеты и мотивы.

Начало плутовскому роману положили романы Петрония и Апулея (за их спиной стоял, правда, греческий роман); из различных типов распространенных в Греции романов выросли романы приключений и пасторальные романы нового времени; «Жиль Блас» Лесажа, «Поль и Виргиния» Бернарден де Сен-Пьера, «Мертвые души» Гоголя, «Признания авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна имеют очень древнюю, восходящую к античности родословную.

Античный роман не так наивен, как следовало бы ожидать, судя по времени его возникновения, и не так прост, как может показаться. Поэтому апулеевское: «Внимай, читатель, будешь доволен», которым он начинает свою книгу, справедливо и сегодня, восемнадцать столетий спустя.

Роман — один из наиболее поздно сформировавшихся жанров античной литературы. Возникнув в Греции, очевидно, в I веке до нашей эры (если сохранившиеся фрагменты так называемого романа о Нине действительно отрывки романа, а не какого-нибудь иного жанра художественной прозы), он засвидетельствован произведениями, дошедшими до нас полностью; самые ранние из них относятся к I—II векам нашей эры. Из

Греции роман был перенесен в Рим, и римские образцы этого жанра развились под влиянием греческих.

Греческий роман I—III веков нашей эры был весьма популярен, как можно заключить по большому количеству его образцов. Пять романов дошли до нас целиком: «Хэрей и Каллироя» Харитона, «Повесть о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Эфиопика» Гелиодора; сохранились пересказы романов «Вавилоника» Ямвлиха и «Удивительные приключения по ту сторону Фулы» Антония Диогена; мы располагаем также множеством заглавий ныне утраченных романов и папирусными фрагментами, представляющими собой, по-видимому, тоже отрывки произведений этого типа; кроме того, существует латинский перевод романа «Повесть об Аполлонии Тирском», не сохранившегося в греческом оригинале.

В отличие от романа нового времени с его свободным сюжетом, содержание греческих романов и их основные персонажи были строго заданными. Необыкновенной красоты юноша и девушка, не только не знавшие любви, но враждебные ей, влюбляются друг в друга с первого взгляда. Взаимная склонность оказывается столь сильной, что существование врозь для них невозможно, и они соединяются браком или помолвкой, а если этому что-либо препятствует, вместе убегают из дому. Но разгневанное против них божество — это обычно Эрот, Афродита или богиня судьбы Тиха — очень скоро разлучает влюбленных, и начинаются трудные поиски друг друга. Во время этих поисков герои попадают в различные города и страны и проходят через серию стандартных приключений и опасностей — тут пленение пиратами или разбойниками, чудовищные морские бури, рабство, мнимая смерть (летаргический сон), любовные домогательства нежеланных претендентов, всевозможные пытки и унижения, клеветнические наветы и т. д. Когда положение достигает, кажется, предела безнадежности, наступает внезапный перелом, и любящие вновь соединяются в финале, сохранив верность друг другу вопреки долгой разлуке, многочисленным соблазнам и посягательствам на их целомудрие. Роман непременно кончается браком, если влюбленная пара до начала своих бедствий не успела его заключить, или радостным воссоединением супругов, если брак предварял скитания. Несмотря на общность схемы, неожиданные всякий раз повороты сюжета, широта географического горизонта, дававшая возможность «побывать» в далеких городах и манящих неизвестностью странах, а также калейдоскопическое богатство приключений делали романы, при всем их сходстве, непохожими друг на друга. Их отличия определялись также тем адресатом, к которому они обращались. Низовые читатели получали роман упрощенного типа, напоминающий западные народные книги; на более образованных были рассчитаны произведения вроде «Левкиппы

и Клитофонта» или «Дафниса и Хлои», предполагавшие более высокий уровень подготовки.

Кроме стандартного сюжета, античные романы роднит господствующая в них условная атмосфера. Их действие протекает в мире, лишенном характеристики «здесь» и «теперь», на не поддающемся определению бытовом фоне. Мы не найдем в произведениях древних романистов отражения социально-бытовой обстановки, присущей времени создания того или иного романа, не встретим характерных следов эпохи. Эта черта греческого романа затруднила его датировку и создала почву для не оправдавших себя хронологических, а вслед за ними и историко-литературных построений.

Столь же условны и герои. Это ходульные воплощения любви и верности, лишенные характера и социальной типичности. Свойственны греческим романам и общие черты повествовательной техники — не связанные с сюжетом вставные новеллы, познавательные экскурсы, описания (главным образом предметов искусства), горестные монологи влюбленных и т. п. Правда, эти черты не столь обязательны, как сюжетная структура, как образы героев и условный характер фона, на котором развертывается действие.

Римский роман, при всей своей зависимости от греческого, отличается от него и техникой и структурой, но — еще существеннее — своим бытописательным характером; так, у Петрония и Апулея исторически достоверны и детали фона, и персонажи.

О личности романистов не сохранилось никаких современных им свидетельств (исключение составляет один Апулей). Самое большее, чем мы располагаем, это позднейшие недостоверные сообщения, и даже датировку отдельных произведений нельзя во всех случаях считать окончательно установленной.

Роман Ахилла Татия благодаря счастливым папирусным находкам может быть сравнительно точно датирован II веком нашей эры.

Из-за отсутствия материала время возникновения книги Лонга до сих пор не удалось определить с бесспорностью, но большинство ученых склонно относить его к концу II или началу III века нашей эры.

«Сатирикон» Петрония, как это можно заключить по ряду упоминаемых в нем имен и событий, датируется I веком нашей эры, временем правления Нерона. Однако отождествление Петрония Арбитра, автора «Сатирикона», с Петронием, приближенным Нерона, «арбитром изящества» при его дворе, о котором рассказывает историк Тацит, несмотря на свою соблазнительность, все же проблематично.

Лишь Апулей, главным образом благодаря своей «Апологии», речи, произнесенной в собственную защиту против обвинения в магии, не

только точно датируется II веком нашей эры (он родился около 124 г.), но облечен для нас в плоть и кровь. Это несколько кокетничающий своей разносторонней образованностью человек, пленяющий своей внешностью и остроумием, красноречивый адвокат, софист, философ, адепт многих таинств.

* * *

Хотя «Сатирикон» написан раньше «Левкиппы и Клитофонта», мы, чтобы соблюсти историческую перспективу, начинаем обзор вошедших в настоящий том произведений не с Петрония, а с Ахилла Татия, так как жанр романа сформировался первоначально в старшей по возрасту греческой литературе.

Книга Ахилла Татия появилась в то время, когда греческий роман успел не только сложиться, но и получить широкое распространение. Это объясняет своеобразную позицию Ахилла Татия: он иронизирует над примелькавшимися штампами греческого романа, имея в виду читателей, которые различат в знакомом материале новые черты и сумеют оценить их. Менее искушенные могут не заметить иронии и отнестись ко всему всерьез: Ахилл Татий рассчитывает на тонкий слух.

Традиционную идеализированную пару он заменяет новой, вместо идеального героя выводит «антигероя» Клитофонта, слабого и жалкого. Достаточно сказать, что его неоднократно бьют, причем намеренно избраны наиболее унизительные формы расправы: Клитофонта топчут ногами, влекут за волосы, ударяют по лицу, разбивают ему до крови нос. Вопреки обычной схеме, он не отличается ни постоянством, ни целомудрием: уже через шесть месяцев Клитофонт начинает забывать возлюбленную (а роман требует любви до гроба!), которую ошибочно считает погибшей, нарушает верность ей, а до того, как в нее влюбиться, ведет образ жизни, далекий от строгого образца, установленного требованиями традиционного сюжета.

Левкиппу роднит с обычной героиней романа только ее красота. Она, как и Клитофонт, показана в морально дискредитирующих ее положениях: мать застает в ее постели возлюбленного, а возлюбленный становится свидетелем непристойного поведения Левкиппы во время припадка безумия. Изворотливость, дерзкая ложь, житейская хитрость довершают портрет «антигероини».

Иронизирует Ахилл Татий и над нагромождением невероятных приключений и необоснованностью их мотивировок. Лишь этим можно объяснить троекратную мнимую смерть Левкиппы, дважды повторенное испытание девственности, балаганное псевдозаклание с применением случайно попавшего в руки театрального кинжала и меха, наполненного внутренностями животного, или эпизод убийства гетеры и следующий за ним, когда Клитофонт хоронит ее обезглавленное тело в полной уверенности, что перед ним Левкиппа.

Введением подобного материала Ахилл Татий нарочито сгущал краски, высмеивая стремление романистов всеми средствами разнообразить и усложнять повествование.

Пародийно обыгрываются Ахиллом Татием и стилистические особенности романа, например горестные сетования влюбленных или молитвы в минуту опасности. В подобных тонах выдержан надгробный плач Клиния: конь, ставший причиной гибели Харикла, осыпается упреками за равнодушие к красоте своего всадника. Молитва же Клитофонта во время бури, чтобы его и Левкиппу поглотило одно и то же чудовище, пародирует обычные в романах пожелания любящих умереть вместе.

Встречаются и другие пародийные черты. Ведь повествование Клитофонта о своей любви перенесено для иронического эффекта в ту самую обстановку, где происходила беседа о любви совсем иного, возвышенного характера в «Федре» Платона,— на берег ручья, в платановую рощу. Рассуждения Клитофонта о господстве Эрота в неодушевленном мире, которые должны были послужить соблазнению Левкиппы, повторяют, придавая пассажу несколько иронический оттенок, доводы Эриксимаха в «Пире» Платона.

Однако не все обязательные элементы романа вызывают у Ахилла Татия полемическое отношение. Во вставных новеллах, познавательных экскурсах и описаниях ирония отсутствует. Рассказы Менелая и Клиния, представляющие собой обычного типа вставные новеллы любовного содержания, выдержаны в высоком тоне. (В упомянутом плаче Клиния ирония не касалась трактовки сюжета и была направлена только на приемы повествования.)

Многочисленные познавательные экскурсы в «Левкиппе и Клитофонте» посвящены самым разнообразным вопросам, начиная от мифологии и кончая естественной историей. Внимание автора привлекают преимущественно удивительные, поражающие воображение стороны действительности, диковинные звери и птицы или странные явления природы. Многие из этих описаний отличаются у Ахилла Татия точностью и, вероятно, основаны на личном наблюдении, некоторые — на фантастических сведениях. Ахилл Татий использует их с большой щедростью, и они составляют характерную особенность его причудливого романа.

Описания обычно служили в романе целям украшения, и авторы, вводя их, щеголяли своим стилистическим мастерством. Ахилл Татий не пренебрегал подобной задачей, но при этом стремился реализовать здесь свой интерес к внутренней жизни человека. Потому описания насыщаются подробностями, психологически объясняющими внешние черты изображаемого человека, его движения, позы, мимику.

Примером такого подхода могут послужить некоторые детали в описании картины «Похищение Европы», открывающем книгу. Автор

изображает спутниц Европы с застывшей на губах улыбкой, хотя они охвачены ужасом,— этим он желает показать, что внезапность случившейся беды не успевает совсем уничтожить веселья, с которым они только что играли на лугу, и его следы еще видны на лицах. Вторая деталь снабжена авторским комментарием: девушки бросились вслед Европе и стоят в нескольких шагах от берега; «...кажется, что им хотелось бы за быком побежать, но страх не позволяет глубже в море зайти» (I, 1), объясняет Ахилл Татий.

Наиболее полно интерес автора к вопросам внутренней жизни проявляется в основной части повествования. Греческий роман, хотя и тяготел к подобной проблематике, все же отдавал предпочтение внешней стороне явлений. Ахилл Татий намечает здесь новые пути. Психологическая сторона действий и слов героев привлекает его больше, чем других романистов, и раскрывается, в отличие от них, более совершенно. Для этого используются не только обычные для романа формы самохарактеристики внутреннего состояния, то есть речи действующих лиц, и регистрируются не только простейшие проявления этих состояний, вроде слез, смеха, дрожи и т. д.; в «Левкиппе и Клитофонте» встречаются — и их немало — картины сложных душевных процессов. Представление об этом дает описание чувств Мелиты, когда она из письма Клитофонта узнает, что обманута: «Она стыдилась мужа, гневалась на письмо, любовь гасила гнев, а ревность разжигала любовь, и наконец любовь победила» (V, 24).

Комментарий к психологическим состояниям — другой чрезвычайно характерный для Ахилла Татия прием. Явление получает объяснение, вводится в круг психологических закономерностей или сопровождается обобщающим выводом в форме сентенции. Образчик подобного метода дает сцена в темнице, когда общий интерес к рассказу мнимого узника поясняется следующим образом: «Ведь люди, оказавшиеся в беде, обожают выслушивать рассказы о несчастьях своих ближних, находя в них утешение для себя» (VII, 2).

Более пространные комментарии чередуются у Ахилла Татия с краткими сентенциями, раскрывающими сущность происходящего. Так, сцена объяснения Ферсандра с женой, когда он близок к тому, чтобы отказаться от своих подозрений, но все же не может верить ей до конца, завершается объясняющей сентенцией: «Уж если ревность хоть раз закралась в душу, нелегко изгнать ее оттуда» (VI, 11).

Пристрастие Ахилла Татия к такого рода суммированию психологических наблюдений пришлось по вкусу византийцам, и многие его сентенции были включены ими в гномологии — собрания речений. (Забавно при этом равнодушие, с каким составители этих сборников относились к контексту, служившему источником той или иной цитаты,— сплошь и рядом он бывал самого неподходящего, легкомыслен-

ного свойства.) Роман Ахилла Татия вообще высоко ценился в Византии.

Наука только в самое последнее время, когда была установлена датировка «Левкиппы и Клитофонта» (прежде книгу ошибочно относили к гораздо более поздней эпохе), отвела роману подобающее место. Ведь ранняя дата его возникновения показала независимость Ахилла Татия от влияния романа Гелиодора, с которым в «Левкиппе и Клитофонте» есть точки соприкосновения, и позволила увидеть в полемической позиции автора по отношению к традиционным приемам греческого романа больше смелости и оригинальности.

* * *

Роман Лонга «Дафнис и Хлоя» вызвал в новое время громадный интерес. (Показательна в этом смысле одна крайность: офицер наполеоновской армии Поль-Луи Курье дезертировал во время военных действий при Ваграме, чтобы посвятить себя работе над рукописью романа.) Но, несмотря на пристальное — вплоть до сегодняшнего дня — внимание ученых, проблематика книги подчас заслонена инерцией восприятия романа в свете позднейшей пасторали. Язык образов Лонга многие еще склонны переводить на жеманный язык европейского романа этого типа, для которого пастушки, овечки и сельские боги составляли только условный фон галантной любви и чувствительных переживаний.

Прежде всего, отношение Лонга к религии вполне серьезно: вера в существование богов и пиетет к культу у него подлинные, а образы богов и рассказы о творимых ими чудесах — не украшающий повествование привесок. Так же следует рассматривать и посвящение романа в дар Эроту, нимфам и Пану. Это не должно удивлять, поскольку во времена Лонга живо было почитание богов классического греческого пантеона, а религиозно-философские интересы занимали едва ли не важнейшее место в жизни человека. Задача автора — прославить древнего мирового бога Эрота, знакомого нам по Платону и архаическим поэтам. Лонг воскрешает этот образ, давно вытесненный образом шаловливого Эрота — пухлощекого мальчика с луком и стрелами. Эрот Лонга «Кроноса старше и всех его веков» (II, 5), он управляет вселенной и является источником жизни: «Царит он над стихиями,— пишет Лонг,— царит над светилами, царит над такими же, как сам он, богами... Цветы эти — дело рук Эрота; деревья эти — его созданье. По воле его и реки струятся, и ветры шумят» (II, 7).

Взаимоотношения любящей пары воплощают господство Эрота как универсального творческого начала. Это божество определяет всю жизнь Дафниса и Хлои с момента их рождения. По его замыслу приемные родители делают их пастухами, Эрот внушает им любовь друг к другу и

устраивает их брак. Представление о мировом Эроте определило и буколический характер романа. Действие вынесено за пределы города, в леса и поля, так как мир элементарных сил (ведь неодушевленная природа — это воплощенный в своем творении Эрот) выступает там осязаемо-наглядно, а пастушеские обязанности приводят героев в тесное соприкосновение со сферой живой природы, тоже подвластной Эроту и его воплощающей. Эта нерасторжимая связь с природой выражена в чудесной помощи вскормивших Дафниса и Хлою животных и в необычной, как подчеркивает Лонг, даже для пастухов привязанности молодых людей к своим стадам. Очевидно, что сходство Дафниса и Хлои с пасторальными героями — чисто внешнее, поскольку эти образы порождены совсем иным кругом идей и представлений.

Любовь Дафниса и Хлои подается, таким образом, как пример власти мирового Эрота, соединившей своих избранников. То, что Дафнис и Хлоя — его любимцы и предмет особой заботы, неоднократно подчеркнуто автором.

Люди, заслужившие такую долю, представляются идеальными, а их жизнь — образцовой.. Это дает возможность Лонгу перекинуть мост от одного круга занимающих его проблем к другому, от вопросов религии к вопросам социальным и нравственным.

Греческий роман испытал на себе влияние эллинистических утопий, рисовавших картины идеального общественного строя. Следы этого различимы в романе Лонга, и в идеализированной жизни на Лесбосе можно заметить элементы утопии. Страна лонговских пастухов стилизована в утопические тона: боги являются там людям, овцы и козы вскармливают младенцев. Необычную страну населяют и необычные люди.

В соответствии с этическим характером своей утопии Лонг изображает не каких-нибудь карликов или великанов, а нравственно идеальных людей. Их отличает простота, непосредственность и естественность чувств, продиктованных природой. Это особенно ясно обнаруживается на примерах Ламона и Дриаса, которые, в подражание доброте животных, кормивших подкинутых детей, решаются усыновить Дафниса и Хлою. Следует особо подчеркнуть, что и в среде поселян и рабов Лонг находит высокие моральные достоинства. Жизнь в идеальной стране течет спокойно и счастливо, без серьезных конфликтов; если мирное существование нарушается, в этом неизменно повинны горожане, вносящие своим появлением всевозможные тревоги и потрясения.

Город у Лонга — синоним зла, а горожане — носители отрицательных, противных природе качеств: они безжалостно подкидывают своих детей, не чужды противоестественной любви, оценивают человека только по его происхождению, лишены простоты и т. д. Из этого противопоставления видно, что совершенным, по мысли Лонга, может быть только

близкий к природе, естественный человек; пропасть же между ним и развращенным жителем города столь велика, что ее не способны преодолеть даже привязанность и близкое родство. Это выражено финалом романа, коренным образом менявшим традиционный сюжет. Широко распространенная в мифе и литературе история подкинутого ребенка, воспитанного в не соответствующей его происхождению среде и нашедшего впоследствии своих родителей, обычно завершалась тем, что он занимал подобающее по праву рождения место и расставался с миром своего детства. Вопреки такому финалу Лонг заставляет Дафниса и Хлою вернуться в деревню к своим пастушеским обязанностям.

Роман Лонга занимает особое положение среди греческих романов, обнаруживая множество отступлений от жанрового канона. Прежде всего, буколическое оформление не встречается у других известных нам романистов. Выбор этого повествовательного фона предопределил и другие особенности «Дафниса и Хлои». Количество приключений заметно сократилось, и они утратили привкус сенсационности,— в противном случае сюжет грозил вступить в противоречие с буколической обстановкой, в которой развертывается действие. Соответственно резко сузился географический горизонт. Единство места не нарушается (за исключением поездки героев в Митилену). Это, в свою очередь, перенесло центр тяжести с внешней занимательности, с путешествий и скитаний по далеким городам и диковинным странам — на внутренний мир героев. Причем в связи с основной задачей романа — показать торжество любви — внимание автора ограничивается областью любовных переживаний Дафниса и Хлои. Но и здесь романист отходит от жанрового стандарта и вместо любви, охватывающей героев с первого взгляда, рассказывает о постепенном нарастании и развитии их чувства.

Приемы, использованные Лонгом для создания буколической атмосферы (стилизованная простота изложения; выбор ситуаций, увиденных глазами наивных героев; цитаты и реминисценции из буколических поэтов), были поняты впоследствии как жеманство; это в значительной мере не позволило читателям и исследователям разглядеть серьезность проблематики романа. Но едва ли правомерно с нынешними критериями подходить к произведению древнего автора: многое, что кажется нам сегодня искусственным или безвкусным, современниками могло восприниматься и, вероятно, воспринималось иначе.

* * *

Одно из самых своеобразных произведений древности, «Сатирикон», или «Сатиры», Петрония, сохранилось только в отрывках. То, что до нас дошло,— части, по-видимому, очень обширного романа, охватывавшего, во всяком случае, больше шестнадцати книг: книга шестнадцатая,

которой мы располагаем, не доводит повествования до конца. К сожалению, невозможно с достаточной определенностью судить о характере «Сатирикона» по отдельным фрагментам, содержащим к тому же пропуски и лишенным связи между собой. Это обстоятельство породило в XVII веке фальсификацию француза Нодо, реставрировавшего пробелы: текст собственного сочинения он выдал за подлинный, сообщив, что обнаружил полную рукопись романа. Несмотря на неискусный характер этих вставок и грубые анахронизмы (Нодо, например, перенес в римскую действительность такие глубоко чуждые ей бытовые штрихи, как обыкновение светских молодых людей его времени присутствовать при утреннем туалете дамы), их ради цельности сюжета продолжают публиковать до сих пор, и они докучной тенью сопровождают роман Петрония.

Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, «Сатирикон» не имеет аналогий и стоит в древней литературе особняком. В причудливое единство автор спаял элементы многих известных нам жанров. Прежде всего здесь комически перелицованный греческий роман, и читатель без труда узнáет в Энколпии и Гитоне знакомую ему, но пародийно сниженную любовную пару, а в их приключениях и бедах — стандартные мотивы греческого романа, кораблекрушения, мнимые смерти, любовные домогательства; враждебное божество, которое в традиционном романе распоряжается их судьбой, заменено здесь богом мужской силы Приапом. Чередование прозы и стиха заимствовано из так называемой Менипповой сатиры, обличительный или дидактический тон которой отброшен; использованы также мим, новелла, анекдот и ряд других жанров. Все они послужили только материалом, из которого автор создал нечто, по существу уже независимое от своих компонентов,— комический роман нравов.

Самый выбор жанра комического романа нравов в значительной мере обусловил внимание Петрония к теневым, отрицательным сторонам жизни; для античного автора понятия комического и низменно-грубого совпадали. Но при этом его книга не укладывается в рамки, привычные для такого рода проблематики: в ней нет ни моральной дидактики, ни порицающего отношения к изображаемому. Хотя Петроний дает достаточно красноречивые свидетельства падения человеческой личности, хотя он заглядывает в грязные притоны, сомнительные гостиницы, прибежища тайных культов или на кишащий жуликами рынок, он говорит обо всем как сторонний, незаинтересованный наблюдатель. Следствием этой позиции наблюдателя, бесстрастно регистрирующего то, что он видит, являются в романе многочисленные сцены противоестественных любовных связей и безудержной чувственности; для развращенного и безнравственного общества того времени они были типичны.

Но ничто не вызывает у Петрония отрицательного отношения. Он в такой мере не показывает неприязни к героям, запятнанным всевоз-

можными пороками и преступлениями, что ученые согласны видеть во многих из них (особенно охотно в Эвмолпе, Энколпии и Агамемноне) выразителей личных взглядов и симпатий автора.

Здесь мы подходим к сложному вопросу интерпретации романа. Его понимание чрезвычайно затрудняется отсутствием положительных персонажей, в чьих словах можно было бы услышать голос автора; форма повествования почти лишает Петрония возможности и повода говорить от своего лица (ведь роман — это личный рассказ Энколпия); помехой является также невозможность определить место дошедших до нас частей в контексте целого.

Правда, в виде исключения вставные стихи, сопровождающие повествование, комментируют действие от автора, обнаруживая взгляды самого Петрония. Они характерны для периода общественного разложения I века нашей эры: Петроний ни во что не верит и на все смотрит мрачно (за деньги можно купить и судью и друга); добрые чувства — только комедия, которую разыгрывают, пока это выгодно; искусство переживает упадок и т. п.

Большое место отведено в романе эстетическим вопросам, затронуты область живописи, риторики, эпической поэзии. Но и здесь было бы неосторожно всегда отождествлять рассуждающих на эти темы героев с автором. Так, Эвмолп в своей поэме «О гражданской войне» вводит в действие богов, то есть пользуется традиционным мифологическим аппаратом, от которого отказался современник Петрония эпический поэт Лукан. Однако мы не можем сказать с уверенностью, полемизирует ли Петроний с Луканом или только высмеивает авторов распространенного в то время классицистского эпоса, пародией на который являются стихи Эвмолпа.

Столь же затруднено и суждение относительно философских симпатий Петрония. В романе больше всего свидетельств интереса к Эпикуру: встречаются реминисценции из Эпикура, из философов его направления и лестные отзывы о нем, но все они обычно произносятся действующими лицами романа. Только однажды Петроний, защищая свою книгу от нападок моралистов (как он выражается, Катонов), оправдывает ее вольное содержание царящим в мире законом любви и кончает ссылкой на Эпикура (CXXXII):

> Правды отец, Эпикур, и сам повелел нам, премудрый,
> Вечно любить, говоря: цель этой жизни — любовь.

Но эта ссылка скорее иронического характера, тем более что эпикуреизм, вульгарно понятый как жизнь ради наслаждения, не утверждается повествованием, а служит лишь объектом изображения.

Несомненно только, что Петронию была близка позиция Эпикура по отношению к богам; Эпикур отводил им скромную роль: согласно его

учению, боги существовали, но не правили миром. Петроний был, очевидно, решительнее. Полные иронии замечания о богах тоже принадлежат героям повествования, но самый характер этих замечаний позволяет думать, что автор согласен с ними,— в противном случае, он едва ли позволил бы себе подобный тон, хотя представление о религиозном пиетете и имело в древности очень подвижные границы.

Сравнительно с греческим романом, у Петрония появляются, кроме характерных черт его эпохи (сюда, в первую очередь, относятся картина нравов, свидетельства развития в Риме восточных культов, изображение поднявшегося сословия вольноотпущенников), социально типизированные образы. Фигуры вольноотпущенников — нуворишей, хвастливых, необразованных, лишенных вкуса,— представляют собой высокую ступень обобщения, а описание пира Трималхиона поражает мастерством деталей, складывающихся в социально-психологическую картину большого размаха.

К новшествам, введенным автором, относится и дифференцированный язык действующих лиц.

Люди нового времени привыкли к тому, что каждый персонаж литературного произведения говорит в соответствии со своим социальным и психологическим обликом, и потому сейчас трудно в полной мере оценить эту заслугу Петрония. Между тем в греческой и римской литературе представители различных культурных слоев обычно лишены речевой характеристики.

Особенно это бросается в глаза, когда нужно бывает определить говорящее лицо в каком-нибудь фрагменте. Точки зрения ученых обычно расходятся, и кандидатами на ту или иную реплику оказываются боги и кормилицы, рабы и мифологические герои...

Иное дело у Петрония. При сравнении речи Трималхиона и других вольноотпущенников с манерой выражаться ритора Агамемнона или Эвмолпа ощутимо резкое различие: речь первых изобилует народными элементами, пословицами, поговорками, избегает придаточных предложений, пестрит грубыми словами, ошибками и провинциализмами, а Эвмолп и Агамемнон говорят корректным и изящным языком образованных людей.

Скептико-ироническая позиция автора послужила причиной смещения масштабов и уравняла между собой высокое и низменное, смешное и серьезное. Поэтому в романе комические сцены неожиданно сменяются философскими и литературными рассуждениями, площадная брань соседствует с поэзией, а юридический документ — с вольной шуткой. Пестроту создают и многочисленные вставные новеллы, фантастические, иронические и бытовые, из которых наибольшую популярность приобрела в новое время новелла об эфесской матроне.

* * *

«Метаморфозы» Апулея — рассказ о превращенном в осла человеке — еще в древности получили название «Золотой осел», где эпитет означал высшую форму оценки, совпадая по смыслу со словами «замечательный», «прекраснейший». Такое отношение к роману, который был одновременно развлекательным и серьезным, понятно — он отвечал самым разнообразным потребностям и интересам: при желании можно было найти удовлетворение в его занимательности, а более вдумчивые читатели получали ответ на вопросы нравственные и религиозные.

В наши дни эта сторона «Метаморфоз», конечно, сохраняет лишь культурно-исторический интерес. Но художественное воздействие романа не утратило своей силы, а удаленность времени создания сообщила ему дополнительную привлекательность — возможность проникнуть в прославленный и малознакомый мир чужой культуры. Так что и мы называем «Метаморфозы» «Золотым ослом» не только по традиции.

Апулей использовал распространенный фольклорный сюжет превращений. Повествования о злоключениях человека, силой колдовских чар принявшего облик осла, были известны и до Апулея; это — не дошедшая до нас греческая повесть Лукия Патрского и сохранившаяся — тоже греческая — повесть «Лукий, или Осел», ошибочно приписывавшаяся Лукиану (II в. н. э.), с которой «Метаморфозы» имеют много точек соприкосновения. Предполагают, что оба они, Апулей и псевдо-Лукиан, перерабатывали, каждый по-своему, повесть Лукия Патрского. В отличие от конспективного изложения событий, характеризующего «Лукия» псевдо-Лукиана, Апулей дает подробный рассказ, перемежающийся большим количеством вставных новелл, а своей новой концовкой сообщает философское значение сюжету, пародийно-сатирически поданному псевдо-Лукианом.

Странствия Луция-осла кончаются неожиданным финалом: помощь богини Исиды возвращает ему человеческий облик, и отныне, пережив духовное перерождение, он становится адептом ее религии. В «Лукии» же развязка только подчеркивала комическое понимание автором своего материала; героя, вновь ставшего человеком, встречает оскорбительное разочарование возлюбленной, которой он нравился, когда был ослом, и его с позором прогоняют.

Торжественно-религиозная заключительная книга Апулея, присоединенная к забавным первым десяти, кажется нам странным несоответствием. Но нельзя забывать, что смешное и серьезно-величавое были в древности гораздо ближе друг к другу, чем сейчас, и Апулей мог, не вызывая удивления, завершить скитания Луция-осла столь своеобразно.

Финальную метаморфозу автор понимает как преодоление героем грубо животного, чувственного начала. Низменные формы человеческого

существования воплощены в образе осла — животного, считавшегося в древности не столько глупым, сколько сладострастным, и сменяются формами чисто духовного бытия, поднимающего личность все выше по ступеням мистериального посвящения. В самом делении романа на одиннадцать книг содержится намек на его концепцию: для готовящихся посвятиться в таинства Исиды десять дней служили подготовкой к одиннадцатому — дню посвящения в мистерии. Перед нами, таким образом, повесть об освобождении личности от животной природы (животная природа подчеркивалась потерей человеческого облика) и торжестве ее в нравственно-религиозном прозрении.

Характерно, что в XI книге особенно отчетливо начинают проступать автобиографические черты, и образ героя постепенно сливается с образом автора. Луций оказывается жителем Мадавры, родного города Апулея, и его судьба, после того как он расколдован, имеет точки соприкосновения с личной судьбой автора. Некоторые моменты, впрочем, сближают Луция и Апулея еще в начале повествования (интерес к магии, к неоплатонизму, пребывание в Афинах). Все это говорит о том, что книга о победе человека над низменными сторонами своей природы в известной мере строилась на опыте собственной жизни, религиозно-философски переосмысленном.

Кроме нравственной стороны, Апулея интересует и проблема судьбы. Чувственный человек, по мысли автора, находится во власти слепой судьбы, которая незаслуженно наносит ему свои удары. Это иллюстрируется многочисленными злоключениями Луция. Личность, победившая чувственность, посредством религии таинств обеспечивает себе покровительство «зрячей», то есть справедливой судьбы, и автор показывает, как руководимый божеством Луций достигает высоких степеней посвящения и жизненных успехов.

В соответствии с двумя фазами существования героя оформляются обе части романа. Этап животно-чувственного состояния и власти слепой судьбы над героем выражен, помимо ряда ничем не мотивированных злоключений Луция, также характером всего входящего в эти части материала: здесь нет никаких моральных запретов, и допускаются сюжеты весьма вольные. XI книга — этап преодоления чувственности, а с ним и судьбы — выдержана в совсем иных, высоких и торжественных тонах, намеренно контрастирующих с тоном предшествующих частей.

События основного повествования сконцентрированы вокруг героя и даются с его точки зрения: как у Ахилла Татия и Петрония, роману придана форма рассказа от первого лица. Обличие животного позволяет Луцию расширить круг своих наблюдений и познакомиться с такими сторонами жизни, которые обычно закрыты для наблюдателя-человека: ведь люди, принимая Луция за осла, в своем поведении не считаются с его присутствием, а слепая судьба заботится о том, чтобы возникали все

новые и новые поводы для обогащения его опыта. Благодаря этому и перед глазами читателя появляется панорама римской жизни, не ограниченная единственно ее отрицательной стороной. Луций встречается на своем пути не только с проявлениями зла; хотя большинство приключений сталкивает его с людской жестокостью, алчностью, коварством и распутством, противоположные стороны действительности все же открываются ему в том, что он видит, переживает или о чем ему доводится слышать. Социальный диапазон романа очень широк — представлены все слои общества, множество профессий, люди различных религий, многие стороны культуры и быта.

Вставные новеллы, прерывающие повествование, служат у Апулея задачам основного замысла, связаны с ним и введены не ради отвлечения или развлечения читающего. Их содержание согласовано с соответствующими разделами книги, чтобы создать фон, на котором действует герой, или для освещения его судьбы и внутренней жизни; они являются сопровождением главной линии сюжета. Поэтому вставные новеллы образуют циклы, тематически соотнесенные с повествованием о Луции; так, тем его частям, которые предваряют превращение, сопутствуют новеллы о колдовстве, а рассказ о жизни Луция в плену у разбойников и непосредственно после бегства от них перемежается новеллами о разбойниках.

Сообразно с такой ролью вставных новелл в центре романа помещена повесть или, как ее принято называть, сказка об Амуре и Психее, перекликающаяся с его нравственной проблематикой. Несомненно, что, рассказывая поэтическую историю судьбы Психеи (psychē по-гречески значит душа), автор рассчитывал на ее аллегорическое толкование и понимал бедствия и торжество Психеи как падение и возрождение человеческой души, возвращаясь здесь к теме, интересовавшей его в повествовании о Луции. Чтобы подчеркнуть связь вставной новеллы и основного повествования, Апулей наделяет Психею и Луция сходной чертой характера, любопытством, которое служит в их жизни причиной злоключений, в обоих случаях прерываемых вмешательством верховных божеств. Серьезное и смешное в новелле контрастно соединено, как и в главном сюжете, и поэтический рассказ, хотя он имеет осознанный автором аллегорический подтекст, передает «выжившая из ума пьяная старушонка», украшая его комически-пародийными деталями (такова, например, трактовка образа богини Венеры).

Новелла об Амуре и Психее пользовалась на протяжении веков особенно большим признанием и оставила след в творчестве ряда писателей и художников.

«Метаморфозы» написаны в стилистических традициях риторической прозы, в цветистой и утонченной манере. Стиль вставных новелл более прост.

Мы напрасно стали бы искать в романе психологического раскрытия характера его героя, хотя у Апулея встречаются отдельные — и подчас тонкие — психологические наблюдения. Аллегорическая задача исключала необходимость в этом, и фазы жизни Луция должны были обнаруживать себя в смене его облика. Известную роль в подобной конструкции образа, вероятно, сыграло также стремление Апулея не покидать почвы фольклорной техники, поскольку сюжет был фольклорного происхождения.

Попытка религиозно-философски осмыслить фольклорный сюжет привела к противоречию: первая метаморфоза (превращение Луция в осла) не получила в концепции автора внутреннего оправдания; ведь это превращение не изменило природу Луция, а только наглядно показало ее: с точки зрения Апулея, Луций и в человеческом облике был в той же мере животным, то есть рабом чувственности, как и в личине осла.

* * *

Рассмотренные романы раскрывают разные стороны жизни греко-римского общества первых веков нашей эры, дополняя друг друга и способствуя возникновению многосторонней социально-культурной картины. Но значение античного романа, конечно, не исчерпывается этим; иначе его можно было бы заменить свидетельствами документов. Античный роман — это прежде всего своеобразное произведение искусства, и подлинную жизнь ему сообщает эстетическое воздействие воплощенного в нем материала. Именно это служит причиной широкого читательского интереса к античному роману и отводит его лучшим памятникам почетное место в истории мировой литературы.

С. ПОЛЯКОВА

АХИЛЛ ТАТИЙ
ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
В. ЧЕМБЕРДЖИ

I

На Ассирийском море стоит город Сидон. Он приходится матерью финикийскому народу — отцу финикийцев. Просторная двойная гавань залива постепенно смыкает морскую ширь. С правой стороны воды залива глубже вдаются в сушу, заполняя второе прорытое ими устье, и у гавани образуется другая гавань, тихая, укрытая от ветров. Торговые суда уходят зимовать в эту гавань, в то время как летом они стоят в самом заливе.

Я оказался в Сидоне, спасшись от сильного ненастья, и поспешил принести благодарственную жертву богине, которую жители города называют Астартой. Затем я отправился бродить по городу, рассматривал жертвенные приношения и остановился перед картиной, изображавшей море и землю. Я узнал Финикийское море, Сидонскую землю и Европу. На лугу кружился хоровод девушек. В морских волнах несся бык, на спине у него сидела прекрасная девушка, они плыли по направлению к Криту.

Цветы в несметном множестве покрывали луг, деревья и кусты росли в столь близком соседстве, что касались друг друга листьями, сплетались ветвями кроны, образуя над цветами непроницаемую крышу. Художник нарисовал и тень, которую отбрасывали деревья,— солнечные лучи едва-едва пробивались сквозь густую сень листвы. Луг был обнесен оградой и покоился внутри нее в лиственном венце. Нарциссы, розы, мирты росли на грядках, разбитых в тенистых кущах. В самой середине луга бил из глубины земли родник, влагой своей освежавший цветы и кусты. Мастер изобразил и землекопа, с киркой

в руках склонившегося над ручьем и расчищающего воде русло. На краю луга, у самого моря стояли девушки. Одновременно восторг и ужас являли собой они. Венки обрамляли чело каждой, волосы разметались по плечам. Хитон, подтянутый поясом до колен, открывал ноги, не обутые в сандалии. Бледные, искаженные лица, устремленные к морю глаза, чуть приоткрытые уста, казалось, готовые испустить вопль ужаса, руки, простертые к быку. Они вошли в море, ступни их в волнах, кажется, что им хотелось бы за быком побежать, но страх не позволяет глубже в море зайти. Морская вода переливается двумя оттенками, у берега она отливает пурпуром, вдали — переходящим в синь. Мастер изобразил и пену морскую, и скалы, и волны. Скалы возвышались над землей, убеленные пеной волн, вздымающихся и разбивающихся об их подножия. Несся среди морской пучины бык,— согнув ноги, он оседлал вздыбленный вал. На спине его сидела девушка, ноги ее свешивались с правой стороны. Бык послушно следовал за рукой, которая направляла его. Хитон закрывал грудь девушки, а нижняя часть ее тела была скрыта складками плаща. Тело ее просвечивало сквозь белый хитон и пурпурный плащ. Глубоко посажен пупок в напряженных мышцах ее живота, тонкий стан округлялся ниже талии, едва угадывались сквозь ткань соски грудей. Пояс, стягивающий хитон, касался и сосков ее, так что хитон обратился как бы в зеркальное отражение ее тела. Одну руку она протягивала к рогам быка, другую к его хвосту. Обеими руками она держала развевающееся над головой покрывало, ниспадающее вдоль спины. Ткань, наполненная воздухом, выгибалась и растягивалась — так художник изобразил ветер. Девушка плыла на быке подобно тому, как плывут на корабле, и покрывало служило ей парусом. Плясали вокруг быка дельфины, играли в волнах Эроты, они были нарисованы, словно живые, в движении. Эрот увлекал за собой быка. Малое дитя, осененный крылом Эрот, с колчаном за спиной и факелом в руке, улыбаясь, обратил свое личико к Зевсу, как бы насмехаясь над тем, что из-за него Зевсу пришлось стать быком.

II

Все нравилось мне в этой картине, но, тонкий знаток любви, я не мог оторвать взора от Эрота, увлекающего за собой быка.

— Чтобы такому младенцу,— воскликнул я,— равно повиновались и небо, и земля, и море!

В ответ на мои слова юноша, который стоял рядом со мной перед картиной, возразил:

— Я претерпел столько горестей от любви, что очень хорошо это знаю.

— Что же ты претерпел, мой дорогой? — спросил я его.— Ведь, судя по твоей наружности, ты не далек от постижения таинств этого бога.

— Ты вызываешь своим вопросом целый сонм рассказов, похожих на сказки.

— Не медли же, мой дорогой,— ради Зевса и самого Эрота поведай мне обо всем, особенно если приключения твои похожи на сказки.

С этими словами я беру его за правую руку и веду в ближнюю рощу под густую сень могучих платанов; прозрачный ручей струит здесь студеную воду, какая бывает только от растаявшего зимой снега. Мы садимся с ним рядом на низенькую скамеечку, и я говорю:

— Вот теперь я готов слушать твой рассказ; восхитительно это место и достойно сказок о любви.

III

И он начал свой рассказ так:

— Я родился в Тире, в Финикии, зовут меня Клитофонт, отца Гиппий, его брата Состpат, но они не родные братья,— у них один отец, матери же разные: у отца тириянка, а у Состpата византиянка. Состpат живет в Визáнтии: в наследство от матери ему досталось большое состояние; мой же отец в Тире. Своей матери я не знал, потому что она умерла, когда я был еще младенцем. Отец женился во второй раз, и от этого брака родилась моя сестра Каллигона. Отец хотел поженить нас, но Мойры, более могущественные, чем люди, предназначили мне в супруги другую.

Божество любит являться нам ночью и приоткрывать завесу над нашим будущим, не для того, однако, чтобы мы сумели уберечь себя от него (ведь людям не под силу справиться с роком), но для того, чтобы с бóльшим смирением мы к нему отнеслись. Ведь все, что обрушивается на человека неожиданно, ошеломляет его душу своей внезапностью и погружает ее в безысходность, если же люди исподволь готовят себя к страданию, пусть еще даже не испытанному, то острота его понемногу притупляется.

Мне шел девятнадцатый год, отец готовился на следующий год поженить нас с Каллигоной, когда в игру вступила Судьба. Мне приснилось, будто я сросся с какой-то девушкой нижней частью тела до самого пупка, а выше тела наши раздваиваются,— и вдруг предстает передо мной огромная женщина, страшная, свирепая, с глазами, налитыми кровью, с искаженными лютой злобой чертами лица, со змеями вместо волос. В правой руке у нее серп, в левой — факел, она бросается на меня, ударяет прямо в пах, где соединялись наши тела, и отсекает от меня девушку. В ужасе от этого видения я вскочил, но никому не рассказал про свой страшный сон, предвещавший мне многие беды. И вскоре происходит следующее. У отца, как я уже говорил, был брат Сострат,— так вот от него приехал какой-то человек и привез письмо из Византия, в котором было написано: «Брату Гиппию привет от Сострата. К тебе прибывают моя дочь Левкиппа и моя жена Панфия, потому что фракийцы напали на Византий. Сбереги самое дорогое, что у меня есть, пока не кончится война».

IV

Прочитав письмо, отец вскочил, бросился к морю и немного погодя вернулся. За ним следовала целая толпа рабов и служанок, которые, по велению Сострата, сопровождали жену и дочь его. В середине шла высокая женщина, одетая очень богато. И вдруг словно молния ослепила мои глаза: слева от нее я увидел девушку, которая была похожа на Селену,— когда-то я видел ее изображенной на быке; искрометный взор, золотые кудри, непроглядно черные брови, белые щеки, розовеющие подобным пурпуру румянцем,— в такой примерно цвет женщины в Лидии окрашивают слоновую кость,— уста как бутон розы, только начинающий распускаться. В тот миг, как я увидел ее, я погиб. Ведь красота, ослепившая глаза и проникшая в душу, ранит больнее стрелы. Дорогу любовным ранам открывают наши глаза. Я почувствовал, как душу мою одновременно обуревают восторг, смятение, трепет, стыд, бесстыдство; я преклонялся перед ее величием, был ошеломлен ее красой, сердце колотилось, я смотрел на нее дерзко, в то же время стыдясь, что оказался плененным ею. Я пытался оторвать от девушки взор, но глаза мои не слушались,— они тянулись к ней, прикованные цепью ее красоты, и победили.

V

Наконец гостьи вошли, и отец, отведя им покои в нашем доме, заказал обед. В урочный час мы принялись за трапезу, причем расположились за столом по двое (так нас рассадил отец): мы с ним в середине, две матери слева, а две девушки справа. Услышав от отца, что мы разместимся именно так, я чуть было не набросился на него с поцелуями за то, что Левкиппа оказывалась у меня прямо перед глазами.

Клянусь всеми богами, я и понятия не имел о том, что́ я тогда ел. Словно я ел во сне, а не наяву. Опершись локтями на подушку, я не отрывал глаз от девушки, в то же время стараясь скрыть от всех, что гляжу на нее,— вот и весь мой обед. Когда трапеза кончилась, пришел мальчик, слуга отца, с настроенной кифарой. Перебирая пальцами струны кифары, он извлекал из нее звучные аккорды, а потом взял плектор, ударил им по струнам, поиграл немного и запел под музыку. В песне говорилось о том, как Аполлон упрекает Дафну за то, что она убегает от него, как он преследует ее, пытаясь настичь девушку, как Дафна превращается в лавр, и Аполлон увенчивает себя им. Пение мальчика еще больше воспламенило мою душу. Ведь рассказы о любви всегда разжигают влечение. Даже если человек стремится обуздать себя благоразумием, то чужой пример обязательно побуждает его к подражанию, особенно в том случае, когда пример этот подает некто более могущественный. Тогда робость обращается смелостью, ведь так случалось и с теми, кто более достоин уважения. И я сказал себе: «Сам Аполлон был влюблен в девушку, но, любя, не испытывал никакого стыда, напротив, он преследовал ее. А ты медлишь, робеешь и вовсе некстати стараешься образумиться, а разве ты сильнее, чем бог?»

VI

Наступил вечер, женщины первыми отправились спать, а немного спустя и мы последовали их примеру. Все, кроме меня, мерили удовольствие радостями желудка, я же насытил лишь свои глаза созерцанием девушки и уходил, переполненный одной только ею, опьяненный своей любовью. Я пришел в свою спальню, но не мог заснуть. Мы так созданы природой, что по ночам телесные и душевные наши раны болят еще сильнее, и в то время, как тело предается покою, страдания возрастают.

В ночные часы сильнее болит язва, муки же от сердечных ран становятся нестерпимыми. Днем глаза и уши бывают поглощены множеством забот, которые отвлекают душу от горестей, не дают ей времени предаться им и смягчают остроту переживаний. Но иссякают дневные дела, тело получает отдых, и тут-то боль начинает бушевать с новой силой. Пробуждается все то, что доселе дремало в душе: у страдальцев — их горе, у поглощенных заботами — их думы, у людей, находящихся в опасности,— страхи, у влюбленных — пламя любви. Лишь под самое утро я ненадолго забылся сном.

Но и тогда девушка не покидала моего сердца,— все сновидения были полны Левкиппой. Я говорил с ней, играл, разделял с ней трапезу, я прикасался к ней, и радость моя превзошла ту, что я испытал днем. Я даже поцеловал ее, поцеловал по-настоящему. Поэтому, когда раб разбудил меня, я выбранил его,— ведь он прервал мой сладостный сон так не вовремя!

Поднявшись с постели, я нарочно стал прогуливаться по дому, стараясь попасться Левкиппе на глаза. Уткнувшись в книгу, я делал вид, что читаю, но, подходя к дверям ее комнаты, украдкой бросал на нее взгляды. Несколько раз я прошелся, и при каждом взгляде любовь моя разгоралась все сильнее. Наконец я удалился, и на душе у меня было тяжело. Так я сгорал в огне любви три дня.

VII

У меня был двоюродный брат, сирота, звали его Клиний. Двумя годами старше меня,— уже причастный к таинству любви, он был влюблен в одного отрока. Клиний проявлял к мальчику необычайную щедрость. Как-то он купил себе коня, и, когда мальчик похвалил покупку, Клиний немедленно отдал ему этого коня.

Я всегда подшучивал над ним, ведь он растрачивал время на то, чтобы любить, он был рабом радостей любви. Улыбаясь, Клиний покачивал головой и говорил мне:

— Подожди немножко, и сам попадешь в рабство к Эроту.

Вскоре после того, как все это со мной случилось, я побежал к Клинию, сел рядом с ним, обнял его и сказал:

— Клиний, я, кажется, наказан за свои шутки. Я тоже стал рабом.

Клиний захлопал в ладоши, засмеялся и поцеловал мое измученное любовной бессонницей лицо.

— Ты любишь, ты любишь по-настоящему! — восклицал он.— Я вижу это по твоим глазам.

Не успел он сказать это, как вбегает Харикл (так звали его возлюбленного).

— Я погиб, Клиний,— говорит он, объятый тревогой.

Клиний застонал и, словно от ответа мальчика зависела его жизнь, стал просить:

— Я умру, если ты будешь молчать! Что за беда случилась с тобой? С кем надо сразиться?

— Отец,— отвечает Харикл,— задумал женить меня. Причем он прочит мне в жены уродку, таким образом суля мне двойное зло. Ведь жена — сама по себе уже зло, даже если она красива, а уродливая жена это зло вдвойне. Но отец спешит породниться с ней, чтобы таким образом получить богатство. И я, несчастный, должен жениться на ее деньгах, продают меня в рабство.

VIII

Когда Клиний услышал это, вся краска сошла с его лица. Он принялся отговаривать мальчика от вступления в брак и при этом осыпáл бранью весь женский род.

— Отец понуждает тебя уже вступить в брак. В чем же ты провинился, чтобы надевать на тебя эти оковы? Разве ты не знаешь, что сказал по этому поводу Зевс?

> Зло подарю я им вместо огня, и они забавляться
> Будут им, сколько хотят, своим собственным горем довольны.

Такую радость приносят женщины, они по природе своей сродни Сиренам, которые убивают своей сладостной песнью. О размерах этого несчастья можно судить даже по приготовлениям к браку. Флейты вопят, ворота лязгают, пылают факелы. Наблюдая всю эту суматоху, любой скажет: «Как видно, вступление в брак — это большое несчастье, похоже, что человека отправляют на войну».

Если бы ты не был достаточно образован, ты бы мог еще не знать всех злодейств, которые совершили женщины; но ты ведь и другим можешь рассказать о тех ролях, которые они играют на сцене жизни: вспомни только ожерелье Эрифилы, пир Филомелы, клевету Сфенебеи, воровство Аэропы, убийство Прокны. Когда Агамемнон томился по красоте Хрисеиды, он нагнал на Элладу чуму; Ахиллес, томясь по красе Брисеиды, причинил

себе горе; у Кандавла была красавица жена, но она его убила. Огонь брака Елены спалил Трою. А скольких женихов отправила на тот свет благонравная Пенелопа? Федра убила Ипполита, потому что любила его, а Клитемнестра убила Агамемнона, потому что не любила его. О женщины, способные на все! Они любят и убивают, они не любят, и тоже убивают! Подумать только, что суждено было погибнуть Агамемнону, чья красота была подобна красоте небожителей!

Зевсу, метателю грома, головой и очами подобный...

И такую голову, о Зевс, отсекла женщина!

Все это зло творили женщины, чья красота умеряла причиняемое ими горе. Ведь красота такова, что несет в себе самой утешение и даже в несчастье делает нас счастливыми. Если же женщина, как ты говоришь, к тому же не обладает красотой, то она сулит двойную беду. Нет человека, который способен вынести ее, а такой прекрасный юноша, как ты, нипочем с ней не справится. Харикл, я умоляю тебя, ради всех богов, не превращайся в раба, не губи раньше времени цветок твоей юности. Ведь, кроме всего прочего, в браке заложено еще одно зло: он иссушает силы и красоту. Молю, Харикл, не дай погубить себя. Ты не должен разрешить безобразному садовнику срезать прекрасную розу.

— На то воля богов и моя,— ответил Харикл,— ведь у меня еще есть время, до свадьбы осталось несколько дней, а бывает и так, что одна-единственная ночь поворачивает ход событий. А сейчас я пойду, потому что мне очень хочется покататься верхом. Я ведь еще не ездил на том прекрасном коне, которого ты мне подарил. Может быть, верховая езда отвлечет меня от мыслей о надвигающемся несчастье.

С этими словами Харикл ушел. Мы не знали, что больше не увидим его, потому что ему суждено было оседлать коня в первый и последний раз.

IX

Мы остались вдвоем с Клинием, и я принялся рассказывать ему обо всем, что со мной случилось, как я увидел Левкиппу, как я страдал, как мы обедали, какова ее красота. Уже заканчивая свой рассказ, я почувствовал, что легко могу стать предметом насмешек.

— Клиний,— воскликнул я,— нет у меня сил переносить эту муку. Эрот нисколько не щадит меня, он не дает мне и

ночью сомкнуть глаз: везде мне мерещится Левкиппа. Ни с кем еще не случалось подобного несчастья, горе неразлучно живет со мной!

— Какую чушь ты несешь,— ответил мне Клиний,— и это ты-то, которого Эрот осчастливил. Ведь он не требует от тебя, чтобы ты околачивался у чужих дверей, чтобы ты выискивал себе помощников. Судьба не только подарила тебе возлюбленную, она еще и поселила ее в одном доме с тобой. Иной влюбленный почитает за счастье для себя даже один-единственный взгляд любимой девушки, он благодарен судьбе за то, что хотя бы глаза его блаженствовали; другие счастливы, если любимая проронила хоть одно слово. Ты же все время видишь ее, все время слышишь ее, ты с ней ешь, ты с ней пьешь. И еще жалуешься! Неблагодарностью ты отвечаешь на дары Эрота. Неужели ты не знаешь, что значит смотреть на возлюбленную? Видеть ее — это большее наслаждение, чем обладать ею. Взоры влюбленных отражаются друг в друге и, словно в зеркале, запечатлевают их образы. Свет красоты, из глаз пролившийся в душу, это своего рода обладание любимой, хотя бы и на расстоянии. Оно сладостнее, чем настоящее слияние тел, потому что оно необычно. Но тебе я предсказываю скорое соединение с возлюбленной. Потому что нет лучшего средства для достижения твоей цели, чем постоянно видеть ту, кого ты любишь. Глаза — это верный помощник в любви, и чем чаще влюбленный видит свою возлюбленную, чем больше он общается с ней, тем легче он добьется ее благосклонности. И если даже диких зверей удается приручить, когда они привыкают к нам, то тем более возможно смягчить сердце женщины.

Если девушку любит юноша одного с ней возраста, то в его любви есть для нее что-то особенно притягательное. Увлекаемая самой природой своего расцвета, сознавая, что она любима, девушка чаще всего отвечает на эту любовь. Ведь каждой девушке хочется быть красивой, ей радостно быть любимой, и она благодарна возлюбленному за то, что его любовь свидетельствует о ее красоте. Если же никто не любит девушку, она не может поверить в свою привлекательность.

Тебе же я даю один-единственный совет: пусть она убедится в том, что ты любишь ее, и, увидишь, она ответит тебе.

— Но что же мне сделать для того, чтобы твое предсказание сбылось? Научи меня. Ты ведь уже посвящен в таинства Эрота, ты, конечно, лучше во всем этом разбираешься. Что мне говорить? Что мне делать? Как добиться того, чтобы она меня полюбила? Я не знаю, какие пути ведут к этому.

X

— Даже и не пытайся,— ответил мне Клиний,— научиться этому у других. Эрот сам научит тебя всем премудростям. Так же, как новорожденных не надо учить находить себе пищу, ибо природа сама указывает им путь к материнской груди, так и юноша, впервые беременный любовью, не нуждается в поучениях. Когда начинаются схватки и наступает срок для родов, пусть даже первых, всякий умеет разрешиться от бремени, не испытывая при этом никаких сомнений, но с помощью самого бога. Однако существуют общеизвестные истины, которые не связаны с выбором благоприятного мгновения, их ты выслушай и прими к сведению. Не вздумай заводить с девушкой разговоров на любовные темы, но молча старайся добиться того, чтобы она стала твоей.

Юноша и девушка в одинаковой мере стыдливы; даже если они ни о чем не могут думать, кроме наслаждений Афродиты, они не хотят, чтобы об их терзаниях говорили вслух; им кажется, что в подобных речах заключено нечто постыдное. Женщинам доставляют удовольствие и слова, девушки же охотно идут на любовную перестрелку намеками, как будто бы не касающимися самого дела, и потом неожиданно соглашаются на то, что кроется в этих намеках. Если же ты подойдешь к ней открыто и станешь настаивать на том, чтобы она отдалась тебе, ты оскорбишь такими словами ее слух, она зальется краской, возненавидит твои речи, сочтет себя опозоренной. Даже если раньше она хотела подарить тебе радость, то теперь устыдится. Когда девушке в словах слышится любовное искушение, она считает, что уже пережила и само обладание. Попробуй не говорить ничего, подготовь девушку исподволь, обращайся с ней как можно ласковее, и, когда почувствуешь, что она послушна тебе, подойди к ней и молча, словно во время мистерий, поцелуй ее. Поцелуй влюбленного для девушки, которая готова отдаться ему, имеет непреоборимую силу, если же девушка колеблется, то поцелуй убеждает ее больше, чем мольбы. Бывает и так, что девушка, желая уступить, все-таки предпочитает сделать вид, будто ее взяли силой, чтобы избежать упреков в добровольном согласии. Поэтому не медли, даже если ты видишь, что она сопротивляется тебе, однако внимательно следи за тем, как она сопротивляется,— здесь уже необходимо чутье. Не применяй силы, если ее сопротивление упорно,— это значит, что она еще не покорилась. Но коли ты чувствуешь, что девушка слабеет, не упусти случая доиграть свою роль до конца.

XI

— Ты даешь мне великолепные советы, Клиний,— сказал я,— и мне бы очень хотелось воспользоваться ими. Но я боюсь, как бы достигнутый успех не послужил началом больших несчастий, ввергнув меня в еще бо́льшую любовь. Ведь если это наваждение вырастет, то что же мне делать? Жениться я не могу. В жены мне предназначена другая девушка. Отец тверд в своем намерении женить меня на ней, и намерение это справедливо, потому что моя будущая жена не чужестранка, она не безобразна, отец не продает меня за богатство, как это делают с Хариклом, он отдает мне в жены свою дочь, и притом красавицу. О боги! Она и вправду казалась мне красавицей до тех пор, пока я не увидел Левкиппу. Теперь же я слеп к ее красоте, только Левкиппу я вижу. Я между двух огней, с одной стороны Эрот, с другой — отец. Сыновний долг вступил в борьбу с огнем любви. Как разрешить этот спор по справедливости? Кто победит: необходимость или природа? Я бы и хотел, отец, быть тебе послушным сыном, но твой противник сильнее. Он терзает меня, угрожает стрелами, огнем. Если я пытаюсь ослушаться его, он жжет меня.

XII

Так мы сидели и рассуждали. Вдруг вбегает мальчик, один из рабов Харикла, и по лицу его видно, что он принес плохую весть. Клиний тотчас это понял:

— С Хариклом стряслась беда! — вскричал он.

— Харикл мертв! — почти одновременно с Клинием воскликнул раб.

При этом известии Клиний лишился дара речи и остался недвижим, словно пораженный ударом грома. Раб же начал рассказывать:

— Он сел на твоего коня, Клиний, и поначалу конь шел медленно. Сделав два или три круга, Харикл остановил коня, чтобы обтереть с него пот, но не спешился, а поводья отпустил. Он обтирал пот с боков коня, как вдруг сзади послышался какой-то шум. Перепуганный конь встал на дыбы и, обезумев, пустился вскачь. Ужаленный страхом, он летел стрелой, выгнув шею, закусив удила, грива его развевалась по ветру. Ноги его словно устроили состязание между собой,— задние ускоряли бег передних, как будто стремясь обогнать их. Из-за этого конь

несся неровным шагом, хребет его изгибался то вверх, то вниз, подобно кораблю во время бури, когда он то вздымается на волне, то проваливается вниз. Злополучный Харикл, попавший во власть этой бури, был выбит из седла и то оказывался у самого хвоста, то вниз головой летел к шее коня. Не будучи в состоянии овладеть поводьями и предав себя вихрю этой скачки, он потерял всякую власть над конем и уповал лишь на волю судьбы. Конь в своем неукротимом беге вдруг свернул с дороги в лес и разбил несчастного всадника о дерево. Харикл вылетел из седла, словно его выбросила метательная машина. На лице его оставили безобразные раны все острые сучки дерева. Поводья, обвившись вокруг тела, не отпускали его, но продолжали волочить Харикла по стезе смерти. Конь, вконец перепуганный падением всадника, почувствовал, что тело несчастного мешает ему продолжать бег, поэтому он стал бить Харикла копытами, пытаясь избавиться от препятствия. Так что никто не узнал бы Харикла по его трупу.

XIII

Убитый горем, молча выслушал Клиний этот рассказ. Придя в себя, он страшно зарыдал и бросился к телу Харикла. Я поспешил за ним, на ходу утешая его по мере своих сил.

В этот момент Харикла внесли на носилках, и нам представилось зрелище душераздирающее: весь он был сплошной раной. Никто из присутствующих не смог сдержать слез. Отец Харикла начал надгробный плач и горестно возопил:

— Каким ты ушел от меня, дитя мое, и каким ты вернулся! Проклятая верховая езда! Ты не умер так, как другие смертные. Твой труп выглядит непристойно. Другие мертвецы хотя бы сохраняют в своем облике что-то знакомое, краски уходят с их лиц, но черты остаются неизменными, и, глядя на них, убитые горем близкие могут утешаться, успокаивая себя тем, что смотрят на спящего. Смерть отнимает у человека душу, но оставляет ему тело. У тебя же судьба отняла все, ты погиб как бы дважды, и телом и душой. Можно сказать даже, что умерла и тень твоя. Унеслась твоя душа, но и тела я не могу найти. Когда же ты, дитя мое, вступишь в брак? Когда же я совершу жертвоприношения в честь твоей свадьбы? О наездник и жених! Жених несостоявшийся, и всадник неудачливый! Могила — твой брачный покой, смерть — твой брак, погребальный плач — твоя

свадебная песнь, рыдания — свадебный гимн. Другое пламя хотел возжечь я в твою честь, о мое дитя! Но завистливая судьба не дала зажечь его, она погасила твою жизнь, а тебе приготовила другие факелы, факелы зла. О горестные факелы! Вместо свадьбы вы будете освещать погребение.

XIV

Так оплакивал сына отец. Клиний же изливал свое горе другими словами (так что происходило нечто вроде состязания в плаче отца и возлюбленного):

— Потерял я своего повелителя! Зачем я только подарил ему этого коня? Ведь я мог подарить ему золотой фиал, чтобы он пил из него, совершал возлияния и наслаждался моим даром, не таящим в себе никакой опасности. А я, вместо этого, подарил сияющему красотой мальчику свирепое чудовище, и еще украсил его нагрудниками, нацепил ему на лоб серебряные бляхи, снабдил его золотыми поводьями! Горе мне, о Харикл, я озолотил твоего убийцу! Конь, ты самое жестокое из всех чудовищ, ты самый неблагодарный, ты слеп к красоте! Твой наездник заботливо обтирал с тебя пот, сулил тебе прекрасный корм, хвалил твой бег, ты же убил его за это. Ты остался бесчувственным к прикосновению такого тела, ты не гордился таким всадником, бессердечный, такую красоту ты низринул на землю! Горе мне, несчастному! Я сам купил убийцу, мужеубийцу!

XV

После погребения я поспешил к Левкиппе. Она гуляла по саду, который окружал наш дом. Сад этот походил на рощу, он услаждал взор всякого, кто на него глядел. С четырех сторон он был обнесен невысокой оградой, а внутри ограды выстроился хоровод колонн, в котором густо теснились деревья, уступая колоннам в высоте. Пышные ветви соседних деревьев сплетались между собой, листья крон перемешивались, цветы и плоды сливались в тесном объятии. Плющ и вьюнок обвивались вокруг мощных стволов, побеги вьюнка виднелись среди густой листвы платана и сбегали вниз по его стволу, плющ взбирался на сосну, заключив ее в свои объятия, став ее опорой и в то же время увенчав ее вершину. Вокруг деревьев, опираясь на

тростник, поднимались виноградные лозы, и тяжелые гроздья сочных ягод свешивались вниз, являя собой как бы кудри растения. Пробиваясь сквозь листву, трепетавшую от порывов ветра, солнечные лучи дрожали на земле.

Рядом сверкали яркими красками розы, нарциссы, фиалки, багрянцем горела земля. Чашечки розы и нарцисса по форме одинаковы, это финал цветка; но лепестки розы и нарцисса как бы дополняют друг друга своими цветами, лепесток розы, у основания своего молочно-белый, переходит в кровавый пурпур, а лепесток нарцисса того же цвета, что нижняя часть розового лепестка. У фиалки нет чашечки, и цвет ее напоминает сверкающую в безветрии морскую гладь. Среди великолепия цветов бил ключ. Влага его, заключенная в четыре стены искусно сделанного бассейна, была зеркалом для цветов, так что создавалось впечатление, будто у нас не одна роща, а две: одна настоящая, а другая — существующая в отражении.

Порхали по саду птицы, одни, ручные, довольствовались кормом, которым услаждали их люди, другие вольно порхали в вершинах деревьев. Одни заливались трелями, другие радовали взор красой оперения. Цикады и ласточки напевали о любви Зари, о пиршестве Терея. Павлины, лебеди и попугаи были ручные — лебедь плавал по водной глади, попугай жил в клетке, которая висела на дереве, павлин ходил по земле, волоча по цветам свой хвост. Сверкали цветы, подобные в своем блеске крыльям птиц.

XVI

Прежде чем заговорить с Левкиппой о делах любви, мне хотелось ее к этому подготовить. Я начал беседовать с Сатиром, причем повод для этой беседы подал мне павлин. Левкиппа в это время прогуливалась с Клио и остановилась, привлеченная зрелищем, которое являл собой распустившийся хвост павлина.

— Павлин делает это, конечно, не без умысла,— сказал я,— он знает толк в любовных делах. Именно поэтому он и прихорашивается, пытаясь таким способом привлечь к себе возлюбленную. Видишь на соседнем дереве паву? (Я показал ее Сатиру.) Ей-то он и демонстрирует свою красоту, распуская пестрый луг перьев. Но его луг блещет более красивыми цветами, чем настоящий,— золотом изукрашены его перья, золото заключено в пурпурные кольца, и на каждом пере глаз.

XVII

Сатир с полуслова понял мой замысел и, чтобы дать мне возможность продолжить разговор на эту тему, воскликнул:

— Неужели же Эрот обладает такой силой, что его огонь сжигает даже птиц?

— Не только птиц,— в этом я не нахожу ничего удивительного, потому что он ведь и сам крылат,— ответил я.— Но ему подвластны и змеи, и растения, и, мне кажется, даже камни. Например, магнесийская руда влюблена в железо,— как только она его увидит, она его касается, влечет его к себе, словно у нее есть огонь любви. Разве нельзя сравнить это с поцелуем?

А что рассказывают ученики мудрецов о растениях? Я бы не поверил им, если бы того же не говорили и дети земледельцев. Оказывается, что растения тоже влюбляются друг в друга, причем особенно страдают от любви финиковые пальмы. Среди них есть деревья мужского и женского пола. Бывает так, что они влюбляются друг в друга, и если пальму-женщину сажают далеко от того места, где растет ее возлюбленный, она начинает увядать. Но земледелец понимает причину печали растения, он выходит на такое место, откуда можно обозреть пальму со всех сторон, и смотрит, в какую сторону она склонилась. А пальма склоняется в сторону возлюбленной. Выяснив направление, земледелец вылечивает болезнь дерева. Он срезает побег пальмы-женщины и прививает его к сердцу любимого. Так земледелец исцеляет душу дерева, и тогда умирающее тело начинает воскресать, наливается жизненными соками и опять оживает.— такова радость соединения с возлюбленной. Это брак растений.

XVIII

Бывает, что воды сливаются в браке при посредстве моря. Элидский поток, например, влюблен в Сицилийский источник. Среди морской пучины мчится этот поток, словно по равнине. И море не заливает его своей соленой волной, но разверзает пучину, чтобы освободить ему путь, так что расселина его становится руслом для одержимого любовью потока. Море сочетает браком и Алфея, провожая его к Аретузе. Во время Олимпийских празднеств к потоку собираются люди и бросают в него разные подарки, он же стремительно несется с ними прямо к своей возлюбленной и спешит передать ей свадебные дары.

Другого рода таинства любви происходят у пресмыкающихся, причем вступают в брак не только однородные из них, но и принадлежащие к разным видам. Гадюку влечет к себе мурена, хотя гадюка живет на земле, а мурена — морская змея, причем она змея по виду, а используется в пищу как рыба. Когда приходит пора им вступить в брак, гадюка выходит на берег моря и свистит в сторону моря, подавая таким образом знак мурене, а мурена понимает этот условный знак и выплывает из волн морских. Но мурена не идет сразу к своему жениху, потому что знает,— в зубах его смертельный яд, она вылезает на какую-нибудь скалу среди морских волн и там сидит в ожидании того, когда ее жених освободит от яда свою пасть. Так они стоят друг против друга, она на скале, а он на берегу, и смотрят один на другого. Когда же влюбленный избавится от того, чего страшится его невеста, и она убедится, что смерть уже покинула уста ее возлюбленного и исторгнута на землю, мурена спускается со скалы в море, плывет к берегу, выбирается из воды и обвивается вокруг возлюбленного, не страшась более его поцелуев.

XIX

Рассуждая обо всем этом, я все время посматривал на девушку, стараясь понять, как она относится к моим россказням на любовные темы. И мне показалось, что она внимала мне не без удовольствия.

И блеск павлиньих перьев, казалось мне, не мог сравниться со сверкающей красотой Левкиппы. Прелесть ее тела превосходила великолепие луговых цветов. Лицо ее было цвета нарциссов, розы цвели на ее ланитах, фиалковым цветом мерцали ее глаза, а кудри вились пышнее, чем плющ. Все цветы цвели на луге ее лица.

Немного погодя Левкиппа ушла,— наступил час, когда она играла на кифаре. Мне же казалось, что она все еще здесь, потому что, уходя, она оставила свой образ в моих глазах.

Мы же с Сатиром принялись хвалить самих себя, я — за свои рассказы, а он за то, что дал мне повод их рассказывать.

I

Продолжая хвалить самих себя, мы пошли в комнату Левкиппы для того, дескать, чтобы послушать ее игру на кифаре,— на самом же деле я просто не мог совладать со своим желанием постоянно видеть девушку. Сначала она спела из Гомера про битву льва с вепрем, потом сладкозвучную песню Музы. Если, отбросив всякие рулады и гармонические ухищрения, передать содержание этой песни прозой, то вот о чем в ней говорилось: «Если бы Зевс пожелал избрать царицу цветов, то царила бы над цветами роза. Роза — украшение земли, краса растений, сокровище среди цветов, румянец лугов, молния красоты. Веющая Эротом, благоухающая лепестками, улыбающаяся Зефиру трепетными листами, она радушно встречает Афродиту». Так пела Левкиппа, мне же казалось, что ее уста подобны розе, словно кто-то придал чашечке цветка очертания губ.

II

Едва Левкиппа перестала играть на кифаре, наступил час обеда. В это время в Тире происходили празднества в честь покровителя виноградных лоз Диониса. Тирийцы считают Диониса своим богом, ведь именно в Тире сложили миф о Кадме. В нем рассказывается о том, как возник этот праздник. Когда-то люди не знали, что такое вино, ни темное душистое, ни собранное с лоз Библоса, ни маронское из Фракии, ни хиосское, ни икарское островное; все эти вина переселились в разные края из Тира, где выросла та виноградная лоза, что явилась им всем матерью. Говорят, что некогда жил один гостеприимный пастух,

которого афиняне называют Икарием, о нем и сложили миф, подобный существующему в Аттике. К этому пастуху пришел как-то Дионис, и пастух радушно предложил ему нехитрое угощение, что даст земля и упряжка волов, а напиток у людей и у волов был тогда один и тот же,— вина-то еще не знали. Дионис похвалил пастуха за гостеприимство и в знак своего расположения поднес ему чашу, полную вина. Пастух осушил чашу, обезумел от восторга и говорит богу:

— Откуда у тебя, чужестранец, эта пурпурная влага? Эта сладкая вода цвета крови? По земле она не течет,— обыкновенная вода, разливаясь в груди, не дает такого наслаждения. Твоя же влага не только услаждает вкус, но и обоняние радует. Если коснуться ее, она холодна, но, попадая в желудок, она разжигает там огонь радости.

И Дионис ответил:

— Это влага винограда, его кровь.

Потом он подвел пастуха к виноградной лозе, взял гроздь, выжал из нее сок и, указав на лозу, сказал пастуху:

— Вот влага и источник ее.

Так, согласно тирийскому сказанию, пришло к людям вино.

VII

В честь Диониса каждый год в определенный день справляют праздник. Находясь в добром расположении духа, отец не пожалел ничего для того, чтобы устроить роскошный обед, и поставил в честь Диониса дорогую священную чашу из узорного хрусталя, соперничать с которой могла только чаша Главка Хиосского. Из нее как бы росли виноградные лозы, и свешивающиеся по бокам грозья винограда увенчивали ее края. Виноград еще не созрел и оставался неспелым, пока чаша была пуста; когда же ее наполняли вином, виноград понемногу темнел и созревал на глазах. На лозе был вырезан Дионис, чтобы он покровительствовал взращиванию лозы.

Уже было выпито немало вина, и я смотрел на Левкиппу не отрываясь. Эрот и Дионис — жестокие божества, они приводят душу в состояние безумия и любовного исступления. Эрот жжет душу своим огнем, а Дионис подливает в этот огонь горючие вещества в виде вина, ведь вино — это пища любви. Левкиппа тоже осмелела и не таясь смотрела на меня. Так прошло десять дней. Мы лишь смотрели друг на друга и ни на что другое не решались.

IV

Я рассказал обо всем Сатиру и попросил его помочь мне. Но Сатир, по его словам, догадался о моих чувствах раньше, чем я рассказал ему о них,— он только не решался признаться мне в этом, видя, что я стараюсь скрыть случившееся. Ведь если человек любит тайком, он сочтет всякого, кто обнаружит его страсть, хулителем и возненавидит этого человека.

— Стечение обстоятельств,— сказал Сатир,— благоприятствует нам. Служанка Левкиппы Клио, на попечении которой спальня девушки, стала моей любовницей. Я исподволь подготовлю ее к тому, чтобы она стала нашей помощницей. Но пора и тебе от томных взглядов перейти к словам, которые пронзили бы ее. После этого приступай к делу. Дотронься до ее руки, сожми ей пальчик и, продолжая сжимать его, вздохни. Если она стерпит все это, и не без удовольствия, тогда уже твое дело назвать ее владычицей твоей души и поцеловать в шею.

— Клянусь Афиной,— воскликнул я,— твои наставления звучат убедительно. Но вдруг случится так, что я малодушничаю, и робость сделает меня слабым борцом Эрота.

— Эрот, друг мой прекрасный, не выносит робости,— ответил мне Сатир.— Ты вспомни, какой у него воинственный вид: лук, колчан, стрелы, факел,— все в его облике исполнено мужества и отваги. В тебе живет такой бог, а ты робеешь и боишься чего-то! Смотри, не вздумай обмануть его ожидания! Вначале я тебе помогу. Как только будет удобно, я постараюсь увести Клио, чтобы ты смог остаться наедине с Левкиппой.

V

С этими словами Сатир ушел. Я остался один и под влиянием Сатира стал сам себя уговаривать стать посмелее. «До каких же пор, малодушный, ты будешь молчать? Можно ли быть таким робким воином столь отважного бога? Уж не ждешь ли ты, чтобы девушка подошла к тебе первой? Где твой разум, злополучный? — продолжал увещевать я себя.— Почему ты не любишь ту, которую тебе положено любить? Ведь рядом с тобой есть другая красивая девушка,— ее люби, на нее смотри, на ней женись». Мне уже казалось, что я убедил себя, когда вдруг словно из самой глубины моего сердца отозвался Эрот:

— Неужто, дерзкий, ты собираешься бороться со мной и осмеливаешься вступить со мной в бой? Осененный крыльями, я посылаю из лука разящие стрелы, я сжигаю огнем. Как же ты скроешься от меня? Если убережешься от стрел, тебя настигнет огонь. Если благоразумием своим ты потушишь его, я настигну тебя в полете.

VI

Погруженный в раздумья, я и сам не заметил, как оказался лицом к лицу с Левкиппой,— при виде ее я сначала побледнел, а затем покраснел. Левкиппа была одна, даже Клио не сопровождала ее. И несмотря на это, я так оробел, что не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Здравствуй, владычица.

В ответ на мои слова она улыбнулась, причем улыбка ее сказала мне, что девушка прекрасно поняла, в каком смысле я употребил слово «владычица».

— Я твоя владычица? — удивилась она.— Не говори так.

— Да, кто-то из богов продал меня тебе, как Геракла Омфале.

— Ты говоришь о Гермесе? — смеясь, сказала она.— Ведь именно он исполнял это поручение Зевса.

— Причем тут Гермес? Зачем ты шутишь? Ты ведь прекрасно знаешь, о чем я говорю.

Слово за слово мы продолжали разговор, как вдруг на помощь мне пришло провидение.

VII

Накануне около полудня приключилось такое происшествие: Левкиппа играла на кифаре, рядом с ней сидела Клио, а я, по обыкновению, прогуливался рядом: вдруг, откуда ни возьмись, прилетела пчела и ужалила Клио в руку. Клио закричала, а Левкиппа вскочила, отложила кифару и, склонившись над ранкой, стала рассматривать ее, при этом она успокаивала Клио. Левкиппа обещала произнести два слова, которые сразу успокоят боль,— какая-то египтянка научила ее заговаривать раны от укусов пчел и ос. Одновременно Левкиппа напевала что-то, и вскоре Клио сказала, что чувствует облегчение.

Так и сегодня. Пчела или оса долго с жужжанием кружилась вокруг меня и наконец задела мою щеку. Я сделал вид,

что она ужалила меня, схватился за щеку и принялся стенать и жаловаться. Левкиппа тотчас подбежала ко мне, отняла от лица мою руку и стала допытываться, куда меня ужалила оса.

— В губы,— ответил я.— Почему же ты не заговариваешь боль, милая?

Левкиппа подошла ко мне еще ближе и приложила свой рот к моему, чтобы начать ворожбу,— нашептывая что-то, она коснулась губами моих губ. И тогда я тихонько стал целовать ее, стараясь, чтобы звуки поцелуев не были слышны. Губы ее то приоткрывались, то смыкались, она что-то шептала, но, замирая на наших устах, заговор превращался в поцелуи. Я обнял ее и уже не старался скрывать, что целую ее.

— Что ты делаешь? — спросила меня Левкиппа.— Ты тоже заговариваешь ранку?

— Я целую исцелительницу,— ответил я,— за то, что она облегчила мои страдания.

Она поняла меня и улыбнулась, а я, ободренный этой улыбкой, продолжал:

— Увы, милая, я опять ранен, на этот раз еще опаснее. Рана поразила мое сердце, и оно молит тебя успокоить боль волшебным заговором. Но на твоих губах тоже пчела, мед струится с них, и ранят твои поцелуи. Я умоляю тебя, начни снова колдовство и не торопись кончить, а то снова разболится моя рана.

С этими словами я крепче обнял ее, стал целовать со всей страстью, и она была послушна мне, хотя, конечно, сопротивлялась немного.

VIII

В это время издали показалась служанка, и нам пришлось отойти друг от друга,— я с трудом оторвался от Левкиппы, а как она, не знаю. Все же мне стало легче, я преисполнился надежд, я чувствовал лежащий на моих губах поцелуй как некое тело, несущее в себе наслаждение, особенно острое, когда его испытываешь впервые. Ведь поцелуй рождает самая прекрасная часть человеческого тела: уста — это источник слов, а слова — это тень души. Слияние уст переполняет восторгом и влечет душу к поцелуям. Мое сердце не знало доселе подобного наслаждения; тогда-то я и понял, что никакую радость нельзя сравнить с поцелуем любви.

IX

Вскоре наступил час обеда, и снова вино полилось рекой. Наш виночерпий Сатир прибегнул к следующей любовной уловке: он подменил кубки — мой подал Левкиппе, а ее — мне, налил нам обоим вина, разбавил его и поставил кубки перед нами. Я следил за Левкиппой, когда она пила, чтобы прикоснуться к тому же краю кубка, которого касались ее губы, при этом я как бы целовал край кубка. Когда Левкиппа увидела это, она поняла, что я целую даже след ее губ. Сатир, наш сообщник, снова обменял кубки. И вдруг я увидел, что Левкиппа подражает мне и делает то же самое,— радости моей не было предела. Мы обменялись кубками в третий раз, потом в четвертый, и весь остальной обед провели, обмениваясь поцелуями таким образом.

X

После обеда Сатир подошел ко мне и сказал:

— Теперь наступил самый подходящий момент для того, чтобы ты действовал как подобает мужчине. Ты знаешь, что мать Левкиппы нездорова и лежит у себя в комнате; Левкиппа, прежде чем лечь спать, будет гулять без нее в сопровождении одной только Клио; ее я беру на себя, отвлеку разговором и уведу.

Мы с Сатиром разошлись в разные стороны и стали выслеживать, он — Клио, а я — Левкиппу. Все случилось именно так, как он предсказал. Клио исчезла, а Левкиппа осталась в саду одна.

Я подождал, пока сумерки сгустились, набрался храбрости и, не мешкая, направился к девушке, как воин, предвкушающий победу и не испытывающий страха перед боем. Я был вооружен до зубов: вином, любовью, надеждой, нашим уединением. Не говоря ни слова, так, словно мы обо всем заранее договорились, я обнял девушку и стал ее целовать. Я уже готов был достойно завершить дело, как вдруг позади нас послышался какой-то шум. В испуге мы отскочили друг от друга, она бросилась бежать в свою спальню, а я — в противоположную сторону. В отчаянии от того, что такое прекрасное дело пришлось прервать, я проклинал шум. Тут я налетел на Сатира, который шел навстречу мне, и на лице его было написано удовольствие. Скорее всего, он наблюдал за нами и, спрятавшись за дерево, внимательно следил за тем, чтобы нам не помешали. Увидев, как кто-то приближается, он нарочно произвел шум, чтобы предупредить нас.

XI

Прошло несколько дней, и отец неожиданно стал готовиться к моей свадьбе, хотя до назначенного срока оставалось еще время. Причина этой поспешности крылась в сновидениях, которые не на шутку встревожили его. Ему снилось, что он уже справляет нашу свадьбу, зажег факелы, но огонь почему-то погас: подобные предзнаменования заставили его поторопиться. Он назначил свадьбу на завтра. Каллигоне купили необходимые для вступления в брак одежды: ожерелье из цветных камней, пурпурное платье, украшенное золотом в тех местах, где обыкновенные платья украшались пурпуром. Камни соревновались друг с другом в блеске своих цветов: гиацинт был словно роза среди камней, в золоте отливал багрянцем аметист. В середине же соединялись между собой три камня, заимствующие оттенки друг у друга,— у основания черный камень, затем как бы выливающийся из него блеск белизны и увенчивающий эти два цвета пурпур. Оправленный в золото, камень походил на глаз.

Платье было окрашено не простым пурпуром, но тем, который, согласно тирийскому преданию, нашла собака одного пастуха. В такой пурпур до сих пор окунают пеплос Афродиты. Ведь было время, когда людям была неизвестна красота пурпура,— маленькая витая раковина скрывала ее в своем завитке. Однажды рыбак выловил такую раковину. Сначала он подумал, что это рыбка, но, когда понял, что выловил лишь какую-то шершавую ракушку, выбранил свою добычу и выбросил ее как отбросы моря. По счастью, собака нашла ракушку и разгрызла ее,— мгновенно и зубы ее, и губы окрасились кровью цветка, вся пасть собаки обагрилась. Пастух увидел окровавленные губы собаки, решил, что она ранена, и стал смывать кровь морской водой, а она не только не смывалась, но багровела еще ярче. Когда же он дотронулся до нее рукой, тотчас и его рука заалела. И тогда пастух проник в природу раковины,— она выращивала в себе зелье красоты. Он взял клочок шерсти и опустил его в недра раковины, и снова произошло чудо,— шерсть окрасилась в алый цвет, как незадолго до того пасть собаки. Пастух понял, где поселился пурпур. Он поднял несколько камней, разбил ими стены жилища пурпура и обнаружил приют найденного им сокровища.

XII

Отец уже совершал обычные перед свадьбой жертвоприношения. Узнав об этом, я счел себя погибшим и стал всеми силами изыскивать средство, с помощью которого можно было бы отсрочить свадьбу. Пока я усиленно размышлял об этом, в мужской половине дома послышался какой-то шум. Случилось же вот что: когда отец совершал заклание и уже возложил на жертвенник животное, с неба камнем упал орел и похитил священное мясо; все пытались отогнать орла, но безуспешно,— он сумел улететь вместе с добычей. Это показалось дурным предзнаменованием, и свадьбу отложили. Отец созвал прорицателей и ясновидцев и рассказал им о знамении. Они посоветовали умилостивить Зевса Гостеприимца жертвоприношением, причем совершить его надо было в полночь на берегу моря, так как птица полетела именно туда. Я же был несказанно рад случившемуся и расхваливал орла,— видно, по справедливости его считают царем среди птиц,— говорил я. Немного времени прошло, и сбылось то, что предвещало знамение.

XIII

В Визáнтии жил юноша по имени Каллисфен, сирота и богач, необузданный и расточительный. Он прослышал о том, что у Сострата дочь-красавица, и, хотя ни разу в жизни ее не видел, пожелал обязательно на ней жениться. Влюбился понаслышке. Своенравие разнузданных людей таково, что они могут полюбить, довольствуясь одними лишь слухами, в то время как обычно нас ввергают в любовь пораженные красотой глаза. Еще до того, как на Византий обрушилась война, он попросил Сострата отдать ему в жены Левкиппу. Сострат же чувствовал отвращение к распутной жизни Каллисфена и отказал ему. Каллисфен разгневался и счел себя оскорбленным, потому что вообразил, что по-настоящему влюблен в девушку. Каллисфену не давал покоя сочиненный им образ девушки, он все добавлял к нему новые красоты. Затаив в сердце злобу на Сострата, он решил отомстить ему за нанесенное оскорбление и удовлетворить свою страсть. В Византии есть закон, согласно которому всякий, кто похитил девушку и успел сделать ее своей женой, карается браком с ней. Именно на него и уповал Каллисфен. Он стал выжидать удобный момент для того, чтобы воспользоваться действием этого закона.

XIV

Шла война, и девушку увезли к нам, но Каллисфен, прекрасно зная все это, не оставил своего замысла. Вскоре судьба помогла ему и вот как. Византияне получили оракул:

> Город на острове есть, в честь дерева названы люди,
> Остров и берег вдали связал меж собой перешеек.
> Радости полный Гефест светлоокой владеет Афиной,
> В городе этом почти жертвой священной Геракла.

Византийцы никак не могли разгадать смысла прорицания. Сострат же (я говорил, что он был стратегом) сказал:

— Мы должны послать жертву Гераклу в Тир. Описание, данное в прорицании, полностью подходит к Тиру. Божество сказало, что люди там называются в честь дерева,— значит, этот остров принадлежит финикийцам, которые заимствовали свое название у финиковой пальмы. Спорят об этом острове земля и море. Море зовет его к себе, он же не обидел ни моря, ни земли. Посреди морской пучины он расположился, но и от земли не ушел окончательно — узкий перешеек, словно шея, связывает его с берегом. Основание его не лежит на дне морском, но течет под ним вода, и под перешейком образуется пролив. Так что зрелище получается необыкновенное: город в море и остров на земле. Гефест владеет там Афиной,— в этих словах заключен намек на оливу и огонь, которые у нас мирно сожительствуют. За оградой есть священное место: там простирает свои блестящие ветви оливковое дерево, а рядом с ним поднимаются языки пламени, которые лижут побеги растения, и сажа питает растение. Такова дружба огня и растения, о которой говорит оракул как о любви Гефеста к Афине.

Херефон, старший стратег, тирец со стороны отца, пришел в восторг:

— Ты замечательно истолковал прорицание,— сказал он.— Однако не одному лишь огню следует удивляться, чудеса заложены и в природе воды. Мне самому довелось наблюдать такое диво: с огнем смешаны волны Сицилийского источника, с самой поверхности воды устремляется ввысь пламя. Причем, если ты коснешься воды рукой, то она оказывается холодной как снег, так что огонь не согревает воду, а вода не тушит огня — они дружны.

Иберийская река на первый взгляд ничем не отличается от любой другой реки, но на самом деле эта река обладает

даром речи. Если ты хочешь услышать журчание ее слов, то подожди немного, до первого порыва ветра, и напряги слух. Если даже легкий ветерок коснется поверхности воды, то речные потоки зазвучат подобно струнам кифары под ударами плектора.

В ливийском порту есть чудо наподобие тех, что бывают на Индийской земле. Ливийские девушки посвящены в тайны воды, хранящей в себе богатство,— спрятанный в ил, укрывается там источник золота. Девушки опускают в воду багор, покрытый смолой, и отпирают речные замки. Золото попадается на багор, как рыба на крючок. Смола становится приманкой для добычи, стоит частицам золота коснуться смолы, как она тотчас увлекает их за собой на берег,— так из Ливийской реки вылавливают золото.

XV

Рассказав обо всем этом, Херефон, с одобрения всех жителей города, отправил в Тир жертву. Не теряя времени, Каллисфен добился того, что был назначен одним из теоров. Вскоре они прибыли в Тир, и Каллисфен, разузнав, где находится дом моего отца, с нетерпением стал поджидать женщин. Они вышли из дома посмотреть на жертвоприношение — в действительности роскошное. Византияне не пожалели благовоний для воскурения, послали и множество цветов. Шафран, кассия, ладан благоухали, сверкали нарциссы, розы, мирты. Дыхание цветов, смешиваясь с благоухающими курениями, возносило в воздух тонкий и сильный аромат, веял ветер радости. Византияне прислали для жертвоприношения много разных животных, среди которых выделялись нильские быки. Египетский бык прославился не только своей величиной, но и окраской. Он обыкновенно очень велик, с массивной шеей, плоской спиной и мощным животом; рога у египетского быка не простые, как у сицилийского, и не безобразные, как у кипрского. Круто поднимаясь над лбом, они постепенно загибаются с обеих сторон, причем концы их находятся на том же расстоянии друг от друга, что и основания. По форме они походят на полную луну. Окраска его как раз та, за которую Гомер хвалил коней фракийского царя. Бык этот шествует с гордо поднятой головой, всем своим видом показывая, что не зря его называют царем среди быков. Если миф о Европе — правда, то нет сомнений в том, что Зевс обратился именно в египетского быка.

XVI

Случилось так, что моя мать была в это время нездорова. Левкиппа тоже притворилась больной и не вышла из дома, так как мы условились встретиться с ней, как только все уйдут. Из-за этого стечения обстоятельств мать Левкиппы вышла из дома с моей сестрой, а не с Левкиппой. Каллисфен, как я уже говорил, ни разу не видел Левкиппу и, конечно, принял мою сестру за нее, тем более что мать Левкиппы он знал в лицо. Он не стал ничего расспрашивать, но, плененный видом Каллигоны, подозвал к себе самого преданного из своих рабов, показал ему девушку, посвятил его в свои планы и велел набрать шайку разбойников, с помощью которых предстояло похитить ее. Через несколько дней как раз должен был состояться большой праздник, во время которого все девушки выходят к морю. Объяснив все это рабу, Каллисфен быстро справился с данным ему поручением и ушел.

XVII

Еще в Византии Каллисфен снарядил собственный корабль и привел его в Тир на случай, если его предприятие увенчается успехом. Другие теоры уже отплыли, а Каллисфен тоже немного отошел на своем корабле от берега; он сделал это для того, чтобы все думали, будто он последовал за своими согражданами, и не застали его на месте преступления во время похищения девушки, если судно его будет находиться рядом с Тиром. Он приплыл в тирийскую деревню Сарапту, которая располагалась на берегу моря, там он достал лодку и передал ее Зенону,— так звали раба, которому он доверил свои планы,— чтобы тот организовал похищение. Зенон, силач и пират по натуре, быстро разыскал разбойников в самой деревне и тотчас отплыл с ними в Тир. Неподалеку от Тира есть маленькая гавань и островок (тирийцы называют его могилой Родопиды),— в этой гавани и укрылась лодка.

XVIII

Еще до того как наступил праздник, которого поджидал Каллисфен, случилось происшествие с орлом и прорицанием, о котором я уже рассказывал. На следующий день ночью мы должны были отправиться к морю, чтобы принести жертву богу.

Наши приготовления не укрылись от Зенона. Когда в поздний час мы вышли из дома, он последовал за нами. Только мы ступили на берег, как Зенон подал условный знак, лодка немедленно подплыла к нам, и мы увидели в ней десять юношей. Оказалось, что еще до того, как мы пришли к морю, Зенон устроил там засаду из восьми юношей, одетых в женскую одежду, сбривших бороду, с мечами за пазухой. Они тоже якобы приносили жертву, таким образом скрывая от нас свои истинные намерения. Мы приняли их за женщин. Едва мы начали разжигать костер, как с громкими криками они выскочили из засады и потушили наши факелы. Мы все бросились наутек, а они, обнажив мечи, схватили мою сестру, посадили ее в лодку, тотчас уселись туда сами и исчезли быстрее птиц. Некоторые из нас убежали так быстро, что ничего не видели и не слышали,— те же, кто видел, что произошло, стали кричать:

— Разбойники схватили Каллигону!

Но лодка уже вышла в море. Когда похитители подплывали к Сарапте, Каллисфен издали заметил их, они дали ему условный знак, он поплыл к ним навстречу, принял девушку и тотчас же уплыл с ней в открытое море. Я вздохнул с облегчением, радуясь тому, что мой брак расстроился так неожиданно, но в то же время горюя о моей сестре, с которой приключилось такое несчастье.

XIX

Прошло несколько дней, и я сказал Левкиппе:

— До каких же пор, дорогая, мы с тобой будем ограничиваться одними поцелуями? Поцелуи — это прекрасно, но ведь это же только начало! Давай прибавим к ним что-нибудь более существенное. Мы должны дать друг другу залог верности. Ведь если Афродита введет нас в свои таинства, нам ничто не будет страшно.

Я то и дело нашептывал Левкиппе подобные речи и добился наконец того, что она согласилась принять меня ночью в своей спальне. Мы надеялись на помощь Клио, которая охраняла спальню Левкиппы. Опочивальня состояла из четырех комнат: две из них были справа и две слева; их разделял узкий коридор, в начале которого и располагалась единственная дверь. Все это помещение занимали женщины, две внутренние комнаты, находившиеся друг против друга, поделили между собой Левкиппа и ее мать; из двух других, помещавшихся у самой двери, одну, соседнюю с комнатой Левкиппы, занимала Клио, а другую

отвели под кладовую. Укладывая Левкиппу спать, мать всегда запирала изнутри входную дверь, а снаружи ее запирал кто-нибудь другой и бросал ключи внутрь. Мать девушки хранила их у себя до восхода солнца, затем звала того, кто должен был следить за ключами, и передавала их ему с тем, чтобы он отпер дверь. Сатир сумел сделать точно такие же ключи и попробовал отпереть ими дверь,— когда он увидел, что его ключи точно подходят к замку, он уговорил Клио (с согласия Левкиппы) не противодействовать осуществлению нашего замысла. Так и договорились.

XX

Был у них раб по имени Комар, он вечно совал во все свой нос, болтал без умолку, обжирался, и вообще не было недостатка, которым он не обладал. Мне казалось, что он исподтишка наблюдает за нами. Естественно, что больше всего его тревожило, как бы не случилось чего ночью, поэтому он не спал до рассвета, широко растворив двери своей комнаты,— в таких условиях было очень трудно сохранить все втайне от него. Сатир, желая подольститься к нему, часто заигрывал с ним, называл его комаром и подшучивал над этим именем. Комар, догадываясь, что Сатир что-то затеял, отшучивался, однако держался стойко. Как-то он сказал Сатиру:

— Раз ты все время насмехаешься над моим именем, давай, я расскажу тебе басню про комара.

XXI

— Лев часто упрекал Прометея. «Ты,— говорил Лев титану,— создал меня большим и красивым, вооружил мои челюсти зубами, укрепил ноги когтями, ты дал мне силу, бóльшую, чем у всех остальных зверей,— и вот, такой, как я есть, я боюсь петуха!»

Предстал перед ним Прометей и сказал: «Зачем ты понапрасну укоряешь меня? Я сделал для тебя все, что мог, и нет моей вины в том, что у тебя робкая душа».

Лев зарыдал, стал бранить себя за трусость — и наконец решил умереть. В таком состоянии он встретился со Слоном, поздоровался и остановился, чтобы побеседовать с ним. Лев обратил внимание на то, что уши Слона непрестанно шевелились,

и спросил его: «Что с тобой? Почему твои уши ни минуты не находятся в покое?»

Слон, показав Льву на пролетавшего в это время мимо его ушей комара, ответил: «Видишь ты эту жужжащую малявку? Если, не дай бог, она залетит мне в ухо, я погиб».

Лев обрадовался и воскликнул: «Зачем же мне умирать, когда я настолько же счастливее слона, насколько петух больше комара?»

— Видишь,— продолжал Комар,— какова сила комаров, если они даже слона могут испугать?

Сатир отлично понял намек, содержащийся в басне Комара, и ответил ему, улыбнувшись:

— Послушай и мой рассказ о комаре и льве, который я узнал от одного философа, и мы сквитаемся.

XXII

— Как-то хвастунишка комар говорит льву: «Небось ты думаешь, что и для меня ты царь, как для всех зверей? Но ты ведь и не красивее, чем я, и не храбрее, и ростом не больше. Прежде всего, в чем состоит твое мужество? Ты царапаешься когтями, пускаешь в ход зубы. Но разве не то же самое делает женщина, когда она дерется? Во-вторых, где твоя красота и рост? Действительно, у тебя широкая грудь, могучие плечи и масса волос на шее. Но ты не видишь, насколько ты безобразен сзади. Мой же рост так же безграничен, как воздух, который преодолевают мои крылья. Моя красота — это убор лугов. Луговые травы служат мне одеждой, когда я погружаюсь в них, желая отдохнуть от полета. Смешно было бы усомниться в моей воинственности: я весь представляю собой орудие войны. Когда я готовлюсь к бою, то даю сигнал на трубе, причем и труба и стрелы — это мое жало. Так что я одновременно и трубач и лучник. Я и стрела и лук. Запускают меня в воздух мои крылья, и в то же время я сам становлюсь стрелой и наношу рану. Раненый тотчас вскрикивает и начинает искать обидчика. Я же, присутствуя, отсутствую, я и остаюсь, и исчезаю. Я задеваю человека крылом и смеюсь, наблюдая за тем, как он пляшет от моих укусов. Но что говорить без толку! Давай сразимся!»

С этими словами комар бросается на льва и начинает кусать в глаза и во все безволосые части его морды, он кружится вокруг льва и при этом не перестает жужжать. Лев рассвирепел, завертелся волчком и, лязгая зубами, стал глотать воздух.

Комар, в восторге от того, что вызвал такой гнев льва, кусал его даже в самые губы. Лев сгибался во все стороны, ища источник своих страданий, а комар, словно борец, закаляющий свое тело в упражнениях, проскальзывал между зубами льва, между челюстями, которыми тот напрасно щелкал. Лев уже выдохся в тщетной борьбе с комаром, устал без толку лязгать зубами и прекратил сопротивление, обессиленный своим гневом. Комар же продолжал кружиться вокруг его головы и наконец затрубил победную песнь. Сознание успеха настолько опьянило его, что в своей самоуверенности он потерял всякое чувство меры и, увеличив круг своего полета, попал в паутину, запутался в ней, и паук заметил его. Комар не мог вырваться из паутины и, объятый горем, воскликнул: «О неразумный! Я вызывал на бой самого льва, а попался в сети ничтожного паука!»

— Не следует ли и тебе,— со смехом обратился Сатир к Комару,— опасаться паука?

XXIII

Прошло несколько дней, и Сатир, зная, что Комар находится в постоянной зависимости от прихотей своего желудка, купил сонные порошки и пригласил Комара поужинать. Комар сразу заподозрил что-то неладное и сначала отказался от приглашения. Но затем ненасытный его желудок одержал верх, и он согласился. Он пришел к Сатиру, отужинал вместе с ним и собрался было уже уходить, когда Сатир в последний кубок подсыпал ему приготовленное зелье. Комар осушил этот кубок, и едва добрался до своей комнаты, как сон сморил его. Сатир немедленно прибежал ко мне и сказал:

— Уснул твой Киклоп. Ты же сравняйся в доблести с Одиссеем.— Он еще не договорил, как мы оказались у дверей моей возлюбленной. Сатир остался снаружи, а я вошел с помощью Клио, бесшумно и дрожа от радости и страха одновременно. Страх перед опасностью приводил в замешательство мою полную надежд душу, но в то же время упования на успех побеждали страх. Так смущались мои надежды и радовались мои опасения.

Едва я подошел к ложу девушки, как с ее матерью приключилось следующее: ей приснился страшный сон. Будто какой-то разбойник с обнаженным мечом похищает ее дочь, при этом он опрокидывает девушку навзничь и рассекает ей живот снизу, от паха; перепуганная до полусмерти этим сном, она вскочила с постели и, в чем была, ворвалась в спальню дочери, располо-

женную рядом, в то время как я только что лег. Услышав скрип открываемых дверей, я немедля встал, но было уже поздно,— мать оказалась у самого ложа. Я мгновенно сообразил, что дело плохо, и бросился к дверям. Перепуганный и дрожащий, я кинулся к Сатиру, и мы в темноте пустились бежать к нашему жилищу.

XXIV

Мать Левкиппы упала от внезапного головокружения, а придя в себя, схватила Клио и принялась бить ее, потом стала рвать на себе волосы и запричитала, обращаясь к дочери:

— Ты лишила меня всех надежд, Левкиппа,— всхлипывала она,— увы, Состратт, ты воюешь в Византии за неприкосновенность других браков, а в это время в Тире ты побежден и кто-то разрушил брак твоей дочери. О, я жалкая! Не думала я, не гадала увидеть такой брак! Лучше бы тебе остаться в Византии! Лучше бы ты претерпела насилие по праву войны! Лучше бы какой-нибудь фракиец изнасиловал тебя! Подобное несчастье не сулило бы тебе позора. Теперь же, злополучная, ты опозорена в твоем несчастье! Обманывали меня все мои сны, не приснилась мне лишь истина! С бóльшим позором разрезали тебе чрево, чем мне привиделось во сне. Рана, нанесенная тебе, страшнее, чем рана от меча. Я не знаю даже твоего обидчика, не знаю, как все это случилось. Горе мне, горе! Уж не раб ли это был?

Видя, что я успел скрыться, Левкиппа набралась храбрости и говорит:

— Не оскорбляй моей девственности, мать. Я не заслужила твоих упреков. Я не знаю, кто это был, бог, герой или разбойник. Я лежала и так перепугалась, что от страха не могла даже кричать. Ведь страх сковывает язык. Но одно я знаю,— никто не тронул моей девственности.

Панфия снова упала и принялась стенать.

Оставшись вдвоем, мы с Сатиром стали обсуждать, что же делать дальше, и решили, что единственный выход — это бежать, причем еще до зари, прежде чем подвергнутая пыткам Клио во всем сознается.

XXV

За словами тотчас последовало дело. Мы не стали откладывать побега и, сказав привратнику, будто идем к любовнице, поспешили к дому Клиния. Была уже полночь, и привратник

открыл нам без всякой охоты. Спальня Клиния находилась наверху,— услышав наш разговор, он встревожился и тотчас спустился вниз. В этот момент мы заметили, что нас догоняет Клио.

Оказывается, она тоже решила бежать. Мы все заговорили в один голос, и вот Клиний услышал сразу о том, что случилось с нами, мы — о том, как убежала Клио, а она о наших планах. Войдя в дом, мы стали обсуждать случившееся и сказали Клинию, что не находим другого выхода, кроме побега. Клио сказала:

— Я тоже с вами. Если я останусь здесь до зари, то меня ждет смерть. Хотя и смерть слаще, чем пытки.

XXVI

Клиний взял меня за руку, увел подальше от Клио и сказал:

— Мне кажется, что я нашел наилучший выход,— ее мы незаметно отправим, а сами несколько дней подождем, но если придется все же бежать, то хорошенько подготовимся и тронемся в путь. Ведь вы сами говорите, что мать Левкиппы не знает, кто нанес ее дочери оскорбление, а поскольку не будет Клио, она и не узнает. Может статься, что вы и Левкиппу убедите последовать за вами.

Вот что сказал мне Клиний, при этом он добавил, что, возможно, и сам разделит с нами путешествие. На этом и порешили. Клиний вызвал своего раба и поручил ему посадить Клио на какой-нибудь корабль. Когда Клио ушла, мы стали думать о том, как быть дальше. В конце концов мы остановились на том, что попытаемся уговорить Левкиппу бежать вместе с нами, если она согласится, то так и сделаем, если же нет, то мы и сами останемся, вручив себя Судьбе. Ночь была уже на исходе, когда мы легли спать, а утром вернулись домой.

XXVII

Панфия, как только встала, приказала позвать Клио, чтобы подвергнуть ее пыткам. Но так как Клио не оказалось на месте, Панфия снова бросилась к Левкиппе и принялась за свое:

— Ты скажешь мне наконец, как все это произошло, или нет? И Клио я не вижу.

Левкиппа еще больше осмелела и говорит:

— Что еще ты хочешь от меня? Какие доказательства моей правдивости тебе еще нужны? Если ты хочешь проверить, девственна ли я, то проверяй!

— Только этого еще недоставало! — воскликнула Панфия,— чтобы мы опозорились при свидетелях! — С этими словами она рванулась вон из комнаты.

XXVIII

Левкиппу, ошеломленную криком матери, обуревали самые разные чувства: она печалилась, стыдилась, возмущалась. Она испытывала печаль, потому что была поймана, стыдилась, потому что ее поносили, возмущалась оттого, что ей не верили. Стыд, печаль и гнев — это три волны души. Вливаясь через глаза, стыд уничтожает их свободу; печаль заливает грудь и тушит искры души; гнев же, взрывающийся в сердце, топит рассудок в пене безумия. И все эти три волны рождаются от слова. Слово, словно стрела, пущенная из лука, попадая в цель, вонзается в душу и наносит ей рану. Стрелы брани влекут за собой гнев, если же слово вскрывает твое несчастье, то возникает и объемлет душу печаль. Стрела упрека наносит рану, называемую стыдом. И хотя раны, нанесенные словами, бескровны, но след их очень глубок. И лучшее средство отразить стрелы слов — это пустить в ответ такие же. Ядовитое оружие языка страшится только одного противоядия, содержащегося в языке другого. Только так можно смирить раздражение опечаленной души. Если же, в силу необходимости, пришлось смолчать перед более могущественным противником, то подобное молчание растравляет раны. Ведь волны страдания, поднявшиеся от слов, разгуливаются еще сильнее, если они не могут освободиться от пены. Именно поэтому Левкиппа чувствовала себя такой несчастной, не будучи в состоянии отразить натиск матери.

XXIX

Случилось так, что именно в тот момент, когда Левкиппа остро переживала обиду, я послал к ней Сатира, чтобы он спросил ее, хочет ли она бежать вместе с нами. Она, еще не дослушав до конца предложение Сатира, взмолилась:

— Ради всех богов, молю вас, избавьте меня от матери, как хотите. Если вы оставите меня здесь, а сами исчезнете, я

надену на шею петлю и хоть таким способом, но освобожу свою душу.

Тяжелый груз свалится с моих плеч, когда я узнал, что Левкиппа так ответила Сатиру. Через два дня, дождавшись того, что отец куда-то уехал, мы начали готовиться к побегу.

XXX

У Сатира еще оставались те сонные порошки, которыми он усыпил Комара. Прислуживая нам за столом, он незаметно подсыпал зелье в последнюю чашу Панфии и подал ей. Встав из-за стола, Панфия отправилась в свою спальню и тотчас заснула. У Левкиппы в это время появилась уже другая служанка, причем Сатир делал вид, что и в нее он влюблен: эту служанку Сатир тоже усыпил своими порошками, а затем отправился на охоту в третий раз и опоил порошками привратника. У ворот стояла наготове повозка, которую приготовил для нас Клиний, он сам уже сидел в ней, поджидая нас. Все спали глубоким сном, и в первую ночную стражу мы потихоньку вышли из дома,— Левкиппу вел за руку Сатир. Нам повезло и в том отношении, что Комар, который все это время не спускал с нас глаз, именно в этот день ушел из дома, выполняя какое-то поручение своей госпожи. Сатир неслышно распахнул двери, мы вышли, быстро достигли ворот и сели в повозку.

Нас было шестеро: Левкиппа, Сатир, я, Клиний и двое его рабов. Мы поехали по Сидонской дороге и прибыли в Сидон на рассвете; не останавливаясь, мы двинулись в Бейрут, рассчитывая найти там стоящий на якоре корабль. И действительно! В Бейруте мы застали корабль, который вот-вот должен был сняться с якоря. Мы даже не стали спрашивать, куда он плывет, но немедленно на него перебрались. Начинало светать, когда мы были готовы к отплытию в Александрию, великий город на Ниле.

XXXI

Увидев море, я очень обрадовался, хотя судно еще не покинуло гавани и покачивалось на волнах. Подул попутный ветер, благоприятный для отплытия, и на корабле началась страшная суматоха. Кормчий отдавал приказы, по палубе взад и вперед сновали матросы, натягивали канаты, вращали рею, спускали парус. Подняли якорь, и отчаливший корабль покинул гавань.

Мы смотрели, как земля медленно исчезает вдали, словно уплывает сама. Все пели пэан и, призывая богов-спасителей, истово молили их о благополучном исходе плавания. Порыв ветра наполнил парус и повлек корабль в открытое море.

XXXII

Случайно по соседству с нами расположился один юноша. Когда наступил час завтрака, он радушно предложил нам разделить с ним трапезу. Сатир стал прислуживать. Мы выложили на середину все, что было у нас, и начали есть и беседовать. Я первый спросил:

— Откуда ты, юноша, и как твое имя?

— Меня зовут Менелай, родом я из Египта. А вы кто такие?

— Я Клитофонт, а он Клиний, мы оба из Финикии.

— По какой же причине отправились вы путешествовать?

— Расскажи нам о себе, тогда услышишь о нас.

XXXIII

— Завистливый Эрот и неудачная охота принудили меня пуститься в путешествие,— ответил Менелай.— Я любил прекрасного отрока, а он был страстным охотником. Я часто отговаривал его, но не мог справиться с его приверженностью к этому занятию. Не будучи в состоянии убедить его оставить охоту, я сам сопровождал его. Как-то мы с ним выехали на охоту верхом, и поначалу, пока мы преследовали мелких зверей, удача сопутствовала нам. Вдруг из леса выбежал вепрь, и мальчик, не раздумывая, бросился вдогонку за ним. Вепрь неожиданно повернул и помчался навстречу охотнику. Но тот не испугался и не повернул вспять, хотя я отчаянно кричал и звал его:

— Осади коня, зверь опасен!

Вепрь сделал рывок и столкнулся с охотником. Когда я увидел это, меня бросило в дрожь. Боясь того, как бы в своем натиске вепрь не поразил коня, я поспешно, не прицелившись достаточно тщательно, пускаю в него стрелу. И она попадает в мальчика!

Может кто-нибудь представить себе, что творилось в моей душе, если она только не покинула меня в тот момент? Но самое трогательное заключалось в том, что, умирая, он обнял

меня, вместо того чтобы возненавидеть своего убийцу, и до последнего вздоха не выпускал из своей руки ту самую руку, которая поразила его.

Родители мальчика повели меня в суд, причем я нисколько не сопротивлялся. Когда мне предоставили слово, я и не подумал оправдываться, но сам сказал, что достоин смерти. Судьи были тронуты моим поведением и присудили меня всего лишь к трем годам изгнания. Теперь этот срок истекает, и я возвращаюсь на родину.

Во время рассказа Менелая Клиний несколько раз принимался плакать, будто бы о Патрокле, а на самом деле, конечно, вспоминал Харикла.

— Ты плачешь от того, что случилось со мной, или мое несчастье напоминает тебе твои собственные переживания? — спросил Менелай у Клиния.

Клиний тяжело вздохнул и поведал Менелаю о смерти Харикла, а потом и я рассказал о своих злоключениях.

XXXIV

Видя, что Менелай совсем пал духом, растравив душу воспоминаниями о возлюбленном, а Клиний утопает в слезах, думая о Харикле, я решил рассеять их грусть и завел речь о любовных утехах. Левкиппы в тот момент с нами не было, она уже спала в каюте. Я, улыбаясь, начал так:

— Ничего не поделаешь, Клиний теперь одержит верх надо мной. Ведь он, по обыкновению, хочет выступить против женщин. Но теперь, когда он нашел себе единомышленника, ему легче будет отстоять свою позицию. Никак не могу взять в толк, почему теперь так распространилась любовь к мальчикам.

— Но разве,— возразил мне Менелай,— эта любовь не превосходит во всех отношениях любовь к женщинам? Мальчики ведь в сравнении с женщинами безыскусственны, а красота их доставляет более острое наслаждение.

— Как более острое?! — воскликнул я.— Ведь красота эта, едва мелькнув, исчезает и не дает любящему возможности насытиться ею. Ее можно сравнить с питьем Тантала. Любовник только начинает наслаждаться красотой возлюбленного, как она уже исчезает, и приходится покинуть волшебный источник, не испив из него. Словно питье жаждущего Тантала. Покидая мальчика, любовник никогда не испытывает полного удовлетворения, он жаждет по-прежнему.

XXXV

— От тебя, Клитофонт,— сказал Менелай,— укрылось самое главное в наслаждении. Влечет к себе то, что не насыщает. То, что постоянно в твоих руках, постепенно пресыщает и теряет свою сладость. Похищенное же всегда ново, и сознание того, что вот-вот оно ускользнет от тебя, вызывает еще больший расцвет страсти. В страхе потери таится нестареющее наслаждение, и чем оно быстротечнее, тем сильнее.

Потому, мне кажется, и роза — самое прекрасное из растений, что красота ее исчезает на глазах. Я полагаю, что двум видам красоты суждено жить среди людей, красоте небесной и красоте земной. Небесная по самой своей природе стремится как можно скорее улетучиться, освободившись от тяготящей ее смертной оболочки. Что касается земной красоты, то она более прочна и своей оболочки долго не покидает. В доказательство того, что красота небесная возносится на небо, я приведу тебе строки Гомера, послушай их:

> Он-то богами и взят в небеса, виночерпцем Зевесу,
> Отрок прекрасный, дабы обитал среди сонма бессмертных.

Между тем ни одна женщина не удостоилась того, чтобы благодаря своей красоте стать небожительницей, а ведь Зевс дарил свою благосклонность и женщинам. Но уделом Алкмены стало горе и изгнание, Даная получила в дар ларец и море. Семела стала пищей огня. И только полюбив фригийского мальчика, Зевс даровал ему небо, чтобы отрок мог жить вместе с ним, разливая нектар; та же, что прежде исполняла обязанности виночерпия, своего места лишилась,— и, думаю, потому, что она была женщиной.

XXXVI

— Именно неумирающая красота женщин представляется мне небесной,— перебил я Менелая,— она непреходяща и тем приближается к божественности, в то время как быстропреходящее подражает природе смертных и является обычным. Да, Зевс полюбил фригийского мальчика и вознес его на небо, но из-за красоты женщин, случалось, Зевс сам покидал небо и спускался на землю. Он мычал из-за женщин, он плясал из-за них,

превратясь в сатира, обращался ради них в золото. Пусть Ганимед разливает вино, ведь среди богов пьет и Гера, и мальчик ей прислуживает. Чувство жалости вызывает во мне его похищение, хищная птица набросилась на него и унесла его на небо, уподобив повешенному, тем самым подвергнув его оскорбительному насилию. Позорное зрелище являл собой висящий в когтях хищника мальчик. Семелу же увлек на небо огонь, а не какая-нибудь злая птица. И не следует тебе удивляться тому, что с помощью огня попадают на небо,— так ведь и Геракл стал небожителем. Если же ты насмехаешься над ларцом Данаи, то почему молчишь о Персее? Алкмене же достаточно и того подарка, что Зевс ради нее украл у солнца целых три дня.

Но оставим мифы и поговорим о самой радости обладания. Должен признаться, что мой опыт в этом деле невелик, так как до сих пор я имел дело лишь с теми женщинами, которые продают утехи Афродиты за деньги. Возможно, человек более сведущий мог сказать бы больше, чем я. Все же я не промолчу о том, что узнал сам.

Заключенное в объятие тело женщины податливо, губы ее нежны при поцелуе. Поэтому, когда обнимаешь женщину, тело твое как будто полностью окутывается ее плотью, и любовник словно погружается в наслаждение. Целуя, она накладывает свои уста на уста возлюбленного как печать, искусны ее поцелуи, она умеет сделать их сладкими. Женщина хочет целовать не только губами, зубы ее тоже участвуют в поцелуе, и она упивается устами любовника, покусывая их. Особая радость таится в прикосновении ее груди. На вершине наслаждения Афродиты она в исступлении обнимает возлюбленного и целует его, близкая к безумию. Языки стремятся коснуться друг друга и, встретившись, нежно ласкаются своими кончиками. Ведь если при поцелуе уста открыты, это еще больше усиливает радость обладания. Когда же предел наслаждения достигнут, женщина тяжело дышит, погруженная в зной страсти. Дыхание ее, слившись с любовным дуновением, на устах встречается с блуждающим на них поцелуем, который ищет дорогу. Поцелуй следует за дыханием и пронзает сердце,— пораженное поцелуем, оно трепещет. Если бы оно не было связано с другими внутренностями, то, без сомнения, выскочило бы из груди вслед за поцелуями.

Мальчики же целуют без всякого искусства, объятия их неловки, притязания Афродиты тщетны, наслаждения никакого.

XXXVII

— Однако ты вовсе не кажешься мне новичком в делах любви,— заметил Менелай,— тебе, оказывается, доподлинно известны все женские ухищрения. Что же, теперь пришла твоя очередь послушать о мальчиках.

Все у женщин поддельно, и речи их, и красота. Если женщина поначалу и кажется красивой, то это лишь следствие многочисленных притираний. Вся ее красота — это мирра, крашеные волосы и прочие выдумки. Если же лишить ее всех этих хитростей, то она уподобится галке из басни, с которой сняли чужие перья.

Красота мальчика не нуждается в помощи благовонной мирры и прочих чужих ароматов,— приятнее всех женских притираний запах пота отроческого тела. Еще до того, как заключить мальчика в любовные объятия, можно бороться с ним на палестре, когда тела сплетаются открыто, и нет в этом переплетении ничего постыдного. В объятиях тело мальчика не расслабляется из-за рыхлости его плоти, крепкие тела борются друг с другом за наслаждение. Поцелуи отрока, в отличие от женщины, бесхитростны, не сыщешь в его губах тех праздных обманчивых ухищрений, которым научены женщины, нет ничего искусственного в поцелуях мальчика,— он целует как дитя. Если бы сгустился нектар, то ты пил бы его с уст возлюбленного. И такие поцелуи не насыщали бы тебя, но вызывали еще бóльшую жажду, и, наконец, ты бы оторвался от источника наслаждения, чтобы не ощутить избыток его.

I

Мы плыли уже третьи сутки, как вдруг среди бела дня сгустился внезапный сумрак и скрыл от глаз синеву неба. Из самой пучины моря поднялся ветер и налетел на наш корабль. Тотчас кормчий приказал повернуть рею. Матросы поспешно стали выполнять его приказ,— они свернули одну часть паруса, потому что сильный ветер не давал возможности спустить его совсем, а другую направили по ветру так, чтобы он благоприятствовал ходу корабля.

Парус наполнился ветром, и корабль накренился, а затем началась сильнейшая качка,— судно то вздымалось на волнах, то стремглав проваливалось вниз; многие из нас подумали, что корабль так и не сдвинется с места, но при каждом порыве ветра будет поворачиваться из стороны в сторону. Мы попробовали перейти на тот борт, который поднимался выше, чтобы, освободив от своей тяжести другой, немного привести судно в равновесие. Но эта попытка не увенчалась успехом, так как наша тяжесть была ничто в сравнении с силой волн, поднимающих ту часть палубы, на которую мы перешли. Некоторое время мы все же старались таким образом справиться с качкой. Вдруг новый порыв ветра обрушился на бок корабля и чуть не погрузил его в пучину,— борт, который до сих пор лежал на волнах, устремился ввысь, а другой, высоко поднимавшийся над волнами, сровнялся с водой. В тот же миг на корабле начались стоны и беготня, все снова бросились на прежние места. Три или четыре раза нам приходилось перебегать с одного борта на другой,— не успевали мы пристроиться с одной стороны, как были вынуждены переходить на другую.

II

Весь день мы перетаскивали наши вещи с места на место, тысячу раз совершали этот утомительный пробег, каждый раз ожидая смерти, и она действительно была рядом. Еще до наступления сумерек солнце совершенно скрылось, и мы видели друг друга словно в лунном свете. Вдруг засверкала молния, раздались мощные раскаты грома, заполнил собой все небо грохот, внизу с ревом сталкивались волны, между небом и морской пучиной завывал ветер. Возникало ощущение, будто кто-то играл на гигантских трубах. Веревки, привязывающие парус, оборвались, заскрипели под ударами ветра снасти. Когда мы услышали, как трещат доски палубы, мы затрепетали от ужаса, что вот-вот выпадут скрепы и корабль рассыплется на части. Скрывшись от потоков ливня под плетеными навесами, которые были устроены на корабле,— запрятавшись там, словно в пещере, мы решили более не бороться с судьбой и отбросили все надежды на спасение. Гигантские волны, бушующие со всех сторон корабля, разбивались друг о друга, то поднимали корабль ввысь, то бросали его в пропасть. Сами волны напоминали то горы, то пропасти. Разъяренная стихия заливала водой навесы и палубу. Вздымающаяся выше облаков громада волны была видна уже издалека,— мы с ужасом смотрели на ее приближение и каждый раз ждали, что она раздавит корабль. В дикой пляске состязался с волнами ветер,— не было никакой возможности удержаться на ногах, так как корабль сотрясался. Все смешалось в один общий вопль — рев волн, завывание штормового ветра, стоны женщин, крики мужчин, приказания моряков. Кормчий велел освободить корабль от груза, и вот все полетело за борт без разбора: серебро, золото и не имеющая никакой цены рухлядь. Многие купцы, обладатели ценного груза, рассчитывали выручить за него большие деньги, но и они без колебаний швыряли свое имущество за борт. Уже нечего было выкидывать, а буря не унималась.

III

Наконец кормчий отчаялся привести корабль в повиновение, бросил руль и отдал судно на волю волн. Затем он спустил на воду лодку и прыгнул в нее, приказав матросам следовать за ним. Они не замедлили подчиниться его приказу. Началась страшная паника, которая привела в конце концов к рукопаш-

«Левкиппа и Клитофонт»
Б. Дехтерев

ной схватке. Те, кто успел занять места в лодке, изо всех сил старались перерезать канат, привязывавший ее к кораблю. Матросы же, которые остались на корабле, хотели вслед за кормчим попасть в лодку, они пытались притянуть ее к себе за канат, а сидящие в ней сопротивлялись. Потрясая топорами и ножами, они готовы были направить свое оружие против каждого, кто спустится в лодку. В свою очередь, толпившиеся на корабле не оставались в долгу, они вооружились всем, что попалось под руку,— будь то обломок весла или скамейка для гребцов. Таковы уж морские обычаи — схватка здесь не в новинку.

Завязался бой, и те, кто был в лодке, и те, кто прыгал в нее, пустили в ход оружие, которым до сих пор лишь угрожали друг другу. Палки, весла, топоры и ножи замелькали в воздухе. Уже не связывали этих людей ни дружба, ни хотя бы совесть, каждый думал только о собственном спасении, ничуть не заботясь об остальных. Так большая опасность с легкостью разрывает узы дружбы.

IV

Наконец одному из оставшихся на корабле, сильному юноше, удалось притянуть за канат лодку к борту корабля; лодка уже почти коснулась борта, и все приготовились, как только это будет возможно, прыгнуть в нее. Но удача выпала на долю лишь двоих или троих, и то не без потери крови, многие же другие попадали в воду. Матросы тотчас отвязали лодку, перерубив канат топором, и понеслись по волнам. Вслед им раздавались проклятия. Беспомощный корабль неуклюже плясал на волнах. Неожиданно он налетел на подводный риф и дал глубокую трещину по всему корпусу. Мачта рухнула, задавив при своем падении немало людей, и упала в море. Я думал про тех, кто мгновенно погиб в волнах: им еще повезло, потому что смерть настигла их сразу. Ведь постоянное ожидание гибели, которое доводится испытывать на море, часто губит людей еще до того, как она приходит. Глазам представляется нескончаемый простор разбушевавшегося моря, и сердце мучается неослабевающим страхом в предчувствии близкой погибели,— умирать так гораздо страшнее. Насколько беспредельна морская даль, настолько поражает взор отчаяние. Некоторые пытались удержаться на волнах, но безуспешно,— они разбились о камни. Повиснув на отломавшихся досках, иные то скрывались под водой, то вновь появлялись над волнами подобно рыбам,— жизнь постепенно покидала их.

V

Корабль рассыпался на части, но некое доброе божество сохранило для нас часть его носа, и мы с Левкиппой, пристроившись на ней, носились по волнам. Что касается Менелая и Сатира, то они уцепились за мачту и не выпускали ее. Вблизи нас очутился и Клиний, державшийся за рею,— вдруг мы услышали, как он закричал:

— Держись за бревно, Клитофонт!

Не успел он крикнуть эти слова, как волна накрыла его с головой. Мы было подняли крик, но вдруг заметили, как эта волна угрожает и нам. Охваченные ужасом, мы даже не сразу поняли, что смерть миновала нас и на этот раз: по счастью, волна нас не накрыла, но прошла под нами, подняв на свой гребень бревно, и мы снова увидели Клиния.

— Сжалься, владыка Посейдон,— со стоном взмолился я тогда.— Сжалься над теми, кто не погиб при кораблекрушении! Мы все уже испытали страх смерти. Если задумал ты всех нас погубить, то хоть не откладывай нашего конца. Только сделай так, чтобы мы стали добычей одной и той же волны, или одного и того же чудовища морского, или одной и той же рыбы, пусть попадем мы в одно и то же чрево, чтобы покоиться в нем вместе.

Едва я окончил свою молитву, как стих ветер и утихомирились волны. Кругом плавали в воде трупы. Менелая вместе с его спутниками прибило к берегу. Это было уже побережье Египта, в котором тогда полновластно царили разбойники.

Случай благоприятствовал нам с Левкиппой, и под вечер, неизвестно какими судьбами, нас отнесло к Пелусию. Счастливые, мы вышли на землю, воздавая хвалу бессмертным богам. Но не забыли оплакать Клиния и Сатира, так как сочли их погибшими.

VI

В Пелусии находится священная статуя Зевса Касийского. Статуя эта изображает юношу, чей облик более всего напоминает Аполлона, да и возраст юноши сближает его с Аполлоном. В протянутой вперед руке он держит гранат; некий мистический смысл заключен в этом плоде. Мы вознесли к богу свои мольбы и заодно попросили у него знамения относительно

судьбы Клиния и Сатира (считается, что он обладает даром прорицания), потом стали рассматривать храм. На задней стене его мы заметили двойную картину, под ней стояла подпись художника: Эвантей. Художник изобразил Андромеду и Прометея,— оба они скованы цепями,— думается, именно из-за схожести их судеб мастер нарисовал их вместе, ведь по своему содержанию эти картины — родные сестры. Андромеда и Прометей прикованы к скалам, обоих терзают звери, его палач — птица, ее — морское чудовище. Благоволят же к ним два соплеменника — аргосцы, ему покровительствует Геракл, ей — Персей. Геракл из лука поражает птицу, а Персей сражает чудовище Посейдоново. Геракл нацеливает стрелу, стоя на земле, Персей парит в воздухе.

VII

В скале, изображенной на картине, выдолблена ниша высотой в рост Андромеды. По тому, как художник нарисовал нишу, ясно, что она не является делом рук человеческих, но создана самой природой. Доказательством тому — неровность ее стен. Открытая взору стоит в ней Андромеда; и если смотреть лишь на ее красоту, то зрелище это производит впечатление статуи удивительного совершенства, но достаточно взглянуть на тяжелые оковы и чудовище — и кажется, будто глядишь на неожиданное погребение. В лице девы красота смешана с ужасом; щеки ее бледны от страха, в глазах же сияет неувядаемая краса. Но мастер не изобразил бледность щек совсем лишенной красок, сквозь нее проступает слабый пурпур румянца, а в сияющих глазах не один свет, но и тревога, они похожи на увядающие фиалки,— так украсил ее живописец благообразным страхом. Андромеда простерла руки вверх, цепи подняли их и приковали к скале, а кисти рук свешиваются вниз подобно гроздьям винограда. Ослепительная белизна локтей ближе к кисти переходит в синеву, а пальцы кажутся мертвыми. Закованная, она будто ждет смерти. Убранная в брачный наряд, она словно невеста, предназначенная Аидонею. Андромеда облачена в ниспадающий до пят белый хитон, сотканный точно из паутины, такова тонкость ткани не из овечьего руна, но из птичьего пуха,— с деревьев добывают индийские женщины такую пряжу.

Перед самым лицом Андромеды высовывает из морской пучины голову чудовище,— тело его скрыто под водой, одна лишь голова на поверхности. Но под водой угадываются очертания

его спины, покрытой чешуей, изгибы шеи, колючих плавников и хвоста. Огромная длинная пасть разинута до предела, до самых плеч чудовища, так что видно его чрево. Между девой и чудовищем нарисован спускающийся с неба Персей, совершенно нагой, лишь вокруг плеч его обвивается плащ, а на ногах сандалии. Голова его скрыта под шлемом, напоминающим шлем Аида. В левой руке он держит голову Горгоны, выставив ее вперед, как щит. Страх наводит эта голова и цветом своим, и выражением выпученных глаз; волосы на висках вздыблены, шевелятся змеи. Даже нарисованная, голова эта заставляет застыть в ужасе. Ею и вооружена левая рука Персея, в правой же руке у него другое оружие — раздвоенный нож, лезвие которого с одной стороны серп, а с другой — меч. Рукоять у него единая, но затем она разветвляется, одна ветвь искривляется, а другая заостряется. Заостренная часть представляет собой меч, а искривленная — серп,— таково это оружие, предназначенное для того, чтобы в один прием поразить врага и вцепиться в рану.

Так изображена Андромеда.

VIII

По соседству с ней мастер нарисовал Прометея. Прометей железными цепями прикован к скале, Геракл вооружен луком и копьем. Птица впилась в живот Прометея; терзая открытую рану, разрывая ее своим клювом, она словно ищет печень Прометея. Печень видна настолько, насколько художник раскрыл рану. Когти птицы вцепились в бедро Прометея, который содрогается от боли, напрягая мышцы и, на горе себе, поднимая бедро,— ведь из-за этого птице еще легче добраться до печени. Одну ногу Прометея свела судорога, он вытянул ее вниз, подогнув пальцы. Вся картина являет собой муку, страдальчески морщатся брови, в гримасе боли искривлены губы, обнажая сжатые зубы. Начинаешь жалеть чуть ли не самую картину, глядя на нее.

Геракл вселяет в страдальца надежду. Он стоит и прицеливается из лука в Прометеева палача. Приладив стрелу к тетиве, он с силой направляет вперед свое оружие, притягивая его к груди правой рукой, мышцы которой напряжены в усилии натянуть упругую тетиву. Все в нем изгибается, объединенное общей целью: лук, тетива, правая рука, стрела. Лук изогнут, вдвойне изгибается тетива, согнута рука.

Прометей объят одновременно надеждой и страхом. Он смотрит и на рану свою, и на Геракла. Он хотел бы не отводить взора от своего избавителя, но не под силу ему полностью отвлечься от своих мук.

IX

Мы провели в Пелусии два дня, немного оправились от своих злоключений и наняли египетский корабль; к счастью, нам удалось сохранить немного денег, которые были зашиты в пояс. Корабль по Нилу плыл в Александрию. Мы намеревались пробыть там относительно долгое время, так как не совсем потеряли надежду разыскать своих друзей,— ведь вполне возможно, что судьба занесла их именно в Александрию.

Мы достигли какого-то города, как внезапно услышали страшный крик.

— Разбойники! — закричал один из матросов и стал разворачивать корабль, чтобы немедленно плыть обратно. Но берег уже заполонили дикари страшного вида. Все они были огромные, черные, но не такие черные, как индийцы, а наподобие нечистокровных эфиопов, с безволосыми головами, тонкими ногами и тучными телами. Говорили они на каком-то варварском языке.

— Мы погибли! — воскликнул кормчий и остановил корабль.

В этом месте река была узкой, и четверо разбойников мгновенно достигли корабля, взошли на него, захватили все, что только можно было захватить, включая наши деньги, а нас заперли в какой-то хижине, приставив стражу. Наутро нас должны были отвести к «царю»,— так разбойники называли своего главаря. От товарищей по несчастью мы узнали, что путь к царю должен был занять два дня.

X

Наступила ночь, и мы легли, по-прежнему закованные; заснули и наши стражи. Тогда наконец у меня появилась возможность дать волю отчаянию и оплакать удел Левкиппы. Я отдавал себе отчет в том, что стал для нее причиной множества бед; в глубине души обливаясь слезами, я, однако, не позволил им вылиться наружу и рассудком подавил готовые вырваться рыдания.

— О великие боги и божества! — взмолился я.— Если вы существуете и слышите меня, скажите, каковы наши прегрешения, чтобы за несколько дней мы окунулись в такую бездну несчастий. Теперь вы отдали нас в руки египетских разбойников, лишив даже возможность вызвать в них сострадание. Ведь эллинского разбойника можно сломить словом, заставить смилостивиться мольбой. Нередко случается нам речами вызвать сочувствие к себе: язык наш обладает способностью мольбой приглушить душевные муки и смирить гнев в сердце того, к кому обращена эта мольба. Но теперь-то на каком языке изливать нам свою скорбь? Какие произносить клятвы? Даже если бы запел кто-нибудь слаще Сирен, то и тогда не поняли бы его эти убийцы. Только и остается мне что умолять знаками и жестами. О, горе горькое! Сейчас примусь за надгробный плач. Я не печалюсь о себе, Левкиппа, пусть даже мои страдания были бы еще сильнее. Но ты! Где взять слова, чтобы выразить мою скорбь о тебе? Где взять слезы, чтобы оплакать твою участь? О, верная в роковой любви, нежная к неудачливому возлюбленному! До чего же красивы твои брачные уборы! Брачные чертоги твои — это темница, ложе — земля, ожерелья и браслеты — веревки и петля, дружкой тебе — разбойник, который спит рядом с тобой. Вместо свадебных песен кто поет тебе плач надгробный? Напрасно, море, мы тебя благодарили! Жестокостью оборотилось для нас твое человеколюбие! Лучше бы уж ты сделало нас своей добычей; ведь, подарив нам спасение, ты тем самым нас погубило. Из зависти ты захотело не дать нам погибнуть от руки разбойников.

XI

Так скорбел я в тиши, но плакать не мог. Ведь истинно большие несчастья лишают наши глаза способности проливать слезы. Если беда невелика, слезы текут обильно и вид их словно немая мольба, обращенная к тому, кто является причиной несчастья,— они облегчают душу несчастливца, как бы вскрывая нарыв горя. Но если горе непереносимо, то слезы бегут прочь от очей, изменяя им. Только начнут они набегать, как скорбь становится для них неодолимым препятствием, она останавливает их движение и вслед за собой уводит их глубоко внутрь. Остановленные на своем пути к глазам, непролитые слезы скапливаются в сердце и усиливают гнет его раны. Все то время, что я говорил, Левкиппа молчала.

— Почему ты все молчишь, моя любимая, и ничего не отвечаешь мне? — спросил я ее.

— Потому, Клитофонт,— ответила она,— что голос мой умер еще раньше, чем моя душа.

XII

За разговорами мы и не заметили, как на смену ночи пришел день. И тут появился вдруг какой-то всадник с всклокоченной головой, да и конь его был неоседланный, невзнузданный, с нечесаной гривой. Ведь именно такие обычно у разбойников кони. Разбойник этот явился к нам как посол от главаря шайки.

— Если среди пленных,— сказал он,— есть какая-нибудь девушка, то ее велено отослать богу как будущую очистительную жертву за войско.

Стражники тотчас направились к Левкиппе, а она со стоном припала ко мне. Разбойники пытались оттащить ее, а меня нещадно били. Наконец они оторвали от меня девушку, схватили ее и унесли. Остальных пленников, в том числе и меня, неспешно погнали куда-то.

XIII

Мы успели отойти от деревни на два стадия, как послышался громкий воинственный клич, сопровождающийся звуком трубы. Мы увидели отряд воинов, сплошь тяжеловооруженных. Разбойники немедля поместили нас в середину и стали ждать встречи с воинами, намереваясь дать им отпор. Вскоре гоплиты, примерно пятьдесят человек, приблизились, вооруженные одни длинными, другие круглыми щитами. Разбойники, превосходившие их в численности, схватив с земли комья, принялись бросать их в воинов. Эти египетские комки опаснее камня, тяжелые, шероховатые, с неровными краями. Неровность образуется остриями камня. Попадание такого камня причиняет двойное страдание: ушиб и опухоль как от камня и разрез как от стрелы. Но воины, прикрывшись щитами, не особенно беспокоились. Вскоре разбойники выдохлись, и тогда фаланга раздвинулась, выпустив легковооруженных воинов, каждый из которых имел при себе копье и меч. Они немедленно принялись метать дротики, причем били без промаха. Их атаку поддержали гоплиты, только теперь вступившие в бой. Завязалась

беспощадная битва, и с той и с другой стороны посыпались удары, было много раненых и убитых. Воины с лихвой восполняли численное превосходство разбойников своей сноровкой. Мы же, пленные, выждали удобный момент, когда разбойникам приходилось туго, прорвали их строй и перебежали к противникам. Так как сначала воины не знали, что мы бежали из разбойничьего плена, они было приготовились и нас убивать, но, заметив, что на нас нет почти никакой одежды, кроме оков, поняли, в чем дело, пропустили нас сквозь свою фалангу и дали нам возможность немного отдышаться. В это время в атаку ринулись всадники, они окружили разбойников, зажали их в кольцо и начали уничтожать их,— многих они тотчас же убили, другие, хотя и были уже полумертвыми, пытались продолжить бой. Оставшихся в живых взяли в плен.

XIV

Солнце уже закатилось, когда стратег вызвал нас к себе и каждого в отдельности расспросил, кто он и каким образом оказался в плену. Я тоже поведал ему свою историю. Когда он разузнал обо всем, нам приказали следовать за войском и обещали оружие. Стратег задумал, дождавшись подкрепления, напасть на главный разбойничий стан. По слухам, разбойников в нем было не менее десяти тысяч.

Я обратился к стратегу с просьбой дать мне коня, так как считал себя хорошим наездником и много упражнялся в верховой езде. Привели коня, я оседлал его и, несколько раз объехав фалангу, показал в определенном ритме различные военные приемы. За верховую езду стратег удостоил меня большой похвалы. В тот же день он пригласил меня отобедать вместе с ним и во время трапезы подробно расспросил о моих злоключениях. Рассказ мой вызвал у него сочувствие. Обычно, когда человек слушает повесть о чужих несчастьях, он проникается состраданием к своему собеседнику, и возникшее в нем сочувствие понемногу переходит в дружбу. Душа смягчается под впечатлением грустного рассказа и, потрясенная им, превращает сострадание в участие, а скорбь — в жалость. Мой рассказ так подействовал на стратега, что он даже заплакал вместе со мной. Но мы ничего не могли сделать,— ведь Левкиппа находилась в руках разбойников. Чтобы хоть как-то выказать свою дружбу, стратег подарил мне раба из Египта.

XV

На следующий день воины начали готовиться к переходу,— но путь преграждал ров, который надо было засыпать. Мы видели, что по ту сторону рва разбойники сосредоточили большие силы и ждали нас во всеоружии. Нам был виден жертвенник из глины, по-видимому сооруженный ими самими. Близ жертвенника стояла гробница.

Вдруг я вижу, как два каких-то человека ведут девушку, руки ее связаны за спиной. Я не мог различить их лиц, но заметил, что оба они были вооружены, в девушке же я сразу узнал Левкиппу. Сначала они совершили над ее головой возлияния, а затем обвели вокруг жертвенника. Слышались звуки флейты, а жрец пел, наверное, египетскую песнь,— видно было, как он шевелит губами и раздувает щеки. Затем по какому-то знаку все отходят подальше от жертвенника. Один из юношей навзничь опрокидывает девушку и привязывает ее ко вбитым в землю кольям, как связанного Марсия привязывали к дереву ваятели. После этого юноша, схватив меч, погружает его в тело девушки около сердца и вспарывает ее тело до самого низа живота. Тотчас оттуда вываливаются все внутренности, разбойники вытаскивают их руками и кладут на жертвенник.

Когда внутренности девушки изжарились, они поделили их между собой и съели. При виде всего этого воины в ужасе вскрикивали и старались не смотреть на происходящее. Я же просто остолбенел. Невероятно, но я сидел и не сводил глаз с жертвенника. Несчастье, которому не было меры, повергло меня в оцепенение. Тогда-то я понял, что миф о Ниобе правдив,— нечто подобное происходило и с ней, когда она смотрела на гибель своих детей,— настолько застыла она в своем горе, что казалась окаменевшей. Когда разбойники покончили со своим делом, они положили тело в гроб, закрыли его крышкой, уничтожили жертвенник и убежали без оглядки,— таково было повеление жреца.

XVI

К вечеру ров был засыпан; наше войско переправилось через него, расположилось на ночлег, и мы приступили к трапезе. Стратег пытался отвлечь меня от моего горя, но я был безутешен.

Заступила уже первая ночная стража, все уснули, и я, захватив с собой меч, пошел к гробнице, намереваясь покончить с собой. Подойдя к гробнице, я вытащил меч из ножен и сказал:

— О мученица Левкиппа, ты самая несчастная из людей! Горюю я не только о том, что тебя больше нет, но еще и о том, что ты умерла в чужой стороне, не о том, что силой тебя обрекли на заклание, но о том, что судьба сыграла с тобой злую шутку, что ты стала очистительной жертвой нечистых людей. Как страшно, что ты была еще жива, когда рассекали твое чрево. О горе, ты могла даже видеть свою рану. Я никогда не примирюсь с тем, что проклятый жертвенник и эта могила унесли с собою твой гроб и тайны твоего чрева. Тело твое здесь, но где же твои внутренности? Лучше бы они стали добычей огня! Но случилось так, что насытили ими свои утробы разбойники! О, это отвратительное шествие с факелами вокруг жертвенника! О, неслыханные тайны яств! И боги могли смотреть сверху на это жертвоприношение! И не погас огонь, но, осквернённый, поднял к небу подобный тук! А теперь, Левкиппа, прими возлияние, достойное тебя.

XVII

И с этими словами я заношу над собой меч, чтобы распроститься с жизнью на месте заклания Левкиппы, как вдруг вижу (было полнолуние) двух человек, которые что есть сил бегут ко мне навстречу. Я подумал, что это, верно, разбойники, и решил, что могу умереть и от их руки. Приблизившись ко мне, они оба закричали. Это были Менелай и Сатир. Я же, совершенно неожиданно убедившись в том, что они живы, не бросился обнимать их и не ощутил никакой радости, настолько велико было мое горе. Они же схватили меня за руку и пытались отобрать у меня меч.

— Ради всех богов,— взмолился я,— не лишайте меня желанной смерти, она одна может исцелить меня от горя. Даже если вы вынудите меня, я все равно не смогу жить после того, как так ужасно погибла Левкиппа. Вы можете отнять у меня вот этот меч, но слишком глубоко вонзился в меня меч моей скорби, он понемногу все равно лишит меня жизни. Или вы хотите, чтобы я умирал медленно в вечном заклании?

— Если из-за смерти Левкиппы ты хочешь умереть,— сказал Менелай,— то брось меч. Сейчас оживет твоя Левкиппа.

— Ты еще насмехаешься надо мной,— ответил я, взглянув на него.— Тебе, видно, недостаточно, что я и так полон горя. И ты, Менелай, еще поминаешь Зевса Гостеприимца.

Он постучал по крышке гроба и сказал:

— Уж если Клитофонт мне не верит, то хоть ты, Левкиппа, подтверди, что ты жива.

С этими словами он два или три раза постучал по гробнице, и вдруг оттуда послышался какой-то невнятный голос. Весь дрожа, я уставился на Менелая, думая, что он волшебник. Он же в это время уже открыл гробницу, и поднялась из нее Левкиппа,— это было ужасающее зрелище, невыносимое потому, что все ее чрево было раскрыто и пусто. Она рванулась ко мне, мы заключили друг друга в объятия и рухнули наземь без чувств.

XVIII

Как только ко мне вернулось сознание, я спросил Менелая:

— Не расскажешь ли ты мне, как все это понять? Ведь я вижу сейчас Левкиппу, я слышу, как она говорит, я снова с ней. Что же я видел вчера? Что это было? Что пригрезилось мне? То, что я видел вчера? Или сейчас я сплю? Но нет, я ощущаю на губах истинный живой поцелуй Левкиппы, сладкий, как все ее поцелуи.

— А сейчас снова наполнится ее чрево и срастется грудь, она станет невредимой. Но ты отвернись,— мне ведь придется призвать на помощь Гекату.

Я поверил ему и отвернулся. Менелай начал колдовать, приговаривая про себя какие-то слова. Одновременно он снимал с Левкиппы всякие удивительные приспособления, возвращая ей прежний вид.

— А теперь смотри,— сказал он.

В страхе от того, что увижу сейчас Гекату (я ведь поверил Менелаю, что он позвал ее), я отнял руку от лица и увидел Левкиппу целой и невредимой. Я не мог прийти в себя от удивления и взмолился:

— Дорогой мой Менелай, если ты служитель богов, то умоляю тебя, расскажи, куда я попал и что я вижу?

— И правда,— поддержала меня Левкиппа,— хватит тебе, Менелай, дурачить его. Расскажи, как все было на самом деле, как удалось тебе перехитрить разбойников.

XIX

И тогда Менелай начал рассказывать:

— Ты ведь уже знаешь, что родом я из Египта. Об этом я говорил тебе еще на корабле. Мои владения, в основном, сосредоточены около этой деревни, и многих старейшин здесь я хорошо знаю. После кораблекрушения меня прибило к берегам Египта, и мы с Сатиром тут же попали в руки разбойников, стоявших там на страже. Когда нас привели к главарю, то многие из разбойников узнали меня, и тогда с меня сняли оковы. Разбойники советовали мне отбросить все опасения и разделить с ними их ремесло, им казалось это вполне естественным. Я воспользовался случаем и стал просить за Сатира как за моего друга.

— Что ж, прекрасно,— сказали они,— но сначала ты должен показать нам, на что ты способен.

Как раз в это время они получили оракул, который гласил, что надо принести в жертву девушку и тем очистить разбойничий стан. Им предстояло попробовать печень этой девушки, останки ее похоронить и уйти с этого места, чтобы его заняли вражеские войска. Об остальном расскажи ты, Сатир, теперь твое слово.

XX

И Сатир начал:

— Когда меня силой приволокли в разбойничий лагерь, я плакал, мой господин, я горевал и, узнав, что случилось с Левкиппой, молил Менелая спасти ее любой ценой. Какое-то доброе божество покровительствовало нам. Накануне того дня, когда должно было совершиться жертвоприношение, мы, пригорюнившись, сидели на берегу моря и обсуждали сложившееся положение. В море показался корабль, как видно сбившийся с пути. Разбойники, заметив его, направились к кораблю. Те, кто был на корабле, поняли, что́ им грозит, и попытались повернуть обратно, но разбойники опередили их, и им пришлось обороняться. Среди них был один актер, игравший обычно в театре гомеровские представления. Он надел свой театральный костюм, облачился в гомеровские доспехи, обрядил подобным образом своих спутников и попытался оказать сопротивление разбойникам. Первые атаки разбойников они отбили успешно, но, когда увидели, что приближается еще несколько лодок, полных разбойников, они потопили свой

корабль вместе с разбойниками, которые были на его борту. Во время кораблекрушения случайно волны унесли какой-то ящик, и течение прибило его вместе с обломками корабля к тому самому месту, где мы сидели. Менелай вытащил этот ящик, отозвал меня в сторонку (он думал, что в нем есть что-то ценное) и открыл его. Мы увидели плащ и меч, причем рукоятка этого меча довольно длинная, а лезвие удивительно короткое, длиной не больше трех пальцев при рукоятке около четырех палест. Менелай поднял меч и нечаянно опустил его лезвием вниз, и вдруг оно выскочило из рукоятки, как из норы, и оказалось ничуть не короче ее. Когда же Менелай повернул меч обратно, лезвие тотчас спряталось внутрь. Видимо, несчастный актер пользовался этим мечом в театре, когда изображал сцены убийства.

XXI

Увидев все это, я сказал Менелаю:

— Если ты захочешь сделать доброе дело, нам поможет бог. Ведь мы можем теперь спасти девушку, да так, что разбойники и подозревать об этом не будут. Вот послушай, как это сделать. Мы возьмем тонкую шкуру овцы, сошьем из этой шкуры мешок величиной с человеческий живот и наполним его внутренностями и кровью какого-нибудь зверя. Потом зашьем мешок, чтобы внутренности не выпали. Этот мешок мы наденем на девушку под длинное платье, завяжем пояс и таким образом скроем нашу хитрость. Ведь слова оракула как нельзя более удобны для того, чтобы мы могли осуществить наш замысел. Он гласит, что дева должна быть полностью одета и меч должен пронзить ее посередине ее платья.

А теперь взгляни на этот меч, как хитро он устроен. Когда он упирается в тело, лезвие уходит в рукоятку, а зрители думают, что оно погрузилось в плоть. Между тем оно почти полностью скрывается в рукоятке, и лишь кончик его разрезает мнимое чрево, а рукоятка касается кожи приносимой жертвы. Когда же лезвие вынимают, оно снова выходит наружу по мере того как поднимают рукоятку, и зрители обыкновенно бывают этим обмануты. Ведь всем кажется, что при закалании меч вонзился во всю длину, таково его хитрое устройство.

Если мы воспользуемся этим мечом, то разбойники ни о чем не догадаются, потому что при закалании из мешка вывалятся внутренности, ведь шкуру-то лезвие разрежет. Мы

возьмем внутренности и возложим их на жертвенник. Разбойники больше не подойдут к телу, и мы сможем сами положить его в гробницу.

Ты ведь помнишь, что их главарь хочет убедиться в нашей храбрости. Ты как раз можешь пойти к нему и сказать, что представился удобный случай показать себя. Во время всего этого разговора я молился Зевсу Гостеприимцу, вспоминал, как мы вместе угощались на корабле и какое общее несчастье нас на этом корабле постигло.

XXII

— Серьезное дело ты задумал,— отвечал мне этот добрый человек,— но ради друга радостно претерпевать опасности и сладостно даже умереть.

— У меня почти нет сомнений и в том,— продолжал я,— что Клитофонт тоже жив. Я расспросил о нем Левкиппу, и она сказала мне, что оставила его закованным среди других пленников, которых захватили разбойники. Но я слышал, как разбойники докладывали своему главарю, что все их пленники перебежали в лагерь врага. Так что Клитофонт будет тебе очень благодарен, когда узнает, что ты спас несчастную от ужасной смерти.

Менелай внял моим словам, а Судьба нам благоприятствовала. Я начал сооружать задуманное нами приспособление. Менелай только собрался заговорить с разбойниками о предстоящем жертвоприношении, как их главарь предупредил его, облегчив нам задачу:

— У нас есть закон,— сказал он,— по которому священнодействие должны начинать вновь посвященные — и особенно в тех случаях, когда приносится в жертву человек. Так что иди и готовься к завтрашнему жертвоприношению, а твой раб будет помогать тебе.

— Прекрасно,— ответил Менелай,— мы сейчас же начнем подготовку и докажем вам, что можем справиться с этим ничуть не хуже любого из вас. Но мы должны сами надлежащим образом приготовить девушку.

— Жертва ваша,— ответил главарь.

Мы берем к себе Левкиппу и начинаем одевать ее так, как надо, при этом мы ободряем ее, посвящаем во все детали нашего плана, рассказываем девушке, что после пробуждения ей придется пробыть в гробнице еще целый день.

— Если же что-нибудь помешает нам осуществить этот план,— говорим мы,— то спасайся сама и беги в лагерь воинов.

С этими словами мы ведем ее к жертвеннику. Остальное тебе известно.

XXIII

Я выслушал все это, и в душе у меня поднялась буря,— я недоумевал, как же мне отблагодарить Менелая. По обычаю, я припал к нему, обнимал его, поклонялся ему, как божеству, и радость затопила меня. Теперь, убедившись в том, что Левкиппа нисколько не пострадала, я спросил:

— А что с Клинием?

— Я не знаю,— ответил мне Менелай.— Когда произошло кораблекрушение, я видел, как он уцепился за рею, но куда отнесли его волны, мне неизвестно.

Услышав этот ответ, я, находясь на вершине восторга, застонал. Из зависти божество не дало мне испить полную чашу радости. После Левкиппы Клиний был властелином моей души, из-за меня он нигде не показывался, и вот именно его поглотило море — и сделало это не только для того, чтобы отнять у него жизнь, но и чтобы лишить его погребения.

— О море,— воскликнул я,— зачем ты отказало нам в том, чтобы полной мерой отблагодарить тебя за твое человеколюбие?

Мы направились к лагерю, вошли в мою палатку и остаток ночи провели в ней все вместе. Это не осталось незамеченным.

XXIV

На рассвете я повел Менелая к стратегу и обо всем ему рассказал. Стратег разделил мою радость и принял Менелая в число своих друзей. Затем он стал узнавать, каковы силы разбойников. Менелай ответил, что они заняли соседнее селение, что все эти отчаянные люди в сборе и что их несметное множество.

— Пяти тысяч наших воинов с лихвой хватит на двадцать тысяч разбойников. Но, помимо этих пяти тысяч, к нам прибудет еще двухтысячное пополнение из тех воинов, которые охраняют от варваров Дельту и Солнечный Город.

Едва он это сказал, как вбегает мальчик и сообщает, что с Дельты прибыл гонец с вестью о том, что две тысячи воинов

задерживаются на пять дней. Причина этой задержки крылась не в продолжающихся набегах варваров,— напротив, они почти прекратились. Но как раз в тот момент, когда войско готово было выступить, прилетела священная птица, неся с собой могилу своего отца. Так что необходимо было отложить поход именно на пять дней.

XXV

— Что же это за птица,— спросил я,— которую так чествуют? И какую могилу она принесла с собой?

— Эта птица называется Феникс, родом она из Эфиопии, по размеру не уступает павлину, но красотой оперения значительно превосходит его. Смешаны на ее крыльях золото и пурпур. Она гордится своим господином — Солнцем, о том, что она служит солнцу, говорит и голова ее, осиянная лучезарным венцом. Венец этот — отражение Солнца. Черная, подобная розе, она прекрасна. В сиянии лучей на крыльях своих Феникс несет восход. Эфиопы заслужили жизнь Феникса, а египтяне — погребение его. Когда Феникса, дожившего до преклонного возраста, настигает смерть, сын уносит его на берега Нила и сооружает ему могилу. В Эфиопии он берет ком самой благовонной мирры, делает в нем углубление в рост отца, удобно укладывает его в это углубление, как в гробницу, сверху засыпает землей и несет могилу к Нилу. За Фениксом следует хоровод других птиц, словно сопровождение копьеносцев. Птица уподобляется царю, отправившемуся в дорогу, причем она никогда не собьется со своего пути к Городу Солнца. Там и будет погребен умерший.

Феникс останавливается на высоком утесе, озирает все вокруг и ждет служителей бога. И вот появляется какой-нибудь египетский жрец, в руках у него книга со священными письменами, и он устраивает птице испытание согласно этим письменам. Феникс знает, что ему не верят, он показывает свои тайные знаки отличий, показывает мертвеца и произносит над его гробом мудреную речь. Только тогда чада жрецов Солнца принимают мертвеца и предают его погребению.

Таков Феникс, что кормится среди эфиопов и после смерти становится египтянином, обретая у них упокоение.

I

Когда стратегу стало известно, что разбойники готовятся к битве, а союзники задержались, он решил вернуться в селение, из которого мы выступили, и там дожидаться прихода подкрепления. Нам с Левкиппой отвели домик чуть повыше ставки стратега. Как только мы вошли, я сразу же обнял Левкиппу и хотел показать себя настоящим мужчиной, но она не позволила.

— До каких же пор,— воскликнул я тогда,— мы будем лишать себя таинств Афродиты? Неужели ты не видишь, какие неожиданности преследовали нас в последнее время,— тут и кораблекрушение, и разбойники, и жертвоприношение, и погребение. Но сейчас, в безветрии судьбы, как же не воспользоваться этим затишьем, пока не обрушились на нас еще более тяжкие напасти?

— Нет,— ответила мне Левкиппа,— сейчас этого не будет. Когда я плакала, обреченная на заклание, ко мне во сне явилась Артемида и сказала: «Не плачь, теперь ты не умрешь, я буду твоей заступницей. Ты останешься девственной, пока я не устрою твоего бракосочетания, и мужем твоим станет не кто иной, как Клитофонт».

Я от промедления горевал, но, в надежде на будущее, ликовал. Услышав же о том, что приснилось Левкиппе, я тотчас вспомнил свой сон, очень похожий. В прошлую ночь приснился мне храм Афродиты, а в нем — статуя богини. Когда я приблизился к этому храму, намереваясь помолиться в нем, двери передо мной закрылись. Я расстроился, и тогда передо мной предстала женщина, в точности похожая на изображение богини в храме, и сказала:

— Еще не пришла пора тебе вступить в храм; но подожди немного, и я не только открою перед тобой его двери, но сделаю тебя жрецом богини.

Я рассказал Левкиппе этот сон и оставил попытки овладеть ею силой. Сравнивая свой сон со сновидением Левкиппы, я испытывал сильное волнение.

II

Тем временем Хармид (так звали стратега) стал заглядываться на Левкиппу, и вот как это началось. Воины поймали удивительного речного зверя,— египтяне называют его нильским конем. И он действительно похож на коня, особенно брюхо и ноги, но копыта у него раздвоены. Животное это величиной с самого большого быка, у него короткий хвост, безволосый, как все тело. Голова круглая и не маленькая, строение скул — как у коня. Из широких ноздрей валит огненный дым, как от костра. Челюсти у животного такой же ширины, как и скулы. До самых висков разевает он свою пасть. У него кривые клыки, по форме как у кабана, но в три раза длиннее.

III

Хармид позвал нас посмотреть на зверя. Левкиппа тоже пошла. Мы все уставились на невиданное животное, а Хармид на Левкиппу, она пленила его с первого взгляда. И так как ему хотелось задержать нас как можно дольше, чтобы вдоволь наглядеться на Левкиппу, стратег завел длинный разговор. Сначала он стал рассказывать о повадках этого зверя, а потом уже и о том, как его ловят.

— Это животное,— рассказывал он,— очень много ест, оно может сожрать урожай с целого поля. Ловят его с помощью такой хитрости: находят сначала его логовище, потом роют яму и сверху прикрывают ее тростником и засыпают землей. На дне ямы под этим сооружением из тростника ставят деревянную клетку с открытой дверью, а затем начинают подстерегать животное. Как только зверь ступит на тростник, он тотчас проваливается и попадает в клетку, тогда охотники захлопывают дверцу, и добыча оказывается у них в руках. Только таким способом и можно его поймать, а иначе с ним не справиться. Он

обладает огромной силой, кожа у него, как видите, достаточно толстая, чтобы не почувствовать ударов копья. Его можно назвать еще египетским слоном. Кажется, сильнее его только индийский слон.

IV

— А слона-то ты видел когда-нибудь? — спросил Менелай.

— Конечно, и не раз,— ответил Хармид,— сведущие люди рассказывали мне самые удивительные вещи о том, как он появляется на свет.

— А мы,— сказал я,— до сих пор видели его только на картине.

— Я охотно расскажу вам о слоне,— продолжал Хармид,— ведь у нас есть время. Мать носит его очень долго. Плод созревает целых десять лет. По истечении этого срока происходят роды, причем детеныш рождается уже старым. Из-за этого, я думаю, он и становится таким большим, в бою непобедимым, в еде неукротимым и в высшей степени живучим. Говорят, он живет дольше Гесиодовой вороны. Одна лишь челюсть слона величиной с голову быка. Увидев его пасть, ты бы сказал, что в ней два рога, на самом же деле это изогнутые зубы. Между зубами у него хобот, похожий на трубу и по форме и по размеру. Он совершенно послушен воле слона. Хоботом слон подхватывает пищу,— все, что только попадется по дороге. Как только слон увидит что-нибудь съедобное, он тотчас пускает в ход хобот, который обвивается вокруг пищи, поднимает ее вверх и отправляет прямо в рот. Случается слону наткнуться и на что-нибудь, пригодное для человека, и тогда слон хоботом захватывает найденное и протягивает своему господину. Сидит же на нем Эфиоп, необычный всадник, и слон старается подольститься к нему, боится его, слушается его окриков и повинуется ударам. А бьют его железной секирой.

Довелось мне однажды быть свидетелем совершенно необыкновенного зрелища. Один эллин всунул свою голову прямо в пасть слону. Слон разинул пасть и обдавал голову этого человека своим дыханием. И то и другое очень меня удивило: и дерзновение человека, и снисхождение слона. Эллин рассказывал потом, что за мзду слон овевает его чуть ли не индийскими благовониями. Дыхание слона исцеляет от головной боли. Слон отлично знает о целебных свойствах своего дыхания, и даром

пасти не откроет. Он кичливый врач и требует платы вперед. Но если уж ему заплатили, то он разевает пасть и держит ее открытой столько времени, сколько нужно человеку. Он прекрасно понимает, что продал свое благоуханное дыхание.

V

— Откуда же черпает столь безобразное животное свои благовония? — спросил я.

— Источник их в пище слона,— ответил мне Хармид.— Ведь Индия ближайший сосед солнца. Индийцы первыми видят восхождение этого божества, солнце посылает им самые теплые свои лучи, почему и кожа их сохраняет огненный цвет. У эллинов есть цветок такого же оттенка, как кожа эфиопа, у индийцев же это не цветок, а лист, подобный листьям наших растений. Этот листок скрывает свои свойства и не выказывает своей способности благоухать. То ли не хочет он бахвалиться перед знатоками, то ли не желает ублажать своих сограждан. Но стоит ему оказаться за пределами родины, как он щедро отдает скрытое в нем наслаждение, становится из листа цветком и распространяет вокруг себя благоухание. Это черная индийская роза,— она-то и является пищей слона, подобно траве наших быков. Слон питается этой розой с самого своего рождения, поэтому дыхание его, пропитанное испарениями черной розы, благоуханно.

VI

Стратег закончил свой рассказ, и мы отправились восвояси, а он, немного помедлив, чтобы никто не заметил его состояния, подозвал Менелая, взял его за руку и сказал ему:

— Я знаю, что ты прекрасный друг,— об этом легко судить хотя бы по тому, что ты сделал для Клитофонта, но и во мне ты найдешь не менее преданного друга. Я прошу тебя об одной услуге, которая не составит для тебя особого труда, а мне спасет жизнь, если только ты захочешь. Погубила меня Левкиппа. Помоги же мне. Она ведь еще не заплатила тебе за то, что ты не дал ей погибнуть. В награду ты получишь пятьдесят золотых, а она сколько пожелает.

— Оставь при себе свое золото,— сказал Менелай,— прибереги его для тех, кто продает свои услуги за деньги, я же постараюсь по-дружески помочь тебе.

Ответив ему так, Менелай поспешил ко мне и все рассказал. Мы стали думать, что же теперь делать, и решили обмануть Хармида. Ведь отказать ему было отнюдь небезопасно, потому что в этом случае он мог прибегнуть к силе. Бежать было невозможно; нас окружали со всех сторон разбойники, а войско было в руках стратега.

VII

Немного спустя Менелай пришел к Хармиду и говорит ему:

— Дело сделано. Поначалу она и слышать ни о чем не хотела, но я так уговаривал ее и так кстати напомнил ей о моем благодеянии, что она в конце концов сдалась. Правда, Левкиппа просит тебя, и, как мне кажется, справедливо, подождать немного, хотя бы пока она прибудет в Александрию. Ведь здесь деревня, все произойдет здесь же, у всех на виду, и будет чересчур много свидетелей.

— Надолго же ты откладываешь мое наслаждение,— возразил Хармид.— Разве на войне можно медлить? Разве воин с оружием в руках знает, долго ли еще ему жить? Неизведанны пути к смерти. Испроси у судьбы безопасности для меня, и я соглашусь ждать. Сейчас я отправляюсь воевать с разбойниками, а в душе у меня между тем разгорелась другая война. Другой воин осаждает меня, вооруженный луком и стрелами. Я сражен, стрелы его попали в цель. Позови же мне скорее врача. Рана болит нестерпимо. Я готовлюсь огнем истреблять врага, но Эрот зажигает против меня другие факелы. Поэтому, Менелай, придется тебе погасить этот огонь. Нет лучшего предзнаменования перед войной, чем любовное сплетение тел. Пусть к Арею пошлет меня Афродита.

— Но ты ведь понимаешь,— ответил ему Менелай,— что все это не так просто, да еще когда надо скрываться от мужа, который рядом и любит жену.

— Ну, от Клитофонта-то нетрудно будет избавиться,— говорит Хармид.

Менелай понял, что Хармид не желает медлить нисколько, и, испугавшись за меня, быстро сочинил правдоподобную отговорку.

— Ну ладно уж,— сказал он,— я открою тебе истинную причину промедления,— вчера у нее начались месячные, и ей нельзя сходиться с мужчиной.

— Тогда подождем здесь,— сказал Хармид,— ведь трех или четырех дней более чем достаточно. А сейчас я прошу у нее того, что можно. Пусть она часто показывается мне на глаза и говорит со мной. Я хочу слышать ее голос, касаться ее рук, ощущать прикосновение ее тела: таковы услады влюбленных. Кроме того, целовать ее ведь тоже можно,— больной живот не помеха поцелуям.

VIII

Когда Менелай пересказал мне слова Хармида, я закричал, что скорее умру, чем допущу, чтобы поцелуи Левкиппы достались кому-то другому.

— Разве есть что-нибудь упоительнее поцелуя? Что касается самого дела Афродиты, то у него есть предел, и ничего от него не останется, если лишить его поцелуев. Они не имеют границ, ими нельзя пресытиться, они всегда новы. Три сокровища заключены в устах: дыхание, голос и поцелуй. Мы целуем друг друга губами, и в душе возникает источник наслаждения. Поверь моим словам, Менелай, я открою тебе сейчас тайну, которой не открыл бы, не попав в столь печальные обстоятельства: только одно и подарила мне Левкиппа — поцелуи. Она девственна, и жена мне только через поцелуи. Если же кто-нибудь похитит у меня и это, я не переживу потери. Я не позволю осквернить ее поцелуев, принадлежащих мне.

— В таком случае,— отвечал мне Менелай,— нам необходимо принять какое-то мудрое решение, и как можно скорее. Влюбленный может перенести все, что угодно, пока он во власти надежд. Но как только он отчается в своем стремлении достичь желаемого, настроение его изменится, и он с такой же силой будет стремиться как можно больнее уязвить своего противника. Если же случается так, что он достаточно силен, чтобы действовать безнаказанно, то отсутствие опасений в его душе еще больше раздражает скопившуюся в ней ярость. Да и момент сейчас очень неподходящий.

IX

В то время как мы обсуждали создавшееся положение, вбежал перепуганный воин и сказал мне, что Левкиппа, гуляя, неожиданно упала, закатив глаза. Мы вскочили, побежали к ней и увидели, что она лежит на земле. Подойдя к Левкиппе,

я стал допытываться у нее, что с ней. Но она, увидев меня, вскочила на ноги, дала мне пощечину и уставилась на меня налитыми кровью глазами. Когда же Менелай попытался остановить ее, она и его ударила ногой. Мы стали удерживать ее силой, так как поняли, что у нее буйное помешательство. Левкиппа же вступила с нами в борьбу, причем она совершенно не старалась скрыть того, что женщины обыкновенно не позволяют видеть. Около палатки поднялся страшный шум, так что сам стратег прибежал посмотреть, что случилось. Сначала он заподозрил, что Левкиппа прикидывается, чтобы провести его, и исподлобья взглянул на Менелая. Но убедившись, что недуг ее непритворен, он и сам очень огорчился и стал жалеть девушку. Тут же принесли веревки и несчастную связали. Увидев ее снова связанной, я дождался, пока все ушли, и стал умолять Менелая:

— Развяжите ее, умоляю вас, развяжите. Ее нежные руки не созданы для веревок, позвольте мне остаться с ней. Я один обовью ее и стану для нее узами. Пусть она безумствует против меня. На что теперь мне жизнь? Я рядом, и Левкиппа не узнаёт меня. Вот она лежит передо мной связанная, а я, бесстыдный, могу освободить ее и не хочу. Неужели Судьба вырвала тебя из рук разбойников, чтобы теперь ты стала игралищем безумия? Как же мы несчастны, чуть было не достигнув счастья! Мы убежали от ужасов, которые преследовали нас дома,— лишь для того, чтобы стать жертвами кораблекрушения; мы не погибли в морской пучине, для того чтобы потом попасть в руки разбойников; уцелели, плененные ими, чтобы теперь на нас напало безумие. И теперь, если разум вернется к тебе, возлюбленная моя, я буду опасаться новых злодеяний божества. Есть ли кто-нибудь злополучнее нас? Ведь мы боимся даже самого счастья! Но все же приди в себя, стань прежней Левкиппой, и тогда пусть Судьба снова начнет свои шутки.

X

Менелай и все окружающие стали утешать меня, говоря, что подобные недуги преходящи и возникают из-за бурного расцвета юности. Молодая кровь, которая бурлит в теле во время созревания его, наполняет сосуды, приливает к голове и затмевает порой рассудок. Надо послать за врачом и попытаться оказать ей помощь. Менелай пошел к стратегу и попросил у него разрешения вызвать войскового врача. Хармид, конечно,

охотно разрешил,— ведь влюбленному всегда приятны дела, связанные с его любовью.

Пришел врач и сказал:

— Прежде всего мы погрузим ее в сон, чтобы приостановить разгар безумия. Сон — лучшее лекарство от всех болезней. А затем будем принимать все прочие меры.

Он дал нам небольшое, величиной с горошину, лекарство, велел растворить его в масле и натереть им голову Левкиппы. Пообещал приготовить и другое лекарство для очищения желудка. Мы выполнили все указания врача: натерли ей голову, и она тотчас уснула и проспала оставшуюся часть ночи до восхода солнца. Я же неусыпно бодрствовал около нее, смотрел на связывающие ее веревки и плакал:

— Горе мне, о возлюбленная моя, даже спишь ты связанная, даже сон твой несвободен. Что грезится тебе? Вернулся ли к тебе твой разум или и во сне ты безумствуешь?

Наконец она пробудилась и снова стала выкрикивать какие-то бессвязные слова. Тогда явился врач и стал лечить ее по-другому.

XI

Тут прибывает посланец от египетского сатрапа и приносит письмо стратегу. Судя по всему, в письме содержалось указание поторопиться с выступлением. Хармид тотчас приказал всем снарядиться, чтобы идти войной на разбойников. Все заторопились, каждый вооружился, и вскоре войско выстроилось под командой лохагов. Стратег сообщил им пароль и приказал разбить лагерь,— сам же остался один. На другой день вместе с зарей он выступил против врагов.

Деревня, которую занимали разбойники, была расположена следующим образом. Нил течет сверху от Египетских Фив и, не разветвляясь, достигает Мемфиса. Немного ниже по течению, где кончается единый поток реки, есть деревня, которая называется Керкасор. Там речной поток преграждает суша, и из одной реки образуются три, причем две меняют направление и текут в разные стороны, а третья сохраняет основное направление Нила. Но и из этих рек ни одна не достигает моря: отделившись друг от друга у разных городов, они текут в разные стороны, причем рукава эти шире, чем иные эллинские реки. Хотя Нил отдает столько воды своим притокам, он не оскудевает, но дает возможности для судоходства, снабжает водой и оказывает помощь земледельцам.

XII

Нил для египтян все: и река, и земля, и море, и болото. Трудно поверить своим глазам, когда видишь соседями корабль и кирку, весло и плуг, руль и серп, моряков и земледельцев, рыб и быков. Там, где ты только что плыл, ты можешь засеять поле, а засеянное поле окажется возделанным морем. Временами Нил разливается, и тогда египтяне сидят и ждут, считая дни. И Нил не станет обманывать,— это река, которая дружит с временем, очень точно отмеривает свои воды и не хочет, чтобы ее обвинили в опоздании.

Можно видеть, как земля и вода соперничают друг с другом. Идет между ними постоянная борьба, причем вода стремится затопить обширные земли, а земля хочет вместить мощные потоки пресной воды. Но обе стихии оказываются победительницами, и ни одна не терпит поражения. Потому что вода и земля распространяются вместе, и разбойники оседают в тех местах, где находят изобилие двух стихий. Но приходит время, когда Нил заливает всю страну и превращает ее в болото. Даже после того как Нил входит обратно в берега, болота остаются, не отдавая воды. Египтяне и ходят и плавают по этим болотам, но судну, на котором больше одного человека, не проплыть по ним. Землей завладевает ил. Легкие лодки разбойников не нуждаются в большом количестве воды, а если вода спадает совсем, то они переносят лодки на спинах, пока не достигнут места, где снова смогут сесть на весла. Болота усеяны разбросанными по ним отдельными островками. Иные из этих островков совершенно лишены каких-либо строений и заросли папирусами. Папирусы растут рядами, причем настолько густо, что между ними может встать только один человек. Над головой же его сплетаются между собой листья папируса, образуя надежное укрытие, и жители пользуются им, они залезают в заросли, совещаются там и устраивают засады, защищенные стеной из папируса. На других островках стоят тростниковые хижины, и островки эти напоминают города, укрепленные болотами. Здесь-то и расположены пристанища разбойников. Один из островов, что поближе, выделяется среди других своей величиной и заселенностью, называется он Никохида. Разбойники собрались на этом острове, считая его наиболее защищенным. Они возлагали большие надежды как на свою численность, так и на расположение Никохиды. Только один перешеек соединял Никохиду с сушей, этот перешеек и делал из острова полуостров. Длина перешейка — стадий, а ширина — двенадцать оргий. Город окружен болотами со всех сторон.

XIII

Когда разбойники увидели, что стратег приближается, они решили прибегнуть к хитрости: собрали всех стариков и вручили им пальмовые жезлы, обозначающие просьбу о милости, а сзади поставили здоровых молодых мужчин, вооруженных щитами и копьями. Подняв пальмовые ветви, старики должны были загородить ими стоящих позади разбойников, а те, в свою очередь, должны были склонить копья к самой земле, чтобы их нельзя было заметить. Если стратег согласится на мольбы стариков, то копьеносцы не вступят в сражение, если же нет, то решено было заманить стратега в город, пообещав ему, что разбойники сами предадут себя смерти. Когда войско стратега окажется на середине перешейка, то старики по условленному заранее сигналу бросят пальмовые ветви и разбегутся в разные стороны, освободив дорогу вооруженным разбойникам, которые окружат войско, оказавшееся в полной их власти.

Так они и сделали. Старики пришли со своими жезлами и стали просить стратега, чтобы он не пренебрег их просьбами о снисхождении и пощадил город. Старики посулили дать самому стратегу сто талантов серебра, а сатрапу послать сто человек, которые готовы были за родной город принести себя в жертву, став добычей сатрапа. Надо сказать, что эти обещания стариков не были ложью и они выполнили бы их, если бы стратег внял их просьбам. Но стратег отклонил их. И тогда старики сказали:

— Что же, если так, нам ничего не остается, как смиренно подчиниться решению злой судьбы. Но не убивай нас вдали от ворот родного города, отведи в родные места, на землю отцов, к родимым домам, и там похорони нас. Мы ведем тебя на нашу смерть.

Когда стратег услышал эти слова, он успокоился, прекратил приготовления к сражению и приказал войску следовать за собой.

XIV

Поодаль разбойники расположили разведчиков и приказали им следить за приближением противника,— как только разведчики заметят, что войско начинает переправу, они должны прорвать плотину, чтобы на неприятеля обрушилась вода.

Египтяне строят плотины на всех притоках Нила для того, чтобы река не затопила земли, разлившись раньше времени. Если же вода требуется для орошения равнины, то египтяне чуть приоткрывают плотину, и вода устремляется на нее.

Позади деревни нес свои воды полноводный приток Нила. Когда разведчики увидели приближающееся войско, то плотину немедленно прорыли в нескольких местах. А затем все произошло одновременно. Старики неожиданно расступились, из-за их спин выбежали вооруженные копьями разбойники, и начала прибывать вода. Болота, разбухая от воды, ширились на глазах, вода затопляла перешеек, все кругом стало походить на море. Разбойники, ринувшись в атаку, пронзают копьями оказавшихся перед ними воинов и самого стратега, застигнутых врасплох и смятенных неожиданностью натиска. Смерть прочих не поддается описанию. Одни погибли в самом начале атаки, не успев даже взяться за копье, другие пали, не успев защититься: ведь все случилось одновременно,— разом они поняли свою беду, и уже были сражены. Некоторые погибли даже прежде, чем поняли причину настигнувшей их смерти. Иные, окаменев от неожиданности, стояли, объятые ужасом, и ожидали смерти, другие пытались спастись бегством, но не могли бежать, так как скользили в продолжавшей прибывать воде; те же, кому удалось пробежать несколько шагов, попадáли в болото, и оно их засасывало. Стоящих вода затопила уже по пояс, щиты их отнесло, и животы были открыты. А в болотах вода поднялась уже выше человеческого роста. Нельзя было понять, где болото, а где твердая земля. Те, кто был на твердой земле, боясь оступиться, замедляли шаги и мгновенно оказывались в плену, те же, кто бродил по болоту, надеясь на то, что это суша, тонули в нем. Происходила невиданная беда, страшное кораблекрушение, и при этом ни одного корабля не было видно; и странное что-то происходило и необычное,— сухопутная битва в воде и морское сражение на земле. Разбойники возгордились сверх всякой меры своей победой, забыв о том, что победу одержала не храбрость их, а коварство. Египтянин устроен так, что если он напуган, то целиком попадает в плен своей трусости, если же расхрабрится, то воинственность его безудержна, причем в обоих случаях он не знает меры. Слишком слаб он в несчастье, слишком кичлив в счастье.

XV

Уже десять дней продолжалось безумие Левкиппы, а улучшения все не было. Однажды она произнесла во сне вещие слова: «Горгий, из-за тебя я безумствую». Едва занялась заря, как я передал Менелаю эти слова и стал припоминать, нет ли в деревне какого-нибудь человека по имени Горгий.

Не успели мы прийти в деревню, как сразу же к нам подошел какой-то юноша и сказал: «Я пришел, чтобы спасти тебя и твою жену». Я перепугался, подумав, что он, видно, посланец богов.

— Уж не Горгий ли ты? — спросил я.

— Нет,— ответил он,— я не Горгий, а Хэрей. Что же касается Горгия, то он-то тебя и погубил.

Я еще больше испугался и спрашиваю:

— Кто же такой этот Горгий, и как он это сделал? Некое божество ночью открыло мне его имя. Объясни же мне это прорицание.

— Горгий — это один из египетских воинов. Теперь его уже нет, он стал жертвой разбойников. Этот Горгий был влюблен в твою жену. Так как он от природы был чародеем, то приготовил какое-то любовное зелье и уговорил прислуживавшего вам египтянина взять это зелье и подмешать его в питье Левкиппы. Но ему было невдомек, что яд-то был неразбавленный, и вместо того, чтобы полюбить его, Левкиппа обезумела. Все это рассказал мне вчера слуга Горгия, он отправился в поход вместе с ним, но каким-то чудом уцелел,— может быть, Судьба пощадила его именно ради вас. Он обещает исцелить твою жену и просит за это четыре золотых. Ему известно, как приготовить другое зелье, которое уничтожит действие первого.

— Да будешь ты благословен за твою помощь,— сказал я ему,— и приведи к нам того человека, о котором ты говорил.

Он ушел, а я разыскал нашего слугу-египтянина и, вне себя от гнева, два или три раза ударил его кулаком по лицу, приговаривая:

— Говори, что ты дал Левкиппе, отчего она впала в безумие?

Он, дрожа от страха, рассказал мне все, о чем я уже знал от Хэрея. Мы заключили его под стражу.

XVI

В это время появился Хэрей со слугой Горгия. Я обратился к ним обоим с такими словами:

— Я сразу даю вам четыре золотых, вот они, берите в награду за хорошие известия. Но выслушайте то, что я хочу вам сказать о вашем лекарстве. Вы видите, что причина нынешнего состояния Левкиппы кроется тоже в лекарстве. Ее желудок и так уже пропитан зельем,— не опасно ли продолжать кормить ее лекарствами? Будь добр, расскажи нам про свойства твоего зелья и приготовь его в нашем присутствии. Если ты так сделаешь, получишь еще четыре золотых.

— Я вполне понимаю твои опасения,— ответил мне этот человек,— но составные части моего зелья общеизвестны и съедобны. Я сам отведаю его столько же, сколько примет она.

С этими словами он приказывает слуге купить все необходимое для приготовления спасительного средства, причем перечисляет все его составные части. Вскоре слуга вернулся с покупками, и египтянин, приготовив в нашем присутствии лекарство, разделил его на две части.

— Половину я выпью сам, а остальное дам ей. После того как она примет положенную дозу, она проспит всю ночь, а на заре ее покинут и сон и болезнь.

Он выпивает свою часть лекарства, а оставшееся приказывает под вечер дать Левкиппе.

— Я ухожу, потому что теперь я должен лечь спать, этого требует зелье.

Я дал ему четыре золотых, и он ушел.

— Остальное я дам тебе, когда Левкиппа выздоровеет.

XVII

Когда пришло время дать Левкиппе лекарство, я налил его и стал ему молиться:

— О дитя земли, о дар Асклепия, о зелье, да окажется истиной то, что говорят о тебе. Принеси же мне самое большое счастье, исцели мою возлюбленную. Одержи победу над тем свирепым и варварским зельем, которым опоили ее.

Наставив зелье таким образом, я поцеловал кубок и подал его Левкиппе. Она же, как и предсказывал египтянин, выпив его, тут же уснула. Я сел рядом с ней и стал говорить, как будто она меня слышала:

— Неужели к тебе вернется рассудок? Узна́ешь ли ты меня наконец? Неужто снова услышу я твой голос? Открой мне что-нибудь теперь, когда ты спишь. Ведь вчера ты во сне назвала имя Горгия, и истиной стало твое вещание. Может статься, что во сне покидает тебя твое безумие и, обретая разум, ты счастливее, когда спишь, чем когда бодрствуешь.

Пока я вел с Левкиппой такие разговоры, как будто она могла меня слышать, занялась наконец долгожданная заря. И Левкиппа заговорила. Первым ее словом было: «Клитофонт!» Я вскочил, подошел к ней и тотчас стал расспрашивать, как она себя чувствует. Но оказалось, что она совершенно не помнит, что с ней произошло; только увидев на себе веревки, она очень удивилась и спросила, кто же ее связал. Убедившись в том, что передо мной прежняя Левкиппа, я испытал огромную радость и бросился развязывать веревки, а потом уж и рассказал ей, как все было. Узнав о том, что с ней произошло, Левкиппа очень смутилась, покраснела, словно все это она совершала сейчас. Я убеждал ее не стыдиться, утешал ее и охотно заплатил за лекарство. Ведь разбойники не отняли у Сатира деньги, зашитые в его поясе, да и у Менелая все было цело.

XVIII

Тогда же против разбойников были двинуты из столицы более крупные силы, которые до основания уничтожили их город. Таким образом река была освобождена от дерзких разбойников, и мы стали готовиться к отплытию в Александрию. С нами собирался отправиться и Хэрей, так как он стал нашим другом, после того как помог спасти Левкиппу. Сам он был родом с острова Фарос, где занимался рыбной ловлей. Он служил наемником на корабле в походе против разбойников, так что по окончании его был освобожден от воинской службы. После долгого затишья суда снова заполонили реку, и глаза радовались при виде царившего на ней оживления. Звучали песни матросов, раздавались крики корабельщиков, вели свой хоровод суда. Праздник был на реке, и наш переезд походил на веселое гулянье. Тогда я впервые испил нильской воды, не смешанной с вином, так как мне хотелось вкусить чистого наслаждения от питья. Ведь вино искажает природный вкус воды. Я зачерпнул воду чашей из прозрачного хрусталя и сразу увидел, что блеск воды превосходил сверкание хрусталя. Сладостно было пить эту воду, студеную как раз в меру наслаждения. Я знаю, что в

иных реках Эллады вода просто ранит своим холодом. Так что я мог сравнить воду Нила с ними. Мне стало понятно, почему египтяне без страха пьют нильскую воду, не нуждаясь в услугах Диониса. Дивился я и тому, каким способом египтяне пьют ее. Они никогда не пьют из кубков, терпеть их не могут и предпочитают им собственные руки. Если кто-нибудь во время плавания испытывает жажду, он свешивается через борт корабля, наклоняет к воде лицо и погружает в нее руки. Сложив их в виде ковша, он зачерпывает таким способом воду и отправляет ее в рот. Рот при этом держат открытым, он как бы ждет водяного броска, принимает его, закрывается и не позволяет воде вылиться.

XIX

Довелось мне увидеть в водах Нила и другого зверя, которого превозносят за то, что он сильнее, чем нильский конь. Называется он крокодил. По виду он одновременно напоминает и рыбу и зверя. Длина его от головы до хвоста очень велика, и ширина ей не соответствует. Шкура шероховатая и чешуйчатая, у спины цвет камня, темно-серый, живот белый. У крокодила четыре ноги, загибающиеся немного в разные стороны, как у сухопутной черепахи. Хвост длинный, толстый и похож на твердое тело. Он не свешивается вниз, как хвосты других животных, но служит продолжением позвоночника. Поверхность хвоста состоит из острых колючек, которые похожи на зубцы пилы. Во время охоты крокодил пользуется хвостом как бичом. Он ударяет своего противника хвостом, и один такой удар наносит множество ран. Так как у крокодила нет шеи, то голова непосредственно врастает в тело, соединясь со спиной по наклонной линии. Но более всего ужасает пасть крокодила, челюсти у него невероятно длинны, и животное раскрывает пасть во всю их длину. В обычное время, когда пасть крокодила закрыта, это голова. Но стоит ему во время охоты разинуть пасть, как вся голова в нее превращается. Он поднимает верхнюю челюсть, в то время как нижняя неподвижна. Расстояние между ними очень велико, пасть разверзается до самых плеч, и через нее видно чрево крокодила. У него множество зубов, и они посажены в челюсти длинными рядами. Говорят, что у крокодила столько же зубов, сколько дней зажигает бог в течение целого года. Таков урожай равнины его челюстей. Когда он выбирается на сушу, то, видя, как он волочит по ней свое тело, веришь в его чудовищную силу.

I

Спустя три дня мы приплыли в Александрию. Я прошел через ворота, которые называются Вратами Солнца, и передо мной развернулась сверкающая красота города, наполнившая радостью мой взор. Прямые ряды колонн высились на всем протяжении дороги от ворот Солнца до ворот Луны,— эти божества охраняют оба входа в город. Между колоннами пролегла равнинная часть города. Множество дорог пересекало ее, и можно было совершить путешествие, не выходя за пределы города.

Я прошел несколько стадиев и оказался на площади, названной в честь Александра. Отсюда я увидел другие части города, и красота его разделилась. Прямо передо мной рос лес колонн, пересекаемый другим, таким же лесом. Глаза разбегались, когда я пытался оглядеть все улицы и, не будучи в состоянии охватить целого, не мог утолить ненасытную жажду зрения. Что-то я видел, а что-то только хотел увидеть, торопился посмотреть одно и не хотел пропустить другого. Владело моими взорами созерцаемое, влекло к себе ожидаемое. Я без устали бродил по улицам города, тщетно стремясь увидеть все своими глазами, и, наконец, выбился из сил. «Очи мои, мы побеждены»,— сказал я.

Представились мне два неслыханных и невиданных чуда: соревнование величия и красоты, населения и города, и участники этого состязания равно одерживали победу. Казалось, что город больше, чем целый материк, а население многочисленнее, чем целый народ. Я смотрел на огромный город и не верил, что

«Левкиппа и Клитофонт»
Б. Дехтерев

найдется столько людей, чтобы его заполнить; я смотрел на людей и не верил, что может существовать город, который в состоянии вместить их. С такой точностью были уравновешены чаши весов.

II

Случилось так, что именно тогда происходили празднества в честь великого бога, которого эллины называют Зевсом, а египтяне — Сераписом. Факельное шествие двигалось по улицам. Более величественного зрелища мне не доводилось видеть. Солнце уже закатилось, был вечер, но нигде нельзя было застать ночи, потому что взошло новое солнце, рассыпавшееся на множество огней. Очам моим представился город, чья красота могла соперничать с небесной. Дивился я на Зевса Милосердного и Небесный Храм его.

Я обратил к великому богу мои молитвы и мольбы о том, чтобы он ниспослал конец нашим бедам. А потом мы отправились в дом, который подыскал для нас Менелай.

Но бог, как видно, не пожелал внять моим мольбам,— нас ожидало новое, уготованное Судьбой, испытание.

III

Оказалось, что Хэрей уже давно был втайне влюблен в Левкиппу, поэтому-то он и помог нам спасти ее, преследуя при этом две цели: сблизиться с нами и исцелить для себя девушку. Он прекрасно понимал, что у него ничего не выйдет, если он не применит какой-нибудь хитрости, поэтому Хэрей придумал коварный план: собрал разбойников, своих товарищей по ремеслу,— сам-то он был моряком,— посвятил их в свой замысел и пригласил нас всех к себе в гости на Фарос, якобы на день рождения.

Едва мы вышли из дома, как сразу явилось нам дурное знамение: преследующий ласточку ястреб задел крылом голову Левкиппы. Встревоженный этим, я поднял глаза к небу:

— О Зевс,— обратился я к богу,— что это? Как понять это знамение? Если от тебя эта птица, то подай еще какой-нибудь знак, чтобы можно было лучше тебя понять.

С этими словами я обернулся, а стоял я неподалеку от мастерской живописца, и заметил выставленную там картину: она

словно подтверждала мои опасения, вызванные только что представившимся знамением. На ней изображено было надругательство над Филомелой, насилие Терея, вырезание языка. Во всех подробностях рассказывала эта картина о случившемся: можно было увидеть на ней и пеплос, и Терея, и пиршество. Держа в руках развернутый пеплос, стояла служанка, рядом с ней Филомела показывала пальцем на вытканный на пеплосе рисунок. Прокна кивала головой, понимая, что́ изображено на нем; она смотрела на рисунок грозно и гневалась. На рисунке был выткан фракиец Терей, вступивший в любовную борьбу с Филомелой. Волосы у нее растрепаны, пояс развязан, хитон порван, грудь полуобнажена, правую руку она протягивает к глазам Терея, а левой натягивает на грудь разорванный хитон. Терей сжимает Филомелу в своих объятиях, изо всех сил стараясь привлечь ее тело к себе как можно ближе. Таким изобразил художник вытканный на пеплосе рисунок. В другой части картины были нарисованы женщины, которые показывали Терею на остатки пиршества, лежащие в корзине,— а остатками этими были голова и руки мальчика. Женщины и смеются и ужасаются одновременно. Я увидел и Терея, который вскакивает с ложа и извлекает из ножен меч, собираясь направить его против женщин,— ногой он уперся в стол, а стол и не упал еще, но и не стоит уже, а, наклонившись, вот-вот упадет.

IV

— Мне кажется, что нам не следует ехать на Фарос,— сказал тогда Менелай.— Ты видишь, что два недобрых знамения явились нам: птица задела крылом Левкиппу, и картина предвещает какую-то беду. Истолкователи знамений говорят, что надо обязательно обращать внимание на содержание картин, которые встретились путнику, отправляющемуся на какое-нибудь дело. Они велят судить об исходе этого дела по смыслу тех событий, которые изображены на картине. Ты видишь, сколькими ужасами наполнена эта картина? Здесь и противозаконная любовь, и бесстыдная измена, и горе женщин. Придется нам воздержаться от этой поездки.

Мне показалось, что Менелай прав, и я извинился перед Хэреем, отложив в этот день нашу поездку. Он удалился, крайне недовольный, и сказал, что придет к нам на следующий день.

V

Известно, что женщины обожают всякие рассказы, поэтому Левкиппа тотчас спросила меня:

— О чем говорит эта картина? Что это за птицы изображены на ней? Кто эти женщины? Кто этот бесстыдный мужчина?

И я начал рассказывать ей:

— Соловей, ласточка и удод. Все они люди и одновременно птицы. Удод — мужчина, а две женщины — соловей и ласточка. Филомела — ласточка, а Прокна — соловей. Женщины родом из Афин. Мужчина — это Терей. Прокна — жена Терея. Но варварам, как видно, недостаточно одной жены, чтобы предаваться утехам Афродиты,— они не замедлят воспользоваться удобным случаем для того, чтобы дать волю своей необузданности. Нежная привязанность Прокны как раз и позволила фракийцу Терею обнаружить природу своей натуры: случилось так, что Прокна послала своего мужа Терея за любимой сестрой. Терей же ушел мужем Прокны, а возвратился любовником Филомелы, по дороге он сделал Филомелу новой Прокной. Боясь языка Филомелы, Терей срывает цветок ее голоса, чтобы никогда она не смогла уже заговорить, так что брачным приданым девушки становится вечная немота. Но больше он ничего не достиг этим, потому что Филомела благодаря своему искусству рассказала обо всем без слов. Своим вестником она сделала пеплос, и вышитые ею узоры сказали все, чего уже не мог рассказать ее язык: она расшила пеплос утками и вплела в узор все, что с ней произошло. Языку подражала ее рука, она рассказала глазам Прокны то, чему должны были внимать ее уши, с помощью челнока несчастная Филомела поведала Прокне обо всех своих страданиях.

Прокна услышала голос пеплоса, поняла, что совершилось насилие, и решила жестоко отомстить мужу за оскорбление. Смешались две ярости, две женщины, оскорбленные и одновременно объятые ревностью, дышали одним желанием и задумали пиршество страшнее самого брака. Сын Терея должен был стать яством на этом пиршестве,— тот, кто еще недавно был сыном Прокны, пока не ослепил ее гнев. Забыла она родовые муки. Так ревность бывает сильнее даже материнского лона. Одного только хотели женщины — доставить осквернителю брачного ложа самую ужасную боль. Пусть даже и сами они будут страдать от своей мести, но страдание женщин облегчается сладостью осуществленной мести.

Терей отведал яства, приготовленного для него этими Эриниями, а они принесли ему в корзине останки ребенка и смеются, но ужаса полон их смех. Терей увидел останки ребенка, и горе охватило его над пищей, отцом которой он был. Едва он понял, что́ с ним сделали, как, объятый неистовым гневом, схватил меч, чтобы поразить им женщин,— он бросается на них, но в птиц обращаются женщины, и Терей вслед за ними поднимается в воздух, и становится птицей; так и до сих пор Терей гонится за соловьем, потому что никогда не остынет его гнев, хотя он сменил свою одежду на птичье оперение.

VI

В тот день удалось нам избежать злого умысла, но выиграли мы только один день. На другое утро снова пришел к нам Хэрей, и мы, постеснявшись, не решились возразить ему. Пришлось нам сесть в лодку, и вскоре мы прибыли на Фарос. Дома остался один Менелай, сославшись на плохое самочувствие.

Хэрей сначала подвел нас к башне и показал удивительное замысловатое строение. Посреди моря, возвышаясь до самых облаков, лежала гора, а под ней текла вода: как бы висело над морем это сооружение, а над вершиной его сияло солнце, кормчий всех кораблей.

Оттуда мы с Хэреем отправились к его дому, который стоял в самом отдаленном уголке острова, у моря.

VII

Наступил вечер, и Хэрей вдруг вышел куда-то, сказав, что у него не все в порядке с желудком. Прошло совсем немного времени, и у дверей неожиданно раздался крик. В ту же минуту ворвались здоровенные детины с обнаженными мечами, их было много, и все они бросились на Левкиппу. Увидев, что похищают мою возлюбленную, я не выдержал и ринулся на них сквозь мечи. Кто-то из них рассек мне мечом бедро,— я упал. Лежа на земле, я истекал кровью. Они же посадили девушку в лодку и удрали. На шум и крики, которые подняли разбойники, явился стратег острова. Мы познакомились с ним еще в те времена, когда стояли в лагере. Я показал ему свою рану и попросил его о том, чтобы он не дал разбойникам скрыться. В городе стояло

на якоре множество кораблей. Он взошел на один из них и вместе с отрядом, который был при нем, пустился в погоню за разбойниками. Меня на носилках тоже внесли на этот корабль.

Когда разбойники увидели, что к ним приближается корабль, готовый завязать сражение, они вывели на палубу девушку со связанными за спиной руками, кто-то из них закричал во всю мочь: «Вот вам награда!» — и с этими словами снес ей голову с плеч, а потом обезглавленное тело девушки разбойники бросили в море. Увидев все это, я закричал, зарыдал и вскочил, чтобы броситься в море вслед за ней. Но так как мне не дали этого сделать, я стал умолять остановить корабль. Пусть хоть кто-нибудь другой прыгнет в волны, чтобы я мог получить тело Левкиппы для погребения. Стратег послушался меня и остановил корабль; два моряка кинулись в воду, нырнули и вынырнули с телом в руках.

Разбойники, увеличивая скорость, тем временем удалялись от нас все дальше и дальше. Когда мы значительно сократили расстояние между кораблями, они неожиданно увидели еще один корабль, вероятно, известный им, и позвали его на помощь. На корабле этом находились пираты, промышлявшие пурпурницами, которых они вылавливали. Когда стратег понял, что против нас уже два корабля вместо одного, он испугался и приказал повернуть обратно. Было очевидно, что пираты отказались от попытки укрыться от нас, но были готовы вступить с нами в бой.

Когда мы высадились на землю, я обнял бездыханное тело Левкиппы и заплакал:

— Теперь, Левкиппа, ты и вправду умерла, и притом двойной смертью, потому что поделили твою гибель суша и море. У меня в руках останки твоего тела, но тебя самое я потерял. Не поровну поделились тобой море и земля. Малую часть тебя оставило мне море, хотя и кажется она большей, морю же досталась ты сама, в малом оно завладело всей тобой. Но пусть злая Судьба не дала мне целовать лицо твое, я стану целовать твой обезглавленный труп.

VIII

Так я оплакивал смерть возлюбленной, потом я предал ее тело погребению и вернулся в Александрию. Хотя я и не хотел этого, но рану мою исцелили, и, утешаемый Менелаем, я скрепя сердце продолжал жить.

Прошло шесть месяцев, и постепенно горе начало притупляться. Ведь время — это лучшее лекарство от печали, оно одно врачует душевные раны. Щедро радостью солнце; понемногу проходит даже самая глубокая скорбь, побеждаемая дневными заботами, хотя подчас избыток ее и вскипает в пылающей душе.

Я прогуливался по площади, когда кто-то, подойдя ко мне сзади, взял меня за руку и, повернув к себе, не говоря ни слова, обнял и стал целовать. Я не понял сначала, кто это, и оцепенел в изумлении, представив собой как бы мишень для столь бурных проявлений восторга. Когда же этот человек перестал целовать меня, я увидел его лицо, и это было лицо Клиния! Я вскрикнул от радости, в свою очередь, бросился его обнимать, и мы пошли ко мне домой. Он рассказал мне о том, как спасся после кораблекрушения, а я — о том, что произошло с Левкиппой.

IX

— Как только разбился наш корабль,— рассказывал Клиний,— я бросился к рее, уже облепленной людьми, едва сумел обхватить ее конец руками и повис на ней. Но недолго пришлось нам плавать, уцепившись за рею, потому что громадная волна подняла ее на свой гребень и с размаху швырнула на подводную скалу, но не тем концом, за который я держался, а противоположным. Ударившись о скалу, бревно с силой отскочило назад, словно орудие, а меня метнуло, как камень из пращи. Весь остаток дня меня носило по волнам, причем я уже потерял всякую надежду на спасение. Совершенно выбившись из сил, я вручил свою жизнь Судьбе, как вдруг заметил несущийся мне навстречу корабль. Я простер к нему руки, насколько мог, и знаками показывал, что молю о спасении. То ли бывшие на корабле сжалились надо мной, то ли по воле ветра, но судно направилось прямо ко мне. Когда оно поравнялось со мной, один из моряков бросил мне канат, и, ухватившись за него, я поднялся на корабль, вырвавшись из врат смерти. Корабль плыл в Сидон, и некоторые из тех, кто на нем были, узнали меня и оказали мне помощь.

X

На третий день мы прибыли в город. Вместе со мной плыли сидоняне — торговец Ксенодамант и его зять Теофил. Я попросил их, чтобы они не говорили никому из тирийцев, с которыми

могут встретиться, о том, что я спасся от кораблекрушения. Мне не хотелось, чтобы они узнали о том, что я бежал с тобой. Это можно было легко скрыть, если только они будут хранить молчание,— ведь прошло всего пять дней, как я исчез. А своим домашним, как ты знаешь, я дал наказ на все вопросы обо мне отвечать, что я уехал в деревню на десять дней.

Приехав, я убедился в том, что все так и думали. В это время твой отец еще не вернулся из Палестины,— он приехал спустя два дня и сразу же получил письмо от отца Левкиппы, которое пришло всего на день позже нашего отъезда. В этом письме Состратписал, что отдает тебе в жены Левкиппу. Когда твой отец прочитал письмо и узнал о нашем бегстве, он пришел в отчаяние от разнообразия несчастий, которые обрушились на него: во-первых, он терял награду, которая была обещана ему в письме, а во-вторых, Судьба так повернула ход событий, что лишь самой малости недоставало для того, чтобы все устроилось ко всеобщему удовольствию,— ведь ничего не произошло бы, если бы письмо доставили раньше.

Он решил, что пока следует воздержаться от того, чтобы писать брату, и попросил, чтобы и мать Левкиппы этого не делала.

— Ведь, может быть, мы сумеем разыскать их, и Состратне узнает, что случилось несчастье. Как только дойдет до них весть, что им разрешено жениться, они с удовольствием вернутся, потому что в этом случае исчезнет причина, заставившая их бежать.

Всеми возможными способами отец твой стремился разузнать, куда вы бежали. Недавно из Египта приплыл на корабле тириец Диофант и рассказал твоему отцу, что видел тебя в Александрии. Я как узнал об этом, не мешкая сел на корабль, в чем был, и вот уже восьмой день с утра до вечера хожу по городу, разыскивая тебя. Тебе следует обдумать все это, потому что со дня на день сюда может приехать и твой отец.

XI

Когда я все это услышал, то не смог сдержать рыданий,— как Судьба играла с нами!

— О злое божество! — воскликнул я.— Теперь Состратотдает мне Левкиппу, посреди войны он посылает мне невесту, точно отмерив дни, чтобы только не помешать моему бегству. О, запоздалое счастье! Каким счастливцем я мог быть, приди

это письмо днем раньше! После смерти — брак, после погребальных песен — гименеи! Какую невесту посылает мне Судьба! Даже трупа ее она не дала мне невредимым!

— Сейчас неподходящий момент для того, чтобы оплакивать мертвых,— сказал Клиний,— давай лучше подумаем, как нам быть, то ли тебе возвращаться на родину, то ли дожидаться отца здесь.

— Ни того, ни другого не стану я делать,— ответил я.— Как я посмотрю отцу в глаза после того, как обратился в столь позорное бегство, да еще при этом погубил сокровище, доверенное ему братом. Мне остается только скрыться, пока он сюда не пришел.

В этот момент входит Менелай и с ним вместе Сатир. Они обнимают Клиния и узнают от нас обо всем, что произошло.

— Но ведь у тебя сейчас есть прекрасная возможность устроить свои дела наилучшим образом и при этом еще проявить снисхождение к душе, которая истомилась любовью к тебе,— сказал Сатир.— Пусть и Клиний узнает об этом. Ведь Афродита даровала Клитофонту великое благо, а он не хочет принять его. Афродита зажгла страстью к нему красивейшую женщину,— кто бы ни увидел ее, скажет, что она подобна статуе богини. Зовут ее Мелита, а родом она из Эфеса. Богатство ее велико, а возраст юн. Муж ее недавно погиб в море, и она хочет, чтобы Клитофонт стал ее повелителем,— не скажу мужем,— всю себя она отдает ему вместе со всем своим состоянием. Из-за Клитофонта она провела здесь уже четыре месяца, умоляя его последовать за ней. Он же зазнался и пренебрегает ею, думая, видно, что Левкиппа может ожить.

XII

— В том, что говорит Сатир,— сказал Клиний,— по-моему, есть доля истины. Ведь если одновременно пришли к тебе красота, богатство и любовь, то неразумно бездействовать и медлить. Ведь красота несет наслаждение, богатство — роскошь, а любовь — благоговение. А бог ненавидит пустых гордецов. Так послушайся же Сатира и заодно угоди богу.

Застонав, я ответил:

— Веди меня куда угодно, если и Клиний этого хочет. Только пусть эта женщина не надоедает мне и не требует без конца, чтобы я овладел ею раньше, чем мы приедем в Эфес.

Ведь когда я потерял Левкиппу, то поклялся не сходиться здесь с другими женщинами.

Услышав мои слова, Сатир бросился к Мелите, чтобы обрадовать ее. Очень скоро он возвратился и рассказал, что Мелита от радости едва не лишилась чувств. Она попросила меня прийти к ней в тот же день, чтобы вместе пообедать перед тем, как вступить в брак. Я повиновался и отправился к Мелите.

XIII

Увидев меня, Мелита тотчас вскочила, обняла меня и все мое лицо покрыла поцелуями. Она на самом деле была прекрасна: ты бы сказал, что лицо ее белее молока, а на щеках цветут розы. Любовным пламенем горел ее взор, тяжелая копна золотых волос увенчивала голову,— так что я не без удовольствия взирал на эту женщину.

Обед был роскошным,— она же едва прикасалась к изысканным яствам, которые были поданы. Делая вид, что ест, она на самом деле не могла наслаждаться едой, а все время смотрела на меня. Ведь ничто не кажется влюбленному сладостным, кроме предмета его любви. Любовь забирает всю душу без остатка, не оставляя в ней места для пищи. Радость от того, что ты видишь возлюбленную, через глаза проникает в душу и заполняет ее. Такое созерцание увлекает за собой образ любимой, воспроизводит его в зеркале души и воссоздает в ней любимый облик. Красота невидимыми лучами струится во влюбленное сердце и запечатлевает в глубинах его свою тень.

Я все понял и говорю ей:

— Но ты ведь ничего совершенно не ешь; так, как ты, едят только на картинах.

— Какое яство может быть более утонченным для меня, какое вино более драгоценным, чем ты? — ответила она и с этими словами стала меня целовать, и поцелуи ее были мне приятны, а потом она сказала:

— Вот моя пища.

XIV

Так мы с ней проводили время. Когда же настал вечер, Мелита стала уговаривать меня провести с ней ночь, но я отказался, сославшись на то, о чем уже говорил Сатиру. Мы условились на другой день встретиться в храме Изиды, чтобы обо

всем договориться и дать друг другу клятву верности перед богиней.

Вместе с нами пришли в храм Клиний и Менелай, и мы поклялись — я любить ее без хитрости, а она сделать меня своим мужем и владетелем всего, что ей принадлежало.

— Наше соглашение вступит в силу,— сказал я,— когда мы прибудем в Эфес, а пока мы здесь, тебе придется уступить место Левкиппе, как я уже и говорил тебе.

Тем временем нам приготовили роскошный обед, он назывался свадебным, хотя на деле брак наш был отложен. И я припоминаю, как во время этого обеда Мелита пошутила. В то время как все приглашенные славословили наш брак, она, склонившись ко мне, шепнула:

— Только я одна на свете,— сказала она,— претерпеваю подобное тому, что делают с мертвыми, чей труп не найден: в таких случаях воздвигают гробницу над пустой могилой, а я вступаю в брак, которого на самом деле нет.

Так шутила она, и в шутках ее был намек.

XV

На следующий день все было готово к отъезду, волей Судьбы и ветер торопил скорее отправляться в дорогу. Менелай проводил нас до самого залива и на прощание пожелал более благополучного путешествия по морю; он был замечательным юношей, достойным богов, и, расставаясь с нами, заплакал, да и мы залились слезами.

Клиний же принял решение не оставлять меня, пока мы не приплывем в Эфес и он не поживет там со мной некоторое время, чтобы убедиться в том, что дела мои пошли на лад. Только тогда он собирался вернуться на родину.

Ветер подгонял корабль, наступил вечер, и, поужинав, мы отправились спать. Для нас с Мелитой был поставлен на корабле отдельный шатер. Она заключила меня в объятия, стала целовать и требовать, чтобы я вступил с ней в настоящий брак.

— Ведь теперь,— просила она меня,— мы вышли из пределов, отданных Левкиппе, и достигли тех мест, где должен вступить в силу наш договор,— наступил положенный срок. Зачем нам ждать, пока мы достигнем Эфеса? Неизвестно, как обойдется с нами море. Нельзя верить переменчивым ветрам. Поверь мне, Клитофонт, я вся горю. Если бы только я могла показать тебе этот огонь! Если бы только огонь любви был схож с обык-

повенным огнем, я зажгла бы тебя своими объятиями! Но он не таков, это особый огонь,— в его ярком пламени сливаются в объятиях влюбленные, но он щадит их. О, пламя таинственное, сокровенное, пламя, не покидающее доверенных ему пределов! Давай же, о возлюбленный мой, посвятим себя таинствам Афродиты!

XVI

— Не заставляй меня,— ответил я,— нарушать святой закон почитания умерших. Ведь мы не вышли еще из границ, отведенных несчастной девушке, не достигли мы еще другой земли. Разве не известно тебе, что она погибла в море? Я плыву сейчас над могилой Левкиппы. Может статься, вокруг корабля витает ее призрак. Я слышал, что души погибших в море не спускаются в Аид, но бродят по волнам, и в то время, как мы с тобой обнимаемся, может предстать перед нами Левкиппа. Неужто это место кажется тебе подходящим для вступления в брак? Брак в волнах, брак, увлекаемый морской пучиной! Не хочешь же ты, чтобы наш свадебный чертог был возведен на воде.

— Ты что-то мудришь, мой любимый,— ответила мне Мелита,— любое место для влюбленных может стать брачным чертогом, для бога не существует запретов. Мне кажется, море более всего подходит для Эрота и таинств Афродиты. Афродита дочь моря. Давай порадуем богиню любви, почтим браком ее мать! Повсюду чудятся мне символы брака. Это ярмо, нависшее над головой, эти узы, обвитые вокруг реи,— все это, любимый, прекрасные предзнаменования. Осененный ими стоит наш брачный чертог, да и кормило поблизости от нашей опочивальни. Сама Судьба управляет нашей свадьбой. Брачными узами соединяют нас Посейдон и хоровод Нереид. Здесь сам Посейдон сочетается браком с Амфитритой. Сладко свищет ветер в корабельных снастях. Мне представляется, что ветры своим дыханием напевают нам свадебную песнь. Посмотри, как закругляется наполненный ветром парус, словно чрево беременной женщины. И это тоже хороший знак,— скоро ведь и ты у меня будешь отцом.

— Женщина,— сказал я ей, видя, что она продолжает настаивать,— будем же благоразумны, пока не достигнем земли. Клянусь тебе самим морем и судьбой нашего плавания, я страстно жажду того же, что и ты. Но у моря существуют свои законы. Я часто слышал от моряков, что корабли должны быть

чисты от дел Афродиты,— может быть, оттого, что суда священны, а может быть, и оттого, что никто не должен среди опасностей предаваться наслаждению. Не станем же, любимая моя, оскорблять море, смешивать радости любви со страхом. Сохраним радость неомраченной.

Говоря так, я старался отрезвить ее, убеждал, помогая себе поцелуями, и остальную часть ночи мы проспали спокойно.

XVII

Мы плыли пять дней и, наконец, прибыли в Эфес. Оказалось, что Мелите принадлежал первый из всех эфесских домов. Огромный, он кишел многочисленной прислугой и блистал роскошью убранства. Мелита приказала приготовить самый восхитительный обед, какой только можно представить.

— А мы пока что,— сказала она,— поедем в мое поместье.

Поместье у Мелиты находилось в четырех стадиях от города. Мы сели в колесницу и поехали.

Только мы прибыли туда и стали прохаживаться по саду, как внезапно к нашим ногам бросается женщина с остриженной головой, в тяжелых колодках, с мотыгой в руках, грязная, в подпоясанном нищенском хитоне.

— Смилуйся надо мной,— восклицает она,— о моя госпожа! Как женщина над женщиной! Я родилась свободной, а теперь Судьба превратила меня в рабыню.— С этими словами она умолкла.

— Встань, женщина,— ответила ей Мелита.— Скажи мне, кто ты, откуда, кто заковал тебя в железо? Ведь даже сейчас, когда ты попала в беду, красота твоя говорит о том, что ты благородного происхождения.

— Твой раб,— сказала она,— поступил со мной так за то, что я не захотела стать его наложницей. Меня зовут Лакэна, родом я из Фессалии. Я вручаю тебе мою жизнь, как молящий о спасении масличную ветвь. Спаси меня от несчастья. Защити меня до той поры, пока я не заплачу две тысячи. За эту цену Сосфен купил меня у разбойников. Ты можешь быть уверена, что я очень скоро раздобуду их. Если же нет, то я стану твоей рабыней. Посмотри, как он истерзал меня побоями.

Она приоткрыла хитон и показала спину, всю исполосованную бесчисленными ударами.

Слушая все это, я чувствовал себя смущенным: женщина напоминала мне Левкиппу. Мелита же сказала:

— Положись на меня, женщина. Мы избавим тебя от всех бед и отправим домой без всякого выкупа. А теперь пусть кто-нибудь позовет нам Сосфена.

С женщины тотчас сняли оковы, а Сосфен пришел изрядно напуганный.

— Где ты видел, злодейская голова,— сказала она ему,— чтобы с самым негодным из рабов обращались у нас подобным образом? Отвечай мне немедленно, кто эта женщина, и не вздумай лгать.

— Я ничего не знаю, госпожа,— ответил он,— кроме того, что какой-то купец по имени Каллисфен продал мне девушку. Он сказал, что сам купил ее у разбойников, но что она свободна. Купец этот называл ее Лакэной.

Мелита тотчас лишила Сосфена должности управляющего, которую он занимал до сих пор, а Лакэну поручила рабыням, приказав вымыть ее, одеть в чистую одежду и отвезти в город. Потом она отдала необходимые распоряжения, ради которых и приехала в свое имение, села в колесницу, и мы поехали обратно в город, прибыв к самому обеду.

XVIII

Посреди обеда Сатир кивком головы подал мне знак, чтобы я вышел, при этом у него было очень серьезное лицо. Я притворился, что желудок торопит меня выйти из-за стола, и покинул трапезу. Когда я подошел к Сатиру, он, ни слова не говоря, протянул мне письмо. Я взял его, и, еще не начав читать, обмер: я узнал почерк Левкиппы. Вот что было написано в письме:

«Левкиппа Клитофонту, господину своему.

Ведь именно так теперь я должна называть тебя, потому что ты стал мужем моей госпожи. Ты знаешь, сколько всего я перенесла из-за тебя. Но пришла необходимость напомнить тебе об этом. Из-за тебя я оставила мать и предалась скитаниям; из-за тебя я претерпела кораблекрушение и попала в руки разбойников; из-за тебя я стала очистительной жертвой и умерла во второй раз; из-за тебя меня продали в рабство, сковали железом, я работала мотыгой, копала землю, меня били,— и все это для того, чтобы я стала для другого мужчины тем же, чем ты стал для другой женщины! Не бывать этому! Но я выдержала и осталась верна тебе, несмотря на принуждение. Тебя же никто не продавал в рабство, никто не подвергал побоям, и ты

женишься! Если есть в тебе хоть немного благодарности за то, что я столько страдала ради тебя, попроси твою жену, чтобы она отправила меня в город, как она обещала. А те две тысячи, которые заплатил за меня Сосфен, я вышлю,— поверь мне и поручись за меня Мелите. Ведь рядом Византий. Если же тебе самому придется заплатить за меня, то считай, что этими деньгами ты вознаграждаешь меня за мои страдания. Будь здоров и наслаждайся новым браком. Я же пишу тебе это письмо девушкой».

XIX

Не могу передать, что сделалось со мной, когда я прочитал это письмо. Я заливался краской, бледнел, поражался, не верил, радовался, горевал.

— Уж не из Анда ли ты явился с этим письмом? — спросил я Сатира.— Что все это означает? Левкиппа снова ожила?

— Конечно,— сказал он,— это та самая девушка, которую мы видели в поместье Мелиты. Из-за остриженных волос у нее был настолько юный вид, что узнать ее было невозможно.

— Такое огромное счастье в твоих руках,— воскликнул я,— и ты услаждаешь им только мои уши, не показывая его моим глазам!

— Ты должен онеметь, чтобы не погубить всего,— ответил мне Сатир,— пока мы самым тщательным образом не обдумали наши действия. Ты видишь, что первая среди эфесских женщин безумствует из-за тебя, мы же беспомощны в сетях, которыми она нас оплела.

— Но я не могу! Счастье разливается по всем моим жилам. Посмотри, как она упрекает меня в своем письме.— И я тотчас снова начинаю перечитывать письмо, словно вижу за буквами саму Левкиппу, и приговариваю: — Справедливы твои упреки, возлюбленная моя. Все на свете ты вынесла из-за меня, всем твоим бедствиям я виной.

Читая слово за словом, я дошел до того места, где Левкиппа описывала пытки и побои, которым подвергал ее Сосфен, и заплакал, словно пытки эти происходили у меня на глазах. Разум, отсылая очи моей души к строкам письма, показывал мне все, что было в них сказано, как будто это совершалось передо мной наяву. Снова читая, как она укоряет меня за то, что я вступил в брак, я покраснел, как застигнутый на месте преступления прелюбодей. Такой стыд испытывал я при чтении ее письма.

XX

— Горе мне, Сатир,— сказал я,— как оправдаться теперь? Я уличен. Левкиппа обвиняет меня. Быть может, она меня возненавидела. Но скажи мне, как удалось ей спастись и чье тело мы похоронили?

— Придет время, и она сама все тебе расскажет,— ответил Сатир.— Сейчас ты должен написать ей ответ и успокоить девушку. Ведь я поклялся ей в том, что ты женился против воли.

— Ты сказал ей, что я женился?! Так ты погубил меня! — вскричал я.

— До чего же ты простодушен,— ответил он мне.— Весь город знает о твоем браке.

— Но я не женился, Сатир, клянусь тебе Гераклом и своей судьбой!

— Ты шутишь дорогой мой. Ты ведь с ней спишь!

— Я знаю, что невозможно поверить моим словам, но до этой самой минуты я ни разу не прикоснулся к Мелите. Но говори, что же мне писать! Я до того ошеломлен всем происшедшим, что совершенно растерялся и чувствую себя беспомощным.

— Эрот подскажет тебе, потому что я нисколько не мудрее тебя. Только пиши поскорее,— ответил Сатир.

И я начал писать:

«Здравствуй, владычица моя Левкиппа!

Я несчастлив в счастье, потому что, хотя я рядом с тобой, увидеть тебя я не могу, а вижу вместо тебя, которая так близко, твое письмо. Если ты хочешь знать правду и не осуждаешь меня заранее, то поверь мне, что, подобно тебе, и я сохранил до сих пор свою девственность, если такое понятие уместно в отношении мужчин. Если же ты, не пожелав выслушать моих оправданий, уже возненавидела меня, то клянусь тебе спасшими тебя богами, что очень скоро сумею оправдать себя во всем. Будь здорова и милостива ко мне, возлюбленная моя».

XXI

Я отдал письмо Сатиру и попросил его рассказать Левкиппе все, что он сочтет нужным. Мне же пришлось возвратиться к столу. Я вернулся на пир, переполненный одновре-

менно радостью и горем. Я знал, что в эту ночь Мелита ни за что не допустит, чтобы я не стал ее мужем. Но, обретя вновь Левкиппу, я не мог даже смотреть на другую женщину, не говоря уже о том, чтобы жениться на ней. Я силился сохранить то же выражение лица, которое было у меня раньше, но временами не мог сладить с собой. Когда побеждало обуревавшее меня волнение, я ссылался на то, что чувствую озноб. Мелита догадалась, что озноб мой — всего лишь уловка, изобретенная для того, чтобы уклониться от моего обещания, но доказать этого она не могла. Не прикоснувшись к еде, я встал, чтобы пойти лечь, а она, не кончив обедать, тотчас тоже поднялась со своего места и последовала за мной. Когда мы пришли в спальню, я стал еще сильнее притворяться, что болен, она же взмолилась:

— Что же ты делаешь? До каких пор ты будешь мучить меня? И море мы уже переплыли и в Эфес прибыли,— настал срок вступить нам в брак. Чего теперь мы должны ждать? Долго мы еще будем спать, как в храме? Ты кладешь меня возле многоводной реки и не даешь напиться из нее. Все время передо мной вода, но я жажду по-прежнему, хотя сплю у родника. Ложе твое для меня похоже на пищу и питье Тантала.

Так она говорила и, положив голову мне на грудь, плакала так жалобно, что вызвала в моей душе сострадание. Я не мог решить, что же мне делать; упреки ее казались мне справедливыми. И тогда я сказал ей:

— Любимая, клянусь тебе отчими богами, что я и сам сгораю желанием ответить на твою любовь. Но я не знаю, что со мной случилось,— какая-то болезнь напала на меня, а ты ведь знаешь, что когда нет здоровья, тщетны притязания Афродиты.

Говоря это, я утирал Мелите слезы, снова давал ей клятвы, пытался уверить ее в том, что скоро сбудутся все ее желания.

В ту ночь она едва вынесла все это.

XXII

На следующий день Мелита вызвала служанок, которым была поручена забота о Левкиппе, и прежде всего спросила у них, достаточно ли хорошо они за ней ухаживают. Когда служанки ответили, что не забывают ничего из того, что им было велено, Мелита приказала привести к ней Левкиппу. Пришла Левкиппа, и Мелита сказала:

— Я думаю, что было бы лишним напоминать тебе о том, насколько человечно я к тебе отнеслась, ты ведь и сама это знаешь. Но и ты отплати мне милостью, насколько это в твоих силах. Я слышала, что фессалийские женщины обладают волшебным искусством настолько приворожить к себе любимого, что он даже смотреть не может на других женщин, а к той, что его приворожила, относится так, словно в ней заключен для него весь мир. Дорогая, умоляю тебя, дай мне такое зелье, потому что я сгораю в огне. Ты заметила юношу, с которым я вчера гуляла?

— Ты имеешь в виду твоего мужа? — не без злорадства перебила ее Левкиппа.— Так сказали мне слуги.

— Какого мужа? — усмехнулась Мелита.— У нас с ним столько же общего, сколько у двух камней. Меня превзошла мертвая соперница. Спит или ест, он не может забыть имени Левкиппы,— так он ее называет. Я же, милая, четыре месяца провела ради него в Александрии, просила, умоляла, обещала; чего только я не говорила, чего я не делала для того, чтобы уломать его. Но в ответ на все мои мольбы он оставался бесчувственным, как железо или дерево. И даже время бессильно против него. Единственное, что он позволил,— это смотреть на себя. Клянусь тебе самой Афродитой, что вот уже пятый день я сплю с ним в одной постели, а поднимаюсь с нее так, словно провела ночь с евнухом. Похоже на то, что в статую я влюбилась. Только глаза мои обладают возлюбленным. Как женщина женщину, как вчера ты меня, так сегодня я тебя молю: дай мне какое-нибудь средство против этого надменного человека. Ты спасешь мою душу, которая уже совсем обессилела.

Когда Левкиппа услышала все это, она почувствовала большое облегчение от того, что ничего у меня с этой женщиной не было. Она сказала Мелите, что если ей позволят, она поищет в поле какую-нибудь подходящую траву, и с этими словами она ушла. Ведь если бы она отказалась, ей бы не поверили,— поэтому, мне думается, она и пообещала Мелите исполнить ее просьбу. Мелита же от одной только надежды повеселела,— ведь упование на счастье, пусть его и нет еще, радует тоже.

XXIII

Я ничего не знал об этом и совершенно пал духом, не в силах придумать способ, как и в грядущую ночь оттолкнуть от себя Мелиту и встретиться с Левкиппой. Думаю, что и

Мелита предавалась подобным размышлениям. Чтобы Левкиппа смогла отправиться в поле за волшебной травой и к вечеру возвратиться, она снарядила для нее колесницу.

Мы же снова пошли пировать. Едва мы возлегли, как на мужской половине дома послышался сильный шум и началась беготня. Вдруг вбегает один из слуг и, еле переводя дыхание, сообщает:

— Ферсандр вернулся живой!

Ферсандр был мужем Мелиты, который, как она считала, погиб в море. Дело в том, что когда корабль, на котором плыл Ферсандр, перевернулся, некоторые из его рабов спаслись, но, решив, что Ферсандр утонул, по возвращении в Эфес сообщили об этом Мелите. Раб еще не успел кончить говорить, как по его пятам ворвался сам Ферсандр. По дороге он успел все узнать обо мне и теперь спешил схватить меня. Пораженная неожиданностью происходящего, Мелита вскочила с места и попыталась обнять мужа, но он оттолкнул ее прочь, а при виде меня завопил: «Вот где этот прелюбодей!» — набросился на меня и в ярости дал мне сильнейшую пощечину. Потом он схватил меня за волосы, швырнул на пол и стал нещадно избивать. Я же, словно во время мистерий, никак не мог взять в толк, что же происходит: кто этот человек, за что он колотит меня. Я решил, что это какой-то сумасшедший, и хотя мог обороняться, не стал, сочтя это опасным. Наконец оба мы устали,— он избивать меня, а я философски относиться к его побоям. Тогда я встал и говорю ему:

— Кто ты такой? За что ты так покалечил меня?

Он же, услышав мои слова, впал в еще большее неистовство, опять нанес мне удар и потребовал, чтобы принесли цепи и оковы. Меня схватили и отвели в темницу.

XXIV

Во всей этой суете я не заметил, что потерял письмо Левкиппы: оно было спрятано у меня под хитоном, привязанное шнурками. Мелита потихоньку подобрала его. Она боялась, что это одна из ее записок ко мне. Оставшись одна, она тотчас стала читать письмо и, найдя в нем имя Левкиппы, почувствовала себя уязвленной в самое сердце: ведь она и представить себе не могла, что Левкиппа жива, после того как я столько раз твердил ей, что она умерла. Когда же она стала читать дальше все, что там написано, правда открылась перед ней и душу ее

захватили одновременно стыд, гнев, любовь и ревность. Она стыдилась мужа, гневалась на письмо, любовь гасила гнев, а ревность разжигала любовь, и наконец любовь победила.

XXV

Наступил вечер, и Ферсандр, опомнившись после первого приступа ярости, ушел к одному из своих друзей, чей дом был поблизости. Мелита тотчас переговорила со стражем, которому было поручено охранять меня, и втайне от всех пробралась ко мне, приставив к дверям двух слуг. Она застала меня лежащим на земле. Мелита встала рядом со мной, охваченная желанием высказать мне сразу все, что мучило ее. Все обуревавшие ее чувства были написаны на ее лице.

— О, я несчастная! На горе себе увидела я тебя, напрасно полюбила тебя, как безумная, с первого взгляда! Ненавидимая тобой, я люблю тебя, ненавистника моего, мучимая тобой, я люблю тебя, моего мучителя, и даже бесчувственность твоя не убивает мою любовь. О, чета злонамеренных чародеев, мужчина и женщина! Один уже столько времени издевается надо мной, а другая ушла, чтобы принести мне зелье. А я и не знала, что выпрашиваю любовное зелье против самой себя у самых заклятых своих врагов.

И с этими словами она швырнула мне письмо Левкиппы. Увидев его и узнав, я вздрогнул и уставился в землю, уличенный в обмане. Она же начала сызнова плакаться:

— Горе мне, несчастной! И мужа моего потеряла я из-за тебя, и ты уже никогда не станешь моим, даже глаза мои не будут обладать тобой, а ты мог принадлежать мне весь. Я знаю, что муж меня возненавидел, а тебя обвинил в прелюбодеянии, прелюбодеянии бесплодном, лишенном радостей любви, принесшем мне лишь поругание. Другие женщины в награду за свой позор получают хотя бы наслаждение, которое утоляет их страсть, а я, злополучная, навлекла на себя один только позор, а наслаждения не изведала никакого. Неверный! Варвар! Ты осмелился оттолкнуть женщину, которая тебя любит, и после этого ты дерзаешь еще называть себя рабом Эрота? Видно, не пугает тебя его гнев. Разве не страшит тебя его огонь? Не благоговеешь ты перед его таинствами? Не проняли тебя и эти очи, залитые слезами! О самый свирепый из разбойников! Ничто не заставило тебя послужить Афродите, хотя бы только один раз, ни мольбы, ни время, ни сплетение наших тел,— нет,

и вот это самое оскорбительное для меня: ты прикасался ко мне, ты целовал меня, а потом вставал так, как будто сам был женщиной. Какой-то тенью брака был наш союз. И ведь не со старухой ты спал, не с женщиной, которая избегала твоих объятий, но с женщиной юной и любящей тебя, прекрасной, как сказали бы другие. Евнух! Мисогин! Ненавистник красоты! Проклинаю тебя самым справедливым проклятьем! Пусть так же обойдется с тобой Эрот и в твоей любви! — так говорила она, обливаясь слезами.

XXVI

Я все молчал, потупив глаза, она же спустя некоторое время заговорила уже по-другому:

— Все, что я тебе сейчас говорила, любимый, продиктовали гнев и горе. А то, что я скажу тебе теперь, подсказывает мне любовь. Когда я гневаюсь, я горю, когда же чувствую себя оскорбленной, люблю. Давай же заключим мир, и сжалься надо мной. Я уже не прошу у тебя долгих дней супружества, о котором я, несчастная, так мечтала. Достаточно мне и одного-единственного объятия, которое станет столь слабым лекарством от столь тяжелой болезни. Хоть немного потуши пламя. Если же я опрометчиво оскорбила тебя чем-нибудь, то будь снисходительным ко мне, любимый мой. Ведь несчастная любовь приводит в неистовство. Я знаю, что не должна так поступать, но, говоря о таинствах Эрота, я не чувствую никакого стыда. Ведь я говорю об этом с человеком, который посвящен в них. Ты-то понимаешь, что́ я испытываю. Для других людей стрелы этого бога остаются невидимыми. Никто не может показать стрел, которые нанесли рану,— одни влюбленные знают, насколько они мучительны. Всего один день остался у меня, и я хочу, чтобы ты исполнил свое обещание. Вспомни храм Изиды, вспомни клятвы, которые были там произнесены. Если бы ты захотел жить со мной, как ты поклялся, я бы не обратила внимания на тысячи Ферсандров. Но теперь, когда ты вновь обрел Левкиппу, брак с другой женщиной для тебя невозможен, я понимаю и принимаю это, я признаю себя побежденной. Я не прошу у тебя большего, чем могу получить, потому что всё против меня, даже мертвые встали из своих гробов. Море! Ты пощадило меня, когда несло на своих волнах, но зачем ты спасло меня? Ведь оставив меня живой, ты погубило меня, извергнув из своей пучины двух мертвецов!

Ты не удовольствовалось тем, что оживило Левкиппу (пусть она живет, чтобы никогда больше не горевал Клитофонт), но воскресило и злого Ферсандра, который теперь явился к нам.

Тебя колотили у меня на глазах, и я, несчастная, даже не могла помочь тебе. На это лицо, о боги, сыпались удары! Я думаю, что Ферсандр ослеп. Но я умоляю тебя, Клитофонт, повелитель мой, ведь ты повелитель моей души, стань моим сегодня в первый и в последний раз. Для меня же это краткое мгновение обратится в многие дни. Не умрет от этого Левкиппа, даже мнимой смертью. Не презирай моей любви, ставшей для тебя величайшим счастьем, ведь она вернула тебе Левкиппу: если бы я не полюбила тебя и не привела сюда, она все еще была бы для тебя мертвой. Судьба, Клитофонт, иногда посылает нам подарки, и тот, кому посчастливилось найти сокровище, почитает место, где он нашел его, воздвигает алтарь, приносит жертву, увенчивает землю цветами. Ты же благодаря мне нашел сокровище любви, но не хочешь воздать благодарность за это. Пойми, это Эрот говорит тебе моими устами: «Клитофонт, сделай это ради меня, твоего учителя. Не уходи, оставив Мелиту непосвященной. Ее огонь — это мой огонь».

Узнай же, как я намереваюсь поступить с тобой. Ты будешь освобожден от оков, даже если это не угодно Ферсандру. Ты проведешь столько времени, сколько захочешь, у моей молочной сестры. А на заре жди Левкиппу. Ведь она просила, чтобы ее отпустили на всю ночь собирать травы при свете луны,— так она посмеялась надо мной. Я просила у нее зелье против тебя, потому что приняла ее за фессалиянку. Мне ведь ничего больше не оставалось, как собирать разные травы. Уповать на всяческие снадобья — это последнее убежище несчастных влюбленных. А насчет Ферсандра не беспокойся: он вне себя от ярости выскочил из моего дома и помчался к своему приятелю. Мне кажется, что какой-то бог надоумил его уйти из дома, чтобы я могла получить от тебя последнюю милость. Отдайся же мне.

Так мудро она рассуждала,— ведь Эрот научает и словам,— потом сняла с меня оковы, стала покрывать поцелуями мои руки, подносила их к своим глазам и сердцу и говорила:

— Ты чувствуешь, как колотится мое сердце, как удары его полны тоски и надежды, пусть же забьется оно и от радости, ведь, трепеща, оно молит тебя о наслаждении.

Когда она освободила меня от оков и, рыдая, обняла, я испытал то же, что испытал бы на моем месте любой другой человек: я действительно почувствовал страх перед Эротом, не желая навлечь на себя его гнев, особенно после того, как он вернул мне Левкиппу. В дальнейшем же я намеревался избавиться от Мелиты; да и брак наш вовсе не был браком, а лишь лекарством для исстрадавшейся души.

Поэтому я разрешил ей обнять меня, и не противился, когда она обвивалась вокруг меня своим телом,— и случилось то, чего желал Эрот, и не понадобилось нам ни ложе, ни прочие ухищрения Афродиты, потому что Эрот сам делает свое дело, он мудрый изобретатель и может совершить свое таинство в любом месте. А в делах Афродиты безыскусность слаще многочисленных уловок, она одна приносит истинное наслаждение.

I

Облегчив страдания Мелиты, я сказал ей:

— А теперь устрой мне побег и исполни свое обещание относительно Левкиппы.

— Можешь не беспокоиться,— ответила мне Мелита,— считай, что она уже твоя. Ты же надень мою одежду и скрой лицо под пеплосом. Путь к дверям покажет тебе Меланто, а там тебя будет поджидать юноша, которому я приказала проводить тебя в дом, где ты найдешь не только Клиния и Сатира, но и Левкиппу.

Мелита говорила, одновременно надевала на меня свою одежду и целовала.

— Ты стал еще красивее в этой одежде,— сказала она.— Таким я когда-то видела на картине Ахилла. Спасайся, мой возлюбленный, а одеяние мое сохрани себе на память. Мне же оставь свою одежду, чтобы, надевая ее, я оказывалась как бы в твоих объятиях.

Она дала мне сто золотых и позвала свою верную служанку Меланто, которая сторожила нас за дверьми. Мелита объяснила ей, что надо было делать, и приказала вернуться, как только я выйду из ворот.

II

Переодетый в платье Мелиты, я вышел, и сторож пропустил меня, приняв за свою госпожу,— Меланто кивком головы подала ему знак. Я миновал нежилую часть дома и

наконец подошел к какой-то двери, где по приказанию Мелиты меня встретил юноша. Это был вольноотпущенник, из числа тех, кто плыл с нами на корабле,— еще с тех пор он проникся ко мне дружественным отношением.

Когда Меланто возвратилась, она заставила сторожа, только что запершего темницу, немедленно снова открыть ее. Сторож отворил двери, и она, пройдя мимо него, сообщила Мелите, что я вышел, а затем позвала сторожа. Тот вошел и от неожиданности онемел. Мелита сказала ему:

— Не потому я воспользовалась обманом, что сомневалась в твоем желании выпустить Клитофонта. Мне понадобился этот обман для того, чтобы ты смог оправдаться перед Ферсандром,— ведь теперь ты совершенно ни при чем. Вот тебе десять золотых,— это дар Клитофонта, если ты захочешь остаться здесь, если же ты решишься бежать, то это деньги тебе на дорогу.

Пасион (так звали сторожа) ответил:

— Я сделаю все, госпожа, как ты прикажешь.

Мелита решила, что Пасиону надо скрыться где-нибудь до той поры, пока она уговорит мужа сменить гнев на милость. Тогда можно будет и Пасиону вернуться. Он так и сделал.

III

Что касается меня, то Судьба снова принялась вытворять со мной свои обычные шутки: на этот раз она заставила меня столкнуться с возвращающимся Ферсандром. Друг, к которому он ушел, уговорил его вернуться ночевать домой, и вот, пообедав, Ферсандр направился к себе. В это время происходил праздник Артемиды, кругом было полно пьяных, и площадь всю ночь была запружена толпами народа. Я полагал, что только этого мне и следовало опасаться, не подозревая о более серьезной опасности, надвигавшейся на меня. Дело в том, что тот самый Сосфен, который в свое время купил Левкиппу и по приказанию Мелиты должен был оставить должность управляющего имением, узнав о возвращении Ферсандра, не выполнил приказа госпожи и задумал ей отомстить. Прежде всего этот доносчик поспешил оклеветать меня перед Ферсандром, а потом он завел с ним разговор о Левкиппе, сочинив вполне правдоподобную историю. Так как ему самому пришлось отказаться от мысли овладеть ею, он стал сводничать, со-

блазняя Левкиппой Ферсандра с тем, чтобы отдалить его от Мелиты.

— Господин мой,— начал Сосфен,— я купил девушку неописуемой красоты,— поверь моим словам о ней, как будто ты сам ее видел. Я приберег ее для тебя: я ведь слыхал о том, что ты жив, и верил этому, потому что хотел, чтобы так было. Но я хранил свои мысли про себя, чтобы ты сумел застать госпожу на месте преступления, и не дал насмеяться над тобой бесчестному прелюбодею из чужой страны. Вчера госпожа отняла у меня девушку и намеревалась отослать ее, но судьба сохранила ее для тебя, так что ты сможешь овладеть этой красотой. Она сейчас в поле,— госпожа послала ее туда, сам не знаю зачем. Если хочешь, я запру ее раньше, чем она успеет вернуться в город, и она станет твоей.

IV

Ферсандр похвалил Сосфена и приказал ему действовать. Сосфен помчался в поле и, осмотрев хижину, в которой Левкиппа намеревалась провести ночь, нашел двух работников, которым приказал отвлечь приставленных к Левкиппе служанок, как можно дольше занимая их разговорами. Двух других он захватил с собой. Дождавшись момента, когда Левкиппа осталась одна, он набросился на нее, заткнул ей рот, схватил ее и побежал с ней в сторону, противоположную той, куда направились служанки. Он добежал со своей ношей до какого-то стоявшего в уединении домика, там опустил ее на землю и сказал:

— Я засыплю тебя несметными милостями, но, достигнув высшего счастья, не забывай и обо мне. Не опасайся этого похищения и не думай, что оно станет для тебя злом. Напротив, знай, что из-за него ты станешь любовницей моего господина.

Левкиппа, потрясенная несчастьем, молчала, а Сосфен бросился искать Ферсандра, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло. Он застал Ферсандра возвращающимся домой. Сосфен сообщил ему, где сейчас находится Левкиппа, и с таким жаром расписал Ферсандру ее красоту, что тот, сгорая от нетерпения скорее увидеть этот поистине прекрасный образ, уже существующий в его воображении, приказал тотчас указать дорогу к ней и собрался было в путь. Праздник продолжался, а до поля надо было пройти четыре стадия.

V

Тут-то я и попался ему на глаза в одежде Мелиты. Сосфен, первым узнав меня, говорит:

— Смотри, а вот и наш прелюбодей шествует навстречу в праздничном настроении и в одежде твоей жены.

Сопровождавший меня юноша заметил их уже издали и в панике бросился бежать, не подумав предупредить меня об опасности. Они, конечно, тотчас схватили меня. Ферсандр поднял крик, и на него сбежалась толпа ночных гуляк. Ферсандр еще пуще запричитал, осыпая меня разными ругательствами, называл меня прелюбодеем и вором. Затем он повел меня в тюрьму и передал в руки стражи, предъявив мне обвинение в прелюбодеянии. Но ничто не огорчало меня — ни оскорбительное прикосновение оков, ни словесное истязание. Я совершенно не сомневался в том, что сумею доказать в своей речи, что я не прелюбодей, так как вступил в брак с Мелитой открыто. Меня мучил страх за Левкиппу, потому что она все еще не была со мной. Если надвигается беда, то душа обыкновенно полна предчувствий, но счастья она не предчувствует. Я не мог утешить себя никакими успокоительными выдумками, все казалось мне подозрительным и внушало ужас. Только о Левкиппе скорбела моя душа.

VI

Упрятав меня в тюрьму, Ферсандр ринулся к Левкиппе. Достигнув хижины, он нашел Левкиппу лежащей на земле. Ум ее повергли в размышления слова Сосфена, и на лице ее отражались одновременно печаль и страх. Неправыми кажутся мне те, кто утверждает, что мысли совершенно неуловимы. Они отражаются на лице, как в зеркале. Охваченный восторгом, ум зажигает в глазах отсвет радости; стесненный тоской, он наполняет взор печалью.

Когда Левкиппа услышала, что отворяются двери, она на мгновение подняла голову и тут же снова опустила ее. В хижине горел светильник, и в свете его перед Ферсандром, как вспышка молнии, мелькнула ее красота,— ведь глаза это главное прибежище красоты,— и душа Ферсандра сразу устремилась к девушке. Он застыл на месте, пригвожденный к земле прекрасным зрелищем, в ожидании, когда

девушка вновь поднимет на него глаза. Не дождавшись, он сказал:

— Почему ты смотришь вниз, женщина? Для чего краса твоих очей стекает в землю? Пусть устремится она к моим очам.

VII

Когда Левкиппа услышала эти слова, она залилась слезами, а слезы придавали ей особую прелесть. Налившиеся слезами глаза становятся более выпуклыми. Если глаза безобразные и тусклые, то слезы увеличивают их безобразие, если же они нежны, с черными зрачками, окруженными белыми венчиками, то, увлажненные, они напоминают набухшую грудь потока. Когда из очей струится соленая влага, то белки становятся светлее, а зрачки багровеют, так что уподобляются фиалке и нарциссу. Слезы же, переливаясь, сверкают в глазах. Такими были слезы Левкиппы, даже печаль обращающие в красоту. Если бы, падая, они сгущались, земля получила бы новый янтарь.

Пораженный видом красавицы, Ферсандр был смущен ее горем и сам заплакал. Ведь для того природа и создала слезы, чтобы вызывать жалость у тех, кто их видит, в особенности же вызывают сострадание женские слезы. Чем больше они текут, тем больше жалости влекут. Если же плачущая женщина прекрасна, а тот, кто смотрит на нее, влюблен, то и его глаза не остаются безучастными,— они подражают глазам возлюбленной. Ведь красота прекрасных людей — в их глазах, и, струясь оттуда в очи того, кто поглощен ее созерцанием, она находит в них упокоение и увлекает за собой слезы. Влюбленный, и тем и другим насыщаясь, красоту любимой укрывает в своей душе, а слезы на своих глазах старается сохранить. Он молит о том, чтобы его слезы были замечены, и не утирает их, хотя и мог бы. Он бережет свои слезы, не желая, чтобы они выкатились из глаз преждевременно. Даже самое движение глаз он сдерживает, чтобы слеза не упала раньше, чем возлюбленная увидит ее. Ведь не сыщешь лучшего доказательства любви к ней, чем слезы.

Все это в полной мере относилось и к Ферсандру. Он испытывал те же чувства, которые испытывал бы на его месте любой другой человек, а Левкиппе хотел показать, что плачет под влиянием ее слез. Наклонившись к Сосфену, он шепнул ему:

— Утешь ее. Ты ведь видишь, как она страдает. А я пока уйду, чтобы не быть назойливым, хотя мне и не хочется уходить. Когда она успокоится, я поговорю с ней.

Затем, обратясь к Левкиппе, он сказал:

— А ты, женщина, доверься мне. Скоро ты перестанешь плакать.

И, уже на пороге, снова говорит Сосфену:

— Поговори с ней обо мне, как подобает. А на рассвете, когда все уладится, приходи ко мне.

С этими словами он ушел.

VIII

Пока разворачивались все эти события, Мелита, удовлетворенная нашим свиданием, послала за Левкиппой юношу, потому что уже не нуждалась в зелье. Юноша пришел в поле и нашел там служанок Левкиппы, которые в сильной тревоге разыскивали ее. Так как Левкиппы нигде не оказалось, он поспешил обратно и рассказал Мелите о случившемся. Узнав сперва о том, что меня бросили в тюрьму, а затем и об исчезновении Левкиппы, Мелита почувствовала, что над ней сгустились злые тучи. Она не могла сразу доискаться до истины, но заподозрила во всех кознях Сосфена. Прежде всего Мелита решила заставить Ферсандра в открытую предпринять поиски Левкиппы, и с этой целью она сочинила целую речь, в которой истина хитро переплеталась с обманом.

IX

Не успел Ферсандр переступить порог своего дома, как снова принялся кричать:

— Ты выкрала прелюбодея, ты сняла с него оковы, ты вывела его из дома,— все это дело твоих рук. Чего же ты сама не бросилась вслед за ним? Зачем ты осталась здесь? Почему ты не бежишь к своему возлюбленному, чтобы насладиться видом самых крепких оков, которыми он скован?

— Какого прелюбодея? — говорит Мелита.— Что с тобой? Если ты опомнишься и захочешь выслушать меня, то легко узнаешь истину. Я только об одном тебя прошу, будь справедливым судьей, не внемли клевете, выброси из сердца гнев, призови в качестве судьи один лишь разум свой и выслушай меня.

Этот юноша не был мне ни любовником, ни мужем. Родом

он финикиец, ни в чем не уступающий любому тирийцу. Не счастье настигло его в плавании, а груз его стал добычей моря. Услышав о беде, в которую он попал, я пожалела его и, помня о тебе, дала ему приют. Может быть, думала я, и Ферсандр мой так же скитается где-нибудь, может быть, и его приютила какая-нибудь женщина. Если же молва не ошибается и он действительно погиб, то воздадим почести кораблекрушению. Сколько других людей, потерпевших кораблекрушение, я кормила! Скольких убитых морем людей я хоронила! Если море выбрасывало на землю какую-нибудь доску от затонувшего корабля и я находила ее, я всегда говорила: «Быть может, Ферсандр плыл на этом корабле». И этот юноша — всего лишь один из тех, кого я спасла от моря, причем спасла во имя тебя. Ведь он, как и ты, пустился в плавание,— я почтила несчастье, подобное твоему, любимый мой. Почему же я привезла его сюда? Я открою тебе всю правду. Он горевал о своей жене, которая пропала. Кто-то сказал ему, что она жива и находится здесь, у нас, у одного из наших управляющих,— он назвал Сосфена. Так оно и оказалось на самом деле. Когда мы приехали сюда, мы нашли эту женщину. Только из-за этого он последовал за мной. Сосфен у тебя, а женщина в поле. Ты можешь проверить каждое мое слово. Если хоть что-нибудь из того, что я тебе сказала, окажется ложью, ты можешь считать, что я действительно изменила тебе.

X

Так говорила Мелита, делая вид, что не знает об исчезновении Левкиппы. Ведь если Ферсандр захочет узнать истину, думала она про себя, то придется позвать служанок, которые сопровождали девушку в поле,— служанки же, в том случае, если Левкиппа не вернется к утру, вынуждены будут сказать, что она пропала, и тогда Мелита открыто начнет поиски девушки, к которым должен будет присоединиться и Ферсандр. Убедительно смешав в своем рассказе истину с ложью, она продолжала:

— Верь мне, муж мой. Мы прожили с тобой, мой любимый, немало лет, и я ни разу не давала тебе повода заподозрить меня в измене. Не поддавайся подозрениям и теперь. Все эти слухи распространились из-за того внимания, которое я оказывала юноше, но никто не понимал истинных причин нашей дружбы. Если доверять молве, то надо было считать, что ты умер. Молва и Клевета — это два бедствия, которые состоят в кровном

родстве между собой. Молва — дочь Клеветы. Клевета острее, чем меч, неистовее, чем огонь, убедительнее, чем Сирена. Молва же быстротечнее волны, стремительнее ветра, быстрее птиц. Пущенное Клеветой слово летит, как стрела из лука, и ранит намеченную жертву, даже если она далеко. Только коснется слово Клеветы чьего-нибудь уха, как мгновенно ему верят, начинают пылать гневом и разъяряются на раненого. Волны Молвы, порожденные стрелами Клеветы, обильными потоками затопляют уши слушателей, они с легкостью преодолевают огромные пространства, бушуя в вихре речей и мчась на крыльях сплетен. Объединившись, и та и другая обрушились на меня. Они захватили мою душу и заперли твои уши от моих слов.

XI

С этими словами Мелита взяла Ферсандра за руку и хотела поцеловать его. Правдоподобный рассказ жены несколько умерил гнев Ферсандра. Поскольку слова ее о Левкиппе звучали в согласии с теми сведениями, которые Ферсандр получил от Сосфена, недоверие его несколько уменьшилось. Однако он был еще далек от того, чтобы окончательно поверить Мелите. Уж если ревность хоть раз закралась в душу, нелегко изгнать ее оттуда. Помимо всего прочего, Ферсандр разволновался, узнав о том, что Левкиппа — моя жена, и возненавидел меня сильнее, чем прежде. Мелите он заявил, что проверит все, что она сказала ему, и отправился спать в одиночестве. Мелита же страдала в душе, что не сумела выполнить данного мне обещания.

Сосфен, проводив Ферсандра и наобещав ему уладить дело с Левкиппой, снова возвратился к ней и, изобразив на своем лице восторг, сказал:

— Лакэна, все устроилось. Ферсандр до того обезумел от любви к тебе, что готов сделать тебя чуть ли не своей женой. Это все благодаря мне. Я столько всего наговорил ему про твою красоту, что ты завладела всей его душой. Чего же ты плачешь? Встань и принеси Афродите благодарственную жертву. Но и меня не забывай.

XII

— Пусть у тебя будет такое счастье, какое ты сулишь мне,— ответила Сосфену Левкиппа.

Тот не понял ее насмешки и, приняв слова девушки за чистую монету, ласково продолжал:

— Я хочу поподробнее рассказать тебе о Ферсандре, чтобы ты получила полное представление о том, каков он на самом деле, и обрадовалась еще больше. Он — муж Мелиты,— ее ты видела в поместье. По знатности своего происхождения он первый из ионийцев. Что касается богатства, то оно превосходит даже его знатность. А благородство превосходит и богатство его. О его возрасте ты могла судить сама. Он молод, он прекрасен,— он все, чего только может желать женщина.

Этих слов Левкиппа не могла уже вынести.

— Свирепое чудовище! — прервала она Сосфена.— До каких же пор ты собираешься оскорблять мой слух? Что у меня может быть общего с Ферсандром? Пусть он будет прекрасен для Мелиты и богат во славу города, пусть он будет благороден по отношению к тем, кто нуждается в его благородстве. Но мне-то все это не нужно, будь он хотя бы знатнее Кодра и богаче Креза. Зачем рассыпаешь ты передо мной всю эту кучу несообразных похвал? Только в том случае я сочту Ферсандра прекрасным человеком, если он оставит в покое чужих жен.

XIII

— Ты шутишь,— поспешно прервал ее Сосфен.

— Это я-то шучу? — воскликнула Левкиппа.— Оставь меня, пожалуйста, пусть распоряжается мной судьба и злое божество. Я прекрасно понимаю, что попала в разбойничий вертеп.

— На тебя, мне кажется, напало безумие, причем неизлечимое,— разозлился Сосфен.— Что ты называешь вертепом: богатство, брак и роскошь? Даже мужа послала тебе Судьба, мужа, настолько любимого богами, что они вырвали его из самых врат смерти.

Затем Сосфен стал рассказывать о кораблекрушении, причем обрисовал все так, словно Ферсандра спасли боги, и напридумывал больше чудес, чем приписывают дельфину Ариона. Поскольку Левкиппа осталась равнодушной к его рассказам, он сказал:

— Подумай хорошенько, что́ для тебя лучше, и не говори Ферсандру ничего такого, что может рассердить этого благородного человека. В гневе он страшен. Ведь доброта, встречая благодарность, умножается, но, сталкиваясь с поруганием, вспыхивает гневом. Чрезмерное добродушие может обратиться чрезмерной яростью для наказания.

Вот что было с Левкиппой.

XIV

Когда Клиний и Сатир узнали от Мелиты о том, что я заключен в тюрьму, они с наступлением ночи прибежали ко мне в тюрьму. Друзья хотели остаться со мной, но начальник тюрьмы запретил им это и велел поскорее убираться прочь. Так, вопреки желанию, им пришлось покинуть меня. Я же попросил их прийти ко мне на заре, если вернется Левкиппа, и рассказал им об обещании Мелиты. Моя душа лежала на весах страха и надежды,— я боялся, надеясь, и надеялся, боясь.

XV

С первыми лучами солнца Сосфен поспешил к Ферсандру, а Клиний и Сатир ко мне. Не успел Ферсандр увидеть Сосфена, как стал допытываться у него, как обстоит дело с девушкой, удалось ли склонить ее на его домогательства. Сосфен не решился сказать правду и в ответ стал лгать, но весьма убедительно:

— Пока что она отказывается, но я думаю, что она просто хитрит: должно быть, девушка боится, что ты насладишься с ней один раз и бросишь ее, а она будет опозорена.

— Пусть она не беспокоится об этом,— возразил Ферсандр.— Моя любовь к ней такова, что не умрет никогда. Одного я только боюсь: как бы она действительно не оказалась женой того юноши, как говорила мне Мелита.

Так за разговорами они пришли к хижине Левкиппы. Подойдя к самым дверям, они услышали ее горькие стенания и, стараясь не шуметь, стали подслушивать.

XVI

— Горе мне, Клитофонт,— без конца повторяла она.— Ты не знаешь, где я, что со мной, а я не знаю, как поступила с тобой Судьба,— оба мы страдаем от неведения. Только бы Ферсандр не застал тебя в своем доме! Только бы он не заставил тебя переносить оскорбления! Сколько раз мне хотелось расспросить о тебе Сосфена, но я не знаю, как спросить его. Ведь если я стану спрашивать о тебе как о муже, то могу принести тебе вред и навлечь на тебя гнев Ферсандра. Если же я сделаю вид, что ты мне чужой, и начну проявлять интерес к незнакомцу, то это покажется подозрительным,— как женщина может спрашивать о том, что ее не касается? Я пыталась заставить

B.B.

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

себя заговорить о тебе, но язык мой мне не повиновался. Только одно могу я повторять: «О мой Клитофонт, муж мой единственный, одной Левкиппе ты принадлежал, верный и постоянный. Не склонила тебя к измене другая женщина, хотя она спала с тобой. Я же, черствая, поверила слухам и, увидя тебя в поле после столь долгой разлуки, не покрыла тебя поцелуями! Что мне сказать Ферсандру, когда он придет? Может быть, настало время прекратить притворство и открыть ему всю правду? Знай, Ферсандр, что я не рабыня. Я дочь византийского стратега, жена первого из тирийцев. Я не фессалиянка, и имя мне не Лакэна,— такую кличку придумали для меня пираты, ведь они похитили у меня даже имя. Мой муж Клитофонт, родина его — Византий, отец мой — Состpат, а мать — Панфия. Но ведь ты не поверишь моим словам. А если даже ты и поверишь тому, что я скажу о Клитофонте, то как бы мне такой неуместной смелостью не погубить моего возлюбленного. Лучше уж буду играть свою роль до конца, лучше останусь Лакэной».

XVII

Когда Ферсандр услыхал все это, он отошел в сторону и говорит Сосфену:

— Ты слышал эти невероятные речи, исполненные любви? Как она говорила, как она стенала, как она себя обвиняла! Этот прелюбодей везде одерживает надо мной верх. Наверное, он не только разбойник, но и волшебник. Мелита его любит, Левкиппа его любит. О Зевс, сделай меня Клитофонтом!

— Не надо отчаиваться,— сказал Сосфен,— надо идти к девушке, мой господин. Даже если она сейчас и без ума от этого проклятого прелюбодея, то всего лишь до той поры, пока одного его знает и ни с кем другим не имела дела. Если же ты достигнешь того же, что он,— а ты, несомненно, достигнешь этого, потому что намного превосходишь его красотой,— она тотчас выбросит его из сердца. Ведь новая любовь легко вытесняет старую. А женщина в состоянии любить только того, кто рядом с ней, если же человек отсутствует, то она помнит о нем ровно столько времени, сколько ей нужно, чтобы найти другого. Как только она найдет другого, первый исчезнет из ее души.

Услышав эти слова, Ферсандр несколько приободрился. Ведь так легко веришь словам, если в них кроется надежда на успех в любви. Любовная жажда, обретя желанного союзника, пробуждает надежды.

XVIII

Когда Левкиппа перестала разговаривать сама с собой, Ферсандр помедлил немного у дверей, чтобы ей не пришло в голову, будто он подслушивал, и вошел, придав своему лицу выражение, которое он счел наиболее подходящим. Лишь только он увидел Левкиппу, как в душе его вспыхнуло пламя, девушка показалась ему еще прекраснее, чем прежде. Всю ночь, находясь вдали от нее, Ферсандр подкармливал огонь, а теперь вид ее подействовал на пламя, как самые горючие вещества, и оно запылало с новой силой. Наклонившись, Ферсандр слегка обнял Левкиппу, но потом овладел собой, сел и понес любовную околесицу. Таковы все влюбленные; когда они беседуют со своими возлюбленными, душа их устремлена к ним, но речь обыкновенно лишена смысла, язык выпаливает слова без всякого участия своего кормчего — разума. Во время разговора Ферсандр обнял Левкиппу за шею и хотел поцеловать ее. Она же, словно предвидя дальнейшее движение его руки, поникла и склонила голову на грудь. Но он, не выпуская ее из своих объятий, насильно старался поднять голову девушки. Защищаясь, она наклонялась все ниже и противилась его поцелуям. Когда же наступило время действовать руками, Ферсандр почувствовал, как его захватил любовный азарт. Левой рукой он держал лицо девушки за подбородок и поднимал его, а правой — за волосы тянул ее лицо назад. Когда же он прекратил борьбу, то ли получив то, чего хотел, то ли нет, а может статься, просто утомившись, Левкиппа сказала ему:

— Ты поступаешь не так, как человек свободный и благородного происхождения. Ты действуешь так же, как Сосфен. Раб достоин своего господина. Но больше тебе ничего не удастся, оставь надежду на успех, разве только ты превратишься в Клитофонта.

XIX

Услышав мое имя, Ферсандр окончательно вышел из себя. Он и любил и гневался. Любовь и гнев — два факела. Ведь и у гнева есть свой огонь, противоположный по своей природе огню любви, но равный ему по силе. Один зажигает ненависть, другой заставляет любить. Близко один к другому расположены источники каждого из этих огней. Один прячется в печени, другой горит в сердце. Когда оба они объемлют человека, душа его становится весами, на каждой чаше которых взвешивается огонь. Они борются, стремясь перевесить. И чаще побеждает огонь

любви, особенно если страсть завершается успехом. Если же любовью пренебрегают, то она сама вызывает на помощь гнев. Сосед повинуется, и оба они зажигают огонь. Но бывает, что гнев завладевает любовью и в своей непримиримости оберегает ее от страсти не как друг, но как хозяин,— он повелевает страстью, как рабыней, связав ее по рукам и ногам, и не дает ей примириться с тем, к кому она зажглась, если даже этого хочет сама любовь. Затопленная волнами гнева, любовь теряет свою свободу, она тонет, вынужденная ненавидеть любимое. Но, утомленный, выплеснувшись через край, гнев, наконец, утихает, и тогда любовь переходит к защите, она вооружает страсть и побеждает уже заснувший гнев. Оглядываясь на оскорбления, которые в ослеплении она нанесла любимой, любовь не знает, как замолить свою вину, как оправдаться, умоляет о свидании и заверяет, что гнев уже укрощен радостью. Добившись успеха, любовь становится милостивой, но, коль скоро ее притязания тщетны, она снова воспламеняется гневом. Гнев, проснувшись, возобновляет борьбу, он верный союзник бесславной любви.

XX

Вначале Ферсандр, надеясь добиться успеха, всецело был рабом Левкиппы, но, обманувшись в своих надеждах, предался гневу. Он стал бить Левкиппу по щекам, говоря при этом:

— Злополучная рабыня, одержимая похотью! Я ведь слышал все твои речи. Тебе неприятно, что я с тобой говорю, ты не считаешь за счастье для себя поцелуи твоего господина. Ты жеманничаешь и прикидываешься безумной. На самом же деле ты просто грязная женщина, и это ясно хотя бы потому, что ты любишь прелюбодея. Но если ты не хочешь повиноваться мне как любовнику, тебе придется повиноваться мне как господину твоему.

— Если ты вздумал мучить меня, я согласна вынести любые пытки, но не насилие.

Заметив Сосфена, она обратилась к нему с такими словами:

— Подтверди и ты мое отношение к таким бесчинствам, ведь ты оскорблял меня еще сильнее.

Уличенный ею и желая скрыть свой собственный позор, Сосфен закричал:

— Эту женщину, господин мой, надо избить плетьми и пытать тысячами пыток, чтобы она уяснила себе наконец, как надо уважать своего хозяина.

XXI

— Послушайся же Сосфена,— сказала Левкиппа,— он дает тебе достойный совет. Начинайте же пытки! Несите колесо! Вот руки, вытягивайте их! Несите и плети,— вот спина — бейте! Разожгите огонь,— вот тело — сжигайте его! Не забудьте и железо,— вот кожа — режьте! Невиданное доселе сражение представится вашим глазам: одна женщина против всех пыток, и она победит. И ты еще называешь прелюбодеем Клитофонта! Когда на самом деле прелюбодей — ты! Скажи мне, у тебя нет страха перед Артемидой? Ты подвергаешь насилию деву в городе девы? О владычица, Артемида! Где твои стрелы?

— Деву?! — засмеялся Ферсандр.— О, наглость! О, издевательство! Дева, которая переночевала с пиратами! Или, может быть, они были евнухами? И ты философствовала с ними? А может быть, они были слепыми?

XXII

— Осталась ли я девой после Сосфена, спроси у него,— ответила Левкиппа.—Он-то действительно обращался со мной как разбойник. А настоящие разбойники вели себя гораздо приличнее, чем вы, и никто из них не был насильником. Если же судить по тому, как ведете себя вы, то здесь настоящий вертеп. И не стыдно вам делать то, на что не решались даже разбойники? Ты сам не замечаешь, что твое бесстыдство еще больше увеличит славу моей добродетели. Ведь если сейчас, обезумев от гнева, ты убьешь меня, то все будут говорить обо мне так: Левкиппа осталась девушкой после разбойников, девушкой после Хэрея, девушкой после Сосфена. Но это еще что! Она осталась девушкой после Ферсандра,— вот что достойно величайшей похвалы, потому что Ферсандр необузданнее любого разбойника. И вот, не сумев овладеть ею, он убил ее.

А теперь вооружайся, неси плети, колесо, огонь, железо. Пусть союзником твоим в борьбе со мной станет твой советчик Сосфен. Я же безоружна, одна, и я женщина. Одно лишь у меня оружие — свобода, и вам не выбить ее из меня плетьми, не вырезать железом, не выжечь огнем. Никогда я не откажусь от нее. Если даже начнешь жечь меня, то убедишься, что огонь недостаточно горяч для нее.

I

Разные чувства овладели Ферсандром после слов Левкиппы: досада, гнев, злонамеренность. Он возмущался, потому что был оскорблен; досадовал, потому что ничего не достиг; строил коварные планы, потому что был влюблен. Раздираемый всеми этими чувствами, он выскочил из хижины Левкиппы, не ответив ей ни слова. Первое время он всецело находился во власти гнева, но, предоставив себе время поразмыслить над всеми этими треволнениями и посовещавшись с Сосфеном, он отправился к начальнику тюрьмы и попросил его отравить меня каким-нибудь зельем. Но тот отказался из страха перед властями города: его предшественник был уличен в отравлении и приговорен к смерти. Тогда Ферсандр обратился к нему с другой просьбой: посадить ко мне в камеру под видом осужденного какого-нибудь человека. Ферсандр объяснил начальнику, что это нужно ему для того, чтобы через этого человека узнать мои намерения. Начальник тюрьмы склонился на его доводы и поместил со мной мнимого узника. Этот человек получил от Ферсандра хитроумные наставления,— при случае он должен был завести разговор о Левкиппе и рассказать мне, что она убита, причем убийство ее подстроено Мелитой. Ферсандр прибег к этой хитрости для того, чтобы в случае моего освобождения я не стал искать Левкиппу, считая ее мертвой. Мелита же выставлялась в качестве виновницы убийства, чтобы я не женился на ней и не остался в Эфесе, но, возненавидев ее за убийство моей возлюбленной, навсегда покинул этот город и предоставил бы возможность Ферсандру совершенно безбоязненно наслаждаться Левкиппой.

II

Не успел этот человек очутиться рядом со мной, как он принялся разыгрывать комедию. Полный коварства, он начал причитать:

— К чему ждать чего-то от жизни? К чему стараться избежать опасностей? Разве достаточно того, чтобы человек вел разумный и справедливый образ жизни? Ведь на каждом шагу нас подстерегают случайности, которые топят нас и опрокидывают все благие намерения. Мне же надо было прежде всего узнать, кем был мой спутник и что он натворил.

В таком духе он беседовал сам с собой, стремясь втянуть меня в разговор и заставить спросить, что же с ним случилось. Но я пропускал мимо ушей все его стенания. Зато кто-то из других узников,— ведь люди, оказавшиеся в беде, обожают выслушивать рассказы о несчастьях своих ближних, находя в них утешение для себя,— спросил его:

— Что же с тобой случилось? Как подшутила над тобой Судьба? Ведь судя по всему ты не совершил никакого преступления, а впал в немилость к божеству. То же самое произошло и со мной.

И он рассказал, каким образом он сам угодил в тюрьму. Я же по-прежнему не обращал ни на кого из них никакого внимания.

III

Закончив рассказ, он, в свою очередь, попросил соседа поведать о его злоключениях.

— Теперь и ты,— сказал он,— расскажи о том, что произошло с тобой.

— Вчера,— начал тот,— я шел из города, направляясь в Смирну. Я проделал уже путь в четыре стадия, как ко мне подошел какой-то юноша из деревни, завел со мной разговор и немного спустя спросил:

— Куда ты держишь путь?

— В Смирну,— ответил я.

— И я тоже иду туда, благодарение судьбе,— сказал он.

Мы пошли вместе и разговорились, как это обычно бывает в дороге.

Добравшись до какой-то гостиницы, мы решили вместе позавтракать. Тут же к нам подсели четверо незнакомцев и стали делать вид, что тоже завтракают, но при этом все время косились на нас и кивали друг другу головой. Заметив это, я заподозрил неладное, но не мог понять, что означают их кивки. Что же до моего спутника, то он мгновенно побелел, стал торопиться и задрожал. Стоило тем четверым это заметить, как они вскочили, схватили нас и связали ремнями. Кто-то из них дает пощечину моему спутнику. И одного этого удара хватило для того, чтобы он, словно подвергнувшись тысяче пыток, заговорил, хотя его никто еще и не спрашивал:

— Я убил девушку и получил сто золотых от Мелиты, жены Ферсандра. Ведь это она наняла меня для того, чтобы я совершил убийство. Возьмите эти сто золотых. Так вы и меня освободите, и сами будете в выигрыше.

Едва услышав имена Ферсандра и Мелиты, я пробудился,— слова эти ужалили мою душу, как овод, в то время как раньше я оставался совершенно безучастным к рассказу мнимого узника. Я повернулся к нему и спросил:

— Кто такая эта Мелита?

— Мелита — это первая из эфесских женщин,— ответил он мне.— Она была влюблена в какого-то юношу. Помнится, поговаривали, что он тириец. А у этого юноши была возлюбленная, которую он нашел в доме Мелиты,— ее продали туда. Мелита, обезумев от ревности, обманом завладела девушкой, передала ее в руки того человека, который по велению злого рока оказался моим спутником, и велела ему убить ее. Тот и выполнил ее нечестивое приказание. А я, несчастный, ни словом, ни делом не причастный к убийству, заодно с ним был связан и схвачен как соучастник в преступлении. Но хуже всего то, что эти четверо, отойдя немного от гостиницы, забрали у него сто золотых и отпустили его на свободу, меня же привели к стратегу.

IV

Когда я услышал его рассказ о моем несчастье, я не застонал и не заплакал, у меня не оказалось ни слез, ни голоса. Я задрожал, сердце на мгновение перестало биться, и душа чуть было не покинула моего тела. Очнувшись от оцепенения, в которое повергли меня его слова, я сказал:

— Как же этот наемник убил девушку и что он сделал с ее телом?

Но тот молчал, его дело уже было сделано, и овод терзал мою душу. Я снова обратился к нему с вопросами, и тогда он сказал:

— Мне кажется, ты думаешь, будто я принимал участие в ее убийстве. Я ведь слышал только то, что он убил эту девушку, а где и как, он не сказал.

Тут-то у меня и хлынули слезы, и глаза мои предались отчаянию. Ведь если удар нанесен даже по телу, то и тогда не сразу появляется кровоподтек, а сперва место, по которому ударили, остается бесцветным и потом немного вспухает. Когда кабан поражает человека клыком, не сразу увидишь рану, потому что первое время она скрыта в глубине, и в момент удара порез не виден. Потом внезапно выступает белый след, предвестник крови, и вскоре кровь уже струится обильными потоками. Так и душа. Пронзенная стрелой горя, пущенной словами, она уже ранена, но удар нанесен так внезапно, что рана еще не успевает открыться, и слезы еще далеки от глаз. Ведь слезы это кровь душевной раны. Когда же жало скорби вопьется в самую глубину сердца, тогда открывается рана, растворяются в глазах двери для слез, и уже ничто не может их удержать. Так случилось и со мной.

Рассказ поначалу пронзил мое сердце стрелой, он лишил меня речи и запер дорогу слезам. И только потом, когда душа немного привыкла к горю, хлынули слезы.

V

Обрел я снова и дар речи:

— Какому злому божеству понадобилось обмануть меня столь преходящей радостью? Кто вздумал показать мне Левкиппу только для того, чтобы еще усилить горе? Не насытились ею глаза мои, хотя только им и было отпущено счастье владеть ею! Недолго же оно продолжалось! Поистине лишь во сне наслаждался я ее видом. Увы, Левкиппа, сколько раз ты умирала для меня! Разве хоть когда-нибудь переставал я тебя оплакивать? Я постоянно скорблю о тебе, а смерти гонятся по пятам друг за другом. Но когда ты раньше умирала, Судьба лишь зло шутила надо мной, теперь же твоя смерть уже не игра Судьбы. Как же ты погибла в этот раз, моя Левкиппа? Когда мнимая смерть уносила тебя раньше, мне оставалось хотя бы слабое утешение: в первый раз все твое тело было со мной, а во второй

раз я думал, что недостает для погребения только твоей головы. Теперь же ты умерла двойной смертью, и тела твоего даже не осталось. Удалось тебе убежать от двух разбойничьих шаек, вертеп Мелиты убил тебя. Я же, нечестивый преступник, часто целовал твою убийцу, сплетался с ней в нечистых объятиях и подарил утехи Афродиты ей, а не тебе.

VI

Рыдающим и застал меня Клиний. Я рассказал ему все и заявил, что на этот раз твердо решил умереть. Он стал возражать мне:

— Кто знает, может быть, она снова жива. Ведь часто казалось, что она умерла, но всякий раз она возвращалась к жизни. Зачем убивать себя столь безрассудно? У тебя еще будет время умереть, когда ты, по крайней мере, узнаешь точно, что она мертва.

— Чепуха,— ответил я.— Что же может быть в этом известии ложного? По-моему, я нашел великолепный способ умереть, так что и проклятая богами Мелита не останется безнаказанной. Вот послушай. Как тебе известно, я готовился защищаться на суде от обвинения в прелюбодеянии. Теперь же я принял решение сделать все наоборот. Я заявлю на суде, что сознаюсь в прелюбодеянии и что мы с Мелитой, влюбленные друг в друга, вместе погубили Левкиппу. Таким образом Мелита будет наказана, и я, наконец, сведу счеты со своей несчастной жизнью.

— Замолчи,— сказал Клиний.— Ты осмеливаешься принять на себя позор убийцы, да еще убийцы Левкиппы?

— Я не вижу ничего позорного в том, что́ причиняет горе врагу.

Так мы разговаривали с Клинием, а между тем соглядатая Ферсандра, сообщившего ложные сведения об убийстве Левкиппы, потихоньку освободили,— тюремщик увел его под предлогом, что его требует начальник тюрьмы для дачи показаний. Клиний и Сатир всеми силами старались утешить меня и отговорить от осуществления моего замысла, но напрасно. В тот же день они нашли себе какое-то новое пристанище и переселились туда, чтобы не находиться под одной крышей с молочной сестрой Мелиты.

VII

На другой день меня повели в суд. Ферсандр был во всеоружии, он собрал не менее десяти обвинителей, которые должны были выступить против меня. Мелита тоже серьезно подготовилась к защите. Когда ораторы закончили свои выступления, я попросил слова.

— Все эти люди,— сказал я,— несли чушь, и те, кто говорил от имени Ферсандра, и защитники Мелиты. Я же сейчас открою вам всю правду. У меня была возлюбленная, родом из Византия, по имени Левкиппа. В Египте она была похищена разбойниками, и я считал ее мертвой. Потом я встретился с Мелитой, мы стали жить с ней и вместе приехали сюда. И вдруг оказалось, что Левкиппа здесь. Она стала рабыней Сосфена, одного из управляющих поместьями Ферсандра. Каким образом Сосфену удалось сделать свободную женщину своей рабыней и каковы его взаимоотношения с разбойниками, я предоставляю рассудить вам. Едва Мелита узнала, что я нашел свою прежнюю возлюбленную, она испугалась, что я отдам ей предпочтение, и задумала убить ее. И я согласился на это,— к чему скрывать правду? — потому что Мелита пообещала отдать в мое распоряжение все свое имущество. Я нанял одного человека, чтобы он убил девушку. За убийство я должен был заплатить ему сто золотых. Он сделал свое дело и скрылся. Но любовь мне отомстила. Как только я узнал, что Левкиппа убита, я тотчас раскаялся, зарыдал и вновь почувствовал, что люблю только ее. Я люблю ее и сейчас. Именно поэтому я даю вам показания против себя самого,— я хочу, чтобы вы послали меня вслед за моей возлюбленной. Жизнь не нужна мне теперь. Я стал убийцей и люблю ту, которую сам убил.

VIII

Моя речь, сообщившая делу совершенно неожиданный поворот, повергла всех в крайнее изумление, особенно Мелиту. Защитники Ферсандра, считая себя победителями, завопили от восторга, а защитники Мелиты старались понять, какой же смысл может иметь моя речь. Что касается самой Мелиты, то она, волнуясь, что-то отрицала, что-то подтверждала, торопи-

лась с ответами, но все же из ее слов стало ясно, что она знает о Левкиппе и обо всем остальном, за исключением, впрочем, убийства. Тем самым она поставила в затруднительное положение своих защитников, которые потеряли к ней доверие после того, как она чуть ли не во всем согласилась со мной.

IX

И вот в тот момент, когда в помещении суда царила всеобщая суматоха, поднялся со своего места Клиний:

— Позвольте и мне,— сказал он,— высказаться. Ведь речь идет о жизни человека.

Когда ему дали слово, то с глазами, полными слез, он воскликнул:

— Эфесцы! Не спешите приговорить к смерти того, кто сам к ней стремится, потому что смерть — это естественное прибежище несчастных людей. Клитофонт солгал, когда взял на себя вину за совершенные преступления, он хотел лишь, чтобы его постигла кара. Я коротко расскажу вам, в чем состоит его несчастье. У него действительно была возлюбленная. В этом он не солгал. И все, что он рассказал о ее похищении разбойниками, о Сосфене, обо всем том, что предшествовало убийству, тоже правда. Затем возлюбленная его внезапно исчезла, я не знаю, убита она или похищена и жива. Но одно я знаю — в нее влюбился Сосфен, без конца пытал ее, но ничего не достиг. Кстати, Сосфен состоит в большой дружбе с разбойниками. Клитофонт же уверен в том, что девушка погибла, жизнь ему теперь не нужна, и поэтому он ложно обвинил себя в убийстве. Ведь он сам признался в том, что из-за тоски по девушке не хочет больше жить. Сами посудите: бывает ли так, чтобы убийца захотел последовать за своей жертвой? Возможно ли, чтобы настоящий преступник от горя жаждал умереть? Видали вы когда-нибудь такого доброго убийцу? Такого щедрого на любовь к предмету своей недавней ненависти? Ради всех богов, молю вас, не верьте ему, не убивайте того, кто более нуждается в сострадании, чем в возмездии. Если Клитофонт говорит, что он виновник убийства Левкиппы, тогда пусть назовет человека, которого нанял на это дело, пусть скажет, где жертва. Какое же может быть убийство без убийцы и жертвы? Где это слыхано? «Я,— говорит он,— полюбил Мелиту и из-за нее убил Левкиппу». Разве можно поверить этим словам, когда теперь он

свою любимую Мелиту обвиняет вместе с собой в убийстве, а из-за якобы убитой им Левкиппы жаждет умереть? Вот, оказывается, что бывает на свете: можно ненавидеть любимое и любить ненавидимое! Разве не было бы более естественным с его стороны отрицать свою причастность к убийству, чтобы спасти любимую женщину и самому не погибнуть из-за своей жертвы?

Но зачем он оклеветал Мелиту, если она ни в чем неповинна? Сейчас я объясню вам и это, только молю вас, не подумайте, будто я хочу дурно говорить об этой женщине. Нет, я просто хочу объяснить, как все это произошло. Мелита увлеклась Клитофонтом и поговаривала даже о браке с ним, как вдруг ожил Ферсандр, этот возникший из моря мертвец. Клитофонт же был совершенно равнодушен к Мелите и не помышлял о браке с ней. И как раз в это время, как он сам и сказал вам, он нашел у Сосфена свою возлюбленную, которую считал умершей. Тогда он стал еще более чуждаться Мелиты. А Мелита, до тех пор пока она не знала, что рабыня Сосфена — это возлюбленная Клитофонта, относилась к ней с состраданием, освободила ее от оков, которые надел на нее Сосфен, приняла в свой дом и оказала ей гостеприимство как свободной женщине, ставшей жертвой несчастья. Но, узнав истину, Мелита тотчас отослала ее в деревню и заставила работать на себя. После этого, как говорят, девушка исчезла. Мелита и две служанки, которые сопровождали Левкиппу в поле, могут подтвердить, что я не лгу. Тогда у Клитофонта и возникло подозрение, что Мелита убила его возлюбленную из ревности. Во-вторых, когда он находился в тюрьме, его подозрения, по воле случая, подтвердились, и он окончательно разъярился на Мелиту, да и на самого себя. Один из заключенных, описывая свои злоключения, рассказал, что где-то в пути он столкнулся с человеком, который оказался убийцей: за деньги этот человек убил женщину, причем, когда его схватили, он не замедлил назвать имена,— Мелита, якобы, подбила его на убийство, а убитую им женщину звали Левкиппой. Так ли это, я не знаю,— докопаться до истины ваш долг. В вашем распоряжении заключенный, есть служанки, есть Сосфен. Пусть Сосфен объяснит, как он заполучил в рабыни Левкиппу. Пусть служанки расскажут, как она исчезла. Пусть Клитофонт предъявит обвинение наемнику. Прежде чем вы не раскроете всех обстоятельств, нечестиво и непозволительно лишать жизни несчастного юношу, поверив его безумным речам. Ведь его повергло в безумие горе.

X

Многим из присутствующих речь Клиния показалась убедительной, но защитники и друзья Ферсандра подняли крик и требовали казни Клитофонта, если он, по воле провидения, сам сознался в убийстве. Мелита предоставила в распоряжение суда своих служанок и потребовала от Ферсандра, чтобы и Сосфен предстал перед судом. Может статься, именно он и убил Левкиппу. Такое предположение неоднократно высказывали защитники Мелиты. Но Ферсандр, испугавшись, тайно отправил в деревню одного из своих дружков, с тем, чтобы тот передал Сосфену приказание немедленно скрыться, пока за ним не пришли. Посланец Ферсандра оседлал коня и изо всей мочи помчался к Сосфену,— он объяснил ему положение дел и предупредил об опасности и о том, что Сосфена поведут на пытку, если он не скроется. Надо сказать, что он застал Сосфена у Левкиппы, пытающимся ее соблазнить. На тревожные крики вестника Сосфен вышел на порог. Услышав от него, как обстоят дела, Сосфен струсил; считая, что с минуты на минуту за ним придут палачи, он поспешно сел на коня и понесся по направлению к Смирне. Гонец же вернулся к Ферсандру.

Видно, правду говорят, что страх отшибает память. Так случилось с Сосфеном,— испугавшись за свою судьбу, он совершенно забыл обо всем остальном. Он настолько потерял рассудок, что не запер дверей дома Левкиппы. Рабская натура в тяжелых обстоятельствах обыкновенно проявляет всю свою трусость.

XI

Между тем на суде дела разворачивались следующим образом: раньше чем суд приступил к рассмотрению заявления Мелиты, слово взял Ферсандр:

— Не кажется ли вам,— сказал он,— что пора положить конец нелепым россказням этого человека, кем бы он ни был. Я поражаюсь вашей бесчувственности и тупоумию: вы поймали на месте преступления убийцу,— ведь признание в совершении преступления значит не меньше, если не больше,— и как ни в чем не бывало сидите здесь и разглагольствуете вместо того, чтобы приказать палачу немедленно казнить его. Вы развесили уши и внимаете этому обманщику, правдоподобно разыгрывающему роль и правдоподобно проливающему перед вами слезы.

Думаю, что он тоже причастен к убийству и теперь боится за себя. Я не понимаю, зачем нужны еще какие-нибудь допросы, когда и без того все совершенно ясно. Я даже подозреваю, что они совершили еще одно убийство. Дело в том, что Сосфен, которого требуют привести сюда, уже три дня как исчез. Естественно предположить, что это тоже их рук дело, причем, зная, что в таком случае я не смогу представить его суду, они злонамеренно продолжают требовать этого. О, если бы Сосфен мог сюда прийти! Если бы только он оказался живым! Впрочем, если бы он даже явился сюда, чем бы он помог нам? Купил ли он какую-то девушку? Допустим, что да. Взяла ли ее к себе Мелита? Моими устами она говорит, что да, взяла. Сосфен подтвердил бы все это, и его бы отпустили. А теперь позвольте мне обратиться к Мелите и Клитофонту. Что вы сделали с моей рабыней? Ведь, не правда ли, она принадлежала мне, раз ее купил Сосфен? И если бы эти убийцы не сделали ее своей жертвой, а пощадили бы ее, то она и по сей день была бы моей рабыней.

Эти слова Ферсандр произнес не зря: преисполненный коварных замыслов, он рассчитывал заполучить Левкиппу обратно к себе в том случае, если она окажется жива.

— Клитофонт,— продолжал он,— сознался в содеянном преступлении и попал в руки правосудия. Мелита же отрицает все. Прежде чем выслушать ее, необходимо допросить служанок. Если они скажут, что девушку поручила им Мелита, то пусть объяснят, почему они не привели ее обратно и что с ней случилось? Вообще, что же произошло на самом деле? И с кем? Разве не всем ясно, что преступники натравили кого-то на совершение убийства? Служанки же, конечно, не знали этих людей,— ведь чем меньше свидетелей, тем меньше опасность быть пойманным. Служанки оставили девушку как раз в том месте, где была устроена засада,— естественно, что в таком случае они не видели, как было совершено преступление. Клитофонт нес здесь какую-то околесицу об узнике, якобы сообщившем ему об убийстве. Что за странный узник? Стратегу он ни словом не обмолвился об этом преступлении, а Клитофонту ни с того ни с сего раскрыл все тайны. Этому можно было бы поверить только в том случае, если бы узник признал в Клитофонте своего сообщника. Прекратите же заниматься пустыми домыслами, не превращайте в детскую игру серьезные дела. Ведь не думаете же вы, что Клитофонт обвинил себя без божьей на то воли.

XII

В то время как Ферсандр произносил свою речь и клялся, что понятия не имеет о том, куда девался Сосфен, проэдр уже вынес решение. Он принадлежал к царскому роду, и на его суд предоставляли решение уголовных дел, причем в качестве советчиков он обыкновенно привлекал старейшин, которые поднаторели в знании законов. Итак, посовещавшись с заседателями, он присудил меня к смертной казни, согласно закону, по которому следует казнить тех, кто сам обвиняет себя в убийстве. Дело Мелиты решили рассмотреть после того, как будут допрошены служанки. Ферсандру велено было принести письменную клятву в том, что он действительно не знает, где Сосфен. А меня, так как я уже был приговорен, решили подвергнуть пыткам, чтобы добиться от меня сведений о соучастии Мелиты в убийстве.

Меня заковали, сорвали с тела одежду, надели на шею петлю. Палачи принесли плети, колесо и развели огонь. Клиний испустил горестный вопль и стал призывать на помощь богов, как вдруг перед взорами всех возник увенчанный лавром жрец Артемиды. Его появление обозначает, что приближается теори́я в честь богини. В таких случаях принято откладывать казнь до той поры, пока все участники торжественного шествия не принесут жертвоприношений. Меня на время оставили в покое. Шествие возглавлял Сострат, отец Левкиппы: византийцы одержали победу над фракийцами, и было совершенно очевидно, что в войне Артемида встала на их сторону, поэтому они считали необходимым почтить богиню жертвоприношениями в благодарность за дарованную им победу. Но, кроме этого, богиня ночью явилась к самому Сострату. Такой сон означал, что Сострат найдет в Эфесе свою дочь и сына своего брата.

XIII

Примерно в это же время Левкиппа обнаружила, что Сосфен забыл запереть двери ее дома,— она выглянула, чтобы посмотреть, не стоит ли он за дверью. Убедившись в том, что его нет поблизости, она снова воспрянула духом, и в ней проснулась надежда на спасение. Сознание того, что она уже не раз, вопреки всем ожиданиям, выходила живой из самых опасных переделок, сообщало Левкиппе уверенность в том, что и на сей раз ей удастся избежать гибели. Поэтому она не замедлила

воспользоваться удобным случаем. Близ деревни находился храм Артемиды. Левкиппа добежала до этого храма и укрылась в нем. Издревле заведено, что доступ в него открыт только мужчинам и девушкам, но свободным женщинам запрещено ступать на его порог. Если женщина осмеливалась проникнуть в святилище Артемиды, ей грозила смерть,— только рабыне дозволялось приходить в храм, чтобы пожаловаться на своего господина. Ей предоставлялось право обратиться со своими мольбами к богине, а архонты должны были рассудить ее с господином. Если выяснялось, что господин не нанес рабыне никакой обиды, он получал свою служанку обратно, причем приносил клятву никогда не поминать злом ее побег. Если же признавали, что рабыня права в своих жалобах, то ее оставляли в храме служительницей богини.

Не успел Состратвместе с жрецом выйти из храма, чтобы прекратить судопроизводство, как туда вбежала Левкиппа,— еще немного, и она встретилась бы со своим отцом.

XIV

Когда меня освободили от пытки и прекратили суд, тотчас вокруг собралась шумная толпа; одни сочувствовали мне, другие призывали богов, третьи расспрашивали меня. Состратт, подойдя ко мне поближе и вглядевшись, узнал меня. В начале своего рассказа я упоминал о том, что Состратт некогда провел в Тире немало времени, присутствуя на празднествах Геракла,— правда, это было задолго до нашего побега. Состратт без труда узнал меня,— тем более что из-за своего сновидения он ожидал встречи со мной.

— Вот и Клитофонт,— сказал он, подойдя ко мне,— а где же Левкиппа?

Когда я понял, что передо мной Состратт, я упал на землю, а все присутствующие стали наперебой рассказывать ему, в чем я себя обвинял. Состратт завопил, стал бить себя по голове и топтать меня, причем чуть не выбил мне глаза. Я не сопротивлялся и подставлял свое лицо ударам. Но Клиний воспротивился оскорблениям, которые наносил мне Состратт, и, пытаясь утешить его, сказал:

— Что ты делаешь, человек? Зачем ты изливаешь свой гнев на юношу, который любит Левкиппу сильнее, чем ты? Ведь он решился умереть только оттого, что считал твою дочь погибшей.

Много еще говорил Клиний, успокаивая несчастного отца. Но Состpат со стонами взывал к Артемиде:

— Для этого ли, о владычица, ты меня сюда привела? Неужели таков смысл моего сновидения? А я-то поверил твоему прорицанию и надеялся найти у тебя мою дочь. Прекрасный дар преподнесла ты мне! Ты послал мне убийцу моей дочери.

Клиний же, как только услышал о том, что Артемида в сновидении явилась Сострату, воскликнул:

— Соберись с духом, отец! Артемида не обманула тебя. Жива твоя Левкиппа, поверь моим вещим словам. Разве невдомек тебе, что Артемида спасла и Клитофонта, когда он уже висел на дыбе?

XV

Не успел он закончить, как вбегает, запыхавшись, храмовый служитель, направляется прямиком к жрецу и во всеуслышание объявляет:

— Какая-то девушка, чужестранка, укрылась в храме Артемиды.

Услышав эти слова, я почувствовал, что надежда вновь окрылила меня, я поднял глаза к небу и понемногу стал возвращаться к жизни. Обернувшись к Сострату, Клиний воскликнул:

— Вещими оказались мои слова, отец! — затем, обращаясь к вестнику, он спросил его:

— Девушка красива?

— Я другой такой и не видел никогда,— одной Артемиде она уступает,— ответил вестник.

Я вскакиваю и кричу:

— Ты говоришь о Левкиппе!

— Вот именно,— ответил он,— она сказала мне, что ее зовут Левкиппа, что родом она из Византия, а отец ее Состpат.

Клиний от радости всплеснул руками, издавая восторженные крики. Состpат от радости упал без чувств, а я, несмотря на оковы, взвился в воздух, словно пущенная стрела, и полетел к храму. С криками: «Держи его!» — стража бросилась за мной вдогонку, по-видимому сочтя, что я решил сбежать. Но в тот миг ноги несли меня, словно крылья. Им едва удалось догнать меня. Они было накинулись на меня с побоями, но теперь я уже храбро оборонялся. Тем не менее они поволокли меня в тюрьму.

XVI

Тут подоспели Клиний и Сострат.

— Куда вы тащите этого человека? — закричал Клиний.— Он не совершил убийства, за которое осужден.

Сострат тоже встал на мою защиту и, подтверждая слова Клиния, говорил, что он и есть отец той девушки, которую считали убитой. Присутствующие, узнав, как обстоит дело, принялись славословить Артемиду, окружили меня и помешали страже увести меня в темницу. Но эти блюстители порядка настаивали на том, что не имеют права отпустить человека, осужденного на смертную казнь. Наконец, по просьбе Сострата жрец поручился за меня и обещал немедленно предоставить меня в распоряжение властей, если это потребуется. Освободившись, я ринулся к храму. Сострат устремился вслед за мной,— не знаю, можно ли было сравнить его радость с моей. Но как бы скоро ни бежал человек, молва все равно опередит его в своем полете. Так случилось и на этот раз: извещенная молвой о Сострате и обо мне, Левкиппа выбежала из храма навстречу нам и бросилась на шею к отцу, однако взоры ее были устремлены на меня. Я же остановился, сдерживая, из почтения к Сострату, свое неистовое желание обнять Левкиппу, и лишь не отводил глаз от ее лица. Так мы ласкали друг друга глазами.

I

Только мы хотели сесть и подробно поговорить обо всем, что с нами случилось, как влетает Ферсандр в сопровождении нескольких свидетелей, направляется с большой поспешностью к храму и, обращаясь к жрецу, во весь голос говорит:

— Я при свидетелях заявляю, что ты не имеешь права освобождать от оков и смерти человека, который по закону должен умереть. Кроме того, ты укрываешь у себя мою рабыню, похотливую безумицу. Изволь вернуть мне ее.

Слова «рабыня» и «похотливая безумица» так глубоко ранили мою душу, что я перебил его:

— Ты сам трижды раб, ты сам похотливый безумец. А она свободна, девственна и достойна божества.

— Ах, так ты еще бранишься,— завопил Ферсандр,— это ты-то, колодник, которому место в тюрьме!

С этими словами он изо всех сил ударил меня по лицу, потом еще; из носа у меня хлынула кровь,— видно, весь гнев свой он вложил в эти удары. Он наносил мне уже третий удар, когда по неосторожности расшиб свою руку о мои зубы, поранив при этом пальцы. С воем он тотчас отдернул руку. Так мои зубы отомстили за оскорбленный нос. Ведь они разодрали пальцы, наносящие удар, без всякого моего участия, так что рука оскорбителя была наказана за свои деяния. Итак, Ферсандр закричал и с неудовольствием прекратил свои побои, я же сделал вид, что не заметил нанесенного ему увечья, и на весь храм принялся причитать, жалуясь на этого тирана и насильника:

II

— Где же еще нам искать убежища от насильников? Куда бежать? К какой богине обратить мольбы, если не к Артемиде? Ведь нас избивают в самом храме! Колотят в обители неприкосновенности! Такое может происходить только в пустыне, где не найдешь ни одного свидетеля! Ты же насильничаешь на глазах самих богов! В храме оказываются в безопасности даже преступники, а меня, не совершившего ничего дурного, молящего помощи у Артемиды, бьют перед самым алтарем, в присутствии самой богини. Твои удары сыплются на самое Артемиду. И, бесчинствуя, ты не ограничиваешься побоями, ты наносишь раны в лицо, словно во время войны или сражения, и пол оскверняется человеческой кровью. Хороши возлияния в честь богини! Не варвары ли здесь, не тавры ли, не скифская ли Артемида? Ведь у них принято обагрять святилища кровью! В Скифию ты превратил Ионию, в Эфесе льешь кровь, словно в стране тавров. Возьми уж тогда и меч. Хотя зачем тебе железо? Все, что совершает меч, сделала твоя рука. Рука мужеубийцы, запятнанная кровью, способная на убийство!

III

На мои крики сбежался народ, присутствовавший в храме, и все стали поносить Ферсандра, и сам жрец стал стыдить его за то, что он позволяет себе открыто бесчинствовать в храме. Я же приободрился и сказал:

— Вот что пришлось вытерпеть мне, свободному человеку, выходцу из не последнего города, приговоренному к смерти, но спасенному Артемидой, которая доказала ясно, что человек этот клеветник. А теперь мне нужно выйти из храма и умыться. Да не случится мне сделать это в храме, чтобы не осквернить пролитой кровью святую воду.

С большим трудом Ферсандра удалось оттащить и вывести из храма. Уже с порога он заявил:

— Но ты все равно уже осужден и не избежишь казни, а мнимую девственность этой гетеры покарает сиринга.

IV

Наконец он убрался, а я вышел из храма и умылся. Между тем наступило время обеда, и мы были в высшей степени радушно приняты жрецом. Я не решался смотреть в глаза Сострату, сознавая, что разгневал его, да и сам Состра избегал встречаться со мной взглядом, так как его смущал вид свежих царапин, которые были делом его рук. Левкиппа тоже все больше смотрела в землю. Так что обед превратился в сплошные взаимные укоры. Когда же Дионис понемногу развязал нам языки,— ведь он отец свободы,— то жрец первым обратился к Сострату:

— Почему, дорогой гость, ты не расскажешь нам о себе? Я не сомневаюсь в том, что твой рассказ будет изобиловать любопытнейшими приключениями. За чашей вина особенно приятно слушать подобные повествования.

Состра охотно воспользовался предложением жреца и сказал:

— Мой рассказ очень прост: имя мое Состра, родом я из Византия, Клитофонту я дядя, а Левкиппе отец. Об остальном, не стесняясь, расскажи ты, дитя мое, Клитофонт. Если и выпала на мою долю какая-нибудь печаль, то, видно, не ты в этом виноват, а злое божество. Думаю, что рассказ о горестях, которые уже позади, будет тебе скорее приятен, чем тяжел,— в рассказах о прошедших несчастьях всегда кроется утешение.

V

И я начинаю рассказ обо всех наших приключениях с того дня, как мы покинули Тир,— о плавании, о кораблекрушении, о Египте, о разбойниках, о том, как они схватили Левкиппу, о ее искусно сделанном чреве у жертвенника, о хитрости Менелая, о любви к ней стратега, о зелье Хэрея, о разбойничьем похищении, о ране, которую нанесли мне в бедро, причем я показал шрам. Когда же я дошел до Мелиты, я со всей возможной скромностью описал все, что было, но ни разу не солгал: не утаивая того, что Мелита влюбилась в меня, я рассказал о моем благоразумии, о том, как долго она молила меня, как все ее мольбы оставались тщетными, как она обещала, как она горевала. Потом я рассказал о том, как мы сели на корабль и

поплыли в Эфес, как мы с ней спали вместе и как она, клянусь в том Артемидой, вставала с постели, словно провела ночь с женщиной. Все это я поведал им без утайки, умолчав лишь о том, как в последний раз все-таки пожалел Мелиту. Потом я рассказал об обеде, о том, как я сам себя оклеветал, и дошел до самой теории.

— Но все, что происходило со мной,— сказал я,— даже сравниться не может с тем, что вынесла Левкиппа. Она была продана, она превратилась в рабыню, она копала землю, голова ее лишилась своей красоты, ты ведь видишь, что она острижена.

И я рассказал все по порядку. А дойдя до Сосфена и Ферсандра, я обрисовал страдания Левкиппы более подробно, чем свои собственные,— мне хотелось в присутствии ее отца показать, как я люблю ее. Я рассказал, что Левкиппа перенесла бесчисленные муки и истязания, кроме одного, и, чтобы не подвергнуться насилию, вынесла все остальное.

— И до сегодняшнего дня, отец, она осталась такой же, какой ты отпустил ее из Византия. Если и по сей день мне не удалось добиться от нее того, ради чего мы бежали, то хвалить за это надо не меня, а ее. Она сохранила девственность в разбойничьем стане и одержала победу над самым опасным разбойником,— я имею в виду Ферсандра, этого бесстыдного насильника. Мы решились бежать, отец, потому что нас гнала любовь, это было бегство возлюбленного и возлюбленной, но все время, что мы провели вместе, мы оставались братом и сестрой. Если только можно сказать про мужчину, что он девствен, то таков я в отношении Левкиппы. Всей душой она предана Артемиде. Владычица Афродита, не сочти себя оскорбленной нами: не хотелось нам стать мужем и женой без благословения отца. Но теперь он с нами,— приди же и ты. Будь милостива к нам.

Жрец не пропустил ни одного слова из моего рассказа, не переставая удивляться, а Сострат даже всплакнул в том месте, где я описывал страдания Левкиппы.

Заканчивая свое повествование, я сказал:

— Теперь вы знаете о нас все. Но и мне бы хотелось, жрец, узнать у тебя одну вещь: что это за сиринга, которой Ферсандр, уходя, пригрозил Левкиппе?

— Хорошо, что ты спросил об этом,— ответил мне жрец.— Раз мы знаем, что это такое, то наш долг рассказать об этом всем присутствующим. Своим рассказом я вознагражу тебя за твой.

VI

— Ты видишь ту священную рощу, что позади храма? В ней находится пещера, в которую нет доступа женщинам, одни лишь чистые девы могут войти в эту пещеру. Вблизи входа висит в этой пещере сиринга. Если у вас в Византии есть такой инструмент, то вы знаете, о чем я говорю. Если же не все вы достаточно хорошо знакомы с ним, я охотно расскажу вам о сиринге, а заодно и о Пане.

Сиринга состоит из нескольких трубок, каждая трубка — это тростник. Все вместе тростники звучат, как одна флейта. Расположенные в ряд, они прикреплены друг к другу. Спереди сиринга точно такая же, как сзади. Причем так как один тростник выше другого, то надо иметь в виду, что с одного конца первый тростник настолько выше второго, насколько второй выше третьего, и так далее, а с противоположной стороны все тростники равны; средний тростник ровно вполовину короче самого длинного. Не случайно сиринга устроена именно таким образом, этого требуют законы гармонии. Самый высокий тростник издает самый высокий звук, а самый короткий звучит ниже всех. Так поделили между собой тоны крайние тростники, а те, что находятся между ними, служат переходом от высоких тонов к басам. Благодаря им звучание сиринги распределено равномерно. Так же, как под пальцами Афины заливается флейта, так в устах Пана поет сиринга. Но если флейтой управляют пальцы, то сиринга подчиняется движениям рта мастера, подражающего пальцам. Флейтист, прикрыв пальцами прочие отверстия, оставляет открытым одно, через которое льется его дыхание, играющий же на сиринге оставляет свободными все тростники, кроме одного, который он прикладывает к губам для того, чтобы он зазвучал,— он переносит свое дыхание с одного тростника на другой, как подсказывает ему гармония, заставляющая его губы совершать пляску на инструменте.

Но когда-то давно сиринга была не флейтой и не тростниками, она была прекрасной девушкой. Влюбленный Пан преследовал ее в любовном беге, но густой лес укрыл уносящуюся от него прочь девушку. Пан уже было настиг ее и простер вперед руку. Он думал, что догнал ее и держит за волосы,— оказалось же, что он схватил не волосы красавицы, а листву тростников. Говорят, что деву скрыла в себе земля, а вместо нее родила тростник. От гнева и обиды Пан срезал тростник, который, как он думал, спрятал его возлюбленную. Но и после этого он не

смог ее найти. Тогда он подумал, что девушка превратилась в тростник, и очень опечалился от того, что сам убил ее, когда срезал тростник. Он собрал все срезанные тростинки, как части ее тела, соединил их вместе, взял их в руки и стал целовать свежие срезы, словно раны девушки; приложив к ним уста, он издавал любовные стоны, и вместе с поцелуями касалось тростников его дыхание. Заполняя отверстия, дыхание его проникало сквозь отверстия в тростники, и сиринга зазвучала. Говорят, что Пан освятил эту сирингу, поместил ее в пещеру, часто ходил туда и привык играть на ней. Прошло время, и он подарил это место Артемиде под непременным условием, чтобы ни одна женщина не проникала в его пещеру.

С тех пор и повелось, что если девушку обвиняют в том, что она потеряла невинность, то народ провожает ее к пещере Пана и отдает на суд сиринге. Девушка, облаченная в соответствующую одежду, входит в пещеру, и кто-нибудь затворяет за ней двери. Если она оказывается девой, то из пещеры доносится певучая божественная мелодия,— то ли дыхание самой этой местности наполняет сирингу, то ли сам Пан наигрывает на ней. Немного погодя двери пещеры сами растворяются, и девушка выходит из пещеры, убранная сосновыми ветвями. Если же, объявляя себя девственной, она лжет, то из пещеры доносятся стоны вместо музыки; народ тотчас расходится и оставляет обманщицу в пещере. Только на третий день туда входит жрица этих мест и обнаруживает, что сиринга лежит на земле, а девушка исчезла.

Приготовьтесь к этому испытанию и будьте осторожны. Если Левкиппа действительно девушка, как я бы хотел того, то радуйтесь: сиринга будет милостива к вам,— никогда еще она не погрешила против истины в своем суде. Если же то, что говорит Левкиппа, неправда,— ведь вы сами знаете, в каких переделках ей случилось побывать, то...

VII

Перебив жреца, Левкиппа с жаром сказала:

— Тут не о чем и говорить: я готова тотчас, не дожидаясь вызова, войти в эту пещеру и затвориться в ней.

— Прекрасны твои слова,— сказал жрец,— я рад твоей скромности и счастью.

Наступил вечер, и мы отправились спать в покои, приготовленные для каждого из нас жрецом. Клиний не обедал с

нами, не желая обременять хозяина лишними заботами. Он провел этот день там же, где был накануне.

Я чувствовал, что Сострат несколько обеспокоен рассказом о сиринге,— он боялся, что, стыдясь перед ним, мы не открыли всей правды. Я незаметно кивнул Левкиппе, чтобы она по мере возможности успокоила отца, ведь кому же, если не ей, полагалось знать, как это сделать наилучшим образом. Она, верно, тоже заметила состояние Состратa, потому что сразу поняла меня. Прежде чем я кивнул ей, она уже и сама думала о том, как бы поосторожнее рассеять страхи отца. Перед тем как лечь спать, она подошла к отцу и тихонько шепнула ему:

— Не беспокойся, отец, и верь всему, что я сказала. Клянусь тебе Артемидой, в наших рассказах не было ни слова лжи.

Весь следующий день Сострат и жрец занимались теорией, жертвы были уже приготовлены, прибыли и члены совета, чтобы принять участие в совершении обряда. Много раз призывали к славословию богини. Ферсандр же, который тоже присутствовал на богослужении, подошел к проэдру и сказал ему:

— Назначь суд на завтра, потому что осужденного кто-то вчера освободил, а Сосфена между тем нигде нет.

Итак, суд был назначен на следующий день, и мы готовились к нему со всей серьезностью.

VIII

Настал решительный день, и Ферсандр произнес такую речь:

— Не знаю даже, с чего начать, кого обвинить первым, кого вторым. Много преступлений совершено, и много людей в них замешано, и ни одно из них не уступает другому в тяжести. Трудно объединить их, так как они не связаны между собой. Настолько не дают покоя моей душе некоторые из преступлений, что я боюсь, как бы моя речь не затянулась до бесконечности. Ведь говоря об одних, я не удержусь от того, чтобы не вспомнить о прочих. И, спеша высказать сразу все, опережая в словах самого себя, я боюсь лишить свою речь цельности. Ведь когда прелюбодеи убивают чужих слуг, убийцы прелюбодействуют с чужими женами, а развратники нарушают теории, когда блудницы оскверняют своим присутствием священнодействия, когда у господ коварно похищают рабынь, что же тогда можно сделать? Все смешалось в одну кучу,— беззаконие, разврат,

бесчестье и убийство. Вы присудили человека к смерти, неважно за что, осудили, связали и отправили в тюрьму, чтобы он пробыл там до совершения казни. А он, вот он, стоит среди нас как ни в чем не бывало и, вместо оков, на нем белая одежда. Среди свободных стоит преступник. А скоро он, чего доброго, и заговорит и станет поносить меня, и не столько меня, сколько вас и ваш приговор.

Прочтите же постановление проэдра и его советников. Вы слышите, что сказано в вашем решении в ответ на выдвинутое мною обвинение? Клитофонт должен умереть. Где же палач? Ведь ему надлежит взять с собой Клитофонта. Дайте ему яд! Он уже мертв по закону. Срок приговора уже прошел. Что ж ты скажешь на это, благочестивейший и скромнейший жрец? В каких божественных законах записано, что дозволяется ставить себя выше проэдров и судов, спасая от наказания людей, осужденных советом и пританами на смертную казнь и закованных в цепи? Проэдр, встань со своего места, уступи ему свою власть и право творить суд. Ты здесь больше не хозяин. Ты уже не можешь выносить приговор преступникам. Сегодня твои решения отменяются. Что же ты, жрец, стоишь среди нас, как равный среди равных? Поднимись, займи трон проэдра и стань впредь нашим судьей, веди себя, как настоящий тиран; огради себя от знания законов, воздержись от чтения судебных постановлений. Да и не причисляй себя к роду смертных людей, ты ведь уже ожидаешь поклонения вместе с Артемидой,— и ее права ты похитил. Насколько я знаю, одной только Артемиде дозволено спасать людей, которые прибежали к ней в поисках защиты, и то если приговор еще не объявлен. Но и сама богиня еще ни разу не освободила от цепей узника и не избавила от смерти ни одного человека, приговоренного к ней. Алтари существуют не для преступников, а для тех, кто попал в беду. Ты же освобождаешь от оков и смерти именно преступников. Не иначе как твоя власть превзошла власть Артемиды! Кто поселился в храме, в то время как место ему в тюрьме? Убийца и прелюбодей под крылышком у чистой девы! Увы, развратник рядом с девственницей! А вместе с ним и распутная девка, сбежавшая от своего господина. Ведь и ее, насколько нам известно, ты приютил, с ними обоими ты разделил свою трапезу, предоставив им место у своего очага. Уж не спал ли и ты с ней, жрец, сделав из святого храма дом терпимости? Храм Артемиды превратился в спальню прелюбодеев и публичной женщины! Впрочем, даже не во всяком притоне такое увидишь. Эта моя речь направлена против двоих: одного я требую наказать за превышение власти,

другого же, согласно приговору, следует снова посадить в тюрьму.

Второе мое обвинение — в адрес Мелиты, которая должна понести наказание за прелюбодеяние. Я не собираюсь распространяться на эту тему, потому что дознание должно быть произведено с применением пыток, которым подвергнут служанок. Я настаиваю на том, чтобы их пытали. Если под пыткой они покажут, что этот обвиняемый долгое время жил в моем доме, жил с моей женой, но не в качестве любовника, а в качестве мужа, я сниму с Мелиты свое обвинение. Если же они покажут противное, то она по закону должна предоставить в мое распоряжение свое приданое, а ему, как всякому прелюбодею, надлежит умереть. Таким образом получается, что как бы он ни умер, прелюбодеем ли, или убийцей, он не понесет достаточного наказания, потому что по закону ему положено умереть дважды.

И наконец, мое третье обвинение направлено в адрес моей рабыни и этого якобы почтенного человека, прикидывающегося ее отцом. Но насчет них потом. Сначала разберитесь с этими двумя.

На этом он закончил свое выступление.

IX

Тогда вышел жрец. Надо сказать, что его нельзя было упрекнуть в недостатке красноречия, причем многие свои приемы он заимствовал у Аристофана. С блеском комедийного героя начал он свою речь, остроумно обличая Ферсандра в распутстве:

— Никогда честный человек не осмелился бы перед лицом богини бранить невинных людей, да еще в столь непристойных выражениях. Что касается этого человека, то его язык повсюду только и делает, что богохульствует. Всю свою молодость он провел в обществе самых достойных людей. Он напустил на себя благолепный вид, прикидывался большим разумником и, делая вид, что мечтает об образовании, всячески заискивал перед своими учителями, стараясь во всем им подражать. Оставив отчий дом, он снял себе где-то комнатушку и поселился в ней, получив возможность таким образом принимать у себя всех, кто нужен был ему для того, чтобы предаваться разврату. Все думали, что он закаляет свой дух, а он таким путем держал втайне от всех свою порочность. Да и в гимнасии мы не раз видели, как он умащивал свое тело разными притираниями, какими пользовался приемами, когда в борьбе сплетал свое тело

с телами юношей из тех, что были похрабрее других. Так-то он развивал свое тело. Вот каков он был в молодости. Когда же к нему пришла зрелость, открылось все, что до той поры он скрывал. Тело его отцвело, и, не будучи в состоянии пользоваться им для того, чтобы продолжать развратный образ жизни, он предался злословию, воспользовавшись единственным, что у него осталось,— языком. С тех пор он постоянно занимается тем, что клевещет на всех окружающих с бесстыдством, присущим его языку. Наглость написана у него на лице. Ему ничего не стоило оболгать перед вами человека, которого вы сами почтили жреческим саном. Если бы я жил не среди вас, а в каком-нибудь другом месте, то он вынудил бы меня своей клеветой рассказать вам о моей жизни. Но так как, к счастью, вам хорошо известно, насколько все, что он рассказал обо мне, не соответствует действительности, разрешите мне остановиться на его обвинениях в мой адрес. Итак, он говорит: «Ты освободил приговоренного к смерти»,— на это он больше всего жалуется, называет меня тираном и поливает меня грязью. Но не тот тиран, кто приходит на помощь оклеветанным людям, а тот, кто в любой момент без суда и приговора совета и народа готов упрятать в тюрьму ни в чем не повинных людей. Ответь мне, какие законы позволили тебе посадить в тюрьму этого юношу чужеземца? Кто из проэдров постановил это? Какой суд вынес постановление заковать его? Пусть даже он виновен во всем, что ты ему приписываешь, но и в этом случае он прежде всего должен быть предан суду и изобличен им, причем во время суда ему предоставят слово. Один лишь закон, которому мы все равно подчиняемся, властен над ним. Пока не совершился суд, мы все равноправны.

Так запри же суды, разгони совет, лиши власти стратегов! Ведь все, с чем ты обрушился на проэдра, может быть с гораздо бóльшими основаниями отнесено к тебе. Встань же перед Ферсандром, проэдр! Ты ведь только называешься проэдром. Вот кто, оказывается, выполняет твои обязанности и даже превосходит тебя в своих правах. Ведь у тебя есть советники, и ты не можешь ничего сделать без их ведома. Более того, ты не выносишь решений, не заняв этого кресла, а в своем доме ты никогда не смел приказать, чтобы на человека надели оковы. Этот же почтеннейший заменил собой всех — и народ, и совет, и проэдра, и стратега. Он и дóма карает, выносит приговоры, приказывает вязать людей, а вечер считает самым удобным моментом, чтобы творить суд. Хорош же ночной судья! А сейчас он не переставая оглушает всех своими воплями: «Ты освободил осужденного, приговоренного к смерти!» К какой же смерти? Какого

осужденного? Скажи мне тогда, за что решились предать его смерти? «Он осужден за убийство»,— ответит Ферсандр. Да разве он убивал кого-нибудь? Тогда скажи мне: кого! Ту, которую он, по твоим словам, убил, ты видишь живой. Так что же дает тебе право осмелиться назвать его убийцей? Ведь вряд ли перед тобой привидение! Аид не посылал против тебя убитую.

Итак, не кто иной, как ты, являешься убийцей, посягнувшим на две жизни: ее ты убил словом, а его ты хотел убить по-настоящему,— впрочем, и ее тоже,— насчет твоих похождений в деревне мы слыхали. Но великая Артемида спасла их обоих. Девушку она вырвала из рук Сосфена, а юношу из твоих. Сосфена же ты сам упрятал, чтобы тебя не уличили. И не стыдно тебе, что перед двумя чужеземцами ты оказался сикофантом?

Таков мой ответ на хулу, возведенную на меня Ферсандром. Чужестранцы же пусть сами ответят за себя.

X

Следующим должен был говорить довольно известный оратор, член совета, который взял на себя защиту меня и Мелиты. Однако его выступление предупредил другой оратор, по имени Сопатр, один из единомышленников Ферсандра, нанятый им.

— Милейший Никострат (так звали нашего оратора),— сказал он, обращаясь к защитнику,— сперва я выскажусь против этой распутной пары, а потом наступит и твоя очередь говорить. Ведь Ферсандр в своей речи коснулся главным образом поведения жреца и лишь вскользь упомянул истинного преступника. Поэтому я сейчас докажу собравшимся, что он прямой виновник двух смертей, а затем уж и ты получишь слово.

Заморочив всем головы этой чушью, он с важным видом потер свой лоб и начал:

— Мы были зрителями комедии, которую разыграл перед нами только что жрец, позволивший себе незаслуженно и бессовестно обижать Ферсандра. В начале своей речи жрец накинулся на Ферсандра за то, что тот рассказал о нем. Но разве было в речах Ферсандра хоть слово лжи? Ведь он действительно освободил узника, укрыл у себя блудницу и простил прелюбодея. Но где уж наш жрец дал полную волю своей разнузданной клевете, так это там, где описывал жизнь Ферсандра. Между нами говоря, жрецу следовало бы удерживать свой язык от подобного рода дерзких речей,— я обращаю против него его же собственное оружие. Едва закончив ломать перед вами

комедию, он без всякого перехода принялся играть трагедию, оглашая зал суда стенаниями по поводу того, что мы связали прелюбодея; и тут я задумался: что же заставляет его так усердствовать? Нетрудно догадаться об истинной причине. Ведь он видел лица этих распутников, гетеры и прелюбодея. И что же? Она молода и прекрасна. Мальчишка тоже красив, и лицо его еще не успело огрубеть, так что он вполне может служить для утех нашего священнослужителя. Кто же из них пришелся тебе более по вкусу? Ведь вы вместе спали, вместе пили, и ни один человек не был свидетелем того, как вы провели ночь. У меня возникают опасения, не превратили ли вы святилище Артемиды в храм Афродиты? Не придется ли нам решать вопрос о том, достоин ли ты жреческого сана?

Что касается Ферсандра, то всем доподлинно известно, сколь достойный и скромный образ жизни он вел с самого детства. Известно также, что, достигнув положенного возраста, он вступил в законный брак,— к несчастью, он обманулся в той, кого избрал себе в жены, не оправдались его надежды, когда он полагался на ее происхождение и богатство. Похоже на то, что она и прежде не раз позволяла себе грешить, но честный ее муж ни о чем не подозревал. И лишь последние события раскрыли преисполненное бесстыдства позорное ее поведение. Стоило мужу отправиться в дальнее путешествие, как она, обрадовавшись тому, что может безбоязненно предаваться разврату, выискала себе блудливого юношу (мерзость ее поведения увеличивается еще и выбором возлюбленного, который с женщинами подражает мужчинам, а с мужчинами становится женщиной) и не удовлетворилась тем, что у всех на виду жила с ним в чужих краях,— нет, этого ей оказалось мало! Она приволокла его за собой сюда, и за время долгого путешествия не пропустила ни одной ночи, чтобы не спать с ним, короче, распутничала с ним на корабле на глазах у всех. О прелюбодеяние, разделенное между землей и морем! О прелюбодеяние, растянувшееся от Египта до самой Ионии! Бывает, конечно, что кто-нибудь согрешит, но один раз. А уже если такое случится во второй раз, то каждый постарается скрыть случившееся и скроется сам. Эта же не только сама, но и через вестника раструбила по всему свету о своем прелюбодеянии. Весь Эфес знает ее любовника. Она не постеснялась привезти с собой этого податливого красавчика, не стыдно было ей, словно товар, погрузить на судно прелюбодея. «Но я думала,— повторяет она,— что мой муж умер». Да, если бы он умер, никто не обвинял бы тебя. Если случается так, что жена теряет мужа, о прелюбодеянии

нет и речи, оно не может осквернить брака, когда нет мужа. Но коли брак не расторгнут и муж жив, то истинным разбойником можно назвать того, кто обольстил его жену. Вопрос совершенно ясен: если есть муж, есть и прелюбодей, если нет мужа, нет и прелюбодея.

XI

Выступление Сопатра, не дав ему договорить, прервал Ферсандр.

— Довольно слов,— заявил он,— я настаиваю на том, чтобы Мелиту и эту другую женщину, которая прикидывается дочерью теора, а на самом деле моя рабыня, подвергли двум испытаниям.— И он прочитал, в чем они заключаются: — Ферсандр вызывает Мелиту и Левкиппу (как будто бы так, я слышал, зовут эту распутницу). Если Мелита не предавалась утехам Афродиты с этим чужеземцем, в то время как я находился вдали от дома, пусть она вступит в священные воды Стикса и, поклявшись в своей невиновности, снимет с себя обвинение. Другая же, если она женщина, то ей положено остаться моей рабыней, потому что известно, что из женщин в храм Артемиды дозволено входить только рабыням. А раз она называет себя девушкой, то пусть ее запрут в пещере сиринги.

Мы, конечно, приняли вызов Ферсандра,— бояться-то нам было нечего. Мелита тоже приободрилась,— ведь во время отсутствия Ферсандра она не нарушала супружеской верности, разве что в разговорах. Осмелев, она сказала:

— Я тоже принимаю твой вызов, но хочу к нему кое-что добавить. Самое главное заключается в том, что за все то время, о котором ты говоришь, я ни разу не имела дела ни с кем и в том числе с этим чужестранцем. Как прикажешь поступить с тобой, когда будет доказано, что ты клеветник?

— Как решат судьи,— ответил Ферсандр.

На этом заседание было прервано, а испытания решили провести на следующий день.

XII

С водами Стикса связано такое предание. Жила когда-то девушка по имени Родопида. Она была очень хороша собой и любила охотиться с собаками и без них. У нее были быстрые ноги, меткие руки, коротко, по-мужски остриженные волосы. Она носила митру и подвязанный до колен хитон. Однажды ее

увидела Артемида, похвалила девушку, подозвала и пригласила охотиться вместе с собой. С тех пор они стали охотиться вместе. И Родопида поклялась Артемиде оставаться девой, избегать мужчин и не потерпеть оскорбления от Афродиты. Такую клятву принесла Родопида, а Афродита ее услыхала. Разгневалась богиня и задумала наказать девушку за то, что она решилась презреть богиню любви. В Эфесе жил юноша, столь же прекрасный среди юношей, сколь Родопида среди девушек. Звали его Эвтиник. Подобно Родопиде, он предпочитал всему охоту и так же, как и она, не хотел знаться с Афродитой. К ним обоим явилась богиня и послала их на охоту в одно и то же место. До сей поры они ни разу друг друга не видали. Артемида в это время отсутствовала. Афродита призвала себе на помощь своего сына-стрелка и сказала ему:

— Сын мой, ты видишь эту пару, чуждающуюся любви, враждебную нам и нашим мистериям. Девушка даже осмелилась принести против меня дерзкую клятву. Ты видишь, как они оба преследуют лань. Начни же и ты свою охоту, накажи деву за ее гордыню. Ведь ты, во всяком случае, более метко стреляешь, чем она.

Оба, Эрот и Родопида, одновременно натягивают тетиву своих луков, она метится в лань, а он в девушку: оба попадают в цель,— так сама охотница послужила мишенью. Ее стрела попала в бедро лани, а стрела Эрота попала девушке прямо в сердце. И стрелой этой оказалась любовь к Эвтинику. Второй стрелой Эрот поразил Эвтиника. И увидали друг друга Родопида и Эвтиник, в первый раз подняли они очи свои друг на друга и уже не смогли их оторвать. А раны их болели все сильней и сильней, так что Эрот легко увлек их в ту пещеру, где теперь течет Стикс. В этой пещере они нарушили свои клятвы.

Артемида увидела, что Афродита смеется, и сразу поняла, что произошло. И тогда она распустила девушку в той же воде, в которой та распустила свой пояс девственности.

Если женщину обвиняют в прелюбодеянии, она должна войти в источник и омыться в нем. Сам источник мелкий, лишь до середины голени доходит вода в нем. И вот как он вершит свой суд: женщина пишет клятву на дощечке, обвязывает ее тесьмой и вешает на шею; если истинна ее клятва, вода остается на своем месте; если же она солгала, то вода в гневе поднимается до самой шеи клятвопреступницы и закрывает дощечку.

В разговорах мы не заметили, как наступил вечер и пришло время ложиться спать. Мы разошлись по своим спальням.

В. Б.

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

XIII

На следующий день под предводительством Ферсандра собрался весь народ. Ферсандр, в предвкушении своего торжества, с усмешкой то и дело поглядывал на нас.

Левкиппа была облачена в священную одежду: длинный полотняный хитон с поясом, на голове пурпурная повязка. Босиком она скромно вошла в пещеру. Объятый трепетом, я наблюдал за ней и говорил сам себе:

— Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты девушка, Левкиппа. Но побаиваюсь я Пана, моя возлюбленная. С его-то любовью к девам как бы тебе не стать второй сирингой. Но ей удалось убежать от Пана, потому что он гнался за ней по широкой равнине, ты же заперта, как в крепости, так что, если вздумается ему преследовать тебя, тебе некуда будет скрыться от него. Владыка Пан, будь же благоразумен и не преступай закона этого места: мы ведь послушны ему. Пусть выйдет к нам Левкиппа девушкой. Не забудь, что ты договорился с Артемидой. Не обмани же девственную богиню.

XIV

Так я сам себя успокаивал, когда послышалась чудная музыка, и говорят, что никогда не звучала она так дивно, как тогда,— в тот же миг мы увидели, что двери пещеры растворяются. Когда же из дверей выбежала Левкиппа, весь народ встретил ее восторженными криками, а на Ферсандра посыпалась брань. Со мной же началось такое, что я даже описать этого не могу. Одержав эту прекраснейшую из побед, мы ушли оттуда и поспешили на второй суд, к Стиксу. И там собрался народ поглядеть на редкостное зрелище, и все свершилось. Мелита повесила на шею дощечку. Источник был мелководен, и вода прозрачна. С радостным лицом Мелита вошла в него. Вода осталась на месте, нисколько не поднявшись выше своего обычного уровня. Когда истекло время, которое Мелита должна была провести в воде, проэдр взял ее за руку и вывел из источника.

Так Ферсандр потерпел два поражения. Ему грозило уже и третье, но он успел убежать домой, в страхе, что народ побьет его камнями. Дело в том, что четверо юношей, двое из которых

были родственниками Мелиты, а двое — слугами, уже волокли Сосфена, которого она велела им разыскать. Ферсандр, предвидя, что подвергнутый пыткам Сосфен во всем признается, ночью скрылся из города.

Когда архонтам стало известно, что Ферсандр бежал, они приказали Сосфена бросить в тюрьму.

Тогда мы удалились, сильные своей победой и гордые всеобщим восхвалением.

XV

На следующий день те, кому это было доверено, повели Сосфена к архонтам. Видя, что его собираются подвергнуть пыткам, Сосфен откровенно рассказал обо всем, что творил Ферсандр, требуя от него содействия. Он не утаил и того разговора, который они с Ферсандром вели о Левкиппе у дверей ее хижины. В результате своих показаний Сосфен снова был брошен в тюрьму, где должен был отбыть положенный до наказания срок. Ферсандра же заочно приговорили к изгнанию.

Мы снова отправились к жрецу, который принял нас с обычным радушием. Во время обеда мы вновь говорили о наших приключениях, припоминая и те из них, о которых забыли рассказать накануне. Левкиппа, доказав всем, что она девушка, не смущалась более перед своим отцом и с удовольствием рассказывала о случившемся с нами. Когда она дошла в своем рассказе до Фароса, я сказал:

— Не расскажешь ли ты нам о фаросских разбойниках, о загадке с отрубленной головой,— ведь и отец твой не знает об этом. Когда ты раскроешь нам эту тайну, станет известно все, что мы пережили.

XVI

— Эти разбойники,— начала Левкиппа,— обманули несчастную женщину, одну из тех, кто за деньги продает утехи Афродиты, и держали ее на корабле, якобы для того, чтобы она сожительствовала с одним из хозяев корабля. Она не подозревала об истинной причине своего пребывания на корабле и спокойно распивала вино с одним из пиратов. На словах, этот разбойник был ее любовником. Похитив меня, они, как ты видел, посадили меня на корабль и стали удирать, окрылив его веслами. Когда разбойники заметили, что посланный за ними вдогонку корабль

вот-вот их настигнет, они сняли с несчастной женщины ее одежду и украшения и надели их на меня, а мое платье на нее. Затем они поставили ее на корме так, чтобы вы ее могли видеть, и отрубили ей голову; ты, наверное, заметил, что тело они бросили в море, а голову до времени оставили на корабле. Они выбросили голову только тогда, когда убедились в том, что погоня за ними прекратилась. Я до сих пор не поняла, для чего они держали эту женщину, то ли для этого, то ли для того, чтобы продать ее в рабство, как они впоследствии поступили со мной. Испугавшись погони, они убили вместо меня эту несчастную женщину, потому что рассчитывали продать меня дороже, чем ее. Это происшествие послужило причиной тому, что и Хэрей понес достойное его поступка наказание, свидетельницей которого я была. Ведь именно Хэрей настаивал на том, чтобы женщину убили и бросили в море вместо меня.

После того как женщина была убита, члены шайки стали протестовать против того, чтобы я досталась одному Хэрею: тебе, говорили они, уже принесли в жертву другую женщину, за которую мы могли бы получить деньги. Разбойники требовали, чтобы меня продали и таким образом сделали общим достоянием. Хэрей стал возражать, отрицать свою вину и доказывать им, что похитил меня не для продажи, а для того, чтобы я стала его возлюбленной. В запальчивости он позволил себе дерзость, и тотчас один из разбойников, который стоял позади него, снес ему голову. Поделом Хэрею, собственной жизнью заплатил он за похищение. Разбойники сбросили его в море, а меня через два дня привезли сама не знаю куда и продали кому-то из своих знакомых купцов, а тот уже Сосфену.

XVII

В застольной беседе Левкиппу сменил Состратт:

— Теперь, дети мои, когда вы описали все ваши приключения, послушайте и о том, что случилось дома с твоей, Клитофонт, сестрой Каллигоной,— мне ведь тоже не пристало совсем не участвовать в вашей беседе.

Услыхав имя моей сестры, я весь стал внимание и сказал:

— Пожалуйста, рассказывай, отец, только смотри рассказывай о живой.

Он начал свое повествование с того, о чем я уже говорил, то есть с Каллисфена, предсказания, теории и похищения Каллигоны.

— Хотя,— продолжал он,— в плавании Каллисфен узнал о том, что Каллигона не моя дочь и что он ошибся, приняв ее за Левкиппу, он полюбил ее, и очень сильно. «Владычица моя,— сказал он, припав к ее коленям,— не считай меня разбойником и злодеем. Родом я из Византия и никому не уступлю в знатности своего происхождения. Любовь превратила меня в разбойника и заставила сыграть с тобой такую шутку. С этого дня считай меня своим рабом. Я отдаю тебе в приданое, помимо самого себя, такое богатство, какого не смог бы дать тебе даже твой отец. Я сохраню твою девственность столько времени, сколько ты пожелаешь». Подобными словами, а он говорил ей больше, чем я передаю вам, Каллисфен добился благосклонности Каллигоны. Ведь он был очень красив, обладал даром красноречия и сумел убедить девушку. Когда они прибыли в Византий, он на деле доказал, что может дать ей солидное приданое, приготовил ей драгоценные уборы, одежду, золото,— словом, все, что служит украшением богатых женщин; Каллисфен сдержал и другое свое обещание,— он не посягал на девственность Каллигоны, неустанно заботился о ней и в конце концов совершенно пленил девушку.

Но и во всем остальном он также выказал себя как человек необыкновенно скромный, добрый и разумный,— поистине разительная перемена произошла в нем. В присутствии старших он вставал, а встретившись со знакомым, старался поздороваться первым. Прежнее мотовство и легкомысленное расточительство сменилось разумным отношением к своему богатству: он проявлял великодушную щедрость лишь к тем, кто в бедности своей нуждался в помощи,— все буквально диву давались, настолько он изменился,— все плохое в его поведении обернулось хорошим. Я же пленился им даже больше, чем прочие. Сильно полюбив его, я пришел к заключению, что прежнее его мотовство вытекало скорее из удивительно широкой натуры Каллисфена, чем из склонности его к распутному образу жизни. На память мне пришел и Фемистокл: ведь будучи юношей, он прослыл человеком крайне невоздержным, а впоследствии превзошел всех афинян мудростью и отвагой. Я чувствовал раскаяние, что в свое время отказал Каллисфену, когда он попросил руку Левкиппы. Меня он искренне почитал, называл отцом, сопровождал на площадь. Каллисфен не пренебрегал и воинскими упражнениями, он усердно занимался верховой ездой и преуспел в этом деле. Надо сказать, что он увлекался верховой ездой еще в годы своего мотовства, но тогда он смотрел на это занятие как на прихоть. Тем не менее кое-какой опыт он уже тогда приоб-

рел, а храбрость была заложена в его натуре. Он выработал в себе также умение с величайшим смирением переносить различные тяготы военного ремесла. Большие деньги Каллисфен пожертвовал в пользу государства. Вместе со мной он был выбран в стратеги; с той поры он еще больше ко мне привязался и во всем повиновался мне.

XVIII

— Когда же, благодаря вмешательству богов, мы победили в войне и возвратились в Византий, нас выбрали теорами. Я должен был ехать сюда, чтобы принести благодарность Артемиде, а он в Тир — чтобы почтить жертвой Геракла. И вот он взял меня за руку и рассказал мне сначала о том, как поступил с Каллигоной. «Когда я действовал таким образом, отец,— сказал он,— мною руководило сперва свойственное природе юного возраста стремление к насилию, но затем его сменила добрая воля. Я сохранил ее девственность, отец, до сих пор, и это во время войн, когда не принято откладывать радости любви. Теперь я хочу взять ее с собой и отвезти в Тир к отцу, чтобы он разрешил мне сделать ее своей законной женой. Если он ответит мне согласием, я приму ее с благословения судьбы, если же он откажет, то дочь вернется к нему девушкой. Что касается меня, то я с радостью вступил бы с ней в брак и дал бы ей немалое приданое».

А теперь, Клитофонт,— продолжал Состpат,— я прочитаю тебе то, что я написал о Каллисфене еще до моего отплытия; желая, чтобы Каллигона стала его женой, я подробно написал о его происхождении, описал все его заслуги и воинские подвиги. Такие у нас дела. Теперь скажу тебе о том, что я решил: ведь Ферсандр обжаловал приговор,— так вот, если решение суда будет в нашу пользу, то я поплыву сначала в Византий, а потом уже в Тир.

На этом наш разговор кончился, и мы отправились спать, каждый на свое обычное место.

XIX

На другое утро примчался Клиний и сообщил, что Ферсандр ночью скрылся. Он обжаловал вынесенный ему приговор не потому, что рассчитывал на успех, но желая таким путем отсрочить разоблачение проступков, которые совершил. Мы

выждали положенные три дня и явились к проэдру. Сославшись на закон, согласно которому дело Ферсандра уже не существовало, мы сели на корабль и, подгоняемые ветром, прибыли в Византий.

Там мы наконец сыграли свадьбу, которой так долго ждали. После этого мы отправились в Тир. Прибыв туда двумя днями позже, чем Каллисфен, мы застали отца готовящимся на следующий день принести жертвы и отпраздновать свадьбу моей сестры.

Мы с Левкиппой тоже пришли на эту свадьбу — принять участие в жертвоприношении и испросить у богов, чтобы наш и их брак был благополучным.

Провести зиму мы решили в Тире, а затем возвратиться в Византий.

ЛОНГ

ДАФНИС И ХЛОЯ

ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
С. КОНДРАТЬЕВА

ВВЕДЕНИЕ

На Лесбосе охотясь, в роще, нимфам посвященной, зрелище чудесное я увидел, прекраснее всего, что когда-либо видал, картину живописную, повесть о любви. Прекрасна была та роща, деревьями богата, цветами и текучею водой; один родник все деревья и цветы питал. Но еще больше взор радовала картина; являлась она искусства дивным творением, любви изображеньем; так что множество людей, даже чужестранцев, приходили сюда, привлеченные слухом о ней; нимфам они молились, картиной любовались. А на ней можно было вот что увидеть: женщины одни детей рождают, другие их пеленами украшают; дети покинутые, овцы и козы-кормилицы, пастухи-воспитатели, юноша и дева влюбленные, пиратов нападение, врагов вторжение. Много и другого увидел я, и все проникнуто было любовью; и мной, восхищенным, овладело стремленье, с картиной соревнуясь, повесть написать. И, найдя того, кто картину ту мне истолковать сумел, я, много потрудившись, четыре книги написал, в дар Эроту, нимфам и Пану, а всем людям на радость: болящему они на исцеленье, печальному на утешенье, тому, кто любил, напомнят о любви, а кто не любил, того любить научат. Ведь никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть. А мне пусть бог даст, разум сохраняя, любовь чужую описать.

1. Город на Лесбосе есть — Митилена, большой и красивый. Прорезан каналами он,— в них тихо вливается море,— и мостами украшен из белого гладкого камня. Можно подумать, что видишь не город, а остров.

От города этого, стадиях так в двухстах, находилось поместье одного богача; чудесное было именье: зверь в горах, хлеба на полях, лоза на холмах, стада на лугах, и море, на́ берег набегая, плескалось на мягком песке.

2. Вот в этом-то поместье был козопас по имени Ламон; пася свое стадо, нашел он ребенка, одна из коз его кормила. Была там рядом чаща лесная, густо по низу терном заросшая, и повсюду вился плющ, и нежная росла трава, а на ней лежал ребенок. Сюда постоянно коза ходила, часто из глаз исчезая, и, своего покидая козленка, долгое время с ребенком она оставалась. Подметил Ламон, что она убегает, и пожалел он козленка брошенного; в самый полдень пошел он за ней по следам и видит: коза осторожно переступает, боясь своими копытами ребенку вред причинить, а он, будто пред ним материнская грудь, тянет молоко, обильным потоком струящееся. Дивится, конечно, пастух, ближе подходит и мальчика находит, крупного, красивого и в убранстве, для подкидыша чересчур богатом: покрывало пурпурное, застежка золотая, ножичек с рукояткой из кости слоновой.

3. И сперва задумал было Ламон взять с собой одни только эти приметные знаки ребенка, его ж самого здесь покинуть; но затем устыдился, что козы он даже безжалостней, и, дождавшись ночи, приносит жене своей Миртале и приметные знаки, и ребенка, да и козу приводит. Она изумляется: неужели козы стали рождать детей? И рассказывает он ей все по порядку, как нашел его брошенным, как увидел козой его вскормленным и как стало стыдно ему покинуть ребенка на верную смерть. И она согласилась, что правильно он поступил. Затем они вещи, что были оставлены при ребенке, прячут, ребенка своим признают, кормленье его козе поручают. А чтобы имя у мальчика было таким, какое у пастухов в обычае, они его Дафнисом назвать решили.

4. Уже с тех пор прошло два года, и вот с пастухом по имени Дриас, пасшим стада на соседних лугах, то же самое случилось, на такую же находку он напал, такое же диво увидел. Была там пещера нимф в скале огромной, внутри пустой, снаружи закругленной, самих же нимф изображенья из камня высечены были: ноги босые, руки нагие, кудри вились по плечам, пояс на бедрах, в глазах улыбка,— как будто они в хороводе пляшут. Вход в пещеру как раз посредине громадной скалы лежал; бил тут и ключ, ручей текучий образуя; перед пещерой свежий луг простирался, и на нем, влагою питаясь, густая, нежная трава росла. Лежали тут и подойники, и флейты кривые, и свирели, и тростник — обетные дары от пастухов времен минувших.

5. И в эту пещеру нимф одна овца, недавно принесшая ягненка, стала так часто ходить, что не раз думали, будто пропала она совсем. Желая ее наказать и снова слушаться заставить, свил Дриас из прутьев зеленых веревку, скрутил петлю и пошел к скале, чтоб овцу там поймать. Подойдя, увидал он вовсе не то, что ожидал: овца, как нежная мать, подставляет соски с молоком, текущим обильно, а ребенок без плача жадно хватает то за один, то за другой сосок ротиком своим — чистым и свежим, так как овца языком ему очищает лицо, когда он насытится. Девочкой было это дитя, и также лежали с ней рядом приметные знаки: головная повязка с шитьем золотым, золоченые туфельки, браслеты чистого золота.

6. Сочтя, что богами ему послана эта находка, и овцой наученный жалости к ребенку и любовному с ним обращению, он на руки младенца поднимает, в свою суму приметные знаки кладет и молится нимфам, чтоб дали ему счастливо вскормить малютку, себя вручившую их покровительству. И когда пришло время гнать стадо домой, возвращается он в свой двор и жене своей о том, что видел, рассказывает, то, что нашел, показывает, а ей приказывает девочку своей дочкой считать, тайну ее ото всех скрывать, как родное дитя воспитывать. И тотчас Напа (так звали Дриаса жену) матерью стала ребенку, стала его ласкать и любить, как бы боясь в нежности овце уступить. А чтоб все поверили, что это ее дочка, она тоже обычное имя пастушеское ей дает, Хлоей ее назвав.

7. Оба эти ребенка выросли быстро, и красотой заблистали они много ярче, чем дети простых поселян. Уже было Дафнису пятнадцать лет от рожденья, а Хлое столько же, только без двух, когда и Дриас и Ламон в одну ночь такой сон видят. Привиделось им, что нимфы той самой пещеры, в которой источник был и где Дриас нашел ребенка, Дафниса с Хлоей передают мальчику, бойкому и прелестному: за плечами крылья, маленький лук и короткие стрелки в руках. И, коснувшись обоих одною стрелой, велел отныне пасти ему козье стадо, а ей — стадо овец.

8. Увидав этот сон, Дриас и Ламон огорчились — неужели придется пасти этим детям коз и овец? Ведь по их детским пеленкам, казалось, предсказана им была лучшая доля; потому-то их и пищей кормили более нежной, и грамоте обучали, и всему, что в деревне считалось прекрасным. Но все же, подумали, надо богам покориться, раз дело идет о судьбе детей, спасенных богов провиденьем. Друг другу об этом сне рассказав и жертву в пещере у нимф принеся крылатому мальчику (имя его назвать они не умели), они со стадами питомцев своих посылают, всему их обучив: как нужно пасти до полудня; как снова стадо выгонять, когда спадет жар; когда к водопою водить, когда обратно в загон отводить; когда посох в ход пускать, а когда лишь прикрикнуть. А Дафнис и Хлоя обрадовались, словно важное дело им поручили, и своих коз и овец полюбили больше, чем у простых пастухов в обычае было: ведь она овец пасла, виновниц спасенья своего, он же помнил, что его, брошенного, коза вскормила.

9. То было начало весны, и все цветы расцвели — в лесах, в лугах, на горах. Уже воздух был полон жужжанием пчел, птицы звонко пели, прыгали, резвясь, рожденные недавно козлята и ягнята. Барашки скакали по холмам, пчелы жужжали в лугах, и птицы пеньем своим оглашали густые заросли. И так как все вокруг охвачено было радостью и весельем, Дафнис и Хлоя, юные, нежные, стали сами подражать тому, что слышали, тому, что видели: слыша пение птиц, сами пели; глядя, как прыгают овцы, и сами легко скакали; пчелам подражая, цветы собирали и на грудь за одежду себе их кидали или, веночки сплетая, их нимфам в дар посвящали.

10. И делали все они вместе, стада свои пася друг от друга неподалеку. И часто Дафнис пригонял овец, отбившихся от стада, часто и Хлоя сгоняла с крутых утесов слишком смелых коз. Бывало и так, что один из них сторожил оба стада, когда другой чересчур увлечется игрою. А игры были у них пастушьи, детские. Хлоя на болоте сбирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. А Дафнис, наре́зав тонких тростинок, узлы их колен проколов, одну с другою склеив мягким воском, до ночи учился играть на свирели. И вместе порою они пили молоко и вино, а еду, что с собой приносили из дома, делили друг с другом. И можно б скорее увидеть, что овцы и козы врозь пасутся, чем встретить порознь Дафниса с Хлоей.

11. И пока они так веселились, вот какую беду измыслил Эрот против них: неподалеку волчица кормила волчат и из соседних стад часто похищала добычу; ведь много пищи ей нужно было, чтобы волчат прокормить. Тогда поселяне, ночью сойдясь, вырыли ямы в сажень шириной, глубиною в четыре. Бо́льшую часть земли они раскидали, далеко от ямы убравши, а над ямой положили сухие длинные ветви и засыпали их остатком земли, чтоб месту придать прежний вид. Если бы даже заяц здесь пробежал, то и тогда б эти ветви сломались, ведь они были тоньше соломы; тут уж сразу бы стало понятно, что здесь не земля, а земли лишь подобье. Но хотя и вырыли много они таких ям по горам и равнинам, не пришлось им поймать волчицу: учуяла тотчас она, что в земле тут ловушка, а коз и овец погибло немало, да к тому же чуть-чуть не погиб и сам Дафнис. И вот как это случилось.

12. Два козла, придя в ярость от ревности, кинувшись друг на друга, вступили в бой. Столкнулись они так сильно, что у одного из них сломался рог; было ему больно, и, весь задрожав, он пустился бежать, а победитель, за ним гонясь, не давал ему передышки. Дафнису стало жалко, что сломался рог, и, рассердившись на дерзкого козла, схватил он свой посох и стал преследовать того, кто преследовал сам. И, конечно, ни козел убегавший, ни Дафнис, в гневе его догонявший, себе под ноги не смотрели, и оба падают в яму — первым козел, а за ним следом и Дафнис. Это Дафниса и спасло: при паденье козел опорой ему послужил, и вот он в слезах ожидал, не придет ли кто, чтоб наверх его вытащить. Хлоя увидела все, что случилось, помчалась к яме, узнала, что Дафнис жив, и на помощь с соседнего луга позвала пастуха, сторожившего быков. Придя, он стал искать длинной веревки, чтоб, за нее схватившись, наверх поднялся Дафнис из ямы. Но не случилось веревки под рукой. Тут Хлоя, развязав свою повязку, дает ее пастуху опустить к Дафнису в яму; и вот они, стоя на краю, его стали тянуть, а он, перехватывая повязку руками, выбрался наверх. Вытащить им удалось и козла злосчастного, оба рога сломавшего; вот какая настигла его кара за козла, им побежденного. Козла они пастуху подарили как дар за спасенье, чтоб он его в жертву принес, а домашним решили неправду сказать, придумав, что волки напали, если кто о нем спрашивать станет. Сами ж, вернувшись назад, осмотрели своих овец и коз. И, увидав, что козы и овцы пасутся спокойно, они уселись на ствол дуба и стали осматривать — в яму свалившись, не поранил ли себя Дафнис до крови. Но ни раны, ни крови на нем не было, только волосы и все тело были в земле и грязи. И они решили, что Дафнису надо обмыться, пока не узнали Ламон и Миртала о том, что случилось.

13. И, войдя вместе с Хлоей в пещеру нимф, он отдал Хлое стеречь свой хитон и сумку, а сам, став у ручья, принялся мыть свои кудри и все свое тело. Кудри у него были черные и густые, тело — загорелое, и можно было подумать, что тень от кудрей его делает смуглым. Хлое, глядевшей на него, Дафнис показался прекрасным, и так как впервые прекрасным он ей показался, то причиной его красоты она сочла купанье. Когда же она стала омывать ему спину, то его нежное тело легко поддавалось руке, так что не раз она украдкой к своему прикасалася телу, желая узнать, какое нежнее. Потом они стада свои

погнали домой — солнце было уже на закате, и Хлоя ничего уже больше с тех пор не желала, кроме как вновь увидать Дафниса купающимся. Утром, когда на луг они пришли, Дафнис, как обычно, севши под дубом, стал играть на свирели, а вместе с тем присматривал за козами, а они тихо лежали, словно внимая его напевам. А Хлоя, севши рядом, следила за стадом своих овец, но чаще на Дафниса глядела. И вновь, на свирели играя, прекрасным он ей показался, и опять она решила, что причина его красоты — это прелесть напева, так что, когда он кончил играть, она и сама взялась за свирель, надеясь, что, может быть, станет сама столь же прекрасной. Она убедила его опять купаться пойти, и вновь увидала его во время купанья, и, увидав, к нему прикоснулась, и ушла опять в восхищении, и восхищение это было началом любви. Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова «любовь». Томилась ее душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она что о Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала, о стаде своем не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала; лицо у нее то бледнело, то вспыхивало огнем. Меньше страдает телушка, когда ее овод ужалит. И раз, когда она осталась одна, вот какие слова пришли ей на ум:

14. «Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны; тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Вся я пылаю, даже когда сижу здесь, в тени. Сколько раз терновник царапал меня, и я не стонала, сколько раз пчелы меня жалили, а я от еды не отказывалась. Но то, что теперь мое сердце ужалило, много сильнее. Дафнис красив, но красивы и цветы, прекрасно звучит его свирель, но прекрасно поют и соловьи, а ведь о них я вовсе не думаю. О, если б сама я стала его свирелью, чтобы дыханье его в меня входило, или козочкой, чтобы пас он меня. О злой ручей! Ты только Дафниса сделал прекрасным, я же напрасно купалась в тебе. Гибну я, милые нимфы, и даже вы не даете спасенья девушке, вскормленной здесь на ваших глазах! Кто ж вас венками украсит, когда меня не станет, кто будет кормить моих бедных ягнят, кто будет ходить за моей цикадой болтливой? Ее я поймала, с большим трудом, чтобы возле пещеры меня усыпляла пеньем своим, но Дафнис теперь лишил меня сна, и напрасно поет цикада».

15. Так страдала она, так говорила, стараясь найти имя любви.

А пастух Доркон, который из ямы вытащил Дафниса, а с ним и козла, человек молодой, чей подбородок был первой бородкою опушен, познавший любовь и на деле уже, и по имени, внезапно с того самого дня почувствовал к Хлое влеченье, и чем больше дней протекало, тем сильней он сердцем распалялся; на Дафниса, как на мальчишку, он даже внимания не обращал, а Хлоей во что бы то ни стало овладеть решил подарками или силой. Сначала принес он им обоим подарки — ему пастушью свирель в девять колен, скрепленных не воском, а медью, а ей — шкуру лани, одежду вакханок, пятнистую, словно красками всю расписанную. С тех пор, считаясь уж другом, он мало-помалу небрежно к Дафнису стал относиться, а Хлое каждый день приносил или нежного сыру кусок, иль из цветов сплетенный венок, или рано созревший яблони плод; а один раз принес он ей теленка-сосунка, чашечку с золотым узором, птенцов горных птиц, а она, не искушенная в хитрых приемах любви, принимая эти подарки, рада была, а еще больше радовалась тому, что ими может порадовать Дафниса. Но так как и Дафнису пора уже было узнать, какие мученья любовь доставляет, то однажды спор у него с Дорконом возник, кто красивей, и судьей была выбрана Хлоя; наградой же было назначено: кто победит, тот Хлою целует. Первый Доркон стал говорить:

16. «Милая девушка! Ростом я Дафниса выше, я пасу быков, а он — коз, и настолько я лучше его, насколько быки лучше козлов; молока я белее, и кудри мои золотисты, как колос, поспевший для жатвы. Вскормила меня моя мать, а не зверь какой. А он — мал, безбород, словно женщина, и черен, как волк. Пасет он козлов, и от них отвратительный запах, а беден настолько, что пса не прокормит. Если, как говорят, его молоком вскормила коза, то чем же он лучше козленка?» Такие-то речи вел Доркон; после него Дафнис стал говорить: «Верно, меня, как и Зевса, вскормила коза; пасу я козлов, но они покрупнее быков в его стаде. Запах козлов ничуть ко мне не пристал: ну да, не пахнет же Пан, а ведь он настоящий козел. Хватает мне сыра с поджаренным хлебом и сладкого вина, все это — достаток богатых крестьян. Я безбород, но таков и Дионис; темна моя кожа, но темен и цвет гиацинта, а ведь Дионис повыше сатиров, и гиацинт лилий получше. А этот вот — рыжий, как лисица, с бородою козлиной, и бел, как горожанка.

И если тебе придется из нас одного целовать, у меня поцелуешь ты губы, у него же щетину. А затем не забудь, девушка милая: и тебя вскормила овца, а ты ведь красива».

17. Хлоя не стала уж более медлить, но, вспыхнув от радости, слыша его похвалу, да и сама давно желая Дафниса поцеловать, быстро вскочила и его подарила своим поцелуем — бесхитростным, безыскусным, но таким, что смог он всю душу его воспламенить. Огорченный, быстро ушел Доркон и другого пути стал искать для своей любви.

Дафнис же, будто его не поцелуем подарили, а укусили, тотчас сумрачным стал: часто вздрагивал он и сердца быстрые удары старался сдержать; хотелось ему на Хлою смотреть, а как взглянет — весь краской зальется. Тогда-то в первый он раз увидал с восхищеньем, что золотом кудри ее отливают и глаза у нее огромные, словно у телки, а лицо поистине молока его коз намного белей. Как будто тогда он впервые прозрел, а прежде будто вовсе не было глаз у него, до еды он почти не касался, а пил, если кто предлагал,— разве что по принужденью: лишь пригубливал. Стал молчалив тот, кто прежде болтливее был, чем цикады, вялым тот стал, кто раньше резвее был коз; перестал он за стадом смотреть, и свирель свою он забросил; пожелтело лицо у него, как трава, сожженная зноем. Об одной только Хлое были речи его. И если один без нее оставался, он так сам с собой, как в бреду, говорил:

18. «Что ж это сделал со мной Хлои поцелуй?

Губы ее нежнее роз, а уста ее слаще меда, поцелуй же ее пронзил меня больнее пчелиного жала. Часто я козлят целовал, целовал и щенят, и теленка, подарок Доркона, но ее поцелуй — что-то новое. Дух у меня захватило, сердце выскочить хочет, тает душа, и все же опять я хочу ее поцелуя. О, победа злосчастная, о, болезнь небывалая, имени даже ее я назвать не умею! Собираясь меня целовать, не отведала ль Хлоя сама какого-то зелья? Почему же она не погибла? Как поют соловьи, а свирель моя замолчала! Как весело скачут козлята, а я сижу недвижим! Как пышно цветы расцвели, а я венков не плету! Вон фиалки, вон гиацинт распустился, а Дафнис увял. Неужели Доркон станет скоро красивей меня?»

19. Так говоря, томился Дафнис прекрасный, ведь впервые вкусил он и дел и слов любовных.

Доркон же, пастух, в Хлою влюбленный, Дриаса подстерег, когда тот сажал молодые побеги виноградной лозы, к нему подошел с отборными сырами и преподнес ему в подарок, так как были друзьями они с тех пор, когда еще Дриас сам пас стада. Начав с этого, речь перевел он на брак свой с Хлоей: если женится он на ней, то сулит много ценных подарков, как подобает тому, кто пасет быков,— пару волов для пашни, четыре улья пчел молодых, полсотни яблонь, воловью кожу, чтобы подошв нарезать, и всякий год теленка, уже не сосунка. Дриас, польстившись на такие дары, чуть-чуть на брак не согласился. Но, сообразив, что девушка достойна жениха получше, и боясь непоправимую нажить беду, когда все раскроется, на брак он согласья не дал, прощенья просил и от всех подарков Доркона отказался.

20. Вторично потерпев крушенье своих надежд и загубив понапрасну свои прекрасные сыры, Доркон решил напасть на Хлою, когда она будет одна. И, выследив, что по очереди гоняют на водопой стада, один день Дафнис, другой же — девушка, хитрую придумал он хитрость, какая к лицу пастуху. Взял он шкуру волка огромного, которого бык запорол рогами, коров защищая; натянул он ее на себя, спустив по спине до пят; передними лапами он покрыл свои руки, задними — ноги до самых ступней, а голову — как воин шлемом, волчьей мордой с разинутой пастью покрыл. Перерядившись, насколько возможно, в дикого зверя, идет он к ручью, куда после пастьбы шли козы и овцы на водопой. В глубоком овраге был этот источник; все место вокруг него заросло диким акантом, шиповником, можжевельником, чертополохом и низкою ежевикою. В такой засаде легко бы скрылся и волк настоящий. Спрятавшись там, Доркон поджидал, когда наступит пора водопоя, и крепко надеялся, что в перепуге от страшного зрелища Хлоя легко попадет в его руки.

21. Прошло немного времени, и Хлоя погнала стада к ручью, покинув Дафниса,— он резал зеленые побеги на корм козлятам после пастьбы. Следом за нею шли собаки, овец и коз оберегая и, как всегда, принюхиваясь чутко; почуяв Доркона, который в кустах шевельнулся, готовясь на девушку ри-

нуться сразу, они с громким лаем бросились на него, словно на настоящего волка, и, окруживши его, прежде чем он от испуга успел приподняться, стали рвать волчью шкуру. Боясь позора, защищенный покрывавшей его шкурой, он молча сидел в засаде; когда же Хлоя перепугалась при первом взгляде на него и стала на помощь Дафниса звать, а собаки, стащивши с него волчью шкуру, впились ему в тело зубами, Доркон, громко закричав, стал умолять о помощи Хлою и Дафниса, уже прибежавшего сюда. Они, окликнув собак зовом привычным, сразу их угомонили, Доркона к ручью повели — бедра и плечи его были искусаны; раны от собачьих зубов промыли и смазали вяза зеленой корой, разжевавши ее. По своей неопытности в дерзких поступках любви, они сочли злой замысел Доркона с волчьей шкурой за пастушью шутку. Ничуть не рассердившись, они даже стали его утешать и, под руки взяв, с ним прошли часть пути и только тогда отпустили домой.

22. И вот Доркон, избегнув счастливо такой беды и спасшись, но не из волчьей пасти, как говорится в пословице, а из собачьей, стал залечивать раны свои. У Дафниса же с Хлоей в тот день было много хлопот — до самой ночи собирали они овец и коз; видом волчьей шкуры перепуганные, собачьим лаем растревоженные, одни из них в горы забежали, другие же вниз к самому морю сбежали. А ведь они были приучены голоса слушаться, свирели звуку подчиняясь, успокаиваться и, как хлопнут в ладоши,— вместе собираться. Но тогда страх заставил их забыть обо всем, и, с большим трудом разыскав их, как зайцев, по следам, загнали их Дафнис и Хлоя в загоны. Только этою ночью и спали они крепким сном, и усталость была им лекарством от любовной тоски. Но когда вновь день наступил, они опять стали все так же страдать: радовались — встретившись, расставшись — печалились; желали чего-то, но не знали, чего желают. Одно лишь знали они, что его погубил поцелуй, а ее — купанье в ручье.

23. Разжигала их и самая года пора. Был конец весны и лета начало, и было все в расцвете. Деревья в плодах, равнины в хлебах, нежное всюду цикад стрекотанье, плодов сладкое благоуханье, овечьих стад веселое блеянье. Можно было подумать, что самые реки сладостно пели, медленно воды катя, а ветры как будто на флейте играли, ветвями сосен шелестя; и яблоки, будто

в томленье любви, падали с веток на землю, и солнце — любя красоту — всех заставляло снимать одежды. И, распаленный всем этим, Дафнис в реки бросался; он то окунался, то за рыбами гонялся, игравшими возле него; и часто глотал он холодную воду, затушить как будто желая пылавший внутри пожар. Хлоя ж, выдоив овец и почти всех коз, немало времени тратила, чтоб заквасить молоко; очень уж ей мешали мухи противные и жалили, когда их отгоняли. Затем, вымыв лицо, она надевала венок из веток сосновых, и, накинув на бедра шкуру лани, чашу вином с молоком наполняла, и этот напиток с Дафнисом вместе пила.

24. Но вот близок был полдень, и время наступало, когда их глаза попадали в плен очарованья. Когда Хлоя Дафниса нагим видела, ее поражала его краса, и млела она, изъяна малейшего в его теле не замечая. Он же, видя ее одетой в шкуру лани и в сосновом венке, когда подавала она ему чашу, думал, что видит одну из нимф, обитавших в пещере. И вот похищал он сосновый венок с ее головы, сначала его целовал, потом на себя надевал; а она, когда, сняв одежды, омывался он в реке, надевала их на себя, тоже сперва их целуя. Иногда они друг в друга яблоки бросали и голову друг друга украшали, прибором волосы деля: Хлоя говорила, что волосы его похожи на ягоды мирта, так как темными были они, а Дафнис лицо ее сравнивал с яблоком, так как оно было и белым и румяным. Он учил ее играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель у нее и сам своими губами скользил по всем тростинкам. С виду казалось, что учил он ее, ошибку ее поправляя, на самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал.

25. Как-то раз в полуденную пору, когда он играл на свирели, а их стада в тени лежали, незаметно Хлоя заснула. Это подметив, Дафнис свирель свою отложил и ненасытным взором всею он ей любовался: ведь теперь ему нечего было стыдиться; и тихо он сам про себя говорил: «Как чудесно глаза ее спят, как сладко уста ее дышат! Ни у яблок, ни у цветущих кустов нет аромата такого! Но целовать ее я боюсь; поцелуй ее ранит сердце и, как мед молодой, в безумье ввергает. Да и боюсь поцелуем своим ее разбудить. Ах, уж эти болтуны-кузнечики! Громким своим стрекотаньем они ей спать не дадут, а вот и козлы стучат рогами, вступивши в бой; о волки, трусливей лисиц! Чего вы их до сих пор не похитили?»

26. Когда он так говорил, кузнечик, спасаясь от ласточки, вознамерившейся его поймать, вскочил к Хлое на грудь, а ласточка, преследуя его, схватить не смогла, но, гонясь за ним, близко так пролетела, что крыльями щеку Хлои задела. Она же, не понимая, что случилось, с громким криком пробудилась от сна. Заметив же ласточку — все еще близко порхавшую — и видя, что Дафнис смеется над испугом ее, она успокоилась и стала глаза протирать, все еще сонные. Тут кузнечик в складках одежды на груди у Хлои запел, как будто благодарность за спасенье свое приносил. И вновь громко вскрикнула Хлоя, а Дафнис опять засмеялся. И под этим предлогом руки на грудь он ей положил и кузнечика милого вынул; он даже в руке у него петь продолжал. Увидевши его, обрадовалась Хлоя, на ладонь его взяла, поцеловала и вновь у себя на груди укрыла, а кузнечик все пел.

27. А однажды порадовала их сизая голубка, проворковав в лесу свою пастушью песню; и когда Хлоя узнать захотела, что же такое она говорит, Дафнис ей рассказал всем известную сказку:

«Была она девой, о дева, такой же, как ты, красивой. В лесу пасла она стадо большое коров. Была она певуньей, и коровы любили пенье ее; и, пася, не била она их посохом, не колола заостренным шестом, но, сидя под сосной и надевши венок из сосновых ветвей, песни пела в честь Пана и Питии, и, звуком песен очарованные, не отходили от нее далеко коровы. А поблизости быков пас мальчик-пастух. И сам был он красив и такой же певун, как и девушка. И, заспорив с ней, кто красивей поет, он своим голосом, сильным, как у мужчины, и нежным, как у ребенка, переманил у нее в свое стадо лучших восемь коров и угнал их. Огорченная ущербом в стаде и пораженьем в пении, стала девушка молить богов, чтоб дали ей лучше птицей обернуться, чем домой вернуться. Боги исполнили просьбу ее и в птицу ее обратили, как и она, в горах живущую, и такую ж, как она, певунью. И доныне песнею повествует она о несчастье своем, говоря, что все ищет своих коров заблудившихся».

28. Такие-то им радости лето давало. Когда же осень была в полном своем расцвете и грозди винограда созрели, тирийские пираты на легком судне карийском (чтобы за варваров их не признали) причалили к этим местам. Выйдя на берег, в полукирасах, с короткими мечами, грабя, забирали они все, что

под руку им попадалось: душистое вино, зерно без меры и счета, мед в сотах. Угнали и нескольких быков из стада Доркона, захватили и Дафниса, бродившего около моря; Хлоя же попозже выгоняла овец Дриаса: боялась девушка пастухов озорных. Увидав мальчика статного, красивого, более ценного, чем все, что они награбили на полях, не стали разбойники тратить усилий, загоняя коз или добывая какую иную добычу с полей, а потащили его на корабль, рыдавшего в отчаянии, громко звавшего Хлою. Они же, быстро причальный канат отвязав и налегши руками на весла, уже уходили в открытое море. А Хлоя гнала в это время своих овец, в подарок Дафнису неся новую свирель. Видя коз перепуганных и слыша, что Дафнис ее все громче и громче кличет, она и овец забыла, и свирель бросила, и бегом кинулась к Доркону на помощь его позвать.

29. Он же лежал, разбойниками страшно израненный, и едва дышал, кровью обливаясь. Увидел он Хлою и, на минуту вспыхнув пламенем прежней любви, к ней обратился.

«Скоро, Хлоя,— сказал он,— уже не будет меня в живых. Злодеи-разбойники эти, когда за быков я сражался, меня самого, словно быка, убили. Ты же и Дафниса спасешь, и за меня отомстишь, и их погубишь. Приучил я быков слушаться зова свирели и бежать на звуки ее, даже когда далеко пасутся они. Возьми же скорее эту свирель и заиграй на ней тот напев, которому некогда Дафниса я научил, а Дафнис тебя, а что выйдет — это уж дело свирели моей и быков,— там они, вдалеке. Дарю тебе эту свирель; в состязаниях многих я с ней побеждал пастухов, что пасут и быков и коз, а ты, пока жив я еще, меня поцелуй, а умру — слезу пролей. И если увидишь другого, который быков моих будет пасти, обо мне вспомяни».

30. Так сказав, Доркон поцеловал ее прощальным поцелуем, и вместе с тем поцелуем и с такими его словами душа его отлетела. Хлоя же, взявши свирель и ее к губам приложивши, стала играть так громко, как только могла; и вот звуки свирели слышат быки и знакомый напев узнают, и все вместе, с мычаньем, в едином порыве бросаются в море.

Сильно накренился корабль от такого толчка в одну сторону, расступилась глубь морская под тяжестью спрыгнувших в воду быков, перевернулся корабль и погиб в сомкнувшейся пучине. Все, кто был на том корабле, бросились в воду, но

надежда спастись не у всех была одинакова. Ведь разбойники были мечом опоясаны, в чешуйчатые полупанцири затянуты, а голени до половины наколенниками стиснуты. Дафнис же был босой — ведь стадо он пас на лугу, и полунагой — ведь время еще было жаркое. Недолго пришлось им поплавать, скоро на дно увлекла их тяжесть оружия; а Дафнис свою одежду скинул легко, но трудно было ему вначале плыть, так как раньше плавал он только в реках; но потом нужда научила его, что ему делать. Кинувшись вперед, оказался он между быками, и, схватив обеими руками двух быков за рога, без труда и забот он поехал, как будто погоняя упряжку. Ведь плавает бык, как не может плыть человек: лишь птицам он водяным да рыбам еще уступает. И, плавая, бык никогда не погибнет, да только, насквозь промокший, спадает рог с копыт у него. И даже сегодня много мест на морях правду слов моих подтверждают — те, что зовутся «Боспорами».

31. Таким-то образом спасся Дафнис, вопреки всякой надежде избегнув двух опасностей сразу: и от разбойников он ускользнул, и в море не потонул. Выйдя на берег, он Хлою нашел: она и смеялась и плакала разом. Бросившись ей на грудь, он спрашивать стал, с какой целью она на свирели играла? А она ему все рассказала: как она кинулась к Доркону; к чему были быки приучены; как было велено ей на свирели играть и о том, что умер Доркон; только, застыдясь, о своем поцелуе ничего не сказала; и решили они почтить своего благодетеля: вместе с его родными пошли хоронить Доркона несчастного. Высокий холм над ним они насыпали, много растений из своих садов они посадили и начатки от трудов своих каждый в честь его на них повесил; а затем молоко над могилою пролили, виноградные грозди раздавили и много свирелей разбили. Слышно здесь было и быков мычанье жалобное, и можно было увидеть, как в беспорядке, мыча, метались они, и среди пастухов, пасших коз и овец, пошел разговор, что это плач был быков по пастухе своем умершем.

32. Схоронивши Доркона, омывает Дафниса Хлоя, к нимфам его приведя и в пещеру его введя. И сама впервые тогда обмыла тело свое на глазах у Дафниса, белое, чистое в красоте своей и не нуждавшееся даже в омовении, чтоб быть прекрасным; а затем, собравши цветы, что цвели той порою, увенчали

они венками статуи нимф, а Доркона свирель прикрепили к скале в дар богам. А после этого пошли они на коз своих и овец посмотреть. Все они смирно лежали, не паслись, не блеяли, но, думаю я, не видя Дафниса с Хлоей, о них тосковали. Когда ж они показались, и раздался обычный их зов, и на свирели они заиграли, овцы тотчас же поднялись и стали пастись, а козы запрыгали, зафыркали, словно радуясь спасенью своего пастуха. А вот Дафнис не мог заставить себя быть веселым, увидав Хлою нагой и красу ее, прежде сокрытую, открытой; заболело сердце его, будто яд какой-то его снедал: то дышал он часто и скоро, как будто кто гнался за ним, то задыхался, как будто все силы свои истощил уже в беге. Казалось, в ручье купанье было для него страшнее, чем в море крушенье; думал он, что душа его все еще остается во власти разбойников, был ведь он молод и простодушен и не знал еще, что за разбойник — любовь.

1. Уже осенняя пора достигла полного расцвета, наступило время сбора винограда, и все в полях принялись за работу: кто точила чинил, кто бочки очищал, а кто корзины сплетал; иной хлопотал о коротких серпах, чтоб срезáть виноградные грозди, иной — о камне, чтоб давить из гроздей сок, иной рубил сучья сухие, чтобы можно их было ночью зажечь и при огне переносить молодое вино.

Забыв своих коз и овец, Дафнис и Хлоя пришли им на помощь и тоже руки к делу приложили: Дафнис в корзинах таскал виноградные грозди, в точила бросая, давил и по бочкам вино разливал; Хлоя готовила пищу тем, кто виноград собирал, им для питья наливала вино прошлогоднее и обрезала низко растущие грозди: ведь на Лесбосе весь виноград — низкорослый, не тянется кверху, по ветвям деревьев не вьется; но низко стелются лозы и, как плющ, ползут по земле; даже ребенку, чьи от пеленок руки только что стали свободны, легко до гроздей дотянуться.

2. Как бывает всегда на празднике Диониса, когда родится вино, женщины, с окрестных полей приглашенные в помощь, на Дафниса поглядывали и похваливали его красоту, говоря, будто подобен он Дионису: а из более смелых иная Дафниса и целовала и этим его волновала, Хлою же сильно огорчала. Мужчины же, на точилах работавшие, с Хлоей заигрывали; как сатиры перед вакханкой, они скакали, словно обезумев, и клялись,

что готовы сделаться овцами, лишь бы она их пасла; и тут уж она веселилась, а Дафнис огорчался. И оба они с нетерпением ждали, чтоб поскорее кончился сбор винограда и они бы вернулись к привычным местам и вместо буйного крика слушали звуки свирели, блеяние коз и овец. Когда ж через несколько дней был уже собран весь виноград, бочки вином молодым налиты и уж не было больше нужды в таком множестве рук, вновь Дафнис и Хлоя погнали свои стада на луга. Полные радости, они преклонились перед нимфами, им в дар принеся виноградные грозди на лозах, сбора начатки. И в прежнее время ни разу не проходили они мимо нимф без внимания: всегда, пастьбу начиная, к ним с мольбой обращались, и, с пастьбы возвращаясь, перед ними они преклонялись. И всегда им что-нибудь в дар приносили: или цветок, или плод, или зеленую ветвь, или молоком возлиянье совершали. За это потом были они с избытком богинями вознаграждены. Тогда же, словно щенята, спущенные с цепи, они прыгали, на свирели играли, песни распевали, с козлами, с баранами бодались.

3. Когда они так веселились, предстал перед ними старик, в козью шкуру одетый, в грубые сандалии обутый; на боку у него висела сума, да и та была старая. Подсевши к ним, так он сказал: «Я старый Филет, дети мои; много я в прежнее время этим нимфам песен певал, много я на свирели этому Пану играл, и одной только песней своею управлял я стадом большим быков. Пришел же я к вам, что видал — рассказать, что слыхал — передать. Есть сад у меня: своими руками растил я его с тех пор, как по старости лет стада пасти перестал. И все, что приносит каждая года пора, все есть в саду у меня на каждую пору года: весною розы, лилии, гиацинты, фиалки обоих сортов; летом маки, груши и яблоки всякого рода; а теперь виноград, фиги, гранаты и мирт зеленый. С самого раннего утра в мой сад прилетают целыми стаями птицы; одни клюют, другие поют. Густой он, тенистый, три ручейка его орошают, и, если б убрать загородку из терна, можно подумать, что роща перед тобою.

4. Сегодня в полдень вошел я в него и вижу: под гранатовыми и миртовыми деревьями с гранатами и миртовыми ягодами в руках мальчик, белый, как молоко, златокудрый, как огонь, блестящий, как будто только что он омылся; был он

нагой и совсем один; шалил он, обрывая плоды, как будто этот сад — его. Кинулся я к нему, чтоб схватить, боясь, как бы задорный тот баловник не сломал моих миртов и гранат; но он проворно и легко ускользал от меня: то за кустами роз, то в маках он прятался, словно птенчик куропатки. А ведь прежде мне приходилось частенько козлят молодых догонять, не раз до устали гоняться за телком-сосунком; но это хитрое было созданье и неуловимое. Устал я — ведь я уж старик,— оперся на посох и стал сторожить, как бы он не убежал; и спросил я его, чей он и зачем чужой сад обирает. Он ничего не ответил мне, но, встав неподалеку, засмеялся, нежно так, и бросать стал в меня миртовыми ягодами, и, сам не знаю я как, заворожил он меня, так что сердиться я уж не мог. Стал просить я его, чтобы меня перестал он бояться и дался мне в руки, и своими я миртами клялся, что его отпущу, давши ему на дорогу гранат и яблок, что позволю ему всегда рвать и плоды, собирать и цветы, если только хоть раз он меня поцелует.

5. Тогда звонко он засмеялся, и голос его был такой, какого нет ни у ласточек, ни у соловья, ни у лебедя, даже если лебедь такой же старый, как я. «Не трудно мне, Филет, тебя поцеловать. Ведь целоваться хочу я больше, чем ты — стать снова юным; но посмотри, по возрасту ль тебе такой подарок: ведь старость твоя от погони за мной тебя не удержит, стоит лишь тебе получить этот единственный мой поцелуй. Но меня не поймать ни ястребу, ни орлу, ни другой какой птице, даже более еще быстролетной, чем эти. И я вовсе не мальчик, и если я мальчиком с виду кажусь, то на самом деле я Кроноса старше и всех его веков. И тебя я уж знал, когда ты еще в юности ранней пас вон там, на горе, свое стадо быков, широко бредущее. Был я с тобой и тогда, когда ты играл на свирели возле тех дубов, влюбленный в Амариллис; но ты меня не видал, хотя стоял я рядом с девушкой. Это я ее отдал тебе; и вот выросли у тебя сыновья — отличные пастухи и пахари. А теперь Дафниса с Хлоей я пасу, и когда ранним утром сведу я их вместе, иду я в твой сад, наслаждаюсь цветами, плодами и моюсь вот в этих ручьях. Потому-то прекрасны цветы и плоды у тебя: ведь там, где я омываюсь, пьют воду они. Смотри, нет у тебя ни дерева сломанного, ни плода сорванного, ни корня цветов затоптанного, ни ручья замутившегося: и радуйся, что из смертных один ты, на старости лет, узрел такое дитя».

6. Сказавши это, вспорхнул молодым соловьем он на мирты и, с сучка на сучок, сквозь листья добрался до самой вершины; у него за плечами я крылья увидел, а между плечами и крыльями — маленький лук и колчан; и вот уже нет ничего — ни лука, ни его самого.

И если не напрасно голова моя побелела и если от старости разум мой еще не ослаб, посвящены вы, о дети, Эроту, и Эрот о вас заботу несет».

7. Очарованы были они, как будто слушали сказку, а не правдивый рассказ. И расспрашивать стали его: что такое Эрот? Ребенок ли это иль птица и в чем его сила? И сказал им на это Филет: «Бог это, дети, Эрот,— юный, прекрасный, крылатый; потому-то он юности радуется, за красотою гоняется и души окрыляет. Такова его мощь, что и Зевсу с ним не сравняться. Царит он над стихиями, царит над светилами, царит над такими же, как сам он, богами,— такой власти вы не имеете даже над своими козами и овцами. Цветы эти — дело рук Эрота; деревья эти — его созданье. По воле его и реки струятся, и ветры шумят. Видал я быка, охваченного страстью,— словно оводом ужаленный, он ревел; видал и козла, в козу влюбленного: всюду за нею он следовал. И сам я был молод и любил Амариллис; тогда и о пище я забывал, и питья не принимал, и сна не знал. Страдал душою; сердце трепетало, тело холодало; то, как избитый, стонал; то, как мертвый, молчал; то, как палимый огнем, в реки кидался. Звал я на помощь и Пана,— ведь и сам он в Питию был влюблен,— Эхо прославлял за то, что вместе со мною имя моей Амариллис она повторяет. Я свирели свои разбивал за то, что коров моих они чаруют, а Амариллис ко мне не влекут. Нет от Эрота лекарства ни в питье, ни в еде, ни в заговорах, разве только одно — поцелуи, объятья, да еще — нагими телами друг к другу прижавшись, лежать».

8. Дав им такие наставленья, уходит Филет, получив в подарок сыры и козленка, уже рогатого. Они же, оставшись одни и впервые тогда услыхавши имя Эрота, опечалились и ночью, вернувшись домой в свои дворы, стали сравнивать то, что слыхали, с тем, что сами они переносят... Страдают влюбленные — и мы страдаем. Забывают о пище — мы уж давно о ней забыли; не могут спать — это и нам сейчас терпеть приходится. Кажется им, что горят,— и нас пожирает пламя. Хотят друг друга

видеть,— потому-то и мы молимся, чтобы поскорее день наступил. Пожалуй, это и есть любовь; и мы, не зная того, друг друга любим. Если это не любовь и если не любят меня, то чего ж мы тогда мучимся, чего друг к другу стремимся? Все верно сказал Филет. Ведь это дитя из сада явилось некогда во сне нашим отцам и им приказало, чтоб стада мы пасли. Но как его поймать? Мал ведь он и легко убежит. А как от него убежать? Крылья есть у него, и он тотчас настигнет. К нимфам прибегнуть за помощью надо. Но ведь Пан Филету, в Амариллис влюбленному, все ж не помог. Значит, надо прибегнуть к тем лекарствам, что он указал: целоваться, обниматься и нагими вместе лежать на земле. Правда, теперь уже холодно, но потерпим,— ведь и Филету терпеть приходилось.

9. Так для них эта ночь стала школой. А когда они, с наступлением дня выгнав стада на пастбища, увидали друг друга, то поцеловались и, чего никогда раньше не делали, обнялись крепко, руками сплетаясь, но третье средство применить не решились,— снявши одежды, на землю лечь. Слишком уж смелым оно показалось не только девушке скромной, но даже юному козопасу.

И вновь бессонная ночь пришла, с мыслями о том, что сделано, с упреками за то, чего не исполнили. «Целовались мы — и без пользы; обнимались — лучше не стало. Так, значит, лечь вместе — одно лишь лекарство от любви. Испробуем и его: верно, в нем будет что-то посильней поцелуев».

10. Думая так, и в снах своих, как бывает всегда, они видели ласки любовные, поцелуи, объятия; и то, чего не выполнили днем, то ночью во сне выполняли: нагие, друг друга обнявши, лежали. И все более подпадая под власть этого бога, с наступлением дня они вставали и гнали со свистом стада свои, стремясь поскорей к поцелуям; и, увидавши друг друга, с улыбкой друг к другу бежали. Были тут поцелуи, а потом и объятия; лишь с третьим лекарством еще медлили они. Дафнис сказать о нем не решался, Хлоя первой начать не хотела. Но случай счастливый и это им сделать помог.

11. Сидя возле дубового пня, друг к другу прижавшись и вкушая сладость поцелуев, они упивались наслажденьем. Были также объятья, дающие крепче устами к устам прижиматься.

И когда средь объятий привлек к себе Дафнис Хлою сильнее, склонилась Хлоя на бок. И он склоняется следом за нею, потерять не желая ее поцелуя. И в этом узнав то, что во сне им являлось, долгое время они вместе лежали, как будто их крепко кто-то связал. Но, не зная, что надо делать затем, и считая, что это предел наслаждений любовных, они, бóльшую часть того дня бесполезно потратив, расстались и погнали свои стада назад, ночь проклиная. И, может быть, немного спустя они совершили б что надо, если бы вот какое смятенье не постигло все те края.

12. Несколько богатых юношей из Метимны, желая приятно время сбора винограда провести и повеселиться за городом, маленький корабль снарядили, слуг на место гребцов посадили и поплыли мимо полей митиленских, которые были ближайшими к морю. Изобилует здесь берег морской заливами, богато украшен зданиями; сплошь идут купальни, сады и рощи; одно создала природа, другое — искусство людей; все же вместе было прекрасным местом для увеселений. Плывя вдоль берега и причаливая то тут, то там, они никому зла не причиняли, а веселились, как только могли. То, привязав на тонкой льняной леске к длинным тростинкам крючки, со скалы, полого спускавшейся к морю, рыб удили, что водились меж камней; то сетями или собаками зайцев ловили, бегущих от шума работ в виноградниках. Занимались они и ловлей птиц и брали силками диких гусей, уток и дроф; так что их забавы доставляли им и пользу большую. Если ж чего не хватало, брали у местных жителей, платя им больше цены настоящей. А нужны им были только хлеб, вино да ночлег; осень уже наступала, и они для себя не считали вполне безопасным на море ночь проводить. И корабль свой на берег вытаскивали, ночью бури боясь.

13. И вот кто-то из местных крестьян, нуждаясь в веревке, чтоб камень поднять, который грузом лежал на виноградных гроздьях, уже растоптанных в точиле (старая его веревка истерлась),— тайком пробрался на берег моря, подошел к кораблю, без охраны стоявшему, отвязал канат, отнес его домой и на что хотел, на то и использовал его. Наутро юноши из Метимны взялись за розыски каната, и так как никто не хотел в воровстве сознаваться, малость побранив своих хозяев, поплыли дальше. И, продвинувшись стадий на тридцать, они причалили недалеко от тех лугов, где жили Дафнис и Хлоя; эта равнина

им показалась подходящей для охоты на зайцев. Но веревки у них не было, чтоб корабль на причал поставить. Тогда они, свивши зеленую длинную лозу в виде веревки, за край кормы корабль привязали. Затем, спустивши собак, чтобы выследить дичь, они расставили сети на тех тропках, которые им показались для этого больше всего подходящими. И вот их собаки, с громким лаем повсюду разбежавшись, перепугали коз, которые, покинув горные луга, побежали к морю. Но здесь, на голом песке ничего не найдя, что бы им пощипать, те из них, что были посмелей, к кораблю подойдя, съели зеленую лозу, которой был корабль привязан.

14. А море было неспокойно, так как с гор потянул ветерок. И вот скоро волна за волной, набегая прибоем, подняли корабль, стоявший без привязи, и в открытое море его унесли. Когда заметили это метимнейские гости, одни бросились к морю бежать, другие — собак собирать. И так громко они кричали, что и все, кто был по соседству в полях, услыхавши, сбежались. Но ничем помочь нельзя было: ветер крепчал, корабль быстро и неудержимо уносило течением. Лишившись немалых богатств, метимнейцы стали искать, кто же пас этих коз. И, найдя Дафниса, стали его бить и срывать с него одежду. Один из них, взявши собачий поводок, загнул Дафнису за спину руки, как будто готовясь его связать. А Дафнис кричал, когда его избивали, молил поселян о защите и прежде всего звал на помощь себе Ламона с Дриасом. А они, хоть и старики, но крепкие, с сильными руками, привычными к полевым работам, сумели дать отпор и стали требовать, чтобы по справедливости разобрались в том, что случилось.

15. Так как этого же хотели и противники их, то судьей выбирают Филета, пасшего быков: старейшим он был из находившихся здесь и славился среди поселян своей справедливостью редкой. Первыми выступили тут метимнейцы, с обвинением ясным и кратким — ведь судьею у них был простой пастух: «Прибыли мы в эти места поохотиться. Привязавши корабль зеленой лозою, его оставили мы у морского берега, а сами пустили собак отыскивать дичь. В это время к морю пришли козы этого вот человека, привязь сожрали и корабль упустили. Видел ты сам, как его уносило в море... А сколько на нем, как ты думаешь, было богатств? Сколько одежд пропало, сколько красивых

уборов для псов, сколько денег! Все эти ваши поля можно было б купить! И, взамен всего этого, мы считаем, что имеем право увести его, так как он — никуда не годный пастух: у берега моря пасет он своих коз, будто он мореход!»

16. Вот какую обвинительную речь метимнейцы сказали.

Дафнис же после побоев чувствовал себя скверно, но, видя, что Хлоя находится тут, он все позабыл и ответил так: «Пасу я коз хорошо; никогда и никто из соседних крестьян не жаловался, что хоть одна моя коза его сад потравила иль ростки винограда попортила. А вот эти — действительно горе-охотники, и собаки у них плохо обучены: всюду носясь бешено, лая яростно, с гор и полей они, словно волки, к морю всех коз согнали. Говорят, что козы мои лозу сожрали; конечно, ведь на голом песке они не нашли ни травы, ни земляничных кустов, ни тмина. А корабль погубили ветер и море: это бури вина, а не коз моих. Говорят, что были на нем дорогие одежды и деньги. Но кто ж, имея хоть каплю разума, поверит, что корабль с дорогим таким грузом был привязан лозою вместо каната?»

17. Сказав такие слова, Дафнис заплакал и разжалобил всех поселян, так что Филет, судья, сам поклялся именем Пана и нимф, что ни Дафнис ни в чем не повинен, ни козы; виновны море и ветер, а над ними судьи — другие. Но не убедил Филет метимнейцев такими речами, и, в гневе на Дафниса бросившись снова, они схватили его и хотели связать.

Но тут поселяне, взбешенные, набросились сами на них, как стая скворцов или галок. Они мигом вырывают из их рук Дафниса — да он и сам отбивался — и, колотя их палками, быстро обращают в бегство; и только тогда поселяне отстали от них, когда выгнали из пределов своих на чужие поля.

18. А пока они гнали метимнейцев, Хлоя тихонько Дафниса ведет к нимфам, умывает ему лицо, все залитое кровью из разбитого носа; вынув из сумки ломоть хлеба и сыра кусок, дает ему есть и — что особенно должно было его приободрить — своими нежными губами целует его поцелуем сладким, как мед.

В Б

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

19. Так вот какой беды избег тогда Дафнис.

Но дело на этом не кончилось: едва метимнейцы с трудом вернулись в город к себе пешком, а не по морю, израненные, а не ликующие, тотчас созвали они граждан на собранье и явились с мольбой, умоляя за них отомстить; они не сказали ни слова правды, чтоб над ними не вздумали издеваться за то, что столько позора им пришлось испытать от простых пастухов; напротив, они стали обвинять граждан Митилены, что те корабль их отняли и, как будто на войне, добро их разграбили. Граждане, видя их раны, поверили им и сочли справедливым отомстить за юношей самых знатных у них домов. Потому они решили без предупрежденья начать войну с Митиленой и приказали военачальнику спустить на воду десяток судов и, совершивши налет, разграбить все побережье. Так как зима приближалась, доверить морю больший флот было небезопасно.

20. С наступлением дня посадив солдат за весла, военачальник вышел в открытое море и сделал набег на прибрежные поля митиленцев. И много скота, много зерна и вина он награбил, так как только недавно кончился сбор винограда; немало забрал и людей, которые там над всем этим трудились. Подплыл он также и к тем местам, где были Хлоя и Дафнис, и, быстро высадившись, стал угонять добычу, какая ему подвернулась.

Дафнис в то время не пас своих коз, а резал в лесу зеленые ветки, чтобы зимою кормить козлят; с высоты увидавши этот набег, спрятался он в дупле бука сухого, а Хлоя у стад своих оставалась; спасаясь от погони, бежит она к нимфам, врагов умоляя ради богинь ее пощадить и тех, кого она пасет. Но все было напрасно. Поиздевавшись над статуями богинь, метимнейцы погнали стада и Хлою с собой увели, подхлестывая, словно козу иль овцу, хворостиной.

21. Наполнив все корабли награбленной разной добычей, они решили дальше не плыть, а пустились в обратный путь, боясь и зимних бурь, и врагов. И вот они плыли назад, с трудом налегая на весла, так как не было ветра. А Дафнис, когда кругом стало тихо, пришел на равнину, где пасли они с Хлоей; ни коз он не увидел, ни на овец не набрел, ни Хлои не нашел — а нашел молчание и тишь повсюду да сломанную свирель, кото-

рой любила Хлоя забавляться. С громким криком и жалобными воплями кидался он то к буку, где они сиживали, то к морю, надеясь ее там увидеть, то к нимфам, к которым она прибежала, когда враги гнались за ней. Тут он бросился на землю и стал нимф упрекать за то, что они предали их.

22. «От ваших статуй Хлоя похищена, и вы могли безучастно на это смотреть? Она, которая вам венки плела, первый удой молока возливала, чья свирель здесь висит, вам посвященная. Ни одной козы волк у меня не похитил, а враги угнали все стадо и ту, что со мною вместе пасла. Сдерут кожу с моих коз и в жертву овец принесут, а Хлоя теперь навсегда останется в городе жить. С какими глазами отцу-матери я покажусь, без коз, без Хлои, жалким бездельником? Ведь пасти мне уж больше нечего! Не сойду я с этого места и буду ждать либо смерти, либо нового набега. Так же ль и ты, Хлоя, страдаешь? Вспоминаешь ли эту равнину, этих нимф и меня? Иль утешают овцы и козы тебя, ставшие пленницами вместе с тобою?»

23. Так он говорил; и от слез и от горя охватил его глубокий сон; и во сне предстали пред ним три нимфы, три прекрасные жены высокого роста, полунагие, босые, с распущенными волосами, точь-в-точь как на статуях. Сначала они, казалось, с состраданием взглянули на Дафниса; затем же из них старейшая, ободряя его, так ему говорит: «Не сетуй, Дафнис, на нас. Больше тебя о Хлое заботимся мы; ведь это мы над ней сжалились, над младенцем беспомощным, здесь в пещере лежащую вскормили. Ведь нет у нее ничего общего ни с овцами Дриаса, ни с лугами этими. И сейчас о ее судьбе мы уже позаботились: так что не будет она для рабской доли в Метимну доставлена, не станет частью военной добычи. Вон того Пана, что здесь под сосною поставлен, которого вы никогда не почтили даже цветов приношением, мы упросили прийти Хлое на помощь. Больше, чем мы, привык он к походам и немало повоевал, покидая деревенские поля. И ушел уже он, метимнейцам не легкий враг. Итак, ни о чем не печалься. Встав, покажись на глаза Ламону с Мирталой; ведь они, как и ты, от горя на земле, распростершись, лежат, думая, что и ты стал добычей врагов. Завтра вернется к тебе Хлоя с козами, с овцами, и будете стада вы вместе пасти и на свирели вместе играть. Все остальное — дело Эрота, он о вас позаботится».

24. Увидав и услышав все это, Дафнис быстро вскочил, стряхнув сон; и, заливаясь слезами от радости и от горя, перед статуями нимф преклонился и дал обещанье, если Хлоя спасется, лучшую из коз в жертву им принести. Затем к сосне он бросился бегом: там статуя Пана стояла, козлоногого и рогатого; в одной руке свирель он держал, другою сдерживал козла на скаку. Дафнис и пред ним преклонился, умолял его Хлою спасти и дал обет принести ему в жертву козла. И лишь к солнца закату он перестал молиться и плакать; ветки, что нарезал, поднявши, вернулся домой, печаль Ламона и его близких разогнал и радостью их преисполнил, немного поел и быстро в сон погрузился, но и во сне плакал и молился, чтобы снова ему нимф увидеть, молился, чтоб день скорей наступил, в который обещано было ему возвращенье Хлои. Изо всех ночей эта показалась ему самой длинной. А за эту ночь вот что случилось.

25. Отплывши стадий с десяток, вождь метимнейский решил воинам дать отдохнуть, утомленным набегом. Заметивши мыс, выступавший далеко в море и словно серп месяца изогнутый, за которым воды спокойнее были, чем в любом заливе, он велел причалить сюда, корабли на якорь поставил подальше от берега так, чтоб ни на один с суши не могли напасть поселяне, и разрешил метимнейцам своим веселиться, как будто мир наступил. Вдоволь награбив всего, они стали и пить и играть, как бы справляя праздник победы. И только что кончился день и к ночи затихло веселье, как вдруг вся земля будто вспыхнула, послышались шумные весел удары, будто флот большой подплывал. Одни кричали: «К оружию!» — другие звали военачальника, иные считали себя уже ранеными, некоторые лежали замертво: казалось, что идет ночной бой, но врагов не было видно.

26. Так для них прошла эта ночь, и день наступил, еще более страшный, чем ночь. У коз и козлов Дафниса плющ на рогах появился с гроздьями ягод, а бараны и овцы Хлои стали выть волчьим воем, сама же она в венке из сосновых ветвей вдруг взорам явилась. И на море самом творилось много чудесного. Когда попытались со дна поднять якоря, оказалось, что сдвинуть их было нельзя; рукояти весел ломались, когда начинали грести, и, прыгая кверху из моря, дельфины ударами хвостов ослабляли крепления кораблей, а с вершины отвесной скалы

на мысу голос свирели был слышен; но не радовал слушавших он, как обычно звук свирели, страшен он был, как звук военной трубы. Все в смятенье пришли, к оружию бросились, вызывая на бой невидимых врагов, и, наконец, стали молиться, чтоб ночь пришла снова, надеясь, что наступит тогда передышка. Было ясно для всякого, кто разумно судил о совершавшемся, что призраки эти устрашающие и звуки — дело рук Пана, разгневавшегося за что-то на моряков; но причины понять они не могли — ведь ни единое Пана святилище не было ими разграблено. И вот среди дня, не без воли богов, в глубокий сон погружен был их вождь, и, явившись во сне, так сказал ему Пан:

27. «О преступнейшие, о безбожнейшие люди! На что вы, обезумев, дерзнули? Шумом войны вы наполнили область сельскую, милую мне, вы угнали стада и быков, и коз, и овец, о которых заботился я; от алтарей оторвали вы девушку, из которой Эрот хочет сказку любви создать, и не постыдились вы ни тех нимф, что глядели на вас, ни меня, самого Пана. Не видать вам Метимны, пока вы плывете с добычей такой; и не убежите вы от свирели моей, приводящей вас в трепет. Но в пищу рыбам отдам я вас, потопивши, если только как можно скорей не вернешь ты нимфам Хлою, а также и Хлои стада́, ее коз и овец. Встань же и высади на землю девушку со всем тем, что сказал я. Тогда я сам тебе по морю путь укажу, ее же домой провожу».

28. Сильно смущен был Бриаксис (так звали предводителя); поднявшись от сна и созвавши начальников всех кораблей, приказал им возможно скорее Хлою меж пленных найти. Они быстро ее нашли и к нему на глаза привели: ведь сидела она, увенчанная сосновыми ветвями.

Сочтя это верным указанием на то, что́ он видел во сне, он сам на своем корабле сопровождает Хлою до берега. И едва на землю ступила она, как вновь со скалы раздался звук свирели, уже не воинственный, не страшный, но пастушеский, под который стада на пастбища ведут. И овцы тотчас же сбежали по сходням судов, скользя своими раздвоенными копытцами, а козы побежали много смелей, лазать привыкши по кручам.

29. И Хлою они окружили, ставши в круг, словно хор, они скакали, блеяли и как будто радовались. А козы, овцы и быки других пастухов оставались спокойно на месте в глубине корабля, как будто песня свирели их не звала. Когда все, изумленьем охваченные, стали славить Пана, тогда и на земле и на море явились еще бóльшие чудеса. Корабли метимнейцев поплыли раньше, чем успели поднять якоря, корабль же вождя вел дельфин и скакал перед ним над водою. А коз и овец вел свирели сладостный звук, но того, кто играл на ней, не было видно нигде. Так всем стадом шли вместе и овцы и козы и паслись на ходу, наслаждаясь сладкою песнью свирели.

30. Было время, когда днем вторично гонят стада на пастбища; и Дафнис с высокой скалы увидел стада и Хлою и, громко воскликнув: «О нимфы и Пан!» — в долину сбежал, схватил Хлою в объятья и упал, потерявши сознание. Едва-едва удалось Хлое вернуть его к жизни; она его и целовала, и объятьями своими согревала. Потом пошел Дафнис к знакомому буку и, севши под ним, стал расспрашивать Хлою, как сумела она убежать от стольких врагов. Она ж ему все рассказала,— как плющ у коз рога обвивал, как овцы выли по-волчьи, как у ней самой в волосах из сосновых ветвей венок появился, как пошел по земле огонь, а по морю шум; как двоякою песнью пела свирель, то войну, то мир возвещая. О страшной той ночи все рассказала, и как, не зная дороги, шла она за напевом свирели, ведущим ее. Понял тогда Дафнис и сон, ему нимфами посланный, и деяния Пана, и сам рассказал, что видал, что слыхал: как он хотел умереть и как нимфы жизнь ему возвратили. Затем он ее отослал, чтоб она привела Дриаса, Ламона и их домочадцев и все принесла, что нужно для жертвоприношенья; а тем временем сам он, выбрав из коз наилучшую и увенчав ее венком из плюща,— ведь в таком убранстве перед врагами явилось все стадо,— и между рогами ее возлияние свершив молоком, принес ее в жертву нимфам; подвесив, шкуру с нее содрал и дар этот богиням посвятил.

31. Когда пришла Хлоя со всеми своими спутниками, то Дафнис разжег огонь и, часть мяса сварив, часть же изжарив, начатки в жертву нимфам принес, сделал из чаши, полной вином молодым, возлиянье, а затем настелил зелени для ложа, и начался пир, и питье, и веселье. Но в то же время присматри-

вал Дафнис за стадами, как бы волк, напавши на них, не сделал того, что думали сделать враги. Немало песен пелось в честь нимф, старых песен пастушьих.

Когда ночь наступила, все легли спать тут же на поле, а с наступлением дня не забыли Пана почтить и, украсив сосновым венком вожака всего козьего стада, его к сосне повели; и, сделав вином возлиянье, восхвалив бога, они принесли козла в жертву, подвесили и сняли шкуру с него; мясо, сварив и зажарив, тут же на лужайке на листья они положили; а шкуру вместе с рогами прибили к сосне у статуи Пана — пастуший дар пастушьему богу. Отложили для него и первые мяса куски и из кубка большего ему совершили возлиянье; песню пропела Хлоя, на свирели Дафнис сыграл.

32. А затем на ложа они возлегли и начали пир. Случайно к ним подошел пастух Филет: принес он Пану веночки и ветвь лозы виноградной с гроздьями, листьями и молодыми побегами. С ним шел из его сыновей самый младший, Титир, златокудрый, голубоглазый, белокожий и шаловливый; легко подпрыгивал он на ходу, словно козленок. Все разом поднялись и увенчали Пана, грозди лозы прикрепили к кудрявой сосне; рядом с собой усадивши, они пригласили пришедших участвовать в общем пире.

Когда старики захмелели, много, как это обычно бывает, рассказывать стали друг другу: как они стада пасли, когда молоды были, скольких разбойничьих набегов избежали; иной хвалился, что волка убил, другой — что игрой на свирели лишь Пану единому он уступал. Этим особенно хвастал Филет.

33. И вот Дафнис и Хлоя стали его умолять, чтобы он поделился с ними этим искусством и сыграл на свирели на празднике бога, который так любит свирель. Филет согласился, жалуясь, правда, на старость, что дух у него отнимает, и взял свирель Дафниса; но мала она оказалась для большого искусства его, а пригодна только для уст мальчика. Тогда он Титира послал за своею свирелью, а дом его отстоял стадий на десять. Сбросив свой плащ, нагой, бросился мальчик бежать, как лань молодая. А Ламон обещал тем временем им рассказать о Спринге преданье — то, что спел ему некогда один пастух сицилийский, в уплату свирель и козла получив.

34. «Некогда эта наша свирель была не свирелью, песни орудьем, а девой прекрасной с голосом нежным. Пасла она коз, с нимфами вместе играла и пела, как ныне поет. Раз, когда она стадо пасла, играла и пела, Пан, перед нею явившись, стал ее соблазнять, склоняя к тому, чего он хотел, и обещал ей за это, что все ее козы будут рожать по паре козляток зараз. Она же смеялась над страстью его, говоря, что не хочет она возлюбленным брать того, кто сам ни козел, ни человек настоящий.

Бросился Пан в погоню за ней, чтоб, поймав, силою ей овладеть. Спринга ж бегством спасалась от Пана и от насилья его; но, убегая, устала, и вот среди тростников она прячется и исчезает в болоте. Срéзал в гневе Пан тростники, девы же он не нашел, беду, что случилась с ней, понял и эту свирель изобрел, воском слепив тростинки неравные,— подобно тому как неравной любовь их была. И бывшая прежде девой прекрасной свирелью стала певучей».

35. Только что кончил рассказ свой Ламон и Филет его похвалил, говоря, что сказку он рассказал, которая слаще, чем песня, как Титир уже прибежал и отцу свирель принес, большую, с тростинками длинными, с воском на скрепах и в медном убранстве. Можно б подумать, что это была та свирель, которую создал Пан впервые. Поднявшись с ложа и прямо сев на сиденье, Филет сперва все тростинки проверил, хорошо ли по ним воздух проходит. А потом, убедившись, что нет для дыханья задержки, он, словно юноша, полною грудью в свирель начал дуть. И казалось, будто слышишь разом поющих несколько флейт: так звучно играла свирель. Понемногу силу снижая, он перешел к напевам понежнее. С великим искусством он показал, как следует стадо пасти под разный напев: как надо играть для стада коров, какие напевы подходят для коз, а под какие овцы охотно пасутся. Нежно играл для овец, громко для стада коров, резко для коз.

Так подражала одна и та же свирель разным свирелям.

36. Все, наслаждаясь, лежали в молчанье. Тогда встал Дриас, сыграть попросил Дионисов напев и стал пред ними плясать виноградарей пляску. И он показал, как виноградные грозди срезают, как корзины несут, как сок из гроздей выжимают, как по бочкам его разливают, как, наконец, вино молодое

пьют. И все так красиво и ясно пляскою Дриас изобразил, что казалось, перед глазами все это было — виноградные лозы, точило и бочки и будто вправду пил сам Дриас.

37. Этот третий старик, заслужив похвалу за пляску свою, Дафниса с Хлоей целует. Быстро вскочив, они пляскою изобразили всю сказку Ламона. Дафнис Пана роль представлял, Сиринги — Хлоя. Он умолял ее, соблазнял, она же смеялась, его отвергая. Он гнался за ней и бежал на кончиках пальцев,— точно как Пан на копытах. Она же, казалось, от бега уже утомилась. Затем срывается Хлоя в лесу, как будто в болоте. Дафнис же, взяв Филета большую свирель, заиграл песню плачевную, словно влюбленный, страстную, словно хотел убедить ее, призывную, словно ее он искал; и Филет, в восхищении, на ноги быстро поднявшись, стал его целовать и, целуя, ему подарил эту свирель, пожелав, чтоб и Дафнис оставил ее преемнику, столь же достойному.

38. Тогда свою небольшую свирель Дафнис в дар принес Пану; и, Хлою поцеловав, как будто в самом деле вновь нашел он ее после бегства, погнал стадо, играя на новой свирели,— ведь уже ночь надвигалась. Погнала и Хлоя своих овец, их собирая напевом свирели. И козы бежали с овцами рядом, и Дафнис шел близко от Хлои; и до самой ночи они наслаждались друг другом, решивши с рассветом пораньше выгнать стада. Как сказали они, так и сделали. Только лишь день забрезжил, пришли они на пастбище и тут обратились с приветом — к нимфам сначала, за ними и к Пану, потом же, под дубом усевшись, стали играть на свирели, потом — целовать, обнимать друг друга; обнявшись, легли, но, ничего не достигнув, снова поднялись; есть захотели и пили вино, смешавши его с молоком.

39. Разгорячившись всем этим и ставши смелее, друг с другом спор они завели, ссору любовную, и скоро до клятв в верности дошли. И Дафнис Паном поклялся, к его сосне подойдя, что ни единого дня не будет жить один он без Хлои, а Хлоя поклялась Дафнису,— нимф призвавши и войдя в их пещеру,— любя его, жить и умереть. И Хлоя, совсем еще девочка, так была простодушна, что, выйдя из пещеры, решила еще одну клятву взять с него. «Дафнис! — сказала она.— Пан твой —

влюбчивый бог и неверный: любил он Питию, любил он Сирингу. Вечно он пристает к дриадам лесным, не дает прохода нимфам, стада стерегущим. Сам он небрежно относится к клятвам и тебя наказать не подумает, если ты многих женщин будешь любить,— больше чем тростинок на свирели твоей. Лучше ты мне поклянись этим стадом и тою козой, что вскормила тебя, что Хлои ты не покинешь, пока она будет тебе верна. Если же она погрешит против тебя, против нимф, беги от нее, ее ненавидь и, как волка, убей».

Доволен был Дафнис ее недоверием, и, став среди козьего стада, одною рукой держась за козу, другой за козла, он клялся, что Хлою будет любить, пока она его любит; если ж другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее.

Она обрадовалась и поверила ему — ведь пастушкой была она и думала, что козы и овцы для них, пастухов, и есть настоящие боги.

1. Когда митиленцы узнали о набеге морском десяти кораблей и когда поселяне, пришедшие из деревень, им рассказали о случившихся там грабежах, митиленцы сочли, что подобную дерзость метимнейцев стерпеть невозможно, и решили со своей стороны возможно скорее взяться за оружие: отобрав три тысячи лучших гоплитов и пятьсот всадников, они послали их под начальством Гиппаса по суше, морского пути опасаясь в зимнее время.

2. Двинулся Гиппас в поход, но не стал ни полей метимнейских грабить, ни стада угонять, ни достоянье земледельцев и пастухов расхищать, полагая, что все это приличествует скорей разбойнику, чем военачальнику; быстро повел он свое войско против вражеского города, чтоб застать ворота его без охраны и напасть на него врасплох. Когда до города оставалось стадий около ста, войско встретил глашатай, просивший о мире. От пленных узнали метимнейцы, что неповинны митиленцы в случившемся, что поселяне и пастухи только наказали кучку зазнавшихся юношей; тогда в Метимне люди одумались, поняв, что нападение на город соседа было слишком дерзким и неразумным; вот почему они торопились, вернувши все, что награбили, вновь союз заключить, чтоб без страха встречаться и на земле и на море. Глашатая этого Гиппас, хоть и был избран полномочным вождем, все же послал в Митилену, а сам, лагерь разбив возле Метимны, стадиях в десяти, стал ожидать от своих

указанья. Прошло два дня, и вестник с приказом пришел: что было награблено, отобрать и, не чиня никакого вреда, домой вернуться. Когда митиленцам на выбор войну или мир предложили, они нашли, что мир для них выгодней.

3. Вот как война Митилены с Метимной, начавшаяся неожиданно, так же внезапно и окончилась.

Наступила зима, и была она для Дафниса с Хлоей горше самой войны. Внезапно выпал глубокий снег, завалил все дороги, а всех поселян запер в домах. Бурно потоки низвергались; льдом покрывшись, замерзала вода; деревья поникли, словно надломленные; под снегом скрылась земля и видна была только возле ключей и ручьев. Уже никто не гнал своих стад на пастбища, никто не показывал носа за дверь, но, разведя огонь, лишь только запоют петухи, одни лен прясть начинали, козью шерсть другие сучили, иные птичьи силки мастерили. В это время только одна забота была: в ясли мякины на корм быкам подложить, в стойла козам и овцам — веток с листвой, свиньям в закуты — разных сортов желудей.

4. Все поневоле дома сидели; землепашцы и пастухи — те были рады, что хоть на короткое время свободными стали они от трудов: по утрам хорошо они ели, долго и крепко спали, так что зима, на их взгляд, была куда слаще и лета, и осени, даже и самой весны. А вот Хлоя и Дафнис, вспоминая минувшие радости,— как они целовались, как обнимались, вместе как пили и ели,— теперь проводили печально бессонные ночи и ждали весенней поры, как ждут воскресенья из мертвых. Огорчались они, даже сумку увидя, когда под руку им попадалась: из нее ведь, бывало, вместе пищу они вынимали; или подойник,— ведь из него вместе пили; или свирель, без вниманья лежащую, дар любви. Нимфам молились они и Пану — их от этих мучений избавить просили и вновь показать и им, и стадам их горячее солнце. Но, молясь, в то же время они средство придумать старались, как бы вновь увидаться друг с другом. Но Хлоя вовсе выхода не видела, да и придумать ничего не могла: та, что считалась ей матерью, всегда была с нею, она учила ее чесать шерсть, крутить веретена и то и дело о свадьбе ей поминала. Дафнис же был свободен и на выдумки более ловок, чем девушка; потому он придумал хитрость такую, чтоб Хлою увидеть.

5. Перед двором Дриаса, у самого забора давно уж росли большие два мирта и плющ: мирты стояли близко один от другого, а между ними вился плющ; раскинув, как виноградная лоза, свои побеги на оба мирта, листвой своей густо сплетенной подобье пещеры он создал, и крупные ягоды, будто виноградные гроздь, висели на нем. Потому-то здесь собиралось много зимующих птиц,— ведь пищи им зимой не хватало; много тут было черных и серых дроздов, были дикие голуби, были скворцы и разные прочие птицы, что ягоды плюща любят клевать. Будто бы ради охоты на этих птиц и пошел сюда Дафнис, а чтоб всякий ему поверил, набрал в сумку медовых лепешек и с собой захватил птичий клей и силки. Расстоянье было не более стадий десятка, зато снег, еще не растаявший, много труда и препятствий ему доставлял; но нет для любви пути непроходимого — пусть пролегает он чрез огонь, или воду, иль скифские даже снега.

6. Бегом добежав до двора Дриаса, с ног стряхнувши весь снег, он расставил силки и клеем намазал длинные ветки. Так он сидел, с волненьем и птиц поджидая и Хлою. Что до птиц, то многое множество их прилетело, и ловить их было легко, так что пришлось ему немало потрудиться, их собирая, убивая и перья ощипывая. А вот со двора не вышел никто, ни мужчина, ни женщина, ни даже домашняя птица, но все, у огня оставаясь, дома сидели, так что Дафнис в затруднении был, не зная, что делать,— словно какие-то зловещие птицы сюда его привели. Решил он какой-нибудь повод найти и в двери толкнуться, и стал он раздумывать, что бы такое сказать, чтоб слова его правдоподобными показались. «Зашел я за угольком». А не было разве соседей других всего в одном стадии от тебя? «Пришел хлеба взаймы попросить». Но сумка полна едой. «Вина у меня нет». Но только что кончился сбор винограда. «За мной гнался волк» — а где же волчьи следы? «Пришел, чтоб на птиц поохотиться» — что ж после охоты домой не идешь? «Хочу я Хлою увидеть»,— но отцу и матери девушки кто же в этом признается? И как ни кинь, все клин. И все-то предлоги мои — слишком они подозрительны. Лучше помолчать. Хлою увижу весной, если уж, кажется, не суждено мне зимою увидеть ее».

Так поразмыслив, собрал он тихонько добычу и хотел уходить. Но сжалился, видно, над ним Эрот, и вот что случилось.

7. Дриас с домочадцами сидел за столом; мясо уже поделили, хлеб на стол положили, чашу вином, разбавив водою, наполнили. И вот одна из собак сторожевых, улучивши минутку, схватила мяса кусок и бросилась к двери бежать. Рассердился Дриас (это была как раз его доля); схвативши палку, он сам, словно пес, погнался за нею. И, за нею гоняясь, он у плюща оказался и видит, что Дафнис, на плечи себе добычу взвалив, подумывает, как бы поскорее исчезнуть. Тотчас же и о мясе и о собаке Дриас позабыл и, громко воскликнув: «Здравствуй, сынок!» — обнял его, расцеловал и, за руку взявши, внутрь дома повел. Увидавши друг друга, Дафнис и Хлоя чуть не упали на землю. Сделав усилие, чтоб на ногах удержаться, они поздоровались, поцеловались и в этом будто опору нашли, чтоб не упасть.

8. Получив сверх ожиданья и поцелуй и свидание с Хлоей, Дафнис подсел поближе к огню; снявши с плеч, положил на стол голубей и дроздов и рассказывать стал, как, соскучившись дома сидеть, он пошел на охоту и как наловил силками одних, клеем других, жадно летевших на ягоды мирт и плюща. Все его похвалили за то, что он не сидит сложа руки, и заставили поесть из того, что собака схватить не успела; а вино разлить Хлое велели. Радостно всем она поднесла, Дафнису ж после всех: она в шутку делала вид, что сердита на него за то, что хотел он, пришедши сюда, уйти, ее не видавши. Но все же, прежде чем ему поднести, сама отпила, а затем уж ему подала. Он же, хотя его жажда томила, стал пить медленно и, медля так, наслажденье свое усиливал.

9. Быстро стол опустел, на нем не осталось ни мяса, ни хлеба. Тогда все, кто сидел за столом, стали расспрашивать, как поживает Миртала с Ламоном; они называли счастливыми их за то, что судьба им послала такого кормильца на старость. И рад он был похвалам; ведь их слушала Хлоя. Когда же его не пустили домой, говоря, что назавтра Дионису жертву хотят принести, то от радости он их самих вместо Диониса чуть было поклонением не почтил. Тотчас он вынул из сумки много медовых лепешек и пойманных птиц. На славу их к ужину приготовили, снова поставили кратер с вином и снова огонь разожгли. Быстро ночь наступила, и снова пошло пированье; а потом всякие предания рассказывать стали, песни петь и, наконец, пошли

на покой — с матерью Хлоя, Дриас с Дафнисом. И не было Хлое никакой иной отрады, кроме мысли, что наутро она Дафниса снова увидит; а Дафнис ничтожною радостью радовал сердце: счастлив он был уже тем, что лежал с Хлои отцом. Он его и обнимал, и часто целовал, в дремоте представляя, что это он делает с Хлоей.

10. День наступил; на дворе был ужасный мороз, и северный ветер все леденил. Встали все от сна, годовалого барана принесли в жертву Дионису и, разведя сильный огонь, стали готовить пищу. Пока Напа хлебы пекла, а Дриас жарил барана, Дафнис и Хлоя, свободный момент улучив, выбежали из двора туда, где рос плющ. Вновь поставив силки и намазав клеем ветки, снова они наловили немало птиц. Были для них наслаждением непрерывные поцелуи, и сладка была им беседа. «Для тебя ведь, Хлоя, пришел я сюда».— «Знаю я, Дафнис».— «Из-за тебя ведь гублю я этих несчастных дроздов».— «Что же я сделать должна для тебя?» — «Помнить обо мне!» — «Помню, нимфами клянусь, которыми клялась в нашей пещере; туда мы вернемся сейчас же, едва только снег растает».— «Но снега так много, Хлоя! Боюсь я, как бы раньше, чем снег, я сам не истаял».— «Мужайся, Дафнис; солнце сильно уже пригревает».— «О, если бы было оно горячо, как огонь, что сожигает мне сердце».— «Ты все шутишь и хочешь меня обмануть».— «Нет, никогда, козами теми клянусь, клясться которыми сама ты меня заставляла».

11. Так, словно Эхо, откликалась на речи Дафниса Хлоя. Тут Напа за ними послала, и они прибежали, неся с собою добычу гораздо обильней вчерашней. И, Дионису совершив возлиянье из чаши, они приступили к трапезе, головы плющом увенчав; а когда пришла пора, восхвалив Пакха и восклицая: «Эвоэ!» — они отпустили Дафниса домой, сумку его наполнив мясом и хлебом. Дали ему и голубей и дроздов отнести Ламону с Мирталой, говоря, что сами они наловят себе других, пока еще зима продолжается и пока ягод на плюще хватает; и Дафнис ушел, расцеловав всех, а Хлою последней, с тем чтоб остался на губах у него чистый ее поцелуй.

И не раз еще ходил он к ним этой дорогой, придумывая иные предлоги. Так что и зима не совсем оказалась для них лишенной любви.

12. Начиналась весна, и таял снег. Стала земля обнажаться, стала трава пробиваться, и пастухи погнали стада на пастбища, а раньше других Дафнис и Хлоя,— ведь служили они пастырю могущества несравненного. И тотчас бегом они побежали к нимфам в пещеру, а оттуда к Пану, к сосне, а затем и к дубу. Сидя под ним, и стада свои пасли, и друг друга целовали. Стали они и цветов искать, чтоб статуи богов венками украсить; цветы едва-едва появляться стали,— зефир их пестовал, а солнце пригревало. Все ж удалось найти и фиалки, и нарциссы, и курослеп, и все, что ранней весною земля нам приносит. Хлоя и Дафнис свежего надоили козьего и овечьего молока и, украсив венками статуи богов, совершили молоком возлиянье. И на свирели стали они снова играть, как бы соловьев вызывая поспорить с ними в пенье; а соловьи уже откликались в чаще лесной, и скоро все лучше стала удаваться им песнь об Итисе, словно вспомнили они после долгого молчания свою прежнюю песню.

13. Заблеяли овечьи стада; ягнята прыгали, залезая под маток, и за соски их тянули. А за овцами, еще не рожавшими, гонялись бараны, сзади взбирались на них, каждый выбрав себе одну. И козлы гонялись за козами и наскакивали на них с любовной страстью и бились за коз; у каждого были свои, и каждый их охранял, чтоб как-нибудь с ними другой козел тайком не связался. Даже старых людей, случись им это увидеть, к делам любви побудило бы такое зрелище. А тем более — Дафнис и Хлоя, юные, цветущие и давно уже искавшие наслаждений любовных: распалялись они, слыша все это, млели, видя это, и сами искали чего-то получше, чем поцелуи и объятия,— особенно Дафнис. За время зимы, сидя дома без всякого дела, он возмужал; поэтому рвался он к поцелуям, и жаждал объятий, и во всем стал гораздо смелей и решительней.

14. Вот он и стал просить, чтобы Хлоя уступила ему в том, чего он желал: нагою с нагим полежала бы с ним подольше, чем делала раньше. «Ведь это одно,— говорил он,— осталось, чего не исполнили мы из советов Филета. Единственно здесь ведь, наверно, то средство, что нашу любовь успокоит».

Когда же она задавала вопрос, что ж есть еще больше, чем целовать, обнимать и вместе лежать, и что же еще он делать задумал, если будут они, оба нагие, вместе лежать, он ей отвечал: «То же, что бараны с овцами и козлы с козами. Разве не

видишь, что после того, как дело сделано, овцы и козы от них не бегут, а те не томятся, гоняясь за ними, но, как будто взаимно вкусив наслажденья, вместе пасутся. Видимо, дело это сладостно и побеждает горечь любви».— «Но разве не видишь ты, Дафнис, что и козлы с козами, и бараны с овцами все это делают стоя, и козы и овцы, тоже стоя, их принимают. Те на них скачут, они же спину им подставляют. А ты хочешь, чтоб я вместе с тобою ложилась, да еще и нагая; смотри, ведь их шерсть гораздо плотнее моей одежды». Послушался Дафнис и, вместе с нею улегшись, долгое время лежал, но, не умея то сделать, к чему страстно стремился, он поднял ее и, сзади обняв, к ней прижался, козлам подражая. И, еще больше смутившись, он сел и заплакал: неужели ж он даже баранов глупее в делах любви?

15. Жил с ним по соседству землевладелец, по имени Хромис, уже в преклонных годах; привел он к себе из города бабенку, молодую, цветущую, гораздо более изящную, чем поселянки. Звали ее Ликэнион. Видя, как Дафнис каждое утро гнал своих коз на пастбище, а к ночи обратно с пастбища, она загорелась желаньем его своим любовником сделать, подарками соблазнив. И вот однажды, подстерегши его одного, она подарила ему свирель, и сотового меду, и сумку из кожи оленьей. Но сказать ему что-либо прямо она опасалась, поняв, что любит он Хлою: заметила — к девушке льнет он. Сначала она догадалась об этом, видя взаимные приветствия их и улыбки, а потом как-то, ранним утром, мужу сказавшись, чтоб глаза отвести, будто к соседке пойдет, которой время рожать наступило, незаметно пошла она следом за ними и, спрятавшись в чаще, чтоб не было видно ее, все услыхала, о чем они говорили, все увидала, что делали. Не ускользнули от взоров ее и слезы Дафниса. Пожалела она этих несчастных и, решив, что ей представился случай удобный сделать сразу два дела,— им дать от мук избавление, свое ж удовлетворить вожделение,— такую придумала хитрость.

16. На следующий день, будто опять направляясь к той же роженице, открыто идет Ликэнион к дубу, где сидели Дафнис и Хлоя, и, ловко притворившись, будто она чем-то огорчена, говорит: «Спаси, Дафнис, меня, злополучную! Из моих двадцати гусей самого лучшего орел утащил. Но слишком тяжелую ношу он поднял, и, кверху взлетевши, не смог он ее унести на при-

вычное место,— вон на этот высокий утес; и опустился вот здесь, в мелколесье. Ради нимф и этого Пана! Пойди ты со мною туда,— одна я идти боюсь,— спаси моего гуся, не оставь без вниманья ущерба в моем стаде. Может быть, и орла самого ты убьешь, и не будет уж он у вас без конца таскать и ягнят и козлят. Тем временем стадо твое сторожить будет Хлоя. Козы твои хорошо ее знают; ведь всегда вы вместе пасете».

17. Даже и не подозревая, что́ будет дальше, Дафнис тотчас встал, взял посох и следом пошел за Ликэнион. Его уведя возможно дальше от Хлои, когда они оказались в чаще густой близ ручья, она велела ему присесть и сказала: «Любишь Хлою ты, Дафнис: это узнала я ночью от нимф; явившись во сне, они мне рассказали о слезах вчерашних твоих и мне приказали спасти тебя, научивши делам любовным. А дела эти — не только поцелуи и объятья и не то, что делают козлы и бараны: другие это скачки́, и много слаще они тех, что бывают у них, ведь наслаждение даруют они куда более длительное. Так вот, если хочешь избавиться от мук и испытать те радости, которых ты ищешь, то отдай себя в руки мои, радостно стань моим учеником; я же, в угоду нимфам, всему тебя научу».

18. Не в силах сдержать своего восторга, Дафнис, простодушный деревенский козопас, а к тому же еще влюбленный и юный, пал к ногам Ликэнион, моля возможно скорее искусству этому его обучить, которое ему поможет с Хлоей совершить то, чего ему так хочется; и, как будто готовясь постигнуть поистине нечто великое, ниспосланное ему самими богами, он обещает ей подарить упитанного козленка, нежного сыру из сливок и даже козу. Увидя в нем такое пастушеское простодушие, какого она никак не ожидала, вот как стала Ликэнион Дафниса делу любви обучать. Она приказала ему, не думая долго, сесть поближе к себе, целовать ее такими поцелуями и столько раз, как вошло у него в привычку, а целуя, обнять ее и лечь на землю. Когда юноша сел, ее поцеловал и лег с нею рядом, она, увидав, что он в силе к делу уже приступить и весь полон желанья, приподнявши его,— ведь он лежал на боку,— ловко легла под него и навела его на ту дорогу, которую он до сих пор отыскивал. А потом уже все оказалось простым и понятным: природа сама научила всему остальному.

19. Лишь только окончился этот любовный урок, Дафнис, как истый пастух простодушный, стал порываться к Хлое бежать и тотчас же сделать с ней то, чему здесь научился, как будто боясь, что если промедлит, то все позабудет. Но Ликэнион, его удержавши, сказала: «Вот что еще нужно тебе, Дафнис, узнать. Я ведь женщина, и теперь я ничуть от всего этого не пострадала; давно уж меня всему научил мужчина другой, а в уплату взял невинность мою. Хлоя ж, когда вступит с тобой в эту битву, будет кричать, будет плакать, будет кровью облита, словно убитая. Но ты не бойся той крови, а когда убедишь ее отдаться тебе, приведи сюда: здесь, если и будет кричать, никто не услышит, если расплачется, никто не увидит, а если кровью своей замарается, в этом ручье искупается. И помни, что первая я, раньше Хлои, тебя мужчиною сделала».

20. Преподав ему указанья такие, Ликэнион ушла в другую часть леса, как будто все еще продолжая гуся разыскивать. Задумался Дафнис над сказанным ею, остыл его первый порыв, стал он сомневаться, следует ли ему Хлое докучать и просить во время объятий большего, чем поцелуи. Он не хотел, чтобы кричала она, будто ее схватили враги, или чтоб плакала от боли, или кровью исходила, словно ее убивают. Новичок в любви, боялся он крови и думал, что кровь может литься только из раны. И, твердо решив наслаждаться с нею обычными ласками, вышел из лесу Дафнис. Придя туда, где Хлоя сидела, плетя из фиалок веночек, он обманул ее, сказавши, что вырвал гуся из орлиных когтей, и, крепко обняв, стал ее целовать, как целовал Ликэнион в миг наслажденья: ведь это можно было делать без опаски. Она же надела на голову Дафниса ею сплетенный венок и кудри его целовала, ей казались они лучше фиалок. И, вынув из сумки кусок сладкой лепешки из фруктов сушеных и несколько хлебцев, дала ему есть. Когда же он ел, она у него изо рта хватала кусочки и сама, как птенчик, глотала.

21. Когда они так угощались,— а больше целовались, чем ели,— показалась лодка рыбачья, плывшая вдоль берега. Не было ветра, на море было затишье, грести приходилось, и крепко гребли рыбаки. Они торопились доставить в город к столу одного богача рыбу живую. То, к чему прибегают всегда моряки, чтоб забыть про усталость,— прибегли к тому же, под взмахи весел, гребцы. Один из них, старшой, песни морские пел, осталь-

ные ж, как хор, все разом и в лад на голос его откликались. Когда они пели так в море открытом, то клики их пропадали — голоса звук исчезал в воздушном просторе. Когда же, объехавши мыс, они вошли в глубокий залив, изогнутый словно месяца серп, громкие клики стали слышней, ясней стал доноситься на берег запев. Глубокая расщелина к равнине прилегала, и будто полая флейты труба, звук в себя принимая, всем голосам подражала, на все откликалась. Слышны были ясно весел удары, ясно гребцов голоса. И все это радостью было для слуха. Сначала с моря звук долетал, а звук, на земле родившийся, на столько поздней замолкал, на сколько позднее он возникал.

22. Дафнис, которому все это было знакомо уже, вниманье свое обратил лишь на море; он любовался, смотря, как птицы быстрее корабль пролетал, минуя равнину, старался запомнить те песни, чтобы сыграть их потом на свирели. Хлоя ж тогда в первый раз услыхала то, что эхом зовется. Она то на море смотрела, когда мореходы песнь запевали, то, к земле обернувшись, искала, кто же им вторит? Когда они мимо проплыли и тихо стало в расщелине, она спросила у Дафниса, нет ли за мысом другого моря и не плыл ли другой там корабль, не пели ль мореходы другие такую же песню, а потом разом все замолчали? Нежным смехом рассмеялся Дафнис, еще нежнее Хлою он целовал, а затем, увенчавши ее венком из фиалок, стал рассказывать преданье об Эхо, вперед у нее попросивши как плату за этот рассказ еще поцелуев десяток.

23. «Много, девушка, нимф различного рода живет и в ясеннике, и в дубравах, и в болотах. Все прекрасны они, все певуньи. Из них у одной была дочка Эхо; смертной была она,— так как смертным отец ее был,— и в красавицу мать красотою: нимфы ее воспитали, Музы играть на свирели, на флейте ее научили, под лиру, под кифару песни всякие петь. И, достигнув расцвета девичьей своей красоты, хороводы водила она с нимфами, песни пела с Музами. Но всех мужчин избегала она — и людей и богов, любя свою девичью жизнь. Рассердился на девушку Пан,— песням ее он завидовал, красота же ее была для него недоступна,— и в безумие вверг пастухов, что коз пасли и овец. Как злые собаки иль волки, они ее растерзали и члены тела ее,— а все еще пело оно,— по всей разметали земле. Но песни ее нимфам в угоду скрыла Земля в лоне своем и напев

сохранила; и по воле Муз подает она голос, всему подражая, как некогда девушка всем подражала: богам и людям, инструментам, зверям,— даже и Пану, когда на свирели играть он начнет. И он, услыхав, вскочит и долго бежит по горам, поймать не надеясь, но только желая узнать, кто же такой этот тайный его ученик».

Такое сказанье Дафнис ей поведал, и поцелуев не только десяток Хлоя ему подарила, но без конца целовала его: ведь то же почти за ним повторяла и Эхо, словно тем подтверждая, что ни слова лжи он не сказал.

24. С каждым днем становилось солнце теплее: весна кончалась, лето начиналось. И опять у них летней порой начались новые радости. Он плавал в реках, она в ручьях купалась, он играл на свирели, соревнуясь с песней сосны. Она же в состязание с соловьями вступала. Гонялись они за болтливыми цикадами, ловили кузнечиков, сбирали цветы, деревья трясли, ели плоды; бывало, нагими вместе лежали, покрывшись козьей шкурой одной. И Хлоя легко могла бы женщиной стать, когда б не смущала Дафниса мысль о крови. Однако, боясь, чтоб решенье разумное страсти порывом как-нибудь сломлено не было, не позволял он Хлое сильно себя обнажать; этому Хлоя дивилась, но спросить о причине стыдилась.

25. Этим летом у Хлои женихов было много, и отовсюду много народу ходило к Дриасу с просьбой отдать ее замуж; иные уже приносили подарки, иные ж много богатых даров обещали, если ее заполучат. Напа, прельстившись надеждой на это, хотела выдать Хлою скорей и не держать дольше в доме взрослую девушку; ведь, того и гляди (она говорила), пася свое стадо, она себя потеряет и в мужья себе пастуха возьмет за несколько яблок или роз. Лучше сделать ее госпожой в собственном доме, а самим, получивши большие подарки, их сохранить своему родному дитяти — недавно мальчик родился у них. Случалось, Дриасу заманчивы речи такие казались, каждый жених сулил подарки получше, чем можно бы взять за простую дочь пастуха; но иной раз он думал, что девушка стоит дороже простых женихов-землепашцев и что если она вдруг найдет своих настоящих родителей, то она и его и жену богатством осыплет; он отлагал свой ответ, время тянул со дня на день, а меж тем перепадало ему немало подарков. Хлоя, узнавши об этом, очень

грустила и от Дафниса долгое время скрывала, его огорчать не желая. Когда ж он настаивать стал, спрашивая, что с нею такое, и огорчался, не получая ответа, больше, чем если бы все он узнал, она ему все рассказала: о Напы речах, торопившейся выдать замуж ее поскорее, сказала о том, что Дриас наотрез никому не отказывает, но решенье свое отложил до поры, когда виноград соберут.

26. От этих рассказов Дафнис стал сам не свой и, севши, заплакал; он говорил, что умрет, если Хлоя больше не будет с ним вместе стада пасти; и не только погибнет он сам, но и овцы, лишившись пастушки такой. Затем, собравшись с мыслями, он ободрился и надеяться стал, что сумеет отца убедить, и себя уж считал в числе женихов, и надеялся, что всех он других легко победит. Одно смущало его: не был богат Ламон, и это одно делало шаткой надежду. Однако решил он посвататься, и Хлоя с ним согласилась. Ламону он об этом сказать не решился. Миртале же, набравшись храбрости, поведал о своей любви и о браке речь завел. Она ночью сказала об этом Ламону. Холодно принял он ее слова и стал ее бранить, что дочку простых пастухов сватать она захотела юноше, чьи приметные знаки счастливую судьбу сулят; ведь если найдет он своих родных, то тех, кто призрел его, он и на волю отпустит, и даст им участки земли покрупнее. Миртала, боясь, как бы Дафнис, совсем потерявши надежду на брак, из-за любви не решился б с собой покончить, другие причины ему привела, почему возражает Ламон: «Бедны ведь мы, сынок, и нам нужно невесту с приданым побольше; они же богаты и богатых хотят себе женихов. Убеди-ка ты Хлою, а она пусть отца убедит, чтоб не требовал многого он и выдал ее за тебя. Уж, наверно, тебя она любит, и ясно, ей больше хочется спать с бедным красавцем, чем с обезьяной богатой».

27. Не надеялась вовсе Миртала, что Дриас согласие даст,— были у него на примете женихи побогаче; она полагала, что повод отличный нашла для того, чтобы с делом о браке покончить. И Дафнис на это не мог возразить ничего; видя, что далек он от цели стремлений своих, он поступил, как поступают в несчастьях влюбленные все: плакать он стал и вновь на помощь нимф призывал. И ночью во сне явились они перед ним в том же виде, как прежде являлись, и снова заговорила старейшая: «Забота о браке твоем и Хлои — дело бога другого; дары же, которыми ты

Дриаса прельстишь, дадим тебе мы. Корабль молодых метимнейцев, привязь которого некогда съели козы твои, в тот день ветер далеко унес от земли. Ночью ж, когда с моря ветер подул и стало оно бушевать, корабль выброшен был на скалы этого мыса. Сам корабль и многое из того, что было на нем, погибло; но кошелек и в нем три тысячи драхм на берег выкинула волна, там он и ныне лежит, прикрытый морской травой, рядом с трупом дельфина. Никто из прохожих к месту тому не подходит, стараясь уйти поскорей от зловонья гниющего трупа. Ты ж подойди, подойдя же, возьми и, взявши, отдай. Достаточно, если сейчас не будут считать тебя бедняком, а потом и богатым ты станешь».

28. Так сказали они и исчезли вместе с мраком ночным. Только лишь день начался, как Дафнис вскочил, развеселый, и свистом звонким погнал своих коз на пастбище. Поцеловавши Хлою, к нимфам сходив, чтобы им поклониться, он к морю пошел, как будто омыться желая; и там по песку, у пены прибоя, бродил он, ища три тысячи драхм. Найти их немного труда ему стоило: в нос ему скоро ударил не слишком приятный запах дельфина, который был выброшен бурей на берег и гнил; и этот-то запах противный ему послужил провожатым; быстро он подбежал, водоросли разгреб и кошелек нашел, полный денег. Тут же схвативши его и в сумку к себе положив, не прежде ушел он, чем нимфам и морю воздал благодарность. Хоть и был он пастух, но море теперь считал для себя он милее, чем землю,— оно помогало ему на Хлое жениться.

29. Владельцем ставши трех тысяч драхм, он уж больше не медлил, считая себя человеком самым богатым на свете — не только что в тамошней сельской округе. К Хлое придя, ей свой сон рассказал, показал кошелек, и, поручив стада постеречь, пока он не вернется, быстрым шагом он мчится к Дриасу. Нашел он его на току молотившим вместе с Напой пшеницу и смело с ним начинает беседу о браке. «Отдай ты Хлою мне в жены: жнец я хороший, виноградные лозы могу хорошо обрезать и деревья сажать; умею и землю пахать, и по ветру веять зерно. Как я пасу стада — свидетелем Хлоя; мне дали полсотни коз, я удвоил число их; выкормил я козлов больших и красивых, а прежде мы покрывали своих коз чужими козлами. Кроме того, я молод, сосед ваш, и никто обо мне дурного не скажет; меня вскормила

коза, так же как Хлою овца. Насколько других всех я лучше, настолько же и в подарках им уступать не хочу. Они ведь дадут тебе разве что коз и овец, пару паршивых быков и зерна столько, что кур не прокормишь. А от меня — вот вам три тысячи драхм. Только пускай никто об этом не знает, даже и сам отец мой, Ламон». С такими словами он отдал деньги ему и, обняв его, стал целовать.

30. Увидавши столько денег, сколько им никогда и не снилось, они тотчас же пообещали Хлою отдать за него и заверили, что Ламона добьются согласия. Напа вместе с Дафнисом продолжала работать, быков подгоняла и волочильной доской выбивала зерно из колосьев, Дриас же, спрятав кошель туда же, где у него хранились Хлои приметные знаки, быстро пошел к Ламону с Мирталой, чтоб у них — небывалое дело — сватать жениха. Застал он их за тем, что ячмень они мерили, только что перед тем провеяв его; уныние ими владело, так как было зерна едва ли не меньше, чем до посева. Стал их Дриас утешать,— на это, мол, жалобы слышны повсюду,— а затем стал просить их дать Дафниса Хлое в мужья, говоря, что хоть много ему предлагают другие, но с Ламона и Мирталы он ничего не возьмет; даже больше того, он сам им в придачу кое-что даст. Дафнис и Хлоя молоды, говорил он, выросли вместе, вместе стада пасли и такой связаны дружбой, какую не так-то легко разорвать. Да и возраст у них такой, что пора им и спать уже вместе. Вот что он говорил, да и прочего всякого много еще; ведь наградой за то, чтобы он убедил их, получил он три тысячи драхм. Нельзя тут было Ламону сослаться ни на бедность свою,— ведь те перед ним не кичились богатством,— ни на молодость Дафниса,— был он уж юношей крепким; сказать же по правде причину, что Дафнис, по мненью его, стоит лучшей невесты, он все же никак не хотел. И вот, помолчавши немного, он так ответил Дриасу:

31. «Правильно вы поступили, соседей своих предпочтя людям чужим и богатства не ставя выше бедности честной. Пусть за это Пан и нимфы будут к вам благосклонны! Я и сам спешу устроить эту свадьбу. Ведь совсем бы я был рассудка лишен, если б я, уж старик, которому нужны в работе лишние руки, не счел бы себе за великое благо в дружбу вступить с вашим домом. Да и Хлоя — кто ее не пожелает? Красивая девушка, в самом расцвете, всем она хороша. Но ведь раб я и ни над чем не

хозяин; нужно, чтоб мой господин узнал об этом и дал согласье свое. Давай же отложим брак этот до осени. Были у нас из города люди и говорят, что к этому сроку хозяин собирается сам к нам прибыть. Тогда они станут муж и жена. Теперь же пусть они любят друг друга, как брат и сестра. Только вот что узнай, Дриас: юноши ты добиваешься, родом много нас с тобой выше». Сказавши это, он Дриаса расцеловал и выпить ему предложил, так как был самый полдень; затем он его пошел провожать, оказав ему всевозможные знаки почтенья и дружбы.

32. Не пропустил Дриас мимо ушей последних слов Ламона и, домой идя, думал сам про себя: «Кто ж такой Дафнис? Его воспитала коза: значит, боги пекутся о нем. Он очень красив, ничуть не похож на Ламона, курносого, старого, и на лысую бабу его. У него оказалося сразу три тысячи драхм, а ведь столько и диких груш простой пастух не найдет у себя. Не покинули ль и его родители так же, как Хлою? Не нашел ли Ламон и его так же, как я нашел Хлою? Не было ль с ним знаков приметных, подобных тем, что найдены были и мной? О, если б так было, владыка Пан и милые нимфы! Может быть, он, отыскавши своих родных, откроет и Хлоину тайну». Так сам с собой раздумывал он, высоко в мечтах заносясь, пока до гумна не дошел. Придя же туда и видя, что Дафнис весь в ожиданье того, что услышать ему предстоит, ободрил его, назвавши зятем своим, обещал, что свадьбу сыграют осенью. Правую руку ему протянул в знак того, что Хлоя ничьей не будет женою, кроме как Дафниса.

33. К Хлое Дафнис помчался, не пивши, не евши, быстрее, чем мысли летят. Застал он ее за работой: доила овец она и делала сыр. Ей сообщил он известье о свадьбе и после, уже не скрываясь, ее целовал, как жену, и делил с ней труды: в подойники он молоко доил, сыры в плетенках заквашивал; под маток подкладывал он и ягнят и козлят. Все хорошенько устроив, они умывались и, утоливши голод и жажду, ходили искать созревших плодов. Было много всего: эта года пора изобильна; много было груш и в лесу и в садах, много и яблок; одни уж на землю упали, другие держались на ветках — опавшие более душисты, а те, что на ветках висели, более цветисты; эти пахли вином, а те золотом ярким сверкали. На одной из яблонь все яблоки были уже собраны. Без плодов и без листьев стояла она, голыми были

все ветви. Но на самой вершине ее осталось одно только яблоко, большое, прекрасное, чудным цветом своим все другие оно затмевало. Кто плоды собирал, побоялся высоко взобраться и снять его не потрудился; а может быть, чудное яблоко это как раз для влюбленного пастуха уцелело.

34. Лишь только яблоко это Дафнис увидел, как тотчас решился сорвать его с самой вершины, не слушая Хлои; и так как он ее не послушал, она, рассердившись, к стаду пошла. Дафнис же быстро на дерево влез, яблоко тотчас сорвал и подарил его Хлое; все еще сердилась она, и к ней он обратился с такими словами:

«Милая девушка! Яблоко это родили Горы прекрасные, и прекрасная яблоня воспитала его, зрелым сделало Солнце, и Судьба для меня его сохранила. Ведь глаз я не лишен, и не мог я покинуть его, чтоб на землю упало оно, чтобы стадо, пасясь, его затоптало, чтоб змея ползучая ядом своим его напитала или чтоб со временем ссохлось оно, теперь такое прекрасное и завидное. Ведь именно яблоко было дано Афродите в награду за красоту; яблоко и тебе я дарю в знак победы твоей. Судьи ваши похожи: тот пас овец, а я пасу коз».

Так сказавши, он положил ей яблоко в складки платья на грудь; когда он к ней наклонился, она его так целовала, что Дафнис ничуть не жалел, что решился залезть так высоко: он получил поцелуй, что и золотого яблока был дороже.

1. Из Митилены пришел один раб, тому же хозяину принадлежавший, что и Ламон, и сообщил, что незадолго до сбора винограда хозяин хочет приехать сюда посмотреть, не нанес ли его полям какого вреда набег метимнейцев. Уже лето кончалось, и осень приближалась, и готовил Ламон своему господину такой прием, чтоб душа его радовалась. Он ручьи очищал, чтоб вода была чистая, вывез навоз со двора, чтоб тяжелый запах не раздражал хозяина, а за садом ухаживал, чтоб был он прекрасен на вид.

2. И верно, прекрасен был сад у него и на царский похож. Растянулся он на целый стадий, лежал на месте высоком, а шириною был плетра в четыре. Сравнить его можно с лугом широким. Были в нем всякого рода деревья: яблони, мирты, груши, гранаты, фиги, маслины; виноградные лозы высоко вились по грушам и яблоням, и зрелые грозди чернели, как будто с плодами соревнуясь. Такие-то были там деревья плодовые. Но были и кипарисы и лавры, платаны и сосны; на них вместо лоз виноградных плющ вился. Большие пучки его ягод темным цветом своим были похожи на виноградные грозди. Деревья плодовые в середине сада росли, словно под чьей-то охраной. А вокруг них стояли деревья, плодов не дающие, будто стена, руками людей воздвигнутая. Все это место было терновой изгородью обнесено. Было все разделено и размерено в точном порядке, и ствол от ствола на равном был расстоянье, а наверху ветви сходились друг с другом, переплетаясь листвою. И то, что сделала природа, казалось, создано было искусством. Здесь были и грядки цветов; одни цветы рождены землею, другие — искусства

творение, розы, лилии и гиацинты — дело рук человека, а первоцветы, фиалки, нарциссы растила земля сама. Летом была здесь тень, весной цветы, осенью плоды, и в каждую пору года негою полнилось все.

3. Отсюда была хорошо равнина видна, и можно было разглядеть пастухов, пасущих стада, хорошо были видны и море и мореходы, мимо плывущие. И это тоже немало прелести саду придавало; а в самой его середине, где длина и ширина его пополам разделялись, был Диониса храм и алтарь, ему посвященный. Плющ обвивал алтарь, а виноградные лозы — самый храм. Внутри же храма изображена была жизнь бога: Семела рождающая, Ариадна засыпающая, Ликург, в цепи закованный, Пенфей, на клочья растерзанный. Были тут и индийцы побежденные, и тирренцы, в рыб превращенные. И везде сатиры, точила топчущие, везде вакханки пляшущие. И Пана тут не забыли: сидел он на скале, на свирели играя, как будто под песню его и сатиры точила топтали, и вакханки плясали.

4. Таков был сад, за которым Ламон с большим стараньем ухаживал; сухие ветки он подрезал, виноградные лозы поднимал; мрамор Диониса он венками украшал; воду ручья на грядки с цветами провел; был тут ключ — его Дафнис отыскал,— чтоб цветы орошать; хоть цветам служил этот ключ, а все его звали «Дафнисов ключ». Ламон все Дафнису советовал, чтобы он как можно жирнее коз своих откормил: ведь захочет хозяин стадо посмотреть; давно уж он здесь не бывал. Дафнис же был уверен, что за коз похвалу он получит: с тех пор как стадо стал он пасти, оно удвоилось; волк у него ни одной не стащил, и козы стали жирнее овец. Но, желая, чтобы охотней на брак его господин согласился, он к стаду старанье все приложил и заботу, выгоняя на пастбища, чуть забрезжит восток, и домой гоня поздно вечером. Дважды в день на водопой их водил он, выискивал, где в здешних местах самое лучшее пастбище; старался, чтоб чаши для молока у него были новые, подойников чтоб было побольше, а плетенки для сыра повместительней. И до того его заботливость доходила, что козам он рога маслом намазывал и шерсть им расчесывал. Можно было подумать, что видишь Пана священное стадо. С ним делила заботы о козах и Хлоя; своих овец забывая, все о козах пеклась она больше; так что Дафнис думал, что только благодаря трудам ее стали такими красивыми козы.

5. Когда они заняты были всем этим, прибыл из города еще один вестник, велел возможно скорей собирать виноград и сказал, что и сам он останется здесь, пока из гроздей виноградных не сделают молодого вина, затем, когда сбор уже будет закончен, в город вернется и с собой привезет господина. Имя его было Эвдром — так называли его потому, что быстро бегать было делом его. Принят он был со всем возможным почетом, и тотчас стали собирать виноград, носить виноградные грозди в точила, сливать в бочки сок виноградный; самые ж зрелые грозди вместе с лозою снимали — с тем чтоб прибывшим из города казалось, будто сбор винограда воочию видят они и радости его вкушают.

6. Когда Эвдром уже собирался в город вернуться, Дафнис дал ему разных подарков не мало; подарил он ему, что пастух может дарить: твердых сыров, молодого козленка, косматую белую шкуру козы, чтоб зимою в дороге он мог бы накинуть ее на себя. Эвдром был очень доволен, расцеловал Дафниса и обещал за него замолвить перед хозяином доброе слово. Так он уходил, дружески к ним расположенный, а Дафнис, сильно тревожась, продолжал пасти стада вместе с Хлоей; да и она за него беспокоилась: подросток, привыкший видеть коз да овец, земледельцев и Хлою,— теперь в первый раз должен был увидать господина, которого прежде по имени только он знал. Потому она волновалась за Дафниса — как-то встретится он с господином? Она беспокоилась также о браке,— не напрасно ль они мечтают о нем? Между тем постоянно они целовались и крепко так обнимались, как будто хотели друг с другом срастись. Но поцелуи их были пугливы и печальны объятья, как будто прибыл уже господин и в страхе они от него скрываться должны. А в довершенье всего прибавился и еще один повод для тревоги.

7. Был некто Лампис, грубый пастух, сторживший коров. Также и он Хлою сватал у Дриаса и много уже передал подарков ему, торопясь с этим браком. Поняв, что на ней женится Дафнис, если получит согласье хозяина, он придумывать стал, как бы устроить так, чтоб господин разгневался на Дафниса и Ламона. Зная, что хозяин особенно любит сад, Лампис решил, насколько возможно, обезобразить его и испортить. Но если деревья рубить, то услышат стук и поймают его; и он набросился на цветы и решил их уничтожить. Дождавшись ночи и перелезши через ограду, одни из цветов он повырвал, другие сло-

мал, а иные ногами затоптал, как дикий кабан. И сам незамеченным скрылся. Наутро Ламон вышел в сад, чтоб цветы полить ключевою водой; все изгаженным увидав, он понял, что это дело не грабителя, а врага, разорвал на себе хитон и, громко крича, стал богов призывать, так что Миртала, бросив то, что держала в руках, из дома выбежала, и Дафнис, покинув коз своих, прибежал. И все они, увидев, что произошло, стали криком кричать и лить горькие слезы.

8. И необычным делом могло показаться, что так они о цветах горевали. Но рыдали они, боясь гнева хозяина. Да попади сюда и чужой человек, и он бы заплакал с ними вместе. Обезображено было все место, и осталась одна только грязь. Те ж из цветов, что избегли насилия, все еще продолжали цвести, блистая яркими красками, и были прекрасны, даже на землю повергнутые; и все еще пчелы на них садились, непрерывно, упорно жужжа, словно рыдая. А Ламон, горем пораженный, промолвил: «Увы мне! Розы мои поломаны. Увы мне! Фиалки потоптаны. Увы мне! Гиацинты мои и нарциссы злодеем повырваны. Весна придет, а они не распустятся. Лето наступит, а они красоваться не будут. А осенней порой никто венков из них не сплетет. И владыка Дионис над цветами этими несчастными не сжалился! Рядом с тобою росли они, у тебя на глазах; часто я венками из них венчал тебя. Как покажу я этот сад господину?! Что с ним будет, когда он все это увидит? Велит он повесить меня, старика, на первой сосне, как Марсия; а может, со мною — и Дафниса, считая, что козы его это сделали».

9. И при этих словах заплакали они горько, и теперь уже они рыдали не об одних цветах, но и о себе самих. Рыдала и Хлоя над Дафнисом, в страхе, как бы его не повесили, и молилась богам, чтоб не приезжал господин, и тяжкие дни пережила, словно уже видела, как бичуют Дафниса. Уже ночь наступала, когда пришел к ним Эвдром известить, что старый хозяин прибудет дня через три, а сын его завтра приедет. Толковали они о том, что случилось, поделились своими страхами с Эвдромом и стали спрашивать его мнения; он, к Дафнису благосклонный, посоветовал все рассказать сперва молодому хозяину и обещал сам замолвить перед ним слово: братом молочным ему приходясь, он был у него в чести. И когда день наступил, они так и сделали.

10. Астил прибыл верхом, и с ним парасит его, тоже верхом. У Астила был подбородок чуть опушен, а Гнатон — так звали другого — давно уж бороду брил. Ламон, Миртала и Дафнис пали к ногам Астила, прося пожалеть старика несчастного и спасти неповинного от отцовского гнева. И затем рассказали ему все по порядку. Тронули Астила эти мольбы, пошел он в сад, гибель цветов увидал и им обещал, что сам будет просить отца о прощении и вину свалит на своих коней: они-де были здесь привязаны и, разыгравшись, часть цветов поломали, часть потоптали, а потом, сорвавшись с привязи, землю копытами взрыли. За это Ламон и Миртала молили богов послать ему всяких благ, а Дафнис принес ему в дар козлят, сыров, птиц с птенчиками, виноградные грозди на лозах, яблоки на ветках. Среди этих даров было также душистое вино лесбосское, на вкус из всех вин лучшее.

11. Астил подарки похвалил и отправился на охоту за зайцами; юноша был он богатый, в роскоши живший всегда; и в деревню он прибыл, чтобы новое развлечение себе доставить. Гнатон же, умевший только есть и пить до беспамятства и, напившись, похабничать, у которого только и было всего что широкая глотка, да брюхо, да то, что под брюхом, Дафниса тотчас приметил, когда тот дары подносил. По природе своей был он любителем мальчиков и, найдя красоту, какой и в городе не сыскать, решил тотчас за Дафниса приняться и надеялся легко сладиться с этим простым пастухом. Приняв такое решение, он не отправился вместе с Астилом охотиться, а пошел туда, где пас Дафнис, под предлогом, что хочет коз посмотреть, на самом же деле — на Дафниса полюбоваться. Заискивая перед ним, он хвалил его коз, просил сыграть на свирели песню пастушью и сказал, что быстро добьется для Дафниса воли — ведь он все может сделать, чего ни захочет.

12. Считая, что он уже приручил к себе Дафниса, под вечер дождался Гнатон, пока Дафнис погонит с пастбища коз. И, подбежав, сначала стал его целовать, а потом и просить, чтобы тот стал к нему задом, так, как козы к своим козлам. Когда же Дафнис, не очень сметливый, стал говорить, что знает он хорошо, как козлы скачут на коз, но никогда не видал, чтоб козел лез на козла, или баран вместо овцы лез на барана, или петух вместо курицы петуха под себя подбирал, то Гнатон был готов,

пустивши в ход руки, насилье применить. Но Гнатон был пьян и едва стоял на ногах, и Дафнис его толкнул, на землю повалил и прочь убежал, как щенок молодой, оставив его там, где он упал; и уж не мальчик, а только здоровый мужчина смог бы Гнатона, под руки взявши, домой дотащить. А Дафнис к нему никогда уже близко не подходил и пас своих коз нынче тут, а назавтра там, его избегая, а Хлою свою охраняя. Да и Гнатон больше к нему уж не лез, увидавши, что он не только красив, но и силен. Он выжидал подходящего случая поговорить с Астилом о нем и надеялся, что от юноши получит он Дафниса в подарок,— Астил его одаривал часто и щедро.

13. В то время сделать было нельзя ничего, так как прибыл Дионисофан вместе с Клеаристой; вьючные животные, рабы, мужчины и женщины,— сильный все они подняли шум. Но несколько позже составил Гнатон длинную речь о любви. Дионисофан был ростом высок, красив, уже с проседью; с любым молодым человеком мог он поспорить. Был он богат, как немногие, и благороден душой, как никто. Прибывши сюда, в первый же день он принес жертвы богам, полей покровителям, Деметре, Дионису, Пану и нимфам; а всем присутствовавшим выставил он кратер вина. В следующие дни стал он осматривать плоды трудов Ламона. И видя: поля в бороздах, хорошо вспаханных, виноград в молодых ростках, а сад в полной красе — вину за гибель цветов принял Астил на себя,— он очень доволен остался, Ламона расхвалил и на волю его отпустить обещал. Затем он пошел к козьему стаду на коз посмотреть и на их пастуха.

14. Хлоя, смущенная и такою толпою напуганная, в лес убежала. А Дафнис стоял выпрямившись: густая шкура козы обвивала его бедра, на плече висела новенькая сумка, а в руках он держал — в одной свежий сыр, в другой — козляток-сосунков. Если когда-нибудь Аполлон, служа Лаомедонту, пас его скот, он был таким же, каким Дафнис явился в тот миг. Он ничего не сказал, но, вспыхнув румянцем, опустил глаза и дары свои протянул. Ламон же сказал: «Господин! Вот твой новый козопас. Ты велел мне пасти полсотни коз и двух козлов. А теперь у тебя, трудами его, коз уже сотня и десять козлов. Видишь, какие они жирные, с шерстью густой, и рога у них все целые. Он приучил их музыки слушаться: по звуку свирели они делают все, что он хочет».

15. При этих словах Клеариста, бывшая тут, захотела его слова испытать и велела Дафнису так, как это он делал обычно, заиграть для коз на свирели, обещав ему за игру подарить хитон, хламиду и обувь. Тогда, посадив гостей, как зрителей в театре, и ставши под буком, он вынул из сумки свирель; сперва заиграл он тихую песню — и козы все стали, головы кверху подняв; затем заиграл он песню для пастьбы — и козы стали пастись, опустивши головы; затем заиграл песню нежно-певучую, и козы сразу все улеглись; но вот заиграл он пронзительный напев — и козы, как будто бы волк приближался, в лес убежали; немного спустя заиграл он призывную — и, выйдя из леса, они сбежались к нему и у ног его собрались. Даже слуг не увидишь, чтобы так исполняли приказ господина. Все удивлялись, и больше всех Клеариста; клялась, что много подарков пришлет пастуху — такому красавцу, да к тому ж и музыканту. Потом они вернулись в дом; там они сели завтракать и от всего, что сами ели, Дафнису также много послали. Вместе с Хлоей он ел, наслаждался, пробуя хитрые кушанья городские, и крепко надеялся, что, попросив господина, он разрешенье получит на свадьбу.

16. Гнатон, еще больше распалившись похотью после того, что он видел у козьего стада, и считая, что ему жизнь не в жизнь, если Дафниса он не получит, подстерег Астила, когда тот в саду гулял, и, его заведя в храм Диониса, стал целовать ему руки и ноги. Когда же Астил стал допытываться, чего ради он делает это, велел ему все рассказать и поклялся, что все сделает для него, тогда Гнатон ему говорит: «Гибнет твой Гнатон, господин! Я, который до сих пор любил только твой стол; я, кто не раз клялся, что нет ничего прельстительнее старых вин; я, кто твоих поваров ценил выше всех митиленских отроков,— я теперь одного только Дафниса считаю прекрасным. К самой изысканной пище я даже не прикасаюсь, сколько бы каждый день ни готовили мяса ли, рыб иль медовых печений; с восторгом я, ставши козою, щипал бы траву и листья, свирель Дафниса слушая, под его надзором пасясь. Своего Гнатона спаси, любовь мою непобедимую победи, а не то, клянусь тобой, богом моим, что, взявши нож и хорошенько наевшись, убью себя перед дверью Дафниса. И уж больше не звать тебе меня Гнатончиком, как привык ты меня шутя называть».

В.Б.

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

17. Когда он заплакал и опять стал Астилу ноги целовать, юноша не устоял: от природы был он щедрым, да и с любовными муками сам был знаком; он обещал, что выпросит Дафниса у отца и возьмет его в город с собой, себе — рабом, а Гнатону — любовником. Желая, с своей стороны, его привести в настроение духа веселое, улыбаясь, стал его расспрашивать, не стыдно ль ему, что влюбился он в сына раба Ламона, что так не терпится ему возлечь с мальчиком, коз пасущим, и делал вид, что чувствует отвращение к вони козлиной. Гнатон же — ведь за попойками развратников он научился всякой любовной болтовне — не без ловкости вот что сказал о себе и о Дафнисе: «Ни одному влюбленному, господин, до этого дела нет: в каком бы виде он ни нашел красоту, он попадает к ней в плен; потому-то и влюбляются в дерево, в реку и в дикого зверя. Впрочем, кто не пожалеет влюбленного, которому надо бояться любимого? Вот и я люблю тело раба, но красоту — свободного. Разве не видишь, что кудри его, как гиацинт, из-под бровей глаза его блещут, как в оправе из золота драгоценные камни? Все лицо его румянец заливает, а рот полон зубов, белых, как слоновая кость. И какой влюбленный не мечтал бы получить с таких уст белоснежный поцелуй любви? А если влюбился я в того, кто стадо пасет, то в этом я богам подражаю: пастухом был Анхиз, а им Афродита овладела; пас коз Бранх, а его полюбил Аполлон, был пастушком Ганимед, а его владыка всех богов похитил. Не будем же и мы презирать мальчика, которому даже козы, как видели мы, повинуются, будто влюбленные. Воздадим благодарность орлам Зевса за то, что они такому красавцу еще жить на земле дозволяют».

18. Весело рассмеялся Астил, особенно над заключением этой речи, и, сказав, что Эрот хоть кого сделает великим софистом, стал выжидать удобного случая, когда бы он смог с отцом поговорить о Дафнисе. Но тайно услышал Эвдром все, что было говорено, и, любя Дафниса, которого славным юношей считал, и негодуя на то, что красота его поругана будет Гнатоном, все это тотчас передал он Дафнису и Ламону. Дафнис, потрясенный, уже думал с Хлоей вместе решиться бежать иль с собою покончить, и в этом к судьбе своей ее приобщив. Но Ламон, вызвав Мирталу из дому, сказал ей: «Конец нам, жена! Пришло время раскрыть тайну. Пропали козы мои, да и все прочее. Но Паном клянусь и нимфами, даже если мне, как говорится, быть быком в стойле предстоит, все же не смолчу о том, какова судьба

Дафниса, а расскажу, как нашел я его покинутым, как был он вскормлен, и покажу, что при нем нашел я. Пусть же узнает этот грязный Гнатон, кто таков он сам и кого посмел полюбить. Вынь-ка только мне эти приметные знаки — чтоб были они у меня под рукой».

19. Так порешивши, они опять в дом возвратились. Астил же, заметив, что отец ничем не занят, быстро к нему подошел и попросил позволенья Дафниса в город с собой увезти, говоря, что он очень красив, много лучше тех, что в деревне живут, и что в короткое время Гнатон сможет его научить городские работы все выполнять. Отец охотно дает ему разрешенье и велит послать за Ламоном с Мирталой; желая обрадовать их, он им сообщает, что в дальнейшем Дафнис ухаживать будет вместо коз иль козлов за Астилом, а Ламону обещает взамен Дафниса дать двух пастухов. И вот, когда все слуги сбежались, довольные тем, что сотоварищем по рабству будут иметь такого красавца, Ламон, попросив себе слова, начал так говорить: «Выслушай, о господин, от меня, старика, правдивый рассказ; Паном и нимфами тебе я клянусь, что не скажу ни слова ложного. Дафнису я не отец, не дано было счастья Миртале матерью стать. Другие родители его покинули, имея, наверное, уже более взрослых детей и новых иметь не желая; я же нашел его покинутым и моей козой вскормленным; и когда она умерла, около сада ее я зарыл,— любил я ее за то, что она была ему матерью. Я нашел и приметные знаки, с ним рядом положенные,— в этом я, господин, теперь признаюсь,— и их у себя сохраняю; эти знаки — знаки судьбы более высокой, чем наша. Чтоб Астилу был он рабом,— делом недостойным это я не считаю: красивому и доброму господину — красивый слуга. Но чтоб забавой для Гнатона он стал,— этого я снести не могу; ведь он старается его увезти в Митилену, чтоб чем-то вроде женщины сделать».

20. Сказавши все это, Ламон замолчал и залился слезами; когда же Гнатон стал его оскорблять и грозился избить, Дионисофан, пораженный рассказом, гневно нахмурившись, велел Гнатону молчать, а Ламона снова начал расспрашивать, велел говорить одну только правду и небылиц не выдумывать, чтобы сына при себе удержать. Но Ламон стоял на своем, клялся всеми богами и отдавал себя на пытку любую, если он лжет. Тогда Дионисофан, обращаясь к бывшей тут Клеариете, стал разду-

мывать над тем, что сказал Ламон: «Зачем бы Ламону лгать, раз он мог взамен получить одного или двух пастухов? Да и как простой поселянин такой хитрый рассказ мог бы выдумать? Разве сразу же не показалось странным, что у него, старика, и у матери очень невзрачной такой красавец сын родился?»

21. И решили они больше уже не гадать, но тотчас рассмотреть приметные знаки, правда ль, что это — знаки более славной, блестящей судьбы. Миртала пошла, чтобы все принести, что в старой сумке она берегла. Когда она их принесла, Дионисофан первым стал рассматривать их, и, увидав рубашонку пурпурную, золотую чеканную пряжку, ножик с ручкой из кости слоновой, он громко воскликнул: «Владыка Зевс!» — и тотчас жену он зовет, чтоб она посмотрела; она же, увидев, вскрикнула: «О, Мойры благие! Не те ли это вещи, что мы положили с нашим покинутым сыном? Не в эти ли места послали мы Софросину его отнести! Да, это не другие какие знаки, а те самые! Милый мой муж, это — наше дитя: Дафнис — твой сын, и пас он отцовских коз!»

22. Пока она еще говорила, а Дионисофан целовал приметные знаки и от избытка радости плакал, Астил, поняв, что он Дафнису брат, кинулся, сбросивши плащ, бежать через сад, первым желая Дафниса расцеловать. А Дафнис, увидев, что бежит он, а за ним целая толпа, и кричит: «Дафнис!» — подумал, что он хочет его схватить, бросил сумку свою и свирель и помчался к берегу моря, чтоб кинуться вниз с утеса высокого; и было бы вовсе странным судьбы решенье, если бы, только что обретенный, Дафнис погиб. Но понял Астил, что хочет он сделать, и вновь закричал: «Стой, Дафнис! Не бойся ты ничего; я тебе брат, а родители — те, кто были до этого дня господами твоими. Сейчас нам Ламон рассказал о козе и приметные знаки твои показал; обернись, посмотри: веселые, с радостным смехом идут все сюда. Но первым меня поцелуй. Нимфами я клянусь, что не лгу».

23. Насилу удалось Дафниса клятвой такой удержать; остановившись, ожидал он Астила бегущего, а когда тот подбежал, он его обнял, целуя; и, пока он его целовал, примчалась вся остальная толпа, и служанки, и слуги, подошел сам отец,

а с ним и мать. Все стали его обнимать, целовать, плача от радости. А он ласков был к отцу, и к матери более, чем ко всем другим; и как будто их знал он уже давно, к их груди прижимался он и объятий их покидать не хотел: так быстро заставляет поверить себе голос природы. На короткое время даже Хлою забыл он. И, вернувшись в дом, он надел дорогую одежду, и, севши рядом с родным отцом, от него услыхал он такой рассказ:

24. «Очень рано женился я, дети, и вскоре стал я, как думал, счастливым отцом. Первым сын родился у меня, затем дочь, и третьим Астил. И подумал я, что довольно уже детей у меня, и ребенка вот этого, последним на свет появившегося, я решился покинуть, положивши с ним эти вот вещи,— не как приметные знаки, а скорей как дары погребальные. Но судьба решила иначе. Старший сын мой и дочь в один день погибли от одной и той же болезни; тебя же мне промысл богов сохранил, чтоб была у нас не одна в старости опора. Не суди меня строго за то, что тебя я покинул; не с легким я сердцем решился на это; а ты, Астил, не печалься, что лишь половину получишь, не все мое состоянье. Для людей благоразумных нет приобретенья лучше, чем брат; любите друг друга, а что касается богатства, то с царями поспорить вы можете. Много земли я вам оставлю, много искусных рабов, золота, серебра, много другого всего, что есть у богатых людей; вот только особо Дафнису это поместье я отдаю вместе с Ламоном, Мирталой и теми козами, которых он пас».

25. Когда он еще говорил, Дафнис, вскочивши, сказал: «Вовремя ты мне напомнил, отец, я сейчас пойду отвести коз к водопою: они теперь хотят пить и ждут свирели моей, а я все еще тут сижу». Весело все засмеялись — став господином, он все еще хочет быть козопасом. Послали другого о козах позаботиться, а сами, жертву принесши Зевсу-спасителю, для всех устроили пир. На этот пир не пришел один лишь Гнатон, но, полный страха, провел он в храме Диониса день весь и ночь, бога моля о защите. Быстро по всей округе молва разнеслась, что Дионисофан нашел сына, что Дафнис-козопас оказался владельцем здешних мест; и с самого утра все отовсюду стали сбегаться, за юношу радуясь, отцу дары принося. В числе их первым был Дриас, который вырастил Хлою.

26. Дионисофан всех оставлял у себя, приглашая свидетелей этого счастливого события принять также участие и в празднике. Заготовлено было много вина, много хлеба, болотных птиц, поросяток молочных, разного рода печений медовых. Принесены были жертвы обильные местным богам. Тут Дафнис, собрав все свое достоянье пастушье, богам его посвятил. Дионису он посвятил сумку и козью шкуру; Пану — свирель и флейту кривую; нимфам же — посох свой и подойники: сам он их сделал. Все свое, привычное,— насколько милее оно неведомого еще богатства! И вот, расставаясь с каждой из своих вещей, Дафнис горько плакал; посвятил он свои подойники не раньше, чем в последний раз подоил, и козью шкуру свою в последний раз надел на себя, и на свирели своей, перед тем как посвятить ее, песню сыграл; все эти вещи он перецеловал, попрощался с своими козами и козла каждого по имени назвал. И попил он из ручья того, из которого часто пил вместе с Хлоей. В любви же своей признаться он еще не решался, удобного случая выжидая.

27. В то время как Дафнис жертвы богам приносил, вот что с Хлоей случилось. Сидела одна она, конечно плакала, пася своих овец, и говорила: «Забыл меня Дафнис! Мечтает он о богатых невестах. Зачем я велела ему вместо нимф клясться козами? Он покинул их так же, как покинул и Хлою. Даже когда приносил он жертву Пану и нимфам, не пожелал он Хлою увидеть. Наверно, нашел он у матери лучших прислужниц, чем я. Пусть будет он счастлив! А мне больше не жить».

28. Вот что она говорила, вот что замышляла. А в это время пастух Ламприс, пасший коров, явился сюда с кучкой поселян и похитил ее, думая, что Дафнис на ней теперь уж не женится и что Дриас будет к нему, Лампрису, благосклонен. С жалобным криком шла она следом за ним. Кто-то из тех, кто это видел, дал знать Напе, а та Дриасу. Дриас же Дафнису. Он чуть с ума не сошел: и сказать отцу не осмеливаясь и сил не имея горя вынести, он ушел в сад, громко стонал и так говорил: «Горе мне, что узнали меня! Насколько же лучше было мне пастухом оставаться! Насколько счастливее был я, пока был рабом! Тогда я на Хлою смотрел, тогда...[1]

[1] Текст в рукописях испорчен.

Теперь же Ламприс похитил ее и уводит с собой; а наступит ночь, и он ляжет с ней. Я же пью, наслаждаюсь; и напрасно я Паном, и козами, и нимфами клялся».

29. Эти речи Дафниса услышал Гнатон, в парке скрывавшийся; решив, что сейчас случай удобный ему представляется с Дафнисом вновь помириться, взял он с собой нескольких молодых слуг Астила, кинулся следом за Дриасом и, велев ему указывать путь к жилищу Ламписа, бросился бегом в погоню; захватил он его как раз, когда он вводил Хлою в свой дом; из рук у него вырвал он девушку, а бывших с ним поселян крепко избил. Он хотел связать Ламписа и увести его с собой словно пленника, на войне захваченного, но тот успел убежать. Дионисофана застал он уже спящим, а Дафнис, глаз не сомкнув, все еще плакал в саду. Он приводит Хлою к нему, ее отдает ему и рассказывает все как было; просит зла не помнить, а его, Гнатона, к себе взять небесполезным рабом, не лишать своего стола, без которого он умрет с голоду. Хлою свою увидав и держа ее в объятиях своих, Дафнис с ним примирился,— ведь столь большую ему оказал он услугу,— а ее умолял простить за его невнимание.

30. Между собой посоветовавшись, они решили свои мысли о свадьбе пока скрывать, спрятать Хлою здесь где-нибудь и признаться в своей любви только матери. Но не был с этим согласен Дриас; он требовал, чтоб обо всем сказали отцу, и обещал, что сумеет его убедить дать согласие. Когда день наступил, он, неся в сумке Хлои приметные знаки, пришел к Дионисофану и Клеариете, сидевшим в саду. Тут же был и Астил и Дафнис. Когда водворилось молчанье, начал он так говорить: «Такая ж нужда, как и у Ламона, заставляет меня говорить о том, что до сих пор я тайно хранил; эту Хлою не я родил, не я и вскормил; родили ее другие, а овца ее, в пещере нимф лежавшую, вскормила. Видел я это сам, увидав, изумился, а изумившись, воспитал. Свидетелем мне и ее красота,— она ведь ни в чем на нас не похожа; свидетели — и приметные знаки, слишком дорогие для пастухов. Взгляните на них и родных для этой девушки найдите; может быть, и окажется она Дафниса достойной».

31. И Дриас не без умысла сказал эти слова, и Дионисофан, их услыхав, без внимания не оставил; но, взглянувши на Дафниса, видя, как он побледнел и тайком утирает слезы, сразу догадался о его любви; и, конечно, больше заботясь о сыне своем родном, чем о чужой ему девушке, со всем тщанием стал Дриаса слова проверять. Когда же он увидал и приметные знаки — Дриас их с собою принес,— золоченые туфельки, браслеты, головную повязку, то, позвав к себе Хлою, велел ей духом не падать, говоря, что муж у нее уже есть, а скоро она найдет и отца с матерью. И Клеариста, принявши ее, стала ее украшать, будто жену сына, а Дионисофан, оставив с собою Дафниса с глазу на глаз, спросил его, Хлоя осталась ли девушкой? И когда Дафнис клятвенно заверил его, что, кроме поцелуев и клятв верности, ничего между ними не было, Дионисофан посмеялся над их страшными клятвами и возлечь за столом им велел.

32. И тут-то можно было понять, что такое красота, если ее приукрасить. Богато одетая, с волосами, красиво причесанными, с умытым лицом, Хлоя всем показалась настолько красивее, чем прежде, что даже сам Дафнис едва узнал ее. И всякий, даже и без знаков приметных, поклялся бы, что отцом ей не был Дриас. Тем не менее, вместе с другими, был и он с Напою на пиру, и пировали они, возлежа вместе с Ламоном и Мирталой. И вновь в последующие дни жертвы приносились, и чаши на стол ставились с вином; в свою очередь, Хлоя богам посвятила вещи свои — свирель, сумку, шкуру овечью, подойники; совершила она вином возлиянье ручью тому, что в пещере,— ведь рядом с ним была она вскормлена и часто в нем омывалась. И венками она убрала могилу овцы, что вскормила ее,— место Дриас указал. И сыграла она на свирели своим овечкам, а сыгравши, помолилась богиням, чтоб найти ей тех, кто покинул ее, и чтоб достойны оказались они брака ее с Дафнисом.

33. Когда довольно уже насладились они праздниками сельскими, решили в город вернуться, начать родителей Хлои там разыскивать и с браком не медлить. Утром, собравшись в дорогу, они подарили Дриасу другие три тысячи драхм, Ламону же дали пол-урожая с полей и виноградников, отдали коз вместе с козопасами, подарили четыре упряжки быков, одежды

на зиму и дали свободу ему и жене. После чего они с большой пышностью, кто верхом, а кто в колесницах, вернулись к себе в Митилену. Тогда прибытия их граждане не заметили, потому что приехали они ночью. Когда же день наступил, собралась у них дома большая толпа мужчин и женщин. Мужчины поздравляли Дионисофана, что сына нашел он, и еще горячее поздравлять стали, когда увидали красоту Дафниса; женщины же радовались вместе с Клеаристой, что сразу и сына с собой привезла она и невестку. Поразила Хлоя их своей красотой несравненной: весь город пришел в смятение из-за юноши с девушкой, уже сулили им счастливый брак и желали, чтоб родителей Хлоя нашла, достойных ее красоты, и многие очень богатые женщины молились богам, чтобы признаны были они матерями такой красавицы дочки.

34. Вот какой сон увидел Дионисофан, когда, после долгих размышлений, он крепко заснул. Привиделось ему, будто нимфы просят Эрота, чтоб устроил он наконец брак Дафниса с Хлоей, и будто, ослабив свой лук и колчан отложив, приказал он Дионисофану на пир пригласить всех знатнейших граждан Митилены и, когда наполнена будет последняя чаша, тогда показать каждому гостю Хлои приметные знаки, а затем спеть свадебный гимн. Увидев такой сон, услыхав такой приказ, Дионисофан, вставши утром, велит роскошный пир приготовить, ничего не жалея из того, что земля производит, моря, болота и реки; и на пир приглашает граждан Митилены виднейших. Когда же ночь наступила и была наполнена чаша, из коей обычно творят возлиянье Гермесу, один из слуг на серебряном блюде принес приметные знаки и, обходя гостей слева направо, всем их показывать стал.

35. Никто не признал их, только Мегакл, возлежавший на верхнем конце стола,— ибо был он стар,— как только их увидал, узнал и громко, словно помолодев, воскликнул: «Что такое я вижу? Что-то с тобой сталось, дочка моя? Неужели и сама ты цела или только вещи эти случайно какой-то пастух унес? Умоляю тебя, Дионисофан, скажи мне, откуда попали к тебе приметные знаки дочки моей? Не будь завистлив и, сам найдя Дафниса, дай и мне что-то найти!» Тогда Дионисофан предложил ему сперва рассказать, как он покинул ребенка, и Мегакл все так же громко рассказывать стал: «Беден я был в прежнее

время; все, что имел, я истратил тогда на устройство празднеств народу, на постройку военных судов. Так было дело, когда дочка у меня родилась. Боясь воспитать ее в бедности, я покинул ее, украсив этими знаками приметными: ведь знал я, что многие хотя бы и так стать отцами желают. И вот я покинул ребенка в пещере нимф, богиням его поручив. Ко мне с той поры что ни день, то богатство плыло, а наследника у меня уже не было. Не пришлось мне стать снова отцом хотя бы дочки другой; а боги, как будто смеясь надо мной, по ночам посылали мне сны, возвещая, что снова отцом овца меня сделает».

36. Громко вскрикнул Дионисофан, еще громче Мегакла; вскочил он с ложа и ввел сюда Хлою в чудесном наряде. И сказал: «Это вот дитя покинул ты, Мегакл! Эту девушку промыслом богинь вскормила тебе овца, как коза вскормила мне Дафниса. Возьми же себе свои приметные знаки и дочь; а взявши, отдай ее в жены Дафнису. Обоих мы покинули, обоих мы нашли, об обоих заботились Пан и нимфы с Эротом». Одобрил Мегакл его речи, послал за женой своей Родой и прижал к груди Хлою. Ночевать они остались здесь — Дафнис поклялся, что теперь уж ни с кем не отпустит он Хлою, даже с родным ее отцом.

37. С наступлением дня они, договорившись между собой, снова вернулись в деревню: очень уж об этом просили Дафнис и Хлоя — не могли они вынести жизни в городе. И родители их решили устроить им свадьбу пастушью. Прибывши к Ламону, они привели Дриаса к Мегаклу, а Роду с Напой познакомили и стали готовиться к пышному празднеству. И здесь вновь нимфам поручил Хлою отец, и в числе многих других приношений он посвятил им ее приметные знаки, а Дриасу добавил, чего ему не хватало до десяти тысяч драхм.

38. Чудесная стояла погода, и Дионисофан велел устроить ложа для пира из зеленой листвы тут же, перед пещерой, и, пригласив на пир всех окрестных поселян, роскошно их угостил. Были тут Ламон и Миртала, Дриас и Напа, родные Доркона, Филет и его сыновья, Хромис и Ликэнион; был тут даже и Лампис, получивший прощенье. И все было здесь так, как бывает на подобных пирах,— по-простому, по-деревенскому.

Один пел, как поют жнецы, другой отпускал задорные шутки, словно давил виноград на точилах; Филет играл на свирели, Ламприс на флейте, Дриас с Ламоном плясали, Дафнис и Хлоя целовались; а козы здесь же рядом паслись, словно и они принимали участие в празднестве. Гостям городским это не очень-то нравилось, зато Дафнис иных коз звал по имени, давал им зеленые ветки и, схватив за рога, целовал.

39. И так они проводили время не только в тот день,— бóльшую часть своей жизни они прожили по-пастушески: чтили богов — нимф, Пана и Эрота; приобрели большие стада овец и коз и самой вкусной пищей считали плоды с молоком. Когда сын родился у них, они дали его вскормить козе, а когда второй ребенок, дочь родилась, они подложили ее к сосцам овцы. И сына они назвали Филопеменом, а дочку Агелой. Так они и прожили по-пастушески до старости, пещеру украсили, картины поставили там и воздвигли алтарь в честь Эрота Пастыря, а для Пана устроили жилище не под сосной, а в храме и назвали тот храм храмом Пана Воителя.

40. Но все это они устроили и такие названия дали после. А в тот день, с наступлением сумерек, все проводили их до комнаты брачной, на свирелях, на флейтах играя, неся перед ними огромные факелы. Когда же провожатые к дверям приблизились, запели они голосами скрипучими, грубыми, будто вилами землю дробили, а не брачную песнь пели. А Дафнис и Хлоя легли на ложе нагие, друг друга обняли, целовались и бессонную ночь провели,— меньше спали, чем совы ночные. И все совершил Дафнис, чему научила его Ликэниор. И лишь тогда впервые поняла Хлоя, что все, чем в лесу они занимались, были всего только шутки пастушьи.

ПЕТРОНИЙ
САТИРИКОН

ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО
Б Я Р Х О

1.—...Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: «Эти раны я получил, сражаясь за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего».

Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво-пустых сентенций одна польза: стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще учатся говорить сладко да гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом.

2. Разве можно на такой пище добиться тонкого вкуса? Да не больше, чем благоухать, живя на кухне. О риторы, не во гнев вам будь сказано, вы-то и погубили красноречие! Из-за вашего звонкого пустословия сделалось оно общим посмешищем, по вашей вине бессильным и дряхлым стало тело речи. Юноши не упражнялись в «декламациях» в те времена, когда Софокл и Еврипид находили слова, какие были необходимы. Начетчик, не видавший солнца, еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать гомеровым стихом. Да что говорить о поэтах! Ведь ни Платон, ни Демосфен, конечно, не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, целомудренное красноречие

прекрасно своей природной красотой, а не вычурностью и напыщенностью. Лишь недавно это надутое, пустое многоречие прокралось в Афины из Азии и, словно вредоносная звезда, наслало заразу, овладевшую умами молодежи, стремящейся к возвышенному, и вот, когда подточены были законы красноречия, оно замерло в застое и онемело. Кто из потомков достиг славы Фукидида или Гиперида? Даже стихи более не блещут здоровым румянцем: все они точно вскормлены одной и той же нищей; ни одно не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того как наглость египтян донельзя упростила это высокое искусство.

3. Агамемнон не мог потерпеть, чтобы я дольше разглагольствовал под портиком, чем он потел в школе.

— Юноша,— сказал он,— речь твоя не считается со вкусами толпы и полна здравого смысла, что теперь особенно редко встречается. Поэтому я не скрою от тебя тайн нашего искусства. Менее всего виноваты в этом деле учителя, которым поневоле приходится бесноваться среди бесноватых. Ибо, начни учителя преподавать не то, что нравится мальчишкам,— «они остались бы в школах одни», как сказал Цицерон. В этом случае они поступают совершенно как льстецы-притворщики, желающие попасть на обед к богачу: только о том и заботятся, как бы сказать что-нибудь такое, что, по их мнению, приятно слушателям, ибо без силков лести им никогда не добиться своего. Вот так и учитель красноречия: если, подобно рыбаку, он не вденет на крючок ту приманку, на которую рыбешка наверняка клюнет, то и останется сидеть на скале без надежды на улов.

4. Что же следует из этого? Порицания достойны родители, не желающие воспитывать своих детей в строгих правилах. Во-первых, они и тут, как во всем прочем, свои надежды посвящают честолюбию. Во-вторых, торопясь скорее достичь желаемого, гонят недоучек на форум, и красноречие, которое, по их собственному признанию, стоит выше всего на свете, отдается в руки молокососов. Вот, если бы они допустили, чтобы учение шло постепенно, чтобы учащиеся юноши орошали душу лишь серьезным чтением и воспитывались по правилам мудрости, чтобы они безжалостно стирали все лишние слова, чтобы они внимательно прислушивались к речам тех, кому захотят подражать, и убеждались в том, что прельщающее их вовсе не великолепно,— тогда возвышенное красноречие обрело бы вновь достойное его величье. Теперь же мальчишки дурачатся в школах, а над юношами смеются на форуме, и хуже всего то, что кто смолоду плохо обучен, тот до старости в этом не сознáется.

Но дабы ты не возомнил, будто я не одобряю непритязательных импровизаций, вроде Луцилевых, я и сам то, что думаю, скажу стихами.

5. Науки строгой кто желает плод видеть,
Пускай к высоким мыслям обратит ум свой,
Суровым воздержаньем закалит нравы:
Тщеславно пусть не ищет он палат гордых,
К пирам обжор не льнет, как блюдолиз жалкий,
Не заливает пусть вином свой ум острый,
Пусть пред подмостками он не сидит днями,
С венком в кудрях, рукоплеща игре мимов.

Если же мил ему град Тритонии оруженосной,
Или по сердцу пришлось поселение лакедемонян,
Или постройка Сирен — пусть отдаст он поэзии юность,
Чтобы с веселой душой вкушать от струй меонийских.
После, бразды повернув, перекинется к пастве Сократа.
Будет свободно бряцать Демосфеновым мощным оружьем.

Далее — римлян толпа пусть обступит его и, изгнавши
Греческий звук из речей, их дух незаметно изменит.
Форум покинув, порой пусть заполнит страницу стихами,
Чтобы Фортуну воспеть и полет ее окрыленный.
Пой о пирах и о войнах сложи суровую песню,
В слоге возвышенном так с Цицероном бесстрашным сравнишься.
Вот чем тебе надлежит напоить свою грудь, чтоб широким
Вольным потоком речей излить пиэрийскую душу.

6. Я так заслушался этих слов, что не заметил исчезновения Аскилта. Пока я шагал по саду, все еще взволнованный сказанным, портик наполнился огромной толпой молодежи, возвращавшейся, как мне кажется, с импровизированной речи какого-то неизвестного, отвечавшего на «свазорию» Агамемнона. Пока эти молодые люди, осуждая строй речи, насмехались над ее содержанием, я потихоньку ушел, желая разыскать Аскилта. Но, к несчастью, я ни дороги точно не знал, ни местоположения нашей гостиницы не помнил. В какую бы сторону я ни направлялся — все приходил на прежнее место. Наконец, утомленный беготней и весь обливаясь потом, я обратился к какой-то старушонке, торговавшей овощами.

7. — Матушка,— сказал я,— не знаешь ли, часом, где я живу?

— Как не знать! — отвечала она, рассмеявшись столь глупой шутке. А сама встала и пошла впереди. Я решил в душе, что она ясновидящая... Вскоре, однако, эта шутливая старуха, заведя меня в глухой переулок, распахнула лоскутную завесу и сказала:

— Вот где ты должен жить.

Пока я уверял ее, что не знаю этого дома, я увидел внутри какие-то надписи, голых потаскушек и украдкой разгуливавших между ними мужчин. Слишком поздно я понял, что попал в трущобу. Проклиная вероломную старушонку, я, закрыв плащом голову, бегом бросился через весь лупанар в другой конец,— и вдруг, уже у самого выхода, меня нагнал Аскилт, тоже полумертвый от усталости. Можно было подумать, что его привела сюда та же старушонка. Я отвесил ему насмешливый поклон и осведомился, что, собственно, он делает в столь постыдном месте?

8. Он вытер руками пот и сказал:

— Если бы ты только знал, что со мною случилось!

— Почем мне знать,— отвечал я. Он же в изнеможении рассказал следующее:

— Я долго бродил по всему городу и никак не мог найти нашего пристанища. Вдруг ко мне подходит некий почтенный муж и любезно предлагает проводить меня. Какими-то темными закоулками он провел меня сюда и, вытащив кошелек, стал соблазнять меня на стыдное дело. Хозяйка уже получила плату за комнату, он уже вцепился в меня... и, не будь я сильней его, мне пришлось бы плохо...

Все они словно сатирионом опились...

Общими усилиями мы избавились от назойливого...

* * *

9. Наконец, как в тумане, завидел я Гитона, стоявшего на обочине переулка, и бросился туда же... Когда я обратился к нему с вопросом, приготовил ли нам братец что-нибудь на обед, мальчик сел на кровать и стал большим пальцем вытирать обильные слезы. Тронутый видом братца, я спросил, что случилось. Он ответил нехотя и нескоро, лишь после того как мои просьбы стали сердитыми.

— Этот вот, твой братец или товарищ, прибежал незадолго до тебя и стал посягать на мою чистоту. Когда же я закричал, он обнажил меч, говоря: — Если ты Лукреция, то я твой Тарквиний.

Услыхав это, я едва не выцарапал глаза Аскилту.

— Что скажешь ты, потаскуха мужского пола, чье самое дыхание нечисто? — кричал я.

Аскилт же, притворяясь страшно разгневанным и размахивая руками, заорал еще пуще меня:

— Замолчишь ли ты, гладиатор поганый, отброс арены! Замолчишь ли, ночной грабитель, никогда не преломивший

копья с порядочной женщиной, даже в те времена, когда ты был еще способен к этому! Ведь я точно так же был твоим братцем в цветнике, как этот мальчишка — в гостинице.

— Ты удрал во время моего разговора с наставником! — упрекнул его я.

10. — А что мне оставалось делать, дурак ты этакий? Я умирал с голоду. Неужто же я должен был выслушивать ваши рассуждения о битой посуде и цитаты из сонника? Поистине, ты поступил много гнуснее меня, когда расхваливал поэта, чтобы пообедать в гостях...

Так наша безобразная ссора разрешилась смехом, и мы мирно заговорили о другом...

Снова вспомнив обиды, я сказал:

— Аскилт, я чувствую, что у нас с тобой не будет ладу. Поэтому разделим наши общие пожитки, разойдемся и постараемся прогнать нашу бедность каждый порознь. И ты сведущ в словесности, и я. Но, чтобы тебе не мешать, я изберу другой род занятий, не то нам придется на каждом шагу сталкиваться, и мы скоро станем притчей во языцех.

Аскилт согласился.

— Сегодня,— сказал он,— мы, как риторы, приглашены на пир. Не будем попусту терять ночь. Завтра же, если угодно, я подыщу себе и другого товарища, и другое жилище.

— Глупо откладывать до завтра то, что хочешь сделать сегодня,— возразил я...

Страсть торопила меня к скорейшему разрыву. Уже давно жаждал я избавиться от этого несносного стража, чтобы снова взяться с Гитоном за старое <...>

* * *

12. Уже смеркалось, когда мы пришли на форум, где увидели целые груды товаров, недорогих, но сомнительного качества, что, однако, легко было скрыть в наступивших сумерках. По той же причине и мы притащили с собой украденный плащ и, воспользовавшись удобным случаем, устроились на углу и стали помахивать одной его полою, в расчете приманить покупателя столь роскошной вещью. Вскоре к нам подошел знакомый мне по виду поселянин, в сопровождении какой-то бабенки, и принялся внимательно рассматривать плащ. Аскилт, в свою очередь, уставился на плечи мужика-покупателя и от изумления остолбенел. Я тоже не без волнения посматривал на молодца: мне показалось, что это тот самый, который нашел

за городом мою тунику. Конечно, это был он! Но Аскилт боялся поверить своим глазам и, чтобы не действовать опрометчиво, стащил тунику с плеч мужика под предлогом, будто желает купить ее, и принялся внимательно ее ощупывать.

13. О, удивительная игра Судьбы! Мужик до сих пор не полюбопытствовал ощупать швы туники и продавал ее с отвращением, как нищенские лохмотья. Аскилт, убедившись, что сокровище неприкосновенно и что продавец — неважная птица, отвел меня в сторонку и сказал:

— Знаешь, братец, к нам вернулось сокровище, о котором я сокрушался. Эта самая милая туника, видимо, еще полна нетронутых золотых. Ну, что делать? На каком основании получить обратно нашу вещь?

Я, обрадованный не столько возвращением добычи, сколько тем, что фортуна сняла с меня позорное обвинение, отверг всяческие увертки и посоветовал добиваться своего по всем статьям гражданского права: если мужик откажется вернуть чужую собственность законным владельцам, то потребовать, чтобы на нее наложили арест.

14. Аскилт же, напротив, законов боялся.

— Кто нас здесь знает? — говорил он.— Кто поверит нашим словам? Пусть мы доподлинно уверены, что эта вещь наша, но все же мне больше улыбается купить ее и вернуть сокровище за небольшую плату, чем затевать тяжбу, которая неведомо чем кончится.

Чем нам поможет закон, если правят в суде только деньги,
Если бедняк никого не одолеет вовек?
Даже и те мудрецы, что котомку кошиков носят,
Тоже за деньги порой истине учат своей.
Приговор судей — товар, и может купить его каждый.
Всадник присяжный в суде платный выносит ответ.

Но в наличности у нас не было ничего, кроме дипондия, на который мы собирались купить гороха и волчьих бобов. Поэтому, чтобы добыча от нас не ускользнула, мы решили сбавить цену с плаща и выгодной сделкой возместить небольшую потерю. Когда мы объявили нашу цену, женщина с покрытой головой, стоявшая рядом с крестьянином, стала пристально рассматривать метки на плаще, а потом вдруг обеими руками вцепилась в подол и заголосила во все горло: «Держи воров!»

Мы же с перепугу ничего лучше не придумали, как, в свою очередь, ухватиться за грязную, рваную тунику и во всеуслышание объявить, что, дескать, эти люди завладели нашей одеждой. Но слишком неравным было наше положение, и сбежав-

шиеся на крик торгаши принялись — не без причин, конечно,— издеваться над нашей жадностью: ведь одна сторона требовала драгоценную одежду, а другая — лохмотья, которые и на лоскутное одеяло не годились. Но Аскилт живо унял смех и, когда молчание воцарилось, сказал:

15. — Как видно, каждому дорого свое: поэтому пусть берут свой плащ, а нам отдадут нашу тунику.

Предложение понравилось и крестьянину и женщине, но какие-то крючкотворы, а вернее сказать,— жулики, позарившись на плащ, громко потребовали, чтобы до завтра, когда судья разберет дело, обе вещи были переданы им на хранение. Дело, по их словам, было не только в вещах, из-за которых разгорелась тяжба, но и в том, что, видно, обе стороны можно заподозрить в воровстве,— вот в чем следовало разобраться.

Толпа одобрила конфискацию, и один из торгашей, лысый и прыщеватый, который, при случае, вел тяжбы, заграбастал плащ, уверяя, что представит его на следующий день. Впрочем, затея этих мошенников была ясна: просто они хотели присвоить попавший им в руки плащ, думая, что мы, испугавшись обвинения в воровстве, на суд не явимся. Того же самого хотели и мы. Таким образом, случай потворствовал и нашим и их желаниям. Мы потребовали, чтобы мужик выдал нашу тунику, и он в сердцах швырнул ее в лицо Аскилту и, таким способом избавившись от иска, велел нам сдать посреднику плащ, который теперь уже был единственным предметом спора...

Мы поспешно вернулись в гостиницу, уверенные, что наше сокровище снова у нас в руках, и, заперев двери, вдоволь нахохотались над догадливостью торгашей и кляузников, которые от большого ума отдали нам столько денег.

16. Едва принялись мы за изготовленный стараниями Гитона ужин, как раздался довольно решительный стук в дверь.

— Кто там? — спросили мы, побледнев с испуга.

— Открой,— был ответ,— и узнаешь.

Пока мы переговаривались, соскользнувший засов сам по себе упал, и настежь распахнувшиеся двери пропустили гостью.

Это была женщина под покрывалом, без сомнения, та самая, что несколько времени тому назад стояла рядом с мужиком на рынке.

— Смеяться, что ли, вы надо мною вздумали? — сказала она.— Я рабыня Квартиллы, чье таинство вы осквернили у входа в пещеру. Она сама пришла в гостиницу и просит

разрешения побеседовать с вами; вы не смущайтесь: она не осуждает, не винит вас за эту оплошность, она только удивляется, какой бог занес в наши края столь изысканных юношей.

17. Пока мы молчали, не зная, на что решиться, в комнату вошла сама госпожа в сопровождении девочки и, сев на моей постели, принялась плакать. Мы не могли вымолвить ни слова и, остолбенев, глядели на слезы женщины, проливаемые нарочно, чтобы всем показать ее горе. Когда же этот на зависть сделанный ливень наконец перестал свирепствовать, она обратилась к нам, сорвав с горделивой головы покрывало и так сжав руки, что суставы хрустнули:

— Откуда вы набрались такой дерзости? Где научились уловкам, в которых превзошли всех сказочных разбойников? Ей-богу, мне жаль вас, но еще никто безнаказанно не видел того, чего видеть не должно. Наша округа полным-полна богов-покровителей, так что бога здесь легче встретить, чем человека. Но не подумайте, что я ради мести сюда явилась: привело меня сострадание к вашей юности, а не моя обида. Думается мне, лишь по легкомыслию совершили вы сей неискупаемый проступок. Я промучилась всю сегодняшнюю ночь, меня охватил опасный озноб, и я испугалась — не приступ ли это третичной лихорадки. Я вопрошала исцеления во сне, и было мне знамение — обратиться к вам и укротить недуг указанной мне хитростью. Но не только об исцелении хлопочу я: большее горе запало мне в сердце и непременно сведет меня в могилу,— как бы вы, по юношескому легкомыслию, не разболтали виденное вами в святилище Приапа и не открыли черни божественных тайн. Посему простираю к коленам вашим молитвенно обращенные длани, прошу и умоляю: не смейтесь, не издевайтесь над ночными богослужениями, не открывайте встречному-поперечному вековых тайн, которых и тысяча человек не знает.

18. После этой мольбы она снова залилась слезами и, горько рыдая, прижалась лицом и грудью к моей постели.

Я, движимый одновременно жалостью и страхом, попросил ее ободриться и не сомневаться ни в том, что таинств мы не разгласим, ни в том, что мы готовы, если божество укажет ей еще какое-либо средство против лихорадки, прийти на помощь небесному промыслу, хотя бы с опасностью для жизни. После такого обещания женщина сразу повеселела, не отерев слез, засмеялась и стала целовать меня частыми поцелуями, а рукою, как гребнем, зачесывать мне волосы, спадавшие на уши.

— Итак, мир! — сказала она.— Я отказываюсь от иска. Но

если бы вы не захотели дать мне требуемое лекарство, то назавтра уже была бы готова целая толпа мстителей за мою обиду и поруганное достоинство.

Стыдно отвергнутой быть; но быть самовластной — прекрасно.
Больше всего я люблю путь свой сама избирать.
Если презреть мудреца, то и он начинает браниться.
Тот, кто врага не добьет,— тот победитель вдвойне...

Затем, захлопав в ладоши, она вдруг принялась так хохотать, что нам страшно стало. Смеялась и девчонка, ее сопровождавшая, смеялась и служанка, прежде вошедшая.

19. Все они гоготали, как мимы, мы же, не понимая причины столь быстрой перемены настроения, смотрели то на женщин, то друг на друга...

— По моему приказу ни единого смертного не пустят сегодня в эту гостиницу, ибо я желаю без долгих проволочек получить от вас лекарство против лихорадки.

При этих словах Квартиллы Аскилт немного опешил, я же сделался холоднее галльского снега и не мог проронить ни слова. Только малочисленность ее свиты немного меня успокаивала. Если бы они захотели на нас покуситься, то против нас, каких ни на есть, но мужчин,— были бы всего-навсего три слабые бабенки. Мы, несомненно, были боеспособнее, и я уже обдумал расстановку сил на случай, если бы пришлось драться: я справлюсь с Квартиллой, Аскилт — с рабыней, Гитон же — с девочкой...

Тут нас, онемевших от ужаса, окончательно покинуло всякое мужество, и предстала взору неминучая гибель...

20. — Умоляю тебя, госпожа,— сказал я,— если ты задумала что недоброе, кончай скорее: не так уж велик наш проступок, чтобы за него погибать под пытками...

Служанка, которую звали Психеей, между тем постлала на полу ковер... Аскилт закрыл голову плащом, зная по опыту, как опасно подсматривать чужие секреты... Рабыня вытащила из-за пазухи две тесьмы и связала ими нам руки и ноги...

* * *

— Как же так? Значит, я недостоин выпить? — спросил Аскилт, воспользовавшись минутой, когда болтовня несколько стихла.

Мой смех выдал каверзу служанки.

— Ну и юноша,— вскричала она, всплеснув руками,— один выпил столько сатириона!

— Вот как? — спросила Квартилла.— Энколпий выпил весь запас сатириона?..

...Вся тряслась, смеясь не без приятности... и даже Гитон не мог удержаться от хохота, в особенности, когда девчонка бросилась ему на шею и, не встречая сопротивления, осыпала его бесчисленными поцелуями...

21. Мы попробовали было позвать на помощь, но никто нас выручать не явился, да, кроме того, Психея, каждый раз, когда я собирался закричать «караул», начинала головной шпилькой колоть мне щеки; девчонка же, обмакивая кисточку в сатирион, мазала ею Аскилта... Напоследок явился кинэд в зеленой одежде из мохнатой шерсти, подпоясанный кушаком. Он то терся об нас раздвинутыми бедрами, то пачкал нас вонючими поцелуями. Наконец Квартилла, подняв хлыст из китового уса и высоко подпоясав платье, приказала дать нам, несчастным, передышку...

Оба мы поклялись священнейшей клятвой, что эта ужасная тайна умрет с нами...

Затем пришли палестриты и, по всем правилам искусства, умастили нас. Забыв про усталость, мы надели застольные одежды и были отведены в соседний покой, где стояло три ложа и вся обстановка отличалась роскошью и изяществом. Нас пригласили возлечь, угостили великолепной закуской, просто залили фалерном. После нескольких перемен нас стало клонить ко сну.

— Это что такое? — спросила Квартилла.— Вы собираетесь спать, хотя прекрасно знаете, что подобает чтить гений Приапа всенощным бдением?

22. Когда утомленного столькими бедами Аскилта окончательно сморило, отвергнутая с позором рабыня взяла и намазала ему, сонному, все лицо углем и разрисовала плечи и губы. Да и я, усталый от всех неприятностей, тоже чуть пригубил сна. Заснула и вся челядь в комнате и за дверями: одни валялись вперемешку у ног возлежавших, другие дремали, прислонившись к стенам, третьи примостились на пороге — голова к голове. Выгоревшие светильники бросали свет тусклый и слабый. В это время два сирийца прокрались в триклиний с намерением уворовать бутыль вина, но, от жадности подравшись на уставленном серебряной утварью столе, разбили ее. Стол с серебром опрокинулся, и упавший с высоты кубок чуть не размозжил голову рабыне, валявшейся на ложе. Она громко завизжала от боли, так что крик ее и воров выдал, и часть пьяных разбудил. Воры-сирийцы, поняв, что их сейчас поймают, тоже

растянулись вдоль ложа, словно они уже давно тут, и принялись храпеть, притворяясь спящими. Распорядитель пира подлил масла в полупотухшие лампы, мальчики, протерев глаза, вернулись к своей службе, и, наконец, вошедшая музыкантша, ударив в кимвал, пробудила всех.

23. Пир возобновился, и Квартилла снова призвала всех налечь на вино. Кимвалистка много способствовала веселью пирующих<...>

24. Гитон стоял тут же и чуть не вывихнул челюстей от смеха. Тут только Квартилла обратила на него внимание и спросила с любопытством:

— Чей это мальчик?

Я сказал, что это мой братец.

— Почему же, в таком случае,— осведомилась она,— он меня не поцеловал?

И, подозвав его к себе, подарила поцелуем.

Затем, засунув ему руку под одежду и найдя на ощупь неиспользованный еще сосуд, сказала:

— Это завтра послужит прекрасной закуской к нашим наслаждениям. Сегодня же после разносолов не хочу харчей.

25. При этих словах Психея со смехом подошла к ней и что-то неслышно шепнула.

— Вот, вот,— ответила Квартилла,— ты прекрасно надумала: почему бы нам сейчас не лишить девства нашу Паннихис, благо случай выходит?

Немедленно привели девочку, довольно хорошенькую, на вид лет семи, не более,— ту самую, что приходила к нам в комнату вместе с Квартиллой. При всеобщих рукоплесканиях, по требованию публики, стали справлять свадьбу. В полном изумлении я принялся уверять, что, во-первых, Гитон, стыдливейший отрок, не подходит для такого безобразия, да и лета девочки не те, чтобы она могла вынести закон женского подчинения.

— Да? — сказала Квартилла.— Но разве она сейчас младше, чем я была в то время, когда впервые отдалась мужчине? Да прогневается на меня моя Юнона, если я хоть когда-нибудь помню себя девушкой. В детстве я путалась с ровесниками, потом пошли юноши постарше, и так до сей поры. Отсюда, верно, и пошла пословица: «Кто поднимал теленка, поднимет и быка».

Боясь, как бы без меня с братцем не обошлись еще хуже, я присоединился к свадьбе.

26. Уже Психея окутала голову девочки огненного цвета фатой; уже кинэд нес впереди факел; пьяные женщины, рукоплеща, составили процессию и застлали брачное ложе непристойным покрывалом. Возбужденная этой сладострастной игрой, сама Квартилла встала и, схватив Гитона, потащила его в спальню. Без сомнения, мальчик не сопротивлялся, да и девчонка вовсе не была испугана словом «свадьба». Пока они лежали за запертыми дверьми, мы уселись на пороге спальни, впереди всех Квартилла, со сладострастным любопытством следившая через бесстыдно проделанную щелку за ребячьей забавой. Дабы и я мог полюбоваться тем же зрелищем, она осторожно привлекла меня к себе, обняв за шею, а так как в этом положении щеки наши соприкасались, то она время от времени поворачивала ко мне голову и как бы украдкой целовала меня...

* * *

Бросившись на свои постели, мы без страха проспали остальную часть ночи.

* * *

Настал третий день, день долгожданного свободного пира, но нам, получившим столько ран, более улыбалось бегство, чем покойное житье.

Итак, мы мрачно раздумывали, как бы нам отвратить надвигавшуюся грозу, как вдруг один из рабов Агамемнона испугал нас окриком.

— Как,— говорил он,— разве вы не знаете, у кого сегодня пируют? У Трималхиона, изящнейшего из смертных; в триклинии у него стоят часы, и к ним приставлен особый трубач, возвещающий, сколько часов жизни безвозвратно потерял хозяин.

Позабыв все невзгоды, мы тщательно оделись и велели Гитону, который охотно согласился выдать себя за нашего раба, следовать за нами в бани.

27. Одетые, разгуливали мы по баням — просто так, для своего удовольствия,— подходя к кружкáм играющих, как вдруг увидели лысого старика в красной тунике, игравшего в мяч с кудрявыми мальчиками. Нас привлекли не столько мальчики,— хотя и на них стоило посмотреть,— сколько сам почтенный муж в сандалиях, игравший зелеными мячами: мяч, коснувшийся земли, больше не поднимали, а свой запас игроки возобновляли из полной сумки, которую держал раб. Мы приметили одно новшество. По обеим сторонам круга стояли два евнуха:

один из них держал серебряный ночной горшок, другой считал мячи, но не те, которыми во время игры перебрасывались из рук в руки, а те, что падали наземь. Пока мы удивлялись этим роскошным прихотям, к нам подбежал Менелай.

— Вот тот, у кого вы сегодня обедаете, а вступлением к пиршеству уже сейчас любуетесь.

Еще во время речи Менелая Трималхион прищелкнул пальцами. По этому знаку один из евнухов подал ему горшок. Освободив свой пузырь, Трималхион потребовал воды для рук и, слегка смочив пальцы, вытер их о волосы одного из мальчиков.

28. Долго было бы рассказывать все подробности. Словом, мы отправились в баню и, пропотев как следует, поскорее перешли в холодное отделение. Там надушенного Трималхиона уже вытирали, но не полотном, а простынями из мягчайшей шерсти. Три массажиста пили у него на глазах фалерн; когда они, поссорившись, пролили много вина, Трималхион назвал это свиной здравицей. Затем его завернули в ярко-алую байку, он возлег на носилки и двинулся в путь, предшествуемый четырьмя медно-украшенными скороходами и ручной тележкой, в которой ехал его любимчик: старообразный, подслеповатый мальчишка, уродливее даже самого хозяина, Трималхиона. Пока его несли, над его головой, словно желая что-то шепнуть на ушко, склонялся музыкант, всю дорогу игравший на крошечной флейте. Мы же, вне себя от изумления, следовали за ним и вместе с Агамемноном пришли к дверям, на которых висело объявление, гласившее:

Если раб без господского приказа выйдет за ворота,
то получит сто ударов.

У самого входа стоял привратник в зеленом платье, подпоясанный вишневым поясом, и на серебряном блюде чистил горох. Над порогом висела золотая клетка, откуда пестрая сорока приветствовала входящих.

29. Задрав голову, чтобы рассмотреть все диковинки, я чуть было не растянулся навзничь и не переломал себе ног. Дело в том, что по левую руку, недалеко от каморки привратника, был нарисован на стене огромный цепной пес, а над ним большими прямоугольными буквами было написано:

Берегись собаки.

Товарищи мои захохотали. Я же, оправившись от испуга, не поленился пройти вдоль всей стены. На ней был изображен

невольничий рынок, и сам Трималхион, еще кудрявый, с кадуцеем в руках, ведомый Минервою, торжественно вступал в Рим (об этом гласили пояснительные надписи). Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил в надписях: и как Трималхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Трималхиона за подбородок, возносил его на высокую трибуну. Тут же была и Фортуна с рогом изобилия, и три Парки, прядущие золотую нить. Заметил я в портике и целый отряд скороходов, обучавшихся под наблюдением наставника. Кроме того, увидел я в углу большой шкаф, в нише которого стояли серебряные Лары, мраморное изображение Венеры и довольно большая засмоленная золотая шкатулка, где, как говорили, хранилась первая борода самого хозяина. Я расспросил привратника, что изображает живопись внутри дома.

— Илиаду и Одиссею,— ответил он,— и бой гладиаторов, устроенный Ленатом.

30. Но некогда было все разглядывать. Мы уже достигли триклиния, в передней половине которого домоправитель проверял счета. Но что особенно поразило меня в триклинии, так это пригвожденные к дверям ликторские пучки прутьев с топорами, оканчивающиеся внизу бронзовым подобием корабельного носа, на котором значилась надпись:

Г. Помпею Трималхиону, севиру августалов,
Киннам-казначей.

Надпись освещалась спускавшимся с потолка двурогим светильником, а по бокам ее были прибиты две доски; на одной из них, помнится, имелась нижеследующая надпись:

В третий день до январских календ и накануне
наш Гай обедает вне дома.

На другой же были изображены фазы Луны и ход семи светил, и равным образом обозначены разноцветными шариками дни счастливые и несчастливые. Достаточно налюбовавшись этим великолепием, мы хотели войти в триклиний, как вдруг мальчик, специально назначенный для этого, крикнул нам:

— Правой ногой!

Мы, конечно, немного потоптались на месте, опасаясь как бы кто-нибудь из нас не переступил через порог несогласно с предписанием. Наконец, когда все разом мы занесли правую ногу, неожиданно бросился перед нами навзничь уже раздетый для бичевания раб и стал умолять избавить его от казни,— не

велика вина, за которую его преследуют: он не устерег в бане одежды домоправителя, стоящей не больше десяти сестерциев. Каждый из нас вновь опустил правую ногу перед порогом, и все мы стали просить домоправителя, пересчитывавшего в триклинии червонцы, простить раба. Он гордо приосанился и сказал:

— Не потеря меня рассердила, а ротозейство этого негодного раба. Он потерял застольную одежду, подаренную мне ко дню рождения одним из клиентов. Была она, конечно, тирийского пурпура, но уже однажды мытая. Все равно! Ради вас прощаю.

31. Едва мы, побежденные таким великодушием, вошли в триклиний, раб, за которого мы просили, подбежал к нам и осыпал нас, остолбеневших от смущения, целым градом поцелуев, благодаря за милосердие.

— Впрочем,— говорил он,— вы скоро увидите, кого облагодетельствовали. Господское вино — вот благодарность раба-виночерпия.

Когда наконец мы возлегли, молодые александрийские рабы облили нам руки снежной водой, за ними последовали другие, омывшие нам ноги и старательно обрезавшие все заусенцы на пальцах. При этом они, не прерывая своего неприятного дела, все время, не смолкая, пели. Я пожелал узнать на опыте, вся ли челядь состоит из певчих, и попросил пить; услужливый мальчик исполнил мою просьбу, распевая так же пронзительно; и то же самое делали все, что бы у них ни попросили. Какая-то пантомима с хором, а не триклиний почтенного дома!

Между тем подали изысканную закуску; все возлегли на ложа, исключая только самого Трималхиона, которому, по новой моде, оставили высшее место за столом. Посреди подноса стоял ослик коринфской бронзы с вьюками вперемет, в которых лежали с одной стороны белые, а с другой — черные оливки. Над ослом возвышались два серебряных блюда, по краям их были выгравированы имя Трималхиона и вес серебра, а на спаянной подставке вроде мостика лежали жареные сони с приправой из мака и меда. Были тут также и горячие колбаски на серебряной решетке, а под решеткой — сирийские сливы и гранатовые зерна.

32. Мы наслаждались этими роскошествами, когда появился сам Трималхион; его внесли под звуки музыки и уложили на малюсеньких подушечках, что рассмешило неосторожных. Его скобленая голова высовывалась из ярко-красного паллия, а

вокруг и без того закутанной шеи он еще намотал шарф с широкой пурпурной оторочкой и свисающей там и сям бахромой. На мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное кольцо; на последнем же суставе безымянного, как мне показалось,— настоящее золотое, поменьше размером, с припаянными к нему железными звездочками. А чтобы выставить напоказ и другие драгоценности, он обнажил до самого плеча правую руку, украшенную золотым запястьем и еще скрепленным сверкающей бляхой браслетом из слоновой кости.

33. — Друзья,— сказал он, ковыряя в зубах серебряной зубочисткой,— не по душе еще было мне выходить в триклиний, но, чтобы не задерживать вас дольше, я отказываю себе во всех удовольствиях. Позвольте мне только окончить игру.

Следовавший за ним мальчик принес столик терпентинового дерева и хрустальные кости; я заметил нечто донельзя утонченное: вместо белых и черных камешков здесь были золотые и серебряные денарии. Пока он за игрой исчерпал все рыночные прибаутки, нам, еще во время закуски, подали репозиторий, а на нем корзину, в которой, растопырив крылья, как наседка на яйцах, сидела деревянная курица. Сейчас же прибежали два раба и под звуки пронзительной музыки принялись шарить в соломе; вытащив оттуда павлиньи яйца, они роздали их пирующим. Тут Трималхион обратил внимание на это зрелище и сказал:

— Друзья, я велел положить под курицу павлиньи яйца. И, ей-ей, боюсь, что в них уже цыплята вывелись. Попробуем-ка, съедобны ли они.

Мы взяли по ложке, весившей не менее полуфунта каждая, и вытащили яйца, слепленные из крутого теста. Я чуть было не бросил это яйцо: мне показалось, что в нем уже лежал цыпленок, но потом услыхал, как какой-то старый сотрапезник крикнул:

— Э, да тут, видно, что-то вкусное!

И, облупив яйцо рукою, я вытащил жирного винноягодника, приготовленного под соусом из перца и желтка.

34. Трималхион, прервав игру, потребовал себе всего, что перед тем ели мы, и громким голосом дал разрешение всякому, кто пожелает, требовать еще медового вина. В это время, по данному знаку, грянула музыка, и тотчас же поющий хор убрал подносы с закусками. В суматохе упало большое серебряное блюдо; один из мальчиков его поднял, но заметивший это Трималхион велел надавать рабу затрещин, а блюдо бросить обратно на пол. Явившийся буфетчик стал выметать серебро

вместе с прочим сором за дверь. Затем пришли два кудрявых эфиопа, оба с маленькими бурдюками вроде тех, из которых рассыпают песок в амфитеатрах, и омыли нам руки вином: воды никто не подал. Восхваляемый за такую утонченность, хозяин сказал:

— Марс любит равенство. Поэтому я велел поставить каждому особый столик. К тому же нам не будет так жарко от множества вонючих рабов.

В это время принесли старательно запечатанные гипсом стеклянные амфоры, на горлышках которых имелись ярлыки с надписью:

Опимианский фалерн. Столетний.

Когда надпись была прочтена, Трималхион всплеснул руками и воскликнул:

— Увы, увы нам! Так, значит, вино живет дольше, чем людишки! Посему давайте пить, ибо в вине жизнь. Я вас угощаю настоящим опимианским; вчера я не такое хорошее выставил, а обедали люди почище вас.

Мы пили и удивлялись столь изысканной роскоши. В это время раб притащил серебряный скелет, так устроенный, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны. Когда его несколько раз бросили на стол и он, благодаря подвижному сцеплению, принимал разнообразные позы, Трималхион воскликнул:

— Горе нам, беднякам! О, сколь человечишко жалок!
Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит.
Будем же жить хорошо, други, покуда живем.

35. Возгласы одобрения были прерваны появлением репозитория, по величине не совсем оправдавшего наши ожидания. Однако его необычность привлекла к нему все взоры. На круглом блюде были выложены кольцом двенадцать знаков Зодиака, причем на каждом кухонный архитектор разместил соответствующие яства. Над Овном — овечий горох, над Тельцом — говядину кусочками, над Близнецами — почки и тестикулы, над Раком — венок, над Львом — африканские фиги, над Девой — матку неогулявшейся свиньи, над Весами — настоящие весы с горячей лепешкой на одной чашке и пирогом на другой, над Скорпионом — морскую рыбку, над Стрельцом — лупоглаза, над Козерогом — омара, над Водолеем — гуся, над Рыбами — двух краснобородок. Посередке, на дернине с подстриженной травой, возвышался медовый сот. Египетский мальчик

обнес нас хлебом на серебряном противне, причем препротивным голосом выл что-то из мима «Лацерпициария».

Видя, что мы довольно кисло принялись за эти убогие кушанья, Трималхион сказал:

— Советую приступить к обеду. Это закон трапезы!

36. При этих словах четыре раба, приплясывая под музыку, подбежали и сняли с репозитория верхний поднос. И мы увидели другой поднос, а на нем птиц и свиное вымя, и посередине зайца, украшенного крыльями, как бы в виде Пегаса. На четырех углах подноса мы заметили четырех Марсиев, из мехов которых обильно вытекала подливка прямо на рыб, плававших точно в канале. Мы разразились рукоплесканиями, началу которым положили домочадцы, и весело принялись за изысканные кушанья.

— Режь! — воскликнул Трималхион, не менее всех восхищенный удачной выдумкой.

Сейчас же выступил вперед стольник и принялся в такт музыки резать кушанье с таким грозным видом, что казалось, будто эсседарий сражается под звуки водяного органа. Между тем Трималхион все время разнеженным голосом повторял:

— Режь! Режь!

Заподозрив, что в этом бесконечном повторении заключается какая-нибудь острота, я не постеснялся спросить о том соседа, возлежавшего выше меня.

Тот, часто видавший подобные шутки, ответил:

— Видишь раба, который режет кушанье? Его зовут Режь. Итак, восклицая: «Режь!» — Трималхион одновременно и зовет и приказывает.

37. Наевшись до отвалу, я обратился к своему соседу, чтобы как можно больше разузнать. Начав издалека, я осведомился, что за женщина мечется взад и вперед по триклинию.

— Жена Трималхиона,— ответил сосед,— по имени Фортуната. Мерами деньги считает. А недавно кем была? С позволения сказать, ты бы из ее рук куска хлеба не принял. А теперь ни с того ни с сего вознесена до небес. Всё и вся у Трималхиона! Скажи она ему в самый полдень, что сейчас ночь,— поверит! Сам он толком не знает, сколько чего у него имеется,— до того он богат. А эта волчица все насквозь видит, где и не ждешь. В еде и в питье умеренна, на совет торовата — золото, не женщина. Только зла на язык: настоящая сорока на перине. Кого полюбит — так полюбит, кого невзлюбит — так уж невзлюбит! Земли́ у Трималхиона — коршуну не облететь, деньгам счету нет; здесь в каморке привратника больше валяется серебра,

чем у иного за душой есть. А рабов-то, рабов-то, ой-ой-ой сколько! Честное слово, пожалуй, и десятая часть не знает хозяина в лицо. Словом, он любого из здешних балбесов в рутовый лист свернет.

38. И думать не моги, чтобы он что-нибудь покупал на стороне: шерсть, померанцы, перец — все дома растет; птичьего молока захочется — и то найдешь. Показалось ему, что домашняя шерсть недостаточно хороша, так он в Таренте баранов купил и пустил их в стадо. Чтобы дома производить аттический мед, он завез пчел из самых Афин,— кстати, и доморощенные пчелки станут показистее, благодаря гречаночкам. Да вот только на днях он написал в Индию, чтобы ему прислали семян шампиньонов. Если есть у него мул, то непременно от онагра. Видишь, сколько подушек? Все до единой набиты пурпурной или багряной шерстью. Вот какое ему счастье выпало! Но и его товарищей-вольноотпущенников остерегись презирать. И они не без сока. Видишь вон того, что возлежит на нижнем ложе последним? Теперь у него восемьсот тысяч сестерциев, а ведь начинал с пустого места: недавно еще бревна на спине таскал. Но говорят,— не знаю, правду ли, а только слышал,— что он стащил у Инкубона шапку и нашел клад. Я-то никогда не завидую, если кому что бог пошлет. Но у него еще щека горит, потому и хочется ему разгуляться. Недавно он вывесил такое объявление:

Г. Помпей Диоген сдает квартиру в июльские календы по случаю покупки собственного дома.

А тот, что возлежит на месте вольноотпущенников? Как здорово пожил! Я его не осуждаю. У него уже маячил перед глазами собственный миллион,— но свихнулся бедняга. Не знаю, есть ли у него на голове хоть единый волос, свободный от долгов! Но, честное слово, вина не его, потому что он сам отличный малый. Вся беда от подлецов вольноотпущенников, которые его добро на себя перевели. Сам знаешь: «Артельный котел плохо кипит», и «Где дело пошатнулось, там друзья за дверь». А каким почтенным делом занимался он, прежде чем дошел до теперешнего состояния! Он был устроителем похорон. Обедал словно царь: кабаны прямо в щетине, птица, печенья, повара, пекаря... вина́ под стол проливали больше, чем у иного в погребе хранится. Не человек, а сказка! Когда же дела его пошатнулись, он, боясь, что кредиторы сочтут его несостоятельным, выпустил следующее объявление:

Г. Юлий Прокул устраивает аукцион излишних вещей.

39. Трималхион перебил эти приятные речи. Когда убрали вторую перемену и повеселевшие гости принялись за вино, а разговор стал общим, Трималхион, приподнявшись на локте, сказал:

— Это вино вы сами должны подсластить: рыба посуху не ходит. Спрашиваю вас: как по-вашему, доволен ли я тем кушаньем, что вы видели на верхнем подносе репозитория? «Таким ли вы знали Улисса?» Что же это значит? А вот что! И за едой не надо забывать о словесности. Да почнет в мире прах моего патрона! Это он захотел сделать меня человеком среди людей. Для меня нет ничего неизвестного, как показывает это блюдо. Небо-то это, в котором обитают двенадцать богов, принимает раз за разом двенадцать видов и прежде всего становится Овном. Кто под этим знаком родился, у того будет много скота, много шерсти. Голова у него крепкая, лоб бесстыжий, рога острые. Под этим знаком родится много буквоедов и пройдох.

Мы рассыпались в похвалах остроумию новоявленного астронома. Он продолжал:

— Затем все небо становится Тельцом. Тогда рождаются такие, что лягнуть могут, и волопасы и те, что сами себя пасут. Под Близнецами рождаются парные кони, быки и шулята, и те, что двух маток сразу сосут. Под Раком родился я; потому-то я на многих ногах стою и на суше и на море многим владею, ибо Рак и тут и там на своем месте. Поэтому я давно уж ничего на этот знак не кладу, чтобы не отягощать своей судьбы. Подо Львом рождаются обжоры и властолюбцы. Под Девой — женщины, беглые рабы и колодники. Под Весами — мясники, парфюмеры и вообще те, кто что-нибудь отвешивает. Под Скорпионом — отравители и убийцы. Под Стрельцом — косоглазые, что на зелень косятся, а сало хватают. Под Козерогом — те, у которых от многих бед рога вырастают. Под Водолеем — трактирщики и тыквенные головы. Под Рыбами — повара и риторы. Так и вертится круг, подобно жернову, и всегда нелегкая так устраивает, что кто-нибудь либо рождается, либо помирает. И вон та дернина, что вы видите посредине, и медовый сот на ней — все это я не без причины устроил. Мать-земля посредине всего, она кругла, как яйцо, и заключает в себе все хорошее, точь-в-точь как сот.

40. «Браво!» — воскликнули мы все в один голос и, воздев руки к потолку, поклялись, что Гиппарха и Арата мы, по сравнению с ним, и за людей не считаем. Но тут появились рабы и постлали перед ложами ковры, на которых были изображены

В.Б.

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

охотники с рогатинами, а рядом сети и прочая охотничья утварь. Мы просто не знали, что и подумать, как вдруг за дверью триклиния раздался невероятный шум, и вот лаконские собаки забегали вокруг стола. Вслед за тем было внесено огромное блюдо, на котором лежал изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток: одну с карийскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг кабана лежали поросята из пирожного теста, будто присосавшись к вымени, что должно было изображать супорось; поросята предназначались в подарок нам. Рассечь кабана взялся не Режь, резавший ранее птицу, а огромный бородач в тиковом охотничьем плаще, с обмотками на ногах. Вытащив охотничий нож, он с силой ткнул кабана в бок, и из разреза выпорхнула стая дроздов. Птицеловы, стоявшие наготове с клейкими прутьями, скоро переловили разлетевшихся по триклинию птиц. Тогда Трималхион приказал дать каждому гостю по дрозду и сказал:

— Видите, какие отличные желуди сожрала эта дикая свинья?

Тут же рабы взяли из зубов кабана корзиночки и разделили финики обоих сортов между пирующими.

41. Между тем я, лежа на покойном месте, долго ломал голову, стараясь понять, зачем кабана подали в колпаке? Исчерпав все догадки, я обратился к своему прежнему толкователю за разъяснением мучившего меня вопроса.

— Твой покорный слуга легко объяснит тебе все,— ответил он,— никакой загадки тут нет, дело ясное. Вчера этого кабана подали на стол последним, и пирующие отпустили его на волю: итак, сегодня он вернулся на стол уже вольноотпущенником.

Я проклял свою глупость и решил больше его не расспрашивать, чтобы не казалось, будто я никогда с порядочными людьми не обедал. Пока мы так разговаривали, прекрасный юноша, увенчанный виноградными лозами, с корзинкой в руках обносил нас виноградом и, именуя себя то Бромием, то Лиэем, то Эвием, тонким, пронзительным голосом пел стихи своего хозяина. При этих звуках Трималхион обернулся к нему.

— Дионис,— вскричал он,— будь свободным!

Юноша стащил с кабаньей головы колпак и надел его.

— Теперь вы не станете отрицать,— сказал Трималхион,— что в доме у меня Либер-Отец.

Мы похвалили удачную остроту Трималхиона и прямо зацеловали обходившего триклиний мальчика.

После этого блюда Трималхион встал и пошел облегчиться. Мы же, освобожденные от присутствия тирана, стали вызывать сотрапезников на разговор. Дама первый потребовал большую братину и заговорил:

— Что такое день? Ничто. Не успеешь оглянуться,— уж ночь на дворе. Поэтому ничего нет лучше, как из спальни прямо переходить в триклиний. Ну и холод же нынче; еле в бане согрелся. Но «глоток горячего винца — лучшая шуба». Я клюкнул и совсем осовел... вино в голову ударило.

42. Селевк уловил отрывок разговора и сказал:

— Я не каждый день моюсь; банщик, что валяльщик; у воды есть зубы, и жизнь наша ежедневно подтачивается. Но я опрокину стаканчик медового вина, и наплевать мне на холод. К тому же я не мог вымыться: я сегодня был на похоронах. Добрейший Хрисанф, прекрасный малый, побывшился; так еще недавно окликнул он меня на улице; кажется мне, что я только что с ним разговаривал. Ох, ох! Все мы ходим точно раздутые бурдюки; мы сто́им меньше мухи: потому что и у мухи есть свои доблести,— мы же просто-напросто мыльные пузыри. А что было бы, если бы он не был воздержан? Целых пять дней ни крошки хлеба, ни капли воды в рот не взял и все-таки отправился к праотцам. Врачи его погубили, а вернее, злой Рок. Врач ведь — это только самоутешение. Вынос был что надо: роскошные ковры, великолепное погребальное ложе, и оплакали его на славу,— ведь он многих отпустил на волю; только жена плакала скверно. А что бы еще было, если бы он с ней не обращался так хорошо? Но женщина это женщина: коршуново племя. Никому не надо делать добра: все едино, что в колодец бросить. Но старая любовь цепка, как рак...

43. Он всем надоел, и Филерот вскричал:

— Поговорим о живых! Этот свое получил: в почете жил, с почетом помер. На что ему жаловаться? Начал он с одного асса и готов был из навоза зубами полушку вытащить. И так рос, пока не вырос, словно сот медовый. Клянусь богами, я уверен, что он оставил тысяч сто, и все звонкой монетой. Однако скажу о нем всю правду, потому в этом деле я семь собак без соли съел. Был он груб на язык, большой ругатель — свара ходячая, а не человек. Куда лучше был его брат: друзьям друг, хлебосол, щедрая рука. Поначалу ему не повезло, но первый же сбор винограда поставил его на ноги: он продавал вино почем хотел; а что окончательно заставило его поднять голову, так это наследство, из которого он больше украл, чем ему было завещано. А эта дубина, обозлившись на брата, оставил по за-

завещанию всю вотчину какому-то курицыну сыну. Дорожка от родных далеко заводит! Но были у него слуги-наушники, которые его погубили. Легковерие никогда до добра не доводит, особливо торгового человека. Однако верно, что он сумел попользоваться жизнью... Не важно, кому назначалось, важно, кому досталось. А уж его Фортуна любила, как родного сыночка. У него в руках и свинец в золото превращался. Легко тому, у кого все идет как по маслу. Как вы думаете, сколько лет унес он с собой в могилу? Семьдесят с лишком. А ведь он был крепкий, точно роговой, здорово сохранился, черен, что вороново крыло. Я с ним давным-давно знаком был. И до последних дней был распутником, ей-богу! Даже суке и то не давал проходу. И насчет мальчишек был горазд — вообще на все руки мастер. Я его не осуждаю: ведь больше ничего с собой в могилу не унесешь.

44. Так разглагольствовал Филерот; а вот что нес Ганимед:

— Говорите вы все ни к селу, ни к городу; почему никто не побеспокоится, что нынче хлеб кусаться стал? Честное слово, я сегодня кусочка хлеба найти не мог. А засуха-то все по-прежнему! Целый год голодаем. Эдилы,— чтоб им пусто было! — с пекарями стакнулись. Да, «ты — мне, я — тебе». Бедный народ страдает, а этим ненасытным глоткам всякий день Сатурналии. Эх, будь у нас еще те львы, каких я застал, когда только что приехал из Азии! Вот это была жизнь!.. Так били этих кикимор, что они узнали, как Юпитер сердится. Помню я Сафиния! Жил он (я еще мальчишкой был) вот тут, у старых ворот; перец, а не человек! Когда шел, земля под ним горела! Зато прямой! Зато надежный! И друзьям друг! С такими можно впотьмах в морру играть. А посмотрели бы вы в курии! Иного, бывало, так отбреет! А говорил без вывертов, напрямик. Когда вел дело на форуме, голос его гремел как труба. и никогда при этом он не потел и не плевался. Думаю, что это ему от богов дано было. А как любезно отвечал на поклон! Всех по именам знал, ну, прямо — свой брат. В те поры хлеб не дороже грязи был. Купишь его на асс — вдвоем не съесть; а теперь — меньше бычьего глаза. Нет, нет! С каждым днем все хуже; город наш, словно телячий хвост, назад растет! Да кто виноват, что у нас эдил трехгрошовый, которому асс дороже нашей жизни? Он втихомолку над нами посмеивается. А в день получает больше, чем иной по отцовскому завещанию. Уж я-то знаю, за что он получил тысячу золотых; будь мы настоящими мужчинами, ему бы не так привольно жилось. Нынче

народ такой: дома — львы, на людях — лисицы. Что же до меня, то я проел всю одежонку, и, если дороговизна продлится, придется и домишки мои продать. Что же это будет, если ни боги, ни люди не сжалятся над нашей колонией? Чтобы мне не видать радости от семьи, если я не думаю, что беда ниспослана нам небожителями. Никто небо за небо не считает, никто постов не блюдет, никто Юпитера и в грош не ставит; все только и знают, что добро свое считать. В прежнее время выходили именитые матроны босые, с распущенными волосами на холм и с чистым сердцем вымаливали воды у Юпитера,— и сразу лил дождь как из ведра. Сразу же или никогда. И все возвращались мокрые как мыши. А теперь у богов ноги не ходят из-за нашего неверия. Поля заброшены...

45. — Пожалуйста,— сказал Эхион-лоскутник,— выражайся приличнее. «Раз — так, раз — этак», как сказал мужик, потеряв пегую свинью. Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы жители здесь были людьми. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередничать: все под одним небом живем. Попади только на чужбину, так начнешь уверять, что у нас свиньи жареные разгуливают. Вот, например, будут нас угощать на праздники три дня подряд превосходными гладиаторскими играми; выступит труппа не какого-нибудь ланисты, а несколько настоящих вольноотпущенников. И Тит наш — широкая душа и горячая голова; так или этак, а ублажить сумеет, уж я знаю: я у него свой человек. Он ничего не делает вполсилы. Оружие будет дано первостатейное, удирать — ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему амфитеатру видно было. Благо средств-то у него хватит: тридцать миллионов сестерциев ему досталось, как бедняга отец его помер. Если он и четыреста тысяч выбросит, мошна его даже и не почувствует, а он увековечит свое имя. У него есть несколько парней и женщина-эсседария, и Гликонов казначей, которого накрыли, когда он забавлялся со своей госпожой. Увидишь, как народ разделится: одни будут за ревнивца, другие за любезника. И Гликон-то хорош! Самому грош цена, а казначея отдает зверям. Что называется, самого себя выставил на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что ему велят. Уж лучше бы эту ночную посудину бык посадил на рога. Но так всегда: кто не может по ослу, тот бьет по седлу. И как мог Гликон вообразить, что из Гермогенова отродья выйдет что-нибудь путное? Тот мог бы коршуну на лету когти подстричь. От змеи не родится канат. Гликон, один Гликон в накладе: на всю

жизнь пятно на нем останется, и разве что смерть его смоет! Но всякий сам себе грешен. Да вот еще: есть у меня предчувствие, что Маммея нам скоро пир задаст,— там-то уж и мне и моим по два денария достанется. Если он сделает это, то Норбану уже не бывать любимцем народа: вот увидите, он теперь обгонит его на всех парусах. Да и вообще, что хорошего сделал нам Норбан? Дал гладиаторов грошовых, полудохлых,— дунешь на них, и повалятся; и бестиариев я видал получше; всадники, которых он выставил на убой,— точь-в-точь человечки с ламповой крышки! Сущие цыплята; один — увалень, другой — кривоногий; а терциарий-то! За мертвеца мертвец с подрезанными жилами. Пожалуй, еще фракиец был ничего себе; да и тот дрался разве что по правилам. Словом, всех после секли, а публика так и кричала: «Наддай!» Настоящие зайцы! Он скажет: «Я вам устроил игры»,— а я ему: «А мы тебе хлопаем». Посчитай, и увидишь, что я тебе больше даю, чем от тебя получаю. Рука руку моет.

46. Мне кажется, Агамемнон, ты хочешь сказать: «Чего тараторит этот надоеда?» Но почему же ты, записной краснобай, ничего не говоришь? Ты не нашего десятка, вот и смеешься над речами бедных людей. Мы-то знаем, что ты от большой учености свихнулся. Но это не беда. Уж когда-нибудь я тебя уговорю приехать ко мне на хутор, посмотреть наш домишко; найдется, чем перекусить: яйца, курочка. Хорошо будет, хоть в этом году погода и испакостила весь урожай. А все-таки разыщем, чем червяка заморить. Потом и ученик тебе растет — мой парнишка. Он уже и делить на четыре может. Вырастет, к твоим услугам будет. И теперь все свободное время не поднимает головы от таблиц; умненький он у меня и поведения хорошего, только очень уж птицами увлекается. Я уж трем щеглам головы свернул и сказал, что их ласка съела. Но он нашел другие забавы и рисовать любит. Кроме того, начал он уже греческий учить, да и за латынь принялся не плохо, хотя учитель его слишком уж стал самодоволен, не сидит на одном месте. Приходит и просит дать книгу, а сам работать не желает. Есть у него и другой учитель, не очень ученый, да зато старательный; учит и тому, чего сам не знает. Он приходит к нам обыкновенно по праздникам и всем доволен, что ему ни дай. Недавно купил я сыночку несколько книг с красными строками: хочу, чтобы понюхал немного законы для ведения домашних дел. Занятие это хлебное. В словесности он уж довольно испачкался. Если она ему опротивеет, я его какому-нибудь ремеслу обучу; отдам, например, в цирюльники, в глашатаи

или, скажем, в стряпчие. Это у него одна смерть отнять может. Каждый день я ему твержу: «Помни, первенец: все, что зубришь, для себя зубришь. Посмотри на Филерона, стряпчего: если бы он не учился, давно бы с голоду подох. Не так давно еще был разносчиком, а теперь с самим Норбаном потягаться может. Наука — это клад, и искусный человек никогда не пропадет».

47. В таком роде шла болтовня, пока не вернулся Тримальхион. Он отер пот со лба, вымыл в душистой воде руки и сказал после недолгого молчания:

— Извините, друзья, но у меня уже несколько дней нелады с желудком; врачи теряются в догадках. Облегчили меня гранатовая корка и хвойные шишки в уксусе. Надеюсь, теперь мой желудок за ум возьмется. А то — как забурчит у меня в животе, подумаешь, бык заревел. Если и из вас кто надобность имеет, так пусть не стесняется. Никто из нас не родился запечатанным. Я лично считаю, что нет большей муки, чем удерживаться. Этого одного сам Юпитер запретить не может. Ты смеешься, Фортуната? А кто мне ночью спать не дает? Никому в этом триклинии я не хочу мешать облегчаться; да и врачи запрещают удерживаться, а если кому потребуется что-нибудь посерьезнее, то за дверьми все готово: сосуды, вода и прочие надобности. Поверьте мне, ветры попадают в мозг и производят смятение во всем теле. Я знавал многих, которые умерли от того, что не решались в этом деле правду говорить.

Мы благодарили его за снисходительность и любезность и успленной выпивкой старались подавить смех. Но мы не подозревали, что еще не прошли, как говорится, и полпути до вершины всех здешних роскошеств. Когда со стола под звуки музыки убрали посуду, в триклиний привели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее, глашатай объявил, что это — двухлетка, трехлетка и шестилетка. Я вообразил, что пришли фокусники и свиньи станут выделывать какие-нибудь штуки, словно перед кружком уличных зевак. Но Тримальхион рассеял недоумение.

— Которую из них вы хотите сейчас увидеть на столе? — спросил он.— Потому что петухов, Пенфеево рагу и прочую дребедень и мужики изготовят; мои же повара привыкли и цельного теленка в котле варить.

Тотчас же он велел позвать повара и, не ожидая нашего выбора, приказал заколоть самую крупную.

— Ты из которой декурии? — повысив голос, спросил он.

— Из сороковой,— отвечал повар.

— Тебя купили или же ты родился в доме?

— Ни то, ни другое,— отвечал повар,— я достался тебе по завещанию Пансы.

— Смотри же, хорошо приготовь ее. А не то я тебя в декурию посыльных разжалую.

Повар, познавший таким образом могущество своего господина, последовал за своей будущей стряпней на кухню.

48. Трималхион же, любезно обратившись к нам, сказал:

— Если вино вам не нравится, я скажу, чтобы переменили; а вас прошу придать ему вкус своею беседой. По милости богов, я ничего не покупаю, а все, от чего слюнки текут, произрастает в одном моем пригородном поместье, которого я даже еще и не видел. Говорят, оно граничит с моими террацинскими и тарентийскими землями. Теперь я хочу прикупить себе и Сицилию, чтобы, если мне вздумается проехаться в Африку, не выезжать из своих владеньиц. Но расскажи нам, Агамемнон, какую такую речь ты сегодня произнес? Я хотя лично дел и не веду, тем не менее для домашнего употребления красноречию все же обучался, не думай, пожалуйста, что я пренебрегаю ученьем. Теперь у меня три библиотеки: одна греческая, другая латинская. Скажи поэтому, если любишь меня, резюме твоей речи.

— Богатый и бедняк были врагами,— начал Агамемнон.

— Бедняк? Что это такое? — перебил его Трималхион.

— Остроумно,— похвалил его Агамемнон и изложил затем содержание не помню какой контроверсии.

— Если это на самом деле случилось,— тотчас заметил Трималхион,— то это вовсе не контроверсия. Если же этого не было, тогда все и подавно ни к чему.

Это, как и все прочее, было встречено всеобщим одобрением.

— Агамемнон, милый мой,— продолжал между тем Трималхион,— прошу тебя, расскажи нам лучше, если помнишь, о странствованиях Улисса, как ему Полифем палец щипцами вырвал, или о двенадцати подвигах Геркулеса. Я еще в детстве об этом читал у Гомера. А то еще видал я Кумскую Сибиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: *«Сибилла, чего тебе надо?»*, а она в ответ: *«Помирать надо»* [1].

49. Трималхион все еще разглагольствовал, когда подали блюдо с огромной свиньей, занявшее весь стол. Мы были поражены быстротой и поклялись, что даже куренка в такой

[1] Слова, набранные курсивом, в оригинале — по-гречески. *(Ред.)*

небольшой срок вряд ли зажаришь, тем более, что эта свинья нам показалась намного больше съеденного незадолго перед тем кабана... Но Трималхион все пристальнее и пристальнее всматривался в нее.

— Как? Как? — вскричал он.— Свинья не выпотрошена?! Честное слово, не выпотрошена! Позвать, позвать сюда повара!

К столу подошел опечаленный повар и заявил, что он забыл выпотрошить свинью.

— Как это так забыл? — заорал Трималхион.— Подумаешь, он забыл перцу или тмину! Раздевайся!

Без промедления повар разделся и, понурившись, стал между двух истязателей. Все стали просить за него, говоря:

— Это бывает. Пожалуйста, прости его; если он еще раз сделает, никто из нас не станет за него просить!

Один я только поддался неумолимой жестокости и шепнул на ухо Агамемнону:

— Этот раб, видно, никуда не годен! Кто же это забывает выпотрошить свинью? Я бы не простил, если бы он даже рыбешку не выпотрошил!

Но Трималхион поступил иначе; с повеселевшим лицом он сказал:

— Ну, если ты такой беспамятный, вычисти-ка эту свинью сейчас, на наших глазах.

Повар снова надел тунику и, вооружившись ножом, дрожащей рукой полоснул свинью по брюху кресть-накрест. И сейчас же из прореза, поддаваясь своей тяжести, градом посыпались кровяные и жареные колбасы.

50. Вся челядь громкими рукоплесканиями приветствовала эту шутку и возопила: «Да здравствует Гай!» Пóвара же почтили глотком вина, а также поднесли ему венок и кубок на блюде коринфской бронзы. Заметив, что Агамемнон внимательно рассматривает это блюдо, Трималхион сказал:

— Только у меня одного и есть настоящая коринфская бронза.

Я ожидал, что он, по своему обыкновению, из хвастовства скажет, что ему привозят сосуды прямо из Коринфа. Но вышло еще чище.

— Вы, наверно, спросите, как это так я один владею коринфской бронзой,— сказал он.— Очень просто: медника, у которого я покупаю, зовут Коринфом; что же еще может быть более коринфского, чем изделия Коринфа? Но не думайте, что я невежда необразованный и не знаю, откуда эта самая брон-

за получилась. Когда Илион был взят, Ганнибал, большой плут и мошенник, свалил в кучу все статуи — и золотые, и серебряные, и медные — и кучу эту поджег. Получился сплав. Ювелиры теперь пользуются им и делают чаши, блюда, фигурки. Так и образовалась коринфская бронза — ни то ни се, из многого одно. Простите меня, но я лично предпочитаю стекло. Оно, по крайности, не пахнет. И, по мне, оно было бы лучше золота, если бы не билось; в теперешнем же виде оно, впрочем, не дорого стоит.

51. Однако был такой стекольщик, который сделал небьющийся стеклянный фиал. Он был допущен с даром к Цезарю и, попросив фиал обратно, перед глазами Цезаря бросил его на мраморный пол. Цезарь прямо-таки насмерть перепугался. Но стекольщик поднимает фиал, погнувшийся, словно какая-нибудь медная ваза, вытаскивает из-за пояса молоточек и преспокойно исправляет фиал. Сделав это, он вообразил, что уже схватил Юпитера за бороду, в особенности, когда император спросил его, знает ли еще кто-нибудь способ изготовления такого стекла. Стекольщик, видите ли, и говорит, что нет; а Цезарь тут же велел отрубить ему голову, потому что, если бы это искусство стало всем известно, золото ценилось бы не дороже грязи.

52. Я теперь большой любитель серебра. У меня одних ведерных сосудов штук около ста. На них вычеканено, как Кассандра своих сыновей убивает: детки мертвые — просто как живые лежат. Потом есть у меня жертвенная чаша, что оставил мне один из моих хозяев; на ней Дедал Ниобу прячет в Троянского коня. А бой Петраита с Гермеротом вычеканен у меня на бокалах, и все они претяжелые. Я знаток в таких вещах, и это мне дороже всего.

Пока он все это рассказывал, один из рабов уронил чашу.

— Живо,— крикнул Трималхион, обернувшись,— отхлестай сам себя, раз ты ротозей.

Раб уже жалобно скривил рот, чтобы умолять о пощаде, но Трималхион перебил его:

— О чем ты меня просишь? Словно я тебя трогаю? Советую попросить самого себя и не быть ротозеем.

Наконец, уступая нашим просьбам, он простил раба. Освобожденный от наказания стал обходить кругом стола...

— Воду за двери, вино на стол! — закричал [Трималхион]...

Мы громко одобрили остроумную шутку, и пуще всех Агамемнон, знавший, чем заслужить приглашение и на следую-

щий пир. Между тем, довольный восхвалениями, Трималхион стал пить веселей. Скоро он был уже вполпьяна.

— А что же,— сказал он,— никто не попросит мою Фортунату поплясать? Поверьте, лучше нее никто кордака не станцует.

Тут сам он, подняв руки над головой, принялся изображать сирийского мима, причем ему подпевала вся челядь: *«Пляши, плешивый!»* Я думаю, он бы и на середину выбрался, если бы Фортуната не шепнула ему что-то на ухо: должно быть, она сказала, что не подобает его достоинству такое шутовство. Никогда еще я не видал такой нерешительности: он то боялся Фортунаты, то поддавался своей природе.

53. Но конец этому плясовому зуду положил письмоводитель, возгласивший громко, словно он столичные новости выкрикивал:

— За семь дней до календ секстилия в поместье Трималхиона, что близ Кум, родилось мальчиков тридцать, девочек сорок. Свезено на гумно модиев пшеницы пятьсот тысяч, быков пригнано пятьсот. В тот же день прибит на крест раб Митридат за непочтительное слово о Гении нашего Гая. В тот же день отосланы в кассу девять миллионов сестерциев, которые некуда было деть. В тот же день в Помпеевых садах случился пожар, начавшийся во владении Насты-приказчика.

— Как? — сказал Трималхион.— Да когда же купили мне Помпеевы сады?

— В прошлом году,— ответил писец,— и потому они еще не внесены в списки.

— Если в течение шести месяцев,— вспылил Трималхион,— я ничего не знаю о каком-либо купленном для меня поместье, я раз навсегда запрещаю вносить его в опись.

Затем были прочтены распоряжения эдилов и завещания лесничих, в коих Трималхион особой статьей лишался наследства. Потом — список его приказчиков; акт о расторжении брака ночного сторожа и вольноотпущенницы, которая была обличена мужем в связи с банщиком; указ о ссылке домоправителя в Байи; о привлечении к ответственности казначея, а также решение тяжбы двух спальников.

Между тем в триклиний явились фокусники: какой-то нелепейший верзила поставил на себя лестницу и велел мальчику лезть по ступеням и на самом верху танцевать под звуки песенок; потом заставлял его прыгать через огненные круги и держать зубами урну. Один лишь Трималхион восхищался этими штуками, сожалея только, что это искусство неблаго-

дарное, и говоря, что он, впрочем, только два вида зрелищ смотрит с удовольствием: фокусников и трубачей; все же остальное — животные, музыка — просто чепуха. «Я,— говорил он,— и труппу комедиантов купил, но заставил их разыгрывать мне ателланы и приказал начальнику хора петь по-латыни».

54. При этих словах Гая мальчишка-фокусник свалился прямо на Трималхиона. Поднялся громкий вопль: орали и вся челядь, и гости,— не потому, что беспокоились участью дрянного человечишки: каждый из нас был бы очень рад, если б он сломал себе шею,— но все перепугались, как бы не закончилось наше веселье несчастием и не пришлось бы нам оплакивать чужого мертвеца. Между тем Трималхион, испуская тяжкие стоны, беспомощно склонился на руки, словно и впрямь его серьезно ранили. Со всех сторон к нему бросились врачи, а впереди всех Фортуната, распустив волосы, с кубком в руке и причитая, что несчастнее ее нет на свете женщины. Свалившийся мальчишка припадал к ногам то одного, то другого из нас, умоляя о помиловании. Мне было не по себе, так как я подозревал, что все эти мольбы — только еще какой-нибудь дурацкий сюрприз. У меня из головы еще не выходил повар, позабывший выпотрошить свинью. Поэтому я принялся внимательно осматривать триклиний, ожидая, что вот-вот появится из стены какая-нибудь штуковина, в особенности, когда стали бичевать раба за то, что он обвязал ушибленную руку хозяина белой, а не красной шерстью. Мое предчувствие меня почти не обмануло: вышло от Трималхиона решение — мальчишку отпустить на волю, дабы никто не осмелился утверждать, что раб ранил столь великого мужа.

55. Мы одобрили его поступок; по этому поводу зашел у нас разговор о том, как играет случай жизнью человека.

— Стойте,— сказал Трималхион,— нельзя, чтобы такое событие не было увековечено надписью.— Сейчас же потребовал он себе таблички и, по недолгом раздумии, прочел нам такие перекошенные стихи:

То, чего и не ждешь, иногда наступает внезапно,
Ибо все наши дела вершит своевольно Фортуна.
Вот почему наливай, мальчик, нам в кубки фалерн.

За разбором эпиграммы разговор перешел на стихотворцев, и долго обсуждалось первенство Мопса Фракийского, пока Трималхион не сказал:

— Открой мне, пожалуйста, учитель, какая разница, по-твоему, между Цицероном и Публилием. По-моему, один красноречивее, другой — добродетельнее. Можно ли сказать что-нибудь лучше этого:

Разрушит скоро роскошь стены Марсовы...
Павлина в пестрой вавилонской вышивке
Раскармливают в клетке для пиров твоих,
С ним каплунов и жирных нумидийских кур.
И цапля также, стражница залетная,
Пиэты тонконогая танцовщица,
Предвестница тепла, зимы изгнанница,—
В котле кутилы ныне вьет гнездо свое.
Зачем вам нужен жемчуг, бисер Индии?
Чтоб шла жена в жемчужном ожерелии
К чужому ложу поступью распутною?
К чему смарагд зеленый, стекла ценные,
Из Кархедона камни огнецветные?
Ужели честность светится в карбункулах?
Зачем дарить невесте ткань воздушную?
Чтоб голой быть при всех в одежде облачной?

56.— А чье, по-вашему,— продолжал он,— самое трудное занятие, после словесности? По-моему, лекаря и менялы. Лекарь знает, что́ в нутре у людишек делается и когда будет приступ лихорадки. Я, впрочем, их терпеть не могу: больно часто они мне анисовую воду прописывают. Меняла же сквозь серебро медь видит. А из тварей бессловесных трудолюбивее всех волы да овцы: волы, ибо по их милости мы хлеб жуем, овцы, потому что их шерсть делает нас франтами. И — о, недостойное злодейство! Иной носит тунику, а ест баранину. Пчел же я считаю тварями божественными, ибо они плюются медом; хотя и говорят, что они его приносят от самого Юпитера; если же иной раз и жалят, то ведь где сладко, там и горько.

Трималхион собирался уже отбить хлеб у философов, но тут как раз стали обносить жребии в кубке, а раб, приставленный к этому делу, выкликал выигрыши.

— Свинячье серебро! — принесли окорок, на котором стояли серебряные уксусницы.

— Пир и рог! — принесли пирог.

— Багор и плот! — подали багровое яблоко на палочке.

— Порей и груши! — Выигравший получил кнут (чтобы пороть) и игрушечный нож.

— Сухари и мухоловка! — изюм и аттический мед.

— Застольное и выходное! — пирожок и дощечки (для ношения на улице).

— Собачье и ножное! — были даны заяц и сандалии.

— Под мышкой гадость, а сверху сладость! — оказалась мышь, привязанная на спину лягушки, и связка свеклы.

Долго мы хохотали. Было еще множество штук в том же роде, но я их не запомнил.

57. Так как Аскилт, в необузданной веселости, хохоча до слез и размахивая руками, издевался над всем, то соотпущенник Трималхиона, тот самый, что возлежал выше меня, обозлился и заговорил:

— Чего ты смеешься, баран? Не нравится, видно, тебе роскошь нашего хозяина? Видно, ты привык жить богаче и пировать слаще? Да поможет мне Тутела этого дома! Если бы я возлежал рядом с ним, уж я бы заткнул ему блеялку. Хорош фрукт — еще смеет издеваться над другими! Какая-то кикимора,— шут его знает! — бездомовник, собственного дерьма не стоящий! Одним словом, если я вокруг него насикаю, он и выйти из круга не сможет. Право, меня не легко рассердить, но в мягком мясе черви заводятся. Смеется! Ему, видите ли, смешно! Подумаешь, его отец не зачал, а на вес серебра купил! Ты — римский всадник! Ну, так я — царский сын. Так почему же я стал рабом? Да я сам добровольно пошел в рабство, предпочитал со временем сделаться римским гражданином, чем вечно платить подать. А теперь я так живу, что меня никто не засмеет. Человеком стал, не хуже людей. С открытой головой хожу. Никому медного асса не должен; под судом никогда не бывал. Никто мне на форуме не скажет: «Отдай, что должен!» Землицы купил и деньжонок накопил, двадцать ртов кормлю, не считая собаки. Сожительницу свою выкупил, чтобы никто у нее за пазухой рук не вытирал. За выкуп я тысячу денариев заплатил, севиром меня даром сделали. Коли помру, так и в гробу, надеюсь, мне краснеть не придется. А ты что, так занят, что тебе и на себя оглянуться некогда? На другом вошь видишь, а на себе клопа не видишь? Одному тебе мы кажемся смешными. Вот твой учитель, почтенный человек! Ему мы нравимся. Ах ты молокосос, ни «бе», ни «ме» не смыслящий, ах ты сосуд скудельный, ах ты ремень моченый! «Мягче, но не лучше!» Ты богаче меня! Так завтракай дважды в день, дважды обедай! Мое доброе имя дороже клада. Одним словом, никому не пришлось мне дважды напомнить о долге. Сорок лет я был рабом, но никто не мог узнать, раб я или свободный. Длинноволосым мальчиком прибыл я сюда: тогда базилика еще не была построена. Однако я старался во всем угождать хозяину, человеку почтенному и уважаемому,— ты и ногтя его не стоишь! Были в доме такие люди, что норовили мне то тут, то там ножку

подставить. Но — спасибо Гению моего господина! — я вышел сух из воды. Вот это настоящая награда за победу! А родиться свободным так же легко, как сказать: «Пойди сюда». Ну, чего ты на меня уставился, как коза на горох?

58. После этой речи Гитон, стоявший на ногах, разразился давно душившим его неприличным смехом; противник Аскилта, заметив мальчика, обрушил свой гнев на него:

— И ты тоже гогочешь, волосатая луковица? Подумаешь, Сатурналии! Что у нас декабрь месяц сейчас, я тебя спрашиваю? Ты когда двадесятину заплатил? Что ты делаешь, висельник, вороний корм? Разрази гнев Юпитера и тебя и того, кто не умеет тебя унять! Пусть я хлебом сыт не буду, если я не сдерживаюсь только ради моего соотпущенника, а то бы я тебе сейчас всыпал. Всем нам здесь хорошо, кроме пустомель, что тебя приструнить не могут. Поистине, каков хозяин, таков и слуга. Я едва сдерживаюсь! От природы я человек не вспыльчивый, но уж как разойдусь, так мать родную за грош отдам. Ну, все равно, я с тобой еще повстречаюсь, мышь, сверчок этакий! Пусть я не расту ни вверх, ни вниз, если я не сверну твоего господина в рутовый листик! И тебе, ей-ей, пощады не будет! Зови хоть самого Юпитера Олимпийского! Уж я позабочусь об этом. Не помогут тебе ни кудряшки твои никудышные, ни господин двухгрошовый. Попадись только мне на зубок! Или я себя не знаю, или ты потеряешь охоту насмехаться, будь у тебя хоть золотая борода. Уж я постараюсь, чтобы Афина поразила и тебя и того, кто сделал тебя таким нахалом.

Я не учился ни геометрии, ни критике, вообще никакой чепухе, но умею читать надписи и вычислять проценты в деньгах и в весе. Словом, устроим-ка примерное состязание. Выходи! Ставлю заклад! Увидишь, что твой отец даром тратился, хоть ты и риторику превзошел. Ну-ка! Кто кого? «Вдоль иду, вширь иду. Угадай, кто я?» И еще скажу: «Кто у нас бежит, а с места не двигается? Кто у нас растет и все меньше становится?» — Кто? Не знаешь? Суетишься? Мечешься, словно мышь в почном горшке? Поэтому или молчи, или не смей докучать почтенным людям, которые тебя и за человека-то не считают. Или, думаешь, я очень смотрю на твои желтые колечки, которые ты у подружки стащил? Да поможет мне Оккупон! Пойдем на форум и начнем деньги занимать. Увидишь, что моему железному кольцу больше поверят. Да, хорош ты, лисица намокшая! Пусть у меня не будет барыша и пусть мне не помереть так, чтобы люди клялись моей кончиной, если я тебя со света не сживу. Хороша штучка и тот, кто тебя учил! Обезьяна, а не учитель!

Мы другому учились. Наш учитель говорил, бывало: «Все у вас в порядке? Марш по домам, да смотрите, по сторонам не глазеть! Смотрите, старших не задевайте». А теперь — чепуха одна! Ни один учитель гроша ломаного не стоит! А вот я, такой как есть, всегда буду богов благодарить за свою науку.

59. Аскилт собрался было возразить на эти нападки, но Трималхион, восхищенный красноречием своего соотпущенника, сказал:

— Бросьте вы ссориться: лучше по-хорошему; а ты, Гермерот, извини юношу: у него молодая кровь кипит. Ты же должен быть благоразумнее. В таких делах побеждает уступивший. Ведь и ты небось, когда был молоденьким петушком,— ко-ко-ко! — не мог удержать сердца. Лучше будет, если мы все снова развеселимся да гомеристами позабавимся.

В это время, звонко ударяя копьями о щиты, вошла какая-то труппа. Трималхион взгромоздился на подушки и, пока гомеристы произносили, по своему наглому обыкновению, греческие стихи, он нараспев читал по латинской книжке.

— А вы знаете, что́ они изображают? — спросил он, когда наступило молчание.— Жили-были два брата — Диомед и Ганимед с сестрою Еленой. Агамемнон похитил ее, а Диане подсунул лань. Так говорит нам Гомер о войне троянцев с парентийцами. Агамемнон, изволите ли видеть, победил и дочку свою Ифигению выдал за Ахилла; от этого Аякс помешался, как вам сейчас покажут.

Трималхион кончил, а гомеристы вдруг завопили во все горло, и тотчас же на серебряном блюде, весом в двести фунтов, был внесен вареный теленок со шлемом на голове. За ним следовал Аякс с обнаженным мечом, изображая безумного, и, рубя вдоль и поперек, насаживал куски на лезвие и раздавал изумленным гостям.

60. Не успели мы налюбоваться на эту изящную затею, как вдруг потолок затрещал с таким грохотом, что затряслись стены триклиния. Я вскочил, испугавшись, что вот-вот с потолка свалится какой-нибудь фокусник; остальные гости, не менее удивленные, подняли головы, ожидая, какую новость возвестят нам небеса. Потолок разверзся, и огромный обруч, должно быть содранный с большой бочки, по кругу которого висели золотые венки и баночки с мазями, начал медленно спускаться из отверстия. После того как нам повелели принять это в дар, мы взглянули на стол.

Там уже очутилось блюдо с пирожным; посреди него находился Приап из теста, держащий, по обычаю, в широком подоле

плоды всякого рода и виноград. Жадно накинулись мы на гостинцы, но уже новая забава нас развеселила. Ибо из всех плодов, из всех пирожных при малейшем нажиме забили фонтаны шафрана, противные струи которого попадали нам прямо в рот. Полагая, что блюдо, окропленное этим потребным лишь при богослужении соком, должно быть священным, мы встали и громко воскликнули:

— Да здравствует божественный Август, отец отечества!

Когда же после этой здравицы многие стали хватать плоды, то и мы набрали их полные салфетки. Особенно старался я, ибо никакой дар не казался мне достаточным, чтобы наполнить пазуху Гитона.

В это время вошли три мальчика в белых подпоясанных туниках; двое поставили на стол Ларов с шариками на шее, третий же с кубком вина обошел весь стол, восклицая:

— Да будет над вами милость богов!

Трималхион сказал, что их зовут Добычником, Счастливчиком и Наживщиком. В это же время все целовали портрет Трималхиона, и мы не посмели отказаться.

61. После взаимных пожеланий доброго здоровья и хорошего расположения Трималхион посмотрел на Никерота и сказал:

— А ты ведь бывал веселее на пиру; не знаю, почему ты сегодня сидишь и не пикнешь? Прошу тебя, сделай мне удовольствие, расскажи, что с тобой приключилось?

— Пусть я барыша в глаза не увижу,— отвечал тронутый любезностью друга Никерот,— если я не ежеминутно радуюсь, видя тебя в добром расположении. Поэтому пусть будет весело, хоть я и побаиваюсь этих ученых: еще засмеют. Впрочем, все равно — расскажу; пусть хохочут: меня от смеха не убудет. Да к тому же лучше вызвать смех, чем насмешку.

«Эти изрекши слова», он рассказал следующее:

— Когда я был еще рабом, жили мы в узком маленьком переулочке. Теперь это дом Гавиллы. Там, попущением богов, влюбился я в жену трактирщика Теренция; вы, наверно, знаете ее: Мелисса Тарентинка, такая аппетитная пышка! Но я, ей-богу, любил ее не из похоти, не для любовной забавы, а за ее чудесный нрав. Чего бы я у ней ни попросил — отказу нет. Заработает асс — половину мне. Я отдавал ей все на сохранение и ни разу не был обманут. Ее сожитель преставился в деревне. Поэтому я и так и сяк, и думал и гадал, как бы попасть к ней. Ибо в нужде познаешь друга.

62. На мое счастье, хозяин по каким-то делам уехал в Капую. Воспользовавшись случаем, я уговорил нашего жильца

проводить меня до пятого столба. Это был солдат, сильный, как Орк. Двинулись мы после первых петухов; луна вовсю сияет, светло, как днем. Дошли до кладбища. Приятель мой остановился у памятников, а я похаживаю, напевая, и считаю могилы. Потом посмотрел на спутника, а он разделся и платье свое у дороги положил. У меня — душа в пятки: стою ни жив ни мертв. А он помочился вокруг одежды и вдруг обернулся волком. Не думайте, что я шучу: я ни за какие богатства не совру. Так вот, превратился он в волка, завыл и ударился в лес!

Я спервоначала забыл, где я. Затем подошел, чтобы поднять его одежду,— ан она окаменела. Если кто тут перепугался до смерти, так это я. Однако вытащил я меч и всю дорогу рубил тени вплоть до самого дома моей милой. Вошел я белее привиденья. Едва дух не испустил; пот с меня в три ручья льет, глаза закатились; еле в себя пришел... Мелисса моя удивилась, почему я так поздно.

«Приди ты раньше,— сказала она,— ты бы, по крайней мере, нам пособил; волк ворвался в усадьбу и весь скот передушил: словно мясник, кровь им выпустил. Но хотя он и удрал, однако и ему не поздоровилось: один из рабов копьем шею ему проткнул».

Как услыхал я это, так уж и глаз сомкнуть не мог и, как только рассвело, побежал быстрей ограбленного шинкаря в дом нашего Гая. Когда поравнялся с местом, где окаменела одежда, вижу: кровь, и больше ничего. Пришел я домой: лежит мой солдат в постели, как бык, а врач лечит ему шею! Я понял, что он оборотень, и с тех пор куска хлеба съесть с ним не мог, хоть убейте меня. Всякий волен думать о моем рассказе, что хочет, но да прогневаются на меня наши гении, если я соврал.

63. Все молчали пораженные.

— Не прими во зло, но только у меня, честное слово, от твоего рассказа волосы дыбом встали,— заговорил наконец Трималхион,— я знаю, Никерот попусту языком трепать не станет. Человек он верный и уж никак не болтун. Да и я могу рассказать вам престрашную историю: она — что твой осел на крыше. Был я тогда эфебом, ибо уже с детских лет жил в свое удовольствие. И вот у «самого́» умирает любимчик, мальчик — прелесть по всем статьям, сущая жемчужина, ей-богу. В то время как мать-бедняжка оплакивала его, а все мы сидели вокруг тела носы повесивши,— вдруг завизжали ведьмы, словно собаки зайца рвут. Был среди нас каппадокиец, мужчина основательный, силач и храбрец,— мог разъяренного быка поднять.

Он, вынув меч и обмотав руку плащом, смело выбежал за двери и пронзил женщину приблизительно в этом месте — не про меня будь сказано. Мы слышали стоны, но — врать не хочу — ее самой не видели.

Наш долговязый, вернувшись, бросился на кровать, и все тело у него было покрыто подтеками, словно его ремнями били,— так, видите ли, отделала его нечистая сила. Мы, заперев двери, вернулись к нашей печальной обязанности, но, когда мать обняла тело сына, она нашла только соломенное чучело: ни внутренностей, ни сердца — ничего! Конечно, ведьмы утащили тело мальчика и взамен подсунули соломенного фофана. Уж вы извольте мне верить: есть женщины — ведьмы, ночные колдуньи, которые все вверх дном ставят. А долговязый после этого потерял краску в лице и через несколько дней умер в безумии.

64. Пораженные и вполне веря рассказу, мы поцеловали стол, заклиная Ночных сидеть дома, когда мы будем возвращаться с пира.

Тут у меня светильники в глазах стали двоиться, а триклиний кругом пошел. Но в это время Трималхион сказал:

— А ты, Плокам, я тебе говорю, почему ничего не расскажешь? Почему нас не позабавишь? Ты, бывало, веселее всех за столом: и диалоги прекрасно представляешь, и песни поешь. Увы, увы! Прошло то время золотое.

— Ох,— ответил тот,— отбегались мои колесницы с тех пор, как у меня подагра; а в прежние дни, когда я еще парнишкой был, то мне от пения чуть сухотка не приключилась. Кто лучше меня танцевал? Кто диалоги и цирюльню представлять умел? Разве один Апеллет — и никто больше!

Засунув пальцы в рот, он засвистал что-то отвратительное, уверяя потом, что это греческая штука; Трималхион же, в свою очередь, изобразив флейтиста, обернулся к своему любимцу, по имени Крез. Этот мальчишка с гноящимися глазами и грязнейшими зубами между тем повязал зеленой ширинкой брюхо черной сучки, до неприличия толстой, и, положив на ложе половину каравая, пичкал ее, хоть она и давилась. При виде этого Трималхион вспомнил о Скилаке — «защитнике дома и присных» и приказал его привести.

Тотчас же привели огромного пса на цепи; привратник пихнул его ногой, чтобы он лег, и собака расположилась перед столом.

— Никто меня в доме не любит так, как он,— сказал Трималхион, размахивая куском белого хлеба.

Мальчишка, рассердившись, что так сильно похвалили Скилака, спустил на землю свою сучку и принялся науськивать ее на пса. Скилак, по собачьему своему обычаю, наполнил триклиний ужасающим лаем и едва не разорвал в клочки Жемчужину Креза. Но переполох собачьей грызней не кончился: возясь, они опрокинули светильник, который, упав на стол, расколол всю хрустальную посуду и обрызгал гостей кипящим маслом. Трималхион, чтобы не показалось, будто его огорчила эта потеря, поцеловал мальчика и приказал ему взобраться себе на плечи. Тот, не раздумывая долго, живо оседлал хозяина и принялся ударять его по плечам, приговаривая сквозь смех:

— Щечка, щечка, сколько нас?

Некоторое время Трималхион терпеливо сносил это издевательство. Потом приказал налить вина в большую чашу и дать выпить сидевшим в ногах рабам, прибавив при этом:

— Если кто пить не станет, вылей ему на голову. Делу время, потехе час.

65. За этим проявлением человеколюбия последовали такие лакомства, что — верьте, не верьте — мне и теперь, при воспоминании, дурно делается: вместо дроздов нас обносили жирными пулярдами и гусиными яйцами в гарнире, причем Трималхион обидчивым тоном просил нас есть, говоря, что из кур вынуты все кости.

Вдруг в двери триклиния постучал ликтор, и вошел одетый в белое, сопровождаемый большой свитой новый сотрапезник. Пораженный его величием, я вообразил, что пожаловал претор, и потому хотел было вскочить с ложа и спустить на землю босые ноги, но Агамемнон посмеялся над моим испугом и сказал:

— Сиди, глупый ты человек. Это — Габинна, севир, он же и каменотес. Говорят, превосходно делает надгробные памятники.

Успокоенный этим объяснением, я снова возлег и с превеликим изумлением стал рассматривать вошедшего Габинну. Он же, изрядно выпивший, опирался на плечи своей жены; на голове его красовалось несколько венков; духи с них потоками струились по лбу и попадали ему в глаза; он разлегся на преторском месте и немедленно потребовал себе вина и теплой воды. Заразившись его веселым настроением, Трималхион спросил себе кубок побольше и осведомился, как принимали Габинну.

— Все у нас было, кроме тебя,— отвечал тот.— Душа моя была с вами; а в общем было прекрасно. Сцисса правила девятидневную тризну по покойном своем рабе, которого она по

смерти отпустила на волю; думаю, что у Сциссы будет большая возня с собирателями двадесятины: покойника-то ведь оценивают в пятьдесят тысяч. Все, однако, было очень мило, хоть и пришлось половину вина вылить на его косточки.

66.— Ну, а что же подавали? — спросил Трималхион.

— Перечислю все, что смогу,— ответил Габинна,— память у меня такая хорошая, что я частенько забываю, как меня зовут. На первое была свинья с колбасой вместо венка, а кругом — чудесно изготовленные потроха и сладкое вино и, разумеется, домашний хлеб-самопек, какой я предпочитаю белому: он и силы придает, и, когда за нуждой хожу, я на него не жалуюсь. Потом подавали холодный пирог и превосходное испанское вино, смешанное с горячим медом. Поэтому я и пирога съел немалую толику, и меда от пуза выпил. А в обклад шли горох и волчьи бобы; и еще было орехов сколько угодно, и по одному яблоку на гостя; мне, однако, удалось стащить парочку — вот они в салфетке; потому, если не принесу гостинца моему любимчику, здорово мне попадет. Ах да, госпожа моя мне очень кстати напоминает: под конец подали медвежатину, которой Сцинтилла неосторожно попробовала и чуть все свои внутренности не выблевала. А я так целый фунт съел, потому что на кабана очень похоже. Ведь, я говорю, медведь пожирает людишек; тем паче следует людишкам пожирать медведя. Затем были еще: мягкий сыр, морс, по улитке на брата и печенка в глиняных чашечках, и яйца в гарнире, и рубленые кишки, и репа, и горчица, и рагу в блевотине.

Ах да! Потом еще обносили маринованными маслинами в лохани, да там нашлись бесстыдники, которые нас от нее кулаками прогнали. А вот окороку мы сами дали вольную.

67. Однако, Гай, скажи, пожалуйста, почему Фортунаты нет за столом?

— Почему? — ответил Трималхион.— Разве ты ее не знаешь? Пока всего серебра не пересчитает, пока не раздаст объедков рабам, воды в рот не возьмет.

— Ну-с,— сказал Габинна,— если она не возляжет, я исчезаю! — И он попробовал подняться с ложа; но, по знаку Трималхиона, вся челядь четырежды кликнула Фортунату.

Она явилась в платье, подпоясанном желтым кушаком так, что снизу была видна туника вишневого цвета, витые браслеты и золоченые туфли. Вытерев руки висевшим на шее платком, она устроилась на том же ложе, где возлежала жена Габинны, Сцинтилла, захлопавшая в ладоши, и, поцеловав ее, воскликнула:

— Тебя ли я вижу?

Дело скоро дошло до того, что Фортуната сняла со своих жирных рук запястья и принялась хвастаться ими перед восхищенной Сцинтиллой. Наконец она и ножные браслеты сняла, и головную сетку тоже, про которую уверяла, будто она из червонного золота. Тут Трималхион это заметил и приказал принести все ее драгоценности.

— Посмотрите,— сказал он,— на эти женские цепи! Вот как нас, дураков, разоряют! Ведь этакая штука фунтов шесть с половиной весит; положим, у меня у самого есть запястье, весом в десять фунтов.

Под конец, чтобы не думали, что он врет, Трималхион приказал подать весы и обнести их кругом стола для проверки веса.

Сцинтилла оказалась не лучше: она сняла с шеи золотую ладанку, которую она называла Счастливицей, потом вытащила из ушей серьги и, в свою очередь, показала Фортунате.

— Благодаря доброте моего господина,— говорила она,— ни у кого лучше нет.

— Э! Что там? — сказал Габинна.— Ты же из меня всю душу вытянула, чтобы я купил тебе эти стеклянные балаболки! Будь у меня дочка, я бы ей уши отрезал. Если бы не женщины, все было бы дешевле грязи; а теперь — «мочись теплым, а пей холодное».

Между тем уязвленные женщины над чем-то тихонько хихикали, обмениваясь пьяными поцелуями: одна хвасталась хозяйственностью и домовитостью, а другая жаловалась на проказы и беспечность мужа. Но пока они обнимались, Габинна, незаметно приподнявшись, вдруг обхватил ноги Фортунаты и поднял их на ложе.

— Ай, ай! — завизжала она, видя, что туника ее задралась выше колен.

И, бросившись в объятия Сцинтиллы, она закрыла платочком лицо, раскрасневшееся и оттого еще более уродливое.

68. Когда после небольшого перерыва Трималхион приказал вторично накрыть на стол, рабы убрали все столы и принесли новые, а пол посыпали опилками, окрашенными шафраном и киноварью, и — чего я раньше никогда не видывал — толченой слюдой.

— Ну,— сказал Трималхион,— мне-то самому и одной перемены хватило бы, а вторую трапезу только ради вас подают. Да уж ладно, если есть там что хорошенькое, тащи сюда.

Между тем александрийский мальчик, подававший горячую воду, защелкал, подражая соловью.

— Переменить! — вскоре закричал Трималхион, и вмиг появилась другая забава. Раб, сидевший в ногах Габинны, думаю, по приказанию своего хозяина, вдруг заголосил нараспев:

Флот Энея меж тем уж вышел в открытое море...

Никогда еще более режущий звук не раздирал моих ушей, к тому же он не только делал варварские ошибки и то громко, то придушенно орал, но еще и вставлял в поэму стихи из ателлан; тут впервые сам Вергилий мне показался противным...

Тем не менее, когда он наконец замолчал, Габинна захлопал и сказал:

— А ведь нигде не учился! Я его посылал на выучку к базарным разносчикам; как примется представлять погонщиков мулов или разносчиков,— нет ему равного. И вообще отчаянно способный малый: он и пекарь, он и сапожник, он и повар — всем Музам слуга. Он бы по всем статьям вышел, не будь у него двух изъянов: он обрезан и во сне храпит. Что косой — наплевать: глядит, как Венера. Поэтому он ни о чем не может умолчать. Редко когда глаза смыкает. Я заплатил за него триста денариев.

69.— Нет,— вмешалась в разговор Сцинтилла,— ты еще не все художества негодного раба пересчитал. Это он тебе живой товар доставляет; я не я буду, если его не заклеймят.

— Узнаю каппадокийца,— со смехом сказал Трималхион,— никогда ни в чем себе не откажет, и, клянусь богами, я его за это хвалю, этого тебе никто в могилу не положит. Ты же, Сцинтилла, брось ревновать. Уж поверь мне, мы вашу сестру тоже знаем. Помереть мне на этом месте, если я в свое время не игрывал с хозяйкой, да так, что «сам» заподозрил и отправил меня в деревню. Но... «Молчи, язык! Хлеба дам».

Приняв эти слова за поощрение, негодный раб вытащил из-за пазухи глиняный светильник и с полчаса дудел, изображая флейтиста; Габинна вторил ему, играя на губах. В конце концов раб вылез на середину и принялся кривляться еще пуще: то, вооружившись выдолбленными тростниками, передразнивал музыкантов, то, завернувшись в плащ с капюшоном, изображал с бичом в руке погонщиков мулов. Наконец Габинна подозвал его к себе, поцеловал и, протянув ему кубок, присовокупил:

— Молодец, Масса! Я тебе башмаки подарю.

Никогда бы, кажется, не кончилось это мучение, если бы не подали десерта — дроздов-пшеничников, начиненных орехами

и изюмом. За ними последовали кидонские яблоки, утыканные иглами, наподобие ежей. Все это было еще переносимо, пока не притащили блюда, столь чудовищного, что, казалось, лучше с голоду помереть. По виду — это был жирный гусь, окруженный всевозможной рыбой и птицей.

— Все, что вы здесь видите,— сказал Трималхион,— из одного вещества сделано.

Я, догадливейший из людей, сразу сообразил, в чем дело:

— Буду очень удивлен,— сказал я, наклонившись к Агамемнону,— если все это не сработано из навоза или, по меньшей мере, из глины. В Риме, на Сатурналиях, мне случалось видеть такие подобия кушаний.

70. Не успел я вымолвить этих слов, как Трималхион сказал:

— Пусть я разбухну, а не разбогатею, если мой повар не сделал всего этого из свинины. Дорогого стоит этот человек. Захоти только, и он тебе из свиной матки смастерит рыбу, из сала — голубя, из окорока — горлинку, из бедер — курицу; и к тому же, по моему измышлению, имя ему наречено превосходное: он зовется Дедалом. Чтобы вознаградить его за хорошее поведение, я ему выписал из Рима подарок — ножи из норийского железа.

Сейчас же он велел принести эти ножи и долго ими любовался; потом и нам позволили испробовать их остроту, прикладывая лезвие к щекам.

Вдруг вбежали два раба с таким видом, точно они поссорились у водоема; по крайней мере, оба несли на плечах амфоры. Тщетно пытался Трималхион рассудить их: они продолжали ссориться и совсем не желали подчиниться его решению; наконец один другому одновременно разбили палкой амфору. Пораженные наглостью этих пьяниц, мы уставились на драчунов и увидали, что из чрева амфор вывалились устрицы и ракушки, которые раб подобрал, разложил на блюде и стал обносить кругом. Искусный повар еще увеличил это великолепие: он принес на серебряной сковородке жареных улиток, напевая при этом дребезжащим и весьма отвратительным голосом.

Затем началось такое, что просто стыдно рассказывать: по какому-то неслыханному обычаю кудрявые мальчики принесли духи в серебряном тазу и натерли ими ноги возлежащим, предварительно опутав голени от колена до самой пятки цветочными гирляндами. Остатки этих же духов были вылиты в сосуды с вином и светильники. Уже Фортуната стала приплясы-

вать, уже Сцинтилла чаще хлопала в ладоши, чем говорила, тогда Трималхион закричал:

— Филаргир и Карион, хоть ты и завзятый «зеленый», позволяю вам возлечь; и сожительнице твоей Менофиле скажи, чтобы она тоже возлегла.

Чего еще больше? Челядь переполнила триклиний, так что нас едва не сбросили с ложа. Я узнал повара, который из свиньи гуся делал: он возлег выше меня, и от него разило подливкой и приправами. Не довольствуясь тем, что его за стол посадили, он принялся передразнивать трагика Эфеса и все время подзадоривал своего господина биться об заклад, утверждая, что зеленые на ближайших играх удержат за собой пальму первенства.

71.— Друзья,— сказал восхищенный этим пререканием Трималхион,— рабы — тоже люди; одним с нами молоком вскормлены, и не виноваты они, что Рок их обездолил. Однако, по моей милости, скоро все напьются вольной воды. Я их всех в завещании своем отпускаю на свободу. Филаргиру, кроме того, отказываю его сожительницу и поместьице. Кариону — домик и двадесятину, и кровать с постелью. Фортунату же делаю наследницей и поручаю ее всем друзьям моим. Все это я сейчас объявляю затем, чтобы челядь меня уже теперь любила так же, как будет любить, когда я умру.

Все принялись благодарить хозяина за его благодеяния; он же, оставив шутки, велел принести список завещания и под вопли домочадцев прочел его от начала до конца. Потом, переводя взгляд на Габинну, проговорил:

— Что скажешь, друг сердечный? Ведь ты воздвигнешь надо мной памятник, как я тебе заказал? Я очень прошу тебя, изобрази у ног статуи мою собачку, венки, сосуды с ароматами и все бои Петраита, чтобы я, по милости твоей, еще и после смерти пожил. Вообще же памятник будет по фасаду сто футов, а по бокам — двести. Я хочу, чтобы вокруг праха моего были всякого рода плодовые деревья, а также обширный виноградник. Ибо большая ошибка украшать дома при жизни, а о тех домах, где нам дольше жить, не заботиться. А поэтому я, прежде всего, желаю, чтобы в завещании было помечено:

Этот монумент наследованию не подлежит.

Впрочем, это уже мое дело — предусмотреть в завещании, чтобы меня после смерти никто не обидел. Поставлю кого-нибудь из моих вольноотпущенников стражем у гробницы, чтобы к моему памятнику народ за нуждой не бегал. Прошу тебя также вы-

бить на фронтоне мавзолея корабли, идущие на всех парусах, а я будто в тоге-претексте восседаю на трибуне с пятью золотыми кольцами на пальцах и из кошелька рассыпаю в народ деньги. Ты ведь знаешь, что я устроил общественную трапезу по два денария на человека. Хорошо бы, если ты находишь возможным, изобразить и самую трапезу, и всех граждан, как они едят и пьют в свое удовольствие. По правую руку помести статую моей Фортунаты с голубкою, и пусть она на цепочке собачку держит. Мальчишечку моего тоже, а главное, побольше винных амфор, хорошо запечатанных, чтобы вино не вытекло. Конечно, изобрази и урну разбитую, и отрока, над ней рыдающего. В середине — часы, так чтобы каждый, кто пожелает узнать, который час, волей-неволей прочел мое имя. Что касается надписи, то вот прослушай внимательно и скажи, достаточно ли она хороша, по-твоему:

Здесь покоится
Г. Помпей Трималхион Меценатиан.
Ему заочно был присужден почетный севират.
Он мог бы украсить собой любую декурию Рима,
но не пожелал.
Благочестивый, мудрый, верный, он вышел
из маленьких людей, оставил тридцать миллионов
сестерциев и никогда не слушал ни одного
философа.
Будь здоров и ты также.

72. Окончив чтение, Трималхион заплакал в три ручья. Плакала Фортуната, плакал Габинна, а затем и вся челядь наполнила триклиний рыданиями, словно ее уже позвали на похороны. Наконец даже и я готов был расплакаться, как вдруг Трималхион объявил:

— Итак, если мы знаем, что обречены на смерть, почему же нам сейчас не пожить в свое удовольствие? Будьте же все здоровы и веселы! Махнем-ка все в баню: на мой риск! Не раскаетесь! Нагрелась она, словно печь.

— Правильно! — закричал Габинна.— Если я что люблю, так это из одного дня два делать.— Он соскочил с ложа босой и пошел за развеселившимся Трималхионом.

— Что скажешь? — обратился я к Аскилту.— Я умру от одного вида бани.

— Соглашайся,— ответил он,— а когда они направятся в баню, мы в суматохе убежим.

На этом мы сговорились и, проведенные под портиком Гитоном, достигли выхода; но там цепной пес залаял на нас так страшно, что Аскилт свалился в водоем. Я был порядочно выпивши, да к тому же я давеча и нарисованной собаки испугался; поэтому, помогая утопающему, я сам низвергся в ту же пучину. Спас нас дворецкий, который и пса унял и нас, дрожащих, вытащил на сушу. Гитон же еще раньше ловким приемом сумел спастись от собаки; все, что получил он от нас на пиру, он бросил в лающую пасть, и пес, увлеченный едой, успокоился. Когда мы, дрожа от холода, попросили домоправителя вывести нас за ворота, он ответил:

— Ошибаетесь, если думаете, что отсюда можно уйти так же, как пришли. Никого из гостей не выпускают через те же самые двери. В одни приходят, в другие уходят.

73. Что было делать нам, несчастным, заключенным в новый лабиринт? Даже баня стала для нас желанной! Поневоле попросили мы, чтобы нас провели туда. Сняв одежду, которую Гитон развесил у входа сушиться, мы вошли в баню, как оказалось, узкую и похожую на цистерну для холодной воды, где стоял Трималхион, вытянувшись во весь рост. И здесь не удалось избежать его отвратительного бахвальства: он говорил, что ничего нет лучше, как купаться вдали от толпы, и что здесь раньше была пекарня. Наконец, устав, он уселся и, заинтересовавшись эхом бани, поднял к потолку свою пьяную рожу и принялся терзать песни Менекрата, как говорили те, кто понимал его язык. Некоторые из гостей, взявшись за руки, с громким пением водили хороводы вокруг ванны, другие щекотали друг друга и оглушительно орали. Третьи со связанными за спиной руками, пытались поднимать с пола кольца; четвертые, став на колени, загибали назад голову, пытаясь ею достать пальцы на ногах. Покуда другие так забавлялись, мы спустились в гревшуюся для Трималхиона ванну. Когда мы несколько протрезвились, нас проводили в другой триклиний, где Фортуната разложила все свои богатства и где я заметил над светильником... и бронзовые фигурки рыбаков, а также столы из чистого серебра, и глиняные позолоченные кубки, и мех, из которого на глазах выливалось вино.

— Друзья,— сказал Трималхион,— сегодня впервые обрился один из моих рабов, малый на редкость порядочный и к тому же скопидом. Итак, будем пировать до рассвета и веселиться.

74. Слова его были прерваны криком петуха; испуганный приметой, Трималхион приказал полить вином столы и обрызгать светильники; затем надел кольцо с левой руки на правую.

— Не зря,— сказал он,— подал нам знак этот глашатай: либо пожара надо ожидать, либо кто-нибудь по соседству дух испустит. Сгинь, сгинь! Кто принесет мне этого вестника, того я награжу.

Не успел он кончить, как уже притащили соседского петуха, и Трималхион приказал немедленно сварить его. Тотчас же петух был разрублен и брошен в горшок тем самым поваром-искусником, который птиц и рыб из свинины делал.

Пока Дедал пробовал кипящее варево, Фортуната молола перец на маленькой самшитовой мельнице. Когда и это угощение было съедено, Трималхион обратился к рабам:

— А вы что, еще не пообедали? Ступайте прочь! Пускай вас другие сменят!

Сейчас же ввалилась новая смена рабов. Уходящие кричали:

— Прощай, Гай!

Входящие:

— Здравствуй, Гай!

Тут впервые омрачилось наше веселье: среди вновь пришедших рабов был довольно хорошенький мальчик, и Трималхион, устремившись к нему, принялся целовать его взасос, а Фортуната, на том основании, что «право правдой крепко», начала ругать Трималхиона отбросом и срамником, который не может сдержать своей похоти. Под конец она прибавила:

— Собака!

Трималхион, разозленный этой бранью, швырнул ей в лицо чашу. Она завопила, словно ей глаз вышибли, и дрожащими руками закрыла лицо. Сцинтилла тоже опешила и прикрыла испуганную Фортунату своей грудью. Услужливый мальчик поднес к ее подбитой щеке холодный кувшинчик; приложив его к больному месту, Фортуната начала плакать и стонать.

— Как? — завопил рассерженный Трималхион.— Как? Позабыла, что ли, эта уличная арфистка, кем она была? Да я ее взял с рабьего рынка и в люди вывел! Ишь надулась, как лягушка, и за пазуху себе не плюет. Колода, а не женщина! Однако рожденным в лачуге о дворцах мечтать не пристало. Пусть мне так поможет мой Гений, как я эту доморощенную Кассандру образумлю. Ведь я, простофиля, мог сто миллионов приданого взять! Ты знаешь, что я не лгу. Агафон, парфюмер соседней госпожи, соблазнял меня: «Советую тебе, не давай своему роду угаснуть». А я, добряк, чтобы не показаться легкомысленным, сам себе всадил топор в ногу. Хорошо же, уж я позабочусь, чтобы ты, когда я умру, из земли ногтями меня

выкопать захотела; а чтобы ты теперь же поняла, чего добилась,— я не желаю, Габинна, чтобы ты помещал ее статую на моей гробнице, а то и в могиле покоя мне не будет; мало того, пусть знает, как меня обижать,— не хочу я, чтоб она меня мертвого целовала.

75. Когда Трималхионовы громы поутихли, Габинна стал уговаривать его сменить гнев на милость.

— Кто из нас без греха,— говорил он,— все мы люди, не боги.

Сцинтилла тоже со слезами, заклиная Гением и называя Гаем, просила его умилостивиться.

— Габинна,— сказал Трималхион, не в силах удержать слезы,— прошу тебя во имя твоего благоденствия, плюнь мне в лицо, если я что недолжное сделал. Я поцеловал славного мальчика не за красоту его, а потому, что он усерден: десятичный счет знает, читает свободно, не по складам, сделал себе на суточные деньги фракийский наряд и на свой счет купил кресло и два горшочка. Разве не стоит он моей ласки? А Фортуната не позволяет. Что тебе померещилось, фря надутая? Советую тебе переварить это, коршун, и не вводить меня в сердце, милочка, а то отведаешь моего норова. Ты меня знаешь: что я решил, то гвоздем прибито. Но вспомним лучше о радостях жизни! Веселитесь, прошу вас, друзья; я и сам таким же, как вы, был, но благодаря своим доблестям стал тем, что есть. Только сердце делает человеком — все остальное чепуха: «Я хорошо купил, хорошо и продал». Каждый вам будет твердить свое. Я лопаюсь от счастья. А ты, храпоидол, все еще плачешь? Погоди, ты у меня еще о судьбе своей поплачешь. Да, как я вам уже говорил, своей честности обязан я богатством. Из Азии приехал я не больше вон этого подсвечника, даже каждый день по нему рост свой мерил; а чтоб скорей обрасти щетиной, мазал щеки и верхнюю губу ламповым маслом. И все же четырнадцать лет был я любимчиком своего хозяина; ничего тут постыдного нет — хозяйский приказ. И хозяйку ублаготворял тоже. Понимаете, что я хочу сказать. Но умолкаю, ибо я не из хвастунов.

76. Итак, с помощью богов я стал хозяином в доме, заполнив сердце господина. Чего больше? Хозяин сделал меня сонаследником Цезаря, я получил сенаторскую вотчину. Но человек никогда не бывает доволен: вздумалось мне торговать. Чтобы не затягивать рассказа, скажу коротко: снарядил я пять кораблей, нагрузил вином — оно тогда на вес золота было — и отправил в Рим. Но подумайте, какая неудача: все потонули.

Это вам не сказки, а чистая быль! В один день Нептун проглотил тридцать миллионов сестерциев. Вы думаете, я пал духом? Ей-ей, даже не поморщился от этого убытка. Как ни в чем не бывало снарядили другие корабли больше и крепче, и с большей удачей, так что никто меня за человека малодушного почесть не мог. Знаете, чем больше корабль, тем он крепче. Опять нагрузил я их вином, свининой, благовониями, рабами. Тут Фортуната доброе дело сделала: продала все свои драгоценности, все свои наряды и мне сто золотых в руку положила. Это были дрожжи моего богатства.

Чего боги хотят, то быстро делается. В первую же поездку округлил я десять миллионов. Тотчас же выкупил я все прежние земли моего патрона. Домик построил, рабов, скота накупил; к чему бы я ни прикасался, все вырастало, как медовый сот. А когда я стал богаче, чем все сограждане, вместе взятые, тогда — руки прочь: торговлю бросил и стал вести дела через вольноотпущенников. Я вообще от всяких дел хотел отстраниться, да отговорил меня подвернувшийся тут случайно звездочет-гречонок по имени Серапа, человек поистине достойный заседать в совете богов. Он мне все сказал, даже то, что я сам позабыл, все мне до нитки и игольного ушка выложил; насквозь меня видел, разве что не сказал мне, что́ я ел вчера. Можно подумать, что он всю жизнь со мной прожил.

77. Но помнишь, Габинна,— это, кажется, при тебе было — он сказал мне: «Ты таким-то образом добился своей госпожи. Ты несчастлив в друзьях. Никто тебе не воздает должной благодарности. Ты владелец огромных поместий. Ты отогреваешь на груди своей змею». Чего я вам еще не рассказал? Ах да, он предсказал, что мне осталось жить тридцать лет, четыре месяца и два дня. Кроме того, я скоро получу наследство. Вот какова моя судьба. И если удастся мне еще до самой Апулии имения расширить, тогда я могу сказать, что довольно пожил. Между тем пока Меркурий бдит надо мною, я этот дом перестроил: помните, хижина была, а теперь — храм. В нем четыре столовых, двадцать спален, два мраморных портика; во втором этаже еще помещение; затем моя собственная опочивальня, логово этой гадюки, прекраснейшая каморка для привратника; и сколько ни будь у меня гостей, для всех место найдется. Одним словом, когда Скавр приезжал, нигде, кроме как у меня, не пожелал остановиться, хоть еще у его отца были приятели, что живут у самого моря. Многое еще есть в этом доме,— я вам сейчас покажу. Верьте мне: асс у тебя есть, и цена тебе асс. Имеешь, еще иметь будешь. Так-то и ваш друг: был лягушкой,

стал царем. Ну, а теперь, Стих, притащи сюда одежду, в которой меня погребать будут. И благовония из той амфоры, из которой я велел омыть мои кости.

78. Стих не замедлил принести в триклиний белое покрывало и тогу с пурпурной каймой.

Трималхион потребовал, чтобы мы на ощупь попробовали, добротна ли шерсть.

— Смотри, Стих,— прибавил он, улыбаясь,— чтобы ни моль, ни мыши не испортили моего погребального убора, не то заживо тебя сожгу. Желаю, чтобы с честью похоронили меня и все граждане чтоб добром меня поминали.

Сейчас же он откупорил склянку с нардом и нас всех обрызгал.

— Надеюсь,— сказал он,— что и мертвому это мне такое же удовольствие доставит, как живому.

Затем приказал налить вина в большой сосуд.

— Вообразите,— заявил он,— что вас на мою тризну позвали.

Но совсем тошно стало нам тогда, когда Трималхион, до омерзения пьяный, приказал ввести в триклиний трубачей, чтобы снова угостить нас музыкой. А потом, навалив на крайнее ложе целую груду подушек, он разлегся на них и заявил:

— Представьте себе, что я умер. Скажите по сему случаю что-нибудь хорошее.

Трубачи затрубили похоронную песню. Особенно старался раб того распорядителя похорон: он был там почтеннее всех и трубил так громко, что перебудил всех соседей. Стражники, сторожившие этот околодок, вообразив, что дом Трималхиона горит, внезапно разбили дверь и принялись лить воду и орудовать топорами, как полагается. Мы, воспользовавшись случаем, бросили Агамемнона и пустились со всех ног, словно от настоящего пожара.

79. У нас не было в запасе факела, чтобы освещать путь в наших блужданиях, и молчаливая полночь не посылала нам встречных со светильником. Прибавьте к этому наше опьянение и небезопасность мест, и днем достаточно глухих. По крайней мере, с час мы едва волочили окровавленные ноги по острым камням мостовой, пока догадливость Гитона не вызволила нас. Предусмотрительный мальчик, опасаясь и при свете заблудиться, еще накануне сделал мелом заметки на всех столбах и колоннах,— эти черточки видны были сквозь кромешную тьму и указали дорогу заблудившимся. Не меньше пришлось нам попотеть, когда мы пришли домой. Старуха хозяйка так нализа-

лась с постояльцами, что хоть жги ее — не почувствовала бы; и пришлось бы нам ночевать на пороге, если бы не проходивший мимо курьер Трималхиона, владелец десяти повозок. Недолго раздумывая, он вышиб дверь и впустил нас в пролом...

Что за ночка, о боги и богини!
Что за мягкое ложе, где в объятиях
Жарких с уст на уста переливали
Наши души мы! Смертных треволненья,
Прочь ступайте! Мой бог! Сейчас умру я!

Но напрасно я радовался. Лишь только я ослабел от вина и мои руки бессильно повисли, Аскилт, тороватый на всяческие каверзы, среди ночи потихоньку выкрал у меня мальчика и перенес его на свое ложе. Без помехи натешившись чужим братцем,— а братец или не слышал, или делал вид, что не слышит,— он заснул в краденых объятиях, забыв все человеческие законы. Я же, проснувшись, напрасно шарил руками по своему безрадостно осиротевшему ложу. Верьте слову влюбленного! Я долго колебался, не пронзить ли мне их обоих мечом, чтобы они, не просыпаясь, уснули навеки. Но затем я принял решение менее опасное и, разбудив шлепками Гитона, зверски уставился на Аскилта и сказал:

— Своим поступком ты честность запятнал, ты дружбу нашу разрушил. Собирай поэтому скорее свои пожитки и ступай искать другое место для своих пакостей.

Аскилт не возражал, но когда мы добросовестно разделили имущество, он заявил:

— Теперь давай и мальчика поделим.

80. Я сперва вообразил, что он шутит на прощание; но он, сжимая братоубийственной рукою рукоять меча, произнес:

— Не попользуешься ты добычей, которую один ты хочешь лелеять. Я возьму свою долю, хотя бы вот этим мечом пришлось ее отрезать.

Я со своей стороны сделал то же и, обернув руку плащом, приготовился к бою. Несчастный мальчик, пока мы оба столь плачевно безумствовали, с громкими рыданиями обнимал наши колена, умоляя нас не уподоблять этого жалкого трактира Фивам, не обагрять братскою кровью святыню нежнейшей дружбы.

— Если,— восклицал он,— должно совершиться убийство, то вот мое горло! Сюда обратите руки! Сюда направьте мечи! Пусть умру я, разрушивший священные узы дружбы!

Тронутые этими молениями, мы вложили мечи в ножны.

— Я,— заговорил Аскилт,— положу конец раздору. Пусть мальчик идет за тем, за кем хочет. Пусть будет дана ему полная свобода в выборе братца.

Я, полагая, что давнишняя привычка достигла прочности кровных уз, ничего не боялся и, с опрометчивой поспешностью ухватившись за предложение, передал свою судьбу в руки судьи; он же, ни мгновения не помедлив, не задумавшись, при последних словах моих поднялся... и избрал братом Аскилта. Как громом пораженный таким оборотом дела, я, точно не было у меня меча, рухнул на кровать и, наверное, наложил бы на себя преступные руки, если бы не боялся еще увеличить торжество врага. Исполненный гордости Аскилт удалился со своей добычей и бросил недавно дорогого ему товарища и собрата в счастье и в несчастье одинокого, на чужой стороне.

Дружба имя свое хранит, покуда полезна:
Камешек так по доске ходит туда и сюда.
Если Фортуна — за нас, мы видим, друзья, ваши лица,
Если изменит судьба, гнусно бежите вы прочь.

Труппа играет нам мим: вон тот называется сыном,
Этот отцом, а другой взял себе роль богача...
Но окончился текст, и окончились роли смешные,
Лик настоящий воскрес, лик балаганный пропал.

81. Однако не долго предавался я плачу, опасаясь, как бы в довершение всех бед не застал меня, одинокого, на этом постоялом дворе младший учитель Менелай; я собрал свои пожитки и, печальный, перебрался в укромный уголок неподалеку от морского берега. Три дня провел я там безвыходно, терзаясь мыслями о своем одиночестве. Я бил кулаками мою наболевшую грудь, испуская глубокие стоны и непрерывно восклицая:

— Ужели не поглотит меня, расступившись, земля или море, жестокое даже к невинным? Затем разве я избег правосудия, обманом спас жизнь на арене, убил приютившего меня хозяина, чтобы после стольких дерзновенных поступков жалким, одиноким изгнанником валяться в трактире греческого городка? И кто же, кто обрек меня этому одиночеству? Юнец, погрязший во всяческом сладострастии, по собственному признанию достойный ссылки! Разврат освободил его, разврат дал ему права гражданства... А другой? О боги! Он и в день совершеннолетия вместо мужской тоги надел столу; мать убедила его не быть мужчиной; на рабской каторге служил он женщиной; и этот мальчишка, словно банкрот, все бросил и нашел новое поле для своей похоти, а нашу старую дружбу предал и —

«Дафнис и Хлоя»
В. Бехтеев

о, стыд! — словно блудница, все продал за единую ночь. И теперь влюбленные лежат, обнявшись, целыми ночами, и, верно, когда утомятся взаимными ласками, издеваются надо мной, одиноким; но даром им это не пройдет! Или не по праву зовусь я мужчиной и свободнорожденным, или смою обиду их зловредной кровью!

82. Тут я препоясался мечом и, чтобы слабость не одолела во мне воинственности, подкрепился пищей плотнее обыкновенного. Выбежав на улицу, я как сумасшедший заметался по портикам. Но пока я с искаженным лицом мечтал об убийстве и крови и дрожащей рукою то и дело хватался за рукоятку меча-мстителя, приметил меня какой-то воин, не то в самом деле солдат, не то ночной бродяга.

— Эй, товарищ,— крикнул он мне,— какого легиона? Какой центурии?

А когда в ответ ему я весьма уверенно сочинил и легион и центурию, он заявил:

— Ладно, значит, в вашем отряде солдаты в туфлях разгуливают?

Догадавшись по смущенному выражению лица, что я наврал, он велел мне положить оружие и не доводить дела до беды. Ограбленный, потеряв всякую надежду на отмщение, поплелся я обратно в гостиницу, а спустя немного времени, успокоившись, в душе даже благодарил этого разбойника за его наглость...

В озере стоя, не пьет и нависших плодов не срывает
Царь злополучный, Тантал, вечным желаньем томим.
Выглядит так же богач, кто за все, что видит, боится
И всухомятку сидит, голод в желудке варя...

Не надо верить советам, ибо судьба имеет свои законы...

* * *

83. Я забрел в пинакотеку, славную многими разнообразными картинами. Здесь увидал я творения Зевксида, победившие, несмотря на свою древность, все нападки; и первые опыты Протогена, правдивостью способные поспорить с самой природой, к которым я всегда приближаюсь с каким-то душевным трепетом. Я восторгался также Апеллесом, которого греки зовут однокрасочным. Очертания фигур у него так тонки и так правдоподобны, что кажется, будто изображает он души. Здесь орел возносит в поднебесье бога. Там чистый Гилас отвергает бесчестную Наяду. Аполлон, проклиная виновные руки, украшает расстроенную лиру только что рожденным цветком.

При виде этих любовных картин я, забыв, что я не один в галерее, вскричал:

— Значит, и боги подвластны страсти? Юпитер не нашел на небе достойного избранника, но, согрешив на земле, он хоть никого не обидел. И Нимфа, похитившая Гиласа, наверное, обуздала бы свои страсти, знай она, что Геркулес придет тягаться из-за него. Аполлон обратил прах любимого юноши в цветок; и всегда любовь в этих сказках не омрачена соперничеством. А я принял в дом свой гостя, жестокостью превзошедшего Ликурга.

Но вот в то время как я бросал слова на ветер, вошел в пинакотеку седовласый старец с лицом человека, потрепанного жизнью, но еще способного совершить нечто великое; платье его было не весьма блестяще, и, видимо, он принадлежал к числу тех писателей, которых богатые обычно терпеть не могут. Подойдя, он стал подле меня и сказал:

— Я — поэт, и, надеюсь, не из последних, если только можно полагаться на венки, которые часто и неумелым присуждают. Ты спросишь, почему я так плохо одет? Именно поэтому: любовь к искусству никого еще не обогатила.

Кто доверяет волнам — получит великую прибыль,
Кто в лагеря и в битвы спешит — опоясется златом;
Льстец недостойный лежит на расписанном пурпуре пьяный,
Тот, кто замужних матрон утешает, грешит не задаром,
Лишь Красноречье одно, в одежде оледенелой,
Голосом слабым зовет забытые всеми Искусства.

84. Одно несомненно: враг порока, раз навсегда избравший в жизни прямой путь и так уклонившийся от нравов толпы, вызывает всеобщую ненависть — ибо ни один не одобрит того, кто на него не похож. Затем те, кто стремится лишь к обогащению, не желают верить, что есть у людей блага выше тех, за которые держатся они. Превозносите сколько угодно любителей литературы — богачу все равно покажется, что деньги сильней ее...

* * *

— Не понимаю, как это так бедность может быть сестрой высокого ума...

* * *

— О, если бы соперник, принудивший меня к воздержанию, был столь чист душой, что мог бы внять просьбам! Но он — ветеран среди разбойников и наставник всех сводников...

* * *

85. [Эвмолп] Когда квестор, у которого я служил, привез меня в Азию, я остановился в Пергаме. Оставался я там очень охотно не столько ради удобств дома, сколько ради красоты хозяйского сына; однако я старался изыскать способ, чтобы отец не мог заподозрить моей любви. Как только за столом начинались разговоры о красивых мальчиках, я приходил в такой искренний раж, с такой суровой важностью отказывался осквернять свой слух непристойными разговорами, что все, в особенности мать, стали смотреть на меня, как на философа. Уже я начал водить мальчика в гимнасий, руководить его занятиями, учить его и следить за тем, чтобы ни один из охотников за красавцами не проникал в дом. Однажды, в праздник, покончив уроки раньше обыкновенного, мы лежали в триклинии — ленивая истома, последствие долгого и веселого праздника, помешала нам добраться до наших комнат. Среди ночи я заметил, что мой мальчик бодрствует. Тогда я робким шепотом вознес моление.

— О Венера-владычица! — сказал я.— Если я поцелую этого мальчика так, что он не почувствует, то наутро подарю ему пару голубок.

Услышав о награде за наслаждение, мальчик принялся храпеть. Тогда, приблизившись к притворщику, я осыпал его поцелуями. Довольный таким началом, я поднялся ни свет ни заря и принес ему ожидаемую пару отменных голубок, исполнив свой обет.

86. На следующую ночь, улучив момент, я изменил молитву.

— Если дерзкой рукой я поглажу его и он не почувствует,— сказал я,— я дам ему двух лучших боевых петухов.

При этом обещании милый ребенок сам придвинулся ко мне, опасаясь, видимо, чтобы я сам не заснул. Успокаивая его нетерпение, я с наслаждением гладил его, сколько мне было угодно. На другой же день, к великой его радости, принес ему обещанное. На третью ночь я при первой возможности придвинулся к уху притворно спящего.

— О боги бессмертные! — шептал я.— Если я добьюсь от спящего счастья полного и желанного, то за такое благополучие я завтра подарю ему превосходного македонского скакуна, при том, однако, условии, что мальчик ничего не заметит.

Никогда еще мальчишка не спал так крепко... С раннего утра засел он в спальне, нетерпеливо ожидая обещанного. Но,

сам понимаешь, купить голубок или петухов куда легче, чем коня; да и побаивался я, как бы из-за столь крупного подарка не показалась щедрость моя подозрительной. Поэтому, проходив несколько часов, я вернулся домой и, взамен подарка, поцеловал мальчика. Но он, оглядевшись по сторонам, обвил мою шею руками и осведомился:

— Учитель, а где же скакун?

* * *

87.— Хотя этой обидой я заградил себе проторенный путь, однако скоро вернулся к прежним вольностям. Спустя несколько дней, попав снова в обстоятельства благоприятные и убедившись, что родитель храпит, я стал уговаривать отрока смилостивиться надо мной, то есть позволить мне доставить ему удовольствие, словом, все, что может сказать долго сдерживаемая страсть. Но он, рассердившись всерьез, твердил все время: «Спи, или я скажу отцу».

Но нет трудности, которой не превозмогло бы нахальство! Пока он повторял: «Разбужу отца»,— я подполз к нему и при очень слабом сопротивлении добился успеха. Он же, далеко не раздосадованный моей проделкой, принялся жаловаться: и обманул-то я его, и насмеялся, и выставил на посмешище товарищам, перед которыми он хвастался моим богатством.

— Но ты увидишь,— заключил он,— я совсем на тебя не похож. Если ты чего-нибудь хочешь, то можешь повторить.

Итак, я, забыв все обиды, помирился с мальчиком и, воспользовавшись его благосклонностью, погрузился в сон. Но отрок<...> не удовлетворился простым повторением. Потому он разбудил меня вопросом: «Хочешь еще?» Этот труд еще не был мне в тягость. Когда же он, при сильном с моей стороны охании и великом потении, получил желаемое, я, изнемогши от наслаждения, снова заснул. Менее чем через час он принялся меня тормошить, спрашивая:

— Почему мы больше ничего не делаем?

Тут я, в самом деле обозлившись на то, что он все меня будит, ответил ему его же словами:

— Спи, или я скажу отцу!

88. Ободренный этими рассказами, я стал расспрашивать старика, как человека довольно сведущего, о времени написания некоторых картин, о темных для меня сюжетах, о причинах нынешнего упадка, сведшего на нет искусство,— особенно живопись, исчезнувшую бесследно.

— Алчность к деньгам все изменила,— сказал он.— В прежние времена, когда царствовала нагая добродетель, цвели благородные искусства, и люди соревновались друг с другом, чтобы ничто полезное не осталось скрытым от будущих поколений. Демокрит, этот второй Геркулес, выжимал соки разных трав и всю жизнь свою провозился с камнями да растениями, силясь открыть их живительную силу. Евдокс состарился на горной вершине, следя за движением светил; Хрисипп трижды очищал чемерицей душу, дабы подвигнуть ее к новым исканиям. Обратимся к ваянию: Лисипп умер от голода, не в силах оторваться от работы над отделкой одной статуи; Мирон, скульптор столь великий, что, кажется, он мог в меди запечатлеть души людей и животных, не оставил наследников. Мы же, погрязшие в вине и разврате, не можем даже завещанного предками искусства изучить; нападая на старину, мы учимся и учим только пороку. Где диалектика? Где астрономия? Где вернейшая дорога к мудрости? Кто, спрашиваю я, ныне идет в храм и молится о постижении высот красноречия и глубин философии? Теперь даже о здоровье не молятся; зато, только ступив на порог Капитолия, один обещает жертву, если похоронит богатого родственника, другой — если выкопает клад, третий — если ему удастся при жизни сколотить тридцать миллионов. Даже учитель добродетели и справедливости, Сенат, обыкновенно обещает Юпитеру Капитолийскому тысячу фунтов золота; и чтобы никто не гнушался корыстолюбием, он даже самого Юпитера умилостивляет деньгами. Не удивляйся упадку живописи: людям ныне груды золота приятнее творений какого-нибудь сумасшедшего грека — Апеллеса или Фидия.

89. Но я вижу, ты уставился на картину, где изображено падение Трои,— поэтому попробую стихами рассказать тебе, в чем дело:

Уже фригийцы жатву видят десятую
В осаде, в жутком страхе; и колеблется
Доверье эллинов к Калханту вещему.
Но вот влекут по слову бога Делийского
Деревья с Иды. Вот под секирой падают
Стволы, из коих строят коня зловещего,
И, отворив во чреве полость тайную,
Скрывают в ней отряд мужей, разгневанных
Десятилетней бойней. Спрятались мрачные
В свой дар данайцы и затаили месть в душе.
О родина! Мы верим: все корабли ушли,
Земля от войн свободна. Всё нам твердит о том:
И надпись, что на коне железом вырезана,
И Синон, во лжи могучий на погибель нам.

Уже бежит из ворот толпа свободная,
Спешит к молитве; слезы по щекам текут:
У робких слезы льются и от радости,
Но страх их осушил, когда, распустив власы,
Нептуна жрец, Лаокоон, возвысил глас,
Крича над всей толпою, и метнул копье
Коню во чрево, но ослабил руку рок,
И дрот отпрянул, легковерных вновь убедив.
Вотще вторично он подъемлет бессильно длань
И бок разит секирою двуострою:
Загремели доспехи в чреве скрытых юношей,
Загрохотав, громада деревянная
Дохнула на троянцев чуждым ужасом.
Везут в коне плененных, что пленят Пергам,
Войну закончат хитростью невиданной.

Вот снова чудо! Где Тенедос из волн морских
Хребет подъемлет, там вскипает гордый вал,
Дробится и, отхлынув, обнажает дно.
Так точно плеск гребцов в тиши разносится,
Когда по морю ночью корабли плывут
И громко стонет гладь под ударами дерева.
Мы оглянулись: вот два змея кольчатых
Плывут к скалам, раздувши груди грозные,
Как две ладьи, боками роют пену волн
И бьют хвостами. В море их гривы вольные
Налиты кровью, как глаза; блеск молний
Зажег валы, от шипа змей дрожащие...
Все онемели... Вот в повязках жреческих,
В одежде фригийской оба близнеца стоят,
Лаокоона дети. Змеи блестящие
Обвили их тела, и каждый ручками
Уперся в пасть змеи, стараясь вызволить,
Но не себя, а брата, в братской верности,
И за другого страх сгубил обоих детей.
К их гибели прибавил смерть свою отец,
Спаситель бессильный. Ринулись чудовища
И, сытые смертью, наземь увлекли его.
И вот, как жертва, жрец меж алтарей лежит,
Жалея Трою. Так, осквернив алтарь святой,
Утратил помощь богов наш город гибнущий.

Едва взошла на небо Феба полная,
Ведя за лучистым ликом светила меньшие,
Как средь троянцев, сном и вином раздавленных,
Данайцы, отперев коня, выходят вон.
С мечом в руках, вожди их силы пробуют,—
Так часто, Фессалийский конь стреноженный,
Порвавши путы, мчит, и развевается
Густая грива, и голова закинута.
Обнажив клинки, щиты сжимая круглые,
Враг начинает бой. Тот опьяненных бьет
И превращает в смерть их безмятежный сон,
А этот, зажегши факел о святой алтарь,
Огнем святынь троянских с Троей борется.

90. Но тут люди, гуляющие под портиками, принялись швырять камнями в декламирующего Эвмолпа. Он же, привыкший к такого рода поощрению своих талантов, закрыл голову и опрометью бросился из храма. Я испугался, как бы и меня не приняли за поэта, и побежал за ним до самого побережья; как только мы вышли из полосы обстрела, я обратился к Эвмолпу:

— Скажи, пожалуйста, что это за болезнь у тебя? Неполных два часа говорил я с тобою, и за это время ты произнес больше поэтических слов, чем человеческих. Не удивительно, что народ преследует тебя камнями. Я в конце концов тоже наложу за пазуху булыжников и, если ты опять начнешь неистовствовать, пущу тебе кровь из головы.

— Эх, юноша, юноша,— ответил Эвмолп,— точно мне в диковинку подобное обращение: как только я войду в театр для декламации — всегда толпа устраивает мне такую же встречу. Но, чтобы не поссориться и с тобою, я на весь сегодняшний день воздержусь от этой пищи.

— Да нет, если ты клянешься на сегодня удержаться от словоизвержения, то отобедаем вместе...

* * *

Я поручаю сторожу моего жилища приготовить скромный обед...

* * *

91. ...вижу: прислонившись к стенке, с утиральниками и скребницами в руках, стоит Гитон печальный, смущенный. Видно было, что на новой службе удовольствия немного. Стал я к нему присматриваться, а он обернулся и с повеселевшим лицом воскликнул:

— Сжалься, братец. Когда поблизости нет оружия, я говорю от души: отними меня у этого кровожадного разбойника, а за проступок, в котором я искренне каюсь, накажи своего судью как хочешь. Для меня, несчастного, будет утешением и погибнуть по твоей воле.

Опасаясь, как бы нас не подслушали, я прервал его жалобы. Оставив Эвмолпа,— он и в бане не унялся и снова задекламировал,— темным, грязным коридором я вывел Гитона на улицу и поспешил в свою гостиницу. Заперев двери, я крепко обнял его и поцелуями вытер слезы на его лице. Долго ни один из нас не находил слов: все еще трепетала от рыданий грудь милого мальчика.

— О, преступная слабость! — воскликнул я наконец.— Ты меня бросил, а я тебя люблю; в этой груди, где зияла огромная рана, не осталось даже рубца. Что скажешь, потворщик чужой любви? Заслужил ли я такую обиду?

Лицо Гитона, когда он услыхал, что любовь во мне жива, прояснилось...

* * *

— Никого, кроме тебя, не назначил я судьей нашей любви! Но я все забуду, перестану жаловаться, если ты действительно, по чистой совести, хочешь загладить свой проступок.

Так, со слезами и стонами, изливал я перед Гитоном свою душу. Он же говорил, вытирая плащом слезы:

— Энколпий, я взываю к твоей памяти: я ли тебя покинул, или ты меня предал? Не отрицаю и признаю, что, видя двух вооруженных, я пошел за сильнейшим.

Тут я, обняв руками его шею, осыпал поцелуями грудь, полную мудрости, и, дабы он не сомневался в прощении и в искренней дружбе, вспыхнувшей в моем сердце, прильнул к нему всем телом.

92. Уже совсем стемнело, и хозяйка хлопотала, приготовляя заказанный обед, когда Эвмолп постучался в дверь.

— Сколько вас? — спрашиваю я, а сам выглядываю в дверную щелку, нет ли с ним Аскилта. Убедившись, что он один, я тотчас же впустил гостя. Он первым долгом разлегся на койке и, увидав накрывавшего на стол Гитона, кивнул мне головой и сказал:

— А Ганимед твой недурен. Мы нынче прекрасно устроимся.

Это начало мне не слишком понравилось, и я испугался, не принял ли я в дом второго Аскилта. Когда же Гитон поднес ему выпить, он привстал со словами:

— Во всей бане нет никого, кто был бы мне больше по душе, чем ты.

С жадностью осушив кубок, он начал уверять, что никогда еще не было ему горше, чем сегодня.

— Ведь меня,— жаловался он,— пока я мылся, чуть не избили только за то, что я вздумал прочесть сидевшим на закрайне бассейна одно стихотворение; когда же меня из бани вышибли — совсем как, бывало, из театра, я принялся рыскать по всем углам, во все горло призывая Энколпия. С другой стороны, какой-то молодой человек, совершенно голый — он, оказывается, потерял платье,— громко и ничуть не менее сердито

звал Гитона. Надо мною даже мальчишки издевались, как над помешанным, нахально меня передразнивая; к нему же, наоборот, окружившая его огромная толпа относилась одобрительно и с почтительным изумлением. Ибо он обладал оружием такой величины, что сам человек казался привешенным к этому амулету. О юноша работоспособный! Думаю, сегодня начнет, послезавтра кончит. А посему и за помощью дело не стало: живо отыскался какой-то римский всадник, как говорили, лишенный чести; завернув юношу в свой плащ, он повел его домой, видно, чтобы одному воспользоваться такой находкой. А я и своей бы одежи не получил от гардеробщика, не приведи я свидетеля. Настолько выгоднее упражнять уд, чем ум.

Во время рассказа Эвмолпа я поминутно менялся в лице: радуясь злоключениям нашего врага, печалясь его удачам. Тем не менее я молчал, как будто вся эта история меня не касалась, и стал перечислять кушанья нашего обеда.

* * *

93. Все позволенное — противно, и вялые, заблудшие души стремятся к необычному.

Не люблю доходить до цели сразу,
Не мила мне победа без препятствий.
Африканская дичь мне нежит нёбо,
Птиц люблю я из стран фасийских колхов,
Ибо редки они. А гусь наш белый
Иль утка с крылами расписными
Пахнут чернью. Клювыш за то нам дорог,
Что, пока привезут его с чужбины,
Возле Сиртов судов потонет много.
А барвена претит. Милей подружка,
Чем жена. Киннамон ценнее розы.
То, что стоит трудов,— всего прекрасней.

— Так вот как,— говорю,— ты обещал сегодня не стихоплетствовать? Сжалься, пощади нас — мы никогда не побивали тебя камнями. Ведь если кто-нибудь из тех, что пьют тут же, в гостинице, пронюхает, что тут поэт, он всех соседей взбудоражит, и всех нас заодно вздуют. Сжалься! Вспомни о пинакотеке или о банях.

Но Гитон, нежнейший из отроков, стал порицать мою речь, говоря, что я дурно поступаю, обижая старшего, и, забыв долг хозяина, бранью как бы уничтожаю любезно предложенное угощение. Он прибавил еще много учтивых и благовос-

питанных слов, которые весьма шли к его прекрасной наружности.

94. — О,— воскликнул Эвмолп,— о, как счастлива мать, родившая тебя таким! Молодец! Редко сочетается мудрость с красотою. Не думай, что ты даром тратил слова: поклонника горячего обрел ты. Я возглашу хвалу тебе в песнях. Как учитель и хранитель, пойду я за тобою всюду, даже туда, куда ты не велишь ходить: этим я не обижу Энколпия, ибо он любит другого.

Тот солдат, что отнял у меня меч, хорошо послужил и Эвмолпу, а то бы я с его кровью излил все, что накипело у меня в душе против Аскилта. Гитон это заметил. Под предлогом, что идет за водой, он покинул комнату и своевременным уходом смягчил мой гнев.

— Эвмолп,— сказал я, поутихнув немного,— лучше уж ты говори стихами, чем выражать такие желания. Я вспыльчив, а ты похотлив. Ты видишь, что мы не сходимся характерами. Ты меня принимаешь за сумасшедшего? Так уступи безумию, иными словами, проваливай немедленно.

Пораженный этим заявлением, Эвмолп даже не спросил о причинах моего гнева, но поспешно выбежал из комнаты, запер меня, ничего подобного не ожидавшего, в комнате и, забрав с собой ключ, рванулся на поиски Гитона. Сидя взаперти, я решил повеситься, и уже поставил кровать стоймя около стены, уже сунул голову в петлю, как вдруг двери распахнулись и в комнату вошли Гитон с Эвмолпом. Они вернули меня к жизни, не допустив до рокового шага. Гитон, немедленно перейдя от огорчения к гневу, поднял крик и, толкнув меня обеими руками, повалил на кровать.

— Ты ошибся, Энколпий,— вопил он,— полагая, что раньше меня можешь умереть. Я первый, еще в доме Аскилта, искал меч. Не найди я тебя, давно бы был я на дне пропасти: сам знаешь, за смертью далеко ходить не надо. Гляди же на то, чем хотел заставить меня любоваться.

С этими словами он выхватил из чехла у Эвмолпова слуги бритву и, дважды полоснув себя по шее, пал к нашим ногам. Я взвизгнул и, грохнувшись вслед за ним, тем же орудием пытался кончить жизнь. Но ни я боли не ощутил, ни у Гитона никакой раны не оказалось. Бритва была не выправлена и нарочно притуплена, чтобы приучать к смелости подмастерий цирюльника и набить им руку. Поэтому и слуга не испугался, когда у него выхватили бритву, и Эвмолп не остановил театрального самоубийства.

95. Пока между влюбленными разыгрывалась эта комедия, в комнату вошел хозяин с новым блюдом и, увидев все это безобразие и людей, катающихся по полу, вскричал:

— Что вы — пьяны? Или беглые рабы? Или и то и другое? Кто это поставил кровать столбом? И зачем эти тайные приготовления? Ей-богу, вы за комнату платить не хотите и ночью удрать собираетесь! Но это вам даром не пройдет. Узнаете вы, что этот дом не сирой вдовице принадлежит, а Марку Манцию.

— Ты угрожать?! — гаркнул на него Эвмолп и закатил ему основательную оплеуху. Хозяин, изрядно насосавшийся со своими гостями, метнул в голову Эвмолпа глиняный горшок, который разбился об его лоб, а сам со всех ног бросился из комнаты. Эвмолп, не снеся оскорбления, схватил деревянный подсвечник и помчался вслед за ним, частыми ударами мстя за рассеченную бровь. Рабы и множество пьяных гостей выбежали на шум.

Я же, воспользовавшись случаем отомстить Эвмолпу, обратно его не пустил и, расплатившись с буяном тою же монетой, без всякой помехи собрался воспользоваться комнатой и ночью. Между тем поварята и всякая челядь насели на изгнанника: один норовил ткнуть ему в глаза вертелом с горячими потрохами; другой, схватив кухонную рогатку, стал в боевую позицию; впереди всех какая-то старуха с гноящимися глазами в непарных деревянных сандалиях, подпоясанная грязнейшим холщовым платком, притащив огромную цепную собаку, науськивала ее на Эвмолпа. Но тот своим подсвечником отражал все опасности.

96. Мы видели всю эту суматоху сквозь дырку в двери, только что пробитую самим Эвмолпом: убегая из комнаты, он выломал ручку. Мне было приятно смотреть, как его бьют; Гитон же, по обычной своей доброте, все порывался распахнуть двери и броситься на помощь гибнувшему. Гнев мой еще не утих, я не мог сдержать руки и дал сострадательному мальчику крепкого щелчка в голову... Он заплакал от боли и присел на постель. Я же то одним, то другим глазом подглядывал в дырочку и от души наслаждался бедствиями Эвмолпа, словно самым вкусным лакомством. Но тут в самую свалку врезались носилки, несомые двумя рабами; в них возлежал домоправитель Баргат, которого шум потасовки поднял из-за стола. Ходить он не мог, ибо болел ногами. Долго и сердито ругал он бродяг и пьяниц и вдруг, заметив Эвмолпа, вскричал:

— Ты ли это, превосходнейший поэт? И не рассеялись в мгновение ока пред тобою эти скверные рабы? И они посмели поднять на тебя руки?..

* * *

— Сожительница моя что-то нос задирать стала. Поэтому, если любишь меня, отделай ее в стихах, чтоб она устыдилась...

* * *

97. Пока Эвмолп перешептывался с Баргатом, в трактир вошел глашатай в сопровождении общественного служителя и изрядной толпы любопытных. Размахивая более дымящим, чем светящим факелом, он возгласил:

— Недавно сбежал из бань мальчик, шестнадцати лет, кудрявый, нежный, красивый, по имени Гитон. Тысяча нуммов тому, кто вернет его или укажет его местопребывание.

Тут же, рядом с глашатаем, стоял Аскилт в пестрой одежде, держа в руках серебряное блюдо с обещанной наградой и правительственным актом. Я приказал Гитону живо залезть под кровать и уцепиться руками и ногами за ременную сетку, на которой держался тюфяк, и так, вытянувшись под тюфяком, спасаться от рук сыщиков, как некогда спасался Улисс, вися под брюхом барана. Не медля, Гитон повиновался и так умело повис на матрасе, что и Улисса за пояс заткнул. Я же, чтоб устранить всякое подозрение, набросал на кровать одежду, придав ей такой вид, будто на ней сейчас валялся человек моего роста. Между тем Аскилт, осмотрев вместе с общественным служителем все комнаты, подошел и к моей и тут преисполнился надежд, тем более что нашел дверь тщательно запертой. Общественный служитель, всунув в щелку топор, живо сломал замок. Я упал к ногам Аскилта, заклиная его старой дружбой, памятью былых, вместе пережитых страданий еще хоть раз показать мне братца.

— Я знаю, Аскилт,— восклицал я, желая сделать более правдивыми мои притворные мольбы,— я знаю, ты убить меня пришел: иначе зачем тебе топоры? Насыть же гнев свой; на, руби мою шею, пролей кровь, за которой ты явился под предлогом иска.

Аскилт смягчился. Он сказал, что ищет лишь беглеца; он не хочет смерти молящего, тем более, что человек этот ему, несмотря на размолвку, все-таки дорог.

98. Общественный же служитель тем временем не дремал, но, вырвав из рук трактирщика длинную трость, сунул ее под

кровать и стал обыскивать каждую дырочку в стене. Затаив дыхание, Гитон, чтобы спастись от ударов, так крепко прижался к тюфяку, что лицом касался постельных клопов...

* * *

В комнату ворвался Эвмолп, которого теперь не удерживали сломанные двери.

— Мои! — завопил он в сильном возбуждении.— Моя тысяча нуммов: догоню сейчас глашатая, заявлю, что Гитон у тебя, и предам тебя, как ты того заслуживаешь.

Я обнял колени упиравшегося старика, умоляя не добивать умирающего.

— Ты бы не напрасно горячился,— говорил я,— если бы ты мог указать выданного тобою. В суматохе мальчик сбежал, не могу даже представить куда. Умоляю, Эвмолп, найди мальчика и возврати хотя бы Аскилту.

Пока я убеждал уже начинавшего верить Эвмолпа, Гитон, не имея сил дольше сдерживаться, трижды подряд чихнул так, что кровать затряслась. Эвмолп, оглянувшись на шум, пожелал Гитону долго здравствовать. Подняв матрас, он увидел нашего Улисса, которого и голодный Циклоп пощадил бы.

— Это что такое, разбойник? — спросил он.— Пойманный с поличным, ты еще смеешь врать? Ведь если бы некий бог, указующий пути человеческие, не заставил висящего мальчика подать мне знак, я бы сейчас метался по всем трактирам, ища его...

* * *

Гитон, куда более ласковый, чем я, первым долгом приложил к его рассеченному лбу намасленной паутины, затем, взяв себе его изодранное платье, одел Эвмолпа своим плащом, обнял его и, когда тот размяк, стал ублажать его поцелуями.

— Под твое, дорогой отец,— говорил он,— под твое покровительство мы отдаем себя. Если ты любишь твоего Гитона, спаси его. Меня пусть сожжет злой огонь! Меня пусть поглотит бурное море! Я причина, я источник всех злодеяний! Погибну я, и враги помирятся...

* * *

99.— Я-то всегда и везде так живу, что стараюсь использовать всякий день, точно это последний день моей жизни...— сказал Эвмолп...

* * *

Со слезами просил и умолял я его вернуть мне свое расположение: любящие не властны в ужасном чувстве ревности, но впредь ни словом, ни делом я его не оскорблю. Пусть он, как подобает наставнику в искусстве прекрасного, излечит свою душу от этой язвы так, чтобы и рубца не осталось. Долго лежит снег на необработанных диких местах; но где земля сияет, укрощенная плугом, он тает скорее инея. Так же и гнев в сердце человеческом: он долго владеет умами дикими, скользит мимо утонченных.

— Знаешь,— сказал Эвмолп,— ты прав. Этим поцелуем я кончаю все ссоры. Вот! Итак, чтобы все пошло гладко, собирайте вещи и идите за мной, или, если угодно, я пойду за вами.

Он еще не кончил, как кто-то громко постучался, и на пороге появился матрос со всклокоченной бородой.

— Чего ты копаешься, Эвмолп,— сказал он,— словно не знаешь, что надо поторапливаться?

Немедля мы встали, и Эвмолп, разбудив своего слугу, приказал ему нести поклажу. Я же, с помощью Гитона, свернул все, что нужно на дорогу, и, помолившись звездам, взошел на корабль.

* * *

100. «Неприятно, что мальчик приглянулся гостю? Но что же из того? Разве лучшее в природе не есть общее достояние? Солнце всем светит. Луна с бесчисленным сонмом звезд даже зверей выводит на добычу. Что красивее воды? Однако для всех она течет. Почему же только любовь должно красть, а не получать в награду? Не желаю я благ таких, каким никто завидовать не будет. Притом — один, да еще старый,— совсем не опасен: если он и позволит себе что-нибудь, так из-за одной одышки у него ничего не получится».

Успокоив ревнивую душу такими уверениями и обернув туникой голову, я вздремнул. Вдруг, словно судьба нарочно решила сломить мою стойкость, над навесом кормы чей-то голос проныл:

— Значит, он надо мной насмеялся?

Этот знакомый ушам моим мужской голос заставил меня вздрогнуть. Вслед за тем какая-то не менее возмущенная женщина сказала, кипя негодованием:

— Если какой-нибудь бог предаст Гитона в мои руки, устрою же я прием этому беглецу.

У нас обоих кровь в жилах застыла от этой неожиданности. Я, словно терзаемый страшным сновидением, долго не мог овладеть голосом. Пересилив себя, дрожащими руками я принялся дергать за полу спящего Эвмолпа.

— Заклинаю тебя честью, отец, можешь ли ты сказать мне, чей это корабль и кто на нем едет?

Недовольный беспокойством, Эвмолп проворчал:

— Затем ли ты заставил нас выбрать самое укромное место на палубе, чтобы не давать нам покоя? Прибавится тебя, что ли, если я скажу, что хозяин корабля — тарентинец Лих, и везет он в Тарент изгнанницу Трифену?

101. Я затрепетал, как громом пораженный, и, обнажив себе шею, воскликнул:

— Ну теперь, судьба, ты окончательно добила меня.

А Гитон, лежавший у меня на груди, даже потерял сознание. Но лишь только, сильно пропотев, мы пришли в себя, я обнял колени Эвмолпа и сказал:

— Сжалься над погибающими. Протяни нам руку помощи ради общности твоих и моих желаний. Смерть уже около нас, и, если ты не спасешь нас, она будет для нас благодеянием.

Огорошенный тем, что мы боимся чьей-то ненависти, Эвмолп стал клясться богами и богинями, что не имел ни малейшего понятия о случившемся, что не было у него на уме никакого коварного обмана, что без всякой задней мысли и, напротив, с самой чистой совестью взял он нас с собою на это судно, на котором он заранее обеспечил себе место.

— Где же,— говорит,— тут опасность? И что это за Ганнибал такой едет с нами? Лих-тарентинец, скромнейший из людей,— хозяин не только этого судна, которым он сейчас правит, но, сверх того, еще и нескольких поместий, и торгового дома, и везет он теперь на корабле своем груз, который должен доставить на рынок. Таков этот Киклоп и архипират, который нас везет. Кроме него, на корабле находится еще прекраснейшая из женщин, Трифена, она ради своего удовольствия ездит по свету.

— Но это как раз те, от кого мы бежим,— возразил Гитон и тут же изложил оторопелому Эвмолпу причину их ненависти и угрожающей нам опасности. Старик, совсем растерявшись и не зная, что придумать, предложил каждому из нас высказать свое мнение.

— Представим себе,— добавил он,— что мы попали в пещеру к Киклопу и нам необходимо отыскать какой-нибудь

способ из нее выбраться, если только, конечно, мы не предпочтем броситься в море и тем избавиться от всякой опасности.

— Нет,— возразил ему на это Гитон,— ты лучше постарайся убедить кормчего зайти в какой-нибудь порт, за что, разумеется, ему будет заплачено. Скажи ему, что твой брат совсем помирает от морской болезни. А чтобы кормчий из сострадания уступил твоей просьбе, эту выдумку можешь приправить слезами и растерянным выражением лица.

— Это невозможно,— возразил Эвмолп,— большому судну нелегко зайти в порт, да и неправдоподобным может показаться, что брат ослабел так скоро. К тому же возможно, что Лих сочтет своей обязанностью взглянуть на больного. А ты сам знаешь, кстати ли нам будет звать хозяина к беглецам. Но допустим даже, что корабль может свернуть с пути к далекой цели, а Лих не станет обходить койки с больными; каким же образом сойдем мы на берег так, чтобы никто не обратил на нас внимания? С покрытыми головами или с непокрытыми? Если с покрытыми, то кто же не захочет подать больному руку? Если с непокрытыми, то не значит ли это — выдать себя с головой?

102.— А не лучше ли было бы,— воскликнул я,— пойти прямо напролом: спуститься по веревке в шлюпку и, обрезав канат, остальное предоставить судьбе? Тебе, Эвмолп, я, конечно, не предлагаю рисковать с нами. Что за необходимость невинному человеку подвергаться опасности из-за других? Я вполне удовольствуюсь надеждой на какой-нибудь случай, который может нам помочь во время спуска.

— Совет неглупый,— сказал Эвмолп,— если бы только была возможность им воспользоваться. Что же, по-твоему, так никто и не увидит, когда вы будете уходить? Особенно кормчий, который всю ночь напролет неусыпно наблюдает за движением созвездий? Если бы он даже и заснул, вы не могли бы надуть его иначе, как устроив побег с другой стороны судна. А спускаться вам придется как раз через корму, около самого руля, потому что именно там привязан канат, держащий лодку. Кроме того, я удивляюсь, Энколпий, как тебе не пришло в голову, что в лодке постоянно находится матрос, который днем и ночью стережет ее, и что этого караульного удалить оттуда никоим образом невозможно? Его, конечно, можно убить или силою выбросить за борт, но в состоянии ли вы это сделать,— о том справьтесь у собственной смелости. А что до того, буду ли я сопровождать вас или не буду, то нет опасности, которую я отказался бы разделить с вами, если только она дает какую-нибудь надежду на спасение. Я думаю, что и вы не захотите ни с того ни с сего

рисковать своей жизнью, словно она ничего не стоит. А вот что вы думаете на этот счет? Я положу вас между всяким платьем в кожаные мешки, свяжу их ремнями, и они будут находиться при мне, как моя поклажа. А чтобы вам можно было свободно дышать и принимать пищу, горловины у мешков придется, конечно, завязать неплотно. Потом я заявлю во всеуслышание, что, испугавшись сурового наказания, рабы мои ночью бросились в море. Когда же мы придем наконец в гавань, я преспокойно вынесу вас на берег, как кладь, не навлекая на себя никаких подозрений.

— Великолепно! — говорю я.— Ты собираешься запаковать нас, точно мы со всех сторон закупорены, и нам не приходится считаться с желудком, и точно мы не храпим и не чихаем. Разве я только что не провалился с подобной же хитростью? Но, допустим, что мы даже сможем провести один день увязанные таким образом. Что же дальше? Вдруг нас дольше, чем следует, задержит на море штиль или сильная непогода? Что тогда делать? Ведь даже на одежде, которая долго оставалась запакованной, появляются складки; даже листы пергамента, если их связать вместе, в конце концов покоробятся. Так возможно ли, чтобы мы, юные и совершенно еще не привычные к таким тяготам, могли долго пролежать как истуканы в этой куче разного тряпья, увязанные ремнями?.. Нет, нужно постараться найти какой-нибудь другой путь к спасению. Вот лучше рассмотрите-ка то, что я придумал. У Эвмолпа, как у человека, занимающегося словесностью, непременно должны быть при себе чернила. Этим-то средством мы и воспользуемся: перекрасимся с головы до ног и так, превратившись в эфиопских рабов, будем служить тебе, радуясь, что и пыток несправедливых мы избежали, и фальшивой окраской врагов надули.

— Как бы не так! — сказал Гитон.— Ты, пожалуй, предложишь еще устроить нам обрезание, чтобы сделаться похожими на иудеев, и проколоть уши в подражание арабам, а чтобы и галлы свободно могли принимать нас за своих, мелом натереть себе лица. Точно посредством одной только окраски можно изменить до неузнаваемости внешность, и нет никакой необходимости согласовать очень многое для того, чтобы обман хоть немного походил на правду. Допустим даже, что краска довольно долго не сойдет с лица, что вода, случайно попав на тело, не будет оставлять на нем никаких пятен, что чернила не перейдут нам на платье,— а они нередко пристают к нему даже и в том случае, когда к ним не прибавлено клею. Прекрасно, но каким образом сделаем мы до безобразия пухлыми свои губы? Разве

мы сможем щипцами искурчавить себе волосы? Избороздить лбы рубцами? А как искривить нам свои ноги? Удлинить пятки? Откуда взять бороду на чужеземный манер? Искусственная краска пачкает тело, но не меняет его. Послушайте меня: в нашем отчаянии нам одно только осталось — замотаем головы в одежды и погрузимся в бездну.

103.— Ни боги, ни люди не должны допустить,— воскликнул Эвмолп,— чтобы вы кончили жизнь свою так постыдно. Нет. Лучше уж сделайте так, как я вам прикажу. Слуга мой, как вам известно после происшествия с бритвой,— цирюльник. Так вот, пусть он немедленно же обреет вам обоим не только головы, но и брови. Я же сделаю на лбу у каждого из вас по искусной надписи, чтобы вас принимали за клейменых. Эти буквы прикроют ваши лица пятном позорного наказания и отвлекут от вас подозрения ищущих.

Не откладывая дела, мы, крадучись, отошли к одному из корабельных бортов и отдали головы вместе с бровями во власть цирюльника. Затем Эвмолп громадными буквами украсил нам обоим лбы и щедрой рукой вывел через все лицо общеизвестный знак беглых рабов. Как на грех, один из пассажиров, перегнувшись через корабельный борт, облегчал страдающий от морской болезни желудок. Он заметил при свете луны, как цирюльник трудится в неурочный час. Проклявши наше бритье, как скверное предзнаменование, потому что оно слишком напоминало обычную последнюю жертву при кораблекрушении, он снова повалился на койку. Не обратив внимания на проклятия блюющего, мы снова приняли печальный вид и, соблюдая полную тишину, провели остальные часы этой ночи в тревожном полусне...

* * *

104. [Лих] —...Сегодня ночью явился мне во сне Приап и сказал: «Да будет тебе известно, что я привел на твой корабль Энколпия, которого ты ищешь».

Трифена вздрогнула и проговорила:

— Подумать только! Мы с тобой точно одним сном спали. Ведь и мне приснилось, будто явилась ко мне статуя Нептуна, которую я видела в Байях, в галерее, и сказала: «Гитона ты найдешь на корабле у Лиха».

— А знаешь,— заметил на это Эвмолп,— божественный Эпикур осуждает эту чепуху в остроумнейших речах!

Сны, что, подобно теням, порхая, играют умами,
Не посылаются нам божеством ни из храма, ни с неба,
Всякий их сам для себя порождает, покуда на ложе
Члены объемлет покой и ум без помехи резвится,
Ночью дневные дела продолжая. Так, воин, берущий
Город на щит и огнем пепелящий несчастные стогна,
Видит оружье, и ратей разгром, и царей погребенье,
И наводненное кровью пролитою ратное поле.
Тот, кто хлопочет в судах, законом и форумом бредит
И созерцает во сне, содрогаясь, судебное кресло.
Золото прячет скупой и вырытым клад свой находит.
С гончими мчится ловец по лесам, и корабль свой спасает
В бурю моряк или сам, утопая, хватает обломки.
Пишет блудница дружку. Матрона любовь покупает.
Пес легавый во сне преследует с лаем зайчонка.
Так же во мраке ночей продолжаются муки страдальцев.

Несмотря на это, Лих, по случаю сна Трифены, совершил очистительный обряд и сказал:

— Никто не помешает нам произвести на корабле обыск, чтобы не казалось, будто мы пренебрегаем указаниями божественного промысла.

Вдруг Гес, тот самый пассажир, что заметил ночью нашу злосчастную проделку, воскликнул:

— Кто же это, однако, брился сегодня ночью при лунном свете, подавая, право слово, самый скверный пример? Я не раз слышал, что никому из смертных, если море спокойно, нельзя, находясь на корабле, стричь ни волос, ни ногтей.

105. Встревоженный этими словами, Лих вспыхнул от гнева и крикнул:

— Неужели кто-нибудь решился снять свои волосы на корабле, да еще глубокой ночью? Немедленно доставить мне сюда виновных! Я хочу знать, чьей кровью придется очистить осквернённое судно.

— Это было сделано по моему приказу,— сказал Эвмолп.— Право, хоть это и зловещая примета, я не хотел подвергать опасности корабль, на котором и сам плыву. Но ведь у этих преступников были очень длинные спутанные волосы, а мне не хотелось, чтобы твой корабль походил на тюрьму,— поэтому и велел осужденным снять с себя всю эту мерзость. Вместе с тем я имел в виду, чтобы каждому бросались в глаза все их клейма, которые до сих пор под прикрытием косм были недостаточно заметны. Они, между прочим, виноваты в том, что растратили мои деньги у общей подружки, откуда я извлек их прошлой ночью, залитых вином и благовониями. В общем, от них и теперь еще пахнет остатками моего состояния...

* * *

Но, чтобы умилостивить Тутелу корабля, Лих все-таки приказал всыпать каждому из нас по сорока ударов, что и было сделано немедленно же. К нам с веревками в руках приступили свирепые матросы с намерением ублажить Тутелу нашей презренной кровью. Что до меня, то первые три удара я переварил с мужеством истинного спартанца. А Гитон, наоборот, после первого же удара издал такой пронзительный крик, что до уха Трифены сразу же донесся хорошо знакомый голос. Этот привычный звук всполошил не только ее, но и всех ее служанок, которые немедленно устремились к наказуемому. Уже Гитон удивительной красотою своею обезоружил жестоких матросов и начал без слов умолять их о пощаде, когда служанки в один голос воскликнули:

— Да это Гитон! Гитон!.. Удержите ваши безжалостные руки!.. Это Гитон! Госпожа! На помощь!

Трифена и слушать не стала: она и без того убеждена была в этом и стрелой полетела к мальчику. Лих, великолепно меня знавший, тоже прибежал, будто и он услышал знакомый голос. Он не стал рассматривать ни моих рук, ни лица, но тотчас же направил свои взоры на другое место и, приветливо пожав его, сказал:

— Здравствуй, Энколпий.

Еще некоторые удивляются, что кормилица Улисса через двадцать лет отыскала рубец, указывающий на его происхождение, в то время как этому мудрецу, несмотря на все перемены в чертах моего лица, достаточно было этого единственного указания, чтобы так блестяще обнаружить своего беглого слугу. Тут Трифена, поддавшись обману, залилась горькими слезами; обратив внимание на буквы, она подумала, что лбы наши на самом деле заклеймены. Затем тихим голосом принялась выспрашивать, в какую тюрьму посадили нас за бродяжничество и чьи жестокие руки решились на такое мучительство; впрочем, проявив за все ее добро одну только черную неблагодарность и убежав, мы все же заслужили наказание.

106. Тут Лих выскочил вперед и в сильном гневе воскликнул:

— О простодушная женщина! Да разве эти буквы выжжены железом? О, если бы чело их на самом деле осквернено было подобными надписями! Каким бы это нам послужило утешением! Теперь же мы стали жертвой шутовской проделки; эти поддельные надписи — насмешка над нами.

В Трифене не совсем еще потухла прежняя страсть; поэтому она предлагала сжалиться над нами. Но Лих, памятуя о совращении жены и оскорблениях, некогда нанесенных ему в портике Геркулеса, с еще бо́льшим возмущением на лице воскликнул:

— По-моему, ты могла убедиться, Трифена, что бессмертные боги принимают участие в человеческих делах. Ведь это они привели к нам на корабль ничего не подозревающих преступников, а нас двумя совершенно сходными сновидениями предупредили о том, что сделали. Так вот теперь и смотри сама, хорошо ли будет, если мы простим тех, кого само божество привело сюда для возмездия. Что до меня, то я совсем не жесток, однако боюсь, как бы самому не пришлось претерпеть то, от чего я их избавлю.

Под влиянием столь суеверных слов Трифена переменила мнение и стала утверждать, что она вовсе не против наказания и, наоборот, даже настаивает на этом, пожалуй, весьма справедливом, возмездии, так как оскорблена ничуть не менее Лиха, достоинство и честь которого самым постыдным образом осмеяны были на глазах у всех...

107. [Эвмолп] — ...Меня, как человека тебе небезызвестного, они выбрали для переговоров и просили примирить между собою бывших закадычных друзей. Не думаете же вы в самом деле, что эти юноши чисто случайно попали в такую беду; ведь каждый пассажир первым долгом старается узнать, чьему попечению он вверяет свое благополучие. Вы же, получив такое удовлетворение, смените гнев на милость и позвольте свободнорожденным людям без недостойных оскорблений ехать к месту назначения. Даже самый безжалостный и неумолимый господин старается обыкновенно сдерживать свою жестокость, если раскаяние приводит обратно беглого раба, и даже врагов мы щадим, если они сдаются. Чего же вы еще добиваетесь? Чего хотите? Вот они перед глазами вашими — коленопреклоненные, оба молодые, благородные, незапятнанные и, что важнее всего, некогда вам близкие. Если бы они даже растратили ваши деньги, если бы предательством осквернили ваше доверие— то и тогда, клянусь Геркулесом, вы могли бы удовольствоваться понесенным ими наказанием. Вот вы видите на лбах у них знаки рабства, видите благородные лица, заклейменные добровольным покаянием.

Тут Лих перебил Эвмолпа среди просьб и ходатайств и сказал:

— Ты не вали все в одну кучу, а возьми лучше каждую вещь в отдельности. Прежде всего, если они пришли сюда по

своей собственной воле, то зачем же в таком случае обрили себе головы? Кто меняет свой облик, тот готовится обмануть, а не дать удовлетворение. Затем, допустим, что они на самом деле решили добиваться через тебя примирения с нами; почему же ты делал все, чтобы скрыть от нас своих подзащитных? Отсюда следует, что преступники действительно лишь благодаря случаю попали под палку, а ты хитростью пытался провести нашу бдительность. Ты стараешься очернить наше дело, крича, что они свободнорожденные и честные. Но смотри, как бы защита твоя не проиграла от этого заявления. Что же должен делать оскорбленный, когда виновник сам приходит к нему за возмездием?.. Они были нашими друзьями? Тем большего наказания они заслуживают: оскорбивший незнакомца зовется разбойником; оскорбивший друга приравнивается почти что к отцеубийце.

Эвмолп прервал эту неблагосклонную речь и сказал:

— Насколько я понимаю, несчастные юноши обвиняются более всего в том, что остриглись ночью. Одно только это и служит как будто доказательством того, что они случайно попали на корабль, а не сами пришли. И мне бы очень хотелось, чтобы вы выслушали меня без всяких задних мыслей, так же, как они совершили это дело. Ведь они, еще до того как сесть на корабль, собирались освободить свои головы от тягостной и ненужной обузы; только слишком поспешное отплытие заставило их отложить на некоторое время выполнение этого намерения. Но они совершенно не предполагали, сколь многое будет зависеть от того, в каком месте они его исполнят: ибо не знали ни примет, ни обычаев морского плавания.

— А что за необходимость была брить себе головы, когда они решили просить прощения? — перебил его Лих.— Уж не потому ли, что плешивых будто бы жалеют сильнее? Но что толку искать правды через посредника? Что скажешь ты сам, разбойник? И что за саламандра уничтожила твои брови? И какому богу ты обещал принести в жертву свои волосы? Отвечай же, отравитель! Отвечай!

108. Объятый страхом перед наказанием, я замер и в смятении не находил слов, чтобы сказать хоть что-нибудь по поводу этого до очевидности ясного дела... К тому же я был очень смущен и до того обезображен постыдным отсутствием волос на голове и, главное, на бровях, которые теперь совершенно сравнялись со лбом, что мне казалось прямо неприличным что-нибудь сказать или сделать. Но когда кто-то проехался по моему заплаканному лицу мокрой губкой и, размазав чернила, слил все

черты лица в одно черное пятно, гнев Лиха перешел вдруг в ненависть.

Между тем Эвмолп стал говорить, что он не потерпит, чтобы кто-нибудь, вопреки законам божеским и человеческим, позорил людей свободных, и наконец принялся противодействовать угрозам наших палачей не только словом, но и делом. На помощь к нашему защитнику бросились его слуга и еще два-три пассажира; но последние были очень слабы и более поощряли к борьбе, чем действительно помогали ему. Я уже ни о чем для себя не просил, но, указывая руками прямо на Трифену, во все горло кричал, что если эта непотребная женщина, единственная на всем корабле достойная порки, не отстанет от Гитона, то я прогоню ее силой. Смелость моя еще более рассердила Лиха. Он вдруг вспыхнул и начал негодовать на то, что я, оставив свое собственное дело, наговорил так много, защищая другого. Не менее его разъярилась и Трифена, возмущенная моими оскорбительными словами. Тут все, кто только был на корабле, разбились на две враждебные партии. С одной стороны, слуга-цирюльник и сам вооружился, и нас наделил своими инструментами; с другой — челядь Трифены готовилась выступить на нас с голыми руками. И, само собою разумеется, дело наше не обошлось без громких криков служанок. Один только кормчий заявил, что, если не прекратится переполох, возникший из-за сладострастия каких-то прохвостов, он тотчас же перестанет управлять кораблем. Несмотря на это, все-таки продолжалась самая отчаянная свалка: они дрались ради мести, мы — ради спасения жизни. С той и другой стороны многие свалились уже, хоть и не замертво, многие отступили, точно с поля сражения, покрытые кровью и ранами. И, однако, ярости от этого ни в ком не убавилось. Тут отважный Гитон поднес к своим чреслам смертоносную бритву, угрожая отрезать эту причину стольких злоключений; но Трифена, нисколько не скрывая, что все ему простила, воспрепятствовала столь великому злодеянию. Я, со своей стороны, тоже не один раз приставлял к своей шее бритвенный нож, но намерение мое зарезаться было не серьезнее, чем угрозы Гитона. Только он еще смелее разыгрывал трагедию, зная, что в руках у него та самая бритва, которой он уже попробовал однажды перехватить себе горло.

Обе стороны все еще стояли друг против друга, и было очевидно, что бой опять разгорится с новой силой; но тут с большим трудом кормчему удалось убедить Трифену, чтобы она, взяв на себя обязанности парламентера, устроила перемирие. И вот после того как, по обычаю отцов, обе стороны обменялись клят-

вами, Трифена, держа перед собою оливковую ветвь, взятую из рук корабельной Тутелы, решилась начать переговоры:

Что за безумье, кричит, наш мир превращает в сраженье?
Чем заслужила того наша рать? Ведь не витязь троянский
Здесь на судне увозит обманом супругу Атрида.
И не Медея, ярясь, защищается братскою кровью.
Сила отвергнутой страсти мятется! О, кто призывает
Злую судьбу на меня, средь валов потрясая оружьем?
Мало вам смерти одной? Не спорьте в свирепости с морем
И в пучины его не лейте крови потоки.

109. После этих слов, произнесенных женщиной с волнением в голосе, войска колебались очень недолго; и призванные к миру дружины прекратили бой. Эвмолп, предводительствовавший нашей стороной, решил немедленно воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами и, произнеся прежде всего самое суровое порицание Лиху, заставил подписать скрижали мира, сими словесами вещавшие:

«Согласно твоему добровольному решению ты, Трифена, не будешь взыскивать с Гитона за причиненные им тебе неприятности; не будешь упрекать или мстить за проступки, буде таковые им до сего времени совершены; и вообще не будешь стараться каким-либо иным способом преследовать его. Не уплатив ему предварительно за каждый раз по сто денариев наличными деньгами, ты не должна принуждать мальчика против его воли ни к объятиям, ни к поцелуям, ни к союзу Венеры. Так же точно и ты, Лих, согласно твоему добровольному решению, не должен больше преследовать Энколпия оскорбительными словами или суровым видом; не должен спрашивать у него, с кем он проводит свои ночи; а если будешь требовать в этом отчета — обязуешься за каждое подобное оскорбление уплачивать ему наличными деньгами по двести денариев».

Когда договор в таких словах был заключен, мы сложили оружие; а чтобы после обоюдной клятвы в душах у нас не осталось даже признака старой злобы, словом, чтобы совершенно покончить с прошлым, мы решили обменяться поцелуями. Таким образом раздор наш, по всеобщему желанию, прекратился, и трапеза, принесенная на самое поле сражения, при веселом настроении всех собутыльников послужила к вящему примирению. Весь корабль огласился песнями, а так как вследствие внезапно наступившего безветрия судно прекратило свой бег, одни стали бить рыбу трезубцами в тот миг, когда она выскакивала из воды, другие вытаскивали сопротивляющуюся добычу крюч-

ками с приманкой. А один ловкач принялся, с помощью специально сплетенных для этого из тростника приспособлений, охотиться на морских птиц, которые начали уже садиться на рею. Прилипая к обмазанным клеем прутьям, они сами давались в руки; и заиграл ветерок летучими пушинками; и начали плавать по морю их перья, крутясь вместе с легкою пеной. Уже у меня с Лихом опять налаживалась дружба, уже Трифена успела плеснуть в лицо Гитону из своего кубка остатками вина, когда Эвмолп, тоже сильно захмелевший, захотел вдруг поострить над плешивыми и клейменными. Исчерпав все пошлые остроты на эту тему, он наконец принялся за стихи и продекламировал нам небольшую элегию о волосах:

Кудри упали,— увы! — хоть в них вся прелесть красавцев.
Юный, весенний убор злобно скосила зима,
Ныне горюют виски, лишенные сладостной тени.
Отмолотили хлеба; солнцем гумно сожжено.
Сколь переменчива воля богов! Ибо первую радость,
В юности данную нам, первой обратно берет.

Бедный! Только что ты сиял кудрями,
Был прекраснее Феба и Дианы.
А теперь твое темя глаже меди
И круглее, чем гриб, дождем рожденный.
Робко прочь ты бежишь от дев-насмешниц.
И, коль ты позабыл о близкой смерти,
Знай, что часть головы уже погибла.

110. Эвмолп, кажется, собирался декламировать еще дольше и еще более нескладно, чем раньше, но как раз в это время одна из служанок Трифены увела с собой Гитона в нижнюю каюту и надела ему на голову парик своей госпожи. Затем вытащила из баночки накладные брови и, искусно подражая форме утерянных, вернула таким образом мальчику всю его красоту. Теперь только Трифена признала в нем настоящего Гитона; от волнения она даже расплакалась и в первый раз поцеловала его от всего сердца.

Я тоже был рад, что мальчику возвратили прежнюю привлекательность; зато собственное лицо стал прикрывать еще тщательнее: ведь я знал, что отличаюсь теперь необыкновенным безобразием,— если даже Лих не удостаивает меня разговора. Но та же самая служанка мне помогла в этом горе: она отозвала меня в сторону и снабдила не менее прекрасной шевелюрой. Лицо мое даже изменилось к лучшему, потому что парик был белокурый.

* * *

А Эвмолп, этот наш всегдашний защитник среди опасностей и создатель теперешнего общего согласия, из боязни, как бы не увяло без прибауток наше веселое настроение, принялся вовсю болтать о женском легкомыслии. Говорил, как легко женщины влюбляются, как скоро забывают даже своих сыновей; говорил, что нет на свете женщины настолько скромной, чтобы новая страсть не в состоянии была довести ее до исступления; и нет нужды в примерах из старинных трагедий или в известных из истории именах, но если мы захотим его слушать, он может рассказать нам об одном случае, который был на его памяти. И, видя, что все повернулись к нему лицами и приготовились слушать, Эвмолп начал таким образом:

111.— В Эфесе жила некая матрона, отличавшаяся столь великой скромностью, что даже из соседних стран женщины приезжали посмотреть на нее. Когда же умер ее муж, она, не удовольствовавшись общепринятым обычаем провожать покойника с распущенными волосами или бия себя на виду у всех в обнаженную грудь, последовала за умершим мужем даже в могилу и, когда тело, по греческому обычаю, положили в подземелье, осталась охранять его там, в слезах проводя дни и ночи. Пребывая в столь сильном горе, она решила уморить себя голодом, и ни родные, ни близкие не в состоянии были отклонить ее от этого решения. Напоследок даже городские власти удалились, ничего не добившись. Все плакали, глядя на этот неповторимый пример супружеской верности,— на эту женщину, уже пятые сутки проводившую без пищи. Печально сидела с ней ее верная служанка. Заливаясь слезами, она делила горе своей госпожи и по временам заправляла светильник, поставленный на могильную плиту, как только замечала, что он начинает гаснуть. В городе только и разговоров было что про вдову. Люди всех званий сходились в том, что впервые пришлось им увидеть блестящий пример истинной любви и верности.

Между тем как раз в это время правитель той области приказал неподалеку от подземелья, в котором вдова плакала над свежим трупом, распять нескольких разбойников, а чтобы кто-нибудь не похитил разбойничьих тел, желая предать их погребению, возле крестов поставили на стражу солдата. С наступлением ночи солдат заметил среди надгробных памятников довольно яркий свет, услышал стоны несчастной вдовы и, по любопытству, свойственному всему роду человеческому, захотел

узнать, кто это и что там делается. Немедленно спустился он в склеп и, увидев там женщину замечательной красоты, сначала оцепенел от испуга, словно перед призраком или загробною тенью. Затем, увидев наконец лежащее перед ним мертвое тело и заметив слезы и лицо, исцарапанное ногтями, он, конечно, понял, что это только женщина, которая после смерти мужа не может прийти в себя от горя. Тогда он принес в склеп свой скромный обед и принялся убеждать плачущую, чтобы она перестала понапрасну убиваться и не терзала груди своей бесполезными рыданиями: всех, мол, ожидает один конец, всем уготовано одно и то же жилище. Говорил он и многое другое, чем обыкновенно стараются утешать людей, чья душа изъязвлена горем. Но она от этих утешений стала еще сильнее царапать свою грудь и, вырывая из головы волосы, принялась осыпать ими покойника. Солдата это, однако, не обескуражило, и он не менее настойчиво стал уговаривать бедную вдовушку немножко поесть. Наконец служанка, соблазнившись винным запахом, почувствовала, что не в силах больше противиться учтивому приглашению солдата, и сама первая протянула руку, побежденная. А потом, подкрепив пищей и вином свои силы, она тоже начала бороться с упорством своей госпожи.

— Что пользы в том,— говорила служанка,— если ты умрешь голодной смертью? Если заживо похоронишь себя? Если самовольно испустишь неосужденный дух, прежде чем того потребует судьба?

Мнишь ли, что слышат тебя усопших тени и пепел?

Не лучше ли, если ты вернешься к жизни? Не лучше ли отказаться от своего женского заблуждения и, пока можно, наслаждаться благами жизни? Самый вид этого недвижного тела уже должен убедить тебя остаться в живых.

Всякий охотно слушает, когда его уговаривают есть или жить. Потому вдова наша, которая, благодаря столь продолжительному воздержанию от пищи, уже сильно ослабела, позволила наконец сломить свое упорство и принялась за еду с такой же жадностью, как и служанка, сдавшаяся первою.

112. Вы, конечно, знаете, на что нас обычно соблазняет сытость. Солдат теми же ласковыми словами, которыми убедил матрону остаться в живых, принялся атаковать и ее стыдливость. К тому же он казался этой целомудренной женщине человеком вовсе не безобразным и даже не лишенным дара слова.

Да и служанка старалась расположить свою госпожу в его пользу и то и дело повторяла:

> Как? Неужели любовь ты отвергнешь, любезную сердцу?
> Или не ведаешь ты, чьи поля у тебя пред глазами?

Но что там много толковать? У женщины и эта часть тела не вынесла воздержания: победоносный воин снова ее убедил. Они провели в объятиях не только эту ночь, в которую справили свою свадьбу, но то же самое было и на следующий, и даже на третий день. А двери в подземелье, на случай, если бы к могиле пришел кто-нибудь из родственников или знакомых, разумеется, заперли, чтобы казалось, будто эта целомудреннейшая из жен умерла над телом своего мужа. Солдат же, восхищенный и красотою возлюбленной, и таинственностью приключения, покупал, насколько позволяли его средства, всякие лакомства и, как только смеркалось, немедленно относил их в подземелье. А в это время родственники одного из распятых, видя, что за ними нет почти никакого надзора, сняли ночью с креста его тело и предали погребению. Воин, который всю ночь провел в подземелье, только на следующий день заметил, что на одном из крестов недостает тела. Трепеща от страха перед наказанием, рассказал он вдове о случившемся, говоря, что не станет дожидаться приговора суда, а собственным мечом накажет себя за нерадение, и просил, чтобы она оставила его, когда он умрет, в этом подземелье и положила в одну и ту же роковую могилу возлюбленного и мужа. Она же, не менее сострадательная, чем целомудренная, отвечала:

— Неужели боги допустят до того, что мне придется почти одновременно увидеть смерть двух самых дорогих для меня людей? Нет! Я предпочитаю повесить мертвого, чем погубить живого.

Сказано — сделано: матрона велит вытащить мужа из гроба и пригвоздить его к пустому кресту. Солдат немедленно воспользовался блестящей мыслью рассудительной женщины. А на следующий день все прохожие недоумевали, каким образом мертвый взобрался на крест.

113. Громким хохотом встретили моряки этот рассказ, а Трифена любовно склонилась своим сильно зарумянившимся лицом на плечо Гитона. Один Лих не смеялся. Сердито покачав головой, он сказал:

— Если бы правитель был человеком справедливым, он непременно приказал бы тело мужа положить обратно в могилу, а жену его распять.

Без сомнения, ему вспомнилась Гедила и разграбление корабля во время нашего своевольного переселения. Но слова договора не дозволяли ему напоминать об этом; да и охватившее всех веселье не давало возможности затеять новую ссору. Трифена в это время сидела на коленях у Гитона и то осыпала его грудь поцелуями, то принималась поправлять его фальшивые волосы. Я печально сидел на своем месте, мучился невыносимо этим новым сближением, ничего не ел, ничего не пил и только искоса сердито поглядывал на обоих. Все поцелуи, все ласки, измышляемые похотливой женщиной, терзали мое сердце. И, однако, я до сих пор все-таки не знал, на кого я больше сержусь: на мальчика — за то, что он отбивает у меня подружку, или на подружку — за то, что она развращает моего мальчика. А в общем, и то и другое было мне чрезвычайно противно и даже более тягостно, чем недавний плен. И вдобавок еще ни Трифена не заговорила со мной, словно я не был ей человеком близким и некогда желанным любовником, ни Гитон не удостаивал меня чести хотя бы мимоходом выпить за мое здоровье или, по крайней мере, вовлечь меня в общий разговор. Мне кажется, он просто боялся, как бы в самом же начале наступившего согласия опять не растравить рану в сердце Трифены. От огорчения грудь моя переполнилась наконец слезами; глубокими вздохами старался я подавить в себе рыдания, которые как бы выворачивали мою душу...

* * *

[Лих] добивался, чтобы и ему досталась доля наших удовольствий, и, забыв хозяйскую спесь, лишь просил дружеской благосклонности...

* * *

— Если в тебе течет хоть капля благородной крови, то она должна быть для тебя не лучше любой девки; если ты в самом деле мужчина, ты не пойдешь к этой шлюхе...

* * *

Досаднее всего было то, что о случившемся узна́ет величайший насмешник Эвмолп и примется мстить за воображаемую обиду своими стихами...

* * *

Эвмолп в самых торжественных словах поклялся...

* * *

114. Пока мы рассуждали об этом и о тому подобных вещах, на море поднялось большое волнение, небо обложило со всех сторон тучами, и день потемнел. Матросы в страхе бросились по своим местам и в ожидании бури убрали паруса. Но ветер гнал волны то в одну, то в другую сторону, и кормчий совершенно не знал, какого ему курса держаться. То ветер гнал нас по направлению к Сицилии, то поднимался аквилон, хозяин италийского берега, и во все стороны швырял наше покорное судно. Но что было опаснее всяких бурь, так это нависшая внезапно над нами тьма, до того непроглядная, что кормчий не мог рассмотреть как следует даже корабельного носа.

И вот, о, Геркулес! Когда буря разыгралась вовсю, Лих обратился ко мне, трепеща от страха, и, протягивая с мольбой руки, воскликнул:

— Энколпий, помоги нам в опасности, возврати судну систр и священное одеяние. Заклинаю тебя, сжалься над нами, прояви присущее тебе милосердие!

Он все еще вопил, когда внезапно налетел сильный шквал и сбросил его в море. Буря завертела его в своей неумолимой пучине и, выбросив еще раз на поверхность, наконец поглотила. Тут самые преданные из слуг Трифены поспешно схватили свою госпожу и, посадив ее вместе с большею частью поклажи в лодку, спасли от верной смерти...

* * *

Я, прижавшись [к Гитону], громко плакал и говорил ему:

— Мы заслужили от богов, чтобы только смерть соединила нас. Но безжалостная судьба отказала нам даже в этом. Смотри — волны начинают уже опрокидывать наше судно. Смотри! Уже скоро гневное море вырвет любящих друг у друга из объятий. Итак, если ты на самом деле любил Энколпия, то подари его поцелуем, пока еще можно. Вырви из рук немедлящей судьбины эту последнюю радость.

Лишь только я это сказал, Гитон разделся и, прикрывшись моей туникой, подставил мне лицо для поцелуев, а чтобы слишком яростная волна не разлучила прильнувших друг к другу, он одним поясом связал обоих, говоря:

— Так, по крайней мере, подольше нас, связанных вместе, будет носить море. А может быть, оно сжалится и выбросит нас

вместе на берег, и какой-нибудь прохожий из простого человеколюбия набросает на тела наши камней, или же в крайнем случае яростные волны замоют их незаметно песком.

Я даю связать себя последними узами и, лежа, как на смертном одре, ожидаю кончины, которая уже не страшит меня. Буря между тем заканчивала то, что ей было предписано роком, и бросилась уничтожать все остатки нашего корабля. На нем не было теперь ни мачт, ни руля, ни снастей, ни весел. Подобно необтесанному обрубку, носился он по воле волн...

* * *

Появились рыбаки, приплывшие на своих маленьких лодках в надежде награбить добычи. Но, заметив на палубе людей, готовых защищать свое имущество, забыли о жестокости и оказали помощь...

* * *

115. Мы услыхали странные звуки, которые раздавались из-под каюты кормчего: точно дикий зверь рычал, желая вырваться на свободу. Пойдя на звук, мы наткнулись на Эвмолпа: он сидел и на огромном пергаменте выписывал какие-то стихи. Пораженные тем, что Эвмолп даже на краю гибели не бросает своих поэм, мы, несмотря на его крики, выволокли его наружу и велели образумиться. А он, рассердившись, что ему помешали, кричал:

— Дайте же мне закончить фразу: поэма уже идет к концу.

Тут я ухватил одержимого и велел Гитону помочь мне отвезти воющего поэта на землю...

* * *

И вот, когда это было устроено, мы добрались наконец, печальные, до рыбачьей хижины и, кое-как подкрепившись испорченной во время кораблекрушения снедью, провели там невеселую ночь.

На следующий день, когда мы держали совет, в какую нам сторону направиться, я вдруг заметил, что легкая зыбь крутит и прибивает к нашему берегу человеческое тело. С печалью в сердце стоял я и увлажненным взором созерцал вероломство моря.

— Может быть,— воскликнул я,— в какой-нибудь части света ждет его спокойная супруга, или сын, не знающий о буре, или отец, которого он оставил и, отправляясь в дорогу, поцеловал. Вот они, человеческие расчеты! Вот они, наши честолюбивые помыслы! Вот он, человек, которого волны носят теперь по своему произволу!

До сих пор я оплакивал его, как незнакомого. Но когда волна повернула утопленника, чье лицо нисколько не изменилось, я увидел Лиха; этот не так давно грозный и неумолимый человек теперь лежал чуть ли не у моих ног. Я не мог больше удерживать слезы и, вновь и вновь ударяя себя в грудь, повторял:

— Где же теперь твоя ярость? Куда девалась вся твоя необузданность? Твое тело отдано на растерзание рыбам и морским чудовищам. Недавно ты хвастал своим могуществом, и вот после кораблекрушения от твоего громадного корабля и доски не осталось. Наполняйте же, смертные, наполняйте сердца ваши гордыми помыслами. Будьте, будьте предусмотрительны — распределяйте ваши богатства, приобретенные обманом и хитростью, на тысячу лет. Ведь и этот вчера еще придирчиво проверял счета своего имущества; ведь и он в мечтах назначил день, когда достигнет берегов своей родины. О, боги и богини! Как далеко лежит он теперь от цели! Но не одно только море так вероломно к людям. Одному в сражении изменяет оружие. Другого погребают под собой развалины дома в тот миг, когда он дает обеты богам. Иному приходится испустить непоседливый дух, вылетев из повозки. Обжору душит пища, умеренного — воздержание. Словом, если поразмыслить, то крушения ждут нас повсюду. Правда, поглощенный волнами не может рассчитывать на погребение. Но какая разница, чем истреблено будет тело, обреченное на гибель,— огнем, водой или временем? Что там ни делай, все на одно выйдет. Пусть даже могут растерзать тело дикие звери... Но разве лучше, если пожрет его пламя? Напротив, когда мы гневаемся на рабов, то наказание огнем считаем самым тяжелым. Так не безумие ли заботиться о том, чтобы малейшая частица нашего тела не оставалась без погребения?

* * *

Тело Лиха сгорело на костре, сложенном руками его врагов. Эвмолп же, сочиняя надгробную надпись, устремил вдаль взоры, призывая к себе вдохновение...

* * *

116. Охотно окончив это дело, мы пустились по избранной нами дороге и немного спустя, покрытые потом, уже взбирались на гору; с нее открывался вид на какой-то город, расположенный совсем недалеко от нас на высоком холме. Блуждая по незнакомой местности, мы не знали, что это такое, пока наконец какой-то хуторянин не сообщил нам, что это Кротона, город древний, когда-то первый в Италии... Затем, когда мы более подробно принялись расспрашивать его, что за люди населяют это знаменитое место и какого рода делами предпочитают они заниматься, после того как частые войны свели на нет их богатство, он так нам ответил:

— О чужестранцы, если вы — купцы, то советую вам отказаться от ваших намерений; постарайтесь лучше отыскать какие-нибудь другие средства к существованию. Если же вы люди более тонкие и способны все время лгать, тогда вы на верном пути к богатству. Ибо науки в этом городе не в почете, красноречию в нем нет места, а воздержанием и чистотой нравов здесь не стяжаешь ни похвал, ни наград. Знайте, что все люди, которых вы увидите в этом городе, делятся на две категории: уловляемых и уловляющих. В Кротоне никто не заводит своих детей, потому что любого, кто имеет законных наследников, не допускают ни на торжественные обеды, ни на общественные зрелища; лишенный всех этих удовольствий, он принужден жить незаметно среди всякого сброда. А вот люди, никогда не имевшие ни жен, ни близких родственников, достигают самых высоких почестей; другими словами — только их и признают за людей, наделенных военной доблестью, великим мужеством и примерной честностью. Вы увидите,— сказал он,— город, напоминающий собой пораженную чумою равнину, на которой нет ничего, кроме терзаемых трупов да терзающих воронов...

117. Эвмолп, как человек более предусмотрительный, принялся обдумывать этот совершенно новый для нас род занятий и заявил наконец, что он ровно ничего не имеет против такого способа обогащения. Я думал сначала, что старец наш просто шутит, по своему поэтическому легкомыслию, но он с самым серьезным видом добавил:

— О, сумей я обставить эту комедию попышнее, будь платье поприличнее и вся утварь поизящнее, чтобы всякий поверил моей лжи,— поистине, я не стал бы откладывать это дело, а сразу повел бы вас к большому богатству.

Я обещал Эвмолпу доставить все, что ему нужно, если только устраивает его платье, сопутствовавшее нам во всех грабежах, и разные другие предметы, которые дала нам обобранная вилла Ликурга. А что касается денег на текущие расходы, то Матерь богов по вере нашей пошлет нам их...

* * *

— В таком случае зачем откладывать нашу комедию в долгий ящик? — воскликнул Эвмолп.— Если вы действительно ничего не имеете против подобной плутни, то признайте меня своим господином.

Никто из нас не осмелился осудить эту проделку, тем более что в ней мы ничего не теряли. А для того чтобы замышляемый обман остался между нами, мы, повторяя за Эвмолпом слова обета, торжественно поклялись терпеть и огонь, и оковы, и побои, и насильственную смерть, и все, что бы ни приказал нам Эвмолп,— словом, как форменные гладиаторы, предоставили и души свои, и тела в полное распоряжение хозяина. Покончив с клятвой, мы, нарядившись рабами, склонились перед повелителем. Затем сговорились, что Эвмолп будет отцом, у которого умер сын, юноша, отличавшийся красноречием и подававший большие надежды. А чтобы не иметь больше перед глазами ни клиентов своего умершего сына, ни товарищей его, ни могилы, вид которых вызывал у него каждый день горькие слезы,— несчастный старик решил уехать из своего родного города. Горе его усугублено только что пережитым кораблекрушением, из-за которого он потерял более двух миллионов сестерциев. Но не потеря денег волнует его, а то, что, лишившись также и всех своих слуг, он не в состоянии теперь появиться ни перед кем с подобающим его достоинству блеском. Между тем в Африке у него до сих пор на тридцать миллионов сестерциев земель и денег, отданных под проценты. Кроме того, по нумидийским землям у него разбросано повсюду такое множество рабов, что с ними свободно можно было бы овладеть хотя бы Карфагеном.

Согласно этому плану, мы посоветовали Эвмолпу, во-первых, кашлять как можно больше, затем притвориться, точно он страдает желудком, а поэтому при людях отказываться от всякой еды и, наконец, говорить только о золоте и серебре, о своих вымышленных имениях и о постоянных неурожаях. Кроме того, он обязан был изо дня в день корпеть над счетами и чуть не ежечасно переделывать завещание. А для полноты

картины, он должен путать имена всякий раз, когда ему придется позвать к себе кого-нибудь из нас,— чтобы всем бросалось в глаза, будто он все еще вспоминает отсутствующих слуг.

Распределив таким образом роли, мы помолились богам, чтобы все хорошо и удачно кончилось, и отправились дальше. Но и Гитон не мог долго выносить непривычного груза, и наемный слуга, Коракс, позор своего звания, тоже частенько ставил поклажу на землю, ругал нас за то, что мы так спешим, и грозил или бросить где-нибудь свою ношу, или убежать вместе с нею.

— Что вы,— говорит,— считаете меня за вьючное животное, что ли, или за грузовое судно? Я подрядился нести человеческую службу, а не лошадиную. Я такой же свободный, как и вы, хоть отец и оставил меня бедняком.

Не довольствуясь бранью, он то и дело поднимал кверху ногу и оглашал дорогу непристойными звуками и обдавал всех отвратительной вонью. Гитон смеялся над его строптивостью и всякий раз голосом передразнивал эти звуки...

* * *

118.— Очень многих, юноши,— начал Эвмолп,— стихи вводят в заблуждение: удалось человеку втиснуть несколько слов в стопы или вложить в период сколько-нибудь тонкий смысл — он уж и воображает, что взобрался на Геликон. Так, например, после долгих занятий общественными делами люди нередко, в поисках тихой пристани, обращаются к спокойному занятию поэзией, думая, что сочинить поэму легче, чем контроверсию, уснащенную блестящими изреченьицами. Но человек благородного ума не терпит пустословия, и дух его не может ни зачать, ни породить ничего, если его не оросит живительная влага знаний. Необходимо тщательно избегать всех выражений, так сказать, подлых и выбирать слова, далекие от плебейского языка, согласно слову поэта:

Невежд гнушаюсь и ненавпжу чернь...

Затем нужно стремиться к тому, чтобы содержание не торчало, не уместившись в избранной форме, а, наоборот, совершенно с ней слившись, блистало единством красоты. Об этом свидетельствует Гомер, лирики, римлянин Вергилий и удивительно удачный выбор выражений у Горация. А другие или совсем не увидали пути, который ведет к поэзии, или не отважились вступить на него. Вот, например, описание гражданской войны: кто бы

ни взялся за этот сюжет без достаточных литературных познаний, всякий будет подавлен трудностями. Ведь дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить события,— это историки делают куда лучше; нет, свободный дух должен устремляться в потоке сказочных вымыслов обходным путем, через рассказы о помощи богов, через муки поисков нужных выражений, чтобы песнь казалась скорее вдохновенным пророчеством исступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями...

119. Римлянин царь-победитель владел без раздела вселенной;
Морем, и сушей, и всем, что двое светил освещают.
Но ненасытен он был. Суда, нагруженные войском,
Рыщут по морю, и, если найдется далекая гавань
Или иная земля, хранящая желтое злато,
Значит, враждебен ей Рим. Среди смертоносных сражений
Ищут богатства. Никто удовольствий избитых не любит,
Благ, что затасканы всеми давно в обиходе плебейском
Так восхваляет солдат корабельный эфирскую бронзу;
Краски из глубей земных в изяществе с пурпуром спорят.
С юга шелка нумидийцы нам шлют, а с востока серийцы.
Опустошает для нас арабский народ свои нивы.
Вот и другие невзгоды, плоды нарушения мира!
Тварей лесных покупают за злато и в землях Аммона,
В Африке дальней спешат ловить острозубых чудовищ,
Ценных для цирка убийц. Чужестранец голодный, на судне
Едет к нам тигр и шагает по клетке своей золоченой,
Завтра при кликах толпы он кровью людскою упьется.
Горе мне! Стыдно вещать про позор обреченного града!
Вот, по обычаю персов, еще недозрелых годами
Мальчиков режут ножом и тело насильно меняют
Для сладострастных забав, чтоб назло годам торопливым
Истинный возраст их скрыть искусственной этой задержкой.
Ищет природа себя, но не в силах найти, и эфебы
Нравятся всем изощренной походкою, мягкостью тела,
Нравятся кудри до плеч и одежд небывалые виды,—
Все, чем прельщают мужчин. Привезенный из Африки ставят
Крапчатый стол из лимонного дерева (злата дороже
Та древесина); рабы уберут его пурпуром пышным,
Чтобы он взор восхищал. Вкруг этих заморских диковин,
Всеми напрасно ценимых, сбираются пьяные толпы.
Жаден бродяга-солдат, развращенный войной, ненасытен:
Выдумки — радость обжор; и клювыш из волны сицилийской
Прямо живьем подается к столу; уловляют в Лукрине
И продают для пиров особого вида ракушки,
Чтоб возбуждать аппетит утомленный. На Фасисе, верно,
Больше уж птиц не осталось: одни на немом побережье
Средь опустевшей листвы ветерки свою песнь распевают.
То же безумство на Марсовом поле; подкуплены златом,
Граждане там голоса подают ради мзды и наживы.
Стал продажен народ, и отцов продажно собранье!
Любит за деньги толпа; исчезла свободная доблесть

Предков; вместе с казной разоренный лишается власти.
Рухнуло даже величье само, изъедено златом.
Плебсом отвергнут Катон побежденный; но более жалок
Тот, кто, к стыду своему, лишил его ликторских связок.
Ибо — и в этом позор для народа и смерть благонравья! —
Не человек удален, а померкло владычество Рима,
Честь сокрушилась его. И Рим, безнадежно погибший,
Сделался сам для себя никем не отмщенной добычей.
Рост баснословный процентов и множество медной монеты —
Эти два омута бедный народ, завертев, поглотили.
Кто господин в своем доме? Заложено самое тело!
Так вот сухотка, неслышно в глубинах тела возникнув,
Яростно члены терзает и выть заставляет от боли.
В войско идут бедняки и, достаток на роскошь растратив,
Ищут богатства в крови. Для нищего наглость — спасенье.
Рим, погрузившийся в грязь и в немом отупенье лежащий,
Может ли что тебя пробудить (если здраво размыслить),
Кроме свирепой войны и страстей, возбужденных оружьем?

Трех послала вождей Фортуна,— и всех их жестоко
Злая, как смерть, Энио погребла под грудой оружья.
Красс у парфян погребен, на почве Ливийской — Великий,
Юлий же кровию Рим обагрил, благодарности чуждый.
Точно не в силах нести все три усыпальницы сразу,
Их разделила земля. Воздаст же им почести слава.
Место есть, где средь скал зияет глубокая пропасть
В Парфенопейской земле по пути к Дикархиде великой,
Воды Коцита шумят в глубине, и дыхание ада
Рвется наружу из недр, пропитано жаром смертельным.
Осенью там не родятся плоды; даже травы не всходят
Там на тучном лугу; никогда огласиться не может
Мягкий кустарник весеннею песней, нестройной и звучной,
Мрачный там хаос царит, и торчат ноздреватые скалы,
И кипарисы толпой погребальною их окружают.
В этих пустынных местах Плутон свою голову поднял
(Пламя пылает на ней и лежит слой пепла седого).
С речью такою отец обратился к Фортуне крылатой:
«Ты, чьей власти дела вручены бессмертных и смертных,
Ты не миришься никак ни с одной устойчивой властью,
Новое мило тебе и постыло то, что имеешь;
Разве себя признаёшь ты сраженной величием Рима?
Ты ли не в силах столкнуть обреченной на гибель громады?
В Риме давно молодежь ненавидит могущество Рима,
Груз добытых богатств ей в тягость. Видишь сама ты
Пышность добычи и роскошь, ведущую к гибели верной.
Строят из злата дома и до звезд воздвигают строенья,
Камень воды теснит, а море приходит на нивы,—
Все затевают мятеж и порядок природы меняют.
Даже ко мне они в царство стучатся, и почва зияет,
Взрыта орудьями этих безумцев, и стонут пещеры
В опустошенных горах, и прихотям служат каменья,
А сквозь отверстья на свет ускользнуть надеются души.
Вот почему, о Судьба, нахмурь свои мирные брови,
Рим к войне побуди, мой удел мертвецами наполни.

Да, уж давненько я рта своего не омачивал кровью,
И Тисифона моя не омыла несытого тела,
С той поры, как поил клинок свой безжалостный Сулла
И взрастила земля орошенные кровью колосья».

121. Вымолвив эти слова и стремясь десницу с десницей
Соединить, он разверз огромной расщелиной землю.
Тут беспечная так ему отвечала Фортуна:
«О мой родитель, кому подчиняются недра Коцита!
Если истину мне предсказать безнаказанно можно,
Сбудется воля твоя, затем что не меньшая ярость
В сердце кипит и в крови не меньшее пламя пылает.
Как я раскаялась в том, что радела о римских твердынях!
Как я дары ненавижу свои! Пусть им стены разрушит
То божество, что построило их. Я всем сердцем желаю
В пепел мужей обратить и кровью душу насытить,
Вижу, как дважды тела под Филиппами поле устлали,
Вижу могилы иберов и пламя костров фессалийских,
Внемлет испуганный слух зловещему лязгу железа.
В Ливии — чудится мне — стенают, о Нил, твои веси
В чаянье битвы актийской, в боязни мечей Аполлона.
Так отвори же скорей свое ненасытное царство,
Новые души готовься принять. Перевозчик едва ли
Призраки павших мужей на челне переправить сумеет:
Нужен тут флот. А ты пожирай убитых без счета,
О Тисифона, и глад утоляй кровавою пищей:
Целый изрубленный мир спускается к духам Стигийским».

122. Еле успела сказать, как, пробита молнией яркой,
Вздрогнула туча — и вновь пресекла прорвавшийся пламень.
В страхе присел повелитель теней и заставил сомкнуться
Недра земли, трепеща от раскатов могучего брата.
Вмиг избиенье мужей и разгром грядущий раскрылись
В знаменьях вышних богов. Титана лик искаженный
Сделался алым, как кровь, и подернулся мглою туманной,
Словно дымились уже сраженья гражданские кровью.
В небе с другой стороны свой полный лик погасила
Кинфия, ибо она освещать не посмела злодейства.
С грохотом рушились вниз вершины гор и потоки,
Русла покинув свои, меж новых брегов умирали.
Звон мечей потрясает эфир, и военные трубы
В небе Марса зовут. И Этна, вскипев, изрыгнула
Пламень, досель небывалый, взметая искры до неба.
Вот среди свежих могил и тел, не почтенных сожженьем,
Призраки ликом ужасным и скрежетом злобным пугают
В свите невиданных звезд комета сеет пожары,
Сходит Юпитер могучий кровавым дождем на равнины,
Знаменья эти спешит оправдать божество, и немедля
Цезарь, забыв колебанья и движимый жаждою мести,
Галльскую бросил войну и войну гражданскую начал.
В Альпах есть место одно, где скалы становятся ниже.
И открывают проход, раздвинуты греческим богом.
Там алтари Геркулеса стоят и горы седые,
Скованы вечной зимой, до звезд вздымают вершины.

Можно подумать, что нет над ними небес: не смягчают
Стужи ни солнца лучи, ни теплые вешние ветры.
Все там сдавлено льдом и покрыто инеем зимним.
Может вершина весь мир удержать на плечах своих грозных.
Цезарь могучий, тот кряж попирая с веселою ратью,
Это место избрал и стал на скале высочайшей,
Взглядом широким кругом Гесперийское поле окинул.
Обе руки простирая к небесным светилам, воскликнул:
«О всемогущий Юпитер и вы, Сатурновы земли,
Что ликовали со мной победам моим и триумфам,
Вы мне свидетели в том, что Марса зову против воли
И против воли подъемлю я меч, лишь обидою движим:
В час, когда кровью врагов обагряю я рейнские воды,
В час, когда галлам, что вновь стремились взять Капитолий,
К Альпам я путь преградил, меня изгоняют из Рима.
Кровь германцев-врагов, шестьдесят достославных сражений —
Вот преступленья мои! Но кого же страшит моя слава?
Кто это бредит войной? Бесстыдно подкупленный златом
Сброд недостойных наймитов и пасынков нашего Рима!
Кара их ждет! И руки, что я занес уж для мщенья,
Трусы не смогут связать! Так в путь, победные рати!
В путь, мои спутники верные! Тяжбу решите железом.
Всех нас одно преступленье зовет и одно наказанье
Нам угрожает. Но нет! Должны получить вы награду!
Я не один побеждал. Но если за наши триумфы
Пыткой хотят нам воздать и за наши победы — позором,
Пусть наш жребий решит Судьба. Пусть усобица вспыхнет!
Силы пора испытать! Уже решена наша участь:
В сонме таких храбрецов могу ли я быть побежденным?»
Только лишь вымолвил он, как Дельфийская птица явила
Знаменье близких побед, разрезая воздух крылами.
Тут же послышался слева из чащи ужасного леса
Гул голосов необычных, и сразу блеснула зарница.
Тут и Феба лучи веселей, чем всегда, засверкали,
Вырос солнечный круг, золотым овит ореолом.

Знаменьем сим ободрён, Маворсовы двинул знамена
Цезарь и смело вступил на путь, для него непривычный.
Первое время и лед и земля, от мороза седого
Твердая, им не мешали идти, от ужаса немы.
Но, когда через льды переправились храбрые турмы
И под ногами коней затрещали оковы потоков,
Тут растопились снега, и, зачатые в скалах высоких,
Ринулись в долы ручьи. Но, как бы покорны приказу,
Вдруг задержались, прервав свой бег разрушительный, воды.
То, что недавно текло, уж надо рубить топорами.
Тут-то обманчивый лед изменяет впервые идущим,
Почва скользит из-под ног. Вперемежку и кони, и люди,
Копья, мечи, и щиты — все свалено в жалкую кучу.
Кроме того, облака, потрясенные ветром холодным,
Груз свой на́ землю льют, и вихри холодные дуют,
А из разверстых небес низвергается град изобильный,
Кажется, тучи с высот спустились на бедные рати,
И точно море на них замерзшие волны катило.

Скрыта под снегом земля, и скрыты за снегом светила,
Скрыты рек берега и меж них застывшие воды.
Но не повержен был Цезарь: на дрот боевой опираясь,
Шагом уверенным он рассекал эти страшные нивы.
Так же безудержно мчал с отвесной твердыни Кавказа
Пасынок Амфитриона; Юпитер с разгневанным ликом
Так же когда-то сходил с высоких вершин Олимпийских,
Чтоб осилить напор осужденных на гибель гигантов.
Но, пока Цезарь во гневе смиряет надменные Альпы,
Мчится Молва впереди и крылами испуганно машет.
Вот уж взлетела она на возвышенный верх Палатина
И, словно громом, сердца поразила римлянам вестью:
В море-де вышли суда, и всюду по склонам альпийским
Сходят лавиной войска, обагренные кровью германцев.
Раны, убийства, бои, пожары и всяческий ужас
Сразу пред взором встают, и сердце бьется в смятенье.
Ум, пополам разрываясь, не знает, за что ухватиться.
Эти сушей бегут, а те доверяются морю.
Понт безопасней отчизны. Но есть среди граждан такие,
Что, покоряясь Судьбе, спасения ищут в оружье.
Тот, кто боится сильней, тот дальше бежит. Но всех раньше
Жалкая с виду чернь, средь этих усобиц и распрей,
Из опустевшего града уходит куда ни попало.
Бегством Рим упоен. Одной молвою квириты
Побеждены и бегут, покидая печальные кровли.
Этот дрожащей рукой детей за собою уводит,
Прячет тот на груди пенатов, в слезах покидая
Милый порог, и проклятьем врагов поражает заочно.
Третьи к сердцу, скорбя, возлюбленных жен прижимают,
На плечи старых отцов берет беззаботная юность.
То уносят с собой, за что опасаются больше.
Глупый увозит весь дом, врагу доставляя добычу.
Так же бывает, когда разбушуется ветер восточный,
В море взметая валы,— ни снасти тогда мореходам
Не помогают, ни руль. Один паруса подбирает,
Судно стремится другой направить в спокойную гавань,
Третий на всех парусах убегает, доверясь Фортуне...
Бросим же мелких людей! Вот консулы, с ними Великий,
Ужас морей, проложивший пути к побережьям Гидаспа
Риф, о который разбились пираты, кому в троекратной
Славе дивился Юпитер, кто Понт сломил побежденный,
Тот, покорились кому раболепные волны Босфора,—
Стыд и позор! — он бежит, оставив величие власти.
Видит впервые Судьба легкокрылая спину Помпея.

124. Эта чума наконец даже самых богов заражает:
Страх небожителей к бегству толкает. И вот отовсюду
Сонмы богов всеблагих, гнушаясь землей озверевшей,
Прочь убегают, лицо отвратив от людей обреченных.
Мир летит впереди, белоснежными машет руками,
Шлемом покрывши чело побежденное и покидая
Землю, пугливо бежит в беспощадные области Дита.
С ним же, потупившись, Верность уходит, затем Справедливость,

Косы свои распустив, и Согласье в истерзанной палле.
В это же время оттуда, где царство Эреба разверзлось,
Вынырнул сонм ратоборцев Плутона: Эриния злая,
Грозная видом Беллона и с факелом страшным Мегера.
Козни, Убийство и Смерть с ужасною бледной личиной.
Ярость, узду разорвав, на свободу меж ними несется;
Голову гордо она подъемлет и лик, испещренный
Тысячей ран, прикрывает своим окровавленным шлемом.
Щит боевой на левой руке висит, отягченный
Грузом вонзившихся стрел, а в правой руке она держит
Факел зловещий, по всей земле рассевая пожары.
Тут ощутила земля могущество вышних. Светила
Тщетно хотят обрести равновесие вновь. Разделяет
Также всевышних вражда: во всем помогает Диона
Цезарю, милому ей, а с нею Паллада Афина
В верном союзе и Ромул, копьем потрясающий мощным.
Руку Великого держат с сестрою Феб, и Килленский
Отпрыск, и сходный в делах с Помпеем тиринфский воитель.
Вот загремела труба, и Раздор, растрепав свои космы,
Поднял навстречу богам главу, достойную ада:
Кровь на устах запеклась, и плачут подбитые очи;
Зубы торчат изо рта, покрытые ржавчиной гнусной;
Яд течет с языка, извиваются змеи вкруг пасти
И на иссохшей груди, меж складками рваной одежды.
Правой дрожащей рукой он подъемлет кровавый светильник.
Бог сей, сраженный Коцит и сумрачный Тартар покинув,
Быстро шагая, взошел на хребет Апеннин достославных
Мог обозреть он с вершин все земли, и все побережья.
И затопившие мир, словно волны, грозные рати.
Тут из свирепой груди такую он речь испускает:
«Смело возьмите мечи, о народы, душой распалившись,
Смело возьмите — и факел пожара несите по весям:
Кто укрывается, будет разбит. Поражайте и женщин,
И слабосильных детей, и годами согбенную старость.
Пусть содрогнется земля и с треском обрушатся кровли.
Так предлагай же законы, Марцелл! Подстрекай же плебеев,
О Курион! Не удерживай, Лентул, могучего Марса!
Что же, божественный, ты, одетый доспехами, медлишь,
Не разбиваешь ворот, городских укреплений не рушишь,
Не похищаешь казны? Великий! Иль ты не умеешь
Рима твердыни хранить! Так беги же к стенам Эпидамна
И Фессалийский залив обагри человеческой кровью!»
Так и свершилося все на земле по приказу Раздора.

Когда Эвмолп весьма бойко прочел свою поэму, мы вступили в Кротону. Отдохнув и подкрепив свои силы в небольшой гостинице, мы на следующий же день отправились поискать жилище побогаче и как раз попали в толпу охотников за наследствами; немедля принялись они нас расспрашивать, что мы за люди и откуда прибыли. Мы же, согласно выработанному особому плану, с чрезмерной даже бойкостью рассказали, кто мы и откуда, а они поверили нам, ни в чем и не усомнившись,

и все тотчас принялись сносить Эвмолпу свои богатства, соревнуясь друг с другом... Все охотники за наследством стали наперебой домогаться расположения Эвмолпа подарками...

* * *

125. Уже довольно долго шли таким образом дела наши в Кротоне; и Эвмолп, упоенный удачей, до того забыл о прежнем своем положении, что начал хвастать перед своими присными, будто никто в этом городе не в силах больше устоять перед его влиянием и что, если бы они в чем-нибудь провинились, все равно это сошло бы им с рук с помощью его друзей. Хотя я, благодаря изобильному притоку всяческих благ, с каждым днем все больше отъедался и полнел и думал, что наконец-то Фортуна отвернулась и перестала меня осаждать,— однако частенько стал задумываться и над своим нынешним положением, и над его причиной.

«А что,— говорил я себе,— если тот мошенник, который похитрее, отправит в Африку разведчика и уличит нас во лжи? Что, если наемный слуга, пресытившись нынешним благоденствием, пойдет и донесет на своих друзей и своей гнусной изменой раскроет всю нашу проделку? Ведь снова придется удирать и снова впасть в только что побежденную бедность и нищенствовать. О боги и богини, как тяжко приходится живущим не по закону: они всегда ждут того, что заслужили...»

* * *

126. [Хрисида, служанка Киркеи, Полиэну] —...ты уверен в своей неотразимости и поэтому, загордившись, торгуешь объятиями, а не даришь их. Зачем эти тщательно расчесанные волосы? Зачем лицо покрыто румянами? К чему эта нежная игра глазами, эта искусственная походка и шаги, ровно размеренные? Разве не для того, чтобы выставлять красоту свою на продажу? Взгляни на меня: по птицам я не гадаю, по звездам не читаю; но умею узнавать нрав по обличью, и лишь только увидала тебя на прогулке, так сразу поняла, каков ты. Так вот, если ты продаешь то, что нам требуется, так — ваш товар, наш купец; если же — что более достойно человека — ты делишься бескорыстно, то сделай и нам одолжение. А что касается твоих слов, будто ты раб и человек низкого происхождения,— так этим ты только разжигаешь желание жаждущей. Некоторым женщинам то и подавай, что погрязнее: сладострастие в них просыпается только при виде раба или вестового с подобранными полами. Других

распаляет вид гладиатора, или покрытого пылью погонщика мулов, или, наконец, актера, выставляющего себя на сцене напоказ. Вот из такого же сорта женщин и моя госпожа: ближе чем на четырнадцать рядов к орхестре не подходит и только среди самых подонков черни отыскивает себе то, что ей по сердцу.

Тут я, захваченный этой ласковой речью, говорю ей:

— Да скажи, пожалуйста, уж не ты ли та самая, что в меня влюбилась?

Служанка рассмеялась над этой неудачной догадкой и ответила:

— Прошу не мнить о себе так высоко: до сих пор я никогда еще не отдавалась рабу; надеюсь, боги и впредь не допустят, чтобы я прибивала на крест свои ласки. Я предоставляю матронам целовать рубцы от плетей; я же хоть и рабыня, а никогда не сижу дальше всаднических мест.

Я не мог не подивиться такому несоответствию страстей и отнес к числу чудес то, что служанка метит высоко, словно матрона, а у матроны вкус низкий, как у служанки.

Мы довольно долго вели этот шутливый разговор; наконец я попросил рабыню привести свою госпожу в платановую рощу. Девице этот совет понравился, и, подобрав повыше тунику, она свернула в лавровую рощицу, примыкавшую к аллее. Немного спустя она вновь показалась, ведя с собой из этого укромного уголка свою госпожу. И вот подводит она ко мне женщину, краше всех картин и статуй. Нет слов описать эту красоту: что бы я ни сказал — все будет мало. Кудри, от природы вьющиеся, распущены по плечам, лоб не высокий, хотя волосы и зачесаны назад; брови — до самых скул, и над переносицей почти срослись; глаза — ярче звезд в безлунную ночь, крылья носа чуточку изогнуты, а ротик подобен устам Дианы, какими придумал их Пракситель. А уж подбородок, а шея, а руки, а ноги, изящно охваченные золотой перевязью сандалий! Белизной они затмевали паросский мрамор. Тут я впервые презрел свою прежнюю любовь, Дориду...

Как это вышло, что ты сложил оружье, Юпитер,
Сделался сказкой немой, смолк средь небесных богов?
Вот бы когда тебе лоб украсить витыми рогами,
Дряхлую скрыть седину под лебединым пером.
Подлинно здесь пред тобою Даная, коснись ее тела —
И огнедышащий жар члены пронижет твои...

127. Восхищенная этими стихами, она так обворожительно рассмеялась, что мне показалось, будто полная луна выглянула из-за тучи. Затем она, оттеняя слова свои жестами пальчиков, сказала мне:

— Если ты, юноша, не отвергнешь с презрением женщины изящной и лишь в этом году узнавшей, что такое мужчина,— то возьми меня себе в сестры. Я знаю, что у тебя уже есть братец,— я не постыдилась навести о тебе справки,— но что же мешает тебе завести и сестру? Я предлагаю себя на тех же началах; ты же только соблаговоли, когда тебе будет угодно, узнать сладость моих поцелуев.

— Напротив,— отвечаю я,— я умоляю тебя во имя твоей красоты, чтобы ты не погнушалась принять чужеземца в число своих поклонников. И если ты позволишь мне обожать тебя, то найдешь во мне набожного богомольца. А чтобы ты знала, что не с пустыми руками вступаю я в храм Любви,— я приношу тебе в жертву своего брата!

— Как? Ты ради меня отказываешься от того, без которого не можешь жить? Того, чьи поцелуи держат тебя в рабстве? Кого ты любишь так, как я хотела бы быть любимой тобою?

Когда она это говорила, такая сладость была в ее голосе, такие дивные звуки наполняли воздух, что казалось, будто ветерки доносят согласный хор сирен. Небо надо мной в это время сияло почему-то ярче, чем прежде, и стоял я, охваченный удивлением, пока наконец не захотелось мне спросить об имени богини, на что она тут же ответила:

— Значит, служанка моя не сказала тебе, что меня зовут Киркеей? Я, конечно, не дочь Солнца, и мать моя никогда не могла по своей прихоти задержать бег заходящего светила. Однако, если судьба нас соединит, то и у меня будет, за что благодарить небеса. Да, сокровенные помыслы какого-то бога руководят нами. Не без причины любит Киркея Полиэна: где ни столкнутся эти два имени, яркий пламень загорается между ними. Так возьми же, если хочешь, меня в объятья. Здесь тебе незачем бояться соглядатая: брат твой далеко отсюда.

Сказав это, Киркея обвила меня нежными, как пух, руками и увлекла за собой на землю, одетую цветами и травами.

Те же цветы расцвели, что древле взрастила на Иде
Матерь-земля в тот день, когда дозволенной страстью
Зевс упивался и грудь преисполнил огнем вожделенья:
Выросли розы вкруг нас, фиалки и кипер нежнейший,
Белые лилии нам улыбались с лужайки зеленой.
Так заманила земля Венеру на мягкие травы,
И ослепительный день потворствовал тайнам любовным.

Растянувшись рядом на траве, мы играючи обменивались тысячей поцелуев, стараясь, чтобы наслаждение наше обрело силу...

* * *

128.— Что же это? — сказала она.— Разве поцелуи мои так противны? Или мужество твое ослабло от поста? Или, может быть, от неряшливости подмышки мои пахнут потом? А если ничего этого нет, то уж не боишься ли ты Гитона?

Краска стыда залила мне лицо, и даже остатка сил я лишился; все тело у меня размякло, и я пробормотал:

— Царица моя, будь добра, не добивай несчастного: я опоен отравою...

* * *

— Хрисида, скажи мне, но только правду: неужели я так уж противна? Не причесана, что ли? Или, быть может, какой-нибудь природный изъян портит мою красоту? Только не обманывай госпожу свою. Право, не знаю, чем мы с тобой провинились.

Потом, вырвав из рук молчавшей служанки зеркало, она испытала перед ним все ужимки, которые обычны у любящих во время нежных забав, затем отряхнула платье, измявшееся на земле, и поспешно вошла в храм Венеры.

Я же, точно осужденный, точно перепуганный каким-то ужасным видением, принялся спрашивать себя в душе, не были ли услады, которых я только что лишился, просто плодом моего воображения.

Ночь, навевая нам сон, нередко морочит виденьем
Взор обманутый наш: разрытая почва являет
Золото нам, и рука стремится к покраже бесчестной,
Клад золотой унося. Лицо обливается потом;
Ужасом дух наш объят: а вдруг ненароком залезет
Кто-нибудь, сведав про клад, в нагруженную пазуху вора?—
Но, едва убегут от обманутых чувств сновиденья,
Явь воцаряется вновь, а дух по утерянном плачет
И погружается весь в пережитые ночью виденья...

* * *

[Гитон — Энколпию]

— В таком случае — премного благодарен: ты, значит, любишь меня на манер Сократа. Даже Алкивиад никогда не вставал таким незапятнанным с ложа своего наставника...

* * *

[Энколпий — Гитону]

129.— Поверь мне, братец: я сам не считаю, не чувствую себя мужчиной. Похоронена часть моего тела, некогда уподоблявшая меня Ахиллу...

* * *

Боясь, как бы кто-нибудь, застав его наедине со мною, не распустил по городу сплетен, мальчик мой от меня убежал и скрылся во внутренней части дома...

* * *

Ко мне в комнату вошла Хрисида и вручила мне от госпожи своей таблички с таким письмом:

«Киркея Полиэну — привет.

Будь я распутницей, я, конечно, принялась бы жаловаться на то, что была обманута; я же, наоборот, даже благодарна твоей слабости, потому что из-за нее я дольше нежилась под сенью наслаждения. Но скажи мне, пожалуйста, как твои дела и на собственных ли ты ногах добрался до дому: ведь врачи говорят, что расслабленные и ходить не могут. Говорю тебе, юноша, бойся паралича. Ни разу не встречала я столь опасно больного. Ей-богу, ты уже полумертв! И если такая же вялость охватила и колени твои, и руки — пора, значит, тебе посылать за трубачами. Но все равно: хотя ты и нанес мне тяжкое оскорбление, я не откажу страдальцу в лекарстве. Так вот, если хочешь вернуть себе здоровье, проси его у Гитона: три ночи один, и сила вернется к тебе. А что до меня, то мне нечего опасаться: у любого я буду иметь больший успех, чем у тебя. Ни зеркало, ни молва меня не обманывают. Будь здоров, если можешь».

Убедившись, что я прочел все эти издевательства, Хрисида сказала мне:

— Это может случиться со всяким, особенно в нашем городе, где женщины способны и луну с неба свести... Ведь и от этого можно вылечиться. Ответь только поласковей моей госпоже и искренностью чувства постарайся вернуть ее расположение. Ведь, по правде сказать, с той поры, как ты оскорбил ее, она вне себя.

Я, разумеется, охотно последовал совету служанки и тотчас же начертал на табличках такие слова:

130. «Полиэн Киркее — привет.

Должен сознаться, повелительница, что мне нередко приходилось грешить: ведь я — человек, и еще нестарый. Но до сих пор ни разу не провинился я настолько, чтобы заслужить казнь. Винюсь перед тобою во всем. К чему присудишь, того я и достоин. Я совершил предательство, убил человека, осквернил храм: за эти преступления и требуй возмездия. Захочешь моей смерти — я приду с собственным клинком; если удовольствуешься бичеванием — я голым прибегу к повелительнице. Не забывай только, что не я пред тобою провинился, а мое орудие. Готовый к бою, я оказался без меча. Не знаю, кто мне его испортил. Может быть, душевный порыв опередил медлительное тело. Может быть, желая слишком многого, я растратил свою страсть на проволочки. Не пойму, что со мною случилось. Вот ты велишь мне остерегаться паралича. Будто может быть паралич сильнее того, который отнял у меня возможность обладать тобою. Но оправдание мое сводится все-таки к следующему: я тебе угожу, если только позволишь мне исправить свою ошибку».

Отпустив с таким обещанием Хрисиду, я с большею тщательностью принялся за лечение виновного тела: во-первых, не пошел в баню, а ограничился только небольшим обтиранием; затем, наевшись более здоровой пищи, именно луку и улиточьих шеек без соуса, выпил лишь немного чистого вина и, наконец, совершив перед сном очень легкую прогулку, вошел в опочивальню без Гитона. Я боялся даже того, что братец слегка прикоснется ко мне боком,— так хотелось мне помириться с Киркеей.

131. Бодрый духом и телом, поднялся я на следующий день и отправился в ту же платановую рощу, хотя и побаивался этого злосчастного места. Там, под деревьями, я стал ожидать прихода моей провожатой Хрисиды. Побродив некоторое время, я уселся на том самом месте, где сидел накануне, как вдруг она появилась, ведя за собою какую-то старушку. Поздоровавшись со мной, Хрисида сказала:

— Ну-с, привередник, уж не начинаешь ли ты браться за ум?

Тут старуха вытащила из-за пазухи скрученный из разноцветных ниток шнурок и обвязала им мою шею. Затем плюнула, смешала плевок свой с пылью и, взяв получившейся грязи на средний палец, несмотря на мое сопротивление, мазнула меня по лбу...

Произнеся это заклинание, она велела мне плюнуть три раза и трижды бросить себе за пазуху камешки, которые уже

были заранее у нее заворожены и завернуты в кусок пурпура; после этого она протянула руку, чтобы испытать мою мужскую силу. В одно мгновение мышцы подчинились приказанию <...> Старуха, не помня себя от восторга, воскликнула:

— Смотри, моя Хрисида, смотри, какого зайца я подняла на чужую корысть!..

Здесь благородный платан, бросающий летние тени,
Лавры в уборе плодов и трепетный строй кипарисов;
Сосны качают вокруг вершиной, подстриженной ровно.
А между ними журчит ручеек непоседливой струйкой,
Пенится и ворошит он камешки с жалобной песней.
Дивный приют для любви! Один соловей нам свидетель.
И, над лужайкой летя, где фиалки качаются в травах,
Ласточка песни поет, города возлюбившая птица.

Киркея лежала раскинувшись, опираясь беломраморной шеей на спинку золотого ложа, и тихо помахивала веткою цветущего мирта. Увидев меня и, должно быть, вспомнив про вчерашнее оскорбление, она слегка покраснела. Затем, когда она удалила всех и я, повинуясь ее приглашению, сел подле нее на ложе, она приложила к глазам моим ветку и, как бы отгородившись от меня стенкой, сделалась несколько смелее.

— Ну что, паралитик? — сказала она.— Весь ли ты нынче явился ко мне?

— Ты спрашиваешь, вместо того чтобы убедиться самой?

Так ответил я и тут же всем телом устремился к ней в объятия. Она не просила пощады, и я досыта упился поцелуями...

* * *

132. Красота ее тела звала и влекла к наслаждению. Уже то и дело смыкались наши уста и раздавались звонкие поцелуи; уже переплелись наши руки, изобретая всевозможные ласки; уж слились в объятии наши тела, и начали понемногу соединяться и души...

* * *

Потрясенная явным оскорблением, матрона решила отомстить и, кликнув спальников, приказала им бичевать меня. Потом, не довольствуясь столь тяжким наказанием, она созвала прях и всякую сволочь из домашней прислуги и велела им еще и оплевать меня. Я только заслонял руками глаза без единого слова мольбы, ибо сознавал, что терплю по заслугам. Наконец,

оплеванного и избитого, меня вытолкали за двери. Вышвырнули и Проселену; Хрисиду высекли. Весь дом опечалился; все начали перешептываться, спрашивать потихоньку друг друга, кто бы это мог нарушить веселое настроение их госпожи...

* * *

Ободренный такой наградой за мои злоключения, я всеми способами постарался скрыть на себе следы побоев, чтобы не развеселить Эвмолпа и не огорчить Гитона. Чтобы не позориться, я ничего не мог придумать, кроме как прикинуться больным; так я и сделал и, улегшись в кровать, всю силу своего негодования обратил против единственной причины всех моих несчастий:

Я трижды потряс грозную сталь, свой нож двуострый,
Но... трижды ослаб, гибкий, как прут, мой стебель вялый:
Нож страшен мне был, в робкой руке служил он плохо.
Так мне не пришлось осуществить желанной казни.
Трус сей, трепеща, стал холодней зимы суровой,
Сам сморщился весь и убежал чуть ли не в чрево,
Ну, просто никак не поднимал главы опальной:
Так был посрамлен выжигой я, удравшим в страхе,
Ввел ругань я в бой, бьющую в цель больней оружья.

Приподнявшись на локоть, я в таких, приблизительно, выражениях стал поносить упрямца:

— Ну, что скажешь, позорище перед людьми и богами? Грешно даже причислить тебя к вещам мало-мальски почтенным! Неужели я заслужил, чтобы ты меня, вознесенного на небо, низринул в преисподнюю? Неужели я заслужил, чтобы ты, отняв у меня цветущие весеннею свежестью годы, навязал мне бессилие глубокой старости? Лучше уж прямо выдай мне удостоверение о смерти.

Пока я, таким образом, изливал свое негодование,

Он на меня не глядел и уставился в землю, потупясь,
И оставался, пока говорил я, совсем недвижимым,
Стеблю склоненного мака иль иве плакучей подобен.

Покончив со столь недостойной бранью, я тут же стал горячо раскаиваться в своих словах и втайне покраснел от того, что, забыв всякий стыд, вступил в разговор с частью тела, о которой люди построже обыкновенно даже и мысли не допускают. Долго я тер себе лоб, пока наконец не воскликнул:

— Да что тут такого, если я во вполне естественных упреках излил свое горе? Что в том, если мы иной раз бранim какую-нибудь часть человеческого тела, желудок, например, или горло, или даже голову, когда она слишком часто болит? Разве сам Улисс не спорит со своим сердцем? А трагики — так те даже глаза свои ругают, точно глаза могут что-нибудь услышать. Подагрики клянут свои ноги, хироприки — руки, а близорукие — глаза, а кто часто ушибает себе пальцы на ноге, тот винит за всю эту боль собственные ноги.

Что вы, наморщивши лбы, на меня глядите, Катоны?
Не по душе вам пришлась книга моей простоты?
В чистых наших речах веселая прелесть смеется.
Нравы народа поет мой беспорочный язык.
Кто же не знает любви и не знает восторгов Венеры?
Кто воспретит согревать в теплой постели тела?
Правды отец, Эпикур, и сам повелел нам, премудрый,
Вечно любить, говоря: цель этой жизни — любовь..

Нет ничего нелепее глупых человеческих предрассудков и пошлее лицемерной строгости...

* * *

133. Окончив эту декламацию, я позвал Гитона и говорю ему:

— Расскажи мне, братец, но только по чистой совести, как вел себя Аскилт в ту ночь, когда он тебя у меня выкрал: правда, что он не спал до тех пор, пока наконец тебя не обесчестил? Или же он в самом деле довольствовался тем, что провел всю ночь одиноко и целомудренно?

Мальчик приложил руки к глазам и торжественно поклялся, что со стороны Аскилта ему не было причинено никакого насилия.

* * *

С такою молитвой опустился на одно колено в преддверии храма:

Спутник Вакха и нимф! О ты, что веленьем Дионы
Стал божеством над лесами, кому достославный подвластен
Лесбос и Фасос зеленый, кого в семиречном Лидийском
Чтят краю, где твой храм в твоих воздвигнут Гипепах,
Славного Вакха пестун, услада дриад, помоги мне!
Робкой молитве внемли! Ничьей не запятнанный кровью,
Я прибегаю к тебе. Святынь не сквернил я враждебной
И нечестивой рукой, но, нищий, под гнетом тяжелой
Бедности, я согрешил, и то ведь не всем своим телом.

Тот, кто грешит от нужды, не так уж виновен. Молю я:
Душу мою облегчи, прости мне грех невеликий.
Если ж когда-нибудь вновь мне час улыбнется счастливый,
Я без почета тебя не оставлю: падет на алтарь твой
Стад патриарх, рогоносный козел, и падет на алтарь твой
Жертва святыне твоей, сосунок опечаленной свинки.
В чашах запенится сок молодой. Троекратно ликуя,
Вкруг алтаря обойдет хоровод хмельной молодежи.

В то время как я произносил эту молитву, в заботе о моем покойнике, в храм вдруг вошла старуха с растрепанными волосами, одетая в безобразное черное платье. Вцепившись в меня рукою, она вывела меня из преддверия храма...

* * *

134.— Какие это ведьмы высосали из тебя твои силы? Уж не наступил ли ты ночью, на перекрестке, на нечистоты или на труп? Даже в деле с мальчиком ты не сумел постоять за себя, но, вялый, хилый и расслабленный, точно кляча на крутом подъеме, ты попусту потратил и труд и пот. Но мало того, что ты сам нагрешил,— ты и на меня навлек гнев богов...

* * *

Я снова покорно пошел за ней, а она потащила меня обратно в храм, в келью жрицы, толкнула на ложе и, схватив стоявшую около дверей трость, принялась меня ею дубасить. Но и тут я не проронил ни слова.

Если бы палка не разлетелась после первого же удара в куски, что сильно охладило старухин пыл, она бы, верно, и руки мне раздробила, и голову размозжила. Только после ее непристойных прикосновений я застонал и, залившись обильными слезами, склонился на подушку и закрыл голову правой рукой. Расстроенная моими слезами, старуха присела на другой конец кровати и дрожащим голосом стала жаловаться на судьбу, что так долго не посылает ей смерти; и до тех пор она причитала, пока не появилась жрица и не сказала:

— Зачем это вы забрались в мою комнату и сидите, точно над свежей могилой? И это в праздничный день, когда даже носящие траур смеются?

— О Энотея! — ответила ей старуха.— Юноша, которого ты видишь, родился под несчастной звездой: ни мальчику, ни девушке не может он продать своего товара. Тебе никогда еще не приходилось видеть столь несчастного человека <...> Короче

говоря, что ты скажешь о человеке, который с ложа Киркеи встал, не насладившись?

Услышав это, Энотея уселась между нами и долго качала головой.

— Только я одна и знаю,— сказала она,— как излечить эту болезнь. А чтобы вы не думали, что я только языком чешу,— пусть молодчик поспит со мной одну ночь <...>

Все мне покорно, что видишь ты в мире. Тучная почва,
Лишь захочу я, умрет, без живительных соков засохнув,
Лишь захочу — принесет урожай. Из кремнистых утесов
Нилу подобный поток устремится. Безропотно волны
Мне покоряются все; порывы Зефира, умолкнув,
Падают к нашим ногам. Мне подвластны речные теченья;
Тигра гирканского бег и дракона полет удержу я.
Что толковать о безделках? Могу я своим заклинаньем
Месяца образ на землю свести и покорного Феба
Бурных коней повернуть назад по небесному кругу:
Вот она, власть волшебства! Быков огнедышащих пламя
Стихло от девичьих чар, и дочь Аполлона Киркея
Спутников верных Улисса заклятьем в свиней обратила.
Образ любой принимает Протей. И с таким же искусством
С Иды леса я могу низвести в пучину морскую
Или течение рек направить к горным вершинам.

135. Перепуганный столь баснословною похвальбою, я содрогнулся и стал во все глаза глядеть на старуху...

* * *

— Ну,— вскричала Энотея,— повинуйтесь же моей власти!

Сказав это и тщательно вытерев себе руки, она склонилась над ложем и два раза подряд меня поцеловала...

* * *

Затем Энотея поставила посреди алтаря старый жертвенник, насыпала на него доверху горячих углей и, починив с помощью нагретой смолы развалившуюся от времени деревянную чашку, вбила в покрытую копотью стену на прежнее место железный гвоздь, который перед тем, снимая чашу, нечаянно выдернула. Потом она опоясала себя четырехугольным фартуком и, поставив к огню огромный горшок, сняла рогаткой висевший на крюке узел, в котором хранились служившие ей пищей бобы и совершенно иссеченный, старый-престарый кусок какой-то головы. Развязав шнурок, которым затянут был узел, Энотея высыпала часть бобов на стол и велела мне их хорошенько очис-

тить. Повинуясь ее приказанию, я первым долгом принялся весьма тщательно отгребать в сторонку те из зерен, на которых кожица была до невозможности загрязнена. Но она, обвиняя меня в медлительности, подхватила всю эту дрянь и прямо зубами так проворно и ловко начала ее обдирать, выплевывая шелуху на пол, что передо мной точно мухи замелькали.

Я изумлялся изобретательности бедноты и тому, какой ловкости можно достигнуть во всяком искусстве:

Там не белела индийская кость, обрамленная златом,
Пол очей не пленял лощеного мрамора блеском,—
Дар земли ее не скрывал. На плетенке из ивы
Ворох соломы лежал, да стояли кубки из глины,
Что без труда немудрящий гончарный станок обработал.
Каплет из кадки вода; из гнутых прутьев корзины
Тут же лежат; в кувшинах следы Лиэевой влаги.
Всюду кругом по стенам, где заткнута в щели солома
Или случайная грязь, понабиты толстые гвозди.
А с переборки свисают тростинок зеленые стебли.
Но еще много богатств убогая хата скрывала:
На закопченных стропилах там связки размякшей рябины
Между пахучих венков из высохших листьев висели,
Там же сушеный чабрец красовался и гроздья изюма.
Так же выглядел кров Гекалы гостеприимной
В Аттике. Славу ее, поклоненья достойной старушки,
Долгим векам завещала хранить Баттиадова муза.

136. Отделив от головы, которая по меньшей мере была ее ровесницей, немножечко мяса, старуха с помощью той же рогатки принялась подвешивать ее обратно на крюк; но тут гнилой стул, на который она взобралась, чтобы стать повыше, вдруг подломился, и она всей своей тяжестью рухнула прямо на очаг. Верхушка стоявшего на нем горшка разбилась, и огонь, который только что стал было разгораться, потух. При этом Энотея обожгла себе о горящую головню локоть и, подняв кверху целое облако пепла, засыпала им себе все лицо.

Я вскочил испуганный, но потом, рассмеявшись, помог старухе встать... А она, боясь, как бы еще что-нибудь не помешало предстоящему жертвоприношению, немедленно побежала к соседям взять огня...

* * *

Едва лишь я ступил на порог... как на меня тотчас же напали три священных гуся, которые, как видно, обыкновенно в полдень требовали у старухи ежедневного рациона; я прямо затрясся, когда они с отвратительным шипением окружили меня

со всех сторон, точно бешеные. Один начал рвать мою тунику, другой развязал ремень у моих сандалий и теребил его, а третий, по-видимому вождь и учитель свирепой ватаги, не постеснялся мертвою хваткой вцепиться мне в икру. Отложив шутки в сторону, я вывернул у столика ножку и вооруженной рукой принялся отражать воинственное животное: не довольствуясь шуточными ударами, я отомстил за себя смертью гуся.

Так же, я думаю, встарь, Стимфалид Геркулесова хитрость
Взмыть заставила вверх; так, Финея обманные яства
Ядом своим осквернив, улетали Гарпии, смрадом
Все обдавая вокруг. Устрашенный эфир содрогнулся
От небывалого крика. Небесный чертог потрясенный...

* * *

Два других гуся, лишившись теперь своего, по моему мнению, главаря, стали подбирать бобы, которые упали и рассыпались по всему полу, и вернулись в храм, а я, радуясь добыче и мести, швырнул убитого гуся за кровать и немедленно смочил уксусом не особенно глубокую рану на ноге. Затем, опасаясь, как бы старуха не стала меня ругать, решил удалиться и, собрав свою одежду, уже направился к выходу. Но не успел я переступить порог, как увидел Энотею, которая шла мне навстречу с горшком, наполненным до верху пылающими углями. Итак, пришлось повернуть вспять: сбросив с себя плащ, я стал в дверях, будто ожидал замешкавшуюся старуху.

Высыпав угли на кучу сухого тростника и положив сверху изрядное количество дров, она стала оправдываться, говоря, будто так долго замешкалась потому, что ее приятельница не хотела ее отпустить, не осушив вместе с ней трех положенных чарок.

— Ну, а ты что тут делал, пока меня не было? — вдруг спросила она.— А где же бобы?

Полагая, что мой поступок достоин даже всяческого одобрения, я немедленно рассказал ей по порядку обо всем сражении, а чтобы она не очень уж печалилась, за потерянного гуся предложил ей заплатить. Но, увидев его, старуха подняла такой невероятный крик, что можно было подумать, будто в комнату снова забрались гуси.

Удивленный непонятностью своего преступления, я растерялся и стал спрашивать, почему она так горячится и почему жалеет гуся больше, чем меня.

137. На это она, всплеснув руками, воскликнула:

— И ты, злодей, еще осмеливаешься рассуждать?.. Ты даже не подозреваешь, какое огромное преступление совершил: ведь ты убил Приапова любимца, всем матронам наиприятнейшего. Нет, и не думай, что проступок твой не такой уж тяжелый: если только узнает о нем магистрат, быть тебе на кресте. Ты осквернил кровью мое жилище, до сих пор незапятнанное, и любому из недругов моих дал возможность устранить меня от жречества...

* * *

— Пожалуйста, не кричи,— говорю я ей,— я тебе за гуся страуса дам...

* * *

Энотея села на кровать и, к вящему моему удивлению, продолжала оплакивать несчастную участь гуся, пока наконец не пришла Проселена с деньгами за жертвоприношение.

Увидев убитого и расспросив жрицу о причине ее горя, она принялась рыдать еще горше и причитать надо мной, точно я отца родного убил, а не общественного гуся.

Мне стало наконец нестерпимо скучно, и я воскликнул:

— В конце концов, можно загладить дело моих рук деньгами? Пусть я вас под суд подвел; пусть я даже человека убил! Вот вам два золотых, можете накупить себе сколько угодно гусей и богов.

— Прости меня, юноша,— заговорила Энотея, лишь только увидела мое золото,— ведь я так беспокоилась исключительно ради тебя. Это было лишь доказательством моего к тебе расположения, а вовсе не враждебности. Постараемся же, чтобы никто об этом не узнал. А ты помолись богам, чтобы они отпустили тебе прегрешение.

Тех, кто с деньгами, всегда подгоняет ветер попутный,
Даже Фортуной они правят по воле своей.
Стоит им захотеть,— и в супруги возьмут хоть Данаю,
Даже Акрисий-отец дочку доверит таким.
Пусть богач слагает стихи, выступает с речами,
Пусть он тяжбы ведет — будет Катона славней.
Пусть, как законов знаток, свое выносит решенье —
Будет он выше, чем встарь Сервий иль сам Лабеон.
Что толковать? Пожелай чего хочешь: с деньгой да со взяткой
Все ты получишь. В мошне нынче Юпитер сидит...

Она поставила под руки мне чашу с вином, заставила меня растопырить пальцы и для очищения потерла их пореем и сельдереем, а потом опустила в вино, читая какую-то молитву, несколько лесных орехов. Судя по тому, всплывали они на поверхность или же падали на дно, она и делала свои предсказания. Но меня нельзя было поддеть на эту удочку: я знал, что орехи пустые, без сердцевины, наполненные только воздухом, всегда плавают на поверхности, а тяжелые, с крепким ядром, непременно должны опуститься на дно...

* * *

Она вскрыла грудь гуся и, вынув здоровенную печень, предсказала по ней мое будущее. Наконец, чтобы уничтожить все следы моего преступления, разрубила гуся на части, насадила их на несколько вертелов и принялась готовить из убитого, который, по ее словам, предназначен был ею для этого еще раньше, великолепное блюдо... А стаканчики чистого вина между тем все опрокидывались да опрокидывались...

* * *

138. <...> Размякшие от вина и похоти, старушонки все же пустились следом и из переулка в переулок гнались за мною, крича:

— Держи вора!

Однако я улизнул, хоть и раскровянил все пальцы на ногах, когда убегал очертя голову...

* * *

— Хрисида, которая в прежнем твоем положении даже слышать о тебе не хотела, теперь готова разделить твою судьбу, даже рискуя жизнью...

* * *

— Разве Ариадна или Леда могли сравниться с такою красотой? Что по сравнению с ней и Елена? что — Венера? Если бы Парис, судья одержимых страстью богинь, увидел тогда рядом с ними ее лучистые глаза, он отдал бы за нее и Елену и богинь в придачу. Если бы только мне было позволено поцеловать ее, прижать к себе ее небесную божественную грудь, то, быть

может, вернулись бы силы и воспрянули бы части моего тела, и впрямь, пожалуй, усыпленные каким-то ядом. Оскорбления меня не удручают. Я не помню, что был избит; что меня вышвырнули, считаю за шутку. Лишь бы только снова войти в милость...

* * *

139. Я все время тискал под собою тюфяк, словно держа в объятиях призрак моей возлюбленной...

Рок беспощадный и боги не мне одному лишь враждебны.
Древле Тиринфский герой, изгнанник из царства Инаха,
Должен был груз небосвода поднять, и кончиной своею
Лаомедонт утолил двух богов вредоносную ярость;
Пелий гнев Юнонин узнал; в неведенье поднял
Меч свой Телеф, а Улисс настрадался в Нептуновом царстве.
Ну, а меня по земле и по глади седого Нерея
Всюду преследует гнев геллеспонтского бога Приапа...

* * *

Я осведомился у моего Гитона, не спрашивал ли меня кто-нибудь.

— Сегодня,— говорит,— никто, а вчера приходила какая-то неплохо одетая женщина; она долго со мной разговаривала и порядком надоела мне своими жеманными речами; а под конец заявила, что ты провинился, и если только оскорбленное лицо будет настаивать на своей жалобе, то ты понесешь рабское наказание...

* * *

Не успел я еще закончить своих жалоб, как появилась Хрисида; она бросилась мне на шею и, горячо меня обнимая, воскликнула:

— Вот и ты! Таким ты мне нужен. Ты — мой желанный, ты — моя услада! Никогда не потушить тебе этого пламени! Разве что кровью моею зальешь его...

* * *

Внезапно прибежал один из новых слуг Эвмолпа и заявил, что господин наш, за то что я целых два дня уклонялся от службы, сильно на меня рассердился и что я хорошо сделаю, если заблаговременно придумаю какое-нибудь приличное оправ-

дание, так как вряд ли можно надеяться, чтобы бешеный гнев его утих без побоев...

140. Матрона, одна из первых в городе, по имени Филомела, в молодые годы успела уже урвать не малое количество наследств, а когда цвет юности поблек и она обратилась в старуху, стала навязывать бездетным богатым старикам своего сына и дочку — и так, с помощью своего потомства, продолжала заниматься прежним ремеслом.

Так вот, теперь она пришла к Эвмолпу с тем, чтобы поручить его опыту и доброте самое заветное — детей своих... Кроме него, никто во всей вселенной не может ежедневно давать молодежи душеполезные наставления. Слóвом, она заявила, что оставляет детей своих в доме Эвмолпа для того, чтобы они наслушались его речей: а другого наследства молодым людям и нельзя оставить.

Сказано — сделано. Притворившись, будто уходит в храм принести богам обеты, она прелестнейшую дочку и юного сына оставила в опочивальне.

Эвмолп, который на этот счет был до того падок, что даже я ему казался мальчиком, разумеется, немедленно же предложил девице посвятить ее в некие таинства. Но он всем говорил, что у него и подагра, и поясница расслаблена; так что, не выдержи он роли до конца, рисковал бы испортить нам всю игру <...>

* * *

— Великие боги, восстановившие все мои силы! Да, Меркурий, который сопровождает в Аид и выводит оттуда души людей, по милости своей возвратил мне то, что было отнято у меня гневной рукой. Теперь ты легко можешь убедиться, что я взыскан щедрее Протесилая и любого из героев древности.

С этими словами я задрал кверху тунику и показал себя Эвмолпу во всеоружии.

Сначала он даже ужаснулся, а потом, желая окончательно убедиться, обеими руками ощупал дар благодати...

* * *

— Сократ, который и у богов и у людей... гордился тем, что ни разу не заглянул в кабак и не позволял своим глазам засматриваться ни на одно многолюдное сборище. Да, нет ничего лучше, как говорить подумавши.

— Все это истинная правда,— сказал я.— Никто так не рискует попасть в беду, как тот, кто зарится на чужое добро. Но

на какие средства стали бы жить плуты и мошенники всякого рода, если бы они не швыряли хоть изредка в толпу в виде приманки кошельков или мешков, звенящих монетами? Как корм служит приманкой для бессловесной скотины, так же точно людей не словишь на одну только надежду, пока они не клюнут на что-нибудь посущественнее...

* * *

141.— Но ведь обещанный тобою корабль с деньгами и челядью из Африки не пришел, и ловцы наследства, уже истощенные, урезали свою щедрость. Словом, если я не ошибаюсь, Фортуна и в самом деле начинает уже раскаиваться...

* * *

— За исключением моих вольноотпущенников, все остальные наследники, о которых говорится в этом завещании, могут вступить во владение того, что каждому из них мною назначено, только при соблюдении одного условия, именно — если они, разрубив мое тело на части, съедят его при народе...

* * *

У некоторых народов, как нам известно, до сих пор еще в силе закон, по которому тело покойника должно быть съедено его родственниками, причем нередко они ругательски ругают умирающего за то, что он слишком долго хворает и портит свое мясо. Пусть это убедит друзей моих безотказно исполнить мою волю и поможет им съесть мое тело с таким же усердием, с каким они препоручат богам мою душу...

* * *

Громкая слава о богатствах ослепляла глаза и души этих несчастных.

* * *

Горгий готов был исполнить...

— Мне нечего опасаться противодействия твоего чрева: стоит тебе только пообещать за этот единственный час отвращения вознаградить его впоследствии многими прекрасными вещами,— и оно тотчас же подчинится любому приказу. Закрой только глаза и постарайся представить себе, что ты ешь не человеческие внутренности, а миллион сестерциев. Кроме того, мы, конечно, придумаем еще и приправу какую-нибудь, с которой мясо

мое станет вкуснее. Да и нет такого мяса, которое само по себе могло бы понравиться; но искусное приготовление лишает его природного вкуса и примиряет с ним противодействующий желудок. Если тебе угодно будет, чтобы я доказал это примером, то вот он: человеческим мясом питались сагунтинцы, когда Ганнибал держал их в осаде, и при этом никакого наследства не ожидали. С петелийцами во время крайнего голода было то же самое: и, поедая такую трапезу, они не гнались ни за чем, кроме насыщения. После взятия Сципионом Нумантии в ней нашли несколько матерей, которые держали у себя на груди полуобглоданные трупы собственных детей...

АПУЛЕЙ

МЕТАМОРФОЗЫ,
ИЛИ ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ

ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО
М. КУЗМИНА

1. Вот я сплету тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой порадую лепетом милым, если только соблаговолишь ты взглянуть на египетский папирус, исписанный острием нильского тростника; ты подивишься на превращения судеб и самых форм человеческих и на их возвращение вспять тем же путем, в прежнее состояние. Я начинаю. «Но кто он такой?» — спросишь ты. Выслушай в двух словах.

Аттическая Гиметта, Эфирейский перешеек и Тенара Спартанская, земли счастливые, навеки бессмертие стяжавшие еще более счастливыми книгами,— вот древняя колыбель нашего рода. Здесь овладел я аттическим наречием, и оно было первым завоеванием моего детства. Вслед за тем прибыл я, новичок в науках, в столицу Лациума и с огромным трудом, не имея никакого руководителя, одолел родной язык квиритов.

Вот почему прежде всего я умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом стиле чужеземные и простонародные выражения. Но ведь само это чередование наречий соответствует искусству мгновенных превращений, а о нем-то я и собрался написать. Начинаем греческую басню. Внимай, читатель, будешь доволен.

2. Я ехал по делам в Фессалию, так как мать моя родом оттуда, и семейство наше гордится происхождением от знаменитого Плутарха через племянника его Секста-философа. Ехал я на местной ослепительно-белой лошади, и когда, миновав горные кручи, спуски в долины, луга росистые, поля возделанные, она уже притомилась и я, от сиденья уставший, не прочь был размять ноги,— я спешился. Я тщательно листьями отираю пот с лошади, по ушам ее поглаживаю, отпускаю узду и шажком ее проваживаю, пока она усталый желудок обыкновенным и

естественным образом не облегчит. И покуда она, наклонив голову набок, искала пищи по лугу, вдоль которого шла, я присоединяюсь к двум путникам, которые шли впереди меня на близком расстоянии, и покуда я слушаю, о чем идет разговор, один из них, расхохотавшись, говорит:

— Уволь от этих басен, таких же нелепых, как и пустых.

Услышав это, я, жадный до всяких новостей, говорю:

— Напротив, продолжай! Разрешите и мне принять участие в вашем разговоре: я не любопытен, но хочу знать если не все, то как можно больше, к тому же приятный и забавный рассказ облегчит нам этот крутой подъем.

3. Тот, кто начал, отвечает:

— Э! Все эти выдумки так же похожи на правду, как если бы кто стал уверять, будто магическое нашептывание заставляет быстрые реки бежать вспять, море — лениво застыть, ветер — лишиться дыханья, солнце — остановиться, луну — покрыться пеной, звезды — сорваться, день — изчезнуть, ночь — продлиться!

Тогда я говорю увереннее:

— Пожалуйста, ты, который начал рассказ, доканчивай его, если тебе не лень и не надоело.— Потом к другому: — Ты же, заткнув уши и заупрямившись, отвергаешь то, что может быть истинной правдой. Клянусь Геркулесом, ты даже понятия не имеешь, что только предвзятые мнения заставляют нас считать ложным то, что ново слуху, или зрению непривычно, или кажется превышающим наше понимание; если же посмотреть повнимательнее, то обнаружишь, что это все не только для соображения очевидно, но и для исполнения легко.

4. Вот вчера вечером едим мы с товарищами пирог с сыром наперегонки, и хочу я проглотить кусок чуть побольше обычного, как вдруг кушанье, мягкое и липкое, застревает в горле: до того у меня в глотке дыханье сперло — чуть не умер. А между тем недавно в Афинах, у Пестрого портика, я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз преострейший меч всадника. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копье смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья, из горла фокусника торчавшего, на самый конец его, вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас всех присутствовавших, стал извиваться в пляске, словно был без костей и без жил. Можно было принять все это за узловатый жезл бога врачевания с полуотрубленными сучками, который обвила любовными извивами змея плодородия. Но полно! Докончи, прошу тебя, товарищ,

«Золотой осел»
Б. Дехтерев

историю, что начал. Я тебе один за двоих поверю и в первой же гостинице угощу завтраком; вот какая награда тебя ожидает.

5. А он ко мне:

— Что предлагаешь, считаю справедливым и хорошим, но мне придется начать свой рассказ сызнова. Прежде же поклянусь тебе Солнцем, этим всевидящим божеством, что рассказ мой правдив и достоверен. Да у вас обоих всякое сомнение пропадет, как только вы достигнете ближайшего фессалийского города: там об этой истории только и разговору, ведь события происходили у всех на глазах. Но наперед узнайте, откуда я и кто таков. Меня зовут Аристомен, и родом я с Эгины. Послушайте также, чем я себе хлеб добываю: Фессалию, Этолию и Беотию в разных направлениях объезжаю с медом, сыром или другим каким товаром для трактирщиков. Узнав, что в Гипате, крупнейшем из городов Фессалии, продается по очень сходной цене отличный на вкус, свежий сыр, я поспешил туда, собираясь закупить его весь оптом. Но, как часто бывает, в недобрый час я отправился, и надежды на барыш меня обманули: накануне все скупил оптовый торговец Луп. Утомленный напрасной поспешностью, направился я было с наступлением вечера в бани.

6. Вдруг вижу я товарища моего, Сократа! Сидит на земле, дрянной, изорванный плащ только наполовину прикрывает его тело; почти другим человеком стал: бледность и жалкая худоба до неузнаваемости его изменили, и сделался он похож на тех пасынков судьбы, что на перекрестках просят милостыню. Хотя я его отлично знал и был с ним очень дружен, но, видя его в таком состоянии, я усомнился и подошел поближе.

— Сократ! — говорю.— Что с тобой? Что за вид? Что за плачевное состояние? А дома тебя давно уже оплакали и по имени окликáли, как покойника! Детям твоим, по приказу верховного судьи провинции, назначены опекуны; жена, помянув тебя как следует, подурневши от непрестанной скорби и горя, чуть не выплакавши глаз своих, уже слышит от родителей побуждения увеселить несчастный дом радостью нового брака. И вдруг ты оказываешься здесь, к нашему крайнему позору, загробным выходцем!

— Аристомен,— ответил он,— право же, не знаешь ты коварных уловок судьбы, непрочных ее милостей и все отбирающих превратностей.— С этими словами лицо свое, давно уже от стыда красневшее, заплатанным и рваным плащом прикрыл, так что оставшуюся часть тела обнажил от пупа до признака мужественности. Я не мог дольше видеть такого жалкого зрелища нищеты и, протянув руку, помог ему подняться.

7. Но тот, как был с покрытой головой:

— Оставь,— говорит,— оставь судьбу насладиться досыта трофеем, который сама себе воздвигла.

Я заставляю его идти со мною, немедленно одеваю или, вернее сказать, прикрываю наготу его одной из двух своих одежд, которую тут же снял с себя, и веду в баню; там мази и притиранья сам готовлю, старательно соскребаю огромный слой грязи и, вымыв как следует, сам усталый, с большим трудом его, утомленного, поддерживая, веду к себе, постелью грею, пищей ублажаю, чашей подкрепляю, рассказами забавляю.

Уж он склонился к разговору и шуткам, уж раздавались остроты и злословие, пока еще робкое, как вдруг, испустив из глубины груди мучительный вздох и хлопнув яростно правой рукою по лбу:

— О, я несчастный! — воскликнул он.— Предавшись страсти к гладиаторским зрелищам, уже достаточно прославленным, в какие бедствия впал я! Ведь, как ты сам отлично знаешь, приехав в Македонию по прибыльному делу, которое задержало меня там месяцев на девять, я отправился обратно с хорошим барышом. Я был уже недалеко от Лариссы (по пути хотел я на зрелищах побывать), когда в уединенном глубоком ущелье напали на меня лихие разбойники. Хоть дочиста обобрали — однако спасся. В таком отчаянном положении заворачиваю я к старой, но до сих пор еще видной собою кабатчице Мерое. Ей я рассказываю о причинах и долгой отлучки из дому, и страхов на обратном пути, и злосчастного ограбления. Она приняла меня более чем любезно, даром накормила хорошим ужином и вскоре, побуждаемая похотью, пригласила к себе на кровать. Тотчас делаюсь я несчастным, так как, переспав с ней только разочек, уже не могу отделаться от этой чумы. Все в нее всадил: и лохмотья, что добрые разбойники на плечах у меня оставили, и гроши, что я зарабатывал, как грузчик, когда еще сила была,— пока эта добрая женщина и злая судьба не довели меня до такого состояния, в каком ты меня только что видел.

8.— Ну,— говорю я,— вполне ты этого заслуживаешь и еще большего, если может быть большее несчастье, раз любострастные ласки и потаскуху потасканную детям и дому предпочел!

Но он, следующий за большим палец ко рту приложив, ужасом пораженный:

— Молчи, молчи! — говорит. И озирается, не слышал ли кто.— Берегись,— говорит,— вéщей жены! Как бы невоздержанный язык беды на тебя не накликал!

— Еще что! — говорю.— Что же за женщина эта владычица и кабацкая царица?

— Ведьма,— говорит,— и колдунья: власть имеет небо спустить, землю подвесить, ручьи твердыми сделать, горы расплавить, покойников вывести, богов низвести, звезды загасить, самый Тартар осветить!

— Ну тебя,— отвечаю,— опусти трагический занавес и сложи эту театральную ширму, говори-ка попросту.

— Хочешь,— спрашивает,— об одной, о другой,— да что там! — о тьме ее проделок послушать? Воспламенить к себе любовью жителей не только этой страны, но Индии, обеих Эфиопий, даже самых антихтонов — для нее пустяки, детские игрушки! Послушай, однако, что она сделала на глазах у многих.

9. Любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как зверь этот, когда ему грозит опасность быть захваченным, спасается от погони, лишая себя детородных органов; она надеялась, что и с тем случится нечто подобное, за то что на сторону понес свою любовь. Кабатчика одного соседнего, и, значит, конкурента, обратила она в лягушку. И теперь этот старик, плавая в своей винной бочке, прежних посетителей своих из гущи хриплым и любезным кваканьем приглашает. Судейского одного, который против нее высказался, в барана она обратила, и теперь тот так бараном и ведет дела. А вот еще: жена одного из ее любовников позлословила как-то о ней, а сама была беременна — на вечную беременность осудила она ее, заключив чрево и остановив зародыш. По общему счету, вот уже восемь лет, как бедняжечка эта, животом отягощенная, точно слоном собирается разрешиться.

10. Это последнее злодеяние и зло, которое она многим продолжала причинять, наконец возбудили всеобщее негодование, и было постановлено в один прекрасный день назавтра жестоко отомстить ей, побив камнями, но этот план она заранее расстроила силою заклинаний. Как пресловутая Медея, выпросив у Креонта только денечек отсрочки, все его семейство, и дочь, и самого старца, пламенем, вышедшим из венца, сожгла,— так и эта, совершив над ямой погребальные моления (как мне сама недавно в пьяном виде сказывала), с помощью тайного насилия над божествами, всех жителей в их же собственных домах заперла, так что целых два дня не могли они ни замков сбить, ни выломать дверей, ни даже стен пробуравить, пока наконец, по общему уговору, в один голос не возопили, клянясь священней-

шей клятвой, что не только не подымут на нее руки, но придут к ней на помощь, если кто замыслит иное. На этих условиях она смилостивилась и освободила весь город. Что же касается зачинщика всей этой выдумки, то его она в глухую ночь, запертым, как он был, со всем домом — со стенами, самой почвой, с фундаментом, перенесла за сто верст в другой город, расположенный на самой вершине крутой горы и лишенный поэтому воды. А так как тесно стоявшие жилища не давали места новому пришельцу, то, бросив дом перед городскими воротами, она удалилась.

11.— Странные,— говорю,— вещи и не менее ужасные, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов ты меня вогнал в немалое беспокойство, даже в страх, я уже не сомнения ощущаю, а словно удары ножа, как бы та старушонка, воспользовавшись услугами какого-нибудь божества, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать и, отдохнув, до света еще уберемся отсюда как можно дальше!

Я еще продолжал свои убеждения, а мой добрый Сократ уже спал и храпел вовсю, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запираю комнату, проверяю засовы, потом приставляю кровать плотно к дверям, чтобы загородить вход, и ложусь на нее. Сначала от страха я довольно долго не сплю, потом, к третьей страже, слегка глаза смыкаться начинают.

Только что заснул, как вдруг с таким шумом, что и разбойников не заподозришь, двери распахнулись, скорее, были взломаны и сорваны с петель. Кровать-тишка, и без того-то коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая, от такого напора опрокидывается и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собою прикрывает.

12. Тут я понял, что некоторым переживаниям от природы свойственно приводить к противоречащим им последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так и я, превратившись из Аристомена в черепаху, в таком вот ужасе не мог удержаться от смеха. Пока, валяясь в грязи под прикрытием кровати, смотрю украдкой, что будет дальше, вижу двух женщин пожилых лет. Зажженную лампу несет одна, губку и обнаженный меч — другая, и вот они уже останавливаются около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом:

— Вот, сестра Пантия, дорогой Эндимион; вот котик мой, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался, вот тот, кто любовь мою презирал и не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, значит, как хитрым Улиссом брошенная, вроде Калипсо, буду оплакивать вечное

одиночество! — А потом, протянув руку и показывая на меня своей Пантии, продолжала: — А вот добрый советчик, Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив ни мертв теперь на полу лежит, из-под кровати смотрит на все это и думает безнаказанным за оскорбления, мне нанесенные, остаться! Но я позабочусь, чтобы он скоро,— да нет! — сейчас и даже сию минуту понес наказание за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство!

13. Как я это услышал, холодным потом, несчастный, покрылся, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей, дрожа, затанцевала. А добрая Пантия говорит:

— Отчего бы нам, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам, или, связав по рукам и по ногам, не оскопить?

На это Мероя (теперь я отгадал ее имя, так как описания Сократа и в самом деле к ней подходили) отвечает:

— Нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного.

И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех, так, чтобы нигде ни одной капли не упало. Своими глазами я это видел. К тому же (для того, думаю, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения) добрая Мероя, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, в рану и покопавшись там, вынула сердце моего несчастного товарища. Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный, из раны вырвался, и он испустил дух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала:

— Ну, ты, губка, бойся, в море рожденная, через реку переправляться! — После этого, отодвинув кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей жидкостью меня всего не залили.

14. Лишь только они переступили порог, и вот уже двери встают в прежнее положение как ни в чем не бывало, петли опять заходили, брусья запоров снова вошли в косяки, задвижки вернулись на свои места. Я же как был, так и остался на полу простертый, бездыханный, голый, иззябший, залитый мочой, словно только что появившийся из материнского чрева или, вернее, полумертвый, переживший самого себя, как последыш или, по крайней мере, преступник, для которого уже готов крест.

— Что будет со мною,— произнес я,— когда утром обнаружится этот зарезанный? Кто найдет мои слова правдоподоб-

ными, хоть я и буду говорить правду? «Звал бы, скажут, на помощь, по крайней мере, если ты, такой здоровенный малый, не мог справиться с женщиной! На твоих глазах режут человека, а ты молчишь! Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления и доносчика? Но хотя ты и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься».

Подобные мысли снова и снова приходили мне в голову; а ночь близилась к утру. Наилучшим мне показалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь, хотя бы ощупью. Беру свою сумку и, вставив в скважину ключ, стараюсь отодвинуть задвижку. Но эти добрые и верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни с ключом насилу под конец дали мне дорогу.

15. Я закричал:

— Эй, есть тут кто? Откройте мне калитку: до свету хочу выйти!

Привратник, позади калитки на земле спавший, говорит спросонья:

— Разве ты не знаешь, что на дорогах неспокойно — разбойники попадаются! Как же ты так ночью в путь пускаешься? Если у тебя такое преступление на совести, что ты умереть хочешь, так у нас-то головы не тыквы, чтобы из-за тебя умирать!

— Недолго,— говорю,— до света. К тому же что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голого раздеть десяти силачам не удастся?

На это он, засыпая и повернувшись на другой бок, еле языком ворочая, отвечает:

— Почем я знаю, может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?

При этих словах (до сих пор помню) показалось мне, что земля до самого Тартара разверзлась и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мероя не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для креста сохранила.

16. И вот, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни. Но так как судьба никакого другого смертоносного орудия, кроме одной только моей кровати, не предоставила, то начал я:

— Кроватка моя, кроватка, дорогая сердцу моему, ты со мной столько несчастий претерпела, ты по совести знаешь, что ночью свершилось, тебя одну могу на суде я назвать свидетель-

ницей моей невиновности. Мне, в преисподнюю стремящемуся, облегчи туда дорогу! — И с этими словами я отдираю от нее веревку, которая на ней была натянута; закинув и прикрепив ее за край стропила, который выступал под окном, на другом конце делаю крепкую петлю, влезаю на кровать и, на погибель себе так высоко забравшись, петлю надеваю, всунув в нее голову. Но когда я ногой оттолкнул опору, чтобы под тяжестью тела петля сама затянулась у горла и прекратила мое дыхание, внезапно веревка, и без того уже гнилая и старая, обрывается, и я лечу с самого верха, обрушиваюсь на Сократа, что около меня лежал, и, падая, вместе с ним качусь на землю.

17. Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло:

— Где же ты? Среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь храпишь, закутавшись?

Тут Сократ, разбуженный, не знаю уж, падением ли нашим или его неистовым криком, первым вскочил и говорит:

— Недаром все постояльцы терпеть не могут трактирщиков! Этот нахал вламывается сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня, усталого, будит от глубокого сна своим ораньем.

Я весело и бодро поднимаюсь, неожиданным счастьем переполненный.

— Вот, надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат. А ты с пьяных глаз болтал ночью, будто я его убил! — С этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но отвратительная вонь от жидкости, которою меня те ламии залили, ударила ему в нос, и он с силой оттолкнул меня.

— Прочь,— говорит он,— несет, как из отхожего места!

И начал меня участливо расспрашивать о причинах этого запаха. А я, несчастный, отделавшись кое-как наспех придуманной шуткой, стараюсь перевести его внимание на другой предмет и, обняв его, говорю:

— Пойдем-ка! Почему бы нам не воспользоваться утренней свежестью для пути? — Я беру свою котомку, и, расплатившись с трактирщиком за постой, мы пускаемся в путь.

18. Мы шли уже довольно долго, и восходящее солнце все освещало. Я внимательно и с любопытством рассматривал шею своего товарища, то место, куда вонзили, как я сам видел, меч. И подумал про себя: «Безумец, до чего же ты напился, если тебе привиделись такие странности! Вот Сократ: жив, цел и невредим. Где рана? Где губка? И где наконец шрам, такой глубокий, такой свежий?» Потом, обращаясь к нему, говорю:

— Недаром опытные врачи тяжелые и страшные сны приписывают обжорству и пьянству! Вчера, к примеру, не считал я кубков, вот и была у меня жуткая ночь с ужасными и жестокими сновидениями — до сих пор мне кажется, будто я весь залит и осквернен человеческой кровью!

На это он, улыбнувшись, заметил:

— Не кровью, а мочой! А впрочем, мне и самому приснилось, будто меня зарезали. И горло болело, и казалось, само сердце у меня вырывают: даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг нетверд, и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь.

— Вот тебе,— отвечаю,— и завтрак! — С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и поспешно протягиваю ему хлеб с сыром.— Сядем,— говорю,— у этого платана.

19. Мы уселись, и я тоже принимаюсь за еду вместе с ним. Смотрю я на него, как он с жадностью ест, и замечаю, что все черты его заостряются, лицо смертельно бледнеет и силы покидают его. Живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, будто снова приближаются к нам ночные фурии, и от страха кусочек хлеба, который я откусил, как ни мал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. Видя, как мало на дороге прохожих, я все больше и больше приходил в ужас. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, наевшись до отвала, стал томиться нестерпимой жаждой. Ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от платана протекала медленная речка, вроде тихого пруда, цветом и блеском похожая на серебро или стекло.

— Вот,— говорю,— утоли жажду молочной влагой этого источника.

Он поднимается, быстро находит удобное местечко, на берегу становится на колени и, наклонившись, жадно тянется к воде. Но едва только краями губ коснулся он поверхности воды, как рана на шее его широко открывается, губка внезапно из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело полетело бы в воду, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с трудом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника, песчаной землею около реки навеки его и засыпал. Сам же в ужасе, трепеща за свою безопасность, разными окольными и пустынными путями я убегаю и, словно действительно у меня на совести убийство человека, отказываюсь от родины и родимого дома, приняв добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Этолии.

20. Вот что рассказал Аристомен.

Но спутник его, который с самого начала с упорной недоверчивостью относился к рассказу и не хотел его слушать, промолвил:

— Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья! — Потом, обратившись ко мне: — И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?

— Я, по крайней мере,— отвечаю,— ничего не считаю невозможным, и, по-моему, все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные и почти невероятные вещи, которым никто не поверит, если рассказать их неиспытавшему. Но я этому человеку и верю, клянусь Геркулесом, и большой благодарностью благодарен за то, что он доставил нам удовольствие, позабавив интересной историей: я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому благодеянию: ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, чем на ее спине.

21. Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговорам, потому что оба моих спутника свернули налево, к ближайшей усадебке, а я, войдя в город, подошел к первой попавшейся мне на глаза гостинице и тут же начал расспрашивать старуху хозяйку.

— Не Гипата ли,— говорю,— этот город?

Подтвердила.

— Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей?

Рассмеялась.

— И вправду,— говорит,— первейшим гражданином считается здесь Милон: ведь дом его первый из всех по ту сторону городских стен стоит.

— Шутки в сторону, добрая тетушка, скажи, прошу тебя, что он за человек и где обитает?

— Видишь,— говорит,— крайние окна, что на город смотрят, а с другой стороны, рядом, ворота в переулок выходят? Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп донельзя и всем известен как человек преподлый и прегрязный; больше всего ростовщичеством занимается, под залог золота и серебра проценты большие дерет; одной наживе преданный, заперся он в своем домишке и живет там с женой, разделяющей с ним его несчастную страсть. Только одну служаночку держит и ходит всегда что нищий.

На это я, рассмеявшись, подумал: вот так славную и предусмотрительную мой Демея дал мне в дорогу рекомендацию.

К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони.

22. Дом был рядом, приближаюсь я ко входу и с криком начинаю стучать в накрепко закрытую дверь. Наконец, является какая-то девушка.

— Эй, ты,— говорит,— что в двери барабанишь? Под какой залог взаймы брать хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что, кроме золота и серебра, у нас ничего не принимают?

— Взаймы? Ну, нет, пожелай мне,— говорю,— чего-нибудь получше и скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина?

— Конечно,— отвечает,— а зачем он тебе нужен?

— Письмо я принес ему от Демеи из Коринфа.

— Сейчас доложу,— отвечает,— подожди меня здесь.— С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв двери, говорит: — Просят.

Вхожу, вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена и, указав на пустой стол:

— Вот,— говорит,— милости просим.

— Прекрасно,— отвечаю я и тут же передаю хозяину письмо Демеи. Пробежав его, он говорит:

— Спасибо моему Демее, какого гостя он мне послал!

23. С этими словами он велит жене уступить мне свое место. Когда же я отказываюсь из скромности, он, схватив меня за полу:

— Садись,— говорит,— здесь; других стульев у меня нет, боязнь воров не позволяет нам приобретать утварь в достаточном количестве.

Я исполнил его желание. Тут он:

— По изящной манере держаться и по этой почти девической скромности заключил бы я, что ты благородного корня отпрыск, и, наверное, не ошибся бы. Да и Демея мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудость нашей лачужки. Вот эта комната рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Сделай милость — остановись у нас. Честь, которую ты окажешь моему дому, возвеличит его, и тебе будет случай последовать славному примеру: удовольствуясь скромным очагом, ты в добродетели будешь подражать Тезею (прославленному тезке твоего отца), который не пренебрег простым гостеприимством старой Гекалы.— И, позвавши служаночку, говорит: — Фотида, прими вещи гостя и сложи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масла для натирания, полотенце утереться и все прочее и своди моего гостя в ближайшие бани,— устал он после такого дальнего и трудного пути.

24. Слушая эти распоряжения, я подумал о характере и скупости Милона и, желая теснее с ним сблизиться, говорю:

— У меня все есть, что нужно в пути. И бани я легко сам найду. Всего важнее, чтобы лошадь моя, что так старалась всю дорогу, не осталась голодной. Вот, Фотида, возьми эти деньжонки и купи овса и сена.

После этого, когда вещи уже были сложены в моей комнате, сам я отправляюсь в бани, но прежде надо о еде позаботиться, и я иду на рынок за продуктами. Вижу, выставлена масса прекрасной рыбы. Стал торговаться — вместо ста нуммов уступили за двадцать денариев. Я уже собирался уходить, как встречаю своего товарища Пифия, с которым вместе учился в аттических Афинах. Сначала он довольно долго не узнает меня, потом бросается ко мне, обнимает и осыпает поцелуями.

— Луций мой! — говорит.— Как долго мы не видались, право, с самого того времени, как расстались с Клитием, учителем нашим. Что занесло тебя сюда?

— Завтра узнаешь,— говорю,— но что это? Тебя можно поздравить? Вот и ликторы и розги,— ну, словом, весь чиновный прибор!

— Продовольствием занимаемся,— отвечает,— исполняем обязанности эдила. Если хочешь закупить что, могу быть полезен.

Я отказался, так как уже достаточно запасся рыбой на ужин. Тем не менее Пифий, заметив корзинку, стал перетряхивать рыбу, чтобы лучше рассмотреть ее, и спрашивает:

— А это дрянцо почем брал?

— Насилу,— говорю,— уломал рыбака уступить мне за двадцать денариев.

25. Услышав это, он тотчас хватает меня за правую руку и снова ведет на рынок.

— А у кого,— спрашивает,— купил ты эти отбросы?

Я указываю на старикашку, что в углу сидел. Тут же он на того набросился и стал грубейшим образом распекать его по-эдильски:

— Так-то обращаетесь вы с нашими друзьями, да и вообще со всеми приезжими! Продаете паршивых рыб по такой цене! До того этот город, цвет Фессалийской области, доведете, что опустеет он, как скала! Но даром вам это не пройдет! Узнаешь ты, как под моим началом расправляются с мошенниками! — И, высыпав из корзинки рыбу на землю, велел он своему помощнику стать на нее и всю растоптать ногами. Удовольствовавшись такою строгостью, мой Пифий разрешает мне уйти и

говорит: — Мне кажется, мой Луций, для старикашки достаточное наказание такой позор!

Изумленный и прямо-таки ошеломленный этим происшествием, направляюсь я к баням, лишившись благодаря остроумной выдумке моего энергичного товарища и денег и ужина. Вымывшись, возвращаюсь я в дом Милона и прямо прохожу в свою комнату.

26. Тут Фотида, служанка, говорит:

— Зовет тебя хозяин.

Зная уже Милонову умеренность, я вежливо извиняюсь, что, мол, дорожная усталость скорее сна, чем пищи, требует. Получив такой ответ, он сам является и, обняв меня, тихонько увлекает. Я то отговариваюсь, то скромно упираюсь.

— Без тебя,— говорит,— не выйду.— И клятвой подтвердил эти слова. Я нехотя повинуюсь его упрямству, и он снова ведет меня к своему диванчику и, усадив, начинает: — Ну, как поживает наш Демея? Что жена его, что дети, домочадцы?

Рассказываю по отдельности обо всех. Расспрашивает подробно о целях моего путешествия. Все обстоятельно ему сообщаю. Тщательнейшим образом тогда разузнает он о моем родном городе, о самых знатных его гражданах, а под конец даже о нашем правителе, пока не заметил, что, сильно измученный трудной дорогой, я утомился долгим разговором и засыпаю посреди фразы, бормоча что-то невнятное, и не отпустил меня в спальню. Так избавился я от мерзкого старика с его болтливым и голодным угощением, отягченный сном, не пищею, поужинав одними баснями. И, вернувшись в комнату, я предался желанному покою.

1. Как только ночь рассеялась и солнце новый день привело, расстался я одновременно со сном и с постелью. И вообще-то я человек беспокойный и неумеренно жадный до всего редкостного и чудесного. А теперь при мысли, что я нахожусь в сердце Фессалии, единогласно прославленной во всем мире как родина магического искусства, держа в памяти, что история, рассказанная добрым спутником Аристоменом, начинается с упоминания об этом городе, я с любопытством оглядывал все вокруг, возбужденный желанием, смешанным с нетерпением. Вид любой вещи в городе вызывал у меня подозрения, и не было ни одной, которую я считал бы за то, что она есть. Все мне казалось обращенным в другой вид губительными нашептываниями. Так что и камни, по которым я ступал, представлялись мне окаменевшими людьми; и птицы, которым внимал,— тоже людьми, но оперенными; деревья вокруг городских стен — подобными же людьми, но покрытыми листьями; и ключевая вода текла, казалось, из человеческих тел. Я уже ждал, что статуи и картины начнут ходить, стены говорить, быки и прочий скот прорицать и с самого неба, со светила дневного, внезапно раздастся предсказание.

2. Так все обозреваю я, пораженный, и только что чувств не лишаюсь от мучительного любопытства, но не вижу никакого признака близкого осуществления моих ожиданий. Брожу я, как праздный бездельник, от двери к двери и незаметно для себя прихожу на рынок. Тут, ускорив шаг, догоняю какую-то женщину, окруженную многочисленными слугами. Золото, которым были оправлены ее драгоценности и заткана одежда, без сомнения, выдавало знатную матрону. Бок о бок с ней шел старик, обремененный годами, который, как только увидел меня, воскликнул:

— Клянусь Геркулесом, это Луций! — поцеловал меня и тотчас зашептал что-то, не знаю что, на ухо матроне.— Что же,— говорит он мне,— ты сам не подойдешь и не поздороваешься со своей родственницей?

— Я не смею,— говорю,— здороваться с женщинами, которых не знаю.— И тотчас, покраснев, опустил голову и отступил. Но та, остановив на мне свой взор, начала:

— Вот она, благородная скромность добродетельной Сальвии, его матери, да и во всем его облике поразительное, точнейшее с нею сходство: соразмерный рост, стройность без худобы, румянец не слишком яркий, светлые, от природы вьющиеся волосы, глаза голубые, но зоркие и блестящие — ну прямо как у орла, лицо, откуда ни посмотри,— цветник юности, чарующая и свободная поступь!

3.— Я, мой Луций,— продолжала она,— тебя воспитала вот этими самыми руками. Да как же иначе? Я не только родственница, я — молочная сестра твоей матери. Обе мы из рода Плутарха, одна у нас была кормилица, и выросли мы вместе, как две сестры; разница между нами только в положении: она вышла замуж за очень знатного человека, я — за скромного. Я — та Биррена, имя которой, частенько повторяемое твоими воспитателями, наверное, ты запомнил. Прими же доверчиво мое гостеприимство или, вернее, считай мой дом своим.

Я, перестав краснеть во время этой речи, отвечаю:

— Не годится, тетушка, отказываться от гостеприимства Милона без всякого повода. Но я буду посещать тебя так часто, как позволят дела. В другой раз, сколько бы сюда ни приезжал, кроме тебя, ни у кого не остановлюсь.— Обмениваясь такими речами, через несколько шагов мы оказались у дома Биррены.

4. В прекраснейшем атриуме — в каждом из четырех его углов — поднималось по колонне, украшенной изображением богини с пальмовой ветвью. Распустив крылья, богини оставались неподвижны; чудилось, что, едва касаясь нежной стопой шаткой опоры — катящегося шара,— они лишь на мгновение застыли на нем и готовы уже вновь подняться в воздух. Самую середину комнаты занимала Диана из паросского камня превосходной работы, с развевающимися одеждами, в стремительном движении навстречу входящим, внушая почтение своим божественным величием. С обеих сторон сопровождают ее собаки, тоже из камня. Глаза грозят, уши насторожены, раздуты ноздри, зубы оскалены. Если где-нибудь поблизости раздастся лай, подумаешь, он из каменных глоток исходит. Мастерство превос-

ходного скульптора выразилось больше всего в том, что передние лапы у собаки взметнулись в воздух вместе с высоко поднятой грудью и как будто бегут, меж тем как задние опираются на землю. За спиной богини высилась скала в виде грота, украшенная мхом, травой, листьями, ветками, тут — виноградом, там — растущим по камням кустарником. Тень, которую бросает статуя внутрь грота, рассеивается от блеска мрамора. По краю скалы яблоки и виноград висели, превосходно сделанные, в правдивом изображении которых искусство соперничало с природой. Подумаешь, их можно будет сорвать для пищи, когда зрелым цветом ожелтит их осень в пору сбора винограда. Если наклонишься к ручейку, который, выбегая из-под ног богини, журчал звонкой струей, поверишь, что этим гроздьям, кроме прочей правдоподобности, придана и трепещущая живость движения, как будто они свисают с настоящей лозы. Среди ветвей — Актеон, высеченный из камня: наполовину уже превращенный в оленя, смотрит он внимательно на богиню, подстерегая, когда Диана начнет купаться, и его отражение видно и в мраморе грота, и в бассейне.

5. Пока я не отрываясь гляжу на это, получая огромное наслаждение, Биррена говорит:

— Все, что видишь,— твое.— С этими словами она всех высылает, желая поговорить со мной наедине. Когда все ушли, она начинает: — Эта богиня — порука, Луций дражайший, как я тревожусь и боюсь за тебя и как хочу, словно родного сына, избавить тебя от опасности. Берегись, ой, берегись злого искусства и преступных чар этой Памфилы, жены Милона, который, говоришь, твой хозяин. Первой ведьмой она считается и мастерицей заклинать души умерших. Нашепчет на палочку, на камешек, на какой другой пустяк — и весь звездный свод в Тартар низринет и мир погрузит в древний хаос. Как только увидит юношу красивой наружности, тотчас пленяется его прелестью и приковывается к нему душой и взором. Обольщает его, овладевает его сердцем, навеки связывает узами ненасытной любви. Если же кто воспротивится и пренебрежет ею, тотчас обращает в камень, в скотину, в любого зверя или же совсем уничтожает. Вот почему я трепещу от страха за тебя и советую тебе остерегаться. Она непрестанно томится похотью, а ты по возрасту и красоте ей подходишь.— Так Биррена со мной взволнованно беседовала.

6. А я, и так полный любопытства, лишь только услышал давно желанные слова «магическое искусство», как, вместо того чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стре-

миться за любую цену отдать себя ей под начало, готовый стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения, я вырываюсь из рук Биррены, как из оков, и, наскоро сказав: «Прости!» — лечу с быстротой к Милонову дому. Ускоряя шаги, как безумный: «Действуй, Луций,— говорю сам себе,— не зевай и держись! Вот тебе желанный случай, теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками! Отбрось детские страхи, смело и горячо берись за дело, но от объятий твоей хозяйки воздержись и считай священным ложе честного Милона! Однако надо усиленно постараться насчет служанки Фотиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как заботливо проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо и так любовно укрыла, поцеловала тебя в лоб и, всем видом своим показав, с какой неохотой уходит, наконец удалилась, столько раз оборачиваясь и оглядываясь! Что ж, в добрый час, будь что будет, попытаю счастья с Фотидой!»

7. Так рассуждая, достиг я дверей Милона, голосуя, как говорится, за свое предложение. Но не застаю дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фотиду. Она готовила хозяевам колбасу, набивая ее мелко накрошенной начинкой, и мясо мелкими кусочками...[1] Даже издали носом слышу я вкуснейший запах этого кушанья. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, под самые груди ярким красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке, круговое движение это частыми вздрагиваниями сопровождая; всем членам передавалось плавное движение — едва заметно бедра трепетали, гибкая спина слегка сотрясалась и волновалась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою удивляясь; восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое. Наконец обращаюсь к ней:

— Как прекрасно, как мило, моя Фотида, трясешь ты этой кастрюлькой и ягодицами! Какой медвяный соус готовишь! Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему прикоснуться!

Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная:

— Уходи,— отвечает,— уходи, бедняжка, подальше от моего огня! Ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла. Тогда, кроме меня, никто твоего огня не угасит, я ведь не только кастрюли, но и ложе сладко трясти умею!

---

[1] Текст в рукописях испорчен.

8. Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась. Но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Впрочем, что говорить об остальном, когда все время интересовали меня только лицо и волосы: на них смотрел я сначала во все глаза при людях, ими наслаждался потом у себя в комнате. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна, ведь они всегда открыты и первыми предстают нашим взорам; и чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем же для лица волосы — природным его украшением. Наконец, многие женщины, чтобы доказать прелесть своего сложения, всю одежду сбрасывают или платье приподымают, являя нагую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золотому блеску одежды. Но если бы (ужасное предположение, да сохранят нас боги от малейшего намека на его осуществление!), если бы у самых прекрасных женщин снять с головы волосы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшая, морем рожденная, волнами воспитанная, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором граций сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, киннамоном благоухающей, бальзам источающей,— если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет.

9. Что же скажешь, когда у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощное они испускают сверканье или спокойный отблеск и меняют свой вид с разнообразным очарованием: то златом пламенея, погружаются в нежную медвяную тень, то вороньей чернотою соперничают с темно-синим оперением голубиных горлышек? Что скажешь, когда, аравийскими смолами умащенные, тонкими зубьями острого гребня на мелкие пряди разделенные и собранные назад, они привлекают взоры любовника, отражая его изображение наподобие зеркала, но гораздо милее? Что скажешь, когда, заплетенные во множество кос, они громоздятся на макушке или, широкой волною откинутые, спадают по спине? Одним словом, прическа имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина ни оделась, чем бы на свете ни разукрасилась, если не привела она в порядок свои волосы, убранной назваться не может.

Но Фотиде моей не замысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, рассыпались вдоль шеи и, чуть-чуть завиваясь, лежали на обшивке туники; на концах они были собраны, а на макушке стянуты узлом.

10. Дальше не смог я выдержать такой муки жгучего вожделения; приникнув к ней в том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку, сладчайший поцелуй запечатлел. Тут она, отстранившись немного, обернулась ко мне и, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит:

— Эй ты, школьник! За кисло-сладкую закуску хватаешься. Смотри, как бы, объевшись медом, надолго желчной горечи не нажить!

— Что за беда,— говорю,— моя радость, когда я до того дошел, что за один твой живительный поцелуйчик готов изжариться, растянувшись на этом огне!

И с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И вот она уже соревнуется со мною в страсти и равную степень любви по-братски разделяет; вот уже, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, упоенная вожделением, готова уже уступить ему.

— Погибаю,— воскликнул я,— и погиб уже совершенно, если ты не сжалишься надо мной.

На это она, опять меня поцеловав, говорит:

— Успокойся. Меня сделало твоею взаимное желание, и утехи наши откладываются ненадолго. Чуть стемнеет, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись с силами, ведь я всю ночь напролет буду с тобой сражаться крепко и от души.

11. Долго еще обменивались мы такими и тому подобными словами и наконец разошлись. Только что наступил полдень, как Биррена в гостинец мне прислала жирную свинку, пяток курочек и большой кувшин превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фотиду и говорю·

— Вот к тому же и Либер прибыл, оруженосец и побудитель Венерин. Сегодня же высосем до дна это вино, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле такие только припасы требуются, чтобы на бессонную ночь в лампе достало было масла, в чаше — вина.

Остаток дня посвящен был бане и наконец ужину. По приглашению доброго Милона, я разделил с ним вполне приличную трапезу и старался, памятуя наставления Биррены, как можно реже попадаться на глаза его супруге, отвращая свои взгляды от ее лица, будто от страшного Авернского озера. Но, наблюдая без устали за прислуживающей Фотидой, я несколько приободрился, как вдруг Памфила, взглянув на зажженную лампу, говорит:

— Какой сильный ливень будет завтра!

И на вопрос мужа, откуда это ей известно, отвечает, что лампа ей предсказала. На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит:

— Великую Сивиллу мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем.

12. Тут я вступил в разговор и заявляю:

— Это только первые шаги в подобного рода прорицаниях, и нет ничего удивительного, что огонечек этот, хоть и скромен и человеческими руками зажжен, помнит все же о том великом небесном огне, как о своем родителе; божественный ясновидец, он и сам знает, и нам возвещает, что́ собирается свершить этот великий огонь. Да вот и теперь у нас в Коринфе гостит проездом некий халдей, который своими удивительными ответами весь город сводит с ума и деньги зарабатывает, открывая кому угодно тайну судьбы: в какой день вернее всего заключать браки, в какой крепче всего постройки закладывать, какой для торговых сделок сподручнее, какой для путешествия посуху удобнее, какой для плаванья благоприятнее. Вот и мне, когда я задал ему вопрос, чем окончится мое путешествие, он насказал много удивительнейших и разнообразных вещей; сказал, что и слава цветущая меня ожидает, и великие приключения невероятные, которые и в книги попадут.

13. Ухмыльнувшись на это, Милон говорит:

— А каков с виду тот халдей и как его звать?

— Длинный,— отвечаю,— и черноватенький. Диофан по имени.

— Он самый! — воскликнул.— Никто, как он! Он и у нас подобным же образом многое многим предсказывал за немалые деньги и, больше того, добившись уже отличных доходов, впал, несчастный, в убожество, даже можно сказать — в ничтожество.

В один прекрасный день, когда народ тесным кольцом обступал его и он давал предсказания вокруг стоявшим, подошел к нему некий купец, по имени Кердон, желая узнать день, благоприятный для отплытия. Тот ему уже день указал, уже кошелек появился на сцену, уже денежки высыпали, уже отсчитали сотню денариев — условленную плату за предсказание, как вдруг сзади протискивается какой-то молодой человек знатного рода, хватает его за полу, а когда тот обернулся, обнимает и крепко-крепко целует. А халдей, ответив на его поцелуи, усадил рядом с собою и, ошеломленный неожиданностью встречи, забыв о деле, которым был занят в тот момент, говорит ему:

«Когда же прибыл ты сюда, долгожданный?» А тот, другой, отвечает на это: «Как раз с наступлением вечера. А теперь расскажи-ка ты, братец, каким образом держал ты путь морем и сушей с тех пор, как поспешно отплыл с острова Эвбеи?»

14. На это Диофан, наш замечательный халдей, не совсем еще придя в себя от изумления, говорит: «Врагам и неприятелям всем нашим пожелал бы я такого сурового, поистине Улиссова странствия! Ведь корабль наш, на котором мы плыли, потрепанный разными вихрями и бурями, потерял оба кормила, был прибит к противоположному берегу и, натолкнувшись на скалу, быстро пошел ко дну, так что мы, потеряв все, едва выплыли. Что удалось нам сберечь благодаря ли состраданию незнакомых людей или благосклонности друзей, все это попало в руки разбойников, а брат мой единственный, Аригнот, вздумавший противостоять их наглости, на глазах у меня, бедняга, был зарезан».

Пока он вел этот плачевный рассказ, купец тот, Кердон, забрав свои деньги, предназначавшиеся в уплату за предсказание, немедленно убежал. И только тогда Диофан, опомнившись, понял, какой промах своим неблагоразумием дал он, когда наконец увидел, что все мы, кругом стоявшие, разразились громким хохотом.

— Но, конечно, тебе, Луций, господин мой, одному из всех халдей этот сказал правду. Да будешь ты счастлив, и путь твой да будет благополучен!

15. Пока Милон таким образом пространно разглагольствовал, я молча томился и порядочно злился, что из-за болтовни, по моей вине так некстати затянувшейся, лишусь я доброй части вечера и лучших его плодов. Наконец, отложив в сторону робость, говорю я Милону:

— Предоставим этого Диофана его судьбе, и пусть он снова дерет с людей шкуру, где ему угодно, на море или на суше; я же, по правде сказать, до сих пор еще не оправился от вчерашней усталости, так что ты разреши мне пораньше лечь спать.

Сказано — сделано, я добираюсь до своей комнаты и нахожу там все приготовленным для весьма приятной пирушки. И слугам были постланы постели как можно дальше от дверей, для того, я полагаю, чтобы удалить на ночь свидетелей нашей возни, и к кровати моей был пододвинут столик, весь уставленный лучшими остатками от ужина, и большие чаши, уже наполовину наполненные вином, только ждали, чтобы в них долили воды, и рядом бутылка с отверстием, прорубленным пошире, чтобы

удобнее было зачерпывать,— словом, полная закуска перед любовной схваткой.

16. Не успел я лечь, как вот и Фотида моя, отведя уже хозяйку на покой, весело приближается, неся в подоле ворох роз и розовых гирлянд. Крепко расцеловав меня, опутав веночками и осыпав цветами, она схватила чашу и, подлив туда теплой воды, протянула мне, чтобы я пил, но раньше, чем я осушил ее всю, нежно взяла обратно и, понемногу потягивая губками, не сводя с меня глаз, маленькими глоточками сладостно докончила. За первым бокалом последовал другой и третий, и чаша то и дело переходила из рук в руки; тут я, вином разгоряченный и не только душой, но и телом, к сладострастию готовым, чувствуя беспокойство, весь во власти необузданного и уже мучительного желания, наконец приоткрыл одежду и, показывая своей Фотиде, с каким нетерпением жажду я любви, говорю:

— Сжалься, скорей приди мне на помощь! Ведь ты видишь, что, пылко готовый к близкой уже войне, которую ты объявила мне без законного предупреждения, едва получил я удар стрелы в самую грудь от жестокого Купидона, как тоже сильно натянул свой лук и теперь страшно боюсь, как бы от чрезмерного напряжения не лопнула тетива. Но если ты хочешь совсем угодить мне — распусти косы и подари мне свои желанные объятия под покровом струящихся волною волос.

17. Без промедления, быстро убрав посуду, сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразилась она прекрасно для радостного наслаждения, наподобие Венеры, входящей в волны морские, и, к гладенько выбритому женскому месту приложив розовую ручку, скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для того, чтобы прикрыть стыдливо:

— На бой,— говорит,— на сильный бой! Я ведь тебе не уступлю и спины не покажу. Если ты — муж, с фронта атакуй и нападай с жаром и, нанося удары, готов будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады! — И с этими словами она поднимается на кровать и медленно опускается надо мною на корточки; часто приседая и волнуя гибкую спину свою сладострастными движениями, она досыта накормила меня плодами Венеры Раскачивающейся; наконец, утомившись телом и обессилевши духом, упали мы в объятья друг другу, запыхавшиеся оба и изнуренные.

В таких и похожих на эту схватках провели мы ночь до рассвета, время от времени чашами прогоняя утомление, возбуждая вожделение и снова предаваясь сладострастью.

По примеру этой ночи, прибавили мы к ней других подобных немалое количество.

18. Случилось как-то, что Биррена весьма настойчиво попросила меня прийти к ней на небольшой дружеский ужин; я долго отказывался, но отговорки мои не были уважены. Пришлось, стало быть, обратиться к Фотиде и спросить у нее совета, как у оракула. Хотя ей трудно было переносить, чтобы я хоть на шаг от нее удалился, тем не менее она любезно соблаговолила объявить краткое перемирие в военных действиях любви. Но говорит мне:

— Послушай, постарайся пораньше уйти с ужина. Есть у нас отчаянная шайка из знатнейших молодых людей, которая нарушает общественное спокойствие; то и дело прямо посреди улицы находят трупы убитых, а войска наместника далеко и не могут очистить город от такой заразы. Судьба щедро наделила тебя своими дарами, а как с человеком дорожным, церемониться с тобой не станут, как раз и попадешь в ловушку.

— Отбрось тревогу, моя Фотида,— отвечаю,— ведь, кроме того что наши утехи мне дороже чужих ужинов, я и страх твой этот успокою, вернувшись пораньше. Да и пойду я не без провожатых. Опоясавшись испытанным мечом своим, сам понесу залог своей безопасности.

Приготовившись таким образом, отправляюсь на ужин.

19. Здесь застаю множество приглашенных, как и полагается для знатной женщины,— цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие чаши, разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может,— все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами. Вот уже принесли светильники, застольная беседа оживилась, уже и смех раздается и вольные словечки и шутки то там, то сям.

Тут Биррена ко мне обращается с речью:

— Хорошо ли живется тебе в наших родных местах? Насколько я знаю, своими храмами, банями и другими постройками мы далеко превосходим все города; к тому же нет у нас недостатка ни в чем необходимом. Кто бы ни приехал к нам, праздный ли человек или деловой, всякий найдет, что ему

нужно, не хуже, чем в Риме; скромный же гость обретет сельский покой,— одним словом, все удовольствия и удобства провинции нашли себе у нас место.

20. На это я отвечаю:

— Правильно ты говоришь; ни в какой другой стране я не чувствовал себя так свободно, как здесь. Но до крайности опасаюсь я тайных козней магической науки, которых невозможно избежать. Говорят, что даже в могилах покойники не могут оставаться неприкосновенными, и из костров, из склепов добываются какие-то остатки и клочки трупов на гибель живущим. И старые чародейки в самые минуты погребальных обрядов успевают с быстротою хищных птиц предвосхитить новые похороны.

При этих моих словах вступил в разговор кто-то из присутствующих:

— Да тут и живым людям спуска не дают. Есть у нас один человек, с которым случилась подобная история,— так ему все лицо изуродовали, что и не узнать.

Тут все общество разразилось неудержимым хохотом, причем взоры всех обратились к гостю, возлежавшему в углу. Когда тот, смущенный таким упорным и продолжительным вниманием окружающих, хотел, проворчав что-то в негодовании, подняться с места, Биррена говорит ему:

— Ну полно, мой Телефрон, останься немного и, будь любезен, расскажи еще раз свою историю, чтобы и сынок мой, вот этот Луций, мог насладиться прелестью твоей складной речи!

А он в ответ:

— Ты-то, госпожа, как всегда, проявляешь свою святую доброту. Но есть некоторые люди, наглость которых невозможно переносить!

Так он был возмущен. Но настойчивость Биррены, которая, заклиная его своей жизнью, заставляла рассказывать против воли, достигла своей цели.

21. Тогда, образовав из покрывал возвышение, приподнявшись на ложе и опершись на локоть, Телефрон простирает правую руку и, наподобие ораторов, пригнув мизинец и безымянный палец, два других вытянув вперед, а большой угрожающе опустив, начинает благодушно таким образом:

— Будучи еще несовершеннолетним, отправился я из Милета на Олимпийские игры, и так как мне хотелось побывать и в этой части знаменитой провинции, в ваших краях, то, проехавши через всю Фракию, в недобрый час прибыл я в Лариссу. Мои дорожные средства истощились, и я бродил по городу,

стараясь придумать, как бы помочь своей бедности. Вдруг вижу посреди площади какого-то высокого старика. Он стоял на камне и громким голосом предлагал тем, кто желал бы наняться караульщиком к покойникам, условиться с ним о цене. Тогда я обращаюсь к одному прохожему и говорю: «Что я слышу? Разве здесь покойники имеют обыкновение убегать?» — «Помолчи,— отвечает тот,— ты еще слишком молод и человек приезжий и, понятное дело, плохо себе представляешь, что находишься в Фессалии, где колдуньи нередко отгрызают у покойников части лица — это им для магических действий нужно».

22. Я продолжаю: «А в чем состоит, скажи на милость, обязанность этого могильного караульщика?» — «Прежде всего,— отвечает тот,— всю ночь напролет нужно бодрствовать и открытыми, не знающими сна глазами смотреть на труп, не отвращая взора и даже на единый миг не отворачиваясь; ведь негоднейшие эти оборотни, приняв вид любого животного, тайком стараются проникнуть, так что очи самого Солнца, самой Справедливости могут легко обмануться; то они обращаются в птиц, то в собак, то в мышей, иногда даже в мух. Тут от зловещих чар на караульщиков нападает сон. Никто не может даже перечислить, к каким уловкам прибегают эти зловреднейшие женщины ради своей похоти. И за эту работу, такую опасную, обыкновенно полагается плата не больше, чем в четыре, шесть золотых. Да, вот еще, чуть не забыл! В случае если наутро тело будет сдано не в целости, все, что пропадет, полностью или частью, караульщик обязан возместить, отрезав от собственного лица».

23. Узнав все это, я собираюсь с духом и тут же, подойдя к глашатаю, говорю: «Полно уж кричать! Вот тебе и караульщик, посмотрим, что за цена».— «Тысяча нуммов, отвечает, тебе полагается. Но послушай, малый, хорошенько постарайся — это тело сына одного из важнейших граждан, от злых гарпий труп на совесть береги!» — «Глупости, говорю, ты мне толкуешь и чистейшие пустяки. Перед тобой человек железный, которого сон не берет, более бдительный, без сомнения, чем Линцей или Аргус, словом — один сплошной глаз!»

Не поспел я еще кончить, как он сейчас же ведет меня к какому-то дому, ворота которого были заперты, так что он пригласил меня войти через какую-то маленькую калитку, и, отворив дверь в какую-то темную комнату с закрытыми окнами, указывает на горестную матрону, закутанную в темные одежды. Подойдя к ней, он говорит: «Вот пришел человек, который не побоялся наняться в караульщики к твоему мужу». Тут она от-

кинула волосы, спадавшие с обеих сторон наперед, и, показав прекрасное, несмотря на скорбь, лицо, говорит, глядя мне в глаза: «Смотри, прошу тебя, как можно бдительнее исполни свое дело».— «Не беспокойся, говорю, только награду соответственную приготовь».

24. Удовлетворившись ответом, она поднялась и ведет меня в другую комнату. Там, введя семерых неких свидетелей, она подымает рукою блестящие покровы с тела покойного, долго плачет над ним и, взывая к совести присутствующих, начинает тщательно перечислять части лица, показывая на каждую в отдельности, а кто-то умышленно заносил ее слова на таблички. «Вот, говорит, нос в целости, не тронуты глаза, целы уши, неприкосновенны губы, подбородок в сохранности; во всем этом вы, честные квириты, будьте свидетелями». После этих слов к табличкам были приложены печати, и она направилась к выходу.

А я говорю: «Прикажи, госпожа, чтобы все, что для моего дела требуется, мне приготовили».— «А что именно?» — спрашивает. «Лампу, говорю, побольше масла, чтобы до свету света хватило, теплой воды, пару кувшинчиков винца, чашу да поднос с остатками ужина». Тут она покачала головой и говорит: «Да ты в своем ли уме? В доме, где траур, ищешь остатков от ужина, когда у нас который день и кухня не топится! Ты что ж думаешь, пировать сюда пришел? Лучше бы предавался ты скорби и слезам под стать окружающему!» С этими словами она взглянула на служанку и говорит: «Миррина, принеси сейчас же лампу и масло, потом запрешь караульщика в спальне и немедленно уходи обратно».

25. Оставленный, таким образом, наедине с трупом, я тру глаза, чтобы вооружить их против сна, и для храбрости песенку напеваю, а тем временем смеркается, сумерки наступают, сумерки сгущаются, потом глубокая ночь, наконец, глубочайший мрак. А у меня страх все увеличивался, как вдруг внезапно вползает ласочка, останавливается передо мной и так пристально на меня смотрит, что я смутился от такой наглости в столь ничтожном зверьке. Наконец говорю ей: «Пошла прочь, подлая тварь! Убирайся к мышам — они тебе компания,— покуда не испытала на себе моей силы! Пошла прочь!»

Повернулась и сейчас же исчезла из комнаты. Но в ту же минуту глубокий сон вдруг погрузил меня на самое дно какой-то бездны, так что сам Дельфиец с трудом угадал бы, какое из нас, двух лежащих тел, более мертво. Так, ничего не чувствуя и сам нуждаясь в караульщике, я будто бы и не был в той комнате.

26. Тут как раз оглушительное пение хохлатой команды возвестило, что ночь на исходе, и я, наконец, проснулся. Охваченный немалым страхом, бегу к трупу; поднеся светильник и откинув покров с лица, я стал рассматривать каждую черточку — все было на месте, как прежде. Вот и бедная супруга в слезах и в тревоге вместе со вчерашними свидетелями быстро входит и сейчас же бросается на тело мужа, долго осыпает его поцелуями, потом при свете лампы убеждается, что все в порядке. Тогда, обернувшись, подзывает она своего управляющего Филодеспота и дает ему распоряжение немедленно выдать вознаграждение доброму караульщику. Деньги сейчас же принесли, и она прибавляет: «Мы тебе крайне признательны, юноша, и, клянусь Геркулесом, за такую хорошую службу мы с этой минуты будем считать тебя нашим домочадцем». На что я, обрадованный неожиданной поживой и ошалевший от блестящих золотых, которыми все время побрякивал в руке, говорю: «Больше того, госпожа! Считай меня своим слугою, и сколько бы раз тебе ни потребовалась наша служба, смело приказывай».

Едва я это произнес, как тотчас все домочадцы, проклиная зловещее предзнаменование и схватив что под руку попало, на меня набросились, кто кулаком в зубы заехал, кто локтями в спину тычет, кто руками злобно под бока поддает, пятками топчут, за волосы таскают, платье рвут. Так, разодранный и растерзанный, наподобие гордого Аонийского юноши или вещего Пиплейского певца, был я выгнан из дома.

27. И покуда на соседней улице я прихожу в себя и, слишком поздно вспоминая всю неосмотрительность и зловещий смысл моих слов, сознаюсь, что заслуживаю по справедливости еще бóльших побоев, вот уже покойника, в последний раз оплакав и окликнув, вынесли из дому, и так как хоронили аристократа, то, по исконным обрядам, устроенная на общественный счет погребальная процессия проходила через форум. Подбегает тут какой-то старик в темной одежде, скорбный, весь в слезах, рвет свои благородные седины и, обеими руками обняв погребальное ложе, громким, хотя и прерываемым помянутно рыданиями голосом восклицает: «Вашим добрым именем заклинаю вас, квириты, и всем, что для вас свято: заступитесь за убитого гражданина и невероятное преступление зловредной этой и нечестивой женщины сурово покарайте. Это она, и никто другой, несчастного юношу, сына моей сестры, извела отравой, чтобы угодить любовнику и грабительски захватить наследство».

Так старец этот, то к одному, то к другому обращаясь, разливался в громких жалобах. Толпа между тем начала грозно

волноваться, и правдоподобность случая заставляла верить в преступление. Одни кричат, что надо сжечь ее, другие хватаются за камни, мальчишек подговаривают прикончить женщину. А та, обливаясь притворными слезами и самыми страшными клятвами клянясь, призывая всех небожителей в свидетели, отпиралась от такого злодейства.

28. Наконец, старец молвит: «Предоставим божественному провидению решить, где правда. Тут находится Затхлас, один из первых египетских пророков, который уже давно за большую цену условился со мною на время вызвать душу из преисподней, а тело это вернуть к жизни.— И с этими словами выводит он на середину какого-то юношу в льняной одежде, в пальмовых сандалиях, с гладко выбритой головой. Долго целуя ему руки и даже колен касаясь, говорит он: — Сжалься, служитель богов, сжалься ради светил небесных, ради подземных божеств, ради стихий природных, ради ночного безмолвия, ради святилищ коптских, и половодий нильских, и тайн мемфисских, и систров фаросских. Дай на краткий миг воспользоваться сиянием солнца и в сомкнутые навеки очи влей частицу света. Не ропщем мы и не оспариваем у земли ей принадлежащего, но, для того чтобы утешиться возмездием, просим о кратком возвращении к жизни».

Пророк, которого тронули эти мольбы, положил какую-то травку на уста покойнику, другую — ему на грудь. Затем, повернувшись к востоку, начал он молча молиться священному Солнцу, поднимавшемуся над горизонтом, всем видом своим во время этой сцены, достойной глубокого уважения, как нельзя лучше подготовив внимание присутствующих к чуду.

29. Я вмешиваюсь в толпу и, став на высоком камне позади самого погребального ложа, любопытным взором за всем слежу. И вот уже начинает вздыматься грудь, вены спасительно биться, уже духом наполняется тело; и поднялся мертвец, и заговорил юноша: «Скажите мне, зачем, вкусившего уже от летейских чаш, уже по стигийским болотам плывшего к делам мимолетной жизни возвращаете? Перестань же, молю, перестань, и меня к покою моему отпусти!» Вот что сказал голос, исходивший из тела. Но пророк, уже с бóльшим жаром, говорит: «Что же ты не расскажешь народу все по порядку, отчего не объяснишь тайну твоей смерти? Разве ты не знаешь, что я могу заклинаньями моими призвать фурий и усталые члены твои предать мученью?» Тот слушает это с ложа и с глубоким вздохом так вещает народу: «Злыми чарами жены молодой изведенный и обреченный на гибельную чашу, брачное ложе неостывшим еще уступил я прелюбодею».

Тут замечательная эта жена, явно обнаглев, задалась кощунственной мыслью упрямо опровергать неоспоримые доводы мужа. Народ бушует, мнения разделяются; одни требовали, чтобы негоднейшая женщина сейчас же погребена была заживо с телом покойного мужа, другие говорили, что не следует верить лживым словам трупа.

30. Но эти пререкания были прерваны новою речью юноши, так как, испустив еще более глубокий вздох, он заговорил: «Дам, дам вам ясные доказательства своей безукоризненной правоты и открою то, о чем никто, кроме меня, не знает и не догадывается.— И тут, указывая на меня пальцем: — Да ведь, когда у тела моего бдительнейший этот караульщик твердо стоял на страже, старые колдуньи, охочие до бренной моей оболочки и принимавшие по этой причине разные образы, многократно пытались обмануть его ревностное усердие и, наконец, напустив сонного тумана, погрузили его в глубокое забытье; а потом они не переставая звали меня по имени, и вот уже мои застывшие связки и похолодевшие члены силятся медленными движениями ответить на приказания магического искусства. Тут этот человек, на самом-то деле живой, да только мертвецки сонный, ничего не подозревая, встает, откликаясь на свое имя, так как мы с ним называемся одинаково, и добровольно идет вперед наподобие безжизненной тени; хотя двери в комнату были тщательно закрыты, однако там нашлось отверстие, через которое ему сначала отрезали нос, потом оба уха, так что он оказался изувеченным вместо меня. И чтобы замести следы, обманщицы приставляют ему сделанные из воска уши — точное подобие отрезанных — и нос, похожий на его собственный. Вот он пред вами, этот несчастный, получивший плату не за труд свой, а за увечье».

Перепуганный такими словами, я начинаю ощупывать свое лицо: схватываюсь за нос — остается у меня в руке; провожу по ушам — отваливаются. Когда все присутствующие стали указывать на меня пальцами и кивать головою, когда поднялся смех, я, обливаясь холодным потом, ныряю между ног окружавших меня людей и бегу прочь. Но после того как я стал калекой и всеобщим посмешищем, я не мог уже вернуться к домашнему очагу; так, расчесав волосы, чтобы они спадали с обеих сторон, я скрыл шрамы от отрезанных ушей, а постыдный недостаток носа стараюсь из приличия спрятать под этим полотняным платочком, который плотно прижимаю к лицу.

31. Когда Телефрон окончил эту историю, собутыльники, разгоряченные вином, вновь разразились хохотом. Пока они

требовали, чтобы совершено было обычное возлияние богу Смеха, Биррена обращается ко мне со следующими словами:

— Завтра наступает день, считающийся с самого основания нашего города торжественным, потому что в этот день единственные во всем свете мы чтим веселыми и радостными обрядами святейшее божество — Смех. Своим присутствием ты сделаешь нам этот праздник еще приятнее. Как хорошо было бы, если бы и ты придумал в честь бога что-нибудь остроумное и забавное, чтобы мы поклонялись столь великому божеству еще более преданно и верно.

— Отлично,— говорю,— как приказываешь, так и будет. И, клянусь Геркулесом, хотелось бы мне найти что-нибудь такое, что по достоинству и в избытке удовлетворило бы великого бога.

После этого, так как мой слуга доложил мне, что наступает ночь, да и сам я уже вдоволь нагрузился вином, я быстро подымаюсь с места и, наскоро пожелав Биррене всего хорошего, нетвердой походкой пускаюсь в обратный путь.

32. Но едва лишь вышли мы на улицу, как внезапный ветер гасит факел, который освещал нам дорогу, и мы, с трудом пробираясь в полном мраке неожиданно наступившей ночи, исколов о камни все ноги, насилу добрались до дому. Когда мы, крепко держась друг за друга, подходили к дому, вдруг видим: трое каких-то здоровых и дюжих людей изо всех сил ломятся в нашу дверь, не только нимало не смутившись нашим появлением, но наперебой стараясь ударить посильнее и почаще, так что нам, а мне в особенности, не без основания показались они разбойниками, и притом самыми свирепыми. Сейчас же вытаскиваю меч, который я взял с собой и нес под одеждой на подобный случай. Без промедления бросаюсь прямо на разбойников и одного за другим, с кем ни схвачусь, поражаю, всаживая глубоко меч, покуда наконец покрытые множеством зияющих ран, у самых ног моих духа они не испускают. Окончив битву, между тем как и Фотида от шума проснулась, вбегаю я, едва переводя дыхание и обливаясь потом, в открытые двери и сейчас же, усталый, словно не с тремя разбойниками сражался, а Гериона убил, бросаюсь на кровать и в тот же миг засыпаю.

1. Едва Аврора, розовою рукою помавая, пустилась по небу на своих конях, украшенных алыми фалерами, как меня, у сладкого покоя похищенного, ночь передала дню. При воспоминании о вчерашнем преступлении на душу мне пало лихорадочное беспокойство; скрестив ноги и обвив колени переплетенными пальцами, сидел я, скорчившись, на кровати и горько плакал, рисуя в своем воображении и городскую площадь, и суд, и приговор, и самого палача. Разве может мне попасться такой мягкий, такой благорасположенный судья, который меня, запятнанного жестокостью тройного убийства, забрызганного кровью стольких граждан, признает невиновным? Так вот какое славное странствование халдей Диофан так упорно мне предсказывал!

Снова и снова приходили мне в голову эти мысли, и я оплакивал свою судьбу, а между тем раздались удары в двери, и перед входом поднялся крик.

2. Тотчас же от сильного натиска распахиваются настежь двери, и весь дом наполняется чиновниками, их прислужниками и разношерстной толпой; и сейчас же двое ликторов по приказанию чиновников наложили на меня руки и повели без всякого, разумеется, с моей стороны сопротивления. И едва мы вступили в ближайший переулок, как все жители, высыпав на улицу, необыкновенно тесной толпой двинулись за нами следом. И хотя шел я, печально опустив голову, а вернее сказать, желая даже сквозь землю провалиться, однако, бросая украдкой взоры по сторонам, замечаю нечто достойное величайшего удивления: ибо из стольких тысяч людей, что нас окружали, не было ни одного, который не покатывался бы со смеху. Тем временем, обойдя все улицы, проводят меня по всем закоулкам, как водят обычно животных, предназначенных для искупитель-

ных жертв, когда грозит какая-либо опасность, предсказанная божественными знамениями, и, наконец, ставят меня перед трибуналом на форуме. Уже на возвышенном месте восседали судьи, уже общественный глашатай призывал к молчанию, как вдруг все в один голос требуют, чтобы, приняв во внимание необычайную многочисленность сборища, которое грозит опасностью страшной давки, разбирательство столь важного дела было перенесено в театр. Народ хлынул беспорядочной толпой; не прошло и минуты, как все места, отведенные для зрителей, были заняты; даже проходы и вся крыша заполнены до отказа, многие ухватились за колонны, другие на статуях повисли, некоторые по пояс высунулись из окон и отверстий в потолке — нестерпимое желание увидеть все своими глазами заставляло пренебрегать опасностью для жизни. Тут меня стража, как жертву какую-нибудь, проводит через просцениум и ставит посреди орхестры.

3. Вот снова раздается зычный голос глашатая, вызывающего обвинителя. Поднимается один старик, и, после того как для исчисления продолжительности речи в какой-то сосудец с узеньким, как в решете, отверстием была налита вода, вытекавшая оттуда капля за каплей, он обращается к народу с такими словами:

— Почтеннейшие квириты, дело идет не о пустяках, но о событии, непосредственно касающемся спокойствия всего города и которое послужит на будущее серьезным примером. Тем более надлежит вам, ради общественного достоинства, каждому в отдельности и всем вместе позаботиться, чтобы учинение гнусным убийцей кровавой бойни, которую он устроил, погубив так много граждан, не прошло безнаказанным. И не думайте, что я, побуждаемый личной враждой, по своей ненависти проявляю строгость. Я — начальник ночной стражи, и полагаю, что до сегодняшнего дня никто не мог упрекнуть в чем бы то ни было мое неусыпное усердие. Я в точности вам доложу, в чем суть дела и что произошло в эту ночь. Итак, когда, уже около третьей стражи, я с чрезвычайною бдительностью обхожу весь город, осматривая каждый дом в отдельности, замечаю я этого жесточайшего юношу; обнажив меч, он сеет вокруг себя убийство, и уже три жертвы его ярости испускают дух у самых его ног, содрогаясь в лужах крови. Сам же он, не без причины встревоженный сознанием такого преступления, тотчас пустился бежать и, воспользовавшись темнотою, скрылся в каком-то доме, где и прятался целую ночь. Но благодаря божественному провидению, которое не оставляет ни одного злодейства ненака-

занным, прождав его до утра, прежде чем он успел улизнуть тайными путями, я приложил все усилия, чтобы привести его сюда и предоставить решение дела вашему почтеннейшему судилищу. Итак, перед вами стоит подсудимый, запятнанный столькими убийствами, подсудимый, захваченный на месте преступления, подсудимый — чужеземец. Вынесите же, не колеблясь, приговор этому чужестранцу, совершившему такое злодеяние, за которое вы и своего согражданина строго бы покарали.

4. После этих слов смолк ужасный голос моего сурового обвинителя. Сейчас же глашатай обратился ко мне с предложением начать говорить, если я хочу что-нибудь ответить на обвинительную речь. А я в ту минуту мог только плакать, думая, клянусь Геркулесом, не столько об этой грозной речи, сколько о злосчастной моей совести. Наконец, свыше послано было мне мужество, и я начал так:

— Небезызвестно и самому мне, как трудно человеку, которого обвиняют в убийстве, стоя перед трупами трех граждан, убедить такое множество народа в своей невиновности, хотя бы он и говорил правду или добровольно сознавался в содеянном. Но если ваша снисходительность уделит мне немного внимания, я легко докажу вам, что не по собственной вине рискую я сейчас головою, а негодование, вполне объяснимое и возникшее по поводу чисто случайному, навлекло на меня такую страшную ненависть за преступление, которого не совершал.

5. Итак, когда я несколько позже обычного возвращался с ужина и был пьян — да, это и есть мое настоящее преступление, которого я не стану отрицать,— у самых дверей дома, где я остановился у почтенного вашего согражданина Милона, вижу каких-то свирепых разбойников, которые пытаются войти, сбивая двери с петель, яростно вытаскивая тщательно прилаженные засовы и уже сговариваясь между собою, как прикончить жителей этого дома. Один из них, к тому же и на руку особенно проворный, и самый коренастый, других такими словами подзадоривает: «Эй, ребята, нападем на спящих, как подобает мужам, быстро и сильно. Прочь из груди всякая медлительность, всякая вялость! Мечи наголо, и пусть гуляет по всему дому убийство! Кто лежит объятый сном — да погибнет; кто противиться посмеет — да будет убит. Целыми уйдем, если в доме никто цел не останется».

Признаться, квириты, при виде таких отпетых разбойников, сознавая долг честного гражданина, да и немалый страх испытывая за своих хозяев и за себя самого, вооруженный коротким мечом, который был у меня с собой на случай подобного рода

«Золотой осел»
Б. Дехтерев

опасностей, я решил испугать их и обратить в бегство. Но эти лютые злодеи, сущие варвары, и не подумали удирать. Наоборот! Они стали дерзко сопротивляться, хотя и видели оружие у меня в руках.

6. Начинается настоящее сражение. Тут сам главарь и вожак шайки набросился на меня изо всех сил и, сразу схватив обеими руками за волосы и закинув мне голову назад, хочет размозжить ее камнем. Покуда он кричал, чтобы ему дали камень, я твердой рукою пронзаю его, и он падает навзничь. Вскоре и второго, который кусался, уцепившись мне за ноги, метким ударом между лопаток приканчиваю, да и третьему, что очертя голову ринулся на меня, грудь насквозь пронзаю. Таким образом, восстановив спокойствие, защитив дом своих хозяев и общественную безопасность, я не только считал себя ни в чем не виноватым, но даже полагал, что заслуживаю похвалы со стороны граждан, тем более что меня никогда не касалась даже тень обвинения в каком-либо преступлении, и у себя на родине я всегда считался человеком честным, ставя чистую совесть выше всякой выгоды. Не могу себе представить, почему справедливая расправа, учиненная мною над гнусными разбойниками, теперь навлекает на меня это обвинение, хотя никто не может доказать, что между нами до этого была личная вражда или что вообще я когда-нибудь был знаком с этими разбойниками: нет речи также о какой-либо поживе, страстью к которой могло бы объясняться подобное злодеяние.

7. Произнеся это, я снова залился слезами и, с мольбою простирая руки, в горести упрашиваю то тех, то других во имя общественного милосердия, во имя их самых дорогих привязанностей. Мне уже начало казаться, что во всех пробудилось сострадание, что все тронуты жалостным видом слез, я уже призвал в свидетели всевидящие очи Солнца и Справедливости и течение моего дела собирался представить божественному промыслу; как вдруг, чуть приподняв голову, я вижу, что вся толпа надрывается от хохота, и даже добрый хозяин, родной мой Милон, хохочет во всю глотку. Тут я про себя подумал: «Вот она, верность! Вот она, совесть! Я стал ради спасения хозяина убийцею, и мне угрожает смертная казнь, а он не только никакого утешения мне не доставляет своим присутствием, но вдобавок над бедою моею хохочет!»

8. В эту минуту через середину театра пробегает какая-то скорбная, заплаканная женщина, закутанная в черные одежды, с каким-то малюткой на груди, а за ней другая, старая, в ужасных лохмотьях, такая же печальная, в слезах, обе потрясают

оливковыми ветвями; встав по обе стороны ложа, где покоятся прикрытые тела убитых, они подымают плач, заунывно причитая.

— Общественным милосердием заклинаем,— вопят они,— и общим для всех правом на сострадание! Сжальтесь над позорно зарезанными юношами и нашему вдовству, нашему одиночеству дайте утешение в возмездии. Придите, по крайней мере, на помощь этому малютке, с младенческих лет уже обездоленному, и кровь этого разбойника пусть будет искупительной жертвой законам вашим и устоям общественной нравственности!

После этого старейший судья поднялся и обратился к народу так:

— Настоящего преступления, заслуживающего серьезного наказания, даже сам тот, кто его совершил, отрицать не может; но нам осталась еще одна, второстепенная забота — отыскать остальных участников такого страшного злодеяния. Ведь совершенно невероятно, чтобы человек один-одинешенек мог справиться с тройкой столь крепких молодых людей. Поэтому придется вырвать истину пыткой. Слуга, сопровождавший его, тайно скрылся, и обстоятельства так сложились, что только сам виновный, подвергшись допросу, может указать соучастников своего преступления, дабы с корнем был уничтожен страх перед этой свирепой шайкой.

9. Не прошло и минуты, как приносят, по греческому обычаю, огонь, колесо и всякого рода плети. Уныние мое растет или, скорее, даже удваивается: и умереть-то в неприкосновенности не будет мне дано. А старуха, та, что всем собравшимся слезами своими душу перевернула, говорит:

— Добрые граждане, прежде чем разбойника этого, несчастных деток моих погубителя, к кресту пригвоздите, разрешите открыть тела убитых, чтобы, видя красоту их и молодость, вы, еще больше проникшись справедливым негодованием, проявили бы беспощадность, которой заслуживает это злодеяние.

Слова эти встречены были рукоплесканиями, и судья тотчас приказывает мне самому собственноручно открыть тела, покоившиеся на ложе. Так как я долго сопротивляюсь и не соглашаюсь снова выставлять мертвецов напоказ, чтобы не обновлять этим в памяти вчерашнее событие, за меня сейчас же, по приказанию суда, с особой настойчивостью берутся ликторы и в конце концов, оторвав руку мою от бока, заставляют протянуть ее к самым трупам — ей же самой на погибель. Наконец, побежденный необходимостью, я покоряюсь и, против воли, разумеется, сняв покрывало, открываю тела. Благие боги, что за

вид? Что за чудо? Что за внезапная перемена в моей судьбе? Ведь я уже считал себя собственностью Прозерпины и домочадцем Орка — и вдруг дело принимает совсем другой оборот, и я застываю пораженный. Не могу подыскать подходящих слов, чтобы описать это неожиданное зрелище,— трупы убитых людей оказались тремя надутыми бурдюками, просеченными по всем направлениям, с отверстиями, зиявшими как раз на тех местах, куда, насколько я помню вчерашнюю мою битву, я наносил тем разбойникам раны.

10. Тут уж и те, кто прежде с хитрым умыслом хоть как-то сдерживался, дали полную волю хохоту. Одни, вне себя от радости, поздравляли друг друга, другие, схватившись руками за живот, старались унять боль в желудке. И, досыта навеселившись, все уходят из театра, оглядываясь на меня. А я как взял в руки то покрывало, так, закоченев, и продолжал стоять неподвижно, как камень, ничем не отличаясь от любой статуи или колонны в театре. И не раньше восстал я из мертвых, чем хозяин мой Милон подошел ко мне и взял меня за руку; невзирая на мое сопротивление, на слезы, вновь хлынувшие, на частые всхлипыванья, он повлек меня за собою, употребив дружеское насилие, и, выбрав улицы попустыннее, каким-то окольным путем довел меня до своего дома, стараясь всевозможными разговорами разогнать свою мрачность и успокоить меня, все еще дрожавшего. Однако возмущения от обиды, глубоко засевшей в моем сердце, ему никакими способами смягчить не удалось.

11. Сейчас же приходят в наш дом сами судьи со своими знаками отличия и пытаются умилостивить меня следующими рассуждениями:

— Были нам хорошо известны, господин наш Луций, твое высокое положение и древность твоего рода, ибо по всей провинции разносится слава о благородстве вашей знаменитой семьи. И то, что пришлось тебе перенести и что так сильно огорчает тебя теперь, сделано совсем не для того, чтобы оскорбить тебя. Итак, выбрось из головы это огорчение и гони печаль от своей души. Ведь игры эти, которые мы торжественно и публично справляем ежегодно в честь всемилостивейшего бога Смеха, всегда украшаются какой-нибудь новой выдумкой. Бог этот, благосклонный и к автору и к исполнителю представления в его честь, везде любовно будет тебе сопутствовать и не допустит, чтобы ты скорбел душою, но постоянно чело твое безмятежною прелестью радовать станет А весь город за услугу эту присудил тебе высокие почести: ты записан в число его патронов, и постановлено воздвигнуть бронзовое твое изображение.

На эту речь ответствую я:

— Моя благодарность тебе, о самый блистательный и несравненный среди городов Фессалии, равна этим великим почестям, но статуи и изображения советую сохранять для людей более достойных и значительных, чем я.

12. После этого скромного ответа я слегка улыбаюсь и, постаравшись принять как можно более веселый вид, вежливо прощаюсь с уходящими судьями. Но вот вбегает какой-то слуга и говорит:

— Зовет тебя родственница твоя Биррена и напоминает, что уже наступает время пира, на который ты вчера обещал прийти.

Испугавшись и с ужасом думая о самом ее доме, я отвечал:

— Охотно исполнил бы я желание тетушки, если бы не был связан словом. Хозяин мой Милон заклинал меня божеством — покровителем сегодняшнего дня и заставил дать обещание отобедать сегодня у него; он и сам никуда не идет, и мне уходить не разрешает. Так что давайте-ка отложим срок явки на пирушку.

Не успел я еще выговорить это, как Милон, взяв меня под свою крепкую опеку, повел в ближайшие бани, приказав принести туда все необходимое для мытья. Я шел, прижавшись к нему, чтобы не быть замеченным, избегая всех взглядов и опасаясь смеха встречных, причиной которого был я сам. От стыда не помню уж, как мылся, как натирался, как обратно домой вернулся — до такой степени я терялся и впадал в столбняк, когда все указывали на меня глазами, кивками и даже руками.

13. Наконец, наскоро проглотив скудную Милонову закуску и сославшись на сильную головную боль, которая была вызвана непрерывным плачем, удаляюсь, чтобы лечь спать, на что без труда получаю разрешение, и, бросившись на свою кровать, в горести подробно вспоминаю все, что случилось, пока наконец, уложивши спать свою госпожу, не является моя Фотида, сама на себя не похожая: ни веселого лица, ни бойкой речи, но хмурая, с глубокими морщинами на лбу. И вот, робко и с трудом произнося слова, начинает.

— Я,— говорит,— именно я сама, признаюсь, была причиной твоих неприятностей,— и тут же вытаскивает из-за пазухи какой-то ремень и, протягивая его мне, продолжает: — Возьми его, молю тебя, и отомсти неверной женщине, больше того — наложи на меня любую, еще более строгую кару. Но только не думай, прошу тебя, что я умышленно причинила тебе эту досаду. Боги да не допустят, чтобы из-за меня тебе хоть чуточку

пришлось пострадать! И если что-нибудь будет угрожать тебе, ценою моей крови пусть будешь ты избавлен от всякой опасности! Но, по горькой моей судьбе, то, что я делала, повинуясь чужому приказанию и с иными намерениями, обернулось тебе во вред.

14. Тогда я, побуждаемый прирожденным своим любопытством и желая обнаружить скрытую причину совершавшегося, начинаю:

— Ремень этот, предназначавшийся тобою для бичевания, из всех ремней нечестивейший и самый дерзкий, я скорей изрежу и разорву в клочки, чем прикоснусь им к твоей пуховой молочной коже. Но расскажи мне по совести: что за поступок твой превратность судьбы обратила затем мне на гибель? Клянусь тебе твоею драгоценнейшей для меня головою, не могу я поверить решительно никому и даже тебе самой,— если бы ты стала это утверждать,— будто ты задумала что бы то ни было мне во вред. К тому же ненадежная случайность, даже если она оказалась враждебной, не может невинному замыслу придать вины.

Окончив эту речь, глаза моей Фотиды, увлажненные и трепетные, томные от близкого вожделения и готовые уже вот-вот закрыться, я стал жадно осушать страстными, звучными поцелуями.

15. Тут она, от радости приободрившись, говорит:

— Позволь, прошу тебя, сначала тщательно замкнуть двери в комнату, чтобы не совершить мне большого преступления, если по суетной болтливости какое-нибудь слово вылетит.— Сказав это, она задвинула засовы, наложила крепкие крюки, затем, вернувшись ко мне и обеими руками обвив мою шею, начала тихим, едва слышным голосом: — Боюсь и очень страшусь я открыть секреты этого дома и выдать тайны моей хозяйки. Но я надеюсь на тебя и на твою образованность и верю, что ты, как человек не только достойный по благородному своему происхождению, не только обладающий возвышенным разумом, но и посвященный во многие таинства, в совершенстве умеешь хранить святой обет молчания. Итак, то, что я доверю глубине твоего богобоязненного сердца, навеки запертым, за крепкой оградой береги и за искренность моего признания награди меня крепостью твоего безмолвия, потому что любовь, которую я к тебе испытываю, побуждает меня рассказать тебе то, что одной мне на свете известно. Сейчас узнаешь все, что делается у нас в доме, сейчас узнаешь удивительные тайны моей хозяйки — из-за них-то ей повинуются маны, меняют свое течение светила,

покоряются волей-неволей боги, несут рабскую службу стихии. Но никогда она не прибегает к этому искусству с бо́льшим рвением, чем заглядевшись на хорошенького юношу, что с ней случается довольно часто.

16. Вот и теперь она без памяти влюблена в какого-то молодого беотийца, юношу замечательной красоты, и с жаром пускает в ход всю силу своего искусства, все ухищрения. Слышала я вечером своими собственными ушами, своими, говорю, ушами слышала, как она самому солнцу грозила ввергнуть его в облачный мрак и вечную темноту за то, что солнце, по ее мнению, недостаточно быстро спустилось с неба и не поспешило уступить место ночи для исполнения магических обрядов. Вчера, возвращаясь из бани, увидела она случайно, что этот юноша сидит в цирюльне, и велела мне потихонечку унести волосы его, которые после стрижки валялись на полу. Покуда я старалась украдкой подобрать их, поймал меня цирюльник, а так как о нас и без того ходит дурная слава, будто мы занимаемся злым чародейством, то, схватив меня, он безжалостно закричал: «Бросишь ты когда-нибудь, дрянь ты этакая, волосы порядочных молодых людей таскать! Если не перестанешь раз навсегда эти пакости делать, без разговоров отправлю тебя к властям!» За этим словом последовало и дело: запустив руку мне за пазуху и пошарив там, он с гневом вытаскивает волосы, уже спрятанные у меня между грудей. Глубоко огорченная этим и зная нрав своей госпожи, которая при подобного рода неудачах особенно сильно расстраивается и свирепейшим образом бьет меня, я подумывала о бегстве, но мысль о тебе сейчас же заставила меня оставить это намерение.

17. Но когда я возвращалась, печально раздумывая, как бы мне прийти домой не совсем с пустыми руками, замечаю, что какой-то человек стрижет маленькими ножницами шерсть на козьих мехах. Видя, что он крепко завязал их, надул и уже развешивает, я уношу с собой изрядное количество рыжеватой козьей шерсти, которая валялась на земле и цветом очень напоминала волосы того молодого беотийца; скрыв правду, передаю госпоже свою находку. Итак, с наступлением ночи, перед тем как тебе вернуться с ужина, моя Памфила, вне себя от нетерпения, поднимается на плоскую дворцовую крышу, которая по ту сторону здания ничем не защищена от ветров и открыта на восток и на все остальные стороны света. Это местечко, столь удобное для ее магических занятий, Памфила облюбовала и посещает тайком. Прежде всего она готовит в заведенном порядке все принадлежности зловещего своего дела: всякого рода арома-

ты, таблички с непонятными надписями и уцелевшие обломки погибших кораблей, разложенные в большом количестве части оплаканных и даже погребенных покойников; там ноздри и пальцы, там гвозди от крестов с приставшим мясом, в другом месте кровь, собранная после убийства, и пробитые черепа, вырванные из пасти диких зверей.

18. Тут произнеся заклинания над еще трепещущими внутренностями, она возливает различные жидкости: то воду ключевую, то молоко коровье, то горный мед, возливает и вино медовое. Затем волосы эти, сплетя их между собою и узлами завязав, она кладет вместе со множеством ароматов на горячие угли, чтобы сжечь. Тотчас же, по необоримой силе магического искусства и по таинственной власти покорных заклятиям божеств, тела тех, чьи волосы треща дымились, обретают на время человеческую душу, и чувствуют, и слышат, и двигаются, и, привлеченные запахом паленых своих останков, приходят сюда, и, вместо того беотийского юноши, желая войти, ломятся в двери; вдруг являешься ты, полный винных паров, сбитый с толку неожиданным ночным мраком, и, вооруженный наподобие беснующегося Аякса, храбро обнажаешь свой меч; да только Аякс, напав на живой скот, перерезал целое стадо, а ты куда храбрее — ведь под твоими ударами испустили дух три надутых козьих бурдюка, так что в объятиях у меня находится сразивший врагов без единой капли крови не человекоубийца, а бурдюкоубийца.

19. Милая речь Фотиды развеселила меня, и я отвечаю шутливо:

— Так, значит, и сам я могу первое это проявление доблести, покрывшее меня славой, считать за один из двенадцати подвигов Геркулеса, сравнивая с трехтелым Герионом или с трехглавым Цербером такое же точно число погубленных бурдюков! Но, для того чтобы я искренне и от всей души простил тебе весь твой проступок, навлекший на меня столько неприятностей, исполни заветнейшее мое желание и покажи мне, как твоя хозяйка занимается этой божественной наукой. Я хочу увидеть хоть что-нибудь: как она призывает богов, как, по крайней мере, приготовления делает — до всего, что касается магии, я страстный охотник. Впрочем, ты и сама мне кажешься в этих делах не новичком, а человеком опытным. Знаю это и отлично чувствую, ведь прежде я всегда презирал женские объятия, а ты меня этими сверкающими глазками, румяными щечками, блестящими кудрями, сочными поцелуйчиками и душистыми грудками забрала в неволю и держишь в рабстве, хотя и желан-

ном. Я уже и к домашнему очагу не стремлюсь, и к отъезду не делаю приготовлений, и такой вот ночи ни на что не променяю.

20. — Как бы я хотела, Луций,— отвечает она,— сделать для тебя то, чего ты желаешь, но, не говоря уже о подозрительном ее характере, такого рода тайными вещами занимается она обыкновенно в полном уединении, недоступная ничьим взорам. Но твоя просьба дороже мне собственной безопасности, и при первом же удобном случае я постараюсь исполнить ее; однако, как я сказала вначале, ты должен хранить нерушимое молчание об этом столь важном деле.

Пока мы так щебетали, у обоих в душе и теле проснулось желание. Сбросив все одежды, раздевшись догола, совсем нагие, мы предались неистовствам Венеры; при этом, когда я уже утомился, Фотида по собственной щедрости наградила меня отроческой надбавкой; глаза наши от бдения сделались томными, и напавшее забытье продержало нас до белого дня.

21. Немного провели мы сладостных ночей в таком же роде, как вдруг в один прекрасный день прибегает ко мне взволнованная, вся в трепете Фотида и докладывает, что госпожа ее, которой никакие чары до сих пор не оказали помощи в ее любовных делах, сегодня ночью будет обращаться в птицу и в таком виде полетит к своему желанному. Итак, мне самому надлежит как следует приготовиться к наблюдению за столь редким делом. И вот около первой стражи ночи она на цыпочках, неслышными шагами ведет меня к тому чердаку и велит смотреть через какую-то щелку в двери. А происходило все так. Первонаперво Памфила сбрасывает с себя все одежды и, открыв какую-то шкатулку, достает оттуда множество ящичков, снимает крышку с одного из них и, набрав из него мази, сначала долго растирает ее между ладонями, потом смазывает себе все тело от кончиков ногтей до макушки, долгое время шепчется со своей лампой и начинает сильно дрожать всеми членами. И пока они слегка содрогаются, их покрывает нежный пушок, вырастают и крепкие перья, нос загибается и твердеет, появляются кривые когти. Памфила обращается в сову. Испустив жалобный крик, вот она уже пробует свои силы, слегка подпрыгивая над землей, а вскоре, поднявшись вверх, распустив оба крыла, улетает.

22. Но она-то силою магического своего искусства, по собственному желанию переменила свой образ, а я, никаким заклятием не зачарованный и лишь окаменев от удивления перед только что происшедшим, казался самому себе кем угодно, но не Луцием; почти лишившись чувств, ошеломленный до потери

рассудка, грезя наяву, я долго протирал глаза, стараясь убедиться, что не сплю. Наконец, придя в себя и вернувшись к действительности, схватываю руку Фотиды и, поднося ее к своим глазам, говорю:

— Не откажи, умоляю тебя, пока случай нам благоприятствует, дать мне великое доказательство исключительного твоего расположения и удели мне капельку этой мази. Заклинаю тебя твоими грудками, медовенькая моя, неоплатным этим благодеянием навеки рабом своим меня сделай и так устрой, чтобы стал я при тебе, Венере моей, Купидоном крылатым!

— Скажите пожалуйста,— говорит,— какой хитрец у меня любовничек, хочет, чтобы я сама себе ноги топором рубила! И так-то я тебя, беззащитного, с трудом оберегаю от фессалийских девок, а тут станешь птицей, где я тебя найду? Поминай как звали!

23.— Да спасут меня небожители от такого преступления,— говорю,— чтобы я, будь я самим орлом и облетай высокими полетами все небо, как испытанный вестник или гордый оруженосец вышнего Юпитера, все-таки не прилетел сразу же обратно в свое гнездышко, удостоившись таких крылатых почестей. Клянусь этим сладким завиточком твоих локонов, которым душу мою ты опутала, что нет никого на свете, кого бы я предпочел моей Фотиде. Вот еще что мне сейчас пришло в голову: как только от этой мази я обращусь в подобную птицу, придется мне держаться подальше от всяких домов. Что за радость, в самом деле, матронам от такого красивого, такого веселого любовника, как сова? Разве не видим мы, как ночных этих птиц, если они залетят в чей-нибудь дом, усердно ловят и пригвождают к дверям, чтобы несчастие, которым грозит семье их зловещий полет, искупали они своими мучениями. Но вот о чем я совсем позабыл спросить: что надо произнести или сделать, чтобы, сбросив это оперение, я снова мог сделаться самим собою, Луцием?

— Насчет этого не беспокойся,— отвечает,— мне госпожа показала все средства, которые способны каждое из таких животных снова обратить в человеческий вид. Не думай, что она сделала это из какого-нибудь расположения ко мне, нет,— для того только, чтобы, когда она возвращается домой, я могла оказывать ей необходимую помощь. В конце концов смотри, какими простыми и ничтожными травками достигается такая важная вещь: кладут в ключевую воду немного укропа с лавровыми листьями и дают для омовения и для питья.

24. Повторив это наставление много раз, она, вся в трепете, бросилась в комнату и вынула из шкатулки ящичек. Схватив

его и облобызав, я сначала умолял его даровать мне счастливые полеты, а потом поспешно сбросил с себя все одежды и, жадно запустив руку, набрал порядочно мази и натер ею члены своего тела. И, уже помахивая то одной, то другой рукой, я старался подражать движениям птицы, но ни малейшего пушка, нигде ни перышка, только волосы мои утолщаются до шерсти, нежная кожа моя грубеет до шкуры, да на конечностях моих все пальцы, потеряв разделение, соединяются в одно копыто, да из конца спинного хребта вырастает большой хвост. Уж лицо огромно, рот растягивается, и ноздри расширяются, и губы висят, к тому же и уши непомерно увеличиваются и покрываются шерстью. И ничего утешительного в злосчастном превращении моем я не видел, если не считать того, что мужское естество мое увеличилось, хотя я и был лишен возможности обладать Фотидой.

25. И пока без всякой надежды на спасение я осматриваю все части моего тела и вижу себя не птицей, а ослом, хочется мне пожаловаться на поступок Фотиды, но, уже лишенный человеческих движений, как и голоса, делаю я единственное, что могу: свесив нижнюю губу и искоса посматривая глазами, все еще по-человечески увлажненными, молча взываю к ней. А та, как только увидела меня в таком образе, безжалостно ударила себя руками по щекам и воскликнула:

— Погибла я, несчастная! Волнение мое и торопливость меня обманули, ввело в заблуждение и сходство коробочек. Хорошо еще, что средство против такого превращения легко раздобыть. Ведь стоит только пожевать тебе розы — и сбросишь вид осла, и тотчас снова обратишься в моего Луция. Почему я с вечера, по своему обыкновению, не припасла для нас каких-нибудь веночков,— тебе бы и ночи одной не пришлось ждать! Но чуть начнет светать — тут же будет тебе лекарство.

26. Так она горевала, я же, хотя и сделался заправским ослом и из Луция обратился во вьючное животное, тем не менее сохранял человеческое соображение. Итак, я долго и основательно раздумывал, не следует ли мне забить твердыми копытами и закусать до смерти эту негоднейшую и преступнейшую женщину. Но от безрассудного этого замысла удержало меня более здравое рассуждение: ведь, покарав Фотиду смертью, я тем самым лишил бы себя всякой надежды на спасительную помощь. И вот встряхиваю я низко понуренной головою и, молча перенося свое временное унижение, покорствуя жестокой моей беде, отправляюсь к своему коню, верному моему слуге, в конюшню, где нахожу еще другого осла, принадлежащего Ми-

лону, бывшему моему хозяину. И я полагал, что если существуют между бессловесными животными какие-нибудь тайные и природные обязательства чести, то мой конь, узнав меня и пожалев, должен будет оказать мне гостеприимство и принять как знатного чужестранца. Но, о Юпитер странноприимный и ты, о сокровенное божество Верности! Славный носитель мой вместе с ослом сдвигают морды, сговариваясь погубить меня, и в страхе, конечно, за свой корм, едва только видят, что я приближаюсь к яслям, прижав уши от ярости, принимаются лягать меня. И отогнан я был прочь от ячменя, который вчера собственными руками насыпал этому благодарнейшему из слуг.

27. Так-то встреченный и отвергнутый, остался я в одиночестве и отошел в угол конюшни. Покуда я размышляю о наглости моих товарищей и придумываю, как на следующий день, превратившись с помощью роз снова в Луция, отомщу неверному своему коню, вдруг вижу на среднем столбе, который поддерживал балки конюшни, на самой почти середине, изображение богини Эпоны, поставленное в нише и заботливо украшенное совсем свежими гирляндами из роз. Увидав средство к спасению, окрыленный надеждой, оперся я, как только мог, вытянутыми передними ногами, твердо встал на задние и, задрав голову, выпятив сверх всякой меры губы, изо всех своих сил старался добраться до гирлянд. Но, на мое несчастье, слуга мой, которому поручен был постоянный уход за лошадью, неожиданно заметив мою затею, вскочил возмущенный.

— Долго еще,— говорит,— будем мы терпеть эту клячу? Только что корм у скота отнимал, а теперь уже за изображение богов принялся. Я тебя, святотатец, так отделаю, что захромаешь у меня, калекой станешь!

И сейчас же принялся искать, чем бы меня отколотить; под руку попалась ему связка поленьев, случайно лежавшая здесь; выбрав дубину покрупнее, покрытую листьями, он до тех пор не переставая лупил меня, несчастного, пока снаружи не поднялся страшный шум, в двери начали громко стучаться, по соседству раздался испуганный крик: «Разбойники!» — и он со страху убежал.

28. Не прошло и минуты, как шайка разбойников, выломав ворота, все собой наполняет, все помещение окружено вооруженными людьми, и прибегающие с разных сторон на помощь везде наталкиваются на врага. У всех в руках мечи и факелы, разгоняющие ночной мрак; оружие и пламя сверкают, как восходящее солнце. Тут какую-то кладовую, на крепкие запоры закрытую и замкнутую, устроенную в самой середине дома и

наполненную сокровищами Милона, ударами крепких топоров взламывают. Ворвавшись в нее с разных сторон, они второпях вытаскивают все добро и, завязав узлы, делят между собою поклажу, но количество ее превышает число носильщиков. Тут, доведенные до крайности крайним обилием богатства, они выводят из конюшни нас, двух ослов и моего коня, навьючивают на нас как можно больше узлов потяжелее и палками гонят нас из дома, уже обобранного дочиста; и, оставя одного из своих товарищей соглядатаем, чтобы он сообщил им о расследовании этого преступления, они, осыпая нас ударами, быстро гонят в горы по непроходимым дорогам.

29. Я был скорее мертв, чем жив, от тяжести такой поклажи, от крутизны высокой горы и продолжительности пути. Тут мне хоть и поздно, да зато всерьез пришло в голову обратиться к помощи гражданских властей и, воспользовавшись почитаемым именем императора, освободиться от стольких невзгод. Наконец, когда уже при ярком свете солнца мы шли через какое-то многолюдное село, где по случаю базарного дня было большое скопление народа, я в самой гуще толпы на родном языке греков попытался воззвать к имени божественного Цезаря, но возгласил громко и отчетливо только «о», а остальных букв из имени Цезаря не мог произнести. Разбойникам пришелся не по душе мой дикий крик, и они так отделали мою несчастную шкуру, что она больше не годилась даже на решето. Тем не менее сам Юпитер послал мне неожиданное спасение. Пока мы проезжали мимо, во множестве встречавшихся деревенских домишек и больших поместий заметил я какой-то славный садик, где меж других приятных растений цвели девственные розы, влажные от утренней росы. Жадно разинув рот и окрыленный радостной надеждой на избавление, я подошел поближе и уже тянусь к ним трясущимися губами, как вдруг меня остановила гораздо более здравая мысль: если я вдруг сейчас из осла превращусь в Луция, гибель моя от рук разбойников неизбежна, так как они или заподозрят во мне колдуна, или обвинят в намерении донести на них. Итак, в силу одной только необходимости, я покуда воздержался от роз и, смиряясь с настоящим положением вещей, пощипал, как подобало ослу, сухой травки.

1. Время приближалось к полудню, и солнце пекло уже неистово, когда мы завернули в одной деревне к каким-то старым людям, водившим с разбойниками знакомство и дружбу. Хотя и был я ослом, мне это сделалось ясным из того, как их встретили, из бесконечных разговоров и взаимных лобзаний. И в самом деле, снявши с моей спины кое-какую поклажу, они подарили им ее и таинственным перешептыванием, по-видимому, объяснили, что это их часть в разбойничьей добыче. Вскоре нас освободили от всех навьюченных мешков и отпустили пастись на соседний луг. Делить пастбище с ослом или моею лошадью не представлялось привлекательным мне, не привыкшему еще к тому же завтракать высохшей травой. Но, погибая от голода, я смело отправляюсь в замеченный мною тут же за хлевом огородик, там досыта, хотя и сырыми овощами, набиваю желудок и, призвав на помощь всех богов, начинаю внимательно осматриваться и оглядываться по сторонам, не увижу ли где-нибудь в соседнем саду прекрасного куста роз. Сама уединенность места внушила мне благую уверенность, что в одиночестве, скрытый кустарником, приняв лекарство, из согбенного положения четвероногого вьючного животного, никем не наблюдаемый, восстану я снова, выпрямившись, человеком.

2. Итак, пока я плавал в море этих соображений, вижу немного поодаль тенистую долинку с густою рощей, где среди разных растений и веселой зелени выделялся алый цвет сверкающих роз. Уже считал я в своем, не совсем еще озверевшем сердце, что Венере и Грациям посвящена эта чаща, под таинственной тенью которой сияет царственный блеск праздничного цветка. Тут, воззвав к радостной и благоприятной Удаче, пускаюсь я полным галопом, так что, клянусь Геркулесом, почувствовал себя не ослом, а беговым скакуном необыкновенной

резвости. Но проворная и славная эта попытка не смогла переспорить жестокую мою судьбу. Приблизившись уже к месту, не нахожу тех нежных и прелестных роз, от божественной росы и нектара влажных, счастливыми, благословенными колючими кустами порождаемых, да и вообще никакой долинки, а вижу только край речного берега, поросшего частыми деревьями. Деревья эти, густо покрытые листьями вроде лавров, украшены будто душистыми цветами, удлиненными чашечками умеренно алого цвета, совсем лишенными запаха, которые простые крестьяне по-своему называют лавровыми розами и вкушение которых смертельно для всякого животного.

3. Измученный такой неудачей, отказавшись от всякой надежды на спасение, я добровольно потянулся отведать этих ядовитых роз. Но покуда я не спеша готовлюсь сорвать их, какой-то юноша, как мне казалось, огородник, чьи овощи я все начисто уничтожил, узнав о такой потраве, прибежал в ярости с большой палкой и, набросившись на меня, начал дубасить так, что, наверное, заколотил бы до смерти, если бы я благоразумно не оказал сам себе помощи. Задрав круп вверх, я стал быстро лягать его задними ногами, и, когда тот, сильно избитый, повалился на косогор, я спасся бегством. Но тут какая-то женщина, по-видимому жена его, едва завидела сверху, что он повержен на землю и еле жив, сейчас же бросилась к нему с жалобными причитаниями, очевидно желая возбудить к себе сострадание для того, чтобы немедленно погубить меня. Действительно, все деревенские жители, встревоженные ее воплями, тут же сзывают собак и всячески науськивают их, чтобы те, разъярившись, бросились на меня и разорвали бы в клочья. Теперь уж я был уверен, что смерть недалека, когда увидел выпущенных на меня псов, таких огромных и в таком количестве, что с ними можно было бы на медведей и львов выходить; ввиду таких обстоятельств, я, отбросивши мысль о бегстве, скорой рысью возвращаюсь назад в конюшню, куда нас поставили. Тут они, с трудом удерживая собак, поймали меня и, привязав крепким ремнем к какому-то кольцу, без сомнения, снова избили бы до смерти, если бы желудок мой, сузившийся от болезненных ударов, переполненный теми грубыми овощами и страдающий быстрым истечением, не выпустил навоза целой струей и не отогнал их от моих уже пострадавших лопаток, одних — обрызгав отвратительной жидкостью, других — обдав омерзительным запахом гнили.

4. Немного погодя, когда солнце после полудня уже стало склоняться к закату, наши разбойники, снова навьючив на нас,

особенно на меня, еще более тяжелую поклажу, выводят нас из конюшни. Когда была уже пройдена добрая часть пути и, утомленный продолжительностью перехода, изнемогая под тяжестью груза, усталый от палочных ударов, сбив себе все копыта, хромая, шатаясь, дошел я до какой-то медленно змеившейся речки, как вдруг пришла мне в голову счастливая мысль воспользоваться удобным случаем, осторожно подогнуть колени и опуститься на землю с упорным намерением не вставать и не идти дальше, несмотря ни на какие удары; более того, я даже готов был умереть не только под палками, но и под ударами ножа. Полуживой и слабый, я, конечно, получу заслуженную отставку как инвалид, и разбойники, отчасти чтобы не задерживаться, отчасти чтобы ускорить свое бегство, переложат поклажу с моей спины на двух других вьючников, а меня, в виде высшего наказания, оставят в добычу волкам и коршунам.

5. Но столь прекрасному плану моему противостала злосчастная судьба. Другой осел, угадав и предвосхитив мою мысль, вдруг от притворной усталости со всеми пожитками рухнул наземь и остался лежать как мертвый, так что чем его ни толкали, палками, погонялками, как ни таскали во все стороны, за хвост, за уши, за ноги, поднять его никак не могли; тогда, утомившись и потеряв последнюю надежду, они поговорили между собою, что не стоит, возясь с мертвым, точно окаменелым, ослом, терять время, необходимое для бегства, распределяют мешки его между мною и лошадью, а его самого, надрезав ему все поджилки обнаженным мечом и стащив немного с дороги, с высочайшего обрыва в соседнюю долину, еще не потерявшего дыхания, низвергают. Поразмыслив над участью несчастного моего товарища, решил я, отбросив всякие хитрости и обманы, служить хозяевам, как добронравный осел. Тем более что из их разговоров между собою я понял, что скоро будет нам стоянка и всему пути спокойный конец, так как там находится их постоянное местопребывание. Миновав некрутой подъем, прибыли мы наконец к месту назначения; там сняли с нас всю поклажу и спрятали внутрь пещеры, я же, освобожденный от тяжести, вместо купанья принялся кататься по пыли, чтобы отдохнуть от усталости.

6. Подходящее время и обстоятельства побуждают меня описать местность и пещеры, где обитали разбойники. Одновременно подвергну испытанию свое уменье и вас заставлю ясно почувствовать, был ли я ослом по уму и чувствам. Перед нами находилась ужасная гора, одна из самых высоких, поросшая тенистыми лесными чащобами. Извилистые склоны ее, окруженные

острыми и поэтому неприступными скалами, обвиты со всех сторон в виде естественного укрепления глубокими ущельями с провалами, сплошь заросшие кустарником. Берущий свое начало на самой вершине источник низвергался вниз пенистым потоком и, стекая по склону, вздымал серебристые волны; уже разделенный на множество ручейков, он орошал ущелья эти заболоченными водами и снова соединял их в некое подобие ограниченного берегами моря или медленной реки. Над пещерой, там, где был пролет между горами, высилась огромная башня; по обе стороны ее тянулся прочный палисад из крепкого плетня, удобный для загона овец; стены против входа тесно примыкали одна к другой, образуя узкий проход. Вот, скажешь, бьюсь об заклад, настоящий разбойничий атриум. И кругом никакого жилья, кроме маленькой хижины, как попало покрытой тростником, где, как потом я узнал, дозорные из числа разбойников, выбираемые по жребию, караулили по ночам.

7. Скорчившись, разбойники пролезли в проход по одному, привязали нас у самых дверей крепким ремнем и с бранью набросились на какую-то скрюченную под бременем лет старуху, на которой одной лежали, по-видимому, заботы об уходе за такой оравой парней:

— Ну ты, мертвец непогребенный, которого земля и не носит и в себя не берет, так-то ты нас ублажаешь, сидя дома без дела? После столь великих и опасных трудов, в такой поздний час ты не можешь порадовать нас отдыхом? Только тебе и занятия что денно и нощно ненасытную свою утробу неразбавленным вином с жадностью наливать.

Дрожа от страха, пронзительным голосишком старуха отвечает:

— Да для вас, молодчики мои верные, кормильцы мои молоденькие, вдоволь наварено всякой вкусной снеди, все готово: хлеба вволю, вино до краев в перетертые чаши налито, и горячая вода, как всегда, для мытья на скорую руку приготовлена.

После таких слов они сейчас же раздеваются и, пропотев голые перед большим огнем, обмывшись горячей водой и натершись маслом, садятся за стол, в изобилии приготовленный для пиршества.

8. Только что они расположились, как вдруг приходит другая, еще более многочисленная, орава парней, в которых мигом можно было узнать таких же разбойников. И эти тоже приволокли добычу из золотых и серебряных монет, посуды и шелковых одежд, затканных золотом. И эти, освежившись купаньем, занимают места на ложах среди товарищей, а прислуживанье

за столом распределяется по жребию. Едят и пьют без всякого толка: кушанье целыми кусками, хлеб краюхами, вино ведрами. Не забава — крик, не пенье — оранье, не шутки — сквернословье, и вообще все похожи на фиванских лапифов полузверских и кентавров получеловеческих. Тут один из них, превосходивший остальных крепостью телосложения, сказал:

— Здорово мы разнесли дом Милона Гипатского. Не только множество добра доблестью нашей добыли, но и из строя у нас никто не выбыл, а лучше того — даже четырьмя парами ног больше нас стало, как мы домой пришли. А вы, что в беотийские города на промысел ходили, вернулись пощипанными, потеряв храбрейшего атамана нашего, самого Ламаха, за жизнь которого смело я отдал бы все тюки, что вы приволокли. Как-никак собственная отвага его погубила: среди знаменитых царей и полководцев будет прославлено имя такого мужа. А вам, добропорядочным воришкам, годным на жалкие рабские кражи, только бы трусливо по баням да старушечьим каморкам шарить, как тряпичникам.

9. Один из тех, что пришли позднее, возражает:

— Что ж, ты один только не знаешь, что чем богаче дом, тем легче его разграбить? Хоть и много там челяди в просторных покоях, но каждый больше о своем спасенье, чем о хозяйском добре, думает. Экономные же и одинокие люди маленькое, а иногда и вовсе не маленькое свое имущество запрятывают далеко, стерегут крепко и с опасностью для жизни защищают. Слова мои могут подтвердить примером. Как только пришли мы в Семивратные Фивы, сейчас же, как по нашему ремеслу полагается, стали усердно разузнавать, есть ли среди жителей богатые люди; не укрылся от нас некий меняла Хризорос, обладатель большого богатства, который во избежание налогов и повинностей общественных великими хитростями великое имущество свое скрывал. Запершись один-одинешенек в маленьком, но с крепкими запорами, домишке, оборванный, грязный, сидел он на своих мешках с золотом. Вот и решили мы на него первого сделать налет, так как, ни во что не ставя сопротивление одного человека, полагали, что без всяких хлопот, просто, завладеем всем его богатством.

10. Без промедления, как только стемнело, стали мы караулить у его дверей; снимать их с петель, сдвигать, взламывать было нам не с руки, так как двери были створчатые и стук перебудил бы всех соседей нам на беду. Итак, главарь наш, бесподобный Ламах, полагаясь на испытанную свою доблесть, осторожно просовывает руку в отверстие, куда вкладывают ключ, и

старается отодвинуть засов. Но Хризерос, негоднейший из двуногих, давно уже не спал и слышал все, что происходит; упорное храня молчание, неслышными шагами потихоньку подкрался он и руку вожака нашего, неожиданно нанеся удар, большим гвоздем накрепко приколотил к дверной доске, потом, оставив его как бы в гибельных объятиях креста, сам вылез на крышу своей лачуги, а оттуда не своим голосом начал кликать на помощь всех соседей, называя каждого по имени, и призывать к защите от общей опасности, распуская слух, что внезапный пожар охватил его дом. Тут каждый, испугавшись близкой беды, в тревоге бежит на подмогу.

11. Очутившись тут в двойной опасности — или всем погибнуть, или кинуть товарища, мы с его согласия прибегаем к решительному средству, вызванному обстоятельствами. Уверенным ударом посредине связок отрубив напрочь руку нашему главарю в том месте, где предплечье соединяется с плечом, и заткнув рану комком тряпок, чтобы капли крови не выдали наших следов, мы бросаем обрубок, где он был, а то, что осталось от Ламаха, проворно увлекаем за собою. Пока все кругом трепетало, а мы сильного шума и нависшей опасности страшились, муж этот возвышенный, исполненный духа и доблести, видя, что и следовать в бегстве за нами не может, и оставаться ему небезопасно, усердно нас убеждает, усердно молит, заклиная Марсовой десницей и верностью слову, освободить доброго товарища по оружию от мук и от плена. Да и как может жить порядочный разбойник, лишившись руки, что одна и режет и грабит? За счастье почел бы он пасть добровольно от товарищеской руки. Не будучи в состоянии никого из наших уговорами своими побудить к добровольному отцеубийству, обнажил он оставшейся рукою свой меч, долго его целовал и сильным ударом вонзил себе в самую середину груди. Тут мы, почтив мужество великодушного вождя нашего, закутали старательно останки его тела полотняным плащом и предали на сокрытие морю. Ныне покоится Ламах наш, погребенный всею стихиею.

12. Так он обрел кончину, достойную своей доблестной жизни.

И Алцим вот не мог ничего поделать, несмотря на изобретательность, с жестокой волей судьбы. Взломав дверь в какую-то лачужку, забрался он на верхний этаж, в спальню к спящей старухе, и, вместо того чтобы первым делом укокошить ее, свернув шею, начал из широкого окна наружу выбрасывать нам ее пожитки, одну вещь за другой, чтобы мы подбирали. Побросав лихо все пожитки, он не захотел дать спуску и постели, на

которой лежала старушонка; итак, вытряхнув ее из кровати и вытащив из-под нее простыни, тем же путем намеревался их отправить, как негодница эта, упав ему в ноги, взмолилась: «Что ты, сынок, молю тебя, зачем ты жалкое тряпье и хлам несчастной старухи отдаешь богачам соседям, на чей двор это окно выходит?» Обманутый хитрою и притворною речью, Алцим поверил сказанному и, боясь, как бы, уже предупрежденный об ошибке, он не отдал чужим ларам, вместо своих товарищей, выброшенное им прежде, а также и то, что он собирался выбросить, высунулся из окна и стал внимательно осматриваться, прежде всего стараясь распознать, насколько зажиточны соседи, о которых говорила старуха. Пока он так усердно высматривал, не подозревая никакой беды, старуха эта пакостная, хоть и увечная была, быстрым и неожиданным толчком его, не соблюдавшего равновесия, свесившегося из окна и погруженного в осмотр, спихнула вниз головою. Кроме того, что высота была значительная, падая, угодил он на лежавший подле большущий камень, так что вдребезги переломал себе ребра, и, выблевывая из груди потоки крови, рассказал нам, что произошло, а потом, недолго промучившись, расстался с жизнью. По примеру первого погребения мы послали и его верным спутником вслед за Ламахом.

13. Осиротев от двух этих ударов и не решаясь долее пытать счастия в Фивах, мы направились в соседний город Платею. Там мы услышали много толков о некоем Демохаре, собиравшемся устроить бой гладиаторов. Он был мужем, знатнейшим по происхождению, богатейшим по состоянию, непревзойденным по щедрости, и старался, чтобы народное развлечение достойно было по блеску своему его богатства. У кого найдется столько изобретательности, столько красноречия, чтобы в подобающих выражениях описать различные стороны сложных приготовлений? Вот знаменитые по силе гладиаторы, вот и испытанного проворства охотники, а там преступники, осужденные на смерть, уготованные для откармливания диких зверей; сколоченные машины на высоких сваях, башни, построенные из соединенных одна с другой досок наподобие подвижного дома, украшенные яркою живописью,— прекрасные вместилища для участников предстоящей охоты. К тому же какое множество, какое разнообразие зверей! Он специально позаботился издалека привезти эти ходячие породистые гробницы для осужденных преступников. Но из всех приготовлений к роскошному зрелищу больше всего поражало необыкновенное количество огромных медведей, которых он собирал, не жалея затрат, откуда только мог. Не считая тех, что захвачены были на его

собственных охотах, не считая тех, что он покупал за хорошую цену, еще и друзья наперерыв дарили ему медведей различных мастей, и всех он тщательно кормил при великолепном уходе.

14. Но столь славное, столь блестящее приготовление к общественному развлечению не укрылось от пагубного ока Зависти. Утомленные долгим заточением, к тому же измученные летним зноем, вялые от продолжительной неподвижности и неожиданно пораженные заразной болезнью, медведи пали без малого все до одного, так что почти ни один из них не уцелел. Чуть ли не на каждой площади можно было увидеть полуживые туши, следы этого звериного кораблекрушения. Тогда простой народ, темная нищета которого побуждает его, не привередничая в выборе пищи, искать даровых блюд и не брезгать никакою гадостью для подкрепления своего отощавшего желудка, сбегается к появляющемуся повсюду провианту. Ввиду таких обстоятельств у меня и славного нашего Эвбула явился вот какой тонкий план. Мы уносим к себе в убежище, как будто для приготовления пищи, одну из самых больших туш; очистив аккуратно шкуру от мяса, искусно сохранив все когти и самую голову зверя оставив совсем нетронутой до начала шеи, кожу всю выскребаем старательно, чтобы сделать тонкой, и, посыпав мелкой золою, вытаскиваем на солнце для сушки. Пока кожа дубится от пламени небесного светила, мы тем временем до отвалу насыщаемся мясом и так распределяем обязанности в предстоящем деле, чтобы один из нас, превосходящий других не столько телесною силой, сколько мужеством духа, к тому же совершенно по доброй воле, покрывшись этой шкурой, уподобился медведице и, будучи нами принесен в дом к Демохару, открыл нам, при благоприятном ночном безмолвии, свободный доступ через двери дома.

15. Немало нашлось смельчаков из храброй шайки, которых привлекло исполнение этой искусной затеи, но общим голосованием из них другим предпочтен был Фразилеон, ему достался жребий на рискованное это предприятие. Вот он скрылся с веселым лицом в удобную шкуру, которая сделалась мягкой и гибкой. Тут самые края зашиваем мы тонкою бечевкой и, чтобы не видно было шва, хотя и без того он был еле заметен, напускаем на него густой мех со всех сторон. Не без труда протискиваем мы голову Фразилеона до самого горла зверя, туда, где перерезана была шея, и, проделав отверстия для дыхания против ноздрей и против глаз, сажаем храбрейшего нашего товарища, сделавшегося сущим животным, в купленную нами заранее по дешевке клетку, куда он, не теряя присутствия духа, сам быстро

вскочил. Окончив таким образом предварительные приготовления, мы занялись дальнейшим выполнением проделки.

16. Отыскавши имя некоего Никанора, который, происходя родом из Фракии, был связан священными узами дружбы с вышеупомянутым Демохаром, мы состряпали от его имени письмо, будто бы верный друг этот посылает первинки своей охоты в подарок для украшения празднества. Дождавшись, чтобы достаточно стемнело, под прикрытием мрака мы доставили Демохару клетку с Фразилеоном и наше подложное письмо; удивленный величиной зверя и обрадованный щедростью своего товарища, пришедшейся очень кстати, прежде всего отдает он приказ отсчитать нам, как он думал, посредникам в столь радостном деле, десять золотых из своей казны. Так как всякая новинка возбуждает в людях желание посмотреть на неожиданное зрелище, то сбежалось большое количество народа поглазеть на зверя, но наш Фразилеон угрожающими движениями неоднократно довольно ловко сдерживал их любопытство; граждане в один голос прославляют счастье и удачу Демохара, который после подобного падежа животных с новым этим пополнением сможет в какой-то степени спорить с судьбою.

И вот он отдает приказ сейчас же отправить со всевозможным тщанием зверя на свои, лежавшие под паром, земли. Тут я вмешиваюсь.

17. «Остерегись,— говорю,— господин, усталое от солнечного зноя и дальнего пути животное отсылать в стаю ко многим зверям, к тому же, как я слышал, не вполне здоровым. Не лучше ли здесь, около дома, найти для него место достаточно обширное, где было бы много воздуху, а еще лучше по соседству с каким-нибудь прудом, прохладное. Разве ты не знаешь, что эта порода всегда живет близ густых рощ, пещер сырых, приятных источников?»

Испуганный такими доводами и без труда с ним согласившийся, вспомнив о многочисленных потерях, Демохар охотно позволил поставить клетку где нам заблагорассудится. «Мы и сами,— продолжаю,— готовы по ночам спать при этой клетке, чтобы усталому от зноя и тряски животному и пищу вовремя и питье, к которому он привык, как следует подавать. «Для этой службы в вас нет никакой надобности,— он отвечает,— почти вся прислуга у меня, благодаря длительной привычке, знакома с уходом за медведями».

18. После этого мы откланялись и ушли. Выйдя за городские ворота, видим мы какую-то усыпальницу, расположенную в стороне от дороги, в уединенном и скрытом от глаз месте. Там

вскрываем наудачу, как вместилище будущей нашей добычи, несколько полусгнивших и обветшавших саркофагов, где покоились истлевшие и уже в прах обратившиеся тела усопших; затем, по заведенному в нашей шайке обычаю, дождавшись того часа ночи, когда не светит луна, когда навстречу идущий сон первым своим натиском с силой нападает на сердце смертных и овладевает ими, выстраиваем наш вооруженный мечами отряд, явившийся на грабеж, как будто по повестке, перед самыми воротами Демохара. Со своей стороны, и Фразилеон, улучив воровской час ночи, выходит из клетки, сейчас же всех до единого мечом убивает сторожей, находящихся поблизости и объятых сном, наконец самого привратника и, вытащив ключ, распахивает ворота и указывает нам, быстро ворвавшимся и наполнившим весь дом, на кладовку, куда спрятано было, как он с вечера предусмотрительно заприметил, множество денег. Едва только общими усилиями немедленно ее взломали, я отдаю распоряжение, чтобы каждый из сотоварищей уносил, сколько может, золота и серебра, прятал его скорее в жилищах верных наших покойников и со всех ног возвращался за следующей поживой; я же для общего блага должен был один остаться у порога дома и за всем тщательно наблюдать, пока те не вернутся. Самый вид медведицы, снующей между зданиями, казалось, способен был навести страх, если бы кто из челяди оказался неспящим. Да и правда, всякий, будь он и храбр и смел, а все же, встретившись с такой звериной громадой, особенно ночью, тотчас пустился бы наутек и со страхом и дрожью заперся бы на засовы у себя в каморке.

19. Но всем этим правильным предположениям здравого рассуждения противостала жестокая неудача. Покуда я с нетерпением жду возвращения своих товарищей, какой-то захудалый раб, обеспокоенный шумом или по наитию проснувшийся, осторожно вылезает и видит, что зверь по всему помещению расхаживает свободно взад и вперед. Не проронив ни слова, раб этот возвращается вспять и всем в доме рассказывает, что он видел. Не прошло и минуты, как весь дом наполнился челядью, которой было немалое количество. От факелов, ламп, восковых и сальных свечей и прочих осветительных приспособлений мрак рассеивается. И не с голыми руками вышла эта толпа: у кого что — с кольями, с копьями, с обнаженными, наконец, мечами становятся они охранять входы. Не забыли пустить для облавы на зверя и свору охотничьих собак длинноухих, шерсть дыбом.

20. Шум все усиливается, и я помышляю уже обратно убежать, восвояси, но, спрятавшись за дверью, смотрю, как Фрази-

леон чудесно отбивается от собак. Достигший последних пределов жизни, не забыл он ни о себе, ни о нас, ни о прежней своей доблести, но защищался в самой пасти зияющей Цербера. Не покидая мужественно роли, добровольно на себя взятой, но, то убегая, то защищаясь различными поворотами и движениями своего тела, наконец выскользнул он из дому. Но и владея всем доступною свободою, не смог он в бегстве найти спасенья, так как все собаки из ближайшего переулка, достаточно свирепые и многочисленные, гурьбой присоединяются к охотничьей своре, которая тоже сейчас же вырвалась из дому и помчалась в погоню. Какое печальное и зловещее зрелище предстало глазам моим! Фразилеон наш окружен сворой свирепых собак, захвачен и раздираем многочисленными укусами. Не будучи в состоянии выносить такой скорби, я вмешиваюсь в шумную толпу народа и — единственное, чем могу я помочь, не выдавая себя, славному товарищу,— обращаюсь к начальникам облавы с такими увещеваниями: «Какое тяжелое и страшное преступление совершим мы, если погубим такого огромного и поистине драгоценного зверя».

21. Но несчастнейшему юноше мало принесли пользы мои хитрые речи: выбегает из дому какой-то здоровенный верзила и, не раздумывая, прямо под сердце поражает медведицу копьем, за ним другой, и наконец, многие, оправившись от страха и подойдя поближе, наперерыв наносят раны мечом. Итак, Фразилеон, честь и украшение шайки нашей, потерял свою жизнь, достойную бессмертия; не утратив своего терпения, не нарушив священной клятвы ни единым криком, ни единым воплем, раздираемый уже зубами, пораженный оружием, отвечал он на случившуюся беду, переносимую с благородной стойкостью, лишь глухим воем да звериным рычаньем и отдал душу року, оставив по себе славу. Однако он нагнал такой страх и такой ужас на все это сборище, что до рассвета, даже до бела дня не нашлось такого смельчака, который хотя бы пальцем дотронулся до уже поверженного зверя, пока наконец медленно и робко не подошел какой-то немного осмелевший мясник и, вспоров брюхо зверя, не обнаружил в медведице доблестного разбойника. Так потерян был для нас Фразилеон, но не потерян для славы.

Мы же немедленно, увязав добычу, что сохранили для нас верные покойники, спешным маршем покинули платейские пределы, и не раз приходила нам в голову такая мысль: не мудрено, что не находим мы в жизни этой никакой верности, когда она, гнушаясь коварством нашим, перекочевала к душам усопших и к покойникам. Вот, вконец измучившись от тяжести поклажи

и трудности пути, потеряв трех товарищей, приносим мы добычу, которую вы видите.

22. По окончании этой речи в память усопших соратников совершают возлияния из золотых чаш неразбавленным вином, потом, усладив себя несколькими песнями в честь Марса, немного успокаиваются. Что касается нас, то знакомая наша, вышеупомянутая старуха, засыпала нам свежего ячменю не скупясь, свыше меры, так что конь мой, получив всю эту массу в исключительное свое пользование, мог вообразить себя на пиру салиев. Я же, который до сих пор признавал ячмень только мелко размолотым и хорошо разваренным, стал шарить по углам, где была свалена целая куча хлебных корок, оставшихся от разбойничьих трапез, и пустил в ход свою глотку, уже запекшуюся от долгой голодовки и начавшую покрываться паутиной. Глубокою ночью разбойники просыпаются, снимаются с места и, по-разному перерядившись, кто вооружившись мечами, кто переодевшись в лемуров, спешным маршем удаляются. Я же продолжал настойчиво и жадно есть, так что даже одолевающий меня сон не мог меня оторвать от еды. Прежде, когда я был еще Луцием, удовлетворившись одним или двумя хлебцами, я вставал из-за стола, теперь же, при столь глубоком желудке, я жевал уже третью корзину. К моему удивлению, белый день застал меня за этим занятием.

23. Наконец-то, руководимый ослиной стыдливостью, но с трудом оторвавшись от своего дела, утоляю я жажду в соседнем ручье. Немного прошло времени, как возвращаются и разбойники, необычайно обеспокоенные и озабоченные, не неся никакого узла, никакой хотя бы ничтожной рухляди, а приволакивают общими усилиями всей шайки, со всеми ее мечами, всеми готовыми к делу руками, всего-навсего одну девушку благородного происхождения, судя по чертам лица, по наряду — высшего сословия, девицу, способную, клянусь Геркулесом, даже в таком осле, как я, возбудить желание, горюющую, рвущую на себе волосы и одежды. Как только привели они ее в пещеру, стараясь уговорить, чтоб не так убивалась, обращаются они к ней с такою речью:

— Жизнь и честь твоя в безопасности; потерпи немного, дай нам извлечь свою выгоду; нищета принуждает нас к такому занятию. А родители твои, как ни привязаны они к своим огромным богатствам, без промедления дадут нам подобающий выкуп за свое родное детище.

24. Но напрасно пытаются подобными россказнями утишить скорбь девушки. Куда там! Опустив голову на колени, плакала

она без удержу. Тут они кликнули старуху и, поручив ей сесть рядом с девушкой и ласковым разговором как-нибудь утешить ее, сами отправляются по делам своего ремесла. Но девушка, несмотря на все старухины увещевания, не только не переставала плакать, но все громче причитала; тело ее сотрясалось от непрерывных рыданий, так что меня даже прошибла слеза. А она так восклицает:

— О, я, несчастная, из такого дома, такого семейства, лишенная стольких слуг дорогих, столь драгоценных родителей, добыча грабежа злосчастного, пленницей сделавшись, в каменную эту тюрьму, как рабыня, заключенная, со всеми утехами, для которых рождена была, в которых воспитана, разлученная, в жизни не уверенная, в вертепе убийственном, среди толпы жестоких разбойников, среди оравы головорезов ужасных — как могу я прекратить свои слезы, да и жить-то как сумею дальше?

Окончив жалобы эти, истощенная душевной скорбью, напряжением горла и усталостью тела, она сомкнула томные глаза и заснула.

25. Но ненадолго смежила она глаза; от сна неожиданно пробужденная новым припадком безумной скорби, еще сильнее запричитала и даже руками буйными в грудь себя начала ударять и по прекрасному лицу наносить удары, а когда старушонка настойчиво стала расспрашивать, с чего она заново начала убиваться, та, глубоко вздохнув, отвечала:

— Ах, теперь уже наверно, теперь уже бесповоротно погибла я, от всякой надежды на спасение отказалась. Сомнений нет: остается искать мне петли, меча или, наконец, пропасти.

На это старуха рассердилась и, с грозным лицом, потребовала, чтобы та объяснила ей, чего это, пропади она пропадом, она плачет и чего ради, успокоившись было, снова вдруг принялась за неумеренные жалобы.

— По всему видно,— говорит,— ты решила парней моих выгоды от выкупа за тебя лишить. Будешь так дальше продолжать, так я не погляжу на эти твои слезы, которые у разбойников дешево стоят, живьем тебя сжечь сумею.

26. Устрашенная такою речью, девушка осыпает поцелуями ее руки и говорит:

— Пощади, родимая, вспомни о жалости человеческой и в жестокой беде моей помоги мне немножечко. Не совсем же, как я полагаю, в тебе, дожившей в долгий свой век до святых седин, жалость иссякла. Взгляни же наконец на картину моих

бедствий. Есть юноша редкой красоты, меж сверстниками первый, которого весь город единодушно выбрал в приемные сыновья, к тому же приходится он мне двоюродным братом, только на три годочка старше меня; с младенческих лет он воспитывался и рос вместе со мною, живя в одном доме, даже комната одна у нас была, одно ложе, связаны мы с ним взаимным чувством чистой любви, и давно уже назначен был он мне в нареченные обручальным обрядом, с соизволения родителей, даже записан он как мой муж. Уже приносил он предсвадебные жертвы, окруженный густою толпою знакомых и близких, по храмам и общественным местам; весь дом украшен лаврами, блестит от факелов, звенит свадебными песнями; тут мать несчастная, прижав меня к своей груди, украшает, как подобает, венчальным убором и, неоднократно осыпая сладкими поцелуями, уже лелеет в тревожных думах надежду на будущее потомство, как вдруг внезапно происходит набег головорезов, грозный, подобно войне, зловеще сверкают обнаженные лезвия; но стремятся они не к убийству, не к грабежу, а тесным, сомкнутым строем прямо нападают на нашу спальню. Никто из наших домашних не оказал сопротивления, даже защищаться не осмелился, и меня, несчастную, лишившуюся чувств от страха, трепещущую от грозного ужаса, похищают, оторвав от материнского лона. Так была расстроена и расторгнута свадьба, словно у Аттиса или Протезилая.

27. Но вот жестокий сон возобновил и даже усугубил мое несчастье: приснилось мне, будто, грубо отторгнутая из дому, из брачных покоев, из спальни даже, влекомая по непроходимым пустыням, по имени зову я несчастнейшего супруга, а он, так и не изведав моих объятий, но уже овдовев, еще влажный от умащений, с венком на голове бежит следом за мною, увлекаемою в бегство другими. Пока он яростным криком сетует на похищение прекрасной супруги и взывает к народу о помощи, какой-то из разбойников, возмущенный дерзким преследованием, схватив с земли огромный камень, бедняжку молоденького, супруга моего, насмерть им поражает. При виде такой жестокости я пришла в ужас и в страхе от зловещего сна пробудилась.

Тут, на слезы ее ответив вздохами, старуха начала так:

— Не тревожься, моя хозяюшка, и не пугайся пустых призраков сна. Не говоря о том, что образы дневного сна считаются ложными, но и ночные сновидения иногда предвещают обратное. В конце концов слезы, побои, иногда и смерть означают удачное и выгодное следствие, а наоборот, смеяться,

сладкими кушаньями желудок набивать или любовной страстью наслаждаться предвещает печаль душевную, телесную слабость и прочие неприятности в будущем. Давай лучше я тебя потешу хорошенько сказкой, баснями старушечьими,— и начала:

28.— Жили в некотором государстве царь с царицею. Было у них три дочки-красавицы, но старшие по годам хотя и были прекрасны на вид, все же можно было поверить, что найдутся у людей достаточные для них похвалы, младшая же девушка такой была красоты чудной, такой неописанной, что и слов-то в человеческом языке, достаточных для описания и прославления ее, не найти. Так что многие из местных граждан и множество иноземцев, которых жадными толпами собирала молва о необычайном зрелище, восхищенные и потрясенные недосягаемой красой, прикрывали рот свой правою рукою, положив указательный палец на вытянутый большой, словно они самой богине Венере священное творили поклонение. И уже по ближайшим городам и смежным областям пошла молва, что богиня, которую лазурная глубина моря породила и влага пенистая волн воздвигла, по своему соизволению являет повсюду милость, вращается в толпе людей, или же заново из нового семени светил небесных не море, но земля произвела на свет другую Венеру, одаренную цветом девственности.

29. Такое мнение со дня на день безмерно укреплялось, и растущая слава по ближайшим островам, по материкам, по множествам провинций распространялась. Толпы людей, не останавливаясь перед дальностью пути, перед морскою пучиною, стекались к знаменитому чуду. Никто не ехал в Пафос, никто не ехал в Книд, даже на самое Киферу для лицезрения богини Венеры никто не ехал; жертвоприношения стали реже, храмы заброшены, священные подушки раскиданы, обряды в пренебрежении, не украшаются гирляндами изображения богов и алтари вдовствуют, покрытые холодною золою. К девушке обращаются с мольбами и под смертными чертами чтят величие столь могущественной богини; когда поутру дева появляется, ей приносят дары и жертвы во имя отсутствующей Венеры, а когда она проходит по площадям, часто толпа ей дорогу усыпает цветами и венками.

Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры, и в нетерпеливом негодовании, потрясая главой, так в волнении она себе говорит:

30. «Как, древняя матерь природы! Как, родоначальница стихий! Как, всего мира родительница, Венера, я терплю такое

обращение, что смертная дева делит со мною царственные почести и имя мое, в небесах утвержденное, оскверняется земною нечистотою? Да неужели я соглашусь делить сомнительные почести со своей заместительницей, принимающей под моим именем искупительные жертвоприношения, и смертная девушка будет носить мой образ? Напрасно, что ли, пастырь пресловутый, суд и справедливость которого великий подтвердил Юпитер, предпочел меня за несравненную красоту столь прекрасным богиням? Но не на радость себе присвоила та самозванка, кто бы она ни была, мои почести! Устрою я так, что раскается она даже и в самой своей недозволенной красоте!»

Сейчас же призывает она к себе сына своего крылатого, крайне дерзкого мальчика, который, в злонравии своем общественным порядком пренебрегая, вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по чужим домам, расторгая везде супружества, и, безнаказанно совершая такие преступления, хорошего решительно ничего не делает. Его, от природной испорченности необузданного, возбуждает она еще и словами, ведет в тот город и Психею — таково было имя девушки — воочию ему показывает, рассказывает всю историю о соревновании в красоте; вздыхая, дрожа от негодования, говорит она ему:

31. «Заклинаю тебя узами любви материнской, нежными ранами стрел твоих, факела твоего сладкими ожогами, отомсти за свою родительницу. Полной мерой воздай и жестоко отомсти дерзкой красоте, сделай то единственное, чего мне больше всего хочется: пусть дева эта пламенно влюбится в последнего из смертных, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, и в самой безопасности, в такое убожество, что во всем мире не нашлось бы более жалкого».

Сказав так, она долго и крепко целует сына полуоткрытым ртом и идет к близлежащему краю омываемого морем берега; едва ступила она розовыми ступнями на влажную поверхность шумящих волн, как вот уже покоится на тихой глади глубокого моря, и едва только пожелала, как немедля, будто заранее приготовленная, показалась и свита морская: здесь и Нереевы дочери, хором поющие, и Портун со всклоченной синей бородой, и Салация, складки одежды которой полны рыбой, и маленький возница дельфинов Палемон; вот по морю здесь и там прыгают тритоны: один в звучную раковину нежно трубит, другой от враждебного солнечного зноя простирает шелковое покрывало, третий к глазам госпожи подносит зеркало, прочие на двухупряжных колесницах плавают. Такая толпа сопровождала Венеру, которая держала путь к Океану.

32. Между тем Психея, при всей своей очевидной красоте, никакой прибыли от прекрасной своей наружности не имела. Все любуются, все прославляют, но никто не является — ни царь, ни царевич, ни хотя бы кто-нибудь из простого народа, кто бы пожелал просить ее руки. Дивятся на нее, как на божественное явление, но все дивятся, как на искусно сделанную статую. Старшие две сестры, об умеренной красоте которых никакой молвы не распространялось в народе, давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили уже счастливые браки, а Психея, в девах вдовица, сидя дома, оплакивает пустынное свое одиночество, недомогая телом, с болью в душе, ненавидя свою красоту, хотя она всех людей привлекала. Тогда злополучный отец несчастнейшей девицы, подумав, что это знак небесного неблаговоления, и страшась гнева богов, вопрошает древнейшее прорицалище — милетского бога — и просит у великой святыни мольбами и жертвами для обездоленной девы мужа и брака. Аполлон же, хотя и грек и даже иониец, из уважения к составителю милетского рассказа дает прорицание на латинском языке:

33. Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву
И в погребальный наряд к свадьбе ее обряди;
Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель:
Будет он дик и жесток, словно ужасный дракон.
Он на крылах облетает эфир и всех утомляет,
Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит,
Даже Юпитер трепещет пред ним и боги боятся.
Стиксу внушает он страх, мрачной подземной реке.

Услышав ответ святейшего прорицателя, царь, счастливый когда-то, пускается в обратный путь недовольный, печальный и сообщает своей супруге предсказания зловещего жребия. Грустят, плачут, убиваются немало дней. Но ничего не поделаешь, приходится исполнять мрачное веление страшной судьбы. Идут уже приготовления к погребальной свадьбе злосчастнейшей девы, уже пламя факелов чернеет от копоти и гаснет от пепла, звук мрачной флейты переходит в жалобный лидийский лад, и веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями, а невеста отирает слезы подвенечной фатой. Весь город сострадает печальной участи удрученного семейства, и по всеобщему согласию тут же издается распоряжение об общественном трауре.

34. Но необходимость подчиниться небесным указаниям призывает бедненькую Психею к уготованной муке. Итак, когда все было приготовлено к торжеству погребального бракосочетания, трогается в путь в сопровождении всего народа, при

общей скорби, похоронная процессия без покойника, и заплаканную Психею ведут не как на свадьбу, а как на собственное погребение. И когда удрученные родители, взволнованные такой бедой, медлили совершать нечестивое преступление, сама их дочка такими словами подбодряет их:

«Зачем долгим плачем несчастную старость свою мучаете? Зачем дыхание ваше, которое скорее мне, чем вам, принадлежит, частыми воплями утруждаете? Зачем бесполезными слезами лица, чтимые мною, пятнаете? Зачем темните мой свет в очах ваших? Зачем рвете седины? Зачем грудь, зачем сосцы эти священные поражаете ударами? Вот вам за небывалую красоту мою награда достойная! Поздно опомнились вы, пораженные смертельными ударами нечестивой зависти. Когда народы и страны оказывали нам божеские почести, когда в один голос новой Венерой меня провозглашали, тогда скорбеть, тогда слезы лить, тогда меня, как бы уже погибшую, оплакивать следовало бы. Чую, вижу, одно только название Венеры меня погубило. Ведите меня и ставьте на скалу, к которой приговорил меня рок. Спешу вступить в счастливый этот брак, спешу увидеть благородного супруга моего. Зачем мне медлить, оттягивать приход того, кто рожден всему миру на пагубу?»

35. Сказав так, умолкла дева и твердой уже поступью присоединилась к шествию сопровождавшей ее толпы. Идут к указанному обрыву высокой горы, ставят на самой ее вершине девушку, удаляются, оставив брачные факелы, освещавшие ей дорогу и тут же угасшие от потока слез, и, опустив головы, расходятся все по домам. А несчастные родители ее, удрученные такою бедою, запершись в доме, погруженные во мрак, предали себя вечной ночи. Психею же, боящуюся, трепещущую, плачущую на самой вершине скалы, нежное веяние мягкого Зефира, всколыхнув ей полы и вздув одежду, слегка подымает, спокойным дуновением понемногу со склона высокой скалы уносит и в глубокой долине на лоно цветущего луга, медленно опуская, кладет.

1. Психея, тихо покоясь на нежном, цветущем лугу, на ложе из росистой травы, отдохнув от такой быстрой перемены в чувствах, сладко уснула. Вдосталь подкрепившись сном, она встала с легкой душой. Видит рощу, большими, высокими деревьями украшенную, видит хрустальные воды источника прозрачного. Как раз в самой середине рощи, рядом со струящимся источником, дворец стоит, не человеческими руками созданный, но божественным искусством. Едва вступишь туда, узнаешь, что перед тобою какого-нибудь бога светлое и милое пристанище. Штучный потолок, искусно сделанный из туи и слоновой кости, поддерживают золотые колонны; все стены выложены чеканным серебром с изображением зверей диких и других животных, словно устремившихся навстречу входящим. О, поистине то был удивительный человек, полубог, конечно, или, вернее, настоящий бог, который с искусством великого художника столько серебра в зверей превратил! Даже пол, составленный из мелких кусочков дорогих камней, образует всякого рода картины. Поистине блаженны, дважды и многократно блаженны те, что ступают по самоцветам и драгоценностям. И прочие части дома, в длину и ширину раскинутого, бесценны по ценности: все стены, отягченные массою золота, сияют таким блеском, что, откажись солнце светить, они сами залили бы дом дневным светом; каждая комната, каждая галерея, каждая даже створка дверная пламенеет. Прочее убранство не меньше соответствует величию дома, так что поистине можно подумать, будто великий Юпитер создал эти чертоги небесные для общения со смертными.

2. Привлеченная прелестью этих мест, Психея подходит ближе; расхрабрившись немного, переступает порог и вскоре с восхищенным вниманием озирает все подробности прекрасней-

шего зрелища, осматривая находящиеся по ту сторону дома склады, выстроенные с большим искусством, куда собраны великие сокровища. Нет ничего на земле, чего бы там не было. Но, кроме необычайности стольких богатств, было всего дивнее то, что сокровища целого мира никакой цепью, никаким засовом, никаким стражем не охранялись. Покуда она с величайшим наслаждением смотрела на все это, вдруг доносится до нее какой-то голос, лишенный тела. «Что, говорит, госпожа, дивишься такому богатству? Это все принадлежит тебе. Иди же в спальню, отдохни от усталости на постели; когда захочешь, прикажу купание приготовить. Мы, чьи голоса ты слышишь, твои рабыни, усердно будем прислуживать тебе, и как только приведешь себя в порядок, не замедлит явиться роскошный стол».

3. Психея ощутила блаженство от божественного покровительства и, вняв совету неведомого голоса, сначала сном, а затем купаньем смывает остаток усталости и, увидев тут же подле себя появившийся полукруглый стол, накрытый, как о том свидетельствовал обеденный прибор, для ее трапезы, охотно возлегает за него. И тотчас вина, подобные нектару, и множество блюд с разнообразными кушаньями подаются, будто гонимые каким-то ветром, а слуг никаких нет. Никого не удалось ей увидеть, лишь слышала, как слова раздавались, и только голоса имела к своим услугам. После обильной трапезы вошел кто-то невидимый и запел, а другой заиграл на кифаре, которой также она не видела. Тут до слуха ее доносятся звуки поющих многих голосов, и, хотя никто из людей не появлялся, ясно было, что это хор.

4. По окончании развлечений, уступая увещеваниям сумерек, отходит Психея ко сну. В глубокой ночи какой-то легкий шум долетает до ее ушей. Тут, опасаясь за девство свое в таком уединении, робеет она, и ужасается, и боится какой-либо беды, тем более что она ей неизвестна. Но вошел уже таинственный супруг и взошел на ложе, супругою себе Психею сделал и раньше восхода солнца поспешно удалился. Тотчас же голоса, дожидавшиеся в спальне, окружают заботами потерявшую невинность новобрачную. Так продолжалось долгое время. И по законам природы новизна от частой привычки приобретает для нее приятность, и звук неизвестного голоса служит ей утешением в одиночестве.

Меж тем родители ее старились в неослабевающем горе и унынии, а широко распространившаяся молва достигла старших сестер, которые всё узнали и быстро, покинув свои очаги, поспе-

шили, мрачные и печальные, одна за другой, повидаться и поговорить со своими родителями.

5. В ту же ночь со своей Психеей так заговорил супруг — ведь только для зрения он был недоступен, но не для осязания и слуха: «Психея, сладчайшая и дорогая супруга моя, жестокая судьба грозит тебе гибельной опасностью, к которой, полагаю я, следует отнестись с особым вниманием. Сестры твои, считающие тебя мертвой и с тревогой ищущие следов твоих, скоро придут на тот утес; если услышишь случайно их жалобы, не отвечай им и не пытайся даже взглянуть на них, иначе причинишь мне жестокую скорбь, а себе верную гибель».

Она кивнула в знак согласия и обещала следовать советам мужа, но, как только он исчез вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день провела в слезах и стенаниях, повторяя, что теперь она уж непременно погибнет, накрепко запертая в блаженную темницу, лишенная общения и беседы с людьми, так что даже сестрам своим, о ней скорбящим, никакой помощи оказать не может и даже хоть краткого свидания с ними не дождется. Не прибегая ни к бане, ни к пище, ни к какому другому подкреплению, горько плача, отходит она ко сну.

6. Не прошло и минуты, как на ложе возлег супруг, появившийся немного раньше обыкновенного, и, обняв ее, еще плачущую, так ее вопрошает: «Это ли обещала ты мне, моя Психея? Чего же мне, твоему супругу, ждать от тебя, на что надеяться? И день и ночь, даже в супружеских объятиях, продолжается твоя мука. Ну, делай как знаешь, уступи требованиям души, жаждущей гибели. Вспомни только, когда придет запоздалое раскаяние, о серьезных моих увещеваниях».

Тогда она просьбами, угрозами, что иначе она умрет, добилась от мужа согласия на ее желание повидаться с сестрами, умерить их печаль и поговорить с ними. Так уступил супруг просьбам молодой своей жены; больше того, разрешил даже дать им в подарок, что ей захочется, из золотых украшений или драгоценных камней, неоднократно предупреждая при этом и подкрепляя слова свои угрозами, что если она, вняв гибельным советам сестер, будет добиваться увидеть своего мужа, то святотатственным любопытством этим она низвергнет себя с вершины счастья и навсегда впредь лишится его объятий. Она поблагодарила мужа и с прояснившимся лицом говорит: «Да лучше мне сто раз умереть, чем лишиться сладчайшего твоего супружества! Ведь кто б ты ни был, я люблю тебя страстно, как душу свою, и с самим Купидоном не сравняю. Но, молю тебя, исполни еще мою просьбу: прикажи слуге твоему Зефиру так же доставить

сюда сестер моих, как он доставил меня.— И, запечатлев поцелуй для убеждения, ведя речь нежную, прильнув всем телом для соблазна, прибавляет к этим ласкам: — Медовенький мой, муженек мой, твоей Психеи нежная душенька!» Силе и власти любовного нашептывания против воли уступил муж и дал обещание, что все исполнит, а как только стал приближаться свет, исчез из рук супруги.

7. А сестры, расспросив, где находится утес и то место, на котором покинута была Психея, спешат туда и готовы выплакать себе глаза, бьют себя в грудь, так что на частые крики их скàлы и камни откликаются ответным звуком. Несчастную сестру свою по имени зовут, пока на пронзительный вопль их причитаний, доносившихся с горы, Психея вне себя, вся дрожа, не выбежала из дому и говорит: «Что вы напрасно себя жалобными воплями убиваете? Вот я здесь, о ком вы скорбите. Прекратите мрачные крики, отрите наконец щеки, мокрые от продолжительных слез, раз в вашей воле обнять ту, которую вы оплакиваете».

Тут, призвав Зефира, передает ему приказание мужа. Сейчас же, явившись на зов, он спокойнейшим дуновением доставляет их безопасным образом. Вот они уже обмениваются взаимными объятиями и торопливыми поцелуями, и слезы, прекратившиеся было, снова текут от радостного счастья. «Но войдите, говорит, с весельем под кров наш, к нашему очагу и утешьте с Психеей вашей скорбные души».

8. Промолвив так, начинает она и несметные богатства золотого дома показывать и обращает внимание их слуха на великое множество прислуживающих голосов; щедро подкрепляет их силы прекраснейшим купанием и роскошью стола, достойного бессмертных, так что в глубине их душ, досыта насладившихся пышным изобилием поистине небесных богатств, пробуждается зависть. Наконец одна из них с большой настойчивостью и любопытством принялась расспрашивать, кто же хозяин всех этих божественных вещей, кто такой и чем занимается ее муж? Но Психея, боясь нарушить супружеские наставления, не выдает сокровенной тайны, а наскоро придумывает, что он человек молодой, красивый, щеки которого только что покрылись первым пушком, главным образом занятый охотой по полям и горам; и чтобы при продолжении разговора случайно не нарушить принятого ею решения, нагрузив их золотыми вещами и ожерельями из драгоценных камней, тут же призывает Зефира и передает их ему для доставления обратно.

9. Когда приказание это было без замедления выполнено, добрые сестры по дороге домой, преисполняясь желчью растущей зависти, много и оживленно между собою толковали. Наконец одна из них так начала: «Вот слепая, жестокая и несправедливая судьба! Нравится тебе, чтобы, рожденным от одного и того же отца, одной матери, столь различный жребий выпал нам на долю! Нас, старших как-никак по возрасту, ты предаешь иноземным мужьям в служанки, отторгаешь от родного очага, от самой родины, так что вдали от родителей влачим мы жизнь изгнанниц; она же, самая младшая, последний плод уже утомленного чадородия, владеет такими богатствами и мужем божественным, а сама и пользоваться-то как следует таким изобилием благ не умеет. Ты видела, сестра, сколько в доме находится драгоценностей, какие сверкающие одежды, какие блестящие перлы, сколько, кроме того, под ногами повсюду разбросано золота. И если к тому же муж ее так красив, как она уверяет, то нет на свете более счастливой женщины. Может быть, как усилится привычка ее божественного мужа, укрепится привязанность, он и ее самое сделает богиней. Клянусь Геркулесом, к тому идет дело! Так она вела себя, так держалась. Да, метит она на небо; богиней держится эта женщина, раз и невидимых служанок имеет, и самими ветрами повелевает. А мне, несчастной, что досталось на долю? Прежде всего муж в отцы мне годится, плешивее тыквы, телосложением тщедушнее любого мальчишки и все в доме держит на замках и запорах».

10. Другая подхватывает: «А мне какого мужа терпеть приходится? Скрюченный, сгорбленный от подагры и по этой причине крайне редко в любви со мной находящийся; большую часть времени растираю его искривленные, затвердевшие, как камень, пальцы и обжигаю эти тонкие руки мои пахучими припарками, грязными тряпками, зловонными пластырями, словно я не законная супруга, а сиделка, для работы нанятая. Видно, что ты, сестра,— я скажу открыто, что чувствую,— переносишь это с полным или даже рабским терпением. Ну, а что касается до меня, так я не могу больше выдержать, что такая блаженная судьба досталась на долю недостойной. Вспомни только, как гордо, как вызывающе вела она себя с нами, самое хвастовство это, неумеренно проявленное, доказывает надменность ее духа; потом от таких несметных богатств скрепя сердце бросила нам крошку и тотчас, тяготясь нашим присутствием, приказала удалить нас, выдуть, высвистать. Не будь я женщиной, перестань я дышать, если не свергну ее с вершины такого богатства. Если и тебя, что вполне естественно, возмутило это оскорбление,

давай обе вместе серьезно посоветуемся и примем решение, что нам делать. Но подарки, которые мы принесли с собою, не будем показывать ни родителям, ни кому другому, также совсем не будем упоминать, что нам известно что-либо о ее спасении. Довольно того, что мы сами видели, чего бы лучше нам не видеть, а не то, чтобы нашим родителям и всему народу разглашать о таком ее благополучии. Не могут быть счастливы те, богатство которых никому не ведомо. Она узнает, что не служанки мы ей, а старшие сестры. Теперь же отправимся к супругам и к бедным, но вполне честным очагам нашим; не спеша и тщательно все обдумав, мы более окрепшими вернемся для наказания гордыни».

11. По душе пришелся злодейский план двум злодейкам; итак, спрятав все богатые подарки, выдирая себе волосы и царапая лицо, чего они и заслуживали, притворно возобновляют они плач. Затем, напугав родителей, рана которых снова открылась, полные безумия, быстро отправляются по своим домам, строя преступный, поистине отцеубийственный замысел против невинной своей сестры.

Меж тем неведомый Психее супруг снова убеждает ее в ночных своих беседах: «Видишь ли, какой опасности ты подвергаешься? Судьба издалека начала бой и, если очень крепких ты не примешь мер предосторожности, скоро лицом к лицу с тобой сразится. Коварные девки эти всеми силами готовят против тебя гибельные козни, и главная их цель — уговорить тебя узнать мои черты, которые, как я тебя уже не раз предупреждал, увидевши, не увидишь больше. Итак, если через некоторое время ламии эти негодные, полные злостных планов, придут сюда,— а они придут, знаю это,— то не говори им ни слова. Если же, по прирожденной простоте твоей и по нежности душевной, сделать этого ты не сможешь, то, по крайней мере, не слушай никаких речей про своего мужа и не отвечай на них. Ведь скоро семья наша увеличится, и детское еще чрево твое носит в себе новое дитя для нас,— божественное, если молчанием скроешь нашу тайну, если нарушишь секрет — смертное».

12. Психея при вести этой от радости расцвела и, утешенная божественным отпрыском, в ладоши захлопала, и славе будущего плода своего возвеселилась, и почтенному имени матери возрадовалась. В нетерпении считает она, как идут дни и протекают месяцы, дивится непривычному, неведомому грузу и постепенному росту плодоносного чрева от столь кратковременного укола. А те две заразы, две фурии гнуснейшие, дыша

змеиным ядом, торопились снова пуститься в плаванье с преступной поспешностью. И снова на краткое время появляющийся супруг убеждает свою Психею: «Вот пришел последний день, крайний случай; враждебный пол и кровный враг взялся за оружие, снялся с лагеря, ряды выстроил, сигнал протрубил; уже с обнаженным мечом преступные сестры твои подступают к твоему горлу. Увы, какие бедствия грозят нам, Психея нежнейшая! Пожалей себя, пожалей нас и святою воздержанностью спаси дом, мужа, самое себя и нашего младенца от несчастья нависшей гибели. О, если бы тебе негодных женщин этих, которых после смертоубийственной ненависти к тебе, после попранной кровной связи непозволительно называть сестрами, не пришлось ни слышать, ни видеть, когда они, наподобие сирен, с высокого утеса будут оглашать скалы своими губительными голосами!»

13. Заглушая речь жалобными всхлипываньями, Психея отвечала: «Насколько знаю я, ты имел уже время убедиться в моей верности и неразговорчивости, теперь не меньшее доказательство дам я тебе душевной крепости. Отдай только приказание нашему Зефиру исполнить его обязанность и, в замену отказанного мне лицезрения священного лика твоего, позволь мне хоть с сестрами увидеться. Заклинаю тебя этими благовонными, по обе стороны спадающими кудрями твоими, твоими нежными, округлыми, на мои похожими ланитами, грудью твоей, каким-то таинственным огнем наполненной,— да узнаю я хоть в нашем малютке черты твои! — в ответ на смиренные просьбы и мольбы нетерпеливые доставь мне радость обнять своих сестер и душу верной и преданной тебе Психеи утешь этим счастьем. Ни слова больше не спрошу я о твоем лице, самый мрак ночной мне уже не досаждает, так как при мне свет твой». Зачарованный речами этими и сладкими объятиями, супруг ее, отерев слезы ей своими волосами, обещал ей все исполнить и исчез, предупреждая свет наступающего дня.

14. А чета сестер, связанная заговором, не повидав даже родителей, прямо с кораблей проворно направляется к обрыву и, не дождавшись появления переносившего их ветра, с дерзким безрассудством бросается в глубину. Но Зефир, памятуя царские приказы, принял их, хоть и против воли, на свое лоно и легким дуновением опустил на землю. Они, не мешкая, сейчас же поспешным шагом проникают в дом, обнимают жертву свою, лицемерно прикрываясь именем сестер, и, под радостным выражением храня в себе тайник глубокого скрытого обмана, обращаются к ней со льстивой речью: «Вот, Психея, теперь уже ты

не прежняя девочка, сама скоро будешь матерью. Знаешь ли ты, сколько добра ты носишь для нас в этом мешочке? Какой радостью все наше семейство обрадуешь? Для нас-то счастье какое, что будем нянчить это золотое дитятко! Если, как и следует ожидать, ребенок по красоте выйдет в родителей, наверно Купидона ты на свет произведешь».

15. Так с помощью поддельной нежности они мало-помалу овладевают душою сестры. Как только они отдохнули с дороги на креслах и освежились горячими парами бани, она принялась угощать их в прекраснейшей столовой удивительными совершенными кушаньями и закусками. Велит кифаре играть — звенит, флейте исполнять — звучит, хору выступить — поет. Всеми этими сладчайшими мелодиями невидимые музыканты смягчали души слушателей. Но преступность негодных женщин не успокоилась и от мягкой нежности сладчайшего пения: направляя разговор к заранее обдуманной коварной западне, принимаются они с хитростью расспрашивать, кто ее муж, откуда родом, чем занимается. Она же, по крайней простоте своей забыв, что говорила прошлый раз, заново выдумывает и рассказывает, что муж ее из ближайшей провинции, ведет крупные торговые дела, человек уже средних лет, с редкой проседью. И, не задерживаясь на этом разговоре, снова нагружает их богатыми подарками и передает для отправления ветру.

16. Пока, поднятые спокойным дуновением Зефира, возвращаются они домой, так между собою переговариваются: «Что скажешь, сестрица, о такой чудовищной лжи этой дурочки? То юноша, щеки которого покрыты первым пушком, то человек средних лет, у которого уже пробивается седина. Кто же он такой, что в столь короткий промежуток времени внезапно успел состариться? Не иначе, сестрица, или негодница это все наврала, или мужа в глаза не видела; что бы ни было правдой, прежде всего надо низвергнуть ее с высоты благополучия. Если она не знает лица своего мужа,— значит, вышла за какого-нибудь бога и готовится произвести на свет бога. А уж если она (да не случится этого!) прослывет матерью божественного ребенка, я тут же на крепкой петле повешусь. Однако вернемся к родителям нашим и, как начало тех речей, с которыми к Психее обратимся, сплетем подходящую ложь».

17. Так, воспламененные, поговорив надменно с родителями, усталые от бессонно проведенной ночи, ранним утром летят они к утесу и, оттуда с помощью обычного ветра быстро снесенные вниз, выжимают из глаз своих слезы, и с такой хитростью начинают свою речь к сестре: «Счастливая, ты сидишь, не беспокоясь

о грозящей тебе опасности, блаженная в неведении такой беды, а мы всю ночь напролет, не смыкая глаз, думали о твоих делах и горько скорбим о твоих бедствиях. Мы наверняка узнали и не можем скрыть от тебя, разделяя скорбь и горе твое, что тайным образом спит с тобою по ночам огромный змей, извивающийся множеством петель, шея у которого переполнена вместо крови губительным ядом и пасть разинута, как бездна. Вспомни предсказания пифийского оракула, что провозвестил тебе брак с диким чудовищем. К тому же многие крестьяне, охотники, поблизости охотившиеся, множество окрестных жителей видели, как он под вечер возвращался с пастбища и переправлялся вброд через ближайшую реку.

18. Все уверяют, что недолго он будет откармливать тебя, льстиво угождая кушаньями, но пожрет, отягощенную лучшим из плодов. Теперь тебе представляется выбор: или захочешь послушаться сестер твоих, заботящихся о дорогом твоем спасении, и, избежав гибели, жить с нами в безопасности, или же быть тебе погребенной во внутренностях жесточайшего гада. Если тебе нравится уединение этой деревни, наполненной голосами, или тайные соединения зловонной и опасной любви и объятия змея ядовитого,— дело твое, мы, по крайней мере, свой долг честных сестер исполнили».

На бедняжку Психею, простую душой и нежненькую, ужас напал от таких зловещих слов: из головы вылетели все наставления супруга, забылись и собственные обещания, и, готова броситься в бездну несчастий, вся трепеща, покрывшись смертельной бледностью, заикаясь, прерывающимся шепотом начинает она говорить сестрам такие слова:

19. «Вы, дражайшие сестры, как и надо было ожидать, исполняете священный долг ваш, и те, по-видимому, не солгали, кто сообщил вам такие сведения. Ведь я никогда в глаза не видала лица своего мужа, совсем не знаю, каков он; лишь по ночам слышу я голос таинственного супруга, и мне приходится мириться с тем, что при появлении света он обращается в бегство, так что я вполне могу поверить вашим утверждениям, что он некое чудовище. Он сам часто и грозно запрещал мне искать его лицезрения и грозил большим бедствием, если я полюбопытствую увидеть его внешность. Если можете вы предпринять что-нибудь для спасения сестры вашей, находящейся в опасности, теперь же делайте, иначе дальнейшая беззаботность уничтожит благодеяние первоначальной предусмотрительности».

Тогда, подступив через открытые уже ворота к незащищенной душе сестры своей, преступные женщины отбросили всякое

прикрытие тайных ухищрений и, обнажив мечи обмана, нападают на пугливое воображение простодушной девочки.

20. Наконец одна из них говорит: «Так как кровные узы заставляют нас ради твоего спасения забывать о всякой опасности, мы укажем тебе средство, давным-давно уже обдуманное нами, которое может служить единственным путем к спасению. Возьми отточенную бритву и, проведя медленно для придания большей остроты по ладони, тайно спрячь ее в постели с той стороны, где ты всегда ложишься; затем хорошую лампу, до краев наполненную маслом, ярким пламенем горящую, прикрой каким-нибудь горшочком; все эти приготовления сделай в величайшем секрете. Затем, когда он извилистыми движениями подымется, как обычно, на ложе, растянется и погрузится в глубокий покой, объятый тяжестью первого сна, соскользни с кровати босая, ступая на цыпочках как можно осторожнее, освободи лампу от покрова слепого мрака, воспользуйся для совершения славного подвига твоего помощью света, высоко воздень правую руку с обоюдоострым оружием и сильным ударом голову зловредного змея от туловища отсеки. Не будет тебе недостатка и в нашей помощи: как только убийством его ты спасешь себя, мы поспешим сюда, с нетерпением будем ожидать и, быстро унеся вместе с тобой все это добро, просватаем тебя, принадлежащую к человеческому роду, надлежащим браком за человека».

21. А сами, зажегши столь пламенными речами огонь в сердце сестры, уже совсем пылающем, быстро ее покидают, сильно боясь оказаться даже поблизости от подобных несчастий, и, принесенные, как обычно, дуновением крылатого ветра на утес, поспешно обращаются в бегство и, тотчас сев на корабли, отъезжают.

Между тем Психея, оставшись одна (хотя злые фурии тревожили ее и не давали покоя), волнуется в скорби, подобно бурному морю; и хотя решение принято и душа непреклонна, все же, готовясь протянуть руку к преступлению, она еще колеблется в нерешительности, и противоречивые чувства отвлекают ее от злого дела. Спешит, откладывает; дерзает, трепещет; отчаивается, гневается и, наконец, в одном и том же теле ненавидит чудовище и любит мужа. Но вечер уже шел к ночи, и Психея в торопливой поспешности делает приготовления к безбожному преступлению. Вот и ночь пришла, супруг пришел и, предавшись сначала любовному сражению, погрузился в глубокий сон.

22. Тут Психея слабеет телом и душою, но, подчиняясь жестокой судьбе, собирается с силами и, вынув светильник, взяв

в руки бритву, решимостью преодолевает женскую робость. Но как только от поднесенного огня осветились тайны постели, видит она нежнейшее и сладчайшее из всех диких зверей чудовище,— видит самого пресловутого Купидона, бога прекрасного, прекрасно лежащего, при виде которого даже пламя лампы веселей заиграло и ярче заблестело бритвы святотатственной острие. А сама Психея, устрашенная таким зрелищем, не владеет собой, покрывается смертельной бледностью и, трепеща, опускается на колени, стараясь спрятать оружие, но — в груди своей; она бы и сделала это, если бы оружие, от страха перед таким злодейством выпущенное из дерзновенных рук, не упало. Изнемогая, потеряв всякую надежду, чем дольше всматривается она в красоту божественного лица, тем больше собирается с духом. Видит она золотую голову с пышными волосами, пропитанными амброзией, окружающие молочную шею и пурпурные щеки, изящно опустившиеся завитки локонов, одни с затылка, другие со лба свешивающиеся, от крайнего лучезарного блеска которых сам огонь в светильнике заколебался; за плечами летающего бога росистые перья сверкающим цветком белели, и, хотя крылья находились в покое, кончики нежных и тоненьких перышек трепетными толчками двигались в беспокойстве; остальное тело видит гладким и сияющим, так что Венера могла не раскаиваться, что произвела его на свет. В ногах кровати лежали лук и колчан со стрелами — благодетельное оружие великого бога.

23. Ненасытная, к тому же и любопытная Психея не сводит глаз с мужниного оружия, осматривает и ощупывает его, вынимает из колчана одну стрелу, кончиком пальца пробует острие, но, сделав более сильное движение дрожащим суставом, глубоко колет себя, так что на поверхности кожи выступают капельки алой крови. Так, сама того не зная, Психея воспылала любовью к богу любви. Разгораясь все большей и большей страстью к богу страсти, она, полная вожделения, наклонилась к нему и торопливо начала осыпать его жаркими и долгими поцелуями, боясь, как бы не прервался сон его. Но пока она, таким блаженством упоенная, рассудком своим не владеющая, волнуется, лампа ее, то ли по негоднейшему предательству, то ли по зловредной зависти, то ли и сама пожелав прикоснуться и как бы поцеловать столь блистательное тело, брызгает с конца фитиля горячим маслом на правое плечо богу. Эх ты, лампа, наглая и дерзкая, презренная прислужница любви, ты обожгла бога, который сам господин всяческого огня! А наверное, впервые изобрел тебя какой-нибудь любовник, чтобы как можно дольше ночью поль-

зоваться предметом своих желаний. Почувствовав ожог, бог вскочил и, увидев запятнанной и нарушенной клятву, быстро освободился от объятий и поцелуев несчастнейшей своей супруги и, не произнеся ни слова, поднялся в воздух.

24. А Психея, как только поднялся он, обеими руками ухватилась за правую его ногу — жалкий привесок в высоком взлете,— но наконец, устав долгое время быть висячей спутницей в заоблачных высях, упала на землю. Влюбленный бог не оставляет ее, лежащую на земле, и, взлетев на ближайший кипарис, с высокой верхушки его, глубоко взволнованный, так говорит ей: «Ведь я, простодушнейшая Психея, вопреки повелению матери моей Венеры, приказавшей внушить тебе страсть к самому жалкому, последнему из смертных и обречь тебя убогому браку, сам предпочел прилетать к тебе в качестве возлюбленного. Я знаю, что поступил легкомысленно, но, знаменитый стрелок, я сам себя ранил своим же оружием и сделал тебя своей супругой для того, значит, чтобы ты сочла меня чудовищем и захотела бритвой отрезать мне голову за то, что в ней находятся эти влюбленные в тебя глаза. Я всегда то и дело убеждал тебя остерегаться, всегда дружески уговаривал. Почтенные советницы твои немедленно ответят мне за свою столь гибельную выдумку, тебя же я накажу только моим исчезновением». И, окончив речь эту, на крыльях ввысь устремился.

25. А Психея, распростертая на земле, следя, покуда доступно было взору, за полетом мужа, душу себе надрывает горькими воплями. Когда же все увеличивающееся расстояние скрыло от глаз ее супруга, на крыльях стремительно уносившегося, ринулась она к ближайшей реке и бросилась с берега вниз. Но кроткая речка, несомненно в честь бога, способного воспламенить даже воду, и из боязни за себя, сейчас же волной своей вынесла ее невредимою на берег, покрытый цветущей зеленью. На береговом гребне случайно сидел деревенский бог Пан, обняв горную богиню Эхо, которую учил он петь на разные голоса; неподалеку от воды на широком пастбище резвились козочки, пощипывая прибрежную травку. Козлиный бог милостиво подзывает к себе измученную, расстроенную Психею и, так как несчастье ее небезызвестно было ему, ласковыми словами успокаивает: «Девушка милая, я деревенский житель, пасу стада, но, благодаря своей глубокой старости, научен долгим опытом. Так вот, если правильно я сужу,— а это именно умные люди и называют даром прови́денья,— то неровная, часто колеблющаяся походка, крайняя бледность всего тела, вздохи частые, а главное — заплаканные глаза твои говорят, что от любви чрезмерной ты

страдаешь. Послушайся же меня и не старайся вперед погубить себя, снова бросившись в воду или каким-либо другим способом насильственной смерти. Отложи грусть и брось печаль, а лучше обратись с мольбами к Купидону, величайшему из богов, и так как он юноша избалованный и капризный, то постарайся ласковой предупредительностью расположить его в свою пользу».

26. Ничего не ответив на слова пастушеского бога, только поклонившись спасительному божеству, Психея тронулась в путь. Когда она усталой походкой прошла довольно далеко, уже к вечеру какой-то неизвестной тропинкой достигла она некоего города, где был царем муж одной из ее сестер. Узнав об этом, Психея пожелала сообщить сестре о своем присутствии; как только ввели ее, после взаимных объятий и приветствий, на вопрос о причине ее прибытия, она начала таким образом: «Ты помнишь ваш совет, а именно, как вы меня уговаривали, чтобы я чудовище, которое под обманным названием мужа проводило со мною ночи, раньше чем оно пожрет меня бедную своей прожорливой глоткой, поразила обоюдоострой бритвой? Но как только, согласно уговору, при свете лампы взглянула я на его лицо, вижу дивное и совершенное, божественное зрелище — самого сына преславного богини Венеры, самого, повторяю, Купидона, сладким сном объятого. И пока, приведенная в восторг видом такой красоты, смущенная таким обилием наслаждений, я страдала от невозможности вкусить от них, в это время по злейшей случайности пылающая лампа брызнула маслом ему на плечо. Проснувшись тотчас же от этой боли, как только увидел меня с лампой и оружием в руках, говорит: «Ты за столь жестокое преступление уходи немедленно с моего ложа и забирай свои пожитки, я же с сестрой твоей,— тут он назвал твое имя,— торжественным браком сочетаюсь» — и сейчас же приказал Зефиру, чтобы он выдул меня из его дома».

27. Не успела еще Психея кончить своей речи, как та, воспламенившись порывом безумного вожделения и губительной зависти, обманув мужа тут же придуманной ложью, будто получила какое-то известие о смерти родителей, сейчас же взошла на корабль, прямо направилась к известному обрыву, и, хотя дул совсем не тот ветер, все же она, охваченная слепой надеждой, крикнула: «Принимай меня, Купидон, достойную тебя супругу, а ты, Зефир, поддержи свою госпожу!» — и со всего маху бросилась в бездну. Но до места назначения даже в виде трупа она не добралась. Ударяясь о камни скал, члены ее разбились и разлетелись в разные стороны, и она погибла, доставив своими растерзанными внутренностями, как заслуживала этого, легкую

добычу для птиц и диких зверей. Так она погибла. Не заставила себя ждать и следующая мстительная кара. Психея, снова пустившись в скитания, дошла до другого города, где, подобно первой, была царицей вторая ее сестра. И эта также поддалась на приманку родной сестры и, соперница Психеи, поспешила к утесу на преступный брак, но равным образом упала, найдя себе гибель и смерть.

28. Меж тем, пока Психея, занятая поисками Купидона, обходит страны, он сам, страдая от ожога, лежал и стонал в самой спальне у своей матери. Тут чайка, птица белоснежная, что по волнам морским на крыльях плавает, поспешно в недра океана глубокого ныряет. Там, сейчас же представ перед Венерой, что купалась и плескалась, докладывает ей, что сын ее обжегся, стонет от боли, причиняемой тяжелой раной, лежит,— неизвестно, поправится ли, а что у всех народов из уст в уста уже говор и ропот идет и Венеру со всей ее родней поминают недобрым: сынок, мол, на горах любовью занимаясь, а сама она, в океане купаясь, от дел своих отстали, а через то ни страсти нет никакой, ни очарования, ни прелести, а все стало неблаговидно, грубо и дико; ни браков супружеских, ни союзов дружеских, ни от детей почтения, но всеобщее позорище и от грязных соединений горечь и отвращение. Так эта болтливая и любопытная птица верещала в Венерины уши, пороча доброе имя ее сына. А Венера, придя в сильный гнев, вдруг восклицает: «Стало быть, у милого сынка моего подруга завелась какая-то! Ну ты, что одна только и служишь мне от души, скажи, как зовут ту, которая благородного и чистого мальчика соблазнила? Может быть, она из породы Нимф, или из числа Ор, или из хоровода Муз, или из Граций, моих прислужниц?» Не смолчала говорливая птица и отвечает: «Не знаю, госпожа; думается, что одной девушкой — если память мне не изменяет, Психеей она называется,— крайне он заинтересован». Тут Венера в негодовании громко воскликнула: «Так он на самом деле любит Психею, соперницу мою по красоте, похитительницу моего имени? Наверное, этот шалопай даже сводней считает меня, так как по моему указанию он узнал эту девушку».

29. Воззвав таким образом, поспешно выплывает она из глубины моря и сейчас же устремляется в золотую свою спальню; найдя там, как ей уже было доложено, больного сына, она прямо с порога завопила во весь голос: «Очень это прилично и достойно и происхождения нашего, и хорошего твоего поведения, что ты, поправши для начала наставления матери твоей, даже госпожи, вместо того чтобы в виде наказания внушить

постыдную страсть моей врагине, сам, мальчишка такого возраста, заключаешь ее в свои распутные и преждевременные объятия, думая, что я потерплю своей невесткой ту, которую ненавижу! Или ты считаешь, пустомеля, потаскун противный, что ты один можешь наш род продолжать, а я уже по годам и зачать не могу? Ну так знай же: другого сына рожу, гораздо лучше тебя, или для пущего твоего унижения усыновлю кого-нибудь из рабов и ему передам крылья эти, и факел, и лук, и самые стрелы, и все мое снаряжение, которое я дала тебе не для такого употребления; ведь из имущества твоего отца ничто не было истрачено на это вооружение.

30. Впрочем, с ранних лет ты плохо воспитан — на руку проворен, старших всегда толкал без всякого почтения, самое мать свою, меня, говорю, ты, убийца, каждый день раздеваешь и ранишь частенько, ни во что не ставя, словно вдову какую-нибудь, не боясь отчима своего, силача знаменитого и великого вояки. Мало того, ему часто, в ущерб моей связи с ним, взял ты в обычай то и дело девиц поставлять в наложницы. Но уж я заставлю тебя пожалеть об этих проказах, увидишь, как тяжело и горько будет твое супружество! Теперь, после такого издевательства, что мне делать? Куда деваться? Какими способами пройдоху этого образумить? Что же, к враждебной мне воздержанности обратиться, которую я так часто из-за распутства этого мальчишки оскорбляла? Но толковать с этой деревенской, неотесанной женщиной — в ужас меня приводит такая мысль! Однако, откуда бы утешительная месть ни приходила, пренебрегать ею не следует. Именно воздержанность окажется мне всего полезнее, чтобы как можно суровее пустомелю этого наказать, колчан забрать, стрел лишить, лук ослабить, факел угасить, да и само тело его обуздать хорошими средствами. Тогда только и сочту я обиду мою заглаженной, когда она кудри его, сверкающее золото которых вот этими руками я так часто перебирала, обреет, а крылья, что я нектарной влагой из груди своей орошала, обкорнает».

31. Сказавши так, гневно ринулась она вон, но не успокоилась еще желчь Венерина. Навстречу ей попадаются Церера с Юноной и, увидя надутое лицо ее, спрашивают, почему красоту сверкающих глаз ее омрачают сдвинутые брови. А она: «Кстати, отвечает, вы повстречались мне — вы исполните желание моего пылающего сердца. Молю вас, приложите все усилия и найдите мне сбежавшую летунью Психею. От вас, конечно, не укрылись знаменитые происшествия в моем доме, и это натворил тот, кого я не могу больше называть сыном».

На это богини, которым известно было все происшедшее, для успокоения пламенного гнева Венеры так начинают: «А что за преступление, госпожа, совершил твой сын, что ты с таким упорством противишься его счастью и хочешь погубить ту, которую он любит? Что за грех, спрашивается, если он охотно улыбается красивой девушке? Разве ты не знаешь, что он уже взрослый юноша, или ты забыла, сколько ему лет? Или потому, что он выглядит моложе своего возраста, тебе он до сих пор кажется мальчиком? Ты — мать и притом женщина рассудительная, а между тем все время старательно разузнаешь обо всех шалостях своего сына, ставишь ему в вину распущенность, препятствуешь в любовных делах и осуждаешь в прекрасном сыне своем свои же ухищрения и удовольствия. Кто же из богов или из смертных допустит, чтобы ты повсюду сеяла в людях вожделение, если ты из своего дома изгоняешь любовь к любви и накрепко запираешь всеобщий рассадник женских слабостей?» Так они, из страха перед стрелами Купидоновыми, старались любезным покровительством угодить ему, хотя бы и заочно. Но Венера пришла в негодование оттого, что они обращают в шутку причиненные ей обиды, и, опередив их, быстрыми шагами направила путь в другую сторону — к морю.

1. Меж тем Психея, переходя с места на место, днем и ночью с беспокойством ища своего мужа, все сильнее желала если не ласками супруги, то хоть рабскими мольбами смягчить его гнев. И вот, увидев какой-то храм на вершине крутой горы, подумала: «Как знать, может быть, здесь местопребывание моего владыки!» И тотчас направляет она туда свой быстрый шаг, которому надежда и желание вернули утраченное в постоянной усталости проворство. Вот уже, решительно поднявшись по высокому склону, приблизилась она к святилищу. Видит пред собою пшеничные колосья, ворохами наваленные и в венки сплетенные, и колосья ячменя. Были там и серпы, и всевозможные орудия жатвы, но все это лежало по разным местам в беспорядке и без призора, как случается, когда работники во время зноя все побросают. Психея все это по отдельности тщательно разобрала и, старательно разделив, разложила как полагается, думая, что не следует ей пренебрегать ни храмом, ни обрядами никого из богов, но у всех их искать милостивого сострадания.

2. За этой внимательной и усердной работой застает ее кормилица Церера и издали еще восклицает: «Ах, достойная жалости Психея! Венера в тревожных поисках по всему свету, неистовствуя, твоих следов ищет, готовит тебе страшную кару, всю божественную силу свою направляет на месть тебе, а ты заботишься тут о моих вещах и ничего больше для своего спасения не предпринимаешь?»

Тут Психея бросилась к ее ногам, орошая их горючими слезами, волосами землю и богинины следы подметает и всевозможными просьбами взывает к ее благосклонности: «Заклинаю тебя твоей десницей плодоносной, радостными жатвы обрядами, сокровенными тайнами корзин, крылатой колесницей драконов, твоих прислужников, бороздою почвы сицилийской, колесницею

хищною, землею цепкою, к беспросветному браку Прозерпины схождением, светлым обретенной дочери возвращением и прочим, что окружено молчанием в святилище Элевсина аттического,— окажи помощь душе несчастной Психеи, к твоей защите прибегающей. Позволь мне схорониться хоть на несколько деньков в этой груде колосьев, покуда страшный гнев столь великой богини с теченьем времени не смягчится или, по крайней мере, покуда мои силы, ослабленные долгими муками, от спокойной передышки не восстановятся».

3. Церера отвечает: «Слезными мольбами твоими я тронута и хочу помочь тебе, но совсем не намерена вызвать недовольство моей родственницы, с которой я связана узами старинной дружбы, и к тому же — женщины доброй. Так что уходи сейчас же из этого помещения и будь довольна, что я не задержала тебя и не взяла под стражу».

Психея, получив, вопреки своим ожиданиям, отказ и удрученная двойной скорбью, снова пускается в путь и видит среди сумеречной рощи в глубокой долине храм, построенный с замечательным искусством; не желая пропускать ни единого, хотя бы и неверного, средства улучшить свою судьбу, наоборот, готовая заслужить милость какого угодно божества, приближается она к святым вратам. Видит и драгоценные приношения, и полотнища с золотыми надписями, развешанные по веткам деревьев и дверным косякам; с изъявлением благодарности значилось в них и имя богини, которой дары посвящались. Тут, отерев прежде всего слезы, она склоняет колени и, охватив руками еще не остывший алтарь, возносит следующую молитву:

4. «Сестра и супруга Юпитера великого, находишься ли ты в древнем святилище Самоса, что славится как единственный свидетель твоего рожденья, младенческого крика и раннего детства; пребываешь ли ты в блаженном пристанище Карфагена высокого, где чтут тебя, как деву, на льве по небу движущуюся, или вблизи берегов Инаха, который прославляет уже тебя, как супругу Громовержца и царицу богинь, охраняешь ты славные стены аргосские, ты, которую весь Восток чтит как Зигию и везде на западе Луциной именуют,— будь мне в моей крайней нужде Юноной-покровительницей и изнемогшую в стольких переживаемых мною мучениях от страха грозящих опасностей освободи! Насколько знаю я, охотно приходишь ты на помощь беременным женщинам, находящимся в опасности».

Когда она взывала таким образом, вдруг предстала ей Юнона во всем величии, приличном столь царственной богине, и сейчас же говорит: «Поверь мне, я охотно склонилась бы к

твоим просьбам, но противодействовать воле Венеры, моей невестки, которую я всегда, как дочь, любила, мне совесть не позволяет. Да, кроме того, и законы, запрещающие покровительствовать чужим беглым рабам без согласия их хозяев, от этого меня удерживают».

5. Устрашенная новым крушением своих надежд, Психея, не будучи в состоянии достигнуть крылатого своего супруга, отложив всякую надежду на спасение, предалась такому ходу мыслей: «Кто же еще может попытаться помочь мне в моих бедствиях, кто может оказать мне поддержку, когда никто из богинь, даже при желании, не в силах принести мне пользы? Куда теперь направлю стопы свои, окруженная со всех сторон западнями, и под чьей кровлей, хотя бы во мраке притаившись, укроюсь я от неотвратимых взоров Венеры великой? Вооружись наконец по-мужски присутствием духа, смело откажись от пустой, ничтожной надежды, добровольно отдай себя в распоряжение своей владычице, и, может быть, этой, хотя и запоздалой, покорностью ты смягчишь ее жестокое преследование! Кто знает, может быть и того, кого ты так долго ищешь, ты там найдешь, в материнском доме?» Итак, готовая покориться, но не надеясь на успех этой попытки, вернее же — к несомненной гибели готовая, она обдумывала, с чего начать свою просительную речь.

6. А Венера, отказавшись от мысли найти ее земными средствами, устремляется на небо. Она приказывает, чтобы приготовили ей колесницу, которую искусный золотых дел мастер Вулкан с изощренным умением перед совершением брака соорудил ей как свадебный подарок. Тонким напильником выровняв, придал он ей красоту, и сама утрата части золота сделала ее еще более драгоценной. Из множества голубок, что ютятся возле покоев владычицы, отделяются две белоснежные пары, в веселом полете поворачивая переливчатые шейки, впрягаются в осыпанную драгоценными камнями упряжь и, приняв госпожу, радостно взлетают. Сопровождая шумным чириканьем богинину колесницу, резвятся воробышки и прочие звонкоголосые пташки, сладко оглашая воздух нежными трелями, возвещают прибытие богини. Облака расступаются, небо открывается перед своею дочерью, вышний эфир с весельем приемлет богиню, и певчая свита великой Венеры ни встречных орлов, ни хищных ястребов не боится.

7. Тут сейчас же она направляется к царским палатам Юпитера и надменным тоном заявляет, что ей необходимо воспользоваться помощью звучноголосого бога Меркурия. Не выразили отказа темные брови Юпитера. Тут, торжествуя, немедленно, в

сопровождении Меркурия, Венера опускается с неба и в волненье так говорит: «Братец мой Аркадиец, ты ведь знаешь, что никогда Венера, сестра твоя, ничего тайком от Меркурия не предпринимала; небезызвестно тебе также, сколько уже времени не могу я отыскать скрывающуюся от меня служанку. И мне ничего больше не остается, как через твое глашатайство объявить всенародно, что за указание, где она находится, будет выдана награда. Так вот, поспеши с моим порученьем, причем подробно перечисли приметы, по которым можно ее узнать, чтобы провинившийся в недозволенном укрывательстве не мог отговариваться незнанием». С этими словами передает она ему лист, где обозначено имя Психеи и прочее, после чего сейчас же удаляется к себе домой.

8. Не замедлил Меркурий послушаться. Обегая все народы, он так провозглашал повсюду, исполняя порученное ему дело: «Если кто-либо вернет из бегов или сможет указать место, где скрывается беглянка, царская дочь, служанка Венеры, по имени Психея, да заявит об этом глашатаю Меркурию за муртийскими метами и в виде награды за сообщение получит тот от самой Венеры семь поцелуев сладостных и еще один самый медвяный с ласковым языка прикосновением».

После такого объявления Меркурия желанность подобного вознаграждения побудила всех людей наперебой приняться за поиски. Все это окончательно заставило Психею отбросить всякую медлительность. Она уже приближалась к воротам своей владычицы, как вдруг подбегает Привычка, из числа Венериной челяди, и сейчас же кричит что есть мочи: «Наконец-то, служанка негоднейшая, уразумела ты, что есть над тобой госпожа! Неужели по свойственной тебе наглости характера твоего начнешь ты прикидываться, будто тебе неизвестно, каких трудов стоило отыскивать тебя? Но хорошо, что ты ко мне именно в руки попалась, словно в самые когти Орка угодила, так что немедленно понесешь наказание за свою строптивость».— (9.) и, смело вцепившись ей в волосы, потащила ее, меж тем как та не оказывала никакого сопротивления.

Как только Венера увидела, что Психею привели и поставили пред лицом ее, она разразилась громким хохотом, как человек, доведенный гневом до бешенства, затрясла головой, принялась чесать правое ухо и говорит: «Наконец-то ты удостоила свекровь посещением! Или, может быть, ты пришла проведать мужа, который мучается от нанесенной тобою раны? Но будь спокойна, я сумею обойтись с тобою, как заслуживает добрая невестка! — и кричит: — Где тут Забота и Уныние, мои слу-

жанки?» Им, явившимся на зов, она передала ее на истязание. А те, согласно приказу хозяйки, избив бедняжку Психею плетьми и предав другим мучениям, снова привели ее пред господские очи. Опять Венера покатилась со смеху и говорит: «Наверное, ты рассчитываешь, что во мне вызовет сострадание зрелище вздутого живота твоего, славное отродье которого собирается осчастливить меня званием бабушки? Действительно, большая для меня честь в самом цвете лет называться бабушкой и слышать, как сына рабыни низкой зовут Венериным внуком. Впрочем, я, глупая, напрасно произношу слово «сын»: брак был неравен, к тому же заключенный в загородном помещении, без свидетелей, без согласия отца, он не может считаться действительным, так что родится от него незаконное дитя, если я вообще позволю тебе доносить его».

10. Сказав так, налетает она на ту, по-всякому платье ей раздирает, за волосы таскает, голову ее трясет и колотит нещадно, затем берет рожь, ячмень, просо, мак, горох, чечевицу, бобы — все это перемешивает и, насыпав в одну большую кучу, говорит: «Думается мне, что такая безобразная рабыня ничем другим не могла любовникам угодить, как усердной службой; хочу и я попытать твое уменье. Разбери эту кучу смешанного зерна и, разложив все как следует, зерно к зерну отдельно, до наступления вечера представь мне свою работу на одобрение».

Указавши на множество столь разнообразных зерен, сама отправляется на брачный пир. Психея даже руки не протянула к этой беспорядочной и не поддающейся разбору куче, но, удрученная столь жестоким повелением, молчала и не шевелилась. Вдруг какой-то крошечный деревенский муравьишко, знающий, как трудна подобная работа, сжалившись над сожительницей великого бога и возмутившись ненавистью свекрови, принимается бегать туда-сюда, ревностно сзывает тут все сословие окрестных муравьев и упрашивает их: «Сжальтесь, проворные питомцы земли, всех питающей, сжальтесь над молоденькой красавицей, супругой Амура, придите со всей поспешностью ей, в беде находящейся, на помощь». Рванулись одна за другой волны шестиногих существ, со всем усердием по зернышку всю кучу разбирают и, отдельно по сортам распределив и разложив, быстро с глаз исчезают.

11. С наступлением ночи прибывает Венера с брачного пира, опьяненная вином, распространяя благоухания, по всему телу увитая гирляндами роз блистающих, и, видя, как тщательно исполнена чудесная работа, восклицает: «Не твоя, негодница, не твоих рук эта работа! Тот это сделал, кому, на его и на твое

несчастье, ты понравилась!» И, бросив ей кусок черствого хлеба, пошла спать. Меж тем Купидон, одинокий узник, запертый внутри дома в отдельную комнату, усердно охранялся, отчасти для того, чтобы пылкою резвостью рану себе не разбередил, отчасти чтобы с желанной своей не встретился. Так прошла мрачная ночь для разделенных и под одной крышей разлученных любовников.

Но как только Аврора взошла на колесницу, Венера позвала Психею и обратилась к ней с такими словами: «Видишь вон там рощу, что тянется вдоль берега текущей мимо речки? Кусты на краю ее расположены над соседним источником. Там, пасясь без надзора, бродят откормленные овцы, покрытые золотым руном. Я приказываю тебе немедленно принести мне клочок этой драгоценной шерсти, добыв его каким угодно образом».

12. Психея охотно отправляется, не для того чтобы оказать повиновение, но для того, чтобы, бросившись с берега в реку, обрести успокоение от бед своих. Но вдруг из реки, сладчайшей музыки кормилица, легким шелестом ветерка нежного свыше вдохновленная, так вещает тростинка зеленая: «Психея, столько бед испытавшая, не пятнай священных вод этих несчастною своею смертью и смотри не приближайся в этот час к ужасным овцам: когда палит их солнечный зной, на них обычно нападает дикое бешенство, и они причиняют гибель смертным то острыми рогами, то лбами каменными, а подчас ядовитыми укусами. Когда же после полудня спадет солнечный жар и приятная речная прохлада стадо успокоит, тогда ты можешь спрятаться под тем широчайшим платаном, что черпает себе влагу из той же реки, что и я. И как только утихнет бешенство овец и они вернутся в свое обычное состояние, ты найдешь золотую шерсть, застрявшую повсюду среди переплетенных ветвей,— стоит лишь потрясти листву соседних деревьев».

13. Так наставляла простодушная и милосердная тростинка страдалицу Психею, как избавиться ей от гибели. Она прилежно внимала ее советам, и раскаиваться ей не пришлось: все в точности исполнив, она тайком набирает полную пазуху мягкой золотисто-желтой шерсти и приносит Венере. Однако не вызвало одобрения у госпожи вторичное исполнение вторичного сопряженного с опасностью приказа. Нахмурив брови и злобно улыбнувшись, говорит она: «Небезызвестен мне и этого подвига распутный свершитель! Но вот я испытаю как следует, вполне ли ты обладаешь присутствием духа и особенным благоразумием. Видишь там высящуюся под высочайшей скалой вершину крутой горы, где из сумрачного источника истекают темные воды?

Приблизившись к вместительной, замкнутой со всех сторон котловине, они орошают стигийские болота и рокочущие волны Коцита питают. Оттуда, из самого истока глубокого родника, зачерпнув ледяной воды, немедленно принесешь ты ее мне в этой скляночке». Сказав так, она с еще более страшными угрозами передает ей бутылочку из граненого хрусталя.

14. А та с усердием, ускорив шаг, устремляется к самой вершине горы, думая, не найдет ли хоть там конца горестной своей жизни. Но, добравшись до мест, прилежащих к указанному хребту, видит она смертельную трудность необъятного этого подвига. Невероятная по своей громадности и безнадежная по недоступной крутизне высоченная скала извергала из каменистых теснин приводящие в ужас родники; выброшенные из жерла наклонного отверстия, они сейчас же сбегали по круче и, скрывшись в выбитом русле узкого канала, неприметно для глаза стекали в соседнюю долину; направо и налево из углублений в утесах выглядывали, вытянув длинные шеи, свирепые драконы, глаза которых обречены были на неусыпное бдение и зрачки вечно глядели на свет. К тому же воды, обладающие даром речи и сами себя охраняя, поминутно восклицали: «Назад! Что делаешь? Смотри! Что задумала? Берегись! Беги! Погибнешь!» Окаменела Психея, видя невыполнимость своей задачи, телом была там, но чувствами отсутствовала, и, совершенно подавленная тяжестью безвыходной опасности, была она лишена даже последнего утешения — слез.

15. Но не скрылись от справедливых взоров благостного провидения страдания души невинной. Царственная птица Юпитера всевышнего, хищный орел предстал внезапно, распростерши в обе стороны крылья, и, вспомнив старинную свою службу, когда, по наущению Купидона, похитил он для Юпитера фригийского виночерпия, подумал, что, оказав своевременную помощь супруге Купидона в ее трудах, почтит он самого бога, и, покинув высоты стезей Юпитеровых, стал летать над головой девушки и так к ней повел речь: «И ты надеешься, простушка, неопытная к тому же в таких делах, хоть одну каплю достать украдкой или хотя бы приблизиться к этому столь же священному, сколь грозному источнику? Разве ты хоть понаслышке не знаешь, что эти стигийские воды страшны богам и даже самому Юпитеру, ибо как вы клянетесь обычно вышнею волей богов, так небожители — величием Стикса? Но дай мне твою склянку». Быстро взяв ее в свои когти и приведя в равновесие громаду колеблющихся крыльев, он спешит, уклоняясь то вправо, то влево, средь ряда драконовых пастей с оскаленными зубами и трежалыми

извивающимися языками к противящимся водам, грозно кричащим ему, чтобы удалился он, пока цел. Тогда он отвечает, что стремится к ним по приказанию Венеры, исполняя ее порученье, и выдумка эта немного облегчает ему возможность доступа.

16. Так, с радостью получив наполненную скляночку, Психея как можно скорее отнесла ее Венере. Но даже и теперь не могла она снискать одобрения у разгневанной богини. Та со зловещей улыбкой, грозящей еще бо́льшими и злейшими бедами, обращается к ней: «Как вижу, ты — великая и прямо-таки опытная колдунья, что так совершенно исполняешь столь трудные задачи. Но вот что, куколка моя, должна ты будешь для меня сделать. Возьми эту баночку,— и вручает ей,— и скорее отправляйся в преисподнюю, в загробное царство самого Орка. Там отдашь баночку Прозерпине и скажешь: «Венера просит тебя прислать ей немножечко твоей красоты, хотя бы на один денек, так как собственную она всю извела и истратила, покуда ухаживала за больным сыном». Но возвращайся не мешкая, так как мне нужно тут же умаститься, чтобы пойти на собрание богов».

17. Тут, больше чем когда-либо, почувствовала Психея, что настал ее последний час, так как ясно поняла, что без всякого прикрытия посылают ее на верную гибель. Чего же больше? Приказывают ей отправляться в Тартар, к душам усопших, добровольно, на собственных ногах. Не медля более, устремилась она к какой-то высочайшей башне, собираясь броситься оттуда вниз, так как считала, что таким путем лучше и успешнее всего можно сойти в преисподнюю. Но башня неожиданно издает голос и говорит: «Зачем, бедняжка, искать тебе гибели в пропасти? Почему новые опасности и труды так легко удручают тебя? Ведь раз дух твой отделится однажды от тела, конечно, сойдешь ты в глубокий Тартар, но назад оттуда ни при каких условиях не вернешься. Вот послушай-ка меня.

18. Неподалеку отсюда находится Лакедемон, знаменитый город Ахайи; по соседству с ним отыщи Тенар, скрытый среди безлюдных мест. Там расщелина Дита, и через зияющие врата видна дорога непроходимая; лишь только ты ей доверишься и переступишь порог, как прямым путем достигнешь Оркова царства. Но только вступать в этот сумрак должна ты не с пустыми руками: в каждой держи по ячменной лепешке, замешанной на меду с вином, а во рту неси две монеты. Пройдя уже значительную часть смертоносной дороги, встретишь ты хромого осла, нагруженного дровами, и при нем хромого же погонщика; он обратится к тебе с просьбой поднять ему несколько полешек, упавших из вязанки, но ты не говори ни единого слова и молча иди

дальше. Вскоре дойдешь ты до реки мертвых, над которой начальником поставлен Харон, тут же требующий пошлины и тогда перевозящий путников на другой берег в утлом челне. Значит, и среди умерших процветает корыстолюбие: даже такой бог, как Харон, сборщик податей у Дита, ничего не делает даром, и умирающий бедняк должен запастись деньгами на дорогу, потому что, если нет у него случайно в наличии меди, никто не позволит ему испустить дух. Грязному этому старику ты и дашь в уплату за перевоз один из медяков, которые будут у тебя с собою, но так, чтобы он сам, своей рукой, вынул его у тебя изо рта. Это еще не все: когда будешь ты переправляться через медлительный поток, выплывет мертвый старик на поверхность и, простирая к тебе сгнившую руку, будет просить, чтобы ты втащила его в лодку, но ты не поддавайся недозволенной жалости.

19. Когда, переправившись через реку, ты пройдешь немного дальше, увидишь старых ткачих, занятых тканьем; они попросят, чтобы ты приложила руку к их работе, но это не должно тебя касаться. Ведь все это и многое еще другое будет возникать по коварству Венеры, чтобы ты выпустила из рук хоть одну лепешку. Не думай, что потерять эти ячменные лепешки пустое, ничтожное дело: если одну хотя бы утратишь, снова света белого не увидишь. Преогромный пес с тремя большими головами, громадный и страшный, извергая громоподобное рычанье из своей пасти и тщетно пугая мертвых, которым зла причинить не может, лежит у самого порога черных чертогов Прозерпины и постоянно охраняет обширное жилище Дита. Дав ему для укрощения в добычу одну из двух лепешек, ты легко пройдешь мимо него и достигнешь скоро самой Прозерпины, которая примет тебя любезно и милостиво, предложит мягкое сиденье и попросит отведать пышной трапезы. Но ты сядь на землю и возьми только простого хлеба, затем доложи, зачем пришла, и, приняв, что тебе дадут, возвращайся обратно; смягчи ярость собаки оставшейся лепешкой, заплати скупому лодочнику монетой, которую ты сохранила, и, переправившись через реку, снова вступишь на прежнюю дорогу и снова увидишь хоровод небесных светил. Но вот о чем я считаю особенно нужным предупредить тебя прежде всего: не вздумай открывать баночку, которая будет у тебя в руках, или заглядывать в нее, не проявляй любопытства к скрытым в ней сокровищам божественной красоты».

20. Так прозорливая башня изложила свое пророчество. Психея, не мешкая, направляется к Тенару, взяв, как положено, монеты и лепешки, спускается по загробному пути, затем, молча

пройдя мимо убогого погонщика ослов, дав монету перевозчику за переправу, оставив без внимания просьбы выплывшего покойника, пренебрегши коварными мольбами ткачих и успокоив страшную ярость пса лепешкой, проникает в чертоги Прозерпины. Не польстившись на предложенное хозяйкой сиденье мягкое и кушанье сладкое, но сев смиренно у ног ее и удовольствовавшись простым хлебом, передала она поручение Венеры. Сейчас же запрятала наполненную и закупоренную баночку и, заткнув глотку лаявшему псу брошенной с хитрым умыслом другой лепешкой, заплатив оставшейся монетой лодочнику, выбралась она из преисподней гораздо веселее, чем шла туда. Снова увидела Психея свет белый и поклонилась ему. Но, хотя и торопилась она поскорее исполнить поручение, дерзкое любопытство овладело ею. «Какая я глупая,— говорит она,— что несу с собой божественную красоту и не беру от нее хоть немножечко для себя, чтобы понравиться прекрасному моему возлюбленному».

21. И, сказав так, открывает баночку. Там ничего решительно нет, никакой красоты, только сон подземный, поистине стигийский, сейчас же вырвавшийся из-под крышки, на нее находит; по всему телу разливается густое облако оцепенения и овладевает ею, упавшей в тот же момент на той же тропинке. И лежала она недвижно, словно спящий мертвец. А Купидон, выздоровев от тяжкой своей раны и не перенеся столь долгого отсутствия своей Психеи, ускользнул через высокое окно комнаты, где был заключен, и, с удвоенною быстротой полетев на отдохнувших во время долгого бездействия крыльях, мчится к своей Психее, тщательно снимает с нее сон и прячет его на прежнее место в баночку, Психею же будит безопасным уколом своей стрелы и говорит: «Вот ты, бедняжка, опять чуть не погибла, все из-за того же твоего любопытства. Но пока что усердно исполни поручение, которое мать моя дала тебе своим приказом, а об остальном я позабочусь». С этими словами проворный возлюбленный вспорхнул на крыльях, а Психея поспешила отнести Венере Прозерпинин подарок.

22. Меж тем Купидон, снедаемый сильной любовью и боясь внезапной суровости своей матери, принимается за старые хитрости и, достигнув на быстрых крыльях самой выси небес, со скорбным лицом обращается с мольбами к великому Юпитеру и излагает ему суть дела. Тогда Юпитер, потрепав Купидона по щеке и поднеся к своему лицу его руку, целует и так говорит ему: «Хоть ты, сынок, господин мой, никогда не оказывал мне должного почтения, присужденного мне собранием богов, а,

наоборот, грудь мою, где предопределяются законы стихий и чередования светил, часто поражал ударами и нередко позорил грехами земных вожделений, так что пятнал мою честь и доброе имя, заставляя нарушать законы, в особенности Юлиев закон, и общественную нравственность позорными прелюбодеяниями; унизительным образом ты заставлял меня светлый лик мой менять на вид змеи, огня, зверей, птиц и домашнего скота,— но все же, памятуя о своей снисходительности, а также и о том, что ты вырос на моих руках, я исполню все твои желания, сумей только уберечься от своих недоброжелателей. А еще в ответ на это благодеяние должен ты, если на земле в настоящее время находится какая-нибудь девушка несравненной красоты, отдать мне ее в вознаграждение».

23. Сказав так, приказывает он Меркурию немедленно созвать всех богов на заседание и объявить, что на того, кто не явится на небесный совет, будет наложен штраф в десять тысяч нуммов. Боясь этого, небожители быстро наполняют покои, и Юпитер, сидя выше всех на возвышенном седалище, так возглашает: «Боги, внесенные в списки Музами, конечно, все вы знаете этого юношу, который вырос у меня на руках. Решил я какой-нибудь уздой сдержать буйные порывы его цветущей молодости; хватит с него, что ежедневно его порочат рассказами о прелюбодеяниях и всякого рода сквернах. Уничтожить надлежит всякий повод к этому и связать мальчишескую распущенность брачными путами. Он выбрал некую девушку и невинности лишил ее; пусть же она останется при нем, пусть он ею владеет и в объятиях Психеи да наслаждается вечной любовью.— И, обратясь к Венере, продолжает: — А ты, дочка, отбрось всякую печаль и не бойся, что твой знаменитый род и положение пострадают от брака со смертной. Я сделаю так, что союз не будет неравным, но законным, сообразным гражданским установлениям».

Тут он отдает приказ Меркурию сейчас же схватить Психею и доставить на небо и, протянув ей чашу с амброзией, говорит. «Прими, Психея, стань бессмертной. Пусть никогда Купидон не отлучается из объятий твоих, и да будет этот союз на веки веков».

24. Немедленно свадебный стол роскошный накрывают. На почетном ложе возлежал новобрачный, прижав к груди своей Психею. Подобным же образом возлежал и Юпитер со своей Юноной, а за ними по порядку и все боги. Чашу с нектаром, что богам вино заменяет, Юпитеру подавал кравчий его, славный отрок сельский, остальным гостям подносил Либер. Вулкан ку-

шанья готовил, Оры осыпали всех розами и другими цветами, Грации окропляли благовониями, Музы оглашали воздух пением, Аполлон пел под кифару, прекрасная Венера в такт музыке сладкой плясала в таком сопровождении: Музы пели хором, Сатир играл на флейте, а Паниск дул в свирель. Так надлежащим образом передана была во власть Купидона Психея, и, когда пришел срок, родилась у них дочка, которую зовем мы Наслаждением».

25. Так рассказывала пленной девушке выжившая из ума и пьяная старушонка, а я, стоя неподалеку, клянусь Геркулесом, жалел, что нет при мне табличек и палочки, чтобы записать такую прекрасную повесть.

Тут после какой-то опасной схватки возвращаются разбойники с добычей, но некоторые из них, более задорные, ранены; этих они оставляют дома лечить раны, а сами спешат возвратиться за частью добычи, припрятанной, по их словам, в какой-то пещере. Проглотили второпях обед и, погоняя дубинками, выводят на дорогу меня с лошадью — вьючную силу для предстоящей перевозки; утомленные многочисленными перевалами и кручами, к вечеру добираемся мы до какой-то пещеры; там на нас навьючивают множество всякой поклажи и, ни минуточки не дав передохнуть, тотчас гонят обратно, и так впопыхах торопятся, что я, осыпаемый бесчисленными ударами и толчками, свалился на камень, лежавший при дороге. Опять посыпались на меня частые удары, чтобы я поднялся, хотя я и повредил себе правую голень и левое копыто.

26. И один из разбойников говорит: «Долго ли мы будем даром кормить этого никуда не годного осла, который теперь к тому же еще и охромел?» А другой: «Как только этот проклятый завелся у нас в доме, ни в чем настоящей удачи нам нет, самых храбрых то ранят, то насмерть убивают». Еще другой: «Как только он, хочет не хочет, поклажу донесет, я не я буду, если его вниз головой не сброшу, пускай ястребы им досыта питаются».

Покуда эти добрейшие люди так между собою о моей смерти переговариваются, мы добрались до дому. От страху у меня на копытах словно крылья выросли. Тут, наскоро свалив с нас груз и перестав заботиться о нашем благополучии, а также о моей смерти, сейчас же вызывают они остававшихся в пещере раненых товарищей и спешат назад, чтобы остаток добычи перенести на руках, так как, по их словам, им до смерти надоела наша медлительность. Меня же охватило немалое беспокойство при мысли о готовящейся мне смерти. И я так раздумывал сам с

собою: «Ну что, Луций, стоишь, чего еще худшего ждешь? Смерть, и притом жесточайшая, решена тебе на совете разбойников. Привести это в исполнение не стоит никакого труда: видишь, совсем близко высокие скалы, усеянные острейшими камнями, которые в тело тебе вонзятся раньше, чем умрешь, на клочки тебя раздерут. Ведь эта знаменитая магия твоя, дав тебе образ и тяготы осла, не толстой ослиной кожей тебя снабдила, а тонкой кожицей, как у пиявки. Что же ты не воспрянешь духом и не подумаешь, пока еще возможно, о своем спасении? Пока разбойников нет, все для бегства складывается самым благоприятным образом. Или ты боишься присмотра старухи полуживой? Лягнуть ее разок копытом, даже хромой ногой — вот с ней и покончено! Но к кому направить бег свой, и кто окажет мне гостеприимство? Вот нелепое и поистине ослиное рассуждение! Да любой прохожий охотно прихватит с собой средство к передвижению».

27. Сейчас же быстрым усилием оборвав привязь, которой я был прикреплен, пускаюсь в бегство со всех четырех ног. Однако я не смог ускользнуть от ястребиного глаза хитрой старухи. Как только она увидела меня на свободе, то, набравшись не по возрасту и не по полу своему дерзости, ухватилась она за привязь и попыталась тащить меня обратно. А я, памятуя о зловещем намерении разбойников, не поддаюсь никакой жалости, но, ударив старуху задними ногами, сейчас же валю ее на землю. Но она, хотя и распростертая ниц, все-таки крепко вцепилась в привязь, так что в своем беге я протащил ее несколько шагов за собою. К тому же она начала громким воем звать к себе на подмогу кого-либо посильнее. Но тщетно воплями поднимала она напрасный шум, так как не было никого, кто мог бы прийти к ней на помощь, разве только одна пленная эта девица, которая, прибежав на крики, видит зрелище, клянусь Геркулесом, достойное памяти,— старушку в виде Дирцеи, повисшую не на быке, а на осле. Тогда она, вооружившись мужской стойкостью, решилась на прекраснейшее дело: выхватив у той из рук привязь и сдержав меня успокоительным щебетаньем, она ловко на меня вскакивает и, таким образом, снова побуждает к бегу.

28. Одушевленный в одно и то же время добровольным решением бежать и стремлением освободить девицу, к тому же и убеждаемый ударами, которые частенько меня подбадривали, я с лошадиной скоростью застучал по земле четырьмя копытами, пытаясь даже отвечать ржанием на нежные обращения девушки. Неоднократно даже, повернув шею, будто для того, чтобы

почесать спину, я целовал красивые девичьи ноги. Наконец она, глубоко вздыхая и обращая к небу взволнованное лицо, восклицает:

— Вы, всевышние боги, помогите же наконец мне в крайней опасности, а ты, столь жестокая судьба, перестань быть ко мне враждебной! Этих достойных сострадания мучений достаточно, чтобы умилостивить тебя. Ты же, опора моей свободы и спасения, если меня невредимой домой приведешь и вернешь родителям и жениху моему прекрасному, уж я тебя своей благодарностью не оставлю, какой почет доставлю, какие кушанья предоставлю! Прежде всего гриву твою, старательно расчесав, моими девичьими драгоценностями украшу; челку же, завив сначала, красиво разделю на две пряди; хвост лохматый и свалявшийся оттого, что долго его не мыли, со всей тщательностью разглажу; весь украшенный золотыми шариками, как небесными звездами, заблестишь ты, приветствуемый радостными криками толпы; насыпав в шелковый мешок миндаля и лакомств, каждый день стану кормить тебя до отвала, как спасителя своего.

29. Но, кроме нежной пищи, полного покоя и блаженства в течение всей жизни, не будет тебе недостатка и в достойном прославлении. Запечатлею я память о настоящем счастье моем и божественном промысле вечным свидетельством и повешу в атриуме дома картину, изображающую теперешнее мое бегство. И все будут видеть, и в сказках слышать, и палочками ученых людей на вечные времена в книгах записанную читать историю о том, как «девица царской крови из плена на осле убежала». Причислен будешь ты к древним чудесам, и твой живой пример заставит поверить и во Фрикса, переплывшего море на баране, и в Ариона, правившего дельфином, и в Европу, возлежавшую на быке. Если правда, что Юпитер мычал, обратившись в быка, может быть, и в моем осле скрывается какое-нибудь человеческое лицо или божеский лик?

Пока девушка несколько раз это повторяла и обеты свои прерывала частыми вздохами, добрались мы до некоего перекрестка, откуда, схватив за недоуздок, старалась она изо всей силы повернуть меня направо, где, по ее мнению, шла дорога к ее родителям. Но я, зная, что разбойники по ней же пошли за остальной своей добычей, крепко заупрямился и так молча в душе своей к ней обращался: «Что делаешь, дева несчастная? Что творишь? Зачем спешишь к Орку? Зачем стремишься насильно направить мои шаги? Ведь не только к своей гибели, но и к моей ведешь ты нас!» Пока мы так тянули в разные стороны

и спорили, будто на суде о межевании земельных владений или, вернее сказать, о разделе дороги, внезапно являются разбойники, нагруженные своей добычей, и издали еще, узнавши нас при лунном свете, приветствуют злорадным смехом.

30. Один из их числа так обращается к нам:

— Что это вы по этой дороге спешным шагом по ночам шляетесь, не убоявшись в глухую полночь манов и злых духов? Или ты, честнейшая девица, спешишь увидеться со своими родителями? Но в одиночестве твоем мы будем тебе защитой и к родителям твоим кратчайший путь укажем.

За словом последовало и дело. Схватив за привязь, повернул он меня в обратную сторону, не скупясь на привычные для меня удары узловатой палки, которая была у него в руках. Тут против воли вспоминаю я, приближаясь к скорой гибели, о боли в копыте и, мотая головой, принимаюсь хромать. Но тот, что меня тащил обратно, восклицает: — Вот как! Снова ты принялся хромать и шататься, и ноги твои гнилые бегать могут, а идти не умеют? А только что ты крылатого Пегаса быстротой превосходил!

Покуда милостивый спутник мой, потрясая палкой, так со мной пошучивал, добрались мы до первой ограды их жилища. И вот видим: на одном суку высокого кипариса висит старуха. Тотчас же ее сняли и так, с веревкой на шее, и бросили в пропасть, затем немедленно заключили девицу в оковы и, как звери, набросились на ужин, посмертный плод заботливости несчастной старухи.

31. Покуда с жадной прожорливостью они все поедали, начали между собою совещаться, какую казнь придумать нам в отмщение за себя. И, как в каждом бурном собрании, мнения разделились: один считал, что девицу следует сжечь заживо, другой убеждал отдать ее диким зверям, третий требовал распять ее на кресте, четвертый советовал пытками ее замучить; в одном все так или иначе сходились, что обречена она должна быть на смерть. Тут один из них, когда стих всеобщий шум, спокойно обратился к собранию с такими словами:

— Не приличествует ни обычаям нашего товарищества, ни милосердию каждого в отдельности, ни, наконец, моей умеренности, чтобы допустили мы чрезмерную ярость в наказание за проступки и чтобы с помощью диких зверей, креста, огня, пыток и какой бы то ни было преждевременной смерти ускорили нисхождение ее в царство мрака. Итак, последовав моим советам, даруем же девице жизнь, но такую, какой она заслуживает. Из памяти у вас не вылетело, что́ уже раньше решили вы

относительно этого осла, всегда ленивого и к тому же крайне прожорливого, который теперь ложно прикидывается калекой, а между тем оказался посредником и помощником девушки в ее бегстве. Лучше всего зарежем его завтра же и, выпотрошив, зашьем ему в середину живота голую девицу, которую он нам предпочел, так, чтобы только одна голова ее была наружу, а все остальное тело девушки скрывалось в звериной шкуре. Затем выставим этого нафаршированного и откормленного осла на какую-нибудь каменистую скалу и предоставим лучам палящего солнца.

32. Таким образом, оба будут претерпевать все то, что вы справедливо постановили. Осел подвергнется давно уже заслуженной смерти, а она и зверями будет съедена, так как тело ее будут пожирать черви, и огнем будет сожжена, так как чрезмерная солнечная жара будет палить ослиное брюхо, и на кресте будет мучиться, когда собаки и коршуны потянут внутренности наружу. Но прикиньте, сколько и других еще пыток и мучений предстоит ей: живая, она будет находиться в желудке дохлого животного, мучимая невыносимым зловонием при усилении зноя, изнуряемая смертельным голодом от длительного отсутствия пищи, она даже не сможет сама себе причинить смерть, так как руки ее будут несвободны.

После такой речи разбойники не рукой, а всей душой проголосовали за его предложение. Мне же, слушавшему все это своими длинными ушами, что оставалось делать, как не оплакивать себя, который завтра будет не более чем падалью?

1. Едва, разогнав мрак, забрезжил день и сверкающая колесница солнца все кругом осветила, как пришел какой-то человек из числа разбойников (на это указывали приветствия, какими они обменялись друг с другом). Сев у самого входа в пещеру и переведя дух, он сообщил своим товарищам следующее:

— Что касается дома Милона Гипатского, который мы на днях разграбили, то тут мы можем, отложив всякую тревогу, успокоиться. После того как вы все имущество с величайшей смелостью растащили и вернулись в наш лагерь, я вмешался в толпу местных жителей и, изображая то горесть, то возмущение, старался узнать, какие меры будут приняты для расследования дела и решат ли они разыскивать разбойников и в какой мере, чтобы обо всем донести вам, как мне и было поручено. Не по сомнительным догадкам, а на основании правдоподобных соображений вся толпа единодушно сходится на том, что виновник преступления — бесспорно, некий Луций, который несколько дней назад, с помощью подложных рекомендательных писем выдав себя Милону за порядочного человека, добился того, что ему было оказано гостеприимство и что ввели его в самый тесный круг домочадцев; проживши же несколько дней, он вскружил голову Милоновой служанке, прикинувшись влюбленным, и успел внимательно рассмотреть дверные запоры и тщательно исследовать все места, где обычно хранилось хозяйское добро.

2. Как на немаловажное доказательство его злодеяния указывалось на то обстоятельство, что в ту же самую ночь, за минуту до нападения, он куда-то бежал и до сих пор не появляется; к тому же ему легко бы найти и средство на случай побега, чтобы как можно быстрее и подальше скрыться от обманутых преследователей, так как вместе с собой он увел и свою белую

лошадь, на которой мог бы удрать. Дома остался раб его, от которого надеялись узнать о преступных замыслах хозяина; по приказанию властей, его сейчас же схватили, заключили в городскую тюрьму; на следующий день, почти до смерти замученный различными пытками, он тем не менее не признался ни в чем подобном; тогда послали на родину этого самого Луция большое количество уполномоченных, чтобы они нашли виновного, подлежащего наказанию за преступление.

Покуда он это рассказывал, сравнил я прежнее благоденствие счастливого Луция и нынешнее прискорбное положение злополучного осла, вздохнул из глубины души и подумал, что, право же, не без основания мудрецы седой древности считали Фортуну слепой и даже совсем безглазой и такой ее и изображали. Она всегда дарами своими осыпает дурных и недостойных и никогда рассудительностью не руководится, выбирая себе баловней среди смертных, и с теми больше всего водится, от которых, если бы зрячая была, бежать должна была бы; а что хуже всего — создает превратные и даже противоречащие действительности мнения о нас, так что негодяй увенчан славой порядочного человека, а ни в чем не повинные становятся добычей губительного злоречия.

3. Я сам в конце концов, которого жесточайший ее натиск обратил в животное и довел до презренного жребия четвероногого,— участь, способная в самом несправедливом существе возбудить жалость и состраданье,— теперь навлек на себя обвинение в разбойничьем поступке по отношению к моему горячо любимому хозяину. Пожалуй, вернее было бы назвать такой поступок не просто разбойничьим, но поистине отцеубийственным. И у меня не было возможности не только что защищаться, но даже и возражать. И вот, чтобы молчание мое перед лицом столь гнусного обвинения не было истолковано как знак согласия и примета нечистой совести, я, потеряв всякое терпение, хотел воскликнуть только: «Не виновен!..» Но без конца издавал лишь первый слог, последующее же никоим образом не мог выговорить, все оставаясь на том же месте и ревя: «Не, не!» — как ни придавал округлости отвислым губам своим. Но что за польза жаловаться на жестокость судьбы, когда она не постыдилась сделать меня ровней и товарищем моего собственного коня, слуги моего, на котором я прежде ездил верхом?

4. Среди этих обуревавших меня размышлений одна забота давала о себе знать сильнее других: как только я вспоминал, что решением разбойников осужден быть погребальной жертвой духу девушки, я взглядывал каждый раз на свой живот и, каза-

«Золотой осел»
Б. Дехтерев

лось, готов был уже разрешиться от бремени несчастной девицей. Меж тем человек, сообщавший перед тем ложные обо мне сведения, вытащил зашитые у него в край платья тысячу золотых, взятые, по его словам, у различных путников, и пожертвовал их, как человек честный, в общую кассу, затем принялся подробно расспрашивать о здоровье своих сотоварищей. Узнав, что иные из них, притом храбрейшие, при различных обстоятельствах, но каждый с неизменной доблестью, погибли, начал он уговаривать на время вернуть проезжим дорогам безопасность и, строго соблюдая перемирие, прекратить всякие стычки, а заняться главным образом тем, чтобы подыскать соратников, призвать молодых новобранцев и довести ряды воинственного ополчения до прежней численности: сопротивляющихся — страхом можно принудить, а добровольцев привлечь наградами. К тому же немало найдется людей, которые предпочтут унижениям и рабской жизни вступление в шайку, где каждый облечен властью чуть ли не тираннической. Со своей стороны он давно уже нашел одного человека, и ростом высокого, и возрастом молодого, и телом крепкого, и на руку проворного, которого он убеждал и в конце концов убедил, чтобы тот руки свои, ослабевшие от долгой праздности, приложил наконец к какому-либо более достойному делу и, покуда есть возможность, воспользовался плодами своей силы; чтобы он не протягивал крепкую свою руку за подаянием, а нашел ей лучшее применение в добывании золота.

5. С его словами все единодушно соглашаются и решают и того принять, который считался как бы уже одобренным, и других искать для пополнения шайки. Тогда говоривший вышел ненадолго и приводит какого-то юношу огромного, как и обещал, с которым вряд ли кто из присутствовавших мог сравниться,— ведь, не говоря уже об общей плотности телосложения, он на целую голову был выше всех, хотя на щеках его едва пробивался первый пушок,— прикрытого еле державшимися на нем пестрыми лохмотьями, через которые просвечивали отличавшиеся дородностью грудь и живот.

Вновь пришедший произносит следующее: «Привет вам, клиенты бога сильнейшего, Марса, ставшие для меня уже верными соратниками; мужа великодушного и пылкого, с радостью к вам приходящего, с радостью и примите. Охотнее я грудь под удары подставляю, чем золото себе грабежом доставляю, и сама смерть, что других страшит, мне придает еще больше отваги. Не считайте меня нищим или доведенным до отчаянья и не судите о моих достоинствах по этому рубищу. Я был во главе

сильнейшей шайки и опустошал всю Македонию. Я — знаменитый грабитель, тот самый Гем, чье имя повергает в трепет все провинции, и отпрыск отца Ферона, знаменитого, в свою очередь, разбойника, вспоенный человеческой кровью, воспитанный в недрах шайки, наследник и соперник отцовской доблести.

6. Но все прежнее множество товарищей храбрых, все богатство великое в короткий промежуток времени утрачены мной. Случилось так, что я совершил нападение на императорского прокуратора, получавшего оклад в двести тысяч сестерциев, но дела которого потом пошатнулись, так что впал он в ничтожество. Гнев божества скрестил наши пути... впрочем, так как история вам неизвестна, начну по порядку.

Был некий славный муж при дворе Цезаря, известный высоким своим положением,— сам Цезарь взирал на него милостиво. Его-то, оклеветанного по проискам некоторых лиц, свирепая зависть подвергла изгнанию. Супруга его, Плотина, женщина редкой верности и исключительного целомудрия, десятикратно разрешившись от бремени, снабдила крепким основанием дом своего мужа. Презрев и отвергнув услады столичной роскоши, эта спутница в изгнании и подруга в несчастье остригла волосы, сменила свои одежды на мужские, надела на себя пояса со спрятанными в них самыми драгоценными ожерельями и золотыми монетами и среди военной стражи и мечей обнаженных, бестрепетно разделяя все опасности, в неусыпной заботе о спасении супруга, непрерывные бедствия, как мужчина, выносила. Претерпев в пути много невзгод на море и на суше, приближались они к Закинфу, где роковой жребий назначил прокуратору временное пребывание.

7. Но как только достигли они актийского побережья (где в то время, перекочевав из Македонии, мы рыскали) и с приближением ночи, опасаясь морской качки, расположились на ночь в какой-то прибрежной харчевне вблизи своего корабля,— мы напали на них и все разграбили. Однако нельзя сказать, чтобы мы ушли, отделавшись незначительным риском. Лишь только матрона услышала, как заскрипела дверь, принялась она бегать по комнате и беспокойным криком своим всех переполошила, зовя стражников и слуг своих поименно, сзывая всех соседей на помощь, так что, не попрячься все они кто куда, трепеща за свою безопасность, не уйти бы нам безнаказанно. Но эта достойнейшая (нужно отдать ей справедливость) и исключительной верности женщина, заслужившая замечательными своими качествами милость божественного Цезаря, обратилась к нему с прошением и добилась быстрого возвращения из ссылки для

своего мужа и полного отомщения за нападение. Как только пожелал Цезарь, чтобы не существовало братства разбойника Гема,— тут же его и не стало; такую власть имеет одно мановение великого императора. Вся шайка, выслеженная отрядами вексилляриев, была рассеяна и перебита, лишь я один, с трудом скрывшись, избег Орковой пасти следующим образом.

8. Надев узорное женское платье, спадавшее многочисленными складками, покрыв голову тканой повязкой, обувшись в белые тонкие женские туфли и укрывшись и спрятавшись под личиной слабого пола, я сел на осла, нагруженного ячменными колосьями, и проехал через самую середину вражеского отряда. Солдаты приняли меня за погонщицу ослов и пропустили без малейшей задержки; не надо забывать, что я тогда был безбородым и щеки мои блистали отроческой свежестью. Но при этом я нисколько не посрамил ни отцовской славы, ни своей доблести: хоть и пришлось натерпеться мне страху, видя прямо перед собою убийственные мечи, все же, скрывшись обманным образом под чужою одежой, в одиночку нападал я на усадьбы и села и сумел сколотить себе деньжонок на дорогу.— И сейчас же, приоткрыв свои лохмотья, он выложил оттуда две тысячи золотых.— Вот,— говорит,— от всего сердца подарок вашей компании, или, вернее сказать, мое приданое, а также предлагаю вам себя, если вы ничего не имеете против, в вернейшие атаманы, причем ручаюсь, что пройдет немного времени, и каменное это ваше жилище я обращу в золотое».

9. Без промедления и задержки разбойники тут же единогласно выбрали его предводителем и принесли довольно нарядное платье, которое он и надел, сбросив свои богатые лохмотья. Преобразившись таким образом, он со всеми перецеловался, возлег во главе стола, и избрание его было отпраздновано ужином и обильной выпивкой.

Тут, узнав из разговоров разбойников между собой о попытке девушки убежать, о моем пособничестве и о чудовищной смерти, назначенной нам обоим, спросил он, в каком помещении она находится. Когда его привели туда и он увидел, что она в оковах, он сморщил неодобрительно нос, вернулся обратно и говорит:

— Я, разумеется, не настолько невоспитан и дерзок, чтобы удерживать вас от исполнения вашего решения, но считал бы бессовестным, оставаясь при своем мнении, скрыть от вас то, что мне кажется правильным. Прежде всего прошу верить, что побуждает меня лишь забота о вашей пользе, к тому же, если мнение мое вам не понравится, вы свободно можете снова вер-

нуться к вопросу об осле. Ведь я полагаю, что для разбойников — для тех, по крайней мере, кто ясно понимает свое дело,— выше всего должна стоять прибыль, даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком. Если же вы уморите эту девушку в этом осле, то всего-навсего удовлетворите свое чувство негодования без всякого иного возмещения. Потому я считаю, что ее нужно отвести в какой-нибудь город и там продать. Девушка в ее возрасте не может пойти по низкой цене. У меня у самого, когда я еще водился со сводниками, был знакомый, который немало талантов, полагаю, дал бы за такую девушку, сообразно ее происхождению, чтобы приспособить ее к ремеслу потаскушки; от него бы она уже не убежала, а ваша жажда мщения была бы в какой-то мере удовлетворена, раз она попала бы в публичный дом. Я вам высказываю соображения, которые мне пришли в голову как выгодные; вы же, конечно, вольны в своих мнениях и поступках.

10. Так этот рачитель о разбойничьей прибыли защищал и наше дело — славный спаситель осла и девицы. Остальные, по долгом обсуждении — причем продолжительность этого совещания истерзала мне все внутренности и даже мою несчастную душу,— охотно присоединились к мнению разбойника-новичка и сейчас же освободили деву от оков. А та, едва увидела этого юношу и услышала упоминание про потаскушек да сводников, так радостно начала смеяться, что мне пришло в голову подвергнуть заслуженному осуждению весь женский пол: ведь на моих глазах эта девушка разыграла любовь к жениху молодому и стремление к священному, чистому браку — и вдруг при одном упоминании о публичном доме, гнусном и грязном, приходит в такой восторг. Так что в тот момент вся порода женская и нравы их зависели от ослиного суждения. А молодой человек снова обратился с речью к разбойникам:

— Почему бы не устроить нам молебствия Марсу Сопутствующему, чтобы он помог нам и девицу продать и товарищей набрать? Да, как вижу, у нас и никакого животного, потребного для жертвоприношения, нет, ни вина в достаточном количестве, чтобы пить вволю. Дайте-ка мне десяток спутников — с меня будет довольно,— я отправлюсь в ближайшую усадьбу и оттуда приволоку вам провизии на салийское пиршество.

Он отправился, а оставшиеся разводят огромный костер и из зеленого дерна сооружают жертвенник богу Марсу.

11. Вскоре и ушедшие возвращаются, неся мехи с вином и гоня перед собой целое стадо скота. Выбрав большого козла, старого, косматого, приносят его в жертву Марсу Сопутствую-

щему и Сопровождающему. Сейчас же готовят роскошный пир. А пришелец тот и говорит:

— Должны вы убедиться, что проворен ваш атаман не только в вылазках и захвате добычи, но и в наслаждениях ваших.— И, взявшись за дело, с необыкновенной ловкостью все искусно приготовляет. Метет, накрывает, варит, колбасу поджаривает, на стол подает красиво, а главным образом — накачивает их всех по очереди то и дело огромными чашами вина.

Тем временем, делая вид, будто нужно еще что-то принести, часто заходил он к девушке: то даст ей тайком взятые со стола кушанья, то с веселым видом поднесет ей выпить, сам предварительно пригубив из той же чаши. Девушка все это с жадностью принимала, и, случалось, что, когда тот хотел ее поцеловать, она сама быстрыми поцелуями предупреждала его желание. Такое поведение отнюдь мне не нравилось.

Ах, девушка невинная, как могла ты забыть свой брак и желанного своего возлюбленного, как могла ты предпочесть едва успевшему стать супругом твоим жениху, которого я не знаю, но с которым сочетали тебя твои родители, этого бродягу и убийцу кровавого? Неужели совесть в тебе молчит, а нравится тебе, поправ чувство, предаваться блуду среди этих мечей и копий? А что, если каким-нибудь манером другие разбойники об этом пронюхают? Опять к ослу прибегнешь, опять под смертельный удар меня подведешь? По правде сказать, отыгрываешься ты на чужой спине.

12. Покуда я, клевеща на нее, с величайшим негодованием приписываю ей всякие низкие побуждения, вдруг узнаю по некоторым их намекам, достаточно ясным для рассудительного осла, что это не Гем, пресловутый разбойник, а Тлеполем, жених этой самой девушки. И действительно, в ходе разговора он начинает высказываться несколько понятнее, не обращая внимания на мое присутствие, словно я был неживой:

— Будь покойна, Харита нежнейшая, скоро все враги эти окажутся твоими пленниками,— и, удвоив свою настойчивость, потчует, не переставая, осовевших и от пьяного дурмана ослабевших разбойников уже совсем не разбавленным, лишь слегка на пару́ подогретым вином, а сам не пьет.

И, клянусь Геркулесом, у меня явилось подозрение, что он им в чаши подмешал какого-нибудь снотворного снадобья. Наконец, решительно все от вина свалились с ног, все до одного полегли, как мертвые. Тут без всякого затруднения он всех их связал, крепко-накрепко веревками по своему усмотрению стя-

нул и, посадив мне на спину девушку, направился к своему родному городу.

13. Едва мы подъехали к дому, весь город высыпал поглядеть на долгожданное зрелище. Выбежали родители, родственники, клиенты, воспитанники, слуги — с веселыми лицами, вне себя от радости. Действительно, для всякого пола и возраста картина была небывалая и, клянусь Геркулесом, достопамятная — как дева в триумфе торжественно въезжает верхом на осле. Я сам в меру моих сил повеселел и, чтобы не сочли, что я в этом деле ни при чем, навострил уши, раздул ноздри и заревел во всю мочь, огласив все кругом громовым криком. Родители приняли девушку в брачный покой, окружив ее лаской и заботами, меня же Тлеполем в сопровождении большого количества вьючного скота и сограждан повернул обратно. Я ничего не имел против этого, так как и вообще отличался любопытством и теперь очень хотел стать очевидцем поимки разбойников. Мы застаем их связанными больше вином, чем веревками. Отыскав и вытащив из пещеры все имущество и нагрузив нас золотом, серебром и прочим добром, самих их, одних, как были связанными, подкатив к ближайшему обрыву, в пропасть кинули, остальных же, убитых собственными их мечами, бросили на месте.

Радуясь такому мщению, с весельем возвращаемся мы в город. Богатства разбойников были помещены в общественное казнохранилище, а вновь обретенная девица передана по закону Тлеполему.

14. С этой минуты матрона, объявив меня своим спасителем, начала проявлять большую заботу обо мне и в самый день свадьбы отдает приказание до краев насыпать мне в ясли ячменя и давать столько сена, что хватило бы и на верблюда бактрийского. Но какие страшные проклятия заслуженно посылал я Фотиде, обратившей меня в осла, а не в собаку, когда видел, как домовые псы до отвала наедаются остатками обильнейшей трапезы, похищенными или полученными в виде подачки!

После первой ночи и начатков Венеры новобрачная не переставала с величайшей благодарностью напоминать обо мне своим родителям и супругу, покуда те не обещали ей, что мне будут оказаны величайшие почести. Был собран совет из наиболее уважаемых друзей, чтобы обсудить, каким способом лучше всего отблагодарить меня. Одному из них казалось самым подходящим оставить меня при доме и, не утруждая никакой работой, откармливать отборным ячменем, бобами и

викой. Но одержало верх мнение другого, который, заботясь о моей свободе, советовал лучше отпустить меня резвиться среди табунов на деревенских лугах, чтобы хозяева кобылиц от моего благородного покрытия имели приплод в виде множества мулов.

15. Итак, сейчас же призывается табунщик, и с длинными предварительными наставлениями поручают ему увести меня. Вне себя от радости, весело побежал я вперед, решив не иметь уже больше дела ни с тюками, ни с другой какой поклажей и рассчитывая, что с получением свободы теперь, в начале весны, мне наверное удастся на зеленых лугах найти где-нибудь розы. Приходило мне в голову и следующее соображение: уж если мне в ослином образе оказываются такие знаки благодарности и почести без конца, то, став человеком, я удостоен буду еще бóльших благодеяний. Но как скоро мы с пастухом очутились далеко за городом, оказалось, что не только никакие удовольствия, но даже ни намека на свободу меня там не ожидало. Потому что жена его, скупая и негоднейшая женщина, сейчас же приспособила меня вертеть мельничный жернов и, взбадривая меня то и дело палкою со свежими еще листьями, за счет моей шкуры приготовляла хлеб на себя и свою семью. Не довольствуясь тем, что, припасая пищу себе, так меня изнуряет, она еще моими трудами молола за плату зерно соседям, а меня, несчастного, после такой работы лишала даже полоѳженного мне корма. Ячмень, предназначенный мне, она тоже пускала в помол и, смолотый моими усилиями, продавала соседним крестьянам, мне же после целого дня такой работы лишь под вечер давала грязных, непросеянных отрубей, обильно сдобренных крупным песком.

16. На удрученного такими бедами жестокая судьба обрушила новые мученья — для того, конечно, чтобы я, как говорится, и дома и на стороне храбрыми подвигами в полную меру мог прославиться. Случилось так, что почтенный пастух мой, исполняя с опозданием хозяйский приказ, надумал пустить меня в кобылий табун. И вот я, наконец-то свободный ослик, весело подпрыгивая и томным шагом выступая, уже принялся выбирать, которые из кобыл всего подходящее для предстоящей случки. Но за сладостной этой надеждой последовала смертельная опасность. Самцы, которых долго и обильною пищей откармливают специально для службы Венере, и вообще-то страшные, да к тому же, во всяком случае, более сильные, чем любой осел, опасаясь моего соперничества и не желая разводить ублюдков, пренебрегли заветами Зевса Гостеприимца и, взбесившись, со

страшной ненавистью стали меня преследовать. Тот, вздыбив ввысь могучую грудь, подняв голову, вытянув шею, брыкал меня передними ногами, другой, повернувшись ко мне тучным мускулистым крупом, наносил удары задними копытами, третий, грозя зловещим ржанием, прижав уши, оскалив два ряда острых и блестящих, как топоры, зубов, всего меня искусал. Все это очень напоминало читанную мною когда-то историю о фракийском царе, который своих несчастных гостей бросал на растерзание и пожрание диким лошадям: до того этот могущественный тиран скуп был на ячмень, что голод прожорливых кобылиц щедро утолял человеческим мясом.

17. Подобным же образом и я был истерзан всевозможными ударами и укусами этих жеребцов и с тоской помышлял, как бы снова вернуться к своим жерновам. Но Фортуна, поистине не насытившаяся еще этими моими мучениями, снова приготовила мне еще одно наказание. Выбрали меня возить дрова с горы и приставили ко мне погонщиком мальчишку, самого скверного из всех мальчишек. Он не только заставлял меня взбираться на высокую гору по крутому подъему и от такого пути по острым каменьям все копыта сбивать, но к тому же еще, как настоящий злодей, без устали обрабатывал меня дубинкой так, что боль от этих ран проникала до мозга костей; причем, он всегда попадал мне по правому бедру и, норовя угодить все в одно и то же место, разодрал мне шкуру, и болячка, делаясь все шире, обратилась из небольшого отверстия в большую дыру и даже в целое окно; и все же он не переставал колотить по этой ране, несмотря на то что она сочилась кровью. А дров такое множество на меня нагружал он, что можно было подумать, будто вязанки приготовлены для слона, а не для осла. Вдобавок же, всякий раз как поклажа на одном боку перевешивала, вместо того чтобы во избежание падения снять несколько поленьев и, облегчив немного тяжесть, дать мне вздохнуть свободнее или, по крайней мере, переложив часть груза на другую сторону, уравновесить его, он, напротив того, привязывал камни к более легкому боку, таким образом думая возместить отсутствие равновесия.

18. Не довольствуясь моими муками под непомерным этим грузом, когда мы переправлялись через речку, встречавшуюся по пути, он, беспокоясь, как бы от воды не попортилась обувь, сам еще, вскочив мне на спину, усаживался — этакий незначительный — не правда ли? — привесок к общей тяжести. Когда же случалось мне под непосильным бременем упасть, поскользнувшись на краю грязного, илистого берега, он и не думал, как подобало бы порядочному погонщику, руку мне протянуть, за

узду дернуть, за хвост поднять или сбросить часть груза, чтобы я, по крайней мере, на ноги мог встать; никакой помощи изнемогавшему от усталости ослу он не оказывал, а, начиная с головы, как раз с ушей, принимался лупить меня по всему телу...[1] здоровенной дубиной, покуда успокоительное это средство не заставляло меня подняться. Вот еще что он придумал мне на погибель: скрутит острейшие колючки с ядовитыми иглами в пучок и привяжет мне к хвосту в виде висячего орудия пытки, так что, приведенные в движение, они жестоко ранили меня при ходьбе своими убийственными шипами.

19. Таким образом, страдал я от двойной беды, потому что, пущусь ли во весь опор, избегая жесточайших его нападений,— тем сильнее ранят меня болтающиеся колючки; остановлюсь ли на мгновение, чтобы убавить боль,— удары бежать заставляют. Оставалось только полагать, что негоднейший этот мальчишка решил так или иначе меня извести, чем он мне неоднократно и грозил клятвенно.

И правда, случилось однажды дело, побудившее его отвратительную злокозненность к худшим еще выдумкам; как-то раз, когда крайняя его наглость истощила мое терпение, я здорово его лягнул копытами. Тогда он вот какую каверзу против меня измыслил. Навалив на меня целую гору пакли и накрепко связав ее веревками, погнал он меня вперед, а сам в ближайшей усадебке стащил тлеющий уголь и положил его в самую середину поклажи. И вот уже огонь, найдя для себя в тонких волоконцах хорошую пищу, разгорается, усиливается, наконец обращается в пламя; всего меня объял зловещий зной, и не было видно никакого прибежища в крайней беде этой, ни малейшей утешительной надежды на спасение — такой страшный пожар и никакой проволочки не допускал, и всякую способность соображать из головы у меня выбил.

20. Но в жестоких бедствиях Фортуна ласково мне улыбнулась — может быть, для того, чтобы сохранить меня для будущих опасностей, но, во всяком случае, спасая меня от смерти уже предрешенной и стоявшей перед глазами. Увидев вдруг оставшуюся после вчерашнего ливня свежую лужу с грязной водой, я несусь сломя голову и весь погружаюсь в нее и, загасив наконец пламя, освободившись и от груза, и от гибели избавившись, выхожу обратно. Но и тут пакостный и наглый мальчишка этот свой негоднейший поступок свалил на меня и сумел уверить всех пастухов, будто, проходя нетвердой поступью

[1] Текст в рукописях испорчен.

мимо соседних костров, я по своему почину поскользнулся и нарочно зажегся об них; и со смехом прибавил:

— До каких же пор мы зря будем кормить огненосца этого?

Немного дней спустя придумал он, мне на горе, новую хитрость — куда подлее. Продав в первой попавшейся избушке дрова, которые я вез, и пригнав меня пустым, начал говорить, что не может справиться с моим гнусным нравом, отказывается от несчастной службы при мне, и жалобы свои ловко сочинил в таком виде:

21. — Полюбуйтесь на этого лентяя нерасторопного, дважды осла. Кроме всех прочих провинностей, теперь он меня новыми опасными выходками вздумал допекать. Как только завидит прохожего,— будь то смазливая бабенка, или девушка на выданье, или нежный отрок,— сейчас же, сбросив свою поклажу, иногда и самую попону, пустится, как сумасшедший, догонять людей — странный поклонник,— повалит их на землю, набросившись на них, пытается удовлетворить свою непозволительную и невиданную похоть и, желая дать выход скотским страстям, делает попытки противоестественного соития. Желая воспроизвести поцелуй, тычет он грязной мордой и кусается. Из-за таких дел возникнут у нас серьезные тяжбы и ссоры, а может случиться и уголовное преступление. Вот и теперь: увидев по дороге какую-то молодую приличного вида женщину, сбросил он дрова, которые вез, раскидал их по сторонам, сам же бешено напал на нее и, как умелый любовник, хотел на глазах у всех влезть на женщину, распростертую на земле в грязи. И если бы на женские вопли и рыдания не сбежались прохожие, чтобы оказать помощь, и не освободили ее, вырвавши из ослиных объятий, несчастная претерпела бы, будучи растоптанной и растерзанной, мучительную кончину, а нам пришлось бы ответить головой перед законом.

22. Присоединяя к этим вракам другие речи, чтобы еще сильнее унизить меня с безмолвною моею скромностью, он жесточайшим образом возбудил всех пастухов против меня. Наконец один из них воскликнул:

— Почему же не принести в жертву, достойную его чудовищных соитий, этого всенародного супруга, или, вернее сказать, прелюбодея, для каждого опасного? — И добавляет: — Эй ты, мальчик, отрубп ему сейчас же голову, кишки собакам нашим брось, что останется мяса, прибереги на обед работникам, а шкуру, посыпав золою, чтоб высохла, отнесем к хозяевам, без труда свалив его смерть на волка.

Без замедления зловредный мой обвинитель, он же и исполнитель пастушеского решения, радостно, издеваясь над моим несчастьем и не забыв, как я его лягал — жалею, клянусь Геркулесом, что недостаточно сильно лягнул,— принялся точить нож на оселке.

23. Но тут один из этой деревенской компании говорит:

— Не годится такого прекрасного осла зря губить единственно из-за того, что ему ставят в вину чрезмерную мужскую силу и любовную разнузданность... [1] лишаться такого необходимого работника, когда стоит лишь выхолостить его, и он не только не сможет возбуждаться и вы будете освобождены от страха подвергнуться какой бы то ни было опасности, но и сам сделается гораздо жирнее и глаже. Знавал я не то что вялых ослов, а диких и чрезмерною похотью страдавших жеребцов, и даже они, буйные и неукротимые, после холощения делались ручными, кроткими, способными к перевозке грузов и на другую работу годными. Итак, если вы ничего не имеете против моего предложения, подождите немного: мне нужно сходить в соседнее село на рынок, а потом я заверну домой за инструментами, необходимыми для этой операции, сейчас же вернусь к вам обратно и, раздвинув ляжки этому беспокойному и неприятному волоките, оскоплю его, так что он сделается тише всякого барашка.

24. Такое решение вырвало меня из рук Орка, но с тем лишь, чтобы сберечь для самого худшего наказания. Я загрустил и потерю крайней части тела оплакивал, как полную свою погибель. Обдумывал я, как бы продолжительной голодовкой или добровольным прыжком в бездну найти себе смерть: я и в этом случае умру, конечно, но умру, по крайней мере не подвергаясь при жизни никакому увечью. Пока я не спеша занимался выбором способа смерти, ранним утром мальчишка тот, мой погубитель, снова погнал меня обычной дорогой в горы. Привязав меня к свисавшей ветке большущего дуба, он сам прошел немного дальше, чтобы нарубить топором дров, которые ему нужно было везти. Вдруг из ближайшей пещеры высунула сначала огромную голову, а потом и вся вылезла зловещая медведица. Как только я ее увидел, в страхе и в ужасе от такого неожиданного зрелища, всей тяжестью тела осел на задние ноги, голову задрал как можно выше и, оборвав ремень, которым был привязан, бросился что было духу бежать, не только ноги пустив в ход, но и всем телом стремительно скатываясь по кручам;

[1] Текст в рукописях испорчен.

и, наконец, оказавшись на расстилающихся под горою полях, несусь во всю прыть, стараясь ускользнуть не только от громадной медведицы, но и от худшего, чем сама медведица,— мальчишки.

25. Тут какой-то прохожий, видя, что я бегу один без присмотра, поймал меня и, проворно вскочив мне на спину, палкой, что была у него в руках, погнал в сторону по неизвестной мне дороге. Я охотно прибавил шагу, удаляясь от безжалостного ножа, грозившего мне лишением мужественности. Что же касается ударов, то они не особенно тревожили меня, уже успевшего, по своей ослиной должности, привыкнуть к палкам.

Но Фортуна, упорно преследовавшая меня, с удивительной быстротой обернула мне во вред удобный случай к спасению и принялась строить новые козни. У пастухов моих пропала телушка, и они, в поисках ее обходя окрестности, случайно попались нам навстречу. Тотчас узнали меня и, схватив за узду, начинают тащить за собой. Но мой новый седок дерзко и упорно возражал, призывая людей и богов в свидетели:

— Что хватаете меня насильно? Чего на меня нападаете?

— А, так мы с тобой невежливо обращаемся, когда ты сам, украв у нас осла, уводишь его? Лучше скажи, куда ты запрятал мальчика, его погонщика, которого ты, очевидно, убил? — Сейчас же стащили его на землю, принялись бить кулаками, пинать ногами, а он клянется и божится, что никакого погонщика не видел, но, встретив меня, нестреноженного и без присмотра, хотел, в надежде на вознаграждение, вернуть меня владельцу.

— Ах, если бы сам осел,— восклицал он,— которого мне лучше бы никогда не встречать, обладал человеческим голосом! Он бы подтвердил мою невиновность, и вам стало бы стыдно за ваше обращение со мною.

Но все его уверения нисколько делу не помогли. Непокладистые пастухи набросили ему петлю на шею и повели в густую рощу к той горе, откуда мальчик обыкновенно привозил дрова.

26. Нигде его не нашли, а заметили разбросанные повсюду растерзанные части его тела. Я понимал, что это, без всякого сомнения, дело зубов той медведицы, и, клянусь Геркулесом, сказал бы все, что знал, будь у меня дар слова. Но я одно мог делать — молча радоваться возмездию, хотя и запоздалому. Между тем все разъединенные части трупа были наконец найдены, с трудом составлены вместе и тут же преданы земле, а моего Беллерофонта, конокрадство которого не вызывало ника-

ких сомнений и которого к тому же обвиняли в кровавом убийстве, пастухи ведут связанным к своим хижинам, с тем чтобы завтра ранним утром отвести, как они говорили, к властям для наказания.

Тем временем, пока родители мальчика горевали, рыдая и плача, приходит крестьянин, верный своему обещанию, и требует, чтобы надо мной была совершена операция, на которую меня обрекли. Кто-то ему отвечает:

— Нет, сегодня постигло нас другое горе, и осел тут ни при чем. А вот завтра — сколько угодно: можешь не только естество мужское, а и голову этому проклятому отрезать. В помощниках у тебя недостатка не будет.

27. Этим было достигнуто то, что нанесение увечья мне отложили до следующего дня. И я был благодарен доброму мальчику за то, что он хоть смертью своею на один денечек отсрочил мое мучение. Но даже такого краткого промежутка, чтобы порадоваться и отдохнуть, дано мне не было; мать отрока, оплакивая жестокую смерть сына, обливаясь горючими слезами, одетая в траурные одежды, обеими руками раздирая покрытые пеплом седины, с рыданьями, переходящими в крики, поражая ударами грудь свою, врывается в мое стойло и начинает так:

— А этот, полюбуйтесь, в полной безопасности уткнулся в ясли и свою прожорливость ублажает, только и знает что набивать свою ненавистную и бездонную утробу жратвой, ни бедам моим не посочувствует, ни об ужасном несчастье со своим покойным хозяином не вспомнит! Нет, он, конечно, презирает и знать не желает мою старость и убожество и полагает, что даром пройдет ему такое злодеяние! Как бы там ни было, а он уже заранее считает себя ни в чем не повинным: ведь преступникам свойственно после самых злодейских покушений, невзирая на упреки нечистой совести, надеяться на безнаказанность. Призываю богов в свидетели, негоднейшая скотина, хотя бы и обрел ты на время дар речи, какого безмозглого дурака сумеешь ты убедить, что ты ни при чем в жестоком этом деле, когда ты и копытами мог защитить бедного мальчика, и укусами врага отогнать. Мог ты частенько его самого лягать, а от смерти уберечь с таким же жаром не мог? Конечно, ты должен был бы взять его себе на спину и немедленно унести прочь, вырвав из кровожадных рук этого разбойника; ты не смел, наконец, покинув и бросив своего товарища, наставника, спутника, пастыря, убегать один. Разве тебе не известно, что те, кто даже умирающим в спасительной помощи отказывают, подлежат наказанию, как преступившие добрые нравы? Но недолго, убийца, будешь

ты бедам моим радоваться. Скоро я дам тебе почувствовать, какой силой наделяет природа несчастных страдальцев.

28. Сказав это, она обеими руками распустила свою повязку под грудью и, связав ею мои ноги — заднюю с задней, переднюю с передней,— плотно стянула их, для того, разумеется, чтобы лишить меня возможности защищаться, схватила кол, которым обыкновенно подпиралась дверь в стойле, и принялась колотить меня, пока силы ее не иссякли окончательно и палка от собственной своей тяжести не выпала у нее из рук. Тогда, жалея, что так быстро ослабели ее пальцы, подбежала она к очагу и, вытащив оттуда горящую головню, стала совать ее прямо мне в пах, покуда я не принужден был прибегнуть к единственному оставшемуся у меня способу защиты, а именно: пустить ей в лицо и глаза струю жидкого кала. Почти ослепнув и задыхаясь от вони, убежала наконец от меня эта язва, а не то погиб бы ослиный Мелеагр от головни безумствующей Алфеи.

1. На рассвете, с первыми петухами, пришел некий юноша из ближайшего города, как мне показалось, один из слуг Хариты — той девушки, что вместе со мной у разбойников одинаковые беды терпела. Он принес удивительные и ужасные вести о кончине Хариты и о несчастии, постигшем все семейство. Подсев к огню, тесно окруженный товарищами, он начал так:

— Конюхи, овчары и вы, волопасы, нет у нас больше Хариты, страшною смертью погибла, бедняжка, и не без спутников отправилась в царство теней. Но чтобы все вам стало известно, начну сначала, а случай таков, что узнай о нем люди более ученые, которых судьба наградила писательским даром, те могли бы в виде повести передать это все бумаге.

В соседнем городе жил молодой человек благородного происхождения, богатство которого не уступало его знатности, но привыкший к кабацкой распущенности, разврату и попойкам среди бела дня. Не удивительно поэтому, что он связался с разбойничьей шайкой и даже обагрил руки человеческой кровью. Звали его Тразилл. Каков он был на самом деле, такова о нем была и слава.

2. Как только Харита созрела для брака, он оказался в числе самых настойчивых искателей ее руки и с большим рвением добивался своего, но, хотя он оставлял далеко за собой всех своих соперников и богатыми подарками старался склонить родителей к соглашению, дурная слава о нем помешала делу, и он, к немалой обиде своей, получил отказ. Когда же хозяйская дочка вышла за доброго Тлеполема, Тразилл, не переставая поддерживать в себе потерянную для него любовь, с которой смешивалось чувство негодования, вызванного отвергнутым предложением, задумал кровавое преступление. Найдя в конце

концов удобный случай проникнуть в дом, он приступил к исполнению злодейского плана, давно уже обдуманного им. В тот день, когда девушка благодаря ловкости и доблести своего жениха освобождена была от злодейских ножей разбойников, Тразилл, изъявлениями восторга обращая на себя всеобщее внимание, вмешался в толпу поздравляющих. Как бы радуясь настоящему благополучию и будущему потомству новобрачных и помещенный из уважения к блистательному его роду в ряды самых почетных гостей, он, скрыв злодейский свой замысел, делал вид, будто одушевлен самыми дружественными чувствами. Уже постоянные разговоры и частые беседы, а иногда даже участие в трапезах и пирушках делали его все более близким другом семьи, и незаметно для самого себя стремительно падал он в губительную любовную бездну. И в самом деле, разве пламя жестокой любви не услаждает нас первым легким теплом своим, потом же, когда знакомство, доставляя лишь временное облегчение, раздует его, разве не до конца сжигает оно нас неистовым жаром?

3. Уже много времени потратил Тразилл на размышления, не зная, что предпринять. Удобный случай для разговора наедине никак ему не представлялся: все менее и менее казалось ему возможным получить доступ к прелюбодеянию, и, видя на своем пути многочисленную стражу, не находил он способа расторгнуть узы свежего и все крепнущего чувства, да и сама неискушенность новобрачной, если бы она даже была согласна на то, на что согласиться она не могла, служила бы немалой помехой к нарушению супружеской верности; и все же с гибельным упорством стремился он к невозможному, как будто это было возможным. Ведь если страсть с каждым днем овладевает нами все сильнее и сильнее, то все, что в обычное время мы считали делом трудным, тут кажется нам легко исполнимым; итак, обратите внимание, прошу вас, со всею тщательностью выслушайте, на какие крайности оказалось способным исступленное чувство.

4. Однажды Тлеполем, взяв с собой Тразилла, отправился на охоту в надежде выследить дичину — если только могут быть названы дикими серны; но дело в том, что Харита не разрешала своему мужу гоняться за зверьми, вооруженными клыками или рогами. И вот они уже у подножья лесистого холма, где в тени тесно переплетавшихся ветвей скрывались от взоров охотников серны; и, чтобы поднять зверя из логова, выпускают охотничьих собак специально предназначенной для облав породы; они, помня выучку, тут же разбиваются на своры и занимают кру-

гом все выходы, вначале ограничиваясь глухим рычаньем, потом по внезапно данному знаку оглашают воздух злобным нестроїным лаем. Но показывается вовсе не серна, не робкая козочка, не кротчайшее из всех животных — лань, а огромный, невиданных размеров кабан, с мускулами, горою вздувающимися под толстой шкурой, косматый от вставших дыбом на коже волос, колючий от поднявшейся по хребту щетины, скрежещущий покрытыми пеной зубами, извергающий пламя из грозных глаз и рев из разинутой пасти, весь как молния в диком своем порыве. Прежде всего ударами клыков направо и налево вспорол он животы слишком дерзким собакам, которые следовали за ним по пятам, и они тут же издохли, затем растоптал наши ничтожные сеточки и побежал дальше в том же направлении, куда бросился с самого начала.

5. Мы же все, пораженные ужасом, с непривычки к таким опасным охотам и вдобавок безоружные и ничем не защищенные, прячемся поглубже под прикрытие листвы и стволов деревьев, меж тем как коварный Тразилл, видя в своем распоряжении столь удобную ловушку, обращается к Тлеполему с такой лукавой речью: «Как! Мы, по примеру подлой этой челяди, поддадимся страху и пустому испугу и упустим из рук такую завидную добычу? Мы ведь не бабы! Почему бы нам не вскочить на коней, почему не пуститься в погоню? Ну-ка, бери рогатину, а я захвачу копье». И вот в одну минуту они уже сели на коней и во весь опор пустились преследовать зверя. Но тот, не забыв природной силы своей, оборачивается и, пламенной горя жестокостью, стиснув зубы, на мгновение останавливается, оглядываясь и не зная, на кого первого наброситься. Первый Тлеполем оружие свое всадил в спину зверя, но Тразилл, минуя кабана, копьем подрезает поджилки задних ног у лошади, на которой ехал Тлеполем. Истекая кровью, животное опрокинулось и рухнуло навзничь, невольно сбросив при этом седока на землю. Не медлит неистовый вепрь, но, ринувшись на лежащего, раздирает ему сначала одежду, а когда тот хотел приподняться,— самому ему наносит клыком глубокую рану. Но доброго друга нисколько не смутило это преступное начало; напротив, казалось ему, даже такое опасное положение не может вполне насытить его жестокость, и когда Тлеполем, в смятении стараясь защитить от ударов свои израненные ноги, жалостно взывал к нему о помощи, он поразил его копьем в правое бедро с тем большей уверенностью, что рассчитывал на полное сходство ран от оружия со следами звериных клыков. Затем без труда прикончил и вепря.

6. Так он разделался с юношей, а тут и мы, горестные домочадцы, сбегаемся, выйдя каждый из своего убежища. Тразилл же, хоть и радовался в душе, что исполнил свое заветное желание и ниспроверг врага, не дал веселью выступить на своем лице, но наморщил лоб, принял печальный вид и, жадно обняв бездыханное тело того, кого сам лишил жизни, искусно подражал всем действиям удрученного горем человека, вот только слезы не слушались и не показывались на глазах. Напустив на себя горестный вид и уподобившись нам, горевавшим нелицемерно, вину своих рук он свалил на зверя.

Не поспело еще злодеяние свершиться, как уже молва о нем распространяется, прежде всего путь свой направляя к дому Тлеполема, и достигает слуха несчастной супруги. Как только услышала она эту весть, ужаснее которой не суждено ей было ничего в жизни услышать, как, ума лишившись, потеряв рассудок, словно одержимая, бешено пустилась бежать по людным улицам, по полям деревенским, не своим голосом крича о несчастье своего мужа. Стекаются к ней горестные толпы граждан, встречные присоединяются, разделяя ее скорбь, весь город пустует от охватившего всех желания видеть, в чем дело. И вот она подбегает к трупу мужа, без чувств валится на мертвое тело и едва-едва тут же на месте не отдала покойному супругу душу, которую давно уже ему посвятила. С большим трудом родные ее поднимают, и она против воли остается в живых, а погребальная процессия в сопровождении всего народа направляется к усыпальнице.

7. А Тразилл не переставал вопить, сверх всякой меры рыдал, проливал слезы, что в первые минуты печали отказывались появляться, а теперь — от возрастающей радости, разумеется,— потекли, и самое богиню Истину обманывал, осыпая ласкательными именами покойного. Исполненным скорби голосом называл он его и другом, и сверстником, и товарищем, и даже братом, а тем временем рукам Хариты, бьющей себя в грудь, старался помешать, успокаивал печаль, удерживал от воплей, ласковыми словами смягчал жало горя, плетя утешения, приводя многочисленные примеры разнообразных несчастий, но со всеми своими притворными заботами не упускал желанного случая прикоснуться к женщине, этими похищенными наслаждениями поддерживая ненавистную свою страсть. Как только окончились погребальные обряды, молодая женщина сразу же начинает думать, как бы поскорее вслед за мужем сойти в могилу, и, перебрав все до одного способы, остановилась на самом легком, спокойном, не требующем никаких орудий, но подобном

блаженному успокоению,— она отказалась от всякой пищи, перестала о себе заботиться и, навек распростившись с дневным светом, удалилась в самый темный покой. Но Тразилл, с упорством и настойчивостью, отчасти собственными убеждениями, отчасти через домочадцев и родственников и, наконец, через самих родителей молодой женщины, достиг того, что она согласилась свое тело, уже смертельно побледневшее и покрытое грязью, освежить баней и пищей подкрепить силы. Она же, всегда почитавшая своих родителей, подчинилась, хотя и против воли, священной необходимости, и с лицом не веселым, конечно, но уже несколько более ясным, возвращается, как от нее требовали, к жизненным привычкам; но в груди,— нет! — скорее, в самой сокровенной глубине сердца таились у нее печаль и скорбь, дни и ночи снедала ее безутешная тоска, и, соорудив статуи, изображавшие покойного в виде бога Либера, она в неустанном служении воздавала ему божеские почести, самою этой отрадой терзая себя.

8. Меж тем Тразилл, вообще человек порывистый и, как из самого имени его явствует, безрассудный, не дождавшись, чтобы печаль досыта насытилась слезами, успокоилось безумие в пораженном рассудке, чтобы чрезмерность горя ослабела и оно само изжило бы себя, без всяких колебаний заговорил о браке с женщиной, все еще продолжавшей оплакивать мужа, раздирать одежды, рвать на себе волосы; с грязным бесстыдством выдал он тайны своей души и невообразимое коварство. При этих нечестивых словах на Хариту находит ужас и отвращение, она падает, лишившись чувств, как бы пораженная громом, солнечным ударом или самою Юпитеровой молнией. Через некоторое время, придя в себя, она испустила несколько раз звериный вой и, теперь уже ясно представляя себе всю подлость Тразилла, попросила отложить ответ на его просьбу, покуда тщательно ее не обдумает.

Между тем во время целомудренного ее сна является тень убитого, жалкою смертью погибшего Тлеполема, с лицом, обезображенным бледностью и покрытым сукровицей, и с такими словами обращается к жене: «Супруга моя, пусть никому другому не дано будет называть тебя этим именем; но если в груди твоей память обо мне уже исчезла или если горькая смерть моя разрушила любовный союз,— с кем угодно сочетайся браком более счастливым, только не доставайся в святотатственные руки Тразилла, речами с ним не обменивайся, трапезы с ним не разделяй, на ложе с ним не покойся. Беги кровавой десницы моего погубителя, воздержись заключать брак с убийцей. Раны

те, кровь на которых слезы твои омыли,— не все от клыков раны, злого Тразилла копье разлучило меня с тобою». И, добавляя к этим словам другие, все подряд рассказал, как совершилось преступление.

9. А она, как прежде погруженная в мрачный покой, уткнувшись лицом в подушку, не просыпаясь, щеки увлажняет слезами и, как будто терпя неожиданную муку от усилившегося горя, испускает протяжные стоны, рубашку раздирает и по прекрасным плечам безжалостно бьет ладонями. Ни с одной душой не поделившись ночными своими видениями, но тщательно скрыв все, что стало известно ей о злодеянии, молча решила и убийцу негоднейшего наказать, и себя избавить от бедственной жизни. Вот снова является гнусный искатель безрассудных удовольствий, утруждая ее не желавшие слушать уши разговорами о бракосочетании. Но она, кротко прервав речь Тразилла и с удивительной хитростью играя свою роль, в ответ на назойливую болтовню и униженные просьбы говорит: «Все еще стоит перед моими глазами прекрасный образ брата твоего и любимого моего супруга, все еще ноздри мои обоняют дух киннамона от божественного его тела, все еще Тлеполем прекрасный живет в моем сердце. Хорошо и рассудительно ты поступишь, если предоставишь несчастнейшей женщине необходимое время для законного горя; пусть протекут оставшиеся месяцы, завершая годичный срок, что не только будет соответствовать моему целомудрию, но и для твоего спокойствия будет полезно, чтобы преждевременным браком не поднять нам из гроба, тебе на погибель, горестную тень моего мужа, объятую справедливым негодованием».

10. Но такие слова не отрезвили Тразилла, и даже обещание, которое должно было вскоре исполниться, не удовлетворило его; снова и снова из взволнованных уст его вылетали нечистые нашептывания, пока Харита, сделав вид, что он ее убедил, не сказала ему: «Хоть в одном придется тебе уступить горячим моим просьбам, Тразилл: необходимо, чтобы, покуда не истекут остальные дни до годичного срока, потихоньку сходились мы на тайные свидания, так чтобы никому из домашних не было ничего известно». Полностью убежденный лживыми обещаниями женщины, Тразилл поддался на них и охотно согласился на тайное сожительство; он уже сам мечтает о ночи и об окутывающем землю мраке, одно стремление ставя выше всего остального — обладание. «Но слушай,— говорит Харита,— закутайся как можно плотнее в плащ, без всяких спутников, молча, в первую стражу ночи приходи к моим дверям, свистни один раз

и ждн моей кормилицы, которая у самого входа будет тебя караулить. Но и впустив тебя внутрь, она не зажжет огня, а в темноте проведет тебя в мою спальню».

11. Тразиллу понравилась такая мрачная обстановка будущих брачных свиданий. Не подозревая ничего дурного, волнуемый лишь ожиданием, он досадовал только, что так долго тянется день и медлит наступить вечер. Но вот наконец солнечный свет уступил место темноте ночи, и немедленно, одевшись, как приказала ему Харита, и попавшись в силки хитрой старухи, уже стоявшей на страже, полный надежд, проникает он в спальню. Тут старуха, исполняя наставления хозяйки, окружает его заботами и, вытащив тихонько чаши и сосуд с вином, к которому подмешано было снотворное зелье, объясняя отсутствие госпожи тем, что та задержалась будто бы у больного отца, потчует гостя; а он доверчиво и жадно опоражнивает чашу за чашей, так что сон без труда валит его с ног. Вот он уже лежит навзничь, любому враждебному действию доступный; с мужским сердцем в груди, в грозном порыве быстро входит на зов Харита и с криком останавливается над убийцей.

12. «Вот он,— восклицает,— верный спутник мужа моего, вот лихой охотник, вот милый супруг! Вот десница, кровь мою пролившая, вот грудь, где на мою погибель замышлялись лживые козни, вот глаза, которым в недобрый час я приглянулась и которые, предчувствуя каким-то образом тот мрак, что их ожидает, уже теперь вкушают будущие муки. Спокойно почивай, счастливых снов! Ни мечом, ни железом тебя не трону; да не будет того, чтобы одинаковой смертью с мужем моим ты сравнился! Очи умрут у тебя живого, и, кроме как во сне, ничего ты больше не будешь видеть. Так сделаю, что насильственную смерть врага своего сочтешь счастливее своей жизни. Света дневного видеть не будешь, в руке поводыря нуждаться будешь, Хариты обнимать не будешь, браком не насладишься, в смертный покой не погрузишься и жизнью радостной не усладишься, но бледной тенью будешь блуждать меж царством Орка и солнцем, долго искать будешь десницу, которая зениц тебя лишила, и, что в бедствиях тяжелее всего, не узнаешь даже, кто твой обидчик. Я же кровью из глаз твоих на гробнице моего Тлеполема совершу возлияние и душе блаженной его посвящу твои очи. Но зачем пользуешься ты отсрочкой казни, заслуженной тобою, и, быть может, грезишь о моих, губительных для тебя, объятиях! Оставь сумрак сна и проснись для другого мрака, мрака возмездия. Подними незрячее лицо свое, узнай отмщение, пойми свое бедствие, сочти свои беды! Так очи твои понравились це-

ломудренной женщине, так брачные факелы осветили свадебный чертог твой! Мстительницы будут у тебя свадебными подружками, а товарищем — слепота и вечные угрызения совести».

13. Провещав подобным образом, она вытаскивает из волос головную шпильку и наносит бесчисленные уколы Тразиллу в глаза, затем, оставив его совершенно лишенным зрения, пока тот, страдая от какой-то непонятной боли, стряхивает с себя хмель и сон, схватывает она обнаженный меч, который Тлеполем обычно носил у пояса, как безумная пускается бежать по городу и, без сомнения, замышляя какое-то новое злодеяние, направляется прямо к гробнице мужа. И мы, и весь народ, покинув свои дела, с усердием поспешили вслед за нею, уговаривая друг друга вырвать оружие из ее неистовых рук. Но Харита, встав рядом с гробом Тлеполема и заставя блистающим мечом всех расступиться, как увидела, что все горько плачут и отовсюду раздаются жалобные вопли, говорит: «Оставьте несносные ваши слезы, оставьте горе, недостойное моей доблести. Отомстила я кровавому убийце моего мужа, казнила зловещего похитителя моего счастья. Настает время, когда мечом этим найду дорогу я в загробный мир к моему Тлеполему».

14. И, рассказав все в подробностях, по порядку, о чем в сонном видении известил ее муж, и, в какую западню завлекши, покарала она Тразилла, вонзив меч себе под правую грудь, рухнула, обливаясь собственной кровью, и, пробормотав напоследок какие-то невнятные слова, испустила мужественный дух. Со старанием и тщанием обмыв тело несчастной Харитy, домочадцы погребли ее в той же усыпальнице, навеки возвращая мужу его супругу.

А Тразилл, узнав обо всем происшедшем и не в силах найти казни, которая искупила бы это бедствие, но уверенный, что смерть от меча недостаточна для такого преступления, приказал принести себя туда же, к той же гробнице, и, неоднократно воскликнув: «Вот вам, зловещие тени, добровольная жертва!» — плотно велел закрыть за собою двери в гробницу, избирая голод средством к уничтожению жизни, осужденный собственным приговором.

15. Вот что поведал юноша тяжело опечаленным поселянам, прерывая неоднократно свой рассказ глубокими вздохами и слезами. Те, опасаясь за свою участь при переходе в руки новых владельцев и горько оплакивая несчастье в доме хозяев, собираются бежать. А старший конюх, попечениям которого я был поручен с таким многозначительным наказом, собирает все ценное, что было припрятано у него в домишке, взваливает на

спину мне и другим вьючным животным и со всем скарбом покидает прежнее свое жилище. Мы везли на себе ребятишек и женщин, везли кур, воробьев, козлят, щенят; вообще все, что не могло достаточно быстро идти и служило помехой в бегстве, передвигалось посредством наших ног. Я не чувствовал тяжести груза, хотя он и был громаден, до такой степени был рад я, что убегаю и оставляю позади себя отвратительного оскопителя моей мужественности.

Перевалив через крутую, поросшую лесом гору и снова спустившись на ровное пространство полей, когда дорога в сумерках уже начала темнеть, достигли мы укрепленного поселка, многолюдного и богатого, жители которого отговаривали нас продолжать путь ночью и даже рано утром, так как вся окрестность, самые даже дороги наполнены были стаями огромных, чудовищных волков, отличающихся необычайной яростью и уже привыкших к нападениям и грабежам; подобно разбойникам, набрасывались они на прохожих и, от свирепого голода неистовствуя, совершали набеги на соседние усадьбы, и плачевная участь робких стад угрожает теперь жизни людей. К тому же о предстоящей нам дороге говорили, что она усеяна недоеденными трупами, вокруг белеют обглоданные кости, так что нам пускаться в путь надо с крайней осторожностью; прежде всего, опасаясь засад, которые могут подстерегать нас на каждом шагу, следует нам подождать, пока станет совсем светло, часть дня уже успеет пройти и солнце поднимется высоко, так как сам дневной свет сдерживает ярость нападений диких зверей; притом советовали нам идти не вразброд, а тесно сомкнутым строем, пока не минуем этих опасных мест.

16. Но негоднейшие беглецы, наши вожаки, в слепой и необдуманной поспешности и в страхе перед предполагаемой погоней, пренебрегли полезными советами и, не дождавшись близкого уже рассвета, около третьей стражи ночи навьючили нас и погнали к дороге. Страшась опасностей, о которых нам говорили, я, насколько мог, держался в самой середине толпы, старательно прячась за другими вьючными животными, и оберегал свой круп от звериного нападения; все начали уже удивляться моей прыти, так как я обгонял остальных ослов и лошадей. Но проворство это указывало не на мою быстроту, а скорее на мой испуг; по этому поводу мне пришло в голову, что, может быть, и пресловутый Пегас от страха сделался летучим и за это заслуженно прозван крылатым: прыгая в вышину и взлетая до самого неба, он на самом деле в ужасе уклонялся от укусов огненосной Химеры. Да и сами пастухи, которые подгоняли нас,

в предвидении схватки, запаслись оружием: у кого копье, у кого рогатина, один нес дротик, другой дубину, и каждый не забыл набрать камней, которыми обильно снабжала нас неровная дорога; были и такие, которые вооружились заостренными кольями, но большинство несло зажженные факелы, чтобы отпугивать зверей. Не хватало единственно сигнальной трубы, а то совсем был бы готовый к бою военный отряд. Но, отделавшись в этом отношении напрасным и пустым страхом, попали мы в худшую беду.

Волки, не то испугавшись шума, поднятого толпой молодежи, или яркого пламени факелов, не то в другом каком-нибудь месте гоняясь за добычей, не предпринимали никакого на нас нападения и даже поблизости не показывались.

17. Но обитатели какой-то усадьбы, мимо которой пришлось нам проходить, приняв нас за толпу разбойников, насмерть перепугались и, сильно опасаясь за целость своего имущества, выпустили на нас огромных бешеных псов, тщательно выдрессированных для сторожевой службы, более злых, чем волки и медведи, науськивая их обычным улюлюканьем и всевозможными криками. Собаки, злые от природы и к тому же рассвирепевшие от шума, поднятого хозяевами, нападают на нас и, окружив со всех сторон наш отряд, набрасываются и без всякого разбора принимаются яростно терзать вьючный скот и людей и многих сбивают с ног. Клянусь Геркулесом, не столько заслуживает это зрелище упоминания, сколько сострадания: собаки огромными сворами одни хватали убегающих, другие нападали на остановившихся, третьи набрасывались на свалившихся и по всему нашему отряду прошлись зубами. И вот к такой-то опасности присоединяется другая, еще худшая. Деревенские жители вдруг принялись со своих крыш и с соседнего пригорка бросать в нас камнями, так что мы уже и не знали, какой беды раньше остерегаться: вблизи собаки рвут, издали камни летят. Случилось, что один из камней неожиданно попал в голову женщине, сидевшей у меня на спине. От боли она начала плакать и звать на помощь своего мужа — того самого пастуха, что за мной присматривал.

18. Он стал призывать богов в свидетели, отирать кровь с лица у жены и кричать еще громче ее:

— Что нападаете на несчастных людей, страдальцев-путников, с такой жестокостью? Что нас притесняете? Какой наживы надо вам, за какие проступки мстите нам? Ведь не в звериных пещерах или диких трущобах живете вы, чтобы радоваться пролитью крови.

Не поспел он это сказать, как прекращается частый град каменьев и утихает, по команде, поднятая зловещими собаками буря. Тут один из крестьян с самой верхушки кипариса говорит:

— Мы разбойничали не из желания отнять ваши пожитки, а свои собственные от ваших рук защищали. Теперь же с миром и ничего не опасаясь можете продолжать ваш путь.

Так сказал он, и мы тронулись дальше, все по-разному пострадавшие,— кто от камней, кто от собак, но целым никто не остался. Пройдя некоторое расстояние, достигли мы какой-то рощи, состоявшей из высоких деревьев, украшенной зелеными лужайками, где нашим погонщикам захотелось остановиться для некоторого подкрепления сил, чтобы ревностно взяться за лечение своих пострадавших по разным причинам тел. И вот, растянувшись на земле, кто где, немного оправились от усталости, а потом спешат ранам оказать помощь различными средствами: тот обмывал кровь водой из протекавшего мимо ручья, один к опухоли смоченные уксусом губки прикладывал, другой обвязывал бинтом зияющие раны.

Так каждый по-своему заботился о своей поправке.

19. Между тем с вершины холма смотрел на нас какой-то старик, который пас мелкий скот; около него щипали траву козы. Кто-то из наших спросил его, нет ли у него для продажи свежего молока или молодого сыра. Но он долго качал головой и наконец говорит:

— И вы еще о еде и питье или вообще о каком-то отдыхе думаете! Неужели вы совсем не знаете, в каком месте находитесь?

И с этими словами собрал своих овечек и пошел прочь. Речь эта и его бегство немалый страх нагнали на наших пастухов. Покуда в ужасе стараются они догадаться, каким свойством обладает эта местность, и никого не находят, у кого бы спросить, приближается по дороге другой старик, высокий, обремененный годами, всем телом опираясь на палку, еле волоча ноги и обливаясь слезами; увидя нас, он еще пуще заплакал и, касаясь колен всех молодых людей по очереди, так взмолился:

20. — Заклинаю вас Фортуной и вашими гениями-хранителями, да доживете вы в веселье и здоровье до моего возраста, помогите старцу дряхлому и малютку моего, преисподней похищенного, верните моим сединам! Внучек мой и любезный спутник в этом путешествии захотел поймать воробышка, чирикавшего на заборе, и свалился в соседний ров, заросший сверху кустарником; жизнь его в крайней опасности, так как по стонам его и по тому, как поминутно дедушку зовет он на помощь,

слышу я, что он еще жив, но по слабости тела моего, как сами видите, помочь не могу. Вам же, молодостью и силой одаренным, легко оказать поддержку несчастнейшему старцу и доставить мне живым и здоровым самого младшего из моих потомков и единственного отпрыска.

21. Всех охватила жалость при виде того, как он молил, раздирая седины. А один из пастухов, и храбрее по духу, и летами моложе, и телом крепче, к тому же единственный вышедший без увечья из предыдущей схватки, быстро встает и, спросивши, в каком месте упал мальчик, без колебания идет вслед за стариком к густому кустарнику, на который он указал ему пальцем. Тем временем все отдохнули, раны залечили, нас накормили и, собравши пожитки, начали готовиться в дорогу. Сначала долго кликают по имени того юношу, наконец, обеспокоившись долгим его отсутствием, послали человека отыскать товарища, напомнить ему, что пора в путь, и привести с собой. Через некоторое время возвращается посланный, смертельно бледный, весь дрожит и удивительные вещи рассказывает про своего товарища, будто тот лежит навзничь, почти весь съеденный, а над ним — огромный дракон, грызущий его тело, старика же убогого пропал и след. Услышав это и сравнив рассказ посланного со словами пастуха, вожаки наши поняли, что дракон и есть тот самый жестокий обитатель этих мест, о котором их предупреждали, и, покинув опасную местность, проворно пускаются в бегство, погоняя нас частыми ударами палки.

22. Пройдя как можно скорее значительное расстояние, достигли мы наконец какого-то селения, где и отдыхали всю ночь. Там произошел случай, весьма достойный упоминания, и о нем я хочу рассказать.

Некий раб, который по поручению господина ведал всем его хозяйством и был к тому же управляющим огромного поместья — того самого, где мы остановились,— проживал здесь, женатый на рабыне из того же дома, но сгорал страстью к некой свободной женщине на стороне. Жена его, оскорбленная изменой, дотла сожгла все его расчетные книги и все, что хранилось в амбаре. Но, не чувствуя себя удовлетворенной и считая, что такой убыток — недостаточная месть за оскорбление ее брачного ложа, она обратила свой гнев против собственной плоти и крови и, вдев голову в петлю, привязав малютку, давно уже рожденного ею от того самого мужа, к той же самой веревке, бросилась вместе с младенцем в глубокий колодец. Хозяин очень разгневался, узнав об этой смерти, и, схватив раба, доведшего жену до такого преступления, велел раздеть его, всего

обмазать медом и крепко привязать к фиговому дереву. А в дупле этого дерева был муравейник, кишмя кишевший насекомыми, и муравьи тучами сновали туда и сюда. Как только они учуяли сладкий медовый запах, шедший от тела, то, глубоко впиваясь, хотя и мелкими, но бесчисленными и беспрерывными укусами, долго терзали, так что, съевши мясо и внутренности, начисто обглодали все кости, и к зловещему дереву оказался привязанным только сверкающий ослепительной белизной, лишенный всякой мякоти скелет.

23. Покинув и это отвратительное место нашей стоянки и оставив жителей в глубокой печали, поехали мы дальше и, проведя весь день в пути по равнинам, уже усталые, достигли некоего многолюдного и знаменитого города. Здесь те пастухи решили навсегда обосноваться, рассчитывая найти безопасное убежище от возможных преследований и привлекаемые благоприятной молвой об изобилии продовольствия. Вьючным животным дали три дня на восстановление сил, чтобы вид у нас был получше и легче было нас продать, потом вывели нас на базар, и, после того как глашатай громким голосом назвал цену каждого в отдельности, лошади и другие ослы были приобретены богатыми покупателями; а мимо меня, оставшегося напоследок в одиночестве, большей частью проходили с пренебрежением. Мне уже надоели все эти прикосновения покупателей, которые по зубам хотели узнать мой возраст, так что, когда кто-то вонючими пальцами уже в который раз принялся ощупывать мои десны, я схватил зубами грязную, зловонную руку и совершенно раздробил ее. Последнее обстоятельство оттолкнуло окружавших нас людей от покупки, так как они сочли меня за дикое животное. Тогда глашатай, надорвав горло и охрипнув, принялся за смешные прибаутки, прославляя мои достоинства:

— Долго ли нам еще без толку выводить на продажу такого мерина, старого, ослабевшего, с разбитыми ногами, безобразного от хвори и все же, несмотря на тупость и лень, норовистого, годного только разве что на решето для щебенки? Даже если бы даром его кому-нибудь отдать, так корму на него жалко.

24. Такими причитаниями глашатай вызывал хохот у присутствующих. Но жесточайшая судьба моя, от которой не смог я убежать, куда б ни бежал, и гнева которой не смог смягчить перенесенными уже бедствиями, снова обратила на меня слепые свои очи и чудесным образом послала покупателя, самого подходящего для жестоких моих испытаний. Судите сами: раз-

вратника, старого развратника, плешивого, но украшенного седеющими висячими локонами, одного из тех отбросов толпы, что, ударяя в систры и кастаньеты, по городам и селам нищенствуют, возя с собою изображение Сирийской богини. Воспылав жаждой купить меня, спрашивает он глашатая, откуда я родом; тот сообщает, что родом я из Каппадокии и достаточно крепенький. Тот дальше справляется о моем возрасте; оценщик отвечает шуткой:

— Некий астролог, составлявший его гороскоп, выдавал его за пятилетнего; впрочем, лучше всех, конечно, знает об этом он сам — по записям, сделанным его родителями в списках граждан. Хотя я и рискую умышленно погрешить против Корнелиева закона, если вместо раба римского гражданина тебе продам, но купишь ты верного и усердного слугу, который и в дороге и дома может тебе пригодиться.

Но тут ненавистный покупатель принялся задавать вопрос за вопросом и, наконец, с тревогой осведомляется, смирный ли я.

25. А глашатай отвечает:

— Овечка перед тобой, а не осел, любую работу исполняет спокойно, не кусается, не лягается — ну просто, можно сказать, скромный человек в ослиной шкуре. Это и проверить нетрудно. Всунь лицо ему между ляжек — легко узнаешь, сколь великое окажет он терпение.

Так глашатай издевался над этим развратником, но тот, поняв, что над ним насмехаются, притворно вознегодовал:

— А тебя, падаль, пусть сделают слепым, глухим и полоумным крикуном всемогущая и всерождающая Сирийская богиня, святой Сабадий, Беллона, и Идейская матерь, и владычица Венера вместе со своим Адонисом за то, что столько времени пристаешь ко мне со своими нелепыми шутками! Что же ты, глупец, думаешь, будто я могу вверить богиню непокорному вьючному животному, чтобы он внезапным толчком сбросил божественное изображение, а я, несчастный, принужден был бегать с растрепанными волосами и искать какого-нибудь лекаря для поверженной наземь богини?

При таких речах вдруг пришло мне в голову прыгнуть, как сумасшедшему, чтобы меня приняли за непокорного и дикого и торг не состоялся. Но замысел мой предупредил беспокойный покупатель, поспешивший уплатить семнадцать денариев; желавший отделаться от меня хозяин с удовольствием принял деньги и сейчас же, взяв меня за узду, сплетенную из альфы, передал Филебу — этим именем назывался новый мой владелец.

26. Тот, получив нового слугу, повел меня к своему дому и, едва ступил на порог, закричал:

— Девушки, вот я вам с рынка хорошенького раба привел!

А девушки эти оказались толпой развратников, которые сейчас же возликовали нестройным хором ломающихся, хриплых, пискливых голосов, думая, что для их услуг действительно припасен какой-нибудь невольник; но, увидя, что не дева подменена ланью, а мужчина — ослом, они сморщили носы и стали по-всякому издеваться над своим наставником, говоря, что не раба он купил, а мужа — для себя, конечно.

— Смотри только,— твердили,— не слопай один такого восхитительного цыпленочка, дай и нам, твоим голубкам, иногда попользоваться.

Болтая между собою таким образом, они привязали меня к яслям возле дома. Был среди них какой-то юноша, достаточно плотного телосложения, искуснейший в игре на флейте, купленный ими на рабском рынке на те пожертвования, что они собирали, который, когда они носили по окрестностям статую богини, ходил вместе с ними, играя на трубе, а дома без разбора служил общим любовником. Как только он увидел меня в доме, охотно и щедро засыпал мне корма и весело проговорил:

— Наконец-то явился заместитель в несчастных моих трудах! Только живи подольше и угоди хозяевам, чтобы отдохнули уже уставшие мои бока.

Услышав такие слова, я призадумался об ожидающих меня новых невзгодах.

27. На следующий день, надев пестрые одежды и безобразно размалевав лицо краской грязно-бурого цвета, искусно подведя глаза, выступили они, украсившись женскими повязками и шафрановыми платьями из полотна и шелка; на некоторых были белые туники, поддерживаемые поясами, разрисованные узкими пурпурными полосками, напоминавшими маленькие копья в полете, ноги обуты в желтые туфли; а изображение богини, закутанное в шелковый покров, водрузили они на меня; сами же, обнажив руки до плеч, несли огромные мечи и секиры и прыгали с криками, возбуждаемые звуками флейты, в бешеном священном танце. Миновали они немало хижин и наконец достигли дома зажиточного хозяина; как только они вступили в него, сейчас же воздух огласился нестройными воплями, и они в исступлении принялись носиться, опустив голову, стремительными движениями поворачивая шею, так что свисающие волосы развевались, образуя круг; некоторые на бегу кусали свои плечи

и, наконец, двусторонними ножами, которые при них были, руки себе начали полосовать. Один из них особенно старался: из глубины груди вырывалось у него прерывистое дыхание, и он изображал дикое исступление, словно на него снизошел дух божий, как будто божеское присутствие, вместо того чтобы совершенствовать человека, делает его немощным и больным.

28. Но смотри, какое вознаграждение заслужил он от небесного провидения! Притворно начал он громогласным вещанием поносить самого себя и обвинять в том, будто он каким-то образом преступил священные законы религии; потом кричит, что должен от собственных рук получить справедливое возмездие. Наконец схватывает бич — своего рода оружие этих полумужчин, одним им свойственное,— сплетенный из полосок лохматой шерсти с длинной бахромой и овечьими косточками различной формы на концах, и принимается наносить себе узелками этими удары, защищенный от боли необычайным присутствием духа. Можно было видеть, как от порезов мечом и от ударов бичом земля увлажнилась нечистой кровью этих скопцов. Обстоятельство это возбудило во мне немалую тревогу; при виде такого количества крови, вытекавшей из многочисленных ран, подумал я: «А вдруг случится так, что желудок странствующей богини пожелает ослиной крови, как некоторые люди бывают охочи до ослиного молока?» Наконец, не то утомясь, не то удовлетворясь бичеванием, прекратили они кровопролитие и стали собирать и складывать за пазуху, где места было довольно, медные и даже серебряные деньги, которые наперебой протягивали им многочисленные жертвователи; кроме того, дали им бочку вина, молока, сыра, немного муки разных сортов, а некоторые подали и ячменя для носителя богини; все это они с жадностью забрали и, запихав в специально для подобной милостыни приготовленные мешки, взвалили мне на спину, так что, выступая под тяжестью двойной поклажи, был я одновременно и храмом и амбаром.

29. Таким образом, переходя с места на место, они обирали все окрестности. Придя наконец в какое-то селение, на радостях по случаю хорошей поживы решили они устроить веселое пиршество. Посредством ложного предсказания выманили они у какого-то крестьянина самого жирного барана, чтобы удовлетворить этой жертвой алчущую Сирийскую богиню, и, приготовив все как следует к ужину, идут в баню; помывшись там, они приводят с собою как сотрапезника здоровенного мужика, щедро наделенного силой бедер и паха; не поспели они закусить кое-какими овощами, как, не выходя из-за стола, грязные

эти скоты почувствовали бесстыдные позывы к крайним выражениям печально знаменитой похоти, окружили толпой парня, раздели, повалили навзничь и принялись осквернять гнусными своими губами. Не могли глаза мои выносить долго такого беззакония, и я попытался воскликнуть:

— На помощь, квириты!

Но никаких звуков и слогов у меня не вышло, кроме ясного, громкого, поистине ослиного «о». Раздалось же оно совершенно не ко времени, потому что из соседнего села прошлой ночью украли осленка, и несколько парней отправились его отыскивать, с необыкновенной тщательностью обшаривая каждый закуток; услышав мой рев в закрытом помещении и полагая, что в доме прячут похищенное у них животное, они, чтобы лично наложить руку на свою собственность, неожиданно всей гурьбой вваливаются в комнату, и очам их предстает гнусная пакость; тотчас они сзывают соседей и всем рассказывают про позорнейшее зрелище, поднимая на смех чистейшее целомудрие священнослужителей.

30. Удрученные таким позором, молва о котором, быстро распространившись, по заслугам сделала их для всех отвратительными и ненавистными, они около полуночи, забрав все свои пожитки, потихоньку покинули селение; проделав добрую часть пути до утренней зари и уже при ярком солнечном свете достигнув какого-то безлюдного места в стороне от дороги, они долго совещались между собой, а затем, решив предать меня смерти, сняли с меня изображение богини и положили ее на землю, освободили меня от всякой сбруи, привязали к какому-то дубу и своим бичом с бараньими косточками так отхлестали, что я едва не испустил дух; был один среди них, который все грозился своей секирой подрезать мне поджилки за то, что я будто бы нагло попрал его целомудрие, на котором не было, разумеется, ни пятнышка, но остальные, думая не столько о моем спасении, сколько о лежащей на земле статуе, сочли за лучшее оставить меня в живых. Итак, снова нагрузив меня и угрожая ударами мечей плашмя, доезжают они до какого-то прославленного города. Одно из первых лиц города, и вообще-то человек благочестивый, но особенно чтивший нашу богиню, заслышав бряцание кимвалов и тимпанов и нежные звуки фригийских мелодий, выбежал навстречу и, по данному им когда-то обету, предложил богине гостеприимство, нас всех разместил внутри ограды просторного своего дома, божество же старался умилостивить знаками самого глубокого почитания и обильными жертвами.

31. Здесь, как помню, жизнь моя подверглась величайшей опасности. Какой-то крестьянин послал в подарок своему господину, у которого мы остановились, часть своей охотничьей добычи — огромный и жирный олений окорок; повесить его имели неосторожность возле кухонных дверей недостаточно высоко, так что какая-то собака, тоже своего рода охотник, тайком его стащила и, радуясь добыче, покуда никто ее не увидел, скорее подальше утащила. Обнаружив пропажу и коря себя за небрежность, повар долгое время проливал бесполезные слезы, а потом, удрученный тем, что хозяин, того и гляди, потребует обеда, и вообще перепуганный сверх всякой меры, простился с малолетним сыном своим и, взяв веревку, собирался повеситься. Несчастный случай с мужем не ускользнул от глаз его верной жены. Крепко ухватившись обеими руками за роковую петлю, она говорит:

— Неужели ты так перетрусил из-за этого несчастия, что совсем лишился разума и не видишь простого выхода, который посылает тебе божественный промысел? Если в крайнем этом смятении, воздвигнутом судьбою, сохранил ты хоть каплю здравого смысла, выслушай меня внимательно: отведи этого чужого осла в какое-нибудь скрытое место и там зарежь, отдели его окорок так, чтобы он напоминал пропавший, получше и повкуснее приготовь его с подливой и подай хозяину вместо оленьего.

Негодному плуту улыбнулась мысль спастись ценой моей жизни. И, горячо похвалив свою подругу за находчивость, он принялся точить ножи для живодерства, которое считал уже делом решенным.

«Золотой осел»
Б. Дехтерев

1. Так негоднейший кровопийца готовил против меня оружие, я же, видя настоятельную необходимость принять какое-либо решение в столь опасную минуту и не тратя времени на долгие размышления, почел за лучшее бегством избавиться от надвигающейся гибели и, сейчас же оборвав веревку, которой был привязан, со всех ног пускаюсь удирать, для пущей безопасности поминутно лягаясь. Быстро пробежав ближайший портик, тут же врываюсь я в столовую, где хозяин дома давал жертвенный пир жрецам богини, и в своем стремительном беге разбиваю и опрокидываю немало столовой посуды и даже пиршественных столов. Недовольный таким безобразным разгромом, хозяин отдает приказание меня, как животное резвое и норовистое, увести и со всем тщанием запереть в каком-нибудь надежном месте, чтобы я вторичным буйным появлением не нарушил мирной трапезы. Ловко защитив себя такой хитрой выдумкой и вырвавшись из самых рук палача, я радовался спасительному для меня заточению.

Но вот уж правда, что Фортуна никогда не позволяет человеку, родившемуся в несчастливый час, сделаться удачником, и роковое предначертание божественного промысла невозможно отвратить или изменить ни благоразумным решением, ни мудрыми мерами предосторожности. Так и в моем деле: та самая выдумка, что на минуту, казалось, обеспечивала мне спасенье, подвергла меня страшной опасности и, больше того, чуть не довела до настоящей гибели.

2. В то время как слуги о чем-то перешептывались между собой, вдруг в столовую вбегает какой-то мальчик с перекошенным, трясущимся лицом и докладывает хозяину, что бешеная собака недавно каким-то чудом ворвалась из соседнего пере-

улка к ним во двор через заднюю калитку и с дикой яростью набросилась на охотничьих собак, а потом кинулась в ближайшие конюшни и там с таким же неистовством напала на вьючный скот, наконец даже людей не пощадила: Миртила — погонщика мулов, Гефестиона-повара, Гипатея-спальника, Аполлония-лекаря, да и кроме этих множество других слуг, которые пытались ее прогнать, перекусала и сильно изранила; некоторые животные, пораженные ее ядовитыми укусами, проявляют несомненные признаки такого же бешенства. Известие это всех очень взволновало, так как они решили, что и я буйствовал по той же причине. И вот, вооружившись всякого рода оружием, призывая друг друга отвратить от себя общую смертельную опасность, гонятся они за мной, сами, скорее, страдая тем же недугом — безумием. Несомненно, они бы на куски искрошили меня копьями, рогатинами, а в особенности двусторонними топорами, которые тут же могли бы подать им слуги, если бы я, приняв во внимание всю опасность этой грозной минуты, не бросился в комнату, где расположились мои хозяева. Тогда меня обложили осадой, затворив снаружи двери, чтобы, не подвергаясь опасности схватки со мной, дождаться, пока я постепенно испущу дух во власти неизлечимого, безнадежного бешенства. Таким образом, мне предоставлена была наконец свобода, и, получив счастливую возможность остаться в одиночестве, я бросился на приготовленную постель и заснул по-человечески, как не спал уже долгое время.

3. Было уже совсем светло, когда я, отдохнув от усталости на мягкой постели, бодро вскакиваю и слышу, как те, что провели всю ночь без сна на посту, карауля меня, переговариваются о моей судьбе:

— Неужели до сих пор еще несчастный осел этот не сбросил с себя бремени бешенства?

— Наоборот, силою припадка яд болезни совсем истощился.

Чтобы положить конец таким разногласиям, решили исследовать дело и, заглянув в какую-то щелку, видят, что я спокойно стою, здоров и невредим. Тогда уже сами, открыв дверь пошире, хотят они испытать, и в самом ли деле стал я ручным. Тут один из них, прямо небом ниспосланный мне спаситель, предлагает остальным такой способ проверки моего здоровья: чтобы дали мне для питья полное ведро свежей воды; если я без колебаний, как обычно, буду пить, не проявляя никакого неудовольствия, значит, я здоров и хворь прошла без остатка; если же, наоборот, я в страхе буду избегать вида и прикоснове-

ния влаги, тогда, несомненно, зловредное бешенство упорно продолжается; такой способ передан нам еще стародавними книгами и пользуется широким употреблением.

4. Предложение это понравилось, и сейчас же поспешно огромный сосуд наполняют прозрачной водой из ближайшего источника и, все еще в нерешительности, приносят ко мне. Я без всякого промедления сам даже иду навстречу и, томясь сильной жаждой, наклоняюсь, погружаю в сосуд всю голову и выпиваю спасительную (вот уже поистине спасительную) воду. Кротко терплю я и похлопыванье рукой, и поглаживанье по ушам, и подергивание за уздечку, и всякие другие испытания, пока, вопреки их безумной подозрительности, ясно не доказал свое послушание.

Избегнув, таким образом, двойной опасности, на следующий день, нагруженный священными пожитками, с кастаньетами и кимвалами, пускаюсь я, нищий бродяга, снова в путь. Обойдя немало хижин и усадеб, заворачиваем мы в одно селение, построенное, как говорили старожилы, на развалинах некогда богатого города, и, пристав в ближайшей гостинице, узнаем там забавную историю о любовном приключении в семье какого-то бедняка, которой я хочу и с вами поделиться.

5. Жил один ремесленник в крайней бедности, снискивая пропитание скудным своим заработком. Была у него женка, у которой тоже за душой ничего не было, но которая пользовалась, однако, известностью за крайнее свое распутство. В один прекрасный день, только что выходит он утром на свою работу, как в дом к нему потихоньку пробирается дерзкий любовник. И пока они беззаботно предаются битвам Венеры, неожиданно возвращается муж, ничего не знавший о таких делах, даже не подозревавший ничего подобного. Найдя вход закрытым и запертым, он еще похвалил осторожность своей жены, стучит в дверь и даже свистит, чтобы дать знать о своем присутствии. Тут продувная баба, очень ловкая в таких проделках, выпустив любовника из своих крепких объятий, незаметно прячет его в бочку, которая стояла в углу, наполовину зарытая в землю, но совсем пустая. Потом она отворяет двери, и не поспел муж переступить порог, как она набрасывается на него с руганью:

— Чего же ты у меня праздно слоняешься попусту, сложивши руки? Чего не идешь, как обычно, на работу? О жизни нашей не радеешь? О пропитании не заботишься? А я, несчастная, день и ночь силы свои надрываю за пряжей, чтобы хоть лампа в нашей конуре светила! Насколько счастливее меня со-

седка Дафна, которая с утра, наевшись досыта и напившись допьяна, с любовниками валяется!

6. Муж, сбитый с толку подобным приемом, отвечает:

— В чем дело? Хозяин, у которого мы работаем, занят в суде и нас распустил; но все-таки, как нам пообедать сегодня, я промыслил. Видишь эту бочку? Всегда она пустая, только место даром занимает, и пользы от нее, право, никакой нет, только что в доме от нее теснота. Ну, вот я и продал ее за пять денариев одному человеку, он уже здесь, расплатится сейчас и свою собственность унесет. Так что ты подоткнись и немного помоги мне — надо вытащить ее из земли, чтобы отдать покупателю.

Услышав это, обманщица, сразу сообразив, как воспользоваться подобным обстоятельством, с дерзким смехом отвечает:

— Вот муженек-то достался мне так муженек! Бойкий торговец: вещь, которую я, баба, дома сидя, когда еще за семь денариев продала, за пять спустил!

Обрадовавшись надбавке, муж спрашивает:

— Кто это тебе столько дал?

Она отвечает:

— Да он, дурак ты этакий, давно уже в бочку залез посмотреть хорошенько, крепкая ли она.

7. Любовник не пропустил мимо ушей слов женщины и, быстро высунувшись, говорит:

— Хочешь ты правду знать, хозяйка? Бочка у тебя чересчур стара и много трещин дала,— затем, обратясь к мужу и как будто не узнавая его, добавляет: — Дай-ка мне сюда, любезный, кто б ты там ни был, поскорей лампу, чтобы я, соскоблив грязь внутри, мог видеть, годится ли она на что-нибудь — ведь деньги-то у меня не краденые, как по-твоему?

Не долго думая и ничего не подозревая, усердный и примерный супруг этот зажег лампу и говорит:

— Вылезай-ка, брат, и постой себе спокойно, покуда я тебе сам ее хорошенько вычищу.— С этими словами, скинув платье и забрав с собою светильник, принимается он отскребать многолетнюю корку грязи с гнилой посудины. А любовник, молодчик распрекрасный, нагнул жену его к бочке и, пристроившись сверху, безмятежно обрабатывал. Да к тому же распутная эта пройдоха просунула голову в бочку и, издеваясь над мужем, пальцем ему указывает, где скрести, в том месте да в этом месте, да опять в том, да опять в этом, пока не пришли оба дела к концу, и, получив свои семь денариев, злополучный ремеслен-

ник принужден был на своей же спине тащить бочку на дом к любовнику своей жены.

8. Чистейшие священнослужители, пробыв там несколько дней, откормившись за счет общественной щедрости и набив кошельки обильной данью за свои предсказания, придумали новый способ добывать деньги. Установив одно общее прорицание на различные случаи жизни, таким манером дурачили они многих людей, спрашивавших у них совета по самым разнообразным поводам. Прорицание гласило следующее:

Быки в запряжке пашут землю для того,
Чтобы посевам впредь привольно зеленеть.

Случалось ли, что желающие вступить в брак спрашивали совета, они уверяли, что ответ попадет как раз в цель: сопряженные супружеством произведут многочисленное потомство; если запрашивал их человек, собирающийся приобрести именье, то оракул говорил правильно о быках, запряжке и полях с цветущими посевами; хотел ли кто получить божественное указание, беспокоясь насчет предстоящего путешествия,— вот уже готова ему упряжка самых смирных четвероногих, а посев сулит барыш; добивался ли кто ответа, удачно ли окончится предстоящее сражение или преследованье разбойничьей шайки, они утверждали, что прорицание благоприятно и знаменует полную победу, так как головы врагов склонятся под ярмо и будет захвачена обильная и богатая добыча.

Этим мошенническим прорицанием вытянули они немало денег.

9. Но так как от слишком частых обращений за советами толкования их истощились, они снова пустились в дорогу, но в какую дорогу! — гораздо хуже той, которою шли мы как-то ночью. Посудите сами: была она вся перерыта глубокими канавами, частью залита стоячей водой, в других местах скользкая от липкой грязи. То и дело ушибаясь и беспрерывно падая, искалечил я себе все ноги и с большим трудом смог наконец выбраться на ровную дорогу, как вдруг неожиданно сзади нагоняет нас отряд всадников, вооруженных дротиками. С трудом сдержав своих разгоряченных скакунов, они стремительно набрасываются на Филеба и прочих спутников и, схватив их за горло, принимаются избивать, называя гнусными святотатцами; всем надевают ручные кандалы и наседают на них, беспрерывно осыпая угрозами:

— Подавайте-ка, подавайте лучше сюда золотую чашу, которая соблазнила вас и толкнула на преступление! Под пред-

логом тайного богослужения вы потихоньку стянули ее прямо со священных подушек Матери Богов и сразу же, как будто можно избежать кары за такое злодеяние, едва забрезжил рассвет, никого не предупредив, покинули стены города.

10. Нашелся человек, который стал шарить у меня на спине и, запустив руку под одежды самой богини, которую я нес, у всех на глазах нашел и вынул золотую чашу. Но даже столь гнусное преступление не смогло смутить или испугать эту грязную шайку; с притворным смехом стали они придумывать отговорки:

— Что за странное и недостойное дело! Как часто подвергаются опасностям невинные люди! Из-за какой-то одной чашечки, которую Мать Богов преподнесла в подарок своей сестре, Сирийской богине, возводить уголовное обвинение на служителей божества!

Но напрасно несли они этот и тому подобный вздор: крестьяне поворачивают их обратно и, немедленно связав, бросают в Туллианум, чашу же и само изображение богини, которое я возил, поместили в храмовую сокровищницу как пожертвование, а меня на следующий день вывели снова на базар и, воспользовавшись услугами глашатая, продали на семь нуммов дороже той цены, за которую прежде купил меня Филеб, некоему мельнику из ближайшего местечка. Он сейчас же как следует нагрузил меня тут же купленным зерном и по тяжелой дороге, заваленной острыми каменьями и заросшей всевозможными корнями, погнал к мельнице, где он работал.

11. Там непрерывно ходило по нескольким кругам множество вьючного скота, вращением своим приводя в движение разные жернова; машины безостановочно вертелись, не зная отдыха, и размалывали зерно на муку не только целый день, но и всю ночь напролет. Но меня новый хозяин, вероятно, для того чтобы я с самого начала не испугался своей службы, поместил роскошно, как знатного иностранца.

Первый день позволил он мне провести в праздности и в ясли обильно засыпал корм. Но дольше дня не продолжалось это блаженное состояние праздности и сытной кормежки: на следующий день с утра ставят меня к самому большому на вид жернову и гонят с завязанными глазами по дну кривой, извилистой борозды, чтобы, описывая бесконечное количество раз один и тот же круг, я не сбивался с проторенного пути. Не совсем еще забыв свою хитрость и благоразумие, я притворился непонятливым к своей новой задаче; хотя в бытность свою человеком я видывал не раз, как приводятся в движение подобные

машины, однако прикинулся, будто остолбенел, ничего не зная и не понимая: я рассчитывал, что меня признают совершенно неспособным и бесполезным к такого рода занятиям и отошлют на какую-нибудь более легкую работу или просто оставят в покое и будут кормить. Но напрасно я выдумал эту зловредную хитрость. Так как глаза у меня были завязаны, то я не подозревал, что окружен был целой толпой, вооруженной палками, и вдруг по данному знаку со страшным криком все стали наносить мне удары, и до того был я перепуган их воплем, что, отбросив все рассуждения, налег что было мочи на лямку, сплетенную из альфы, и пустился со всех ног по кругу. Такая внезапная перемена образа мыслей вызвала общий хохот у присутствующих.

12. Когда бóльшая часть дня уже прошла и я совсем выбился из сил, меня освободили от постромок, отвязали от жернова и отвели к яслям. Хотя я падал от усталости, настоятельно нуждался в восстановлении сил и умирал от голода, однако присущее мне любопытство тревожило меня и не давало покоя, так что я, не притронувшись к корму, в изобилии мне предоставленному, не без интереса принялся рассматривать неприглядное устройство всего заведения. Великие боги, что за жалкий люд окружал меня! Кожа у всех была испещрена синяками, драные лохмотья скорее бросали тень на исполосованные спины, чем прикрывали их, у некоторых короткая одежонка до паха едва доходила, туники у всех такие, что тело через тряпье сквозит, лбы клейменые, полголовы обрито, на ногах цепи, лица землистые, веки разъедены дымом и горячим паром, все подслеповаты, к тому же на всех мучная пыль, как грязно-белый пепел, словно на кулачных бойцах, что выходят на схватку не иначе, как посыпавшись мелким песком.

13. Что же я скажу, какими красками опишу моих сотоварищей по стойлам? Что за старые мулы, что за разбитые клячи! Столпившись вокруг яслей и засунув туда морды, они пережевывали кучи мякины; шеи, покрытые гнойными болячками, были раздуты, дряблые ноздри расширены от постоянных приступов кашля, груди изранены от постоянного трения лямки из альфы, непрерывные удары бича по бокам обнажили ребра, копыта безобразно расплющены вечным кружением по одной и той же дороге, и вся их иссохшая шкура покрыта застарелой коростой. Испуганный зловещим примером такой компании, вспомнил я былую судьбу Луция и, дойдя до границ отчаяния, поник головой и загрустил. И в мучительной жизни моей одно-единственное осталось мне утешение: развлекаться по врожден-

ному мне любопытству, глядя на людей, которые, не считаясь с моим присутствием, свободно говорили и действовали как хотели. Не без основания божественный творец древней поэзии у греков, желая показать нам мужа высшего благоразумия, воспел человека, приобретшего полноту добродетели в путешествиях по многим странам и в изучении разных народов. Я сам вспоминаю свое существование в ослином виде с большой благодарностью, так как под прикрытием этой шкуры, испытав превратности судьбы, я сделался если уж не благоразумным, то, по крайней мере, многоопытным. Вот, например, прекрасная история, забавная, лучше всех прочих, которую я решил довести до вашего слуха.

14. Мельнику этому, который приобрел меня в свою собственность, человеку хорошему и чрезвычайно скромному, досталась на долю жена прескверная, гораздо хуже всех остальных женщин, до такой степени нарушавшая законы брачного ложа и семейного очага, что, клянусь Геркулесом, даже я втихомолку о хозяине не раз вздыхал. Не было такого порока, с которым не зналась бы эта негоднейшая женщина, но все гнусности в нее стекались, словно в смердящую выгребную яму: злая, шальная, с мужиками шляется, пьяная валяется, упорная, непокорная, в гнусных хищениях жадная, в позорном мотовстве щедрая, ненавистница верности, враг скромности. Презирая и попирая священные законы небожителей, исполняя вместо этого пустые и нелепые обряды какой-то ложной и святотатственной религии и утверждая, что чтит единого бога, всех людей и несчастного мужа своего вводила она в обман, сама с утра предаваясь пьянству и постоянным блудом оскверняя свое тело.

15. Эта почтенная женщина преследовала меня с какой-то удивительной ненавистью. Чуть свет, еще лежа в постели, кричала она, чтобы привязывали к жернову недавно купленного осла; не поспеет выйти из спальни — приказывает, чтобы в ее присутствии доставалось мне как можно больше ударов; когда настанет время кормежки и прочие вьючные животные отдыхают, отдает приказание, чтобы меня подольше не подпускали к яслям. Такой жестокостью она еще больше усилила мое природное любопытство, направив его на себя самое и на свой характер. Я слышал, что очень часто к ней в спальню ходит один молодой человек, и мне до крайности хотелось увидеть его в лицо, но повязка на моих глазах лишала их прежней свободы действия. Если бы не эта повязка, уж у меня хватило бы хитрости разоблачить каким-нибудь способом преступления

этой подлой женщины. Ежедневно с утра при ней находилась некая старуха, посредница в ее прелюбодеяниях, посыльная ее любовников. Сначала они с ней позавтракают, затем, потчуя друг друга неразбавленным вином, друг друга подзадоривая, начинают замышлять коварные планы насчет того, как бы хитрыми обманами погубить несчастного мужа. И я, хотя и сильно негодовал на ошибку Фотиды, которая меня вместо птицы обратила в осла, утешался в горестном превращении моем единственно тем, что благодаря огромным ушам отлично все слышал, даже если говорили довольно далеко от меня.

16. В один прекрасный день до моих ушей донеслись такие речи бесчестной этой старушонки:

— Ну уж, сама суди, хозяюшка, какой, без моих-то советов, достался тебе дружок — ленивый да трусливый, стоит постылому и ненавистному твоему мужу нахмурить брови, у того и душа в пятки; терзает он через то твою любовную жажду своею вялою робостью. Насколько лучше Филезитер: и молод, и хорош, щедр, устали не знает, а уж как ловко мужей обходит — все их меры предосторожности бесполезны! Клянусь Геркулесом, он единственный, кто достоин пользоваться благосклонностью всех женщин, единственный, кого следует увенчать золотым венком, хотя бы даже за ту необыкновенную проделку, что на днях устроил он очень ловко с одним ревнивым супругом. Да вот послушай и сравни, все ли любовники одинаковы.

17. Ты знаешь некоего Барбара, декуриона нашего города, которого народ за язвительность и жестокость называет Скорпионом? Жену свою благородного происхождения и одаренную замечательной красотою он оберегает с таким удивительным рвением, что из дому почти не выпускает.

Тут мельничиха прерывает ее:

— Как же, прекрасно знаю. Ты имеешь в виду Арету, мы с нею в школе вместе учились!

— Значит,— говорит старуха,— ты и всю ее историю с Филезитером знаешь?

— Ничего подобного,— отвечает,— но сгораю желанием узнать ее и молю тебя, матушка, все по порядку мне расскажи.

Неутомимая болтунья не заставила себя просить и начинает так:

— Пришлось Барбару этому отправиться в дорогу, и желал он целомудрие супруги своей дражайшей оградить от всяких опасностей как можно лучше. Призывает он к себе тайком раба Мирмекса, известного своею необычайной преданностью, и ему

одному поручает весь присмотр за хозяйкой; пригрозив тюрьмой, пожизненными оковами и, наконец, насильственной позорной смертью, если какой-либо мужчина даже мимоходом, хоть пальцем дотронется до нее, слова свои подкрепляет он клятвою, вспоминая всех богов. Оставив перепуганного Мирмекса неотступным провожатым при хозяйке, он спокойно отправляется в путь. Крепко запомнив все наставления, неугомонный Мирмекс не позволял никуда и шагу ступить своей хозяйке. Займется ли она домашней пряжей — он тут же сидит неотлучно, необходимо ли ей на ночь пойти помыться — только тогда и выходила она из дома,— он идет за ней по пятам, будто прилип, держась рукою за край ее платья; с таким удивительным рвением исполнял он порученное ему дело.

18. Но от пылкой зоркости Филезитера не могла укрыться прославленная красота этой женщины. Возбужденный и воспламененный в особенности молвой о ее целомудрии и невероятной бдительностью надзора, он, готовый что угодно сделать, чему угодно подвергнуться, решил пустить в ход все средства, чтобы завоевать этот дом с его непоколебимо строгими порядками. Уверенный в хрупкости человеческой верности и зная, что деньги прокладывают себе дорогу через все трудности и что даже стальные двери могут быть сломлены золотом, он нашел случай встретить Мирмекса наедине, открылся ему в своей любви и умолял оказать помощь ему в его мучениях; он говорил, что близкая смерть для него твердо решена, если он не добьется своего в самом скором времени, а раб не должен ничего опасаться в таком простом деле: вечером, без спутников, под надежным покровом мрака он может пробраться в дом и через короткое время выйти обратно. К этим и подобного рода просьбам он добавляет могучий клин, способный своим неудержимым натиском расщепить упрямую непоколебимость раба: он протягивает руку и показывает блестящие, новенькие полновесные золотые, из которых двадцать предназначались молодой женщине, а десять он охотно предлагал ему.

19. Мирмекс, придя в ужас от неслыханного преступного замысла, заткнул уши и убежал прочь. Но пред глазами его все стоял пламенный блеск золота; хотя он был уже очень далеко и быстрым шагом дошел до дому, все ему чудилось прекрасное сияние монет, и богатая добыча, которой в своем воображении он уже владел, привела ум его в страшное расстройство; мысли у бедняги разбежались в разные стороны и разрывали его на части: там — верность, тут — нажива, там — муки, тут — наслаждение. Наконец страх смерти был побежден золотом.

Страсть его к прекрасным монетам нисколько не уменьшилась с течением времени, но даже во сне мысли наполнены были губительной алчностью, и хотя хозяйские угрозы не позволяли ему отлучаться из дому, золото звало его за двери. Тут, поборов стыдливость и отбросив нерешительность, передает он предложение хозяйке. Та не отступает от обычного женского легкомыслия и живо обменивает свое целомудрие на презренный металл. Исполненный радости, спешит Мирмекс окончательно погубить свою верность, мечтая даже не получить, но хотя бы прикоснуться к тем деньгам, которые на горе себе увидел. С восторгом извещает он Филезитера, что его усиленными стараниями желание юноши исполнено, сейчас же требует обещанной платы, и вот золотые монеты у него в руке, которая и медных-то не знавала.

20. Когда совсем смерклось, провел он ретивого любовника одного с плотно закутанной головой к дому, а потом и в спальню хозяйки. Только что не испытанными еще объятиями начали чествовать они новорожденную любовь, только что, обнаженные ратоборцы, начали они свою службу под знаменами Венеры, как вдруг, против всякого ожидания, воспользовавшись мраком ночи, у дверей своего дома появляется муж. И вот он уже стучит, кричит, камни бросает в ворота, и так как промедление кажется ему все более и более подозрительным, грозит Мирмексу жестокой расправой. А тот, насмерть перепуганный внезапной бедою и в жалком своем трепете потеряв последнее соображенье, ничего не мог придумать лучшего, как сослаться на то, что он тщательно запрятал куда-то ключ и в темноте не может его найти. Меж тем Филезитер, услышав шум, наскоро накинул тунику и, совершенно забыв впопыхах обуться, босиком выбежал из спальни. Наконец Мирмекс вкладывает ключ в скважину, открывает двери и впускает изрыгающего проклятья хозяина; тот немедленно бросается в спальню, а Мирмекс тем временем потихоньку выпускает Филезитера. Почувствовав себя в безопасности, после того как юноша переступил порог, он запер двери и пошел снова спать.

21. Барбар же выходит чуть свет из своей комнаты и видит под кроватью чужие сандалии — те, в которых Филезитер к нему прокрался. Догадываясь по этой улике, в чем дело, он никому, ни жене, ни домочадцам, ничего не сказал о своем огорчении, а взял эти сандалии и спрятал их потихоньку за пазуху. Только приказал рабам связать Мирмекса и вывести на базарную площадь, и сам, то и дело подавляя рычания, не раз рвавшиеся из его груди, поспешил туда же, будучи уверен, что по

этим сандалиям он очень легко может напасть на след прелюбодея. Идут они по улице, Барбар в гневе, с раздраженным лицом, нахмуренными бровями, и позади него связанный Мирмекс, который, не будучи пойман с поличным, но мучимый угрызениями совести, заливается слезами и напрасно старается горькими жалобами вызвать к себе сострадание. К счастью, случайно навстречу им попался Филезитер, шедший совсем по другому делу. Взволнованный, но не испуганный неожиданным зрелищем, он вспомнил, какую второпях совершил оплошность, сразу сообразил возможные последствия и со свойственным ему присутствием духа, растолкав рабов, со страшным криком набрасывается на Мирмекса и бьет его кулаками по лицу (но не больно), приговаривая:

— Ах ты негодная душа, ах ты мошенник! Пусть твой хозяин и все боги небесные, которых ты ложными клятвами оскорбляешь, погубят тебя, подлого, подлою смертью! Ты ведь вчера в бане сандалии у меня украл! Заслужил, клянусь Геркулесом, заслужил ты того, чтобы и эти веревки на тебе сгнили, и сам ты в темнице света не видел.

С помощью этой ловкой лжи энергичного юноши Барбар был обманут, больше того — утешен и снова полон доверия; удалившись восвояси, он дома подозвал Мирмекса и, отдав ему сандалии, сказал, что прощает его от души, а что украденную вещь надо вернуть владельцу.

22. Старушонка продолжала еще болтать, как женщина ее прерывает:

— Счастье той, у кого такой крепкий и бесстрашный приятель, а мне, несчастной, на долю достался дружок, что всего боится, жернов ли зашумит, паршивый ли осел этот морду покажет.

Старуха на это:

— Уж доставлю я тебе, как по судебной повестке, такого любовника, надежного, да отважного, да неутомимого! — И с этими словами выходит из комнаты, сговорившись, что к вечеру еще раз придет.

А супруга добродетельная сейчас же принялась готовить поистине салийский ужин, дорогие вина процеживать, свежими соусами колбасы приправлять. Наконец, уставив богато стол, начала ждать прихода любовника, словно появления какого-нибудь бога. Кстати и муж отлучился из дому на ужин к соседу-сукновалу. Когда время приближалось к урочному сроку, я был наконец освобожден от лямки и получил возможность без забот подкрепиться; но я, Геркулесом клянусь, радовался не столько

освобождению от трудов моих, сколько тому, что теперь, без повязки, мог как угодно наблюдать за всеми проделками злокозненной этой женщины. Солнце, уже погрузившись в океан, освещало подземные области мира, как является мерзкая старуха бок о бок с безрассудным любовником, еще не вышедшим почти из отроческого возраста; его безбородое лицо было столь миловидно, что сам бы он еще мог составить усладу любовникам. Женщина, встретив его бесчисленными поцелуями, сейчас же пригласила сесть за накрытый стол.

23. Но не успел юноша пригубить первой вступительной чаши и узнать, какой вкус у вина, как приходит муж, вернувшийся гораздо раньше, чем его ожидали. Тут достойнейшая супруга, послав мужу всяческие проклятия и пожелав ему ноги себе переломать, прячет дрожащего, бледного от ужаса любовника под случайно находившийся здесь деревянный чан, в котором обыкновенно очищали зерно; затем с прирожденным лукавством, ничем не выдавая своего позорного поступка, делает спокойное лицо и спрашивает у мужа, почему и зачем он раньше времени ушел с ужина от закадычного своего приятеля. Тот, не переставая горько вздыхать из самой глубины души, отвечает:

— Не мог я вынести безбожного и неслыханного преступления этой потерянной женщины и обратился в бегство! Боги благие! Какая почтенная матрона, какая верная, какая воздержанная — и каким гнусным срамом она себя запятнала! Такая женщина!.. Нет, клянусь вот этой богиней Церерой, я даже теперь не верю своим глазам!

Заинтересовавшись словами мужа и желая узнать, в чем дело, нахалка эта до тех пор не отставала, пока не добилась, чтобы ей рассказали всю историю с самого начала. Муж не мог устоять и, уступая ее желанию, так начал, не ведая о своих, повесть о бедствиях чужой семьи:

24.— Жена приятеля моего, сукновала, женщина, как казалось до сей поры, безупречного целомудрия и, по общим лестным отзывам, добродетельная хранительница домашнего очага, вдруг предалась тайной страсти с каким-то любовником. Секретные свиданья у них бывали постоянно, и даже в ту минуту, когда мы после бани явились к ужину, она с этим молодым человеком упражнялась в любострастии. Потревоженная нашим внезапным появлением, следуя первой пришедшей в голову мысли, она своего любовника сажает под высокую корзину, сплетенную из тонких прутьев, увешанную со всех сторон материей, которую отбеливал выходивший из-под корзины серный дым. Считая, что

юноша спрятан надежным образом, сама преспокойно садится с нами за ужин. Меж тем молодой человек, нанюхавшись серы, невыносимо острый и тяжелый запах которой облаком окружал его, с трудом уже переводит дыхание и, по свойству этого едкого вещества, принимается то и дело чихать.

25. Когда муж в первый раз услышал звук чиханья, донесшийся со стороны жены, прямо из-за ее спины, он подумал, что этот звук издала она, и, как принято, говорит: «Будь здорова!» Но чиханье повторяется еще раз и затем снова раздается все чаще и чаще, пока такой чересчур сильный насморк не показался ему подозрительным и он не стал догадываться, в чем дело. Отталкивает он стол, тотчас приподымает плетенку и обнаруживает мужчину, уже едва дышавшего. Воспламенившись негодованием при виде такого бесчестья, он требует меч, собираясь убить этого умирающего; насилу я удержал его для предотвращения общей опасности от бешеного порыва, выставив на вид то обстоятельство, что враг его все равно скоро погибнет от действия серы, не подвергая ни меня, ни его никакому риску. Смягчившись не столько вследствие моих уговоров, сколько в силу самих обстоятельств, он выносит полуживого любовника в ближайший переулок. Тут я потихоньку стал убеждать и наконец убедил его жену на время удалиться и уйти из дому к какой-нибудь знакомой женщине, чтобы тем временем остыл жар ее мужа, так как не могло быть сомнения, что он, распаленный такой неистовой яростью, задумывает какое-нибудь зло себе и своей жене. Покинув с отвращением подобный дружеский ужин, я вернулся восвояси.

26. Слушая рассказ мельника, жена его, уже давно погрязшая в наглости и бесстыдстве, принялась ругательски ругать жену сукновала: и коварная-то она и бессовестная, поношение для всего женского пола, наконец! Забыв стыд и нарушив узы супружеского ложа, запятнать очаг своего мужа позорной славой притона! Погубить достоинство законной жены, чтобы получить имя продажной твари!

— Таких женщин следует живьем сжигать! — прибавила она.

Но все же тайные муки нечистой совести не давали ей покоя, и, чтобы как можно скорее освободить из заточения своего соблазнителя, она несколько раз принималась уговаривать мужа пораньше пойти спать. Но тот, уйдя из гостей не поевши и чувствуя голод, заявил ей ласково, что он с большой охотой оказал бы честь ужину. Жена быстро подает на стол, хотя и не очень охотно, так как кушанья были для другого приготовлены.

Меня же до глубины души возмущали и недавнее злодеяние, и теперешнее наглое упорство негоднейшей этой женщины, и я ломал себе голову, как бы изловчиться и разоблачить обман, оказать помощь моему хозяину и, опрокинув чан, выставить на всеобщее обозревание того, кто скрывался под ним, как черепаха.

27. На эти мои муки из-за хозяйской обиды небесное провидение наконец обратило внимание. Наступило урочное время, когда хромой старик, которому поручен был присмотр за всеми вьючными животными, всем табуном повел нас на водопой к ближайшему пруду. Обстоятельство это доставило мне желанный случай к отмщению. Проходя мимо чана, заметил я, что концы пальцев у любовника высовываются, не помещаясь, из-под края; шагнув в сторону, я наступил со злобой копытом на его пальцы и раздробил их на мелкие кусочки. Издав от невыносимой боли жалобный стон, он отталкивает и сбрасывает с себя чан, и, обнаружив себя непосвященным взглядам, выдает все козни бесстыдной женщины. Но мельник, не особенно тронутый нарушением супружеской верности, ласково, с ясным и доброжелательным выражением лица, обращается к дрожащему и смертельно бледному отроку:

— Не бойся, сынок, для себя никакого зла с моей стороны. Я не варвар и не такая уж заскорузлая деревенщина, чтобы изводить тебя, по примеру свирепого сукновала, смертоносным дымом серы или обрушивать на голову такого хорошенького и миленького мальчика суровую кару закона о прелюбодеянии, нет, я попросту произведу дележ с женою. Прибегну я не к разделу имущества, а к форме общего владения, чтобы без спора и препирательств все втроем поместились мы в одной постели. Да я и всегда жил с женою в таком согласии, что у нас, как у людей благоразумных, вкусы постоянно сходились. Но сама справедливость не допускает, чтобы жена имела преимущества перед мужем.

28. С подобными милыми шуточками вел он отрока к ложу; тот не очень охотно, но следовал за ним. Затем, заперев отдельно целомудренную свою супругу, лег он вдвоем с молодым человеком и воспользовался наиболее приятным способом отмщения за попранные супружеские права. Но как только блистающая колесница солнца привела с собою рассвет, мельник позвал двух работников посильнее и, приказав им поднять отрока как можно выше, розгой по ягодицам его отстегал, приговаривая:

— Ах ты! Сам еще мальчишка, нежный да молоденький, а любовников цвета своей юности лишаешь и за бабами бега-

ешь, да к тому же — за свободными гражданками, нарушая законы супружества и преждевременно стараясь присвоить себе звание прелюбодея.

Осрамив его такими и многими другими речами, да и побоями наказав достаточно, выбрасывает он его за дверь. И этот образец бесстрашного любовника, неожиданно выйдя из опасности невредимым, если не считать белоснежных ягодиц, пострадавших и ночью и поутру, печально поспешил удалиться. Тем не менее мельник сообщил своей жене о разводе и немедленно выгнал ее из дому.

29. Она, и от природы будучи негодяйкой, к тому же возмущенная и раздосадованная обидой, хотя и заслуженной, но тем более горькой, снова принимается за старое и, прибегнув к обычным женским козням, с большим трудом отыскивает какую-то старую ведьму, про которую шла молва, будто своими наговорами и чарами она может сделать что угодно. Осаждая ее бесконечными мольбами и осыпая подарками, она просит одного из двух: или чтобы муж, смягчившись, снова помирился с нею, или, если это невозможно, причинить ему, по крайней мере, насильственную смерть, напустив на него какого-нибудь выходца из преисподней или злого духа. Тогда колдунья эта, облеченная божественной властью, сначала пускает в ход первые приемы своей преступной науки и изо всех сил старается смягчить дух сильно оскорбленного мужа и направить его к любви. Но когда дело оборачивается совсем не так, как она ожидала, она вознегодовала на богов и, не только рассчитывая на обещанную плату, но и в виде возмездия за пренебрежение к себе, замышляет уже гибель несчастного мужа и для этой цели насылает на него тень некой умершей насильственной смертью женщины.

30. Но, может быть, придирчивый читатель, ты прервешь мой рассказ и возразишь: «Откуда же, хитрый ослик, не выходя за пределы мельницы, ты мог проведать, что́ втайне, как ты утверждаешь, замышляли женщины?» Ну так послушай, каким образом, и под личиной вьючного животного оставаясь человеком любопытным, я узнал, что́ готовится на пагубу моему мельнику.

Почти что ровно в полдень на мельнице появилась какая-то женщина, полуприкрытая жалким рубищем, с босыми ногами, изжелта-бледная, исхудалая с лицом, почти целиком закрытым распущенными, свисающими наперед волосами, полуседыми, грязными от пепла, которым они были осыпаны; черты ее были искажены следами преступления и необычайной скорбью.

Явившись в таком виде, она кладет тихонько руку на плечо мельнику, словно желает с ним поговорить наедине, уводит его в спальню и, заперев дверь, остается там долгое время. Между тем работники смололи все зерно, что было у них под рукою, и, так как нужно было получить еще, рабы пошли к хозяйской комнате и стали его кликать, прося добавочной выдачи зерна. Не раз они его громко звали — хозяин ничего не отвечал; тогда принялись стучаться в двери — они накрепко заперты изнутри. Подозревая какую-то немалую беду, они поднажали и, отворив или, вернее, выломав дверь, прокладывают себе путь. Как ни искали, никакой женщины там не оказалось, а на одной из балок висел с петлей на шее хозяин, уже без дыхания. Они сняли его, вынув из петли, с громким плачем и рыданиями омыли тело и, исполнив погребальные обряды, в сопровождении большой толпы похоронили.

31. На следующий день спешно прибывает его дочь из соседнего селения, куда она недавно была выдана замуж, вся в трауре, терзая распущенные волосы, от времени до времени ударяет себя кулаками в грудь. Ей было все известно о домашнем несчастье, хотя никто ее не извещал; но во время сна предстала ей горестная тень ее отца, все еще с петлей на шее, и открыла все злодейства мачехи: рассказала и о прелюбодеянии, и о злых чарах, и о том, как, погубленный привидением, низшел он в преисподнюю. Долго она рыдала и убивалась, пока домочадцы не уговорили ее положить предел скорби. Исполнив у могилы на девятый день установленные обряды, она пустила с молотка наследство: рабов, домашнюю утварь и весь вьючный скот. Таким-то образом прихотливая случайность открытой продажи разбросала в разные стороны целое хозяйство. Меня самого купил какой-то бедный огородник за пятьдесят нуммов. По его словам, для него это была большая сумма, но с моею помощью он надеялся добывать себе средства к жизни.

32. Самый ход рассказа, думается, требует, чтобы я сообщил, в чем состояли мои новые обязанности.

Каждое утро хозяин нагружал меня разными овощами и гнал в соседнее село, затем, оставив свой товар продавцам, садился мне на спину и возвращался в свой огород. Пока он то копал, то поливал и гнул спину над остальной работой, я отдыхал и наслаждался покоем. Но вот, вместе с правильным течением светил, чередованием дней и месяцев, и год, свершая свой круг, после вином обильной, радостной осени склонялся к зимнему инею Козерога; все время дождь, по ночам росы, и, находясь под открытым небом в стойле без крыши, я постоянно

мучился от холода, так как у хозяина моего, по крайней бедности, не только для меня, для самого себя не было ни подстилки, ни покрышки, а обходился он защитой шалаша из веток. К тому же по утрам приходилось мне голыми ногами месить очень холодную грязь, наступая на чрезвычайно острые кусочки льда, да и желудок свой не мог я наполнять привычной ему пищей. И у меня и у хозяина стол был один и тот же, но очень скудный: старый и невкусный латук, что оставлен был на семена и из-за чрезмерного возраста своего стал похож на метлу, с горьким, грязным и гнилым соком.

33. Случилось однажды, что некий почтенный человек из соседнего селенья, застигнутый темнотою безлунной ночи и насквозь промокший от ливня, к тому же сбившийся с дороги, повернул порядком усталую лошадь к нашему огороду. Будучи по обстоятельствам гостеприимно встречен и получив не слишком роскошный, но необходимый ему отдых, он пожелал отблагодарить ласкового хозяина и обещал дать ему зерна, масла из своих угодий и даже два бочонка вина. Мой-то, не медля, забирает с собой мешок и пустые мехи и, сев на меня без седла, пускается в путь за шестьдесят стадий. Проделав это расстояние, прибыли мы к указанному нам имению, где сейчас же хозяина моего радушный владелец приглашает к обильному завтраку. Уже чаши переходили у них из рук в руки, как вдруг случилась диковинная вещь — настоящее чудо: по двору бегала курица, отбившись от остальных, и кудахтала, как обычно кудахчут куры, чтобы оповестить о том, что они сейчас снесут яйцо. Посмотрев на нее, хозяин говорит:

— Верная ты служанка, а какая плодовитая! Сколько времени уж ты каждодневными родами доставляешь нам продовольствие! И теперь, как видно, готовишь нам закусочку.— Затем кричит: — Эй, малый, поставь, как всегда, в уголок корзинку для наседки.

Слуга исполнил приказание, но курица, пренебрегши обычным гнездом, прямо у ног хозяина снесла преждевременный, но способный навести немалый страх плод. Не яйцо она снесла, как можно было ожидать, а готового цыпленка с перьями, когтями, глазами, который уже умел пищать и сейчас же принялся бегать за матерью.

34. Вскоре вслед за этим случается еще большая диковинка, которая всех, разумеется, до крайности испугала: под самым столом, на котором стояли еще остатки завтрака, разверзлась земля, и из глубины забила сильным ключом кровь, так что множество брызг, летевших кверху, покрыли кровавыми пят-

нами весь стол. В ту же минуту, когда все, остолбенев от ужаса, трепещут и дивятся божественным предзнаменованиям, прибегает кто-то из винного погреба и докладывает, что все вино, давно уже разлитое по бочкам, нагрелось, заклокотало и начало кипеть, словно на сильном огне. Заметили также и ласочку, вышедшую на улицу, держа в зубах издохшую уже змею; у сторожевой собаки изо рта выскочил зеленый лягушонок, а на самое собаку набросился стоявший поблизости баран и, вцепившись ей в глотку, тут же задушил. Хозяина и всех его домашних столько ужасных знамений повергли в крайнее замешательство: что сначала делать, что потом? Кого из небожителей умилостивлять больше, кого меньше, чтобы отвратить их угрозы? Сколько жертв и какие жертвы надо приносить?

35. Покуда все, скованные ужасом, находились в ожидании самого страшного несчастья, прибегает какой-то раб и докладывает о великих, чудовищных бедствиях, обрушившихся на владельца именья.

Гордость его жизни составляли трое уже взрослых сыновей, получивших образование и украшенных скромностью. Эти юноши были связаны старинной дружбой с одним бедным человеком, владельцем маленькой хижины. Крошечная хижина эта соприкасалась с обширными и благоустроенными владениями влиятельного и богатого молодого соседа, который, злоупотребляя древностью своего славного рода, имел множество сторонников и делал в городе все, что хотел. К скромному соседу своему он относился враждебно и разорял его убогую усадьбу: мелкий скот избивал, быков угонял, травил хлеб, еще не созревший. Когда же он лишил его всех достатков, решил и вовсе согнать бедняка с его участка и, затеяв какую-то пустую тяжбу о межевании, потребовал всю землю себе. Крестьянин был человек скромный, но, видя, что алчность богача лишила его всего имущества, и желая удержать за собою хотя бы место для могилы в родном поле, в сильном страхе призвал очень многих из своих друзей в свидетели по этому делу о поземельных границах. В числе других пришли и эти три брата, чтобы хоть чем-нибудь помочь своему другу в его бедственном положении.

36. Но тот сумасброд нисколько не испугался и даже не смутился от присутствия стольких граждан и не то что от грабительских намерений отказаться — языка своего обуздать не пожелал. Когда те мирно изложили свои пожелания и ласковой речью старались смягчить буйный его нрав, он сейчас же, призывая всех богов, клянется своим спасеньем и жизнью дорогих ему людей и решительно заявляет, что ему дела никакого нет

до присутствия стольких посредников, а соседушку этого велит своим рабам взять за уши и немедленно вышвырнуть из его хижины, да подальше. Слова эти страшно возмутили всех присутствующих. Тогда один из трех братьев незамедлительно и довольно независимо ответил, что напрасно тот, надеясь на свои богатства, угрожает с такою тиранической спесью, меж тем как и бедняки от наглости богачей находят обыкновенно защиту в справедливых законах. Масло для пламени, сера для огня, бич для фурии — вот чем были для ярости этого человека подобные слова. Дойдя до крайней степени безумия, он закричал, что на виселицу пошлет и всех собравшихся, и сами законы, и отдал приказание, чтобы спустили с цепи диких дворовых овчарок огромного роста, питавшихся падалью, выбрасываемою на поля, даже нападавших иной раз на проходящих путников, и велит науськать их на собравшихся. Как только услышали псы привычное улюлюканье пастухов, воспламенившись и разъярившись, впав в буйное бешенство, с хриплым, ужасным лаем кидаются на людей и, набросившись, терзают и рвут их на части, нанося всевозможные раны, не щадят даже тех, кто ищет спасения в бегстве, наоборот — тем яростнее их преследуют.

37. Тут, в самой гуще перепуганной толпы, младший из трех братьев, споткнувшись о камень и повредив себе пальцы ног, падает наземь, доставляя ужасную трапезу диким и жестоким собакам: увидев лежащую перед ними добычу, они немедленно растерзали в клочья несчастного юношу. Когда остальные братья услышали его предсмертный вопль, в горести поспешили они ему на помощь и, обернув левую руку полой плаща, пытаются градом камней отбить брата у собак и разогнать их. Однако не удалось им ни смягчить ярость псов, ни отогнать их, и несчастный юноша, воскликнув напоследок, чтобы они отомстили этому богатому злодею за смерть своего младшего брата, умирает, разорванный на куски. Оставшиеся в живых братья, не столько, клянусь Геркулесом, отчаявшись в собственном спасении, сколько не заботясь о нем, бросаются на богача и пламенно, в безумном порыве принимаются осыпать его камнями; но этот кровожадный разбойник и раньше совершавший немало подобных преступлений, ударив одного копьем в середину груди, пронзает его насквозь. Однако пораженный и сейчас же испустивший дух юноша не падает на землю, так как копье, пронзив его и почти все выйдя из спины, силой удара впилось в землю и, зашатавшись, поддерживало тело в воздухе. Высокий и сильный раб пришел убийце на помощь и, размахнувшись, запустил в третьего юношу камнем, целясь в правую руку, но не рассчи-

тал силы броска, и камень, против всякого ожидания, задел только краи пальцев и упал, не причинив никакого вреда.

38. Но благоприятный этот случай даровал сообразительному молодому человеку какую-то надежду на мщение. Сделав вид, будто рука у него повреждена, так обращается он к тому невиданно жестокому юноше:

— Наслаждайся гибелью всего нашего семейства, насыщай неуемную свою жестокость кровью трех братьев, покрывайся славой, убив стольких своих сограждан,— все равно увидишь, что, сколько бы ни отбирал ты имений у бедняков, до каких бы пределов ни расширял своих владений, какой-нибудь сосед у тебя найдется. О, если бы рука эта по несправедливости судьбы не выбыла из строя, уж она снесла бы тебе голову тотчас же!

Неистовый разбойник, выведенный из себя этими словами, схватив свой меч, с жаром набросился на несчастного юношу, чтоб убить его. Но попал он на противника не слабее себя. Совершенно для него неожиданно молодой человек оказал сопротивление, которого тот не мог предвидеть: крепко стиснув его правую руку и с огромной силой взмахивая его мечом, он быстрыми и частыми ударами заставил богача расстаться со своею гнусною жизнью, а сам, чтобы не попасться в руки подоспевшим уже слугам, тут же перерезал себе горло еще обагренным вражеской кровью лезвием.

Вот что предзнаменовали вещие чудеса, вот что объявлено было злосчастному хозяину. Но старец, на которого обрушилось столько бедствий, не произнес ни слова, не пролил даже безмолвной слезы: схватив нож, которым только что разрезал для своих сотрапезников сыр и прочие кушанья за завтраком, он, по примеру злосчастного своего сына, наносит множество ран себе в шею, покуда, упав ничком на стол, не смывает обагрявшие стол зловещие пятна свежим потоком крови.

39. Расстроенный гибелью целого дома в одну минуту и о своей собственной неудаче тяжко вздыхая, огородник, отблагодарив за завтрак одними слезами и частенько всплескивая пустыми руками, сейчас же садится на меня и пускается в обратный путь по той же дороге, которой мы прибыли. Но возвращение не обошлось без неприятностей. Встретился нам какой-то верзила, судя по платью и по внешности — солдат-легионер, и надменно, даже нагло спрашивает:

— Куда ведешь осла без поклажи?

А мой-то, еще от горя не успокоившись, да и латинского языка не понимая, едет себе дальше, ничего не ответив. Тогда солдат в негодовании, молчание его приняв за оскорбление и не

сдержав обычного солдатского нахальства, стукнул хозяина жезлом из виноградной лозы, что был у него в руках, и согнал с моей спины. Огородник оправдывается смиренно тем, что по незнанию языка не может понять, о чем тот говорит. Тогда солдат по-гречески повторяет:

— Куда ведешь этого осла?

Огородник говорит, что направляется в соседний город.

— А мне,— говорит тот,— требуется его помощь; нужно, чтобы он с прочим вьючным скотом перевез из соседней крепости вещи нашего командира,— и сейчас же схватывает меня за повод, на котором меня водили, и тащит за собою. Но огородник, утерши с лица кровь из раны, оставшейся у него на голове после удара, стал упрашивать служивого быть поласковее и помягче, заклиная его при этом надеждами на счастливую судьбу.

— Ведь ослишко этот,— говорит он,— еле ходит, да к тому же от отвратительной болезни падает то и дело и даже из соседнего огорода едва несколько охапок овощей дотаскивает, чуть не задохнувшись от усталости, а уж чтобы потяжелее чего-нибудь свезти — и думать нечего.

40. Но, заметив, что никакими просьбами солдата не уломать, а ему самому грозит еще бóльшая опасность, потому что солдат совсем рассвирепел и, повернув жезл толстым концом вперед, того и гляди, раскроит ему череп, огородник прибегает к крайнему средству: сделав вид, что, словно для того, чтобы вызвать сострадание к себе, он хочет коснуться его колен, он приседает, нагибается, схватывает его за обе ноги, поднимает их высоко вверх — и солдат с грохотом шлепается наземь. И тотчас же мой хозяин принимается колотить его по лицу, по рукам, по бокам, работая кулаками, и локтями, и зубами да подхватив еще камень с дороги. Тот, едва очутился на земле, не мог ни отбиваться, ни вообще защищаться, но лишь, не переставая, грозился, что как только подымется — в куски мечом его изрубит. Огородник не пропустил этого мимо ушей: отняв и отбросив как можно дальше широкий его меч, снова нападает на него и колотит еще сильнее. Тот, лежа на спине и уже обессилев от ран, не видит другого способа спастись, как прикинуться мертвым,— одно это ему и оставалось. Тогда огородник, вскочив на меня и забравши с собою меч, скорым шагом направляется прямо в город, не заезжая даже проведать свой огород, и останавливается у одного своего приятеля. Рассказав всю свою историю, он умоляет, чтобы тот оказал ему помощь в столь опасных обстоятельствах и спрятал на некоторое время его и осла, чтобы пробыть в затворе дня два-три, пока не пройдет опас-

ность судебного преследования, угрожающего ему смертной казнью. Тот не забыл старой дружбы и охотно согласился ему помочь; мне подогнули ноги и втащили по лестнице на второй этаж, а сам огородник внизу, в самой лачужке, заполз в какую-то корзинку и спрятался там, закрыв ее сверху крышкой.

41. Между тем солдат, как я потом узнал, словно после большого похмелья, поднялся наконец, хотя и пошатываясь, и, тяжело страдая от многочисленных и болезненных ран, еле-еле, опираясь на палку, отправился в город; стыдясь своей немощи и непредприимчивости, он никому в городе не рассказал о случившемся, молча проглотил обиду и, только встретив каких-то своих товарищей, сообщил им о постигшей его беде. Было решено, что некоторое время пострадавший будет скрываться в казармах, так как, кроме личного оскорбления, он боялся еще, потеряв меч, ответственности за бесчестие, причиненное Гению, которому приносил воинскую присягу, а товарищи его, узнав наши приметы, прилагали тем временем все усилия, чтобы отыскать нас и расквитаться. Конечно, среди соседей нашелся предатель, который тотчас нас выдал и указал, где мы скрываемся. Тогда товарищи солдата призвали властей и сделали ложное заявление, будто в дороге они потеряли очень дорогой серебряный сосудец своего начальника, какой-то огородник его нашел и возвращать не хочет, а скрывается у одного своего близкого знакомого. Чиновники, наведя справки об убытке и о том, как зовут начальника, пришли к воротам нашего убежища и громко начали требовать от хозяина, чтобы он нас, тех, что скрывает у себя,— и это вернее верного! — выдал, а в противном случае вина падет на его собственную голову. Но тот, нисколечко не испугавшись и стараясь о спасении того, кто ему доверился, ни в чем не признается и решительно заявляет, что вот уже сколько дней он огородника этого и в глаза-то не видывал. Солдаты, наоборот, решительно утверждали, клянясь Гением императора, что виновный скрывается именно здесь, а не в ином каком месте. Наконец власти решили произвести у упорно отпиравшегося человека обыск. Отправленным с этой целью ликторам и другим служителям был отдан приказ, чтобы они тщательнейшим образом обшарили все уголки. Но те докладывают после обыска, что ни одной живой души и даже никакого осла в доме не обнаружено.

42. Тут спор с обеих сторон разгорелся еще жарче: солдаты настаивали, что мы тут — это им доподлинно известно,— и к имени Цезаря неоднократно взывали, а тот, беспрестанно призывая богов в свидетели, все отрицал. Услышав этот спор, шум

и крик, я, как осел любопытный, беспокойный и назойливый, вытянув и склонив набок шею, стараюсь в какое-то окошечко посмотреть, что этот галдеж означает; как вдруг один из солдат случайно бросил взор в сторону моей тени и сразу же призывает всех взглянуть на нее. Немедленно поднялся страшный крик, и, в одну минуту взобравшись по лестнице, какие-то люди берут меня и, как пленника, тащат вниз. Тут, отложив всякие проволочки, еще тщательнее осматривают каждую щелку, открывают ту корзину и обнаруживают злосчастного огородника; его выводят, передают в руки властей и ведут в городскую тюрьму — наверное, чтобы в скором времени предать казни. Над моим же появлением в качестве наблюдателя не переставали хохотать и издеваться. Отсюда и пошла распространенная поговорка о взгляде и тени осла.

1. Не знаю, что сталось с моим хозяином-огородником на следующий день, меня же этот самый солдат, крепко поплатившийся за свое редкостное слабосилие, забрал из стойла и, не встретив ни с чьей стороны возражения, привел к своей казарме (как мне, по крайней мере, казалось) и, нагрузив своими пожитками совсем по-военному, вооружив меня и разукрасив, погнал в дорогу. Нес я и шлем, блеском сияющий, и щит, сверкавший еще ярче, и в довершение всего копье с предлинным древком, бросавшимся в глаза,— все это он старательно выложил, как принято в боевом походе, на самое видное место, поверх всей поклажи, разумеется, не столько ради военной доблести, сколько для устрашения несчастных прохожих. Дорога шла полем, и, проделав не слишком трудный путь, мы добираемся до какого-то городка и останавливаемся не в гостинице, а в доме одного декуриона. Сейчас же меня солдат сдал на руки какому-то слуге, а сам поспешно отправился к своему начальнику, у которого под командой находилась тысяча вооруженных воинов.

2. Через несколько дней в этой местности произошло необыкновенное, ужасное и нечестивое злодеяние; оно осталось у меня в памяти, и я заношу его в книгу, чтобы и вы могли прочитать о нем.

У домохозяина был молодой сын, прекрасно воспитанный, а потому чрезвычайно почтительный и скромный, так что и ты, читатель, пожелал бы иметь такого сына. Мать его уже давно умерла, и отец вновь связал себя узами брака; женившись на другой, он родил и другого сына, которому к этому времени как раз пошел тринадцатый год. Мачеха главенствовала в доме скорее вследствие своей наружности, чем в силу добрых своих пра-

вил, и вот, не то по прирожденному бесстыдству, не то судьбою побуждаемая к неслыханному сраму, обратила она свои очи на пасынка. Но знай, любезный читатель, что я рассказываю тебе трагическую историю, а не побасенки, и сменим-ка поэтому комедийные башмаки на котурны. Женщина эта, пока первой своей пищей питался еще крошка Купидон, могла противостоять слабым его силам, легкий огонь в молчании подавляя. Когда же неистовый Амур безмерно начал сжигать все ее внутренности, безумным пламенем их наполнив, покорилась она яростному божеству и, чтобы скрыть душевную рану, сделала вид, будто занемогла телесно. Всякому известно, что резкие перемены во внешности и состоянии здоровья у больных и влюбленных точно совпадают: мертвенная бледность, усталые глаза, слабость в коленях, тревожный сон и тяжелые вздохи, тем более мучительные, что они лишь с трудом вырываются из груди. Можно было подумать, что и этой женщине не дает покоя только горячечный жар,— если бы не ее слезы. Как невежественны врачи, не ведающие, что это значит, когда у человека учащенный пульс, цвет лица то и дело меняется, дыхание затруднено и больной постоянно ворочается с боку на бок, не находя себе места! Боги благие, зачем быть искусным доктором? Достаточно иметь хоть некоторое представление о любви, чтобы понять, что́ происходит с человеком, который пылает, не будучи в жару.

3. Наконец, доведенная невыносимою страстью до ужасного возбуждения, нарушает она молчание, что хранила до сих пор, и велит позвать к себе сына,— как бы охотно она лишила его этого имени, чтобы не приходилось краснеть, вспоминая о позоре! Молодой человек не замедлил исполнить приказание больной мачехи и, по-стариковски мрачно наморщив лоб, идет в ее спальню, оказывая должное повиновение супруге своего отца и матери своего брата. Та же, измучившись и измаявшись от долгого молчания, и теперь медлит, как бы севши на мель сомнения, и не умолкшая еще стыдливость не позволяет ей произнести ни одного слова из тех, которые она считала наиболее подходящими для начала этой речи. А юноша, все еще не подозревающий ничего дурного, потупив взор, сам почтительно осведомляется о причинах ее теперешней болезни. Тогда, воспользовавшись пагубной случайностью, оставившей их с глазу на глаз, набралась она храбрости и, заливаясь слезами, закрыв лицо полою платья, так говорит ему в кратких словах и дрожащим голосом:

— Вся причина, весь источник моих теперешних страданий и в то же время лекарство и единственное мое спасение,

все это — ты один! Твои глаза в мои глаза проникли до глубины души и в сердце моем жестокий пожар разожгли. Сжалься над той, что гибнет из-за тебя! Да не смущает тебя нисколько уважение к отцу — ты сохранишь ему жизнь супруги, твердо решившейся умереть. В твоих чертах его признавши образ, по праву я люблю тебя. Доверься! Мы одни, и времени для необходимого действия достаточно. Ведь того, о чем никто не знает, почти что и вовсе не существует.

4. Молодого человека привела в смятение нежданная беда, но, хотя в первую минуту он пришел в ужас от такого злодейского поступка, однако решил лучше не доводить мачеху до отчаяния неуместным и суровым отказом, а образумить ее осторожным предложением отсрочки. Итак, он ласково дает ей обещание, но горячо уговаривает ее собраться с духом, поправиться, окрепнуть, пока какая-нибудь отлучка отца не предоставит им свободу для удовлетворения своей страсти. А сам поскорее удаляется с опасного свидания с мачехой. Считая, что такое семейное бедствие заслуживает особенно тщательного обсуждения, он немедленно направляется к своему старому воспитателю, человеку испытанному и достойному. По долгом размышлении они пришли только к тому выводу, что всего спасительнее будет для него скорее бежать от грозы, воздвигнутой жестоким роком. Но женщина, не будучи в состоянии терпеливо вынести даже малейшую отсрочку, выдумав какой-то повод, начинает с удивительным искусством уговаривать мужа немедленно отправиться в свои самые отдаленные поместья. После этого, опьяненная близившейся к осуществлению надеждой, нетерпеливо требует она, чтобы юноша явился и дал доказательства своей страсти, как обещал. Молодой человек то под тем, то под другим предлогом уклоняется от этого гнусного свидания. Тогда она из его сбивчивых ответов ясно увидела, что не получит обещанного, и со всей стремительностью непостоянства сменила преступную любовь гораздо более опасной ненавистью. Сейчас же берет она в сообщники негодного раба, что когда-то был дан за него в приданое, готового на всякое грязное дело, и сообщает ему коварные свои планы; они не нашли ничего лучшего, как извести бедного юношу. Итак, подлец этот без промедления был послан раздобыть сильно действующего яда и, искусно подлив отраву в вино, готовит гибель невинному пасынку.

5. Покуда злодеи совещались, когда удобней всего поднести отраву, случилось, что младший мальчик, родной сын этой негодной женщины, вернувшись домой после утренних занятий и позавтракав уже, захотел пить; находит он бокал с вином, в ко-

тором заключен был невидимый для глаза яд, и, не подозревая о таящейся там губительной отраве, залпом его выпивает. Как только выпил он смертельного снадобья, приготовленного для брата, сейчас же бездыханным падает наземь, а дядька, пораженный внезапной смертью мальчика, принимается вопить, сзывая мать и всех домочадцев. И вот сообразили уже, что мальчик умер от яда, и каждый из присутствующих принялся строить различные догадки, кто бы мог совершить это ужасное преступление. Но жестокая эта женщина, редкий образчик коварства мачехи, не тронулась ни лютой смертью сына, ни своею нечистой совестью, ни несчастьем всего дома, ни скорбью супруга, ни хотя бы горестью похорон, а семейной бедою воспользовалась, как удобным случаем для мести. Сейчас же она посылает вестника вдогонку за мужем, который был в дороге, чтобы сообщить ему о беде, ворвавшейся в их дом, и не поспел он вернуться, как она, вооружившись беспримерной наглостью, принимается обвинять пасынка в том, что он отравил ее сына. В утверждении этом была доля правды, так как мальчик предупредил своею гибелью ту смерть, на которую был уже обречен молодой человек, но она-то уверяла, будто пасынок потому пошел на преступление и погубил младшего брата, что она не согласилась на гнусное сожительство, к которому он хотел ее принудить. Не довольствуясь такой чудовищной ложью, она добавила, что он и ей угрожает мечом за то, что она раскрыла его преступления. Несчастный муж, удрученный гибелью обоих сыновей, был подавлен тяжестью обрушившихся на него бедствий. Он видел на погребальном одре тело младшего сына и наверное знал, что смертная казнь угрожает старшему за кровосмешение и убийство. К тому же лицемерные вопли слишком уж горячо любимой супруги возбуждали в нем жесточайшую ненависть к собственному детищу.

6. Едва закончилось погребальное шествие и обряды над телом его сына, прямо от могилы мальчика несчастный старик со слезами, еще не высохшими на щеках, и посыпая седины свои пеплом, спешно направляется на городскую площадь. Не зная об обмане негодной жены своей, он плачет, молит, припадает даже к коленям декурионов, упорно и неотступно требуя осуждения оставшегося в живых сына, осквернителя отцовского ложа, убийцы собственного брата, злодея, покушавшегося на жизнь своей мачехи. В скорби своей он возбудил такое сострадание и негодование в сенате и даже в самой толпе, что все присутствовавшие высказались за то, чтобы, отбросив судейскую волокиту, пренебрегши строгими доказательствами обвинения и

заранее подготовленными уловками защиты, тут же на месте всем обществом побить камнями эту общественную заразу.

Между тем власти, сообразив, какая опасность грозит им самим, если слабые искры негодования вызовут крушение общественного порядка и мятеж, к декурионам применяют меры увещевания, по отношению же к толпе — меры насильственные, для того чтобы судопроизводство происходило должным образом и по обычаям предков, чтобы приговор был вынесен юридически правильно, после того как будут выслушаны обе стороны, чтобы ни один человек не мог быть осужден невыслушанным, как в странах, где господствует варварская жестокость или тиранический произвол, и не был бы дан грядущим векам пример столь дикого явления в мирное время.

7. Благоразумное мнение одержало верх, и сейчас же было отдано приказание глашатаю, чтобы он созывал сенаторов в курию. Когда они по чину и по обычаю без промедления заняли свои места, снова раздается зов глашатая, и первым выступает обвинитель. Только тут вызвали и ввели обвиняемого, и, по закону Аттики и Марсова судилища, глашатай объявляет защитникам, чтобы они воздержались от вступлений и не взывали к милосердию. О том, как это все происходило, я узнал из многочисленных разговоров, которые вели между собою люди. Но в каких выражениях нападал обвинитель, что говорил в свое оправдание обвиняемый и вообще каковы были прения сторон, я и сам сведений не имею, так как там не присутствовал, а стоял в стойле, и вам докладывать о том, чего не знаю, не могу; что мне доподлинно известно, то и записываю сюда. После того как кончилось судоговорение, было решено, что справедливость обвинения должна быть подтверждена надежными доказательствами и что недопустимо основывать решение такой важности на одних подозрениях; поэтому надлежит во что бы то ни стало вызвать главного свидетеля, того раба, который, по-видимому, один только и знает, как все происходило. Висельник этот нисколько не был смущен ни сомнениями в исходе такого крупного дела, ни видом сената в полном составе, ни хотя бы упреками нечистой совести, а начал плести свои выдумки, будто чистую правду. По его словам, его позвал к себе молодой человек, возмущенный неприступностью своей мачехи, и, чтобы отомстить за оскорбление, поручил ему убить ее сына, обещая щедро заплатить за молчание, а в случае отказа грозил смертью; что юноша передал ему собственноручно приготовленную отраву, но затем взял обратно, боясь, как бы он, не исполнив поручения, не сохранил кубок как вещественное доказательство, и сам по-

том дал яд мальчику. Все, что с притворной дрожью говорил этот негодяй, было удивительно похоже на истину, и после его показаний судебное разбирательство окончилось.

8. Не было никого из декурионов, кто продолжал бы относиться благожелательно к молодому человеку; было очевидно, что в преступлении он уличен и приговор ему один: быть зашитым в мешок. Уже сенаторам предстояло по стародавнему обычаю опустить в бронзовую урну свои решения — все одинаковые, так как каждый написал одно и то же; а раз голоса собраны, участь подсудимого решена, ничего нельзя уже изменить, и власть над его жизнью передается в руки палача. Вдруг один из старейших сенаторов, врач, человек испытанной честности, пользующийся большим влиянием, закрыл рукою отверстие урны, чтобы кто опрометчиво не подал своего мнения, и обратился к сенату с такою речью:

— Гордый тем, что в течение всей своей жизни я снискивал ваше одобрение, я не могу допустить, чтобы, осудив оклеветанного подсудимого, мы совершили явное убийство и чтобы вы, связанные клятвой судить справедливо, будучи введены в обман лживым рабом, оказались клятвопреступниками. И сам я, произнеся суждение заведомо ошибочное, попрал бы свое уважение к богам и погрешил бы против моей совести. Итак, узнайте от меня, как было дело.

9. Не так давно этот мерзавец пришел ко мне, чтобы купить сильнодействующего яду, и предлагал мне плату в сто полновесных золотых; объяснял он, что яд нужен для какого-то больного, изнемогающего от тяжелой и неисцелимой болезни, который хочет избавиться от мучительного существования. Болтовня этого негодяя и нескладные объяснения внушили мне подозрения, и, в полной уверенности, что замышляется какое-то преступление, я дать-то отраву дал, но, предвидя в будущем возможность допроса, предлагаемую плату не тотчас принял, а так ему сказал:

— Чтобы среди тех золотых, которые ты мне предлагаешь, не оказалось случайно негодных или фальшивых, положи их в этот мешочек и запечатай своим перстнем, а завтра мы их проверим в присутствии какого-нибудь менялы. Он согласился и запечатал деньги. Как только его привели в суд, я немедленно послал одного из своих слуг на лошади к себе домой за этими деньгами. Теперь их принесли, и я могу представить их вашему вниманию. Пусть он посмотрит и признает свою печать. В самом деле, каким образом можно приписывать брату приготовление отравы, которую покупал этот подлый раб?

10. Тут на негодяя этого нападает немалый трепет, естественный цвет лица сменяется смертельной бледностью, по всему телу выступает холодный пот, то нерешительно переступает он с ноги на ногу, то затылок, то лоб почешет, сквозь зубы бормочет какие-то непонятные слова, так что ни у кого не могло оставаться сомнения, что он причастен к преступлению; но скоро снова хитрость в нем заговорила, и он принялся упорно от всего отпираться и уверять, что показания врача ложны. Тот, видя, как попирается достоинство правосудия, да и собственная его честность всенародно пятнается, с удвоенным усердием стал опровергать мерзавца, пока наконец, по приказу властей, служители, осмотрев руки негоднейшего раба и отобрав у него железный перстень, не сличили его с печаткой на мешочке; и это сравнение укрепило прежнее подозрение. Не избежал он, по греческим обычаям, ни колеса, ни дыбы, но, вооружившись небывалым упорством, выдержал все удары и даже пытку огнем.

11. Тогда врач:

— Не допущу,— говорит,— клянусь Геркулесом, не допущу, чтобы, вопреки божеским установлениям, вы подвергли наказанию этого не повинного ни в чем юношу, как и того, чтобы раб, издевавшийся над нашим судопроизводством, избегнул кары за свое гнусное преступление. Сейчас я очевидное доказательство представлю вам по поводу настоящего дела. Когда этот подлец старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель, так как твердо знаю, что медицина призвана спасать людей, а не губить их; но, боясь, в случае если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы несвоевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, как бы кто другой не продал ему смертоносного напитка или сам он не прибег бы в конце концов к мечу или к любому другому орудию для совершения задуманного злодеяния, дать-то я дал ему снадобье, но снотворное, мандрагору, знаменитую своими наркотическими свойствами и вызывающую глубокий сон, подобный смерти. Нет ничего удивительного в том, что, доведенный до пределов отчаяния, разбойник этот выдерживает пытки, которые представляются ему более легкими, чем неизбежная казнь, по обычаю предков ему угрожающая. Но если только мальчик выпил напиток, приготовленный моими руками, он жив, отдыхает, спит и скоро, стряхнув томное оцепенение, вернется к свету белому. Если же он погиб, если унесен смертью, причины его гибели вам следует искать в другом месте.

12. Всем эта речь старца показалась очень убедительной, и тут же с великой поспешностью отправляются к усыпальнице, где положено было тело отрока; не было ни одного человека из сенаторов, ни одного из знати, ни одного даже из простого народа, кто с любопытством не устремился бы к тому месту. Вот отец собственноручно открывает крышку гроба как раз в ту минуту, когда сын, стряхнув с себя смертельное оцепенение, возвращается из царства мертвых; крепко обнимая мальчика и не находя слов, достойных такой радости, отец выводит его к согражданам. Как был отрок еще увит и обмотан погребальными пеленами, так и несут его в судилище. Преступление гнуснейшего раба и еще более гнусной женщины было ясно изобличено, истина во всей наготе своей предстает, и мачеху осуждают на вечное изгнание, а раба пригвождают к кресту. Деньги же по единодушному решению остаются у доброго врача как плата за столь уместное снотворное снадобье. Такой-то конец обрела эта знаменитая, чудесная история старика, который в малый промежуток времени, чуть ли даже не в один краткий миг, испытав опасность остаться бездетным, неожиданно оказался отцом двух юношей.

13. А меня меж тем вот как бросали волны судьбы. Солдат тот, что, не спросив продавца, меня купил и без всякой платы присвоил, по приказу своего трибуна, исполняя долг службы, должен был отвезти письма к важному начальнику в Рим и продал меня за одиннадцать денариев соседям, каким-то двум братьям, находившимся в рабстве у очень богатого господина. Один из них был кондитером, выпекавшим хлеб разных сортов и печенья на меду; другой — поваром, тушившим сочные мясные блюда с необыкновенно вкусными приправами. Жили они вместе, вели общее хозяйство, а меня предназначали для перевозки огромного количества посуды, которая по разным причинам была необходима их хозяину в его многочисленных путешествиях. Так что я вступил третьим в товарищество к этим двум братьям, и никогда до сих пор не была ко мне судьба так благосклонна. Хозяева мои имели обыкновение каждый вечер приносить в свою каморку множество всяких остатков от обильных и роскошно устроенных пиршеств; один приносил огромные куски свинины, курятины, рыбы и других всевозможных кушаний того же рода; другой — хлеб, пирожки, блинчики, булочки, печенье и множество сладостей на меду. Заперев свое помещение, они отправлялись в баню освежиться, а я досыта наедался свалившимися с неба яствами, потому что я не был так уж глуп и не такой осел на самом деле, чтобы, не притронувшись к этим лакомствам, ужинать колючим сеном.

14. Долгое время эти воровские проделки мне отлично удавались, так как я брал еще довольно робко и притом незначительную часть из многочисленных запасов, да и хозяева никак не могли заподозрить осла в таких поступках. Но вот, твердо уверенный в невозможности разоблачения, я принялся увеличивать свою порцию, выбирать все самое лучшее, пожирая кусочки пожирнее и лакомясь сладостями, так что братьев стало тревожить сильное подозрение, и хотя им все еще в голову не приходило, чтобы я был способен на что-либо подобное, тем не менее они старались выследить виновника ежедневных пропаж.

Наконец они стали обвинять один другого в гнусном воровстве, усилили слежку, удвоили бдительность и даже пересчитывали куски. В конце концов один из них перестал стесняться и говорит другому:

— С твоей стороны это очень справедливо и человеколюбиво так поступать — лучшие части каждый день красть и, продавши их, втихомолку денежки прикапливать, а потом требовать, чтобы остаток поровну делили. Если тебе не нравится вести общее хозяйство, можно в этом пункте разделиться, а в остальном сохранить братские отношения. Потому что, как посмотрю я, если мы чересчур долго так будем дуться друг на друга из-за пропаж, то можем и совсем поссориться.

Другой отвечает:

— Клянусь Геркулесом, мне нравится такая наглость: ты у меня изо рта выхватил эти жалобы на ежедневные покражи; хоть я и был огорчен, но молчал все это время, потому что мне стыдно было обвинять родного брата в мелком воровстве. Отлично, оба мы высказались, теперь нужно искать, как помочь беде, чтобы наша безмолвная вражда не довела нас до боев Этеокла с Полиником.

15. Обменявшись такими упреками, оба клятвенно заявили, что не совершали никакого обмана, никакой кражи, и решили соединенными усилиями найти разбойника, причиняющего им убытки; казалось невозможным, чтобы осел, который один только оставался дома, мог питаться такими кушаньями, или чтобы в каморку их залетали мухи величиною с гарпий, похищавших некогда яства Финея, а между тем лучшие части не переставали ежедневно пропадать.

Тем временем, вдоволь вкушая от щедрых трапез и досыта наедаясь людскими кушаньями, я достиг того, что тело мое раздобрело, кожа от жира стала мягкой, шерсть благородно залоснилась. Но подобное улучшение моей внешности сослужило плохую службу моему честному имени. Обратив внимание на

необыкновенную ширину моей спины и замечая, что сено каждый день остается нетронутым, они стали неусыпно за мною следить. В обычное время они заперли, как всегда, двери и сделали вид, будто идут в бани, сами же через какую-то маленькую дырочку принялись наблюдать, и, увидя, как я набросился на стоявшие повсюду кушанья, они, забыв о своих убытках, в удивлении от ослиного чревоугодия, разразились громким смехом. Зовут одного, другого, наконец собрали целую толпу товарищей-рабов полюбоваться неслыханной прожорливостью бессмысленного вьючного скота. Такой на всех напал неудержимый хохот, что он достиг даже ушей проходившего невдалеке хозяина.

16. Заинтересовавшись, над чем это смеется челядь, и узнав, в чем дело, он и сам, взглянув в ту же дырку, получил немалое удовольствие, и сам смеялся до того долго, что у него нутро заболело, а потом, открывши дверь, вошел в комнату, чтобы поближе посмотреть. Я же, видя, что судьба в какой-то мере улыбается мне ласковее, чем прежде,— веселое настроение окружающих внушало мне доверие,— нисколечко не смутившись, преспокойно продолжал есть, пока хозяин, развеселившись от такого небывалого зрелища, не отдал приказа вести меня в дом, больше того — собственноручно ввел меня в столовую и, когда стол был накрыт, велел поставить передо мной целые блюда всевозможных кушаний, к которым никто еще не прикасался. Хоть я уже порядочно подзакусил, но, желая заслужить его внимание и расположение, с жадностью набрасываюсь на поданную еду. Тогда начинают ломать голову, придумывая, какие блюда меньше всего могут быть по вкусу ослу, и для испытания, насколько я послушен и кроток, предлагают мне мяса с пряностями, наперченную птицу, изысканно приготовленную рыбу. По всему залу раздается оглушительный хохот. Наконец какой-то шутник кричит:

— Дайте же нашему сотрапезнику выпить чего-нибудь!

Хозяин поддерживает:

— Шутка не так глупа, мошенник. Очень может статься, что гость наш не откажется осушить чашу вина на меду.— Затем:—Эй, малый!—продолжает,— вымой хорошенько этот золотой бокал, наполни его медовым вином и поднеси моему нахлебнику; да передай заодно, что я первым выпил за его здоровье.

Ожидание сотрапезников дошло до крайнего напряжения. Я же, нисколько не испугавшись, спокойно и даже довольно весело подобрал нижнюю губу, сложив ее наподобие языка, и одним духом осушил огромную чашу. Поднимается крик, и все в один голос желают мне доброго здоровья.

17. Хозяин остался очень доволен, позвал своих рабов, купивших меня, и, приказав заплатить им вчетверо, передал меня любимому своему вольноотпущеннику, человеку зажиточному, и поручил ему с большим вниманием ухаживать за мною. Тот обращался со мной довольно ласково, кормил свойственной людям пищей и, чтобы еще больше угодить патрону, с чрезвычайной старательностью обучал меня разным хитрым штукам, приводившим хозяина в восторг. Прежде всего — лежать за столом, опершись на локоть, затем бороться и даже танцевать, встав на задние ноги, наконец, что было всего удивительнее, отвечать кивками на вопросы, наклоняя голову вперед в случае моего желания, откидывая ее назад в противном случае; если же мне хотелось пить, я смотрел на виночерпия и, подмигивая ему то одним, то другим глазом, требовал чашу. Конечно, научиться всему этому мне было нетрудно, даже если бы никто мне не показывал. Но я боялся, как бы в случае, если бы я без учителя усвоил себе человеческие повадки, бóльшую часть моих поступков не сочли за дурное предзнаменование и, изрубив на куски, как какое-то чудовищное знамение, не выбросили на богатую поживу ястребам. Повсюду пошла уже молва обо мне, так что мои удивительные способности приносили честь и славу моему хозяину. «Вот,— говорили про него,— владелец осла, разделяющего с ним трапезу, осла борющегося, осла танцующего, осла, понимающего человеческую речь и выражающего свои чувства знаками».

18. Но прежде всего следует вам сообщить хоть теперь — что я должен был бы сделать вначале,— кто был мой хозяин и откуда родом. Звали его Тиазом, и род свой он вел из Коринфа, столицы всей Ахайской провинции; соответственно своему происхождению и высокому положению он переходил от должности к должности и, наконец, облечен был магистратурой на пятилетие и для достойного принятия столь блестящей должности обещал устроить трехдневные гладиаторские игры, собираясь особенно широко проявить свою щедрость. Заботясь о своей славе и популярности, он отправился в Фессалию закупить самых лучших зверей и знаменитых гладиаторов, и теперь, выбравши все по своему вкусу и расплатившись, собирался в обратный путь. Он не воспользовался роскошными своими колесницами, пренебрег красивыми повозками, открытыми и закрытыми, которые тащились в самом конце обоза пустыми, не захотел он даже ехать на фессалийских лошадях и на других своих верховых конях — галльских скакунах, благородное потомство которых ценится так высоко, а, украсив меня золотыми фале-

рами, цветным чепраком, попоной пурпуровой, уздечкой серебряной, подпругой вышитой и звонкими бубенчиками, сел на меня, любезнейшим образом ласково приговаривая, что больше всего доставляет ему удовольствия то обстоятельство, что я могу и везти его, и трапезу с ним разделять.

19. Когда, совершив путь частью по суше, частью по морю, прибыли мы в Коринф, то большие толпы граждан начали стекаться не столько, как мне казалось, для того, чтобы оказать почтение Тиазу, сколько из желания посмотреть на меня. Да, потому что вплоть до этих мест такая громкая обо мне распространилась молва, что я оказался для своего надсмотрщика источником немалого дохода. Как только он заметил, что множество людей с большим жаром желает полюбоваться на мои штучки, сейчас же двери на запор и впускал их поодиночке за плату, ежедневно загребая хорошенькую сумму.

Случилось, что в толпе любопытных была одна знатная и богатая матрона. Заплатив, как и прочие, за вход и налюбовавшись на всевозможные мои проказы, она постепенно от изумления перешла к необыкновенному вожделению и, ни в чем не находя исцеления своему недугу безумному, страстно желала моих объятий, как ослиная Пасифая. За крупное вознаграждение она сговорилась с моим сторожем и получила разрешение провести со мною одну ночь. Тот, нисколько не заботясь о том, какое такое удовольствие может она от меня получить, и думая только о своем барыше, согласился.

20. Отобедавши, мы перешли из хозяйской столовой в мое помещение, где застали уже давно дожидавшуюся меня матрону. Боги благие, как чу́дны, как прекрасны были приготовления! Немедленно четверо евнухов для нашего ложа по полу раскладывают множество небольших пышно взбитых подушечек из нежного пуха, тщательно расстилают покрывало золотое, разукрашенное тирским пурпуром, а поверх него разбрасывают другие подушечки, очень маленькие, но в огромном количестве и необыкновенно мягкие, те, что неженки-женщины любят подкладывать себе под щеку и под затылок. Не желая долгим своим пребыванием задерживать час наслаждения госпожи, они запирают двери в комнату и удаляются. Внутри же ясный свет блестящих свечей разгонял для нас ночной мрак.

21. Тогда она, сбросив все одежды, распустив даже ленту, что поддерживала прекрасные груди, становится поближе к свету и из оловянной баночки обильно натирается благовонным маслом, потом и меня оттуда же щедро умастила по всем местам, даже ноздри мои натерла. Тут крепко меня поцеловала, не

так, как в публичном доме обычно целуется корыстная девка со скупым гостем, но от чистого сердца, сладко приговаривая: «Люблю, хочу, один ты мил мне, без тебя жить не могу»,— и прочее, чем женщины выражают свои чувства и в других возбуждают страсть. Затем, взяв меня за узду, без труда заставляет лечь, как я уже был приучен: я не думал, что мне придется делать что-либо трудное или непривычное, тем более при встрече, после столь долгого воздержания, с такой красивой и жаждущей любви женщиной. К тому же и чудеснейшее вино, выпитое в огромном количестве, ударило мне в голову и возбуждала сладострастие пламенная мазь.

22. Но на меня напал немалый страх при мысли, каким образом с такими огромными и грубыми ножищами я могу взобраться на нежную матрону, как заключу своими копытами в объятия столь белоснежное и хрупкое тело, сотворенное как бы из молока и меда, как маленькие губки, розовеющие душистой росой, буду целовать я огромным ртом и безобразными, как камни, зубами и, наконец, каким манером женщина, как бы ни сжигало до мозга костей ее любострастие, может принять детородный орган таких размеров. Горе мне! придется, видно, за увечье, причиненное благородной гражданке, быть мне отданным на растерзание диким зверям и, таким образом, участвовать в празднике моего хозяина. Меж тем она снова осыпает меня ласкательными именами, беспрерывно целует, нежно щебечет, пожирая меня взорами, и заключает все восклицанием: «Держу тебя, держу тебя, мой голубок, мой воробышек». И с этими словами доказывает мне, как несостоятельны были мои рассуждения и страх нелеп. Тесно прижавшись ко мне, она всего меня, всего без остатка приняла. И даже когда, щадя ее, я отстранялся слегка, она в неистовом порыве всякий раз сама ко мне приближалась и, обхватив мою спину, теснее сплеталась, так что, клянусь Геркулесом, мне начало казаться, что у меня чего-то не хватает для удовлетворения ее страсти, и мне стало понятным, что не зря сходилась с мычащим любовником мать Минотавра. Так всю ночь без сна провели мы в трудах, а на рассвете, избегая взоров зари, удалилась женщина, сговорившись по такой же цене о следующей ночи.

23. Воспитатель мой, ничего не имея против ее желания продолжить эти любострастные занятия — отчасти из-за большого барыша, который он получал с них, отчасти из желания приготовить своему хозяину новое зрелище,— незамедлительно раскрывает перед ним во всех подробностях картину нашей любви. А тот, щедро наградив вольноотпущенника, предназна-

чает меня для публичного представления. Но так как достоинство моей замечательной супруги не позволяло ей принимать в нем участие, а другой ни за какие деньги найти нельзя было, отыскали какую-то жалкую преступницу, осужденную по приговору наместника на съедение зверям, которая и должна была вместе со мной появиться в театре на глазах у всех зрителей. Я узнал, что проступок ее заключался в следующем.

Был у нее муж, отец которого, некогда отправляясь в путешествие и оставляя жену свою, мать этого молодого человека, беременной, велел ей, в случае если она разрешится ребенком женского пола, приплод этот немедленно уничтожить. Родив в отсутствие мужа девочку, движимая естественным материнским чувством, она преступила наказ мужа и отдала ребенка соседям на воспитание; когда же муж вернулся, она сообщила ему, что дочь убита. Но вот девушка достигает цветущего возраста, когда нужно ее выдавать замуж; тут мать, понимая, что ни о чем не подозревающий муж не может дать приданого, которое соответствовало бы их происхождению, ничего другого не находит, как открыть эту тайну своему сыну. К тому же она сильно опасалась, как бы случайно, исполненный юношеского жара, не совершил он ошибки и, при обоюдном неведении, не стал бы бегать за собственной сестрой. Юноша, как примерный, почтительный сын, свято чтит и долг повиновения матери, и обязанности брата по отношению к сестре. Достойным образом сохраняя семейную тайну, делая вид, что одушевлен лишь обыкновенным милосердием, выполняет он непреложные обязательства кровного родства, приняв под свою защиту соседку, горькую сиротку, и в скором времени выдает ее замуж за своего ближайшего и любимого друга, наделив щедрым приданым из собственных средств.

24. Но все это прекрасное и превосходное дело, выполненное с полной богобоязненностью, не укрылось от зловещей воли судьбы, по наущению которой вскоре в дом юноши вошел дикий Раздор. Через некоторое время жена его, та, что теперь за это самое преступление осуждена на съедение дикими зверями, принялась сначала подозревать девушку как свою соперницу и наложницу мужа, потом возненавидела и, наконец, готовит ей гибель, прибегнув к самым ужасным козням. Вот какое придумывает она злодейство.

Стащив у мужа перстень и уехав за город, она посылает одного раба, верного своего слугу и уже в силу самой верности готового на все худшее, чтобы он известил молодую женщину, будто юноша, уехав в усадьбу, зовет ее к себе, прибавив, что

пусть она приходит одна, без спутников и как можно скорее. И для подтверждения этих слов, чтобы она явилась тут же, без всякой задержки, передает перстень, похищенный у мужа. Та, послушная наказу брата — она одна только знала, что может называть его этим именем,— и взглянув также на его печать, которая ей была показана, сразу же пускается в дорогу, согласно приказу без всяких провожатых. Но, подло обманутая, не заметила она ловушки и попалась в сети коварства; тут почтенная эта супруга, охваченная бешеной и разнузданной ревностью, прежде всего обнажает сестру своего мужа и зверски ее бичует, затем, когда та с воплями объясняет, как обстоит дело, и, без конца повторяя имя брата, уверяет, что золовка негодует и кипятится из-за мнимого прелюбодеяния,— эта женщина, не веря ни одному ее слову и считая все выдумкой, всунув несчастной между бедер горящую головню, мучительной предает ее смерти.

25. Узнав от вестников об этой ужасной смерти, прибегают брат и муж умершей и, оплакав ее, с горькими рыданиями тело молодой женщины предают погребению. Но молодой человек не мог спокойно перенести такой жалкой и менее всего заслуженной гибели своей сестры; до мозга костей потрясенный горем, он тяжело заболевает разлитием желчи, горит в жестокой лихорадке, так что сам по всем признакам нуждается в помощи. Супруга же его, давно уже, если судить по справедливости, утратившая право на это название, сговаривается с одним лекарем, известным своим вероломством, который уже стяжал себе славу многочисленными победами в смертельных боях и мог бы составить длинный список своих жертв, сулит ему сразу пятьдесят тысяч сестерциев, с тем чтобы он продал ей какого-нибудь быстродействующего яда, и сама покупает смерть для своего мужа. Столковавшись, они делают вид, будто приготовляют известное питье для облегчения боли в груди и удаления желчи, которое у людей ученых носит название «священного», но вместо него подсовывают другое — священное разве только в глазах Прозерпины. Уже домочадцы собрались, некоторые из друзей и близких, и врач, тщательно размешав снадобье, сам протягивает чашу больному.

26. Но наглая женщина, желая и от свидетеля своего преступления освободиться, и обещанные деньги оставить при себе, видя чашу уже протянутой, говорит:

— Не прежде, почтеннейший доктор, не прежде дашь ты дражайшему моему мужу это питье, чем сам отопьешь изрядную часть его. Почем я знаю, может быть, там подмешана какая-нибудь отрава? Такого мудрого и ученого мужа не может

оскорбить, что я, как любящая жена, тревожась о своем супруге, проявляю должную и необходимую заботу о его спасении.

Такая удивительная беззастенчивость бесчеловечной женщины была для врача неожиданностью, и он в смятении, потеряв всякое соображение и лишенный от недостатка времени возможности обдумать свои действия, боясь, что малейшая дрожь или колебание могут дать пищу подозрениям, делает большой глоток из чаши. Последовав этому убедительному примеру, молодой человек взял поднесенную ему чашу и выпил ее до дна. Видя, какой оборот принимает дело, врач как можно скорей хотел уйти домой, чтобы поспеть принять какого-нибудь противоядия и обезвредить отраву. Но бесчеловечная женщина, с нечестивым упорством стараясь довести до конца раз начатое дело, ни на шаг его от себя не отпускала.

— Прежде,— говорит,— следует увидеть целебное действие этого снадобья.— Насилу уж, когда он надоел ей бесчисленными и бесконечными мольбами и просьбами, разрешила она ему уйти. Меж тем притаившаяся смерть, опаляя все внутренности, проникала все глубже и подбиралась к самому сердцу; совсем больной и уже одолеваемый тяжелой сонливостью, еле добрел он до дому. Едва поспел он обо всем рассказать жене, поручив ей, чтобы, по крайней мере, обещанную плату за эту двойную смерть она вытребовала,— и в жестоких страданиях испускает дух славный доктор.

27. Молодой человек тоже оставался в живых не дольше и, сопровождаемый притворным и лживым плачем жены, умирает в таких же мучениях. После его похорон, выждав несколько дней, необходимых для исполнения заупокойных обрядов, является жена лекаря и требует платы за двойное убийство. Женщина остается себе верной, попирая все законы честности и сохраняя видимость ее; она отвечает очень ласково, дает широкие и щедрые обещания, уверяет, что немедленно выплатит условленную сумму, но добавляет, что ей хотелось бы только получить еще немножко этого питья, чтобы завершить начатое дело. К чему распространяться? Жена лекаря, запутавшись в сетях подлого коварства, быстро соглашается и, желая угодить богатой женщине, поспешно отправляется домой и вскоре вручает ей всю шкатулочку с ядом. Она же, получив такое могучее средство для совершения злодеяний, далеко простирает свои кровавые руки.

28. От недавно убитого ею мужа была у нее маленькая дочка. Трудно было ей переносить, что, по законам, часть состояния отца переходит к младенцу, и, позарившись на все на-

следство целиком, она решила посягнуть и на жизнь дочери. Будучи осведомлена, что после смерти детей им наследуют и преступные матери, эта столь же достойная родительница, сколь достойной выказала себя супругой, устраивает, не долго думая, завтрак, на который приглашает жену лекаря, и ее вместе с собственной дочкой губит одной и той же отравой. С малюткой, у которой и дыхание было слабее, и внутренности нежные и не окрепшие, смертельный яд быстро справляется, но лекарева жена, как только почувствовала, что ужасный напиток кругами расходится по легким, поднимая в них губительную бурю, сразу догадалась, в чем дело. Когда же, чуть позже, затрудненное дыхание подтвердило ее подозрение, она направляется к дому самого наместника и с громким криком, взывая к нему о защите, окруженная взволнованной толпой, обещает раскрыть ужасные преступления и добивается того, что перед нею сейчас же открываются и двери дома, и внимательный слух наместника. Она уже успела подробно с самого начала рассказать о всех жестокостях свирепейшей женщины, как вдруг в глазах у нее потемнело, полуоткрытые губы сомкнулись, издали продолжительный скрежет зубы, и она рухнула бездыханной к самым ногам наместника. Муж этот, человек бывалый, не мог допустить ни малейшей проволочки в наказании столь многочисленных злодеяний ядовитой этой ехидны; тут же, схватив прислужниц этой женщины, он пытками вырывает у них признание, и она приговаривается к растерзанию дикими зверями — не потому, чтобы это представлялось достаточным наказанием, а потому, что другой, более достойной ее проступков, кары он не в силах был выдумать.

29. Будучи обречен публично сочетаться законным браком с подобной женщиной, я с огромной тревогой ожидал начала празднества, не раз испытывая желанье лучше покончить с собой, чем запятнать себя прикосновением к такой преступнице и быть выставленным на позор пред всем народом. Но, лишенный человеческих рук, лишенный пальцев, круглыми культяпками своих копыт никак не мог я обнажить меч. В пучине бедствий еще светила мне маленькая надежда, что весна, которая теперь как раз начинается, все разукрашивая цветочными бутонами, одевает уже пурпурным блеском луга, и скоро, прорвав свою покрытую шипами кору, источая благовонное дыхание, покажутся розы, которые обратят меня в прежнего Луция.

Вот и наступил день, назначенный для открытия игр; меня ведут с большой торжественностью под рукоплескания толпы, следовавшей за нами, до самого цирка. В ожидании, пока кон-

чится первый номер программы, заключавшийся в хоровой пляске, меня поставили у ограды, и я с аппетитом щипал веселую травку, росшую перед самым входом, то и дело бросая любопытные взоры в открытую дверь и наслаждаясь приятнейшим зрелищем.

Юноши и девушки, блистая первым цветом молодости, прекрасные по внешности, в нарядных костюмах, с красивыми жестами двигались взад и вперед, исполняя греческий пиррический танец; то прекрасными хороводами сплетались они в полный круг, то сходились извилистой лентой, то квадратом соединялись, то группами врозь рассыпались. Но вот раздался звук трубы и положил конец этим сложным сочетаниям сближений и расхождений. Опустился главный занавес, сложены были ширмы, и сцена открывается перед глазами зрителей.

30. На сцене высоким искусством художника сооружена была деревянная гора, наподобие той знаменитой Идейской горы, которую воспел вещий Гомер; усажена она была живыми зелеными деревьями, источник, устроенный на самой вершине руками строителя, ручьями стекал по склонам, несколько козочек щипали травку, и юноша, одетый на фригийский манер в красивую верхнюю тунику и азиатский плащ, который складками ниспадал по его плечам, с золотой тиарой на голове изображал пастуха, присматривающего за стадом. Вот показался прекрасный отрок, на котором, кроме хламиды эфебов на левом плече, другой одежды нет, золотистые волосы всем на загляденье, и сквозь кудри пробивается у него пара совершенно одинаковых золотых крылышек; кадуцей указывает на то, что это Меркурий. Он приближается, танцуя, протягивает тому, кто изображает Париса, позолоченное яблоко, которое держал в правой руке, знаками передает волю Юпитера и, изящно повернувшись, исчезает из глаз. Затем появляется девушка благородной внешности, подобная богине Юноне: и голову ее окружает светлая диадема, и скипетр она держит. Быстро входит и другая, которую можно принять за Минерву: на голове блестящий шлем, а сам шлем обвит оливковым венком, щит несет и копьем потрясает — совсем как та богиня в бою.

31. Вслед за ними выступает другая, блистая красотою, чудным и божественным обликом своим указуя, что она — Венера, такая Венера, какой была она еще девственной, являя совершенную прелесть тела обнаженного, непокрытого, если не считать легкой шелковой материи, скрывавшей восхитительный признак женственности. Да и этот лоскуток ветер нескромный, любовно резвяся, то приподымал, так что виден был раздвоен-

ный цветок юности, то, дуя сильнее, плотно прижимал, отчетливо обрисовывая сладостные формы. Самые краски в облике богини были различны: тело белое — с облаков спускается, покрывало лазурное — в море возвращается. За каждой девой, изображающей богиню, идет своя свита: за Юноной — Кастор и Поллукс, головы которых покрыты яйцевидными шлемами, сверху украшенными звездами (но близнецы эти тоже были молодыми актерами). Под звуки различных мелодий, исполнявшихся на флейте в ионийском ладу, девушка приблизилась степенно и тихо и благородными жестами дала понять пастуху, что, если он присудит ей награду за красоту, она отдаст ему владычество над всей Азией. С тою же, которую воинственный наряд превратил в Минерву, была стража — двое отроков, оруженосцев войнолюбивой богини, Страх и Ужас; они пританцовывали, держа в руках обнаженные мечи. За спиною у нее — флейтист, исполнявший дорийский боевой напев, и, перемежая гуденье низких звуков со свистом высоких тонов, игрой своей подражал трубе, возбуждая желание к проворной пляске. Нетерпеливо встряхивая головою, она выразительными жестами, резкими и стремительными, показала Парису, что если он сделает ее победительницей в этом состязании красавиц, то станет героем и знаменитым завоевателем.

32. Но вот Венера, сопровождаемая восторженными криками толпы, окруженная роем резвящихся малюток, сладко улыбаясь, остановилась в прелестной позе по самой середине сцены; можно было подумать, что и в самом деле эти кругленькие и молочно-белые мальчуганы только что появились с неба или из моря: и крылышками, и стрелками, и вообще всем видом своим они точь-в-точь напоминали купидонов; в руках у них ярко горели факелы, словно они своей госпоже освещали дорогу на какой-нибудь свадебный пир. Стекаются тут вереницы прелестных невинных девушек, отсюда — Грации грациознейшие, оттуда — Оры красивейшие,— бросают цветы и гирлянды, в угоду богине своей сплетают хоровод милый, госпожу услад чествуя весны кудрями. Уже флейты со многими отверстиями нежно звучат напевами лидийскими. Сладко растрогались от них сердца зрителей, а Венера, несравненно сладчайшая, тихо начинает двигаться, медленно шаг задерживает, медлительно спиной поводит и мало-помалу, покачивая головою, мягким звукам флейты вторить начинает изящными жестами и поводить глазами, то томно полузакрытыми, то страстно открытыми, так что временами только одни глаза и продолжали танец. Едва лишь очутилась она перед лицом судьи, движением рук, по-види-

мому, обещала, что если Парис отдаст ей преимущество перед остальными богинями, то получит в жены прекрасную женщину, похожую на нее самое. Тогда фригийский юноша от всего сердца золотое яблоко, что держал в руках, как бы голосуя за ее победу, передал девушке.

33. Чего же вы дивитесь, безмозглые головы, да нет! — скоты судейские, да что там! — коршуны в тогах, что теперь все судьи торгуют своими решениями, когда в начале мира в деле, возникшем между людьми и богами, замешано было лицеприятие, и самое первое решение судья, выбранный по совету великого Юпитера, человек деревенский, пастух, прельстившись наслаждениями, продал, обрекая вместе с тем весь свой род на гибель? Не иначе, Геркулесом клянусь, и впоследствии бывало: возьмите хоть знаменитое судилище, прославленных ахейских вождей — тогда ли, когда они по лживым наветам обвинили в измене мудрейшего и ученейшего Паламеда, или когда в вопросе о воинской доблести величайшему Аяксу предпочли невзрачного Улисса. А что вы скажете о том пресловутом решении, принятом законолюбивыми афинянами, людьми тонкими, наставниками во всяческом знании? Разве старец божественной мудрости, которого сам дельфийский бог провозгласил мудрейшим из смертных, по злобным наветам негоднейшей шайки не подвергался преследованию как развратитель юношества — того юношества, которое он удерживал от излишеств? Разве не был он погублен смертельным соком ядовитой травы, оставив несмываемое позорное пятно на своих согражданах? А ведь теперь даже самые выдающиеся философы приняли его святейшее учение и клянутся его именем в своем стремлении к высшему блаженству. Но чтобы кто-нибудь не упрекнул меня за порыв негодования, подумав: вот теперь еще философствующего осла должны мы выслушать, вернусь к тому месту рассказа, на котором мы остановились.

34. После того как окончился суд Париса, Юнона с Минервой, печальные и обе одинаково разгневанные, уходят со сцены, выражая жестами негодование за то, что их отвергли. Венера же, в радости и веселии, ликованье свое изображает пляской со всем хороводом. Тут через какую-то потаенную трубку с самой вершины горы в воздух ударяет струя вина, смешанного с шафраном, и, широко разлившись, орошает благовонным дождем пасущихся коз, покуда, окропив их, не превращает белую от природы шерсть в золотисто-желтую — гораздо более красивую. Когда весь театр наполнился сладким ароматом, деревянная гора провалилась сквозь землю.

Но вот какой-то солдат выбегает на улицу и направляется к городской тюрьме, чтобы от имени всего народа потребовать привести в театр ту женщину, о которой я уже рассказывал,— за многочисленные преступления осужденную на съедение зверям и предназначенную к славному со мною бракосочетанию. Начали уже тщательно готовить брачное для нас ложе, индийской черепахой блистающее, груды пуховиков вздымающее, шелковыми покрывалами расцветающее. Мне же было не только стыдно при всех совершить соитие, не только противно мне было прикасаться к этой преступной и порочной женщине, но и страх смерти нестерпимо мучил меня. «А что, если,— рассуждал я сам с собой,— во время наших любовных объятий выпущен будет какой-нибудь зверь из тех, на съедение которым осуждена эта преступница? Ведь нельзя рассчитывать, что зверь будет так от природы сообразителен, или так искусно выучен, или отличается такой воздержанностью и умеренностью, чтобы женщину, лежавшую рядом со мной, растерзать, а меня самого, как неосужденного и невинного, оставить нетронутым».

35. Заботился я уже не столько о своей стыдливости, сколько о спасении жизни. Между тем наставник мой погрузился в хлопоты о том, чтобы должным образом устроить ложе, прочая челядь — кто занялся приготовлениями к охоте, кто глазел на увлекательное зрелище; мне были предоставлены все возможности осуществить свои планы: ведь никому и в голову не приходило, что за таким ручным ослом требуется присмотр. Тогда я осторожно крадусь к ближайшей двери, достигнув которой, пускаюсь во весь опор и, так промчавшись целых шесть миль, достигаю Кенхрея, который считается лучшей коринфской колонией и омывается Эгейским и Саронническим морями. Гавань его — одно из надежнейших пристанищ для кораблей и всегда полна народу. Но я избегаю многолюдства и, выбрав уединенное место на берегу у самой воды, усталое тело на лоне мягкого песка распростерши, силы свои подкрепляю. Колесница солнца уже обогнула последний столб на ипподроме дня, и в тишине вечера охватил меня сладкий сон.

1. Около первой ночной стражи, внезапно в трепете пробудившись, вижу я необыкновенно ярко сияющий полный диск блестящей луны, как раз поднимающийся из морских волн. Невольно посвященный в немые тайны глубокой ночи, зная, что владычество верховной богини простирается особенно далеко и всем миром нашим правит ее промысел, что чудесные веления этого божественного светила приводят в движение не только домашних и диких зверей, но даже и бездушные предметы, что все тела на земле, на небе, на море то, сообразно ее возрастанию, увеличиваются, то, соответственно ее убыванию, уменьшаются, полагая, что судьба, уже насытившись моими столь многими и столь тяжкими бедствиями, дает мне надежду на спасение, хотя и запоздалое, решил я обратиться с молитвой к царственному лику священной богини, пред глазами моими стоявшему. Без промедления, сбросив с себя ленивое оцепенение, я бодро вскакиваю и, желая тут же подвергнуться очищению, семикратно погружаю свою голову в морскую влагу, так как число это еще божественным Пифагором признано было наиболее подходящим для религиозных обрядов. Затем, обратив к богине могущественной орошенное слезами лицо, так начинаю:

2.— Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков, что, вновь дочь обретя, на радостях упразднила желуди — дикий древний корм,— нежную, приятную пищу людям указав, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь; будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном, морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов и, столько племен

взрастившая, ныне в преславном эфесском святилище чтишься; будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящею, что триликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая; о Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы и, когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая; как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличии ни надлежало чтить тебя,— в крайних моих невзгодах ныне приди мне на помощь, судьбу шаткую поддержи, прекрати жестокие беды, пошли мне отдохновение и покой; достаточно было страданий, достаточно было скитаний! Совлеки с меня образ дикий четвероногого животного, верни меня взорам моих близких, возврати меня моему Луцию! Если же гонит меня с неумолимой жестокостью какое-нибудь божество, оскорбленное мною, пусть мне хоть смерть дана будет, если жить не дано.

3. Излив таким образом душу в молитве, сопровождаемой жалобными воплями, снова опускаюсь я на прежнее место, и утомленную душу мою обнимает сон. Но не успел я окончательно сомкнуть глаза, как вдруг из средины моря медленно поднимается божественный лик, самим богам внушающий почтение. А затем, выйдя мало-помалу из пучины морской, лучезарное изображение всего тела предстало моим взорам. Попытаюсь передать и вам дивное это явленье, если позволит мне рассказать бедность слов человеческих или если само божество ниспошлет мне богатый и изобильный дар могучего красноречья.

Прежде всего густые длинные волосы, незаметно на пряди разобранные, свободно и мягко рассыпáлись по божественной шее; самую макушку окружал венок из всевозможных пестрых цветов, а как раз посредине, надо лбом, круглая пластинка излучала яркий свет, словно зеркало или, скорее, верный признак богини Луны. Слева и справа круг завершали извивающиеся, тянущиеся вверх змеи, а также хлебные колосья, надо всем приподнимавшиеся...[1] многоцветная, из тонкого виссона, то белизной сверкающая, то, как шафран, золотисто-желтая, то пылающая, как алая роза. Но что больше всего поразило мое зрение, так это черный плащ, отливавший темным блеском. Обвившись вокруг тела и переходя на спине с правого бедра на левое плечо, как римские тоги, он свешивался густыми складками, а края были красиво обшиты бахромою.

[1] Пропуск нескольких слов в рукописях.

4. Вдоль каймы и по всей поверхности плаща здесь и там вытканы были мерцающие звезды, а среди них полная луна излучала пламенное сияние. Там же, где волнами ниспадало дивное это покрывало, со всех сторон была вышита сплошная гирлянда из всех цветов и плодов, какие только существуют. И в руках у нее были предметы, один с другим совсем несхожие. В правой держала она медный погремок, узкая основа которого, выгнутая в кольцо, пересекалась тремя маленькими палочками, и они при встряхивании издавали все вместе пронзительный звон. На левой же руке висела золотая чаша в виде лодочки, на ручке которой, с лицевой стороны, высоко подымал голову аспид с непомерно вздутой шеей. Благовонные стопы обуты в сандалии, сделанные из победных пальмовых листьев. В таком-то виде, в таком убранстве, дыша ароматами Аравии счастливой, удостоила она меня божественным вещанием:

5.— Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшее из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Пессинунтской матерью богов, тут исконные обитатели Аттики — Минервой кекропической, здесь киприяне, морем омываемые,— Пафийской Венерой, критские стрелки — Дианой Диктиннской, трехъязычные сицилийцы — Стигийской Прозерпиной, элевсинцы — Церерой, древней богиней, одни — Юноной, другие — Беллоной, те — Гекатой, эти — Рамнузией, а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем — царственной Изидой. Вот я пред тобою, твоим бедам сострадая, вот я, благожелательная и милосердная. Оставь плач и жалобы, гони прочь тоску — по моему промыслу уже занимается для тебя день спасения. Слушай же со всем вниманием мои наказы. День, что родится из этой ночи, день этот издавна мне посвящается. Зимние непогоды успокаиваются, волны бурные стихают, море делается доступным для плаванья, и жрецы мои, спуская на воду судно, еще не знавшее влаги, посвящают его мне, как первины мореходства. Обряда этого священного ожидай спокойно и благочестиво.

6. Знай, что, по моему наставлению, как раз во время шествия у жреца в правой руке будет вместе с систром венок из роз. Итак, не медли ни минуты, но, раздвинув толпу, бодро присоединяйся к процессии, полагаясь на мое соизволение, и, подойдя совсем близко, осторожно, будто ты хочешь поцеловать руку у жреца, сорви розы и сбрось с себя в тот же миг эту отвратительную и давно уже мне ненавистную звериную шкуру. Не бойся ничего: исполнить мои наставления будет нетрудно. Ведь в эту же самую минуту, что я являюсь к тебе, я нахожусь и в другом месте, подле моего жреца, во сне предупреждаю его о том, что случится, и указываю, как нужно действовать. По моему повелению густая толпа расступится и даст тебе дорогу, безобразная внешность твоя никого не смутит во время веселого шествия и праздничных зрелищ, а неожиданное твое превращение не внушит никому подозрения и неприязни. Но запомни крепко-накрепко и навсегда сохрани в своем сердце: весь остаток своей жизни, вплоть до последнего вздоха, ты посвятишь мне. Справедливость требует, чтобы той, чье благодеяние снова вернет тебя людям, принадлежала и вся твоя жизнь. Ты будешь жить счастливо, ты будешь жить со славою под моим покровительством, и когда, совершив свой жизненный путь, сойдешь ты в царство мертвых, то, как видишь меня сегодня здесь, так и там, в этом подземном полукружии, найдешь ты меня просветляющей мрак Ахеронта, царствующей над стигийскими тайниками и, сам обитая в полях Елисейских, мне, к тебе милостивой, усердно будешь поклоняться. Если же примерным послушанием, исполнением обрядов, непреклонным целомудрием ты угодишь нашей божественной воле, знай, что в моей только власти продлить твою жизнь сверх установленного судьбою срока.

7. Доведя до конца свое внушающее благоговение предсказание, непобедимое божество исчезло. Немедленно вместе со сном всякий страх меня покидает, и я вскакиваю в такой радости, что даже пот ручьями по мне льется. Глубоко потрясенный столь очевидным присутствием могущественной богини, я вновь погружаюсь в морскую влагу и, чтобы не забыть великих ее повелений, возобновляю по порядку в памяти все, что она мне внушала. Вскоре исчез туман темной ночи, выходит золотое солнце, и вот уже все улицы наполняют благочестивые толпы, ликующие, прямо как во время триумфального шествия. Не говоря уже о приподнятости духа моего, мне казалось, что и все вокруг как-то особенно весело. Животные всякого рода, каждый дом, сам ясный день кажутся мне исполненными радости. После

вчерашнего холода вдруг настала солнечная спокойная погода, зазвучали сладостные хоры прельщенных весенним теплом певчих птичек, нежными трелями прославляющих мать звезд, родительницу времен года, владычицу всего мира. Даже сами деревья, и плодоносные, приносящие обильный урожай, и бесплодные, довольствующиеся только тем, что дают тень, под дыханием южного ветра поблескивают свежими листочками, тихо качают ветками, издавая мягкий шелест; утих шум великих бурь, улеглись неистово вздувавшиеся волны, море спокойно набегает на берег, разошлись темные тучи, и небо, безоблачное и ясное, сияет лазурью.

8. Вот появляются первые участники величественной процессии, каждый прекрасно разодетый по своему вкусу и выбору. Тот с военным поясом изображал солдата; этого подобранный кверху плащ, сандалии и рогатина превратили в охотника; другой в позолоченных туфлях, в шелковом платье, драгоценных уборах, с заплетенными в косы волосами плавной походкой подражал женщине. Дальше в поножах, в шлеме, со щитом и мечом кто-то выступает, будто сейчас пришел с гладиаторского состязания; был и такой, что, в пурпурной одежде, с ликторскими связками, играл роль должностного лица, и такой, что корчил из себя философа в широком плаще, плетеных сандалиях, с посохом и козлиной бородкой; были здесь и птицелов и рыбак — оба с тростинками: у одного они смазаны клеем, у другого с крючками на конце. Тут же и ручную медведицу, на носилках сидевшую, несли, как почтенную матрону, и обезьяна в материчатом колпаке и фригийском платье шафранового цвета, протягивая золотой кубок, изображала пастуха Ганимеда; шел и осел с приклеенными крыльями рядом с дряхлым стариком: сразу скажешь — вот Беллерофонт, а вот Пегас, впрочем оба одинаково возбуждали хохот.

9. В то время как забавные эти маски переходили с места на место, развлекая народ, уже двинулось и специальное шествие богини-спасительницы. Женщины, блистая белоснежными одеждами, радуя взгляд разнообразными уборами, украшенные весенними венками, одни из подола цветочками усыпали путь, по которому шествовала священная процессия, у других за спинами были повешены блестящие зеркала, чтобы подвигающейся богине был виден весь священный поезд позади нее; некоторые, держа гребни из слоновой кости, движением рук и сгибанием пальцев делали вид, будто расчесывают и прибирают волосы владычице; были и такие, что дивным бальзамом и другими благовониями окропляли улицы. Тут же большая толпа людей

обоего пола с фонарями, факелами, свечами и всякого рода искусственными светильниками в руках прославляла источник сияния звезд небесных. Свирели и флейты, звуча сладчайшими мелодиями, очаровательную создавали музыку. За музыкантами — прелестный хор избранных юношей в сверкающих белизною роскошных одеждах повторял строфы прекрасной песни, слова и мелодию которой сочинил благоволением Камен искусный поэт; песнопение это заключало в себе между прочим зачин более величественного гимна с молитвами и обетами. Шли и флейтисты, великому Сарапису посвященные, и на своих изогнутых трубах, поднимавшихся вверх, к правому уху, исполняли по нескольку раз напевы, принятые в храме их бога. Затем шло множество прислужников, возвещавших, что надо очистить путь для священного шествия.

10. Тут движется толпа посвященных в таинства — мужчины и женщины всякого положения и возраста, одетые в сверкающие льняные одежды белого цвета; у женщин умащенные волосы покрыты прозрачными покрывалами, у мужчин блестят гладко выбритые головы; земные светила великой религии, они потрясают медными, серебряными и даже золотыми систрами, извлекая из них пронзительный звон. Наконец — высшие служители таинств; в своих узких белых льняных одеждах, подпоясанных у груди и ниспадающих до самых пят, несут они знаки достоинства могущественнейших божеств. Первый держал лампу, горевшую ярким светом и нисколько не похожую на наши лампы, что зажигают на вечерних трапезах; это была золотая лодка с отверстием посредине, через которое выходил очень широкий язык пламени. Второй был одет так же, как первый, но в каждой руке нес он по алтарю, называемому «помощником»,— это имя дал им быстро приходящий на помощь промысел верховной богини. За ним шел третий, неся пальмовую ветвь с тонко сделанными из золота листьями, а также Меркуриев кадуцей. Четвертый показывал символ справедливости в виде левой руки с протянутой ладонью,— она слаба от природы, ни хитростью, ни ловкостью не одарена и потому скорее, чем правая, может олицетворять справедливость; он же нес и закруглявшийся, наподобие сосца, золотой сосудик, из которого совершал возлияние молоком. У пятого — золотая веялка, наполненная лавровыми веточками; последний нес амфору.

11. Вскоре показалась и процессия богов, соблаговоливших воспользоваться человеческими ногами для передвижения. Вот наводящий ужас посредник между небесным и подземным миром, с величественным ликом, то темным, то золотым, высоко

возносит свою песью голову Анубис, в левой руке держа кадуцей, правою потрясая зеленой пальмовой ветвью. Сразу же вслед за ним — корова, ставшая на дыбы, воплощенное плодородие всеродительницы богини; неся ее на плечах, один из священнослужителей легко и красиво выступал под блаженной ношей. Другой нес закрытый ларец, заключающий в себе нерушимую тайну великого учения. Третий на счастливое лоно свое принял почитаемое изображение верховного божества; не было оно похоже ни на домашнее животное, ни на птицу, ни на дикого зверя, ни даже на самого человека; но, по мудрому замыслу самой необычностью своей возбуждая почтение,— лишь сущность неизреченная высочайшей веры, сокрытая в глубоком молчании. Сделано оно было из ярко блестевшего золота следующим образом: это была искусно выгнутая урна с круглым дном, снаружи украшенная дивными египетскими изображениями; над отверстием ее подымалось не очень высокое горлышко с длинным, далеко выступавшим носиком, а с другой стороны была приделана широкая ручка, на которой свернулась в клубок змея, раздувая поднятую вверх чешуйчатую шею, покрытую морщинами.

12. И вот подходит миг свершения обещанных мне всемилостивейшей богиней благодеяний, приближается жрец, несущий мне назначенное судьбою спасение, держа в правой руке, точь-в-точь как гласило божественное обещание, прекрасный систр для богини и для меня венок,— венок, клянусь Геркулесом, заслуженный; ведь, вытерпев столько тяжких страданий, подвергнувшись стольким опасностям, я теперь, с соизволения великого божества, в борьбе с жестокой судьбой выходил победителем. Но, несмотря на охватившую меня внезапную радость, я не бросаюсь со всех ног, боясь, как бы неожиданное появление четвероногого животного не нарушило чинности священнодействия, но тихо, медленно, подражая человеческой походке, бочком через расступившуюся, конечно не без божеской воли, толпу мало-помалу пробираюсь.

13. Жрец же, предупрежденный, как мог я убедиться на деле, ночным откровением и удивленный, как все в точности совпадает с поручением, которое он получил, тотчас остановился и, протянув правую руку, к самому рту моему поднес венок. Тут я, трепеща, с сильно бьющимся сердцем, венок, сверкающий вплетенными в него прекрасными розами, жадно хватаю губами и пожираю, стремясь к исполнению обещанного. Не обмануло божественное предсказание — тут же спадает с меня безобразная личина животного: прежде всего исчезает грязная, сваляв-

шаяся шерсть, толстая шкура становится тоньше, огромный живот уменьшается, на ступнях ног копыта разделяются на отдельные пальцы, руки перестают быть ногами, но поднимаются для исполнения своих высоких обязанностей, длинная шея укорачивается, пасть и голова округляются, огромные уши принимают прежние размеры, зубы, подобные камням, снова делаются небольшими, как у людей, и хвост, который доставлял мне больше всего мучений, исчезает без следа! Народ удивляется, люди благочестивые преклоняются при столь очевидном доказательстве великого могущества верховного божества, подобном чудесному сновидению, и при виде быстрого превращения громогласно и единодушно, воздев руки к небу, свидетельствуют об этой столь славной милости богини.

14. А я, остолбенев от немалого изумления, стоял неподвижно и молча, не зная, от переполнившей душу мою неожиданной и великой радости, с чего лучше всего начать, откуда подступить к звукам, сделавшимся мне непривычными, как удачнее всего воспользоваться первинами возвращенного мне дара речи, какими словами и выражениями возблагодарить богиню за ее благодеяние. Но жрец, очевидно свыше извещенный обо всех моих несчастьях с самого начала, хотя и сам был потрясен великим чудом, знаком приказывает, чтобы прежде всего дали мне льняную одежду для прикрытия, потому что, как спала с меня зловещая ослиная оболочка, так я и стоял, тесно сжав бедра и сплетенными руками скрывая, насколько мог, наготу свою естественной завесой. Один из почитателей святыни сейчас же снял с себя верхнюю тунику и поскорее набросил на меня. Тогда жрец, ласково глядя на меня и, Геркулесом клянусь, божественным проникнутый изумлением, так начинает:

15.— Вот, Луций, после стольких всевозможных страданий, после великих гроз, воздвигнутых Судьбою, пережив величайшие бури, достиг наконец ты спокойной пристани Отдохновения, алтарей Милосердия. Не впрок пошло тебе ни происхождение, ни положение, ни даже сама образованность, которая тебя отличает, потому что, сделавшись по страстности своего молодого возраста рабом сластолюбия, ты получил роковое возмездие за несчастное свое любопытство. Но все же слепая Судьба, злобно терзая тебя и подвергая самым страшным опасностям, сама того не зная, привела тебя к сегодняшнему блаженству. Пусть же идет она и пышет неистовой яростью, придется ей искать для своей жестокости другой жертвы. Ведь над теми, кого величие нашей богини призвало посвятить жизнь служению ей, не имеет

власти губительная случайность. Разбойники, дикие звери, рабство, тяжкие пути и скитания без конца, ежедневное ожидание смерти — чего достигла всем этим свирепая Судьба? Вот тебя приняла под свое покровительство другая Судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой озаряет даже остальных богов. Пусть же радость отразится на твоем лице в соответствии с праздничной этой одеждой. Ликуя, присоедини свой шаг к шествию богини-спасительницы. Пусть видят безбожники, пусть видят и сознают свое заблуждение: вот избавленный от прежних невзгод, радующийся промыслу великой Изиды Луций празднует победу над своей судьбой! Но чтобы защититься еще надежнее и крепче, запишись в святое это воинство (веление принять такую присягу и прозвучало для тебя недавно), посвяти себя уже отныне нашему служению и наложи на себя ярмо добровольного подчинения. Начав служить богине, насладишься ты в полной мере великим плодом своей свободы.

16. Провещав таким образом, почтенный жрец, с трудом переводя дыхание, умолк. Я же, присоединившись к священным рядам, двинулся вслед за святыней. Всем гражданам я стал известен, сделался предметом всеобщего внимания, на меня указывали пальцами, кивали головой, и весь народ переговаривался:

— Вон тот, кого царственная воля всемогущей богини сегодня вернула к человеческому образу. Клянусь Геркулесом, счастлив он и трижды блажен: несомненно, незапятнанностью предшествовавшей жизни и верою заслужил он такое преславное покровительство свыше, так что сейчас же после второго, до некоторой степени, рождения вступает он на путь священного служения.

Среди подобных восклицаний, среди праздничных пожеланий и молитв толпы мало-помалу подвигаясь, приближаемся мы к морскому берегу и доходим как раз до того места, где накануне лежал я в виде осла. Расставили там в должном порядке священные изображения богов, и верховный жрец, произнеся пречистыми устами священнейшие молитвы, горящим факелом, яйцом и серою очищает высшим очищением корабль, искусно сделанный и со всех сторон удивительными рисунками на египетский лад пестро расписанный, и посвящает богине этот жертвенный дар. На сверкающем парусе счастливого судна вытканы были золотом буквы, которые складывались в пожелание удачных плаваний в пору новых выходов в море. Мачтою была круглая сосна, блестящая, с превосходным топом, так что смотреть было приятно; корма, выгнутая в виде гусиной шеи и покрытая листовым золотом, ярко блестела, и корпус, весь из светлой, по-

лированной туи, радовал взор. Тут вся толпа, как посвященные, так и непосвященные, наперебой подносит корзины с ароматными травами и другими дарами в таком же роде, над водами совершают возлияния молочной похлебкой; наконец, когда корабль наполнен был щедрыми приношениями и сулящими счастье пожертвованиями, обрезают якорные канаты и, предоставив судно попутному и спокойному ветру, пускают в море. Когда оно было уже на таком расстоянии, что почти скрылось из наших глаз, носильщики снова взяли священные предметы, которые они принесли, и, по-прежнему образуя великолепную процессию, все быстрым шагом возвращаются к храму.

17. Когда приблизились мы уже к самому храму, великий жрец, носильщики священных изображений и те, что ранее уже были посвящены в высоко почитаемые таинства, войдя в святилище богини, расположили там в должном порядке изображения, казавшиеся одушевленными. Тут один из них, которого все называли писцом, стоя против дверей, созвал пастофоров — так именовалась эта святейшая коллегия — как бы на собрание, и, взойдя на возвышение подле тех же дверей, стал читать по книге написанные в ней молитвы о благоденствии императора, почтенного сената, всадников и всего народа римского, о кораблях и корабельщиках, обо всем, что подвластно нашей державе, закончив чтение по греческому обряду греческим возгласом...[1] В ответ раздались крики народа, выражавшие пожелание, чтобы слова эти всем принесли удачу. Исполненные радости граждане, держа в руках ветви священных деревьев и веночки, поцеловав ступни серебряной статуи богини, стоявшей на храмовой лестнице, отправились по домам. Я же не мог решиться ни на шаг отойти от этого места и, не спуская глаз с изображения богини, перебирал в памяти испытанные мною бедствия.

18. Летучая молва меж тем не ленилась и не давала отдыха своим крыльям, и сейчас же у меня на родине пошли разговоры о несравненной милости ко мне божественного промысла и о моей достопримечательной судьбе. И немедленно мои друзья, любимые рабы и те, кто связан был со мной узами близкого родства, отложив скорбь, в которую их погрузило ложное известие о моей смерти, во власти неожиданной радости спешат ко мне с разными подарками, чтобы взглянуть на вернувшегося к свету дня из преисподней. Я уже потерял надежду их увидеть, а потому очень им обрадовался и с удовольствием принимал их достойные подношения: ведь близкие мои предусмотрительно позабо-

[1] Текст испорчен: рукописи не дают удовлетворительного чтения.

тились щедро снабдить меня всем необходимым для безбедного существования.

19. Поговорив с каждым из них, как полагается, и все рассказав о прежних моих бедствиях и теперешней радости, я снова все свое благодарное внимание устремляю на богиню; наняв внутри храмовой ограды помещение, устраиваю себе временное жилище, посещаю богослужения, пока еще — низшего разряда, не разлучаюсь с жрецами, неотступный почитатель великого божества. Ни одна ночь, ни один сон у меня не проходил без того, чтобы я не лицезрел богини и не получал от нее наставлений; частыми повелениями она убеждала меня принять наконец посвящение в ее таинства, к которым давно уже был я предназначен. Хотя я и пылал страстным желанием подчиниться этим приказам, но меня удерживал священный трепет, так как я находил весьма трудным делом беспрекословное подчинение святыне и нелегкой казалось мне задачей соблюдение обета целомудрия и воздержания — ведь жизнь исполнена всяческих случайностей, она требует осторожности и осмотрительности. Обдумывая все это вновь и вновь, я, хотя и стремился поскорее принять посвящение, все как-то откладывал исполнение своего решения.

20. Однажды ночью приснилось мне, что приходит ко мне верховный жрец, неся что-то в полном до краев подоле, и на мой вопрос, что это и откуда, отвечает, что это моя доля из Фессалии, а также что оттуда вернулся раб мой по имени Кандид. Проснувшись, я очень долго думал об этом сновидении, размышляя, что бы оно могло предвещать; к тому же я прекрасно помнил, что у меня никогда не было раба с таким именем. Но все-таки я полагал, что присланная доля во всяком случае обозначает какую-то прибыль. Обеспокоенный и встревоженный надеждой на какую-то удачу и доход, я ожидал утреннего открытия храма. Когда раздвинулись белоснежные завесы, мы обратились с мольбами к досточтимому изображению богини; жрец обошел все алтари, совершая богослужение и произнося торжественные молитвы, наконец, зачерпнув из сокровенного источника воды, совершил возлияние из чаши; исполнив все по священному обряду, благочестивые служители богини, приветствуя восходящее солнце, громким криком возвестили о первом часе дня. И в этот самый момент являются узнавшие о моих приключениях слуги — прямо из Гипаты, где я их оставил, еще когда Фотида уловила меня в коварные сети, и приводят с собою даже мою лошадь, которая неоднократно уже переходила из рук в руки и была наконец отыскана по особой отметине на

спине. Вещему смыслу моего сновидения я тем более дивился, что, кроме в точности выполненного обещания касательно прибыли, рабу Кандиду соответствовал возвращенный мне конь, который был белой масти.

21. После этого случая я еще усерднее принялся за исполнение религиозных обязанностей, так как надежда на будущее поддерживалась во мне сегодняшними благодеяниями. Со дня на день все более и более проникало в меня желание принять посвящение, и я не отставал от верховного жреца со своими горячими просьбами, чтобы он посвятил меня наконец в таинства священной ночи. Он же, муж степенный и известный строгим соблюдением религиозных обрядов, кротко и ласково, как отцы обыкновенно сдерживают несвоевременные желания своих детей, отклонял мою настойчивость, утешая и успокаивая меня в моем смятении добрыми надеждами.

— Ведь и день,— говорил он,— в который данное лицо можно посвящать, указывается божественным знамением, и жрец, которому придется совершать таинство, избирается тем же промыслом, даже необходимые издержки на церемонию устанавливаются таким же образом.— Ввиду всего этого он полагал, что мне нужно вооружиться немалым терпением, остерегаясь жадности и заносчивости, и стараться избегать обеих крайностей: будучи призванным — медлить и без зова — торопиться. Да и едва ли найдется из числа жрецов человек, столь лишенный рассудка и, больше того, готовый сам себя обречь на погибель, который осмелился бы без специального приказания богини совершить столь дерзостное и святотатственное дело и подвергнуть себя смертельной опасности: ведь и ключи от преисподней, и оплот спасения — в руках у богини. Да и самый обычай этот установлен в уподобление добровольной смерти и дарованного из милости спасения, так как богиня имеет обыкновение намечать своих избранников из тех, которые, уже окончив путь жизни и стоя на пороге последнего дыхания, тем лучше могут хранить в молчании великую тайну небесного учения: промыслом ее в какой-то мере вторично рожденные, они обретают возможность еще раз начать путь к спасению. Вот так же и мне следует ждать небесного знамения, хотя совершенно ясно, что высоким суждением великого божества я давно уже призван и предназначен к блаженному служению. Тем не менее я должен уже теперь наряду с остальными служителями храма воздерживаться от недозволенной и нечистой пищи, чтобы тем скорее достигнуть скрытых тайн чистейшей веры.

22. Таковы были слова жреца, и послушание мое уже не нарушалось нетерпением, но, погруженный в тихий покой и в похвальную молчаливость, усердными ежедневными поклонениями воздавал я почитание святыне. И не обманула мои ожидания спасительная благость могущественной богини: не мучила меня долгой отсрочкой, но в одну из темных ночей отнюдь не темными повелениями ясно открыла мне, что настает для меня долгожданный день, когда она осуществит величайшее из моих желаний, и сколько я должен потратить на искупительное молебствие, и что для исполнения священных обрядов назначается тот самый Митра, верховный ее жрец, которого связывает со мною,— вещала она,— какое-то божественное сродство светил.

Возрадовавшись в душе от этих и тому подобных благоприятных сообщений верховной богини, я при первом свете зари, стряхнув с себя сон, сразу же направляюсь к жилищу жреца и, встретив его как раз на пороге,— он уже выходил из дому,— приветствую и следую за ним. Я уже намеревался настойчивее, чем все прошлые разы, требовать у него посвящения как должного, но он сам, едва увидел меня, воскликнул:

— О Луций мой, счастлив ты и блажен,— какой великой милости удостоила тебя небесная владычица! Что же ты теперь стоишь праздно, что же теперь ты сам медлишь? Вот наступает для тебя давно желанный день, в который, по божественному повелению многоименной богини, своими руками введу я тебя в пречистые тайны священного служения!

Тут любезнейший старец, положив свою правую руку мне на плечо, немедленно ведет меня к самым вратам обширного здания; там, по совершении пышного обряда открытия дверей, исполнив утреннее богослужение, он выносит из недр святилища некие книги, написанные непонятными буквами; эти знаки, то изображением всякого рода животных сокращенно передавая слова торжественных текстов, то всевозможными узлами причудливо переплетаясь и наподобие колеса изгибаясь, тайный смысл чтения скрывали от суетного любопытства. Из этих книг он прочел мне о приготовлениях, необходимых для посвящения.

23. Сейчас же ревностно и даже с некоторым избытком закупается все, что требовалось для обряда,— частью мною самим, частью моими друзьями. Наконец жрец объявляет, что час настал, и ведет меня, окруженного священным воинством, в ближайшие бани; там после обычного омовения, призвав милость богов, он со всей тщательностью очищает меня окроплением и

снова приводит к храму. Две трети дня были уже позади, когда он, поставив меня у самых ног богини и прошептав мне на ухо некоторые наставления, благостное значение которых нельзя выразить словами, перед всеми свидетелями наказывает мне воздержаться от чревоугодия, десять дней подряд не вкушать никакой животной пищи, а также не прикасаться к вину. Исполняю свято этот наказ о воздержании, а между тем наступает уж и день посвящения, и солнце, склоняясь к закату, привело на землю вечер. Тут со всех сторон стекаются толпы народа, и, по стародавнему священному обычаю, каждый приносит мне в знак почтения какой-нибудь подарок. Но вот жрец, удалив всех непосвященных, облачает меня в плащ из грубого холста и, взяв за руку, вводит в сокровенные недра храма.

Может быть, ты страстно захочешь знать, усердный читатель, что там говорилось, что делалось? Я бы сказал, если бы позволено было говорить, ты бы узнал, если бы слышать было позволено. Но одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любопытства и язык и уши. Впрочем, если ты объят благочестивой жаждой познания, не буду тебя дальше томить. Итак, внимай и верь, ибо это — истина. Достиг я рубежей смерти, переступил порог Прозерпины и вспять вернулся, пройдя чрез все стихии; в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им. Вот я тебе и рассказал, а ты, хотя и выслушал, должен остаться в прежнем неведении.

Но передам то единственное, что могу открыть я, не нарушая тайны, непосвященным слушателям.

24. Настало утро, и по окончании богослужения я тронулся в путь, облаченный в двенадцать священных стол; хотя это относится к святым обрядам, но я могу говорить об этом без всякого затруднения, так как в то время масса народа могла все видеть. И действительно, повинуясь приказанию, я поднялся на деревянное возвышение в самой середине храма, против статуи богини, привлекая взоры своей одеждой — виссоновой, правда, но ярко расписанной. С плеч за спину до самых пят спускался у меня драгоценный плащ, и со всех сторон, откуда ни взгляни, был я украшен разноцветными изображениями животных: тут индийские драконы, там гиперборейские грифоны, порожденные другим миром и подобные крылатым птицам. Стóла эта у посвященных называется олимпийской. В правой руке я держал ярко горящий факел; голову мою окружал великолепный венок из листьев ослепительно прекрасной пальмы, расходившихся в виде лучей. Вдруг завеса отдернулась, и, разукрашен-

ный наподобие Солнца, словно воздвигнутая статуя, оказался я пред взорами народа. После этого я торжественно отпраздновал день своего духовного рождения, устроив обильное и веселое пиршество. Третий день был отмечен повторением тех же торжественных обрядов, и священная трапеза была надлежащим завершением моего посвящения. Я пробыл там еще несколько дней, вкушая невыразимую сладость созерцания священного изображения, связанный чувством благодарности за бесценную милость. Наконец, по указанию богини, воздав ей благодарность, далеко не достаточную, конечно, но лишь соответствующую моим скромным силам, я начал готовиться к возвращению домой, столь запоздалому, с великим трудом расторгая узы пламенных стремлений. И вот, повергнувшись ниц перед богиней и прижимаясь лицом к стопам ее, обливаясь слезами, голосом, прерываемым частыми рыданиями, глотая слова, я начал:

25.— О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, подымаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Помолившись таким образом верховной богине, я бросаюсь не шею жрецу Митре, ставшему для меня вторым отцом, и, осыпая его поцелуями, прошу прощенья, что не могу отблагодарить его как следует за его благодеяния.

26. Я долго и пространно изливал ему свою благодарность, наконец расстаюсь с ним и сразу пускаюсь в путь, чтобы вновь увидеть отеческий дом после столь долгого отсутствия. Но остаюсь я там всего несколько дней, потому что, по внушению великой богини, поспешно собрав свои пожитки, сажусь на корабль и отправляюсь в Рим. Вполне благополучно, при попутном ветре, я быстро достигаю Августовой гавани; пересев там в повозку, лечу дальше и к вечеру, накануне декабрьских ид, прибываю в святейший этот город. С тех пор главным моим занятием стали ежедневные молитвы верховной богине, Изиде-владычице, которую там с глубочайшим благоговением чтили под названием Полевой — по местоположению ее храма; был я усердным ее почитателем — в этом храме хотя и пришелец, но в учении свой человек.

Вот великое Солнце, пройдя весь круг зодиака, уже завершило свой годовой путь, как вдруг неусыпная забота благодетельного божества снова прерывает мой покой, снова напоминает мне о посвящении, снова — о таинствах. Я очень удивился: в чем дело, что предвещают слова богини? Да и как не изумляться! Ведь я уже давно считал себя вполне посвященным.

27. Покуда я религиозные сомнения эти отчасти своим умом разбирал, отчасти подвергал рассмотрению служителей святыни, я узнаю совершенно неожиданную для себя новость: что только в таинства богини был я посвящен, но обрядами Озириса непобедимого, великого бога и верховного родителя богов, никогда просвещен не был, и что хотя сущности этих божеств и их учений тесно соприкасаются между собою и даже едины, но в посвящениях имеются огромные отличия; поэтому мне должно быть понятно, что я призван сделаться служителем и этого великого бога. Дело недолго оставалось в неопределенности. В ближайшую же ночь увидел я какого-то жреца в полотняном одеянии; в руках у него тирсы, плющ и еще нечто, чего я не имею права называть; все это он кладет пред моими ларами, а сам, заняв мое сиденье, говорит мне, чтобы я приготовлял обильную священную трапезу. И для того, разумеется, чтобы я лучше мог узнать его, он отличался одной особенностью, а именно: левая пятка у него была несколько искривлена, так что при ходьбе в его поступи была заметна легкая неуверенность. После такого ясного выражения божественной воли всякая тень неопределенности исчезла, и я тотчас после утренних молитв богине стал с величайшим вниманием наблюдать за каждым жрецом, нет ли у кого такой походки, как та, что я видел во сне. Ожидания мои

оправдались. Вскоре я заметил одного из пастофоров, у которого не только походка, но вдобавок и осанка и внешность точь-в-точь совпадали с моим ночным видением; звали его, как я потом узнал, Азинием Марцеллом — имя, не чуждое моим превращениям. Я не стал медлить и тут же подошел к нему; он и сам уже, разумеется, знал о предстоящем разговоре, так как, подобно мне, давно уже был предупрежден свыше, что речь пойдет о посвящении в таинства. Накануне ночью ему приснилось, что когда он возлагал венки на статую великого бога...[1] и из уст его, изрекающих судьбы каждого в отдельности, услышал, что послан будет к нему уроженец Мадавры, человек очень бедный, над которым сейчас же нужно свершить священные обряды, так как, по божественному его промыслу, и посвящаемый прославится своими подвигами, и посвятитель получит высокое вознаграждение.

28. Предназначенный, таким образом, к божественному посвящению, я медлил, вопреки своему желанию, из-за недостатка средств. Жалкие крохи моего наследства были истрачены на путешествие, да и столичные издержки значительно превышали расходы тех дней, когда я жил в провинции. Так как неумолимая бедность стояла у меня на пути, а внушения божества все настойчивее меня торопили, то я очутился, по пословице, между молотом и наковальней. Все чаще и чаще, побуждаемый божеством, я терял спокойствие, наконец убеждения перешли в приказания. Тогда я, распродав свой запас одежды, довольно скудный правда, кое-как наскреб требуемую небольшую сумму. На это мне было особое увещевание.

— Неужели ты,— так говорилось мне,— хоть одну минуту пожалел бы о своих платьях, если бы дело шло о каком-нибудь предстоящем удовольствии? Теперь же, на пороге таких церемоний, ты не решаешься предаться нищете, в которой не будешь раскаиваться?

Итак, все было приготовлено в достаточном количестве; снова я десять дней не вкушал животной пищи, даже голову выбрил вдобавок, и, наконец, просвещенный ночными бдениями, со всею доверчивостью предался святым обрядам этой родственной религии. Она не только служила мне большим утешением в моем положении чужеземца, но даже доставила мне довольно значительные средства к пропитанию; в самом деле, кем как не благодетельной Удачей был ниспослан мне тот заработок адвоката, что я получил, ведя дела на латинском языке?

---

[1] В рукописях пропуск нескольких слов.

29. И вот прошло всего несколько дней, как неожиданно, к великому моему удивлению, снова раздается зов свыше, приказывающий мне в третий раз подвергнуться посвящению. Обеспокоенный немалой заботой и придя в сильное волнение, я крепко задумался: куда клонится это новое и неслыханное намерение небожителей? что еще осталось неисполненным, хотя я подвергался дважды посвящению? «Ну конечно,— говорил я себе,— и тот и другой жрецы допустили какую-нибудь ошибку или чего-нибудь недоделали». И, клянусь Геркулесом, я начал уже сомневаться в их добросовестности. Благостное видение ночным вещанием вывело меня из этих беспорядочно бушевавших мыслей, напоминавших рассуждения безумца.

— Нечего тебе,— сказано мне было,— опасаться многочисленных посвящений и думать, что в предыдущих было что-нибудь опущено. Этим доказательством неоскудевающей божественной к тебе милости в радости гордись и, скорее уж, ликуй, что трижды назначено тебе то, чего другие едва единожды удостаиваются. Ты же из самого числа посвящений должен почерпнуть уверенность в вечном своем блаженстве. Впрочем, предстоящее тебе посвящение вызвано крайней необходимостью. Вспомни только, что облачение богини, которое возложил ты на свои плечи в провинции, там в храме и осталось лежать, и в Риме ты не сможешь ни участвовать в торжественных богослужениях, когда требуется это одеяние, ни украсить себя счастливою тою ризою, если получишь такое приказание. Итак, с радостной душой приступай по воле богов великих к новому посвящению, и да будет оно тебе на благо, счастие и спасение!

30. Затем божественное видение — величественный мой увещеватель — возвещает мне обо всем, что необходимо сделать. Сразу же после этого, не откладывая и попусту не затягивая дела, я сообщаю своему жрецу обо всем виденном, принимаю на себя ярмо воздержания от мясной пищи, в благоразумии своем добровольно увеличив десятидневный срок поста, предписанный вечным законом, и, не жалея издержек, готовлюсь к посвящению, более руководствуясь благочестивым рвением, чем необходимою мерою. И, клянусь Геркулесом, не пожалел я о хлопотах и издержках: по щедрому промыслу богов, выступления в суде стали приносить мне изрядный доходец. Наконец, через несколько деньков бог среди богов, среди могучих могущественнейший, среди верховных высший, среди высших величайший, среди величайших владыка,— Озирис, не приняв чужого какого-либо образа, а в собственном своем божественном виде удостоил и почтил меня своим явлением. Он сказал мне, чтобы я бестре-

нетно продолжал свои славные занятия в суде, не боясь сплетен недоброжелателей, которые вызваны отличающими меня трудолюбием и ученостью. А чтобы я, не смешиваясь с толпой остальных посвященных, мог ему служить, избрал меня в коллегию своих пастофоров, назначив даже одним из пятилетних декурионов. Снова обрив голову, я вступил в эту стариннейшую коллегию, основанную еще во времена Суллы, и хожу теперь, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, радостно смотря в лица встречных.

ПРИМЕЧАНИЯ

АХИЛЛ ТАТИЙ
ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

Первым изданием «Левкиппы и Клитофонта» следует считать издание 1601 года, которое было повторено в 1606 году (оно включало также и роман Лонга «Дафнис и Хлоя»). Греческий текст романа с тех пор издавался восемь раз. Что касается его переводов, то первый перевод романа вышел раньше, чем первое издание его полного текста на греческом языке. Это был перевод на латинский язык, сделанный в 1544 году Лючио Аннибале делла Кроче (в латинской транскрипции Круцей); в распоряжении первого переводчика находились лишь четыре последних части романа. В 1546 году появился перевод Татия на итальянский язык, сделанный с латинского текста Круцея. Этот же перевод Круцея положен в основу первого перевода романа на французский язык, вышедшего в Лионе в 1572 и переизданного в 1573 году. Пожалуй, больше всего роман переводился именно на французский язык (в Париже в 1575 году, в Лионе в 1586 году, в Париже в 1635 году, в Амстердаме в 1733 году, в Париже в 1785, 1797 годах и т. д.). Семь раз переводился роман Татия на английский язык; есть переводы на немецкий, испанский языки. На русский язык роман Ахилла Татия был впервые переведен в 1925 году. Перевод этот анонимный, указаны лишь инициалы авторов перевода; роман вышел под редакцией Богаевского с вступительной статьей Болдырева (Ахилл Татий Александрийский, «Левкиппа и Клитофонт». Перевод А. Б. Д. Е. М. Государственное издательство, М. 1925).

Перевод, публикуемый в настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы», сделан по одному из последних изданий оригинала (Стокгольм, 1955); подробный комментарий вышел в Гетеборге семью годами позже и принадлежит Эббе Вилборгу.

Стр. 23. *Сидон* — древний финикийский город, расположенный в приморской долине. Город имел двойную гавань и упоминался Гомером как торговый и промышленный центр («Илиада», VI, 290; XXIII, 740—744).

Астарта — богиня плодородия, почитавшаяся в Финикии. В греко-римский период нередко отождествлялась с Афродитой.

Европа.— Широко известный миф о похищении Европы рассказывается Ахиллом Татием при описании увиденной рассказчиком картины. Описания картин, частые в литературе второй софистики, находим у Лонга, а также в «Эфиопике» Гелиодора.

Стр. 25. *Тир* — важнейший порт Финикии, расположенный южнее Сидона. Тир оставался крупным торговым центром и под властью римлян; славился производством пурпура.

Визáнтий — город на фракийском берегу Боспора (ныне Стамбул); основан милетцами в 58 году до н. э.

Мойры — богини человеческой судьбы, дочери Зевса и Фемиды. С Мойрами связана вся жизнь человека. Они представлялись в виде старух, прядущих нить человеческой жизни. Клото прядет нить; Лахесис проводит ее через все превратности судьбы; Атропа, перерезая нить, обрывает жизнь. Греческим Мойрам сродни римские Парки.

Стр. 26. *Левкиппа* — имя одной из нимф-океанид. В ряде греческих романов имя героини совпадает с именем одной из нимф,— например, Каллироя в романе Харитона «Хэрей и Каллироя». Подобные совпадения, должно быть, вызывали у читателя нужные автору ассоциации.

Селена — богиня Луны.

Стр. 29. *Зло подарю я им вместо огня...*— Гесиод. Труды и Дни, 57—58.

Сирены — в греческой мифологии полуженщины-полуптицы. Своим сладкозвучным пением они увлекали мореходов, которые затем становились их добычей.

Эрифила.— Получив в дар от Полиника ожерелье и пеплос Гармонии (Гармония — дочь Афродиты и Арея), она уговорила мужа принять участие в походе Семерых против Фив, заранее зная, что посылает его на верную гибель.

Филомела.— Ахилл Татий описывает миф о ней в пятой книге, гл. III и дальше.

Сфенебея — оклеветала греческого героя Беллерофонта перед своим мужем Пройтом, и тот послал юношу к своему тестю с поручением передать ему письмо, написанное знаками, требующими смерти Беллерофонта.

Аэропа — мать Агамемнона и Менелая. Изменила своему мужу Атрею с его братом Тиестом, за что была брошена Атреем в море.

Прокна — сестра Филомелы.

Стр. 30. *Кандавл* — полулегендарный царь Лидии. Показал своему любимцу Гигу жену-царицу обнаженной. Оскорбленная царица предложила Гигу либо заплатить жизнью за дерзость, либо убить Кандавла и жениться на ней. Гиг выбрал последнее. Об этом рассказывает Геродот.

Зевсу, метателю грома, головой и очами подобный...— Гомер, Илиада, II. 478.

Стр. 32. *Мистерии* — тайные религиозные обряды, широко распространенные в Древней Греции и в Риме; к участию в них допускались только посвященные, которые были обязаны в строжайшей тайне держать все, что происходило во время мистерий.

Стр. 37. *Аретуза* — источник вблизи Сиракуз. Аретуза — нимфа источников в Элиде и Сицилии. В поздней мифологии рассказывается, что речной бог Алфей влюбился в Аретузу и преследовал ее. Спасаясь, Аретуза превратилась в источник, но Алфей обратился в реку, и воды его соединились с водами Аретузы.

Стр. 39. *Сначала она спела из Гомера...*— Гомер, Илиада, XVI, 823 и дальше.

Кадм — уроженец Финикии; по распространенному мифу, основатель Фив. В честь Кадма кремль в Фивах назван был Кадмеей. Геродот представляет Кадма тирийцем (II, 49; I, 2).

Библос — древний город в Финикии. Возможно, что название библосского вина говорило не о его географическом происхождении, но означало выработку его из особого сорта винограда — «библиа».

Маронея — город на южном берегу Фракии. Славился своим превосходным вином.

Хиос — чрезвычайно плодородный остров, доставлявший лучшее греческое вино. Главный город острова, Хиос, претендовал в числе семи городов на то, что он является родиной Гомера.

Икарий.— В награду за гостеприимство, которое Икарий оказал Дионису, он получил от бога виноградную лозу. Пастухи, сочтя своих напившихся вина товарищей отравленными Икарием, убили его.

Стр. 40. *Главк Хиосский* — изобретатель с острова Хиоса, живший примерно в VII веке до н. э. Научился паять, изменять твердость металлов и был замечательным ваятелем.

Стр. 42. *Омфала.*— После того как Геракл совершил знаменитые двенадцать подвигов, он в припадке бешенства убил Ифита. За это по приказанию дельфийского оракула он был на год (в других вариантах на три года) продан в рабство к лидийской царице Омфале. Будучи ее рабом, Геракл изнежился,— облаченный в женские одежды, он прял шерсть, а Омфала носила в это время львиную шкуру Геракла и его палицу.

Стр. 44. *...он подменил кубки...*— Мотив этот характерен для большинства греческих романов. Влюбленные пьют из одного кубка, наслаждаясь прикосновениями к кубку как поцелуями.

Стр. 46. *Зевс Гостеприимец.*— Эпитет отражает функцию Зевса, заключающуюся в защите прав гостя, беглеца, просящего покровительства.

Стр. 47. *Стратеги* — главнокомандующие.

Стр. 48. *Теор* — государственный представитель, исполнявший поручения культового характера.

Окраска... та, за которую Гомер хвалил коней фракийского царя.— «Илиада», X, 437 («Снега белее они...»).

Стр. 53. *Уснул твой Киклоп.*— Киклопы (циклопы) — страшные одноглазые великаны. Они ковали Зевсу гром и ковали для него молнию. Отец их Уран заточил киклопов в землю, но Зевс освободил их и превратил в своих слуг.

Стр. 57. *...в первую ночную стражу...*— Греки делили ночь на три или четыре стражи, то есть смены ночного караула.

Стр. 58. *Пэан* — жанр древнегреческой хоровой лирики. Пэаны обычно были обращены к Аполлону, представляя собой хоровое торжественное песнопение.

Стр. 59. *...принимался плакать, будто бы о Патрокле...*— Гомер, Илиада, XIX, 301 и дальше.

Ее можно сравнить с питьем Тантала.— Тантал был наказан за разглашение людям тайных решений Зевса. Он стоял в подземном царстве по горло в воде, но когда, изнывая от жажды, хотел сделать глоток, вода отступала. «Танталовы муки» — нестерпимые мучения от сознания близости желанной цели и невозможности ее достигнуть.

Стр. 60. *Он-то богами и взят в небеса...*— Гомер, Илиада, XX, 234—235.

Алкмена — возлюбленная Зевса, родившая от него Геракла. Впоследствии Зевс приказал отвезти ее на остров блаженных.

Даная — возлюбленная Зевса; он проник в подвал, где была заточена Даная, в виде золотого дождя и сочетался с ней браком, от которого родился герой — Персей. Отец Данаи, аргосский царь Акрисий, чтобы избежать исполнения предсказания, заключавшегося в том, что он погибнет от руки внука, заточил Данаю вместе с Персеем в ящик и приказал бросить этот ящик в открытое море.

Семела — возлюбленная Зевса, дочь фиванского царя Кадма (см. прим. к стр. 39), родившая от Зевса Диониса. Супруга Зевса Гера, решив отомстить Семеле, посоветовала ей попросить Зевса, чтобы он явился перед ней во всем своем величии бога. Зевс, чтобы доказать Семеле свою любовь, послушался ее, но, когда он предстал перед ней в сверкании молний, они испепелили смертную Семелу.

...полюбив фригийского мальчика...— Имеется в виду Ганимед, прекраснейший из смертных, фригийский (троянский) царевич; он был похищен Зевсом, обратившимся в орла, и стал виночерпием Зевса.

Стр. 61. *...Зевс... украл у солнца целых три дня.*— В то время как Зевс находился у Алкмены, солнце не всходило в течение трех дней.

Стр. 62. *Палестра* — гимнастическая школа.

Стр. 66. *Посейдон* — морской бог; у римлян — Нептун.

Пелусий — город в Нижнем Египте, на восточном рукаве Нила, в двадцати стадиях (около четырех километров) от моря.

Зевс Касийский — прозвище Зевса по названию храма Зевса у подножия горы Кассион в Египте.

Стр. 67. *...мы заметили двойную картину...*— Эта же картина упоминается Гелиодором в его «Эфиопике»» (четвертая книга), но у Гелиодора Андромеда нагая. Андромеда — дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. Кассиопея, гордясь красотой Андромеды, заявила, что она прекраснее морских нимф Нереид. Нереиды пожаловались Посейдону, который послал в страну эфиопов чудовище, пожиравшее людей. По предсказанию оракула, страна могла избавиться от чудовища, если ему отдадут Андромеду. Повеление оракула было исполнено, но Персей (см. прим. к стр. 60) спас Андромеду и женился на ней.

Аидоней, иначе Аид или Плутон,— владыка подземного мира и царства мертвых.

Стр. 68. *Горгона.*— На эгиде Зевса Гомером описывается голова Горгоны. У Гесиода три Горгоны, из которых одна — Медуза, существо со змеями вместо волос; ее взор обращает людей в камни. Выполняя приказание Полидекта, царя того острова, на котором был найден Персей со своей матерью Данаей (см. прим. к стр. 60), Персей сумел отрубить голову Медузы Горгоны (при этом из нее выпрыгнул Пегас, порождение Горгоны и Посейдона).

Стр. 71. *Стадий* — мера длины, около одной пятой километра.

Гоплиты — пешие тяжеловооруженные воины в греческом войске.

Фаланга — сомкнутый строй, разделенный на несколько рядов, помещенных один позади другого.

Стр. 73. *Марсий* — олицетворение игры на флейте в культе фригийской богини Кибелы, в противоположность кифаристике Аполлона у греков. Марсий нашел брошенную Афиной флейту и вступил в состязание с Аполлоном, но был побежден. Аполлон содрал с него кожу и повесил ее в пещере (откуда потекла река Марсий). Кожа эта будто бы трепетала от радости, когда в пещере играли на флейте. Состязание Марсия с Аполлоном часто служило темой для живописи и скульптуры.

Ниоба — дочь Тантала (см. прим. к стр. 59). Гордясь своими детьми,— у Ниобы было шесть сыновей и шесть дочерей,— она смеялась над богиней Лето, у которой было лишь двое детей: Аполлон и Артемида. Ниоба дерзнула запретить фиванским женщинам приносить Лето жертвы. В наказание Аполлон поразил всех сыновей Ниобы, а Артемида всех дочерей, Ниоба же от горя окаменела и превратилась в скалу.

Стр. 75. *Геката* — древнее восточное божество, культ которого был перенесен и в Грецию. Первоначально — могущественная богиня, владычица земли, моря и неба. С V века до н. э. Геката становится богиней призраков, ночных кошмаров, волшебства и заклинаний.

Стр. 77. *Палеста* — мера длины, примерно 77 миллиметров.

Стр. 79. *Солнечный Город* — Гелиополь, расположен в Нижнем Египте, к востоку от Нила, при большом канале, соединявшем Нил с Аравийским заливом. Место египетского солнечного культа. Здесь зародилось и сказание о Фениксе (см. прим. к стр. 80).

Стр. 80. *Феникс* — сказочная птица, самосжигающаяся и обновляющаяся. Древние считали, что раз в пятьсот лет она прилетает из Аравии в Египет. В Египте, в Гелиополе, Феникс предавал погребению тело своего отца, сжигая его или хороня в яйце из аравийской смолы.

Стр. 83. *Плод созревает целых десять лет.*— Беременность у слонихи продолжается двадцать два месяца, но в народных преданиях этот срок, как правило, увеличивается до десяти лет.

...дольше Гесиодовой вороны.— Гесиодова ворона живет девять человеческих поколений (по Гесиоду, фрагмент 171).

Стр. 85. *Арей* — бог войны у греков. У римлян — Марс.

Стр. 88. *Лохаг* — командир отряда (лоха). Численность лохов была весьма различной.

Египетские Фивы — один из величайших и древнейших городов Египта, значительный торговый центр и столица Верхнего Египта, впоследствии называвшаяся Диосполем (божественным городом).

Мемфис — был столицей шестой персидской сатрапии; оставался столицей Египта и при римском владычестве.

Стр. 89. *Оргия* — мера длины, примерно 1 метр 86 сантиметров.

Стр. 90. *Талант* — самая крупная денежно-расчетная (не монетная) единица в Греции.

Стр. 93. *Асклепий* (в латинской форме — Эскулап) — бог врачевания, прославился как искуснейший врач, обладавший способностью оживлять мертвых.

Стр. 97. *Серапис* (Сарапис) — египетское и эллинское божество усопших душ. К Серапису взывали об исцелении, так как считалось, что он имеет власть над жизнью и смертью. Отождествлялся с Озирисом, Зевсом, Плутоном и Асклепием. Культ его имел много приверженцев.

Стр. 100. *Эринии* — греческие богини мести, обитательницы Аида; неотступно преследуют убийц, клятвопреступников и т. п.; римляне отождествляли эриний с фуриями.

Стр. 104. *Гименеи* — песни в честь бога брачных уз Гименея.

Эфес — один из двенадцати значительных ионийских городов. В нем находился храм Артемиды, считавшийся одним из семи чудес света.

Стр. 105. *Изида* — первоначально египетская богиня, олицетворение плодородия Нильской долины. Затем культ ее распространился в других странах, и она стала соединять в себе черты многих богов. Со временем Изида становится в глазах своих почитателей верховной богиней.

Стр. 107. *Амфитрита* — владычица морей, супруга Посейдона.

Стр. 108. *Фессалия* — считалась одной из тех областей Греции, где в особенности процветала черная магия. Обычно колдовство было направлено на то, чтобы приворожить мужчину или вернуть изменника к прежней любви.

Стр. 116. *Мисогин* — женоненавистник.

Стр. 119. *Пеплос* — женская одежда или покрывало.

Стр. 120. *Вольноотпущенники* — отпущенные государством (в Древней Греции частным лицам не разрешалось освобождать рабов) на волю граждане, имевшие право поступать на военную службу, но не получавшие полностью гражданских прав.

Стр. 127. *Кодр* — последний царь Аттики, пожертвовавший жизнью в 1068 году до н. э. во имя спасения родины от нашествия на Аттику дорян из Пелопоннеса. После его смерти эвпатриды воспользовались спорами его детей о престолонаследии и вообще отменили царскую власть под тем предлогом, что после Кодра никто ее не достоин.

Крез — лидийский царь, живший примерно в VI веке до н. э. Крез сделал азиатских греков своими данниками, заключил союз с жителями островов, расширил свое царство к востоку. Имя его стало нарицательным для обозначения богача.

Арион — замечательный поэт и музыкант из лесбосского города Метимны, жил в VII—VI веках до н. э. Когда Арион возвращался на корабле в Коринф из путешествия по Сицилии, матросы-коринфяне, желая овладеть богатствами Ариона, решили бросить его в море, но предоставили ему право осуществить свое последнее желание. Арион пожелал спеть перед смертью последнюю песню. И когда, исполнив песню, Арион бросился в море, привлеченный звуками песни дельфин подхватил Ариона на спину и вынес на сушу.

Стр. 130. *Один прячется в печени...*— По представлению древних, от любви болела печень.

Стр. 132. *Артемида* — богиня-девственница (у римлян — Диана), одно из важнейших божеств Древней Греции, дочь Зевса. С именем Артемиды связаны многочисленные мифы: чудесное рождение Аполлона и Артемиды на острове Делос, истребление детей Ниобы, спасение Ифигении и т. д. Разнообразие мифов об Артемиде, большое число ее имен заставляет предположить, что в образе Артемиды слились представления о нескольких божествах. На древность культа Артемиды указывают следы человеческих жертвоприношений, сохранившиеся в ее культе, например древний обычай надрезания кожи на горле у мужчин в день праздника Артемиды. Она была также божеством плодородия. Этот культ особенно был развит в Эфесе, где существовал знаменитый храм Артемиды, сожженный в 356 году до н. э. Геростратом. Артемиде приносили дары беременные женщины; ей было принято приносить жертвы при вступлении в брак.

Стр. 134. *Смирна* — один из крупнейших и богатых городов Малой Азии, расположенный в Лидии.

Стр. 143. *Проэдр* — председательствующий в суде.

Теория — торжественное посольство, отправлявшееся из какой-нибудь местности к соплеменникам, живущим в другой стране. Посольство должно было принести богу жертвы от имени своего государства, а также попросить оракул. Нередко такое посольство сопровождали лица, называемые теорами (см. прим. к стр. 48); они присоединялись к посольству или просто из желания участвовать в нем, или с торговыми и политическими целями.

Стр. 144. *Архонты* — высшие должностные лица в государстве.

Стр. 148. *Тавры* — жители нынешнего Крыма. Тавры делились на кочующие племена и оседлые; последние занимались земледелием и обладали сравнительно более высокой культурой. Они поклонялись девственной богине Орсилохе, которую греки отождествляли с Артемидой и называли Тауруполос. Тавры приносили ей в жертву людей, пострадавших от кораблекрушения, или чужеземцев, попавших в их руки.

Скифы — собирательное название кочевых племен по нижнему течению Дуная и к северу от Черного и Каспийского морей.

Гетера.— Гетерами назывались у греков женщины, которые вели свободный образ жизни; впервые они появились в Коринфе в связи с культом Афродиты, но затем проникли и в Афины. Как правило, гетеры отличались изяществом манер и тонким вкусом, и вокруг них собиралось обычно самое изысканное мужское общество.

Сиринга — свирель из девяти или семи трубок. Миф о сиринге рассказывается Ахиллом Татием в гл. VI восьмой книги.

Стр. 151. *Пан* — сын Гермеса и Пенелопы, бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов; его обычно изображали в виде бородатого мужчины с козлиными ногами и рожками. Пан изобрел свирель. Статуи Пана встречались возле пастбищ в рощах, и местное население приносило ему бескровные жертвы, чаще всего молоко, мед, фрукты.

Стр. 154. *Притан.*— Этот термин означает начальника, старшину, председателя коллегии. Можно сравнить с афинскими архонтами.

Тиран.— В данном случае термин употреблен в значении «насильственный узурпатор», «захватчик царской власти» (в отличие от законного наследственного царя), «тиран», «самодержец».

Стр. 155. *Гимнасий* — сооружение для гимнастических упражнений, представляющее собой большой двор, окруженный портиками и включающий в себя бани, бассейны, колоннады. Молодежь очень любила проводить время в гимнасиях. Готовясь к гимнастическим упражнениям, юноши раздевались и натирались маслом, чтобы во время борьбы легче было выскользнуть из рук противника.

Стр. 157. *Сикофант.*— По самой этимологии слово обозначает чело-

века, который доносил на тех, кто, вопреки запрещению, вывозил из Аттики смоквы. В дальнейшем термин совершенно отошел от своего первоначального значения. В Афинах сикофантами назывались люди, шантажировавшие граждан, особенно греческих купцов, которые из-за незнания законов иногда нарушали местные установления. Заметив то или иное нарушение закона, сикофанты угрожали гражданину доносом, отступить от которого соглашались лишь за взятку. Со временем сикофантия превратилась в серьезное общественное зло, против которого даже существовали специальные законы, которые, впрочем, сикофанты умели обходить.

Стр. 158. *Иония* — область на малоазийском берегу Эгейского моря, с прилегающими островами Хиос и Самос. Двенадцать городов Ионии представляли собой так называемый Ионийский Союз. Иония — важнейший культурный и торговый центр Греции.

Стр. 159. *Стикс* — река в Аркадии, протекающая в дикой местности и падающая с отвесной горной стены в глубокий бассейн, находящийся между скалами. Древние рассказывали, что воды этой реки до такой степени ядовиты, что разъедают все, кроме лошадиных копыт. Вероятно, именно поэтому так была названа река подземного царства. Клятва водой Стикса священна для богов и людей. Бог, ложно давший эту клятву, на год погружался в сон, а затем в течение девяти лет не участвовал в совете бессмертных.

Митра.— В отличие от пояса вокруг талии, так назывался пояс, который женщины завязывали под грудью.

Стр. 160. *Пояс девственности.*— Женщины носили его вокруг талии; распустить пояс значило потерять девственность или выйти замуж.

Стр. 164. *Фемистокл* — крупнейший афинский государственный деятель эпохи греко-персидских войн. Более всего известен тем, что основал порт Пирей. Фемистокл явился инициатором бурного роста афинского флота, основал общегреческий союз тридцати пяти городов-государств, нанес персам знаменитое поражение при Саламине (480 год до н. э.).

В. Чемберджи

ЛОНГ

ДАФНИС И ХЛОЯ

Повесть Лонга имела более счастливую судьбу, чем многие произведения античной литературы,— она сохранилась полностью в нескольких списках, хранящихся в библиотеках Флоренции и Рима. В средние века она была забыта, но эпоха Возрождения высоко оценила ее, а образцовый перевод на французский язык, выполненный известным филологом и переводчиком Жаком Амио, сразу сделал ее знаменитой; бесчисленные пасторали, наводнившие европейскую литературу на всех языках в XVII

в XVIII веках, более тесно примыкали именно к повести Лонга и к буколикам Вергилия, чем к их прототипу — Феокриту. Имена Дафниса и Хлои стали классическими именами пасторали, повторяющимися бесконечное число раз.

Высокую оценку повести Лонга дал Гете (см. И. П. Эккерман, Разговоры с Гете; записи от 9 и 20 марта 1831 года). «Все это произведение,— сказал Гете,— говорит о высочайшем искусстве и культуре... Надо бы написать целую книгу, чтобы полностью оценить по достоинству все преимущества его. Его полезно читать каждый год, чтобы учиться у него и каждый раз заново чувствовать его красоту».

Перевод «Дафниса и Хлои», сделанный профессором С. П. Кондратьевым по изданию 1856 года, сверен с подлинником по изданию 1934 года и заново отредактирован (для изданий 1958 и 1964 годов; издательство «Художественная литература»).

Стр. 169. *Лесбос* — большой остров в Эгейском море у берегов Малой Азии.

Нимфы — богини, олицетворяющие силы природы и обитающие в горах (ореады), в лесах (дриады), в реках (наяды) и т. д.

Эрот — бог любви, сын Афродиты; изображался в виде крылатого мальчика с луком и стрелами, которыми он ранит сердца.

Пан — см. прим. к стр. 151.

Стр. 170. *Митилена* — большой город на острове Лесбос.

...стадиях так в двухстах...— то есть примерно в 37 километрах.

Стр. 171. *Дафнис* — имя мифического сицилийского пастуха, поклявшегося не знать любви и умершего от неутоленной страсти к нимфе Наиде (см. I идиллию Феокрита); по другому варианту мифа, он изменил своей невесте и был поражен слепотой.

Лежали тут и подойники...— Пастухи, почему-либо оставлявшие свое занятие, посвящали нимфам и Пану свои подойники, посохи, сумки и свирели. Богам посвящались также вещи, принадлежавшие умершим пастухам.

Стр. 172. *Хлоя.*— Это имя не встречается ни у Феокрита, ни у кого-либо другого из известных нам буколических поэтов; несколько раз оно употреблено Горацием как имя гречанок-гетер. «Пастушеским» оно, очевидно, считалось потому, что существительное «хлоэ» означало «свежую зелень, молодые побеги».

Стр. 176. *...шкуру лани, одежду вакханок.*— Вакханки — женщины, сопровождавшие Диониса-Вакха, бога вина и веселья, и впадавшие в «священное безумие»; их изображали полураздетыми, с накинутой на плечи или бедра шкурой диких животных и с жезлом (тирсом), увитым виноградом, в руках.

...меня, как и Зевса, вскормила коза.— Зевс был сыном Кроноса, по-

жиравшего своих детей; мать Зевса, Рея, спасла его и спрятала на острове Крит, на горе Иде, где нимфы вскормили его молоком козы Амалтеи.

Сатиры — лесные козлоногие божества, спутники Диониса.

Стр. 180. *...друг в друга яблоки бросали...*— Яблоко — символ любви; юноша бросал понравившейся ему девушке яблоко в складки платья на груди.

Стр. 181. *Пития* — девушка, которую любил Пан, превращенная в сосну; олицетворение сосны (по-гречески «питюс»), посвященной Пану.

Тирийские пираты — мореходы-финикийцы, гроза берегов Эгейского моря.

Карийское судно.— Кария— прибрежная область в южной части Малой Азии, славившаяся искусными судостроителями.

Стр. 182. *...мальчика... более ценного, чем всё...*— Пираты были в то же время и работорговцами.

Стр. 183. *Боспор* — буквально «Переход быков» (ср. московское название «Коровий брод»).

Схоронивши Доркона, омывает Дафниса Хлоя...— После похорон все участвовавшие должны были произвести омовение, чтобы очиститься от прикосновения к мертвому телу.

Стр. 185. *Точило* — устройство для выжимания сока из винограда.

Стр. 187. *...я Кроноса старше...*— Слова Эрота символизируют вечность любви; он сильнее всех богов (см. ниже, гл. 7).

Стр. 188. *...Эхо... прославлял...* Миф об Эхо см. «Дафнис и Хлоя», кн. III, гл. 23 (стр. 211 наст. тома).

Стр. 190. *Метимна* — город на Лесбосе.

Стр. 193. *...метимнейцы... явились с мольбой.*— Просящие о помощи приносили ветвь маслины или лавра, обвитую шерстью, и клали ее в храме перед изображением божества, от которого ждали помощи, либо в народном собрании перед старейшинами.

Стр. 197. *...корабль же вождя вел дельфин...*— Еще древние греки считали дельфина разумным существом, дружественно относящимся к людям.

Стр. 199. *Сиринга.*— Миф о ней связан с греческим названием свирели — «сюринкс». Свирель — излюбленный музыкальный инструмент пастухов, символ пастушеской жизни; свирели бывали из 5, 7, 9 и 11 трубок. Феокриту приписывается так называемое «фигурное» стихотворение «Свирель», состоящее из 11 постепенно уменьшающихся двустиший (см. также стр. 151 наст. тома).

Стр. 204. *...зловещие птицы...*— По греческому поверию, некоторые птицы, например орел, предвещали удачу и славу, другие — неудачу и беды; здесь о зловещих птицах говорится в шутливом тоне.

Стр. 206. *...восхвалив Иакха и восклицая: «Эвоэ!»* — Иакх — древнее аттическое божество, отождествленное с Дионисом. «Эвоэ!» — обычный возглас на празднествах Диониса Вакха.

Стр. 207. *Песнь об Итисе.*— Миф рассказывает, что Прокна, жена фракийского царя Терея, родила сына Итиса; Терей изменил Прокне с ее сестрой Филомелой, которой он вырезал язык, чтобы та не могла рассказать сестре о его измене, но Филомела вытkала ковер с картиной, изображающей поступок царя. Обе сестры, чтобы отомстить Терею, убили Итиса и, спасаясь от преследования, умолили Зевса превратить их в птиц; они были превращены в соловья и ласточку, которые каждую весну плачут об убитом Итисе; Терей был превращен в удода (по другому варианту мифа — в ястреба) (см. также — «Левкиппа и Клитофонт», стр. 99 наст. тома).

Стр. 213. *Забота о браке... дело бога другого...*— то есть Эрота.

Стр. 214. *Драхма* — древнегреческая серебряная монета. Находка Дафниса, 3000 драхм, составляет значительную сумму для крестьянина.

Стр. 217. *Горы* — богини времен года, помощницы Зевса, управляющие вращением неба и круговоротом времен.

...тот пас овец...— Имеется в виду Парис, признавший самой прекрасной из богинь Афродиту.

Стр. 218. *Плетр* — одна шестая стадия, то есть 31 метр.

Стр. 219. *Семела.*— См. прим. к стр. 60 наст. тома. Семелу испепелила молния, но Зевс спас еще не родившегося Диониса и отдал его на воспитание нимфам и Гермесу. Знаменитая статуя Праксителя изображает Гермеса, держащего младенца Диониса на руках.

Ариадна — дочь критского царя Миноса; помогла Тесею убить чудовище — Минотавра, бежала с ним, но была покинута им на острове Наксосе во время сна; там ее нашел Дионис и женился на ней.

Ликург — фракийский царь, враг Диониса, не допускавший празднования вакханалий и наказанный за это Дионисом.

Пенфей — молодой фиванский царь; за то, что он запретил празднование вакханалий, Дионис поверг в вакхическое безумие его мать, которая приняла своего сына за дикого зверя и вместе с другими вакханками растерзала его.

...и индийцы побежденные, и тирренцы, в рыб превращенные.— Мифы о Дионисе рассказывают о триумфальном походе бога на Восток и о том, как ему покорилась даже далекая Индия. В рыб были превращены мореки-пираты, задумавшие схватить и продать в рабство Диониса, который, в образе прекрасного юноши, переправлялся на их корабле через Эгейское море. Тиррения, или Этрурия,— область в Италии.

Стр. 220. *Эвдром.*— Это греческое имя можно перевести как «Прекрасно бегающий».

Стр. 222. *Парасит* — прихлебатель. Около богатых людей устраивалось много бездельников, желавших жить на чужой счет и забавлявших своего хозяина. Имя парасита у Лонга характеризует своего носителя: «Гнатон» — производное от «гнатос» — глотка. Имя «Астил» (от «астю» — город) характеризует юношу как избалованного горожанина.

Лесбосское вино — славилось своим ароматом и сладостью.

Стр. 223. *Деметра* — богиня-покровительница земледельцев; ей был посвящен праздник урожая; ее изображали со снопом колосьев в руках.

Лаомедонт — царь Трои, отец Приама; Аполлон некоторое время служил у него пастухом в наказание за убийство.

Стр. 224. *Хитон* — узкая рубашка без рукавов, надевавшаяся прямо на тело и подпоясывавшаяся на бедрах; хитоны бывали короткие — до колен — или длинные (ионийские — до щиколоток). *Хламида* — широкий плащ, его накидывали поверх хитона.

Стр. 225. *Анхиз* — малоазийский царь, родственник Приама; однажды, когда он пас свое стадо, его увидела Афродита и влюбилась в него; сыном Афродиты и Анхиза был Эней.

Бранх — любимец (по другим мифам, сын) Аполлона, даровавшего ему искусство предсказывать будущее.

Ганимед — см. прим. к стр. 60 наст. тома.

Стр. 233. *...на устройство празднеств народу, на постройку военных судов.*— Имеются в виду хорегия и триерархия — почетные обязанности, возлагавшиеся на богатых граждан и нередко доводившие их до разорения: хорег должен был на свои средства нанять, одеть и обучить хор к празднествам, а триерарх — снарядить военный корабль, нанять гребцов, кормить и одевать их.

Стр. 234. *Филопемен* — по-гречески «Любящий пастухов».

Агела (Агеле) — по-гречески «Стадо».

М. Грабарь-Пассек

ПЕТРОНИЙ

САТИРИКОН

До нас дошла лишь незначительная часть романа Петрония, в оригинале носившего название «Сатуры» («Сатурой» у римлян именовались произведения, допускавшие соединение различных жанров, стилей и метрических форм). Дошедшие до нас части относятся к пятнадцатой, шестнадцатой и, может быть, четырнадцатой книгам романа. Они сохранились не в целостной рукописи, а в виде извлечений в целом ряде рукописей, древнейшая из которых — Бернская — восходит к концу IX — началу X века. Наиболее полный список значительных фрагментов относится к XVI веку и хранится в библиотеке Лейдена; он сделан одним из представителей семейства Скалигеров — выдающихся гуманистов эпохи Возрождения. Текст «Пира Трималхиона» содержится в рукописи XV века, найденной в 1650 году в Трогире (в Далмации). Печатное издание части текста впервые сделано в Милане в 1482 году. К 1692 году относится подделка Нодо.

На русском языке «Сатирикон» впервые издан был в Петербурге, в 1882 году. Переводчик В. В. Чуйко опустил все стихи и купировал ряд

мест, но сохранил вставки Нодо. В 1900 году известный русский филолог И. И. Холодняк напечатал в «Филологическом обозрении» свой перевод «Пира Трималхиона» («На ужине у Трималхиона»). Наконец, в 1924 году был напечатан полный перевод, выполненный Б. И. Ярхо[1]. В основу этого перевода положен текст издания под редакцией Бюхелера и Хереуса (Берлин, 1912); Б. И. Ярхо сохранил и вставки Нодо. Для настоящего издания его перевод был отредактирован по тексту Петрония, подготовленному Эрну́ (Париж, Серия «Les belles lettres», 1922). Вставки Нодо изъяты. В тексте сделаны незначительные купюры, помеченные значком <...>.

Стр. 237. *...изувеченные стопы...*— указание на варварский обычай подрезывать пленным сухожилия, чтобы они не могли убежать.

...в другую часть света.— Имеется в виду так называемый «азианский» стиль красноречия, впервые введенный в греческую риторику Горгием (V век до н. э.). Стиль этот отличается короткими синтаксическими отрезками, вычурной расстановкой слов, конечными созвучиями, обилием фигур, в особенности противоположений.

...про пиратов...— Речь идет о темах «декламаций» и «контроверсий», то есть дебатов, которые старшие ученики риторских школ должны были вести по указанию учителя. Энколпий негодует на то, что там трактовались далекие от жизни фантастические темы, каких много, например, в «Контроверсиях» Сенеки Старшего. Темы о тиранах, однако, держались еще долго; о них с досадой упоминает Ювенал (Сатиры, VIII, 151).

Демосфен — считался образцом благородного стиля в противоположность «азианскому».

Стр. 238. *Фукидид* — греческий историк (V век до н. э.), *Гиперид* — греческий оратор, современник Демосфена (IV век до н. э.).

...приходится бесноваться среди бесноватых.— Соответствует нашему: «С волками жить, по-волчьи выть».

Стр. 239. *Луцилий* (умер в 102 году до н. э.) — римский поэт, основоположник жанра сатиры в римской литературе. Гораций, указывая на недостатки стиха Луцилия, объясняет их необработанность торопливостью (Сатиры, 1, 4, 9).

Тритония — Афина Паллада. *Поселение лакедемонян* — спартанская колония Тарент в Южной Италии. *Постройка Сирен* — Неаполь, по преданию, построенный сиреною Парфенопой. Афины, Тарент и Неаполь славились преподаванием греческой грамматики (филологии) и философии.

...от струи меонийской...— то есть гомеровской. Меония в Лидии считалась родиной Гомера.

...пиэрийскую душу — то есть преданную музам. Пиэрия — страна муз.

---

[1] Б. И. Ярхо был обозначен на титуле как редактор анонимного перевода.

Свазория — классная задача, заключавшаяся в том, чтобы от имени какого-либо исторического лица изложить и мотивировать какое-нибудь его намерение или решение.

Стр. 240. *Сатирион* — чабер, настой которого считался сильно возбуждающим средством.

Если ты Лукреция...— то есть «Если ты строишь из себя Лукрецию (исторический образец неприступной добродетели), то во мне ты нашел своего Тарквиния» (из-за которого Лукреция погибла). Конечно, сравнение не точно, ибо Лукреция пала не от руки Тарквиния, а закололась сама.

Стр. 242. *...наложили арест.*— По римскому гражданскому праву претор мог наложить арест на вещь, принадлежность которой оспаривалась в суде.

Киники — нищенствующие философы, проповедовавшие презрение к благам земным и ограничение потребностей. Школа киников, считавшая своими родоначальниками Диогена и Антисфена, появляется в Италии в I веке н. э.

...всадник присяжный...— Со времени Августа декурии («десятки») присяжных заседателей пополнялись почти исключительно из сословия всадников.

Дипондий — мелкая монета в два асса.

Стр. 243. *...таинство... у входа в пещеру.*— Комментаторы полагают, что речь идет о таинствах Доброй Богини. За это говорит: а) то, что мужчины самим своим присутствием осквернили радение, так как мужчинам даже было запрещено называть ее по имени, и б) то, что радение происходит в пещере: храм Доброй Богини в Риме помещался в гроте на склоне Авентинского холма. Но празднество Доброй Богини происходило 1 мая, наше же действие, как кажется, происходит за три дня до пира Трималхиона (см. гл. 26), а в этом последнем есть указание на зимнее время. Кроме того, в гл. 17 прямо указано, что дело было в святилище Приапа. Добрая Богиня (или Фавна) была чисто женским божеством. Культ ее первоначально отличался целомудрием и трезвостью. Но в императорскую эпоху дело обстояло совсем иначе.

Стр. 245. *...выпил столько сатириона!* — Эта фраза в тексте сильно попорчена. Смысл ее передан здесь приблизительно. Вообще, весь эпизод дошел до нас в очень разрушенном состоянии, так что логическую связь между событиями установить почти невозможно.

Стр. 246. *Кинэд* — продажный содомит.

Палестриты — здесь, вероятно, слуги при палестре.

Стр. 247. *...после разносолов не хочу харчей.*— Буквально: «После дорогой рыбы я не ем ежедневного пайка». Пословица, видимо, грубая (солдатская?), и в переводе она передана соответственно.

Стр. 248. *Агамемнон* — тот самый учитель красноречия (ритор), за разговором с которым читатель застает Энколпия в гл. 1. Энколпий и

Аскилт бы́ли приглашены на пир к Трималхиону как ученики Агамемнона.

Трималхион.— Это имя, согласно толкованию слова в древних глоссариях, значит «трижды противный».

Стр. 249. *Менелай* — помощник Агамемнона.

...назвал это свиной здравицей — suum propinasse. Но если suum понимать не как родительный падеж множественного числа от слова sus (свинья), а как средний род от suus (свой), то надо перевести «своей здравицей». Первое понимание более подходит для любителя тривиальных шуток Трималхиона.

...медно-украшенными скороходами...— то есть с медными бляхами, которыми украшали грудь солдат, скороходов и лошадей.

...пестрая сорока приветствовала входящих.— О говорящих сороках упоминают Персий (в прологе к сатирам), Марциал (XIV, 76) и др.

Берегись собаки.— Точно такое изображение и надпись обнаружены в Помпеях, в «доме трагического поэта».

Стр. 250. *...с кадуцеем в руках...*— то есть с жезлом Меркурия, которого Трималхион считал своим покровителем (см. гл. 67 и 77) (см. также прим. к стр. 522).

Минерва — предводительствует им, как богиня ума.

Золотая нить — обозначает великую будущность.

Лары — гении, покровители дома; обычно они изображались в виде двух юношей с ро́гами изобилия.

...первая борода...— Впервые сбритые с подбородка волосы римляне посвящали богам.

Г. Помпею Трималхиону, севиру августалов — Гаем Помпеем Трималхион называется, как вольноотпущенник, по имени своего бывшего господина. Севир августалов — один из шести старшин жреческой коллегии культа Августа, получавших право иметь при себе ликторов, то есть почетную охрану, носившую в качестве символа власти пучки прутьев (фасции).

Триклиний — столовая, называемая так по большому столу — «триклинию» (буквально: «трехложию»), за которым возлежали с трех сторон. Гости всходили на ложе с задней стороны и ложились лицом к столу, опершись на локоть. С открытой стороны стола слуги подавали кушанье. На консульском месте возляжет Габинна (гл. 65). Кроме большого стола, в триклинии Трималхиона перед каждым из возлежавших стоял еще небольшой столик. Нижним на нижнем ложе возлежал Г. Помпей Диоген (гл. 38). Но где было место вольноотпущенников, на котором возлежал Г. Юлий Прокул, определить трудно. Кроме того, за столом помещались Дама, Селевк, Филерот, Ганимед, Эхион, Гермерот; далее Агамемнон с Эниолпием и Аскилтом и две женщины — Фортуната и Сцинтилла; затем Плоком и Никерот,— всего семнадцать человек.

Стр. 251. *Сони* — маленькие зверьки из семейства грызунов.

Стр. 252. *...золотое... с припаянными к нему железными звездочками.*— Чистозолотое кольцо мог носить только всадник или патриций, а сенатор августалов лишь при исполнении обязанностей.

...вместо белых и черных камешков...— Речь идет об игре в «двенадцать знаков» — нечто вроде шашек, передвижение которых по доске зависело от числа очков, выпавших на костях.

Репозиторий — поднос, состоявший из множества поставленных друг на друга особых подносов.

...павлиньи яйца.— Яйца — непременное первое блюдо обеда у римлян.

Стр. 253. *Марс любит равенство* — то есть: все равны перед богом.

Опимианский фалерн. Столетний.— Лучшим вином считалось разлитое при консуле Опимии (в 121 году до н. э.). Здесь «столетний» — условное обозначение старого вина.

...давайте пить...— Перевод условный. Выражение «tangomenas faciamus» удовлетворительно не объяснено, но смысл его, вероятно, такой, как в переводе.

Горе нам, беднякам!..— Такие стихи, состоящие из двух или более гекзаметров и одного пентаметра, встречаются лишь в простонародных надписях.

Лупоглаз (oclopeta) — неизвестное морское животное с выпученными глазами.

Стр. 254. *...из мима «Лисерпициария».*— Мимами назывались драматизированные фарсы, от текста которых до нас дошли только разрозненные отрывки. Мим «Лаперпициарий» нам совершенно неизвестен.

Эсседарий — гладиатор, сражавшийся на колеснице.

Его зовут Режь.— Раба Трималхиона звали Carpus. Звательный падеж от этого слова однозвучен с повелительным наклонением глагола carpere — рвать, резать. Таким образом, говоря «Carpe», Трималхион одновременно и называет раба по имени, и приказывает ему резать кушанье. Возможно, что этот раб был из дакийского народа карпов (Carpi).

...сорока на перине.— Вероятно, потому, что злословит наедине с мужем.

Стр. 255. *...стащил у Инкубона шапку...*— Инкубоны — домовые или гномы, хранители кладов. Стащившему у него шапку (невидимку?) Инкубон должен был открыть место, где запрятан клад.

...у него еще щека горит...— от пощечины, которую давали рабу во время обряда отпущения его на волю.

Стр. 256. *«Таким ли вы знали Улисса?»* — ставшее поговоркой восклицание Лаокоона из «Энеиды» Вергилия (II, 43).

...Под этим знаком родится много... пройдох.— В оригинале — игра слов: arietillus — «бараний» и «изворотливый».

Гиппарх (род. ок. 190 года до н. э.) и *Арат* (род. ок. 315 года до н. э.) — знаменитые астрономы древности.

Стр. 257. *...то Бромием, то Лиэем, то Эвием...*— то есть разными именами бога Диониса, или Вакха.

Дионис... будь свободным! — Игра слов: Liber — одно из имен Диониса и liber — свободный. Говоря далее *«У меня Либер-Отец»*, Трималхион снова играет словами, так как его замечание имеет по-латыни два смысла: а) у меня Вакх-Отец, б) у меня отец свободный (то есть я рожден от свободного отца).

Стр. 259. *Эдил* — низшая выборная должность. Эдилов было два; они следили за порядком, за общественными зданиями и за правильностью мер и весов, за ценами на рынке.

Вот это была жизнь! — Далее испорченное место, оставленное без перевода.

...в морру играть.— Игра эта состоит в том, что один быстро разжимает несколько пальцев руки, а другой должен одновременно сказать, сколько пальцев разжато. Ясно, что в такой игре даже при свете легко плутовать.

...на форуме...— В народном собрании.

...в курии! — В заседаниях совета декурионов (в городском совете).

Стр. 260. *Ланиста* — хозяин и учитель гладиаторов. Доброзольные бойцы ценились выше наемных и рабов.

Стр. 261. *Бестиарии* — бойцы со зверями на арене.

Терциарий.— Когда один из гладиаторов погибал, то победитель его должен был еще сражаться с его заместителем, который назывался терциарием (поэтому *«мертвец за мертвеца»)*.

...с красными строками...— В юридических книгах абзацы отмечались красной краской (rubrica), откуда и теперь выражения «рубрика» и «красная строка».

Стр. 263. *...с моими террацинскими и тарентийскими землями.*— Явное хвастовство: Террацина находится в Лации, Тарент — на самом юге Италии.

Контроверсия — см. прим. к стр. 237.

...Полифем палец щипцами вырвал...— Ничего такого в «Одиссее» Гомера не рассказывается, но могло рассказываться в каких-нибудь не дошедших до нас античных сказках. Впрочем, и здесь, возможно, Трималхион путает мифы, как он это часто делает далее.

Стр. 265. *...бой Петраита с Гермеротом...*— Ср. гл. 71, где Трималхион завещает изобразить на своем надгробии «все бои Петраита».

Стр. 266. *Кордак* — непристойный танец.

Байи — большой курорт в Кампании, около которого находилось, видимо, одно из имений Трималхиона.

Стр. 267. *Ателланы* — народные италийские комедии.

Мопс Фракийский — вероятно, столь же реальное лицо, что и разрушитель Илиона Ганнибал в гл. 51.

Публилий Сириец (или Сир) — автор мимов, современник Юлия Цезаря. Сохранилось его собрание изречений, которые пользовались большой популярностью. Стихотворение, декламируемое Трималхионом, вероятно, сочинено не самим Публилием, а Петронием в подражание ему.

Стр. 268. *Нумидийские куры* — цесарки.

Пиэта — богиня благочестия.

Карфедон — Карфаген. *Камни огнецветные* — карбункулы.

Выигрыши.— Имеются в виду подарки, которые раздавались гостям. Стихотворным надписям для подобных подарков посвящена XIV книга эпиграмм Марциала. Но названия выигрышей у Трималхиона (в противоположность остроумным стихам Марциала) основаны на глупейшей игре слов. В переводе они переданы более или менее подходящими русскими каламбурами.

Стр. 269. *Тутела* — богиня-охранительница.

Стр. 270. *...двадесятину заплатил?* — двадцатую часть выкупных денег, которую отпускаемый на волю раб вносил в казну. Гермерот принимает Гитона за раба Аскилта.

Золотая борода.— С золотой бородой изображался Юпитер.

Оккупон — Захват, или «бог захвата».

Стр. 271. *Гомеристы* — актеры, представлявшие сцены из гомеровских поэм.

Жили-были два брата — Диомед и Ганимед...— Трималхион снова путает все мифы. Откуда взялись «парентийцы» (жители города Парентия в Истрии), совершенно неведомо.

Стр. 272. *«Эти изрекши слова...»* — Такое начало гекзаметра есть и во фрагментах Луцилия, и в «Энеиде» Вергилия (II, 790).

Стр. 273. *...сильный, как Орк* — то есть как смерть; Орк — римский бог подземного царства.

Стр. 274. *Апеллет* — Апеллет Аскалонский, трагический актер и певец времен Калигулы (37—41 годы).

Стр. 275. *Щечка, щечка, сколько нас?* — детская игра, в которой одному завязывали глаза и ударяли по щеке, а он должен был угадать, сколькими пальцами его бьют.

Стр. 278. *«Флот Энея меж тем...»* — начальный стих пятой книги «Энеиды».

...глядит, как Венера.— Венера изображалась косой. Болтливость раба, по распространенному суеверию, Габинна объясняет его косоглазием.

Стр. 279. *...из норийского железа.*— Норик — страна между Дунаем и Альпами, известная своими рудниками.

Стр. 280. *«Зеленый»* — принадлежащий к партии «зеленых» в цирке.

Наездники, состязавшиеся в цирке, носили одежду четырех цветов: синего, зеленого, белого и красного.

Стр. 281. *...в тоге-претексте...* — в тоге с красной полосой, которую совиры августалов могли надевать только при исполнении служебных обязанностей, так же как и золотое кольцо.

Г. Помпей... Меценатиан — то есть отпущенник Помпея, в свое время доставшийся ему от Мецената.

...любую декурию... — Имеются в виду декурии («десятки») мелких государственных служащих: ликторов, писцов, глашатаев и т. п.

Стр. 282. *...песни Менекрата...* — Музыкант Менекрат был в особенной чести у Нерона (см. Светоний, Нерон, 30).

...над светильником... — Далее пропуск в тексте.

Стр. 283. *...за пазуху себе не плюет...* — средство отвратить несчастья, вроде нашего «трижды плюнуть через левое плечо».

Кассандра. — Трималхион называет Фортунату именем мифической зловещей пророчицы.

Стр. 284. *...фракийский наряд...* — то есть игрушечный костюм гладиатора.

...сонаследником Цезаря. — Знатные и богатые люди, оберегая своих прямых наследников от произвола императора, оставляли и ему в завещаниях часть своего имущества.

Стр. 285. *Скавр* — фамильное прозвище в знатных родах Эмилиев и Аврелиев.

Стр. 286. *...омыть мои кости.* — По римскому обычаю, кости сожженного на костре покойника омывались вином и благовониями, вытирались полотном и складывались в урну.

Стр. 287. *...не уподоблять этого жалкого трактира Фивам...* — Речь идет о мифической борьбе за Фивы между сыновьями Эдипа, Этеоклом и Полиником, которые оба погибли.

Стр. 288. *...камешек так по доске ходит...* — См. прим. к стр. 252.

...на рабской каторге... — в эргастуле, специальном заведении для наказания провинившихся рабов, которое имелось во всех больших поместьях.

Стр. 289. *Зевксид* из Гераклеи (в Южной Италии) — один из крупнейших живописцев Древней Греции второй половины V века до н. э. Картины его, в особенности изображения женщин, отличались необыкновенным изяществом и жизненностью.

Протоген — греческий живописец конца IV века до н. э.

Апеллес — знаменитейший греческий живописец первой половины IV века до н. э., современник Александра Македонского. Живопись его характеризуется, по свидетельству древних авторов, чувством меры, отсутствием всякого преувеличения.

...орел возносит... бога... — то есть Ганимеда (см. прим. к стр. 60).

Гилас — мальчик, сопровождавший Геракла в походе аргонавтов. Его похитили плененные им нимфы источника в Мисии.

...только что рожденным цветком — то есть гиацинтом. По мифу, Аполлон нечаянно убил метательным диском юного Гиацинта, из крови которого вырос цветок. Гиацинтом называли в древности не тот цветок, какой теперь носит это название, а, вероятно, фиолетовый ирис.

Стр. 290. *Ликург* — мифический царь, отдававший приходивших к нему чужеземцев в пищу своим коням (см. также прим. к стр. 219).

Стр. 293. *Демокрит* — греческий философ-материалист V—IV веков до н. э.

Евдокс — математик, астроном и географ IV века до н. э., впервые доказавший шарообразность Земли.

Хрисипп — крупнейший философ стоической школы III века до н. э.

Чемерица — считалась лекарством против душевных болезней и средством, просветляющим разум.

Лисипп — один из крупнейших греческих ваятелей IV века до н. э. Его произведения отличались тщательной обработкой деталей.

Мирон — современник Фидия и Поликлета (V век до н. э.). Его статуи отличались необыкновенной живостью и разнообразием форм.

В чем дело.— Следует большое поэтическое произведение типа школьных стихотворных упражнений на заданную тему. Это — сокращенная парафраза второй песни «Энеиды» (ст. 13—267). Содержание двухсот шестидесяти пяти Вергилиевых гекзаметров сведено в этой поэме до шестидесяти пяти ямбических сенариев (шестистопных ямбов).

Фригийцы — троянцы.

Калхант — жрец-предсказатель в войске греков.

Бог Делийский — Аполлон, главное святилище которого было на острове Делос.

В свой дар...— то есть в деревянного коня.

О родина! — «Энеида», II, 241. Таким образом, Эвмолп заимствует у Вергилия даже самое обрамление «Энеиды», вкладывая свой рассказ в уста троянца.

Синон — грек, выдавший себя троянцам за будто бы обреченного на смерть греками.

Стр. 294. *Тенедос* — остров напротив Трои, за которым укрылись греческие корабли.

...жрец меж алтарей лежит...— у алтаря Нептуна, где Лаокоон приносил жертву («Энеида», II, 201—202).

Стр. 295. *...с утиральниками и скребницами в руках...*— Первый эпизод этой главы происходит в бане.

Стр. 297. *...лишенный чести...*— Лишение гражданской чести налагалось лично цензором или же по суду за позорящие поступки: мошенничество, клятвопреступничество, ростовщичество, двоеженство и т. п. Не-

которые профессии (сводничество, устройство погребальных процессий, скоморошество) были сопряжены с «инфамией». Лишенный чести сенатор исключался из сенатских списков, всадник — из центурии, гражданин — из трибы.

Не люблю... — Начальные две строки этого стихотворения перенесены сюда из гл. 15, где они стоят без всякой связи с текстом. Это произвольная, но остроумная перестановка Нодо.

Колхи — народ, живший в Колхиде (на Кавказе) по реке Фасису (Рион). По этой реке названы фазаны.

Сирты — песчаные отмели близ северного побережья Африки.

Барвена — италийская рыба краснобородка.

Стр. 299. *...этот дом...* — В тексте словом «insula» (буквально: «остров») назван дом, со всех сторон окруженный улицами. Такие корпуса в несколько этажей имели один или несколько внутренних дворов. Внизу обычно помещались лавки или таверны, а наверху — жилые помещения.

Стихотворения, вставленного в перевод, в тексте «Сатирикона» нет. Оно находится в числе приписываемых Петронию стихотворных фрагментов (XXX по Бюхелеру).

Стр. 310. *...саламандра уничтожила твои брови?* — Греческий врач Диоскорид (современник Нерона) говорит в своем сочинении о медицине (I, 54), что кровь и слюна саламандры уничтожают волосы.

Стр. 315. *Мнишь ли...* — с небольшим изменением слова Анны к Дидоне в «Энеиде» (IV, 34).

Стр. 316. *Как? Неужели любовь...* — «Энеида», IV, 38.

Стр. 321. *...уловляемых и уловляющих...* — то есть на богатых завещателей и льстецов, рассчитывающих получить наследство.

Стр. 322. *...терпеть и огонь, и оковы...* — обычная формула клятвы гладиаторов.

Стр. 324. *...эфирскую бронзу...* — Эфира — старое название Коринфа.

...в землях Аммона — в Египте. Аммон — египетский бог, отождествлявшийся греками с Зевсом.

Лукрин — озеро в Кампании, славившееся устрицами.

На Марсовом поле — происходили народные собрания в Риме.

...отцов... собранье — сенат.

Стр. 325. *...Катон побежденный...* — В 55 году до н. э., в консульство Помпея и Красса, Катон тщетно домогался претуры и не прошел на выборах; избран был ставленник Цезаря Ватиний.

Энио — богиня войны.

Великий — Помпей.

...в Парфенопейской земле... — Парфенопея — Неаполь, по имени нимфы Парфенопы (см. также прим. к стр. 239, к словам «Постройка Сирен»).

Дикархида — греческое название города Путеол.

Камень воды теснит...— о сооружениях, построенных на искусственных насыпях в море. Реминисценция из Горация, писавшего в оде 1 книги III:

Уж рыбам тесно стало в пучине вод:
Среди зыбей громады возводятся,
Подрядчик сыплет щебень в воду...

Стр. 326. *Тисифона* — одна из трех фурий.

Сулла — римский диктатор (88—79 года до н. э.).

О мой родитель...— Фортуна у Петрония — дочь Плутона.

То божество, что построило их — бог войны Марс, сыновья которого построили Рим.

...дважды тела под Филиппами поле устлали...— Петроний, как и Вергилий в «Георгиках» (I, 490), называет Филиппами и битву при Фарсале между Цезарем и Помпеем (в 48 году), и битву при Филиппах, когда Октавиан и Антоний одержали победу над Брутом и Кассием (в 42 году до н. э.).

...могилы иберов...— намек на войны Цезаря в Испании против войска Помпея, а затем против его сыновей.

...пламя костров фессалийских...— Фарсал находится в Фессалии.

В чаянье битвы актийской...— Говорится о битве при Актии между Октавианом и Марком Антонием, которому помогали войска египетской царицы Клеопатры; вот почему Египет и должен опасаться актийского поражения. Мечи войска Октавиана находятся под особым покровительством Аполлона.

Перевозчик — Харон.

...могучего брата — Юпитера.

Титан — здесь: бог Солнца, Гелий, сын титана Гипериона.

Кинфия.— Артемида (Диана) называется Кинфией, а Аполлон Кинфием. по горе Кинфу на острове Делосе, где они родились. Отсюда же названия: Делий и Делия.

Греческим богом — Гераклом, первым перешедшим через Альпы.

Стр. 327. *Гесперийское поле* — западное (по отношению к Греции), то есть Италийское.

...галлам, что вновь стремились взять Капитолий.— Галлы захватили весь Рим в 387 году до н. э. и не взяли Капитолия только потому, что стражу разбудили священные гуси, услышавшие, как подкрадываются враги.

...меня изгоняют из Рима.— Помпей настаивал, чтобы Цезарю было разрешено вернуться в Рим из Галлии только после того, как он распустит свои легионы.

Дельфийская птица — ворон, вещая птица, посвященная богу-прорицателю, Аполлону Дельфийскому.

Маворсовы — Марсовы, по древнему имени Марса — Маворс.

Турмы — отряд конницы в тридцать — тридцать два воина.

Стр. 328. *Пасынок Амфитриона* — Геракл, который всходил на Кавказ для освобождения Прометея.

...к побережьям Гидаспа... — ошибка или преувеличение: Помпей не доходил дальше Евфрата, а Гидасп — река в Индии.

...кому в троекратной славе дивился Юпитер... — Помпей получил три триумфа: ливийский, испанский и понтийский.

Стр. 329. *Палла* — верхняя парадная женская одежда, род мантии.

Эреб — бог подземного мрака, сын Хаоса.

Беллона — богиня войны.

Мегера — одна из фурий (см. прим. к стр. 100).

Диона — мать Венеры, а здесь — сама Венера. Юлий Цезарь вел свой род от внука Венеры Юла.

Килленский отпрыск — Меркурий (Гермес), родившийся на горе Киллене.

Тиринфский воитель — Геркулес (Геракл).

Марцелл — Гай Клавдий Марцелл, консул 49 года до н. э., вносивший в сенат враждебные Цезарю законопроекты.

Курион — Гай Скрибоний Курион, народный трибун, перешедший на сторону Цезаря.

Лентул — Луций Скрибоний Лентул Крур, консул 49 года, противник Цезаря.

Эпидамн — приморский город в Иллирии (ныне Дуррес), занятый Помпеем при начале гражданской войны.

Стр. 331. *...ближе чем на четырнадцать рядов к орхестре...* — В первых рядах, ближе к орхестре (нижняя часть сцены), сидели знатные люди (в Риме — сенаторы), на задних рядах — плебс.

...прибивала на крест свои ласки — отдавалась человеку, которого может постичь позор распятия,— рабу.

Праксителъ — великий греческий скульптор (IV век до н. э.), имеется в виду одна из его статуй Артемиды, до нас не дошедших.

...скрыть седину под лебединым пером — намек на превращения Юпитера в лебедя для соблазна Леды, а выше — в быка для похищения Европы.

Даная — см. прим. к стр. 60.

Стр. 332. *...задержать бег заходящего светила.* — Мать волшебницы Киркеи (Цирцеи), возлюбленная бога Солнца, нарушала его бег, задерживая в своих объятиях. Влюбленная в Энколпия Киркея называет его *Полиэном* — именем, которое он принял в Кротоне.

Стр. 333. *Алкивиад* (V век до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, ученик Сократа. В «Пире» Платона есть рассказ о тщетных попытках Алкивиада соблазнить своего наставника.

Стр. 334. *...посылать за трубачами* — для собственных похорон. См. гл. 78.

Стр. 338. *Разве сам Улисс не спорит со своим сердцем?* — «Одиссея», XX, 17:

В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу:
«Сердце, смирись...»

Катоны.— Имя римского цензора Марка Порция Катона Старшего (234—149 годы до н. э.) стало нарицательным для слишком строгих блюстителей нравственности.

Гипепы — город в Лидии.

Стр. 340. *...быков... пламя стихло от девичьих чар...*— Чтобы добыть Золотое Руно, Ясон должен был вспахать Аресово поле на огнедышащих быках. Ясону помогла в этом Медея (см. также прим. к стр. 345, 355).

Протей — морской бог, который мог принимать различные образы.

Стр. 341. *Гекала* — бедная женщина, приютившая Тезея, когда он шел биться с марафонским быком.

Баттиадова муза — муза поэта Каллимаха (род. около 310 года до н. э.), посвятившего одно из своих произведений Гекале.

Стр. 342. *Стимфалиды* — птицы Ареса с медными когтями, клювами и перьями. Считалось, что они жили около города Стимфалы в Аркадии.

Финей — фракийский царь, наказанный богами за свои преступления. Он был ослеплен и отдан на мучения Гарпиям, которые отравляли ему кушанья зловонной жидкостью, пока он не был избавлен от мучений аргонавтами.

Гарпии — мифические чудовища с головами женщин и телом птиц.

Стр. 343. *...Сервий иль сам Лабеон.*— Сервий Сульпий, современник Юлия Цезаря, и Лабеон, живший при Августе, отличались стойкостью убеждений и смелостью, с которой противодействовали самовластью обоих правителей.

Стр. 345. *...изгнанник из царства Инаха...*— Геракл, сын Зевса и тиринфской царицы Алкмены, родился в изгнании, так как отчим его, Амфитрион, за нечаянное убийство должен был покинуть Арголиду — землю мифического царя Инаха.

...груз небосвода поднять...— Имеется в виду одиннадцатый подвиг Геракла — похищение гесперийских яблок. Яблоки похитил для Геракла титан Атлант, а герой должен был в это время заменять его, поддерживая на плечах небесный свод.

Лаомедонт.— Царь Трои, он не заплатил богам Аполлону и Посейдону обещанной награды за постройку троянских стен, за что Аполлон поразил страну моровым поветрием, а второй наслал пожирающее людей чудовище, в жертву которому должна была быть принесена дочь Лаомедонта, Гесиона. Геракл освободил ее, но, тоже не получив награды, пошел в поход на Трою и убил Лаомедонта.

Пелий — фессалийский царь, дядя Ясона, находившегося под покровительством Геры (Юноны), которая отомстила Пелию за то, что тот под-

верг Ясона смертельной опасности, отправив его в поход за Золотым Руном; жена Ясона, волшебница Медея, уговорила дочерей Пелия разрубить его на куски и сварить в котле, обещав этим вернуть ему молодость.

Телеф — разгневал Вакха, подняв оружие против греков, шедших на Трою, и был ранен Ахиллом.

Нерей — морской бог, отец морских нимф-нереид.

...геллеспонтского бога Приапа...— Главное капище Приапа находилось в Лампсаке на Геллеспонте (у Дарданелльского пролива).

Стр. 346. *Протесилай* — греческий герой, убитый при высадке на троянский берег. Он был воскрешен на три часа по мольбе его жены, умершей затем в его объятиях.

Сократ...— Здесь текст опять сильно испорчен, и нельзя с точностью установить, кому принадлежат отдельные части последующей речи.

Стр. 348. *...Ганнибал держал их в осаде...*— Взятие испанского города Сагунта Ганнибалом произошло в 219 году до н. э.

Петелийцы — жители города Петелия, осаждавшегося Ганнибалом.

Нумантия — испанский город, осажденный и взятый римским полководцем Сципионом в 133 году до н. э.

Б. Ярхо

АПУЛЕЙ

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ

Популярность «Золотого осла» в эпоху поздней античности была очень велика, сохранялась она и в средние века, когда сказке об Амуре и Психее было дано аллегорическое толкование. Этой популярностью объясняется и то обстоятельство, что до нас дошло сравнительно большое количество рукописей романа. Все они восходят к одной рукописи XI века, хранящейся в Медицейской библиотеке во Флоренции. В эпоху Возрождения роману уделяли большое внимание многие гуманисты, выпустившие ряд образцовых изданий, первое из которых появилось в Риме в 1469 году, и составившие комментарии, которые не утратили своего значения до наших дней. Боккаччо использовал сюжеты некоторых вставных новелл Апулея в «Декамероне».

Уже в XVI веке появляются переводы «Золотого осла» на европейские языки. Особенную популярность имела сказка об Амуре и Психее: об этом свидетельствуют хотя бы фрески Рафаэля на этот сюжет (росписи виллы Фарнезина в Риме). И в последующие века на тот же сюжет были созданы бесчисленные произведения изобразительного искусства. Сказка подвергалась и многочисленным литературным переработкам; из них прежде всего следует назвать роман Лафонтена «Амур и Психея», а также незавершенную переработку Виланда.

В России «Золотой осел» был переведен еще в XVIII веке. В 1780 году вышла первая, а в следующем году вторая часть перевода Ермила Кострова, будущего переводчика «Илиады». Книга имела большой успех; возможно, что в этом переводе Пушкин «читал охотно Апулея». Еще год спустя появилась «Душенька» Богдановича — стихотворное переложение «Сказки об Амуре и Психее». Затем долгие годы «Золотой осел» не переиздавался. Лишь в 1895 году в Петербурге вышел новый перевод романа, выполненный Н. М. Соколовым. Наконец в 1929 году в Ленинграде был впервые издан превосходный перевод романа, сделанный поэтом Михаилом Кузминым. В настоящем издании текст этого перевода печатается по книге: Апулей, Золотой осел. Метаморфозы в одиннадцати книгах, Гослитиздат, 1956.

Стр. 351. *...на милетский манер.*— Милетскими рассказами назывались сборники любовных и авантюрных новелл, часто объединявшихся общей сюжетной рамкой. Этот литературный жанр получил свое название от одноименного сборника, составленного греческим писателем Аристидом Милетским (конец II века до н. э.).

...острием нильского тростника.— Остро отточенная тростниковая палочка заменяла древним перо.

Гиметта — невысокая гора близ Афин. Апулей употребляет это название в женском роде, так же как и Тенар (см. ниже).

Эфирейский перешеек — Коринфский перешеек.

Тенар — мыс на полуострове Пелопоннес к югу от Спарты.

...аттическим наречием — то есть греческим языком. Как и его герой, Апулей научился латинскому языку, по-видимому, уже будучи взрослым; родной его язык — греческий.

...в столицу Лациума — то есть в Рим.

Квириты — полноправные римские граждане. Апулей нередко употребляет это слово просто в значении «граждане».

Плутарх — греческий писатель и философ-моралист (конец I — начало II века н. э.); был родом не из Фессалии, а из Беотии, но вполне возможно, что его родня жила в Фессалии — области на севере Греции.

Секст — философ II века н.э., наставник императора Антонина Пия.

Стр. 352. *...луну — покрыться пеной.*— Существовало поверие, что маги силою своих заклинаний заставляют луну покрываться ядовитой пеной, которую собирают, когда она в виде росы падает на землю.

Пестрый портик — портик в Афинах, украшенный стенной живописью знаменитого греческого художника V века до н. э. Полигнота.

...узловатый жезл бога врачевания.— Жезл с обвившейся вокруг него змеей был эмблемой бога врачевания Эскулапа (Асклепия).

Стр. 353. *Эгина* — остров в Сароническом заливе, неподалеку от Афин.

Гипата — город в Южной Фессалии, ныне Ипати.

...уже оплакали и... окликáли.— Один из погребальных обрядов у древних заключался в том, что близкие покойного несколько раз окликали его по имени, прежде чем вынести тело из дома.

Стр. 354. *...трофеем, который сама себе воздвигла.* — Трофеем назывался у древних памятник, воздвигавшийся победителем на поле битвы в память о своей победе и первоначально представлявший собою сложенное в кучу оружие, отнятое у врага. Позже римляне стали воздвигать трофеи прямо в Риме, на Капитолии, и вражеское оружие служило лишь украшением памятника.

Ларисса — город в Фессалии, носящий ныне то же название.

Стр. 355. *...опусти трагический занавес и сложи эту театральную ширму.*— Во времена Апулея театральный занавес перед началом представления не раздвигали, а убирали под сценическую площадку. Ширмой в переводе назван дополнительный занавес, которым пользовались в перерывах между действиями.

...жителей... обеих Эфиопий.— По представлениям древних, Эфиопия была сказочной страной, простиравшейся к западу и к востоку до краев земли и разделявшейся на две части рекою Нилом.

Антихтоны — жители противоположного полушария, для древних такие же сказочные существа, как эфиопы.

Медея — легендарная волшебница, героиня многих мифов, один из которых рассказывает, что, когда муж ее, Ясон, захотел жениться вторично, его будущий тесть, коринфский царь Креонт, решил изгнать Медею из страны. Получив день отсрочки, Медея преподнесла невесте в подарок венок, погубивший и дочь Креонта, и самого царя (см. прим. к стр. 345).

...совершив над ямой погребальные моления.— Древние верили, что колдуны, совершая над ямой особые обряды, вызывают из преисподней богов подземного мира и души усопших.

Стр. 356. *...к третьей страже.*— Ночь у римлян делилась на четыре стражи (с шести часов вечера до шести часов утра)— соответственно времени пребывания на посту солдата при несении караульной службы. Третья стража начиналась приблизительно в полночь.

Эндимион — по преданию, прекрасный юноша, погруженный в вечный сон; возлюбленный богини Луны.

...как хитрым Улиссом брошенная, вроде Калипсо.— Нимфа Калипсó семь лет удерживала на своем острове Одиссея (Улисса), не давая ему вернуться на родину. Впрочем, Одиссей покинул Калипсо не тайком и не хитростью, а открыто, повинуясь приказу богов.

Стр. 357. *Вакханки* — см. прим. к стр. 176, 219.

...чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения.— При жертвоприношении жрецы извлекали печень, легкие и сердце принесенного в жертву животного и рассматривали их, чтобы по особым приметам установить, принята ли жертва богами.

...бойся, в море рожденная, через реку переправляться! — Смысл этого заклинания раскрывается в гл. 19 первой книги.

...готов крест.— Имеется в виду орудие казни.

Стр. 359. *...веревку, которая на ней была натянута.*— Кровать представляла собой деревянную раму с веревочной сеткой.

...край стропила, который выступал под окном.— Как показывают раскопки, окна в домах часто находились под самым потолком и напоминали собой слуховые оконца.

Ламии — сказочные чудовища, пожиравшие по ночам юношей и пившие их кровь. Так же назывались в народных преданиях злые колдуньи.

Стр. 360. *Видя, как мало на дороге прохожих...*— Аристомен боится, что у него не окажется свидетелей, которые могли бы подтвердить его невиновность в случае смерти Сократа.

Этолия — область в Средней Греции, к северо-западу от Аттики.

Стр. 362. *...хозяин лежит на диванчике и собирается обедать.*— По древнему обычаю, мужчины за столом лежали, а женщины сидели.

Тезею... который не пренебрег... гостеприимством... Гекалы.— См. прим. к стр. 341.

Стр. 363. *...вместо ста нуммов уступили за двадцать денариев.*— Сто нуммов (или сестерциев) были равны двадцати пяти денариям, или одному золотому.

Ликторы — почетная охрана, сопровождавшая важных должностных лиц. За Пифием, разумеется, шли простые служители, но, подобно ликторам, они держали в руках связки прутьев.

...исполняем обязанности эдила.— В обязанности эдилов в Римской империи входил надзор за порядком в городе, в частности, на рынках.

Стр. 364. *...о нашем правителе...*— то есть о римском наместнике провинции Ахайя (так называлась покоренная римлянами Греция), резиденцией которого был Коринф.

Стр. 365. *...родина магического искусства.*— См. прим. к стр. 108.

Стр. 366. *...богини с пальмовой ветвью* — богини победы.

Стр. 367. *Актеон.*— Миф рассказывает, что охотник Актеон, который увидел богиню Диану нагой во время купания, был в наказание превращен богиней в оленя и растерзан собственными собаками.

Эта богиня — то есть Диана.

Стр. 369. *Грации* — римские богини красоты, веселья и радости; у греков — Хариты.

...поясом своим опоясанной.— В поясе богини любви Венеры (Афродиты) скрыты все любовные чары.

Киннамон — коричное дерево, из которого добывали благовонное масло.

Бальзам — ароматная смола, вытекавшая из надрезов на коре некоторых деревьев.

Вулкан (Гефест) — бог кузнечного ремесла, здесь образец влюбленного и снисходительного мужа.

Стр. 370. *Либер* — см. прим. к стр. 257.

Авернское озеро — озеро в Италии, расположенное в кратере вулкана и выделяющее вредные испарения, от которых погибают пролетающие над ним птицы. Древние верили, что возле этого озера находится вход в подземное царство.

Стр. 371. *...лампа ей предсказала* — пример гадания по огню (так называемой эмпиромантии).

Сивиллы — так в Древней Греции назывались странствующие пророчицы, о которых существовало множество легенд, как греческих, так и римских.

...помнит... о том великом небесном огне.— В качестве философской основы эмпиромантии Луций излагает стоическое учение о небесном огне как начале всего сущего.

Халдеи — древний народ семитского происхождения, обитавший в Нижнем Двуречье (между реками Евфратом и Тигром). Уже в древности словом «халдей» обозначали предсказателей и колдунов независимо от племени, к которому они принадлежали.

Стр. 372. *...потерял оба кормила.*— Корабль у древних управлялся с помощью двух кормовых весел — по одному с каждой стороны корпуса.

...долили воды.— Древние всегда смешивали вино с водою (приблизительно одна часть вина на две части воды). Пить неразбавленное вино считалось признаком грубости и неумеренности.

...с отверстием, прорубленным пошире.— Вино хранилось в глиняных бутылках с узким горлышком. Устье такой бутылки запечатывалось гипсом, а открывали ее с помощью топора.

Стр. 373. *...Венеры, входящей в волны морские.*— Согласно одному из мифов, Афродита родилась из морской пены; отсюда ее имя Анадиомена, то есть «поднимающаяся из воды».

Стр. 374. *Туя* — дерево, родственное кипарису. Древесина туи, с прожилками, образовывавшими красивый узор, и издававшая запах лимона, ценилась очень высоко.

Разрезальщики — рабы, обязанностью которых было разрезать мясо, накладывать кушанья на блюда и разносить их гостям.

Стр. 375. *...остатки и клочки трупов.*— По всей видимости, существовало поверие, что маг, завладевший какой-нибудь частицей трупа, может заставить дух покойного служить себе.

...наподобие ораторов.— Ораторы древности, произнося речь, оживленно жестикулировали, причем важную роль в этой жестикуляции играли пальцы рук.

Знаменитая провинция — Ахаїя (см. прим. к стр. 364).

Стр. 376. *...очи... самой Справедливости.*— Древние представляли себе богиню Справедливости вечно бодрствующей и замечающей все, что происходит в мире.

Тысяча нуммов — см. прим. к стр. 363.

Линцей (Линкей) — герой многих греческих мифов, отличавшийся такой остротой зрения, что видел сквозь землю.

Аргус — сказочный стоглазый богатырь.

Стр. 377. *...заносил ее слова на таблички.*— Древние писали острой палочкой (стилем) на покрытых воском табличках.

Убирайся к мышам — они тебе компания.— В латинском языке слова «ласка» и «мышь» одного корня.

Дельфиец — бог Аполлон, чей оракул находился в Дельфах.

Стр. 378. *...зловещее предзнаменование.*— Римляне и греки верили, что оброненное случайно слово может иметь силу предсказания для тех, кто его услышал.

Аонийский юноша — Пентей (Пенфей), царь города Фив в Беотии, области Средней Греции (Аония — поэтическое название Беотии) (см. также прим. к стр. 219).

Пиплейский певец — легендарный фракийский певец Орфей из города Пипла (или Пимпла) во Фракии, растерзанный женщинами за отказ принять участие в вакхической оргии.

Стр. 379. *...с гладко выбритой головой.*— Египетские жрецы обычно брили голову.

...и даже колен касаясь.— Прикосновение к коленям было у древних знаком самой горячей мольбы.

...коптских... мемфисских... фаросских...— Все эти прилагательные употреблены здесь в значении «египетских». Тайны мемфисские — какие-то мистерии, связанные с культом египетских богов.

Систр — медный погремок, атрибут богослужения в культе Изиды.

Стр. 381. *Герион* — сказочный герой с тремя туловищами и тремя головами. Геракл похитил стада Гериона и убил его в бою.

Стр. 382. *Фалеры* — здесь металлические бляхи, украшавшие конскую сбрую.

...животных, предназначенных для искупительных жертв.— Греки и римляне верили, что жертвенное животное должно принять на себя все несчастья, которые угрожают каждому кварталу или дому в отдельности. Для этого его и водили по всем закоулкам.

Стр. 383. *Трибунал* — возвышение, на котором сидели должностные лица во время исполнения ими своих обязанностей.

Театр эпохи империи — состоял из полукруглого амфитеатра, где располагались зрители (верхняя галерея амфитеатра была украшена колоннами и статуями); просцениума (проскения) — высокой площадки, на которой играли актеры; сцены или скены,— так называлась богато-укра-

шенная колоннами и скульптурой задняя стена просцениума и помещение за этой стеной; орхестры — полукруглой ровной площадки между просцениумом и первым рядом амфитеатра.

...какой-то сосудец.— Речь идет о клепсидре, водяных часах, которые были необходимы в суде, так как стороны имели право говорить ограниченное количество времени.

Стр. 386. *Оливковая ветвь* — символ просьбы (см. прим. к стр. 193).

Стр. 387. *Прозерпина* — богиня и царица подземного царства.

Орк — см. прим. к стр. 273.

...в число его патронов.— Покоренные Римом города и провинции избирали себе патронов — покровителей из числа римской знати, что считалось весьма почетным для патрона.

Стр. 388. *...божеством — покровителем сегодняшнего дня* — то есть богом Смеха.

Стр. 389. *Маны* — души усопших.

Стр. 390. *...унести волосы его.*— Древние верили, что маги получают власть над теми, чьи волосы, ногти или какая-либо частица тела окажутся у них в руках.

...отправлю тебя к властям.— Занятия магией в Римской империи были строжайше запрещены законами.

Стр. 391. *...наподобие бесноватого Аякса.*— Миф об Аяксе, сыне Теламона, великом греческом герое, сражавшемся под Троей, рассказывает, что, когда после смерти Ахилла вожди ахейцев отдали его оружие Одиссею, Аякс, обезумев от обиды и горя, в бешенстве перерезал стадо овец, воображая, что убивает своих обидчиков.

Цербер — трехглавый пес, страж подземного царства. Геркулес, спустившись в преисподнюю, связал Цербера и вынес его наверх.

Стр. 393. *...будь я самим орлом.*— Орел считался у древних священной птицей Юпитера (Зевса).

Стр. 395. *...сокровенное божество Верности!* — Древние полагали, что Верность, как и Справедливость, держится вдали от дел человеческих.

Эпона — богиня — покровительница лошадей, ослов и мулов; ее изображения ставились в конюшнях.

Стр. 396. *...воспользовавшись почитаемым именем императора.*— Как полноправный римский гражданин, Луций хочет подать жалобу на имя императора.

...возгласил... только «о».— Луций хотел крикнуть по-гречески: «О Кайсар!» (« Цезарь!»)

Стр. 398. *Лавровые розы* — то есть олеандр. Растение это действительно ядовито.

Стр. 401. *...лапифов полузверских и кентавров получеловеческих* — намек на знаменитый миф о битве полулюдей-полулошадей, кентавров, с диким племенем лапифов.

Ламах — по-гречески «непобедимый». О воинских доблестях говорят имена и других разбойников, встречающиеся в этом эпизоде (Алцим — «отважный», Фразилеон — «храбрый, как лев»).

...повинностей общественных.— К таким общественным повинностям относились, например, пожертвования на украшение города и устройство зрелищ для народа.

Стр. 403. *Лары* — см. прим. к стр. 250.

Стр. 404. *...протискиваем мы голову Фразилеона.*— Голова разбойника находилась ниже головы зверя, которая оставалась нетронутой.

Стр. 408. *Салии* — коллегия жрецов бога Марса. Салиями (то есть плясунами) они назывались потому, что во время длившихся несколько дней празднеств в честь Марса проходили с плясками по всему Риму. Каждый день праздника завершался пиром, пышность и изобилие которого вошли в пословицу.

Лемуры — по верованиям древних, все вообще души усопших; *ларвы* — души злых людей, которые не обрели покоя в подземном царстве и блуждают по земле, пугая живых.

Стр. 410. *...город единодушно выбрал в приемные сыновья.*— Жениху девушки был преподнесен согражданами почетный титул сына города, подобно тому как император Гордиан III (233—244) был приемным сыном римского войска и римского сената.

...записан он как мой муж.— Речь идет о брачном договоре, который родители девушки уже заключили с женихом, не дожидаясь свадьбы.

...словно у Аттиса или Протезилая.— По преданию, Аттис оскопил себя на собственном брачном пиру. Протезилай — легендарный царь города Филака в Фессалии, первый из греков погибший под Троей; отправляясь на войну, он покинул молодую жену, с которой успел провести лишь один день.

Стр. 411. *...прикрывали рот свой правою рукою.*— В знак благочестивого восхищения и поклонения древние подносили правую руку к губам и целовали ее.

Пафос — город на острове Кипр; *Книд* — приморский город в Малой Азии; *Кифера* — остров у южного побережья Пелопоннеса. В этих местах находились самые знаменитые храмы Афродиты.

Священные подушки — подушки, на которых расставлялись изображения богов во время особого жертвоприношения, когда статуи богов помещали перед накрытым столом.

Стр. 412. *...пастырь пресловутый* — Парис, сын троянского царя Приама. Рождение его сопровождалось дурными знамениями, и отец приказал бросить новорожденного на горе Иде, но его подобрал и воспитал пастух. Парис был судьей в знаменитом споре Геры, Афины и Афродиты о том, кто из них всех прекраснее.

Психея.— «Психэ» по-гречески «душа».

Нереевы дочери — нереиды, морские нимфы, дочери Нерея.

Портун — римский бог портов и пристаней.

Салация — богиня бурного моря.

...возница дельфинов Палемон.— Миф рассказывает, что царь Атамант, которого богиня Гера лишила рассудка, хотел убить свою жену Ино, но та вместе с сыном Меликертом бросилась в море. Оба почитались как морские божества-спасители (Меликерт — под именем Палемона). Возницей дельфинов он назван потому, что труп мальчика, по преданию, был вынесен на берег дельфином.

Тритоны — второстепенные морские божества, изображавшиеся в виде полулюдей-полурыб.

...держала путь к Океану.— По представлениям древних, Океан — огромная река, окружающая весь мир.

Стр. 413. *...милетского бога* — то есть Аполлона, один из оракулов которого находился в селении Дидим близ Милета.

Иониец — житель Ионии, то есть той части побережья Малой Азии, где находились греческие колонии.

Лидийский лад.— Древние греки и римляне различали в музыке несколько тонов, или ладов; о них сам Апулей пишет во «Флоридах» так: «Простота эолийского лада, богатство ионийского, грусть лидийского, благочестие фригийского, воинственность дорийского» (отрывок 4-й).

Стр. 415. *Штучный потолок.*— В богатых домах потолок был разделен на квадраты декоративными балками, которые украшались резной обшивкой из ценных пород деревьев и слоновой кости.

Стр. 421. *Сирены* — сказочные девы, обитавшие далеко на западе и завлекавшие на остров проплывавших мимо моряков, чтобы их погубить. Во времена Апулея их представляли сидящими на утесе, о который разбиваются корабли зачарованных мореплавателей.

Стр. 422. *Если она не знает лица своего мужа,— значит, вышла за какого-нибудь бога.*— Мифы рассказывают, что, соединяясь со смертными женщинами, боги обыкновенно скрывали свое настоящее обличие.

Стр. 423. *...предсказания пифийского оракула.*— Оракул в Дидиме, предсказавший судьбу Психеи, назван здесь пифийским потому, что самым знаменитым оракулом Аполлона было прорицалище при храме Аполлона Пифийского в Дельфах (к северо-западу от Афин) и сам Аполлон часто называется Пифийцем.

Стр. 424. *Фурии* (см. прим. к стр. 100) — здесь символ душевной муки, которая сводит Психею с ума.

Стр. 425. *Амброзия* —пища богов; таково содержание этого понятия в древнейшую эпоху. Ко времени Апулея под словом «амброзия» стали понимать напиток, дарующий бессмертие, или благовонную жидкость, которой умащаются боги.

Стр. 428. *Оры* (или Горы) — см. прим. к стр. 217.

Стр. 429. *...отчима своего.*— Имеется в виду Марс, возлюбленный Венеры, которого та, забыв о своем законном супруге Вулкане, называет отчимом Амура.

Стр. 431. *Видит пред собою пшеничные колосья.*— Психея находится перед храмом Цереры (Деметры), богини — покровительницы земледелия.

...сокровенными тайнами корзин.— В корзинах находились священные предметы. Во время Элевсинских мистерий их показывали посвященным; этот торжественный обряд был важной частью празднества.

...почвы сицилийской.— По некоторым мифам, дочь Деметры Персефона была похищена богом подземного царства Аидом в Сицилии.

Стр. 432. *...землею цепкою.*— Земля названа здесь цепкой, вероятно, потому, что упорно не выпускала из своих недр увезенную на «хищной колеснице» Персефону.

Элевсин.— Элевсинские мистерии — культ Деметры и Персефоны в аттическом городке Элевсине (поблизости от Афин).

...моей родственницы.— Афродита — дочь Деметра — сестра Зевса.

Сестра и супруга Юпитера великого — богиня Юнона (Гера).

Самос — остров у западного побережья Малой Азии; был, согласно некоторым мифам, местом рождения Геры. На острове находился знаменитый храм богини.

...деву, на льве по небу движущуюся.— Верховную богиню Карфагена Танит римляне отождествляли с Юноной и почитали под именем Юноны Небесной или Небесной девы.

...стены аргосские.— Аргос в Пелопоннесе — центр культа Геры.

Зигией (Соединительницей) Геру называли потому, что она была покровительницей браков.

Луцина — наименование Юноны, приходящей на помощь роженицам. Восток и запад противопоставляются здесь как страны греческого и латинского языка.

Стр. 433. *...моей невестки.*— Муж Венеры Вулкан (Гефест) — сын Юноны.

...законы, запрещающие покровительствовать чужим беглым рабам.— Принявший под свой кров беглого раба был обязан вернуть его хозяину вместе с собственным рабом такой же ценности и вдобавок уплатить хозяину двадцать золотых.

Не выразили отказа темные брови Юпитера.— Юпитер (Зевс) выражает свою волю движением бровей.

Стр. 434. *Аркадиец* — Гермес; по преданию, он родился на горе Киллене в Аркадии (местность в центре Пелопоннесского полуострова).

...за муртийскими метами.— Между Авентином и Палатином, двумя из семи холмов, на которых расположен Рим, пролегала Муртийская долина, где находился Великий цирк, часто служивший ипподромом (отсюда «меты» — столбы, вокруг которых объезжали колесницы во время

скачек). За этим цирком стоял храм Венеры; возле него всегда собирались продажные женщины. По некоторым сведениям, здесь был также храм Меркурия.

Забота и Уныние — божества, персонифицирующие чувства, которые сопутствуют любви.

Стр. 435. *...брак был неравен.*— Психея, рабыня Венеры, вышла замуж за «свободного гражданина» Амура.

Стр. 436. *...музыки кормилица.*— Из тростника делались свирели.

...священных вод этих.— Воды реки священны потому, что в них обитает нимфа, богиня этой реки.

Стр. 437. *Коцит* — река в царстве мертвых.

Фригийский виночерпий — Ганимед (см. прим. к стр. 60).

Стр. 438. *Дит* — бог подземного царства.

Стр. 439. *Харон* — старик перевозчик в царстве мертвых; он переправляет души усопших через реки подземного царства. Древние верили, что Харон взимает со своих пассажиров плату за перевоз, и клали в рот покойнику медную монету.

Преогромный пес — Цербер (см. прим. к стр. 391).

Стр. 441. *Юлиев закон* — закон, изданный по предложению императора Августа (Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа) и направленный против прелюбодеев.

...заставлял меня светлый лик мой менять.— См. прим. к стр. 422.

«Боги, внесенные в списки Музами...» — шутливое сравнение богов с сенаторами, а муз с цензорами; сенатские списки находились в ведении цензоров, которые должны были пополнять их новыми именами, а в случае надобности вычеркивать имена недостойных.

...союз не будет неравным — потому что Психея, получив бессмертие, станет «свободной».

Славный отрок сельский — Ганимед (см. прим. к стр. 60).

Стр. 442. *Сатиры* — см. прим. к стр. 176.

Паниски (буквально: маленькие Паны) — то же самое, что сатиры.

Стр. 443. *Дирцея* (или Дирка) — жена фиванского царя Лика; близнецы Зет и Амфион, чью мать жестоко притесняла Дирцея, привязали ее к рогам быка, и тот разнес Дирцею в клочья.

Стр. 444. *Фрикс* — сын богини облаков Нефелы и смертного Атаманта, жена которого, ненавидя пасынка, уговорила мужа принести его в жертву богам. Но Нефела спасла сына, послав златорунного барана, который увез Фрикса за море, в Колхиду.

Арион — см. прим. к стр. 127.

Европа — см. прим. к стр. 23.

Стр. 445. *...о разделе дороги.*— Речь идет о таком случае, когда соседи, между участками которых пролегает дорога, начинают судиться, с тем чтобы установить, какая часть ее должна отойти к каждому из них.

Стр. 450. *Прокураторы* — чиновники, ведавшие главным образом финансами. Императорские прокураторы, управлявшие провинциями и частями провинций, собирали налоги в пользу личной казны императора.

Гнев божества — то есть бога Марса, которого разбойники считают своим покровителем.

Закинф — остров в Ионическом море у западного берега Пелопоннеса, ныне Занте.

...актийского побережья.— Акциум — мыс у входа в Амбракийский залив на западном берегу Средней Греции.

...божественного Цезаря.— Римские императоры еще при жизни обожествлялись.

Стр. 451. *Вексилларии* — ветераны, прослужившие более шестнадцати или двадцати лет и в ожидании отставки продолжавшие службу в особых войсковых соединениях.

Богатые лохмотья — намек на золото, которое было спрятано в лохмотьях Гема.

Стр. 452. *Талант* — см. прим. к стр. 90.

Салийское пиршество — см. прим. к стр. 408.

...Марсу Сопутствующему и Сопровождающему.— Сопутствующими называли богов-хранителей, которые сопровождают людей и следят за их поступками. Разбойники считают своим сопутствующим богом Марса.

Стр. 454. *Бактрия* — одна из северных сатрапий персидского царства (на территории современного Афганистана). Бактрийскими назывались двугорбые верблюды.

Стр. 456. *...историю о фракийском царе, который своих несчастных гостей бросал на растерзание... диким лошадям.*— По преданию, такое «гостеприимство» оказывал путникам фракийский царь Диомед. Он был побежден Гераклом и сам разделил участь своих жертв.

Стр. 460. *Беллерофонт* — герой, с помощью крылатого коня Пегаса победивший Химеру — изрыгавшее огонь трехглавое чудовище. Осел иронически сравнивается с Пегасом, а наездник с Беллерофонтом.

Стр. 462. *Мелеагр* — герой многих греческих мифов. Когда ему было семь дней, в дом его отца пришли богини судьбы и сказали, что Мелеагр умрет, как только сгорит лежащее в очаге полено. Мать Мелеагра, Алфея, вынула полено из очага и спрятала его. Много лет спустя Мелеатр поссорился с братьями своей матери и убил их. Тогда Алфея сожгла спрятанное полено, и Мелеагр тотчас умер.

Стр. 466. *Богиня Истина* — дочь Зевса, кормилица Аполлона.

Стр. 467. *...как из самого имени его явствует.*— Имя Тразилл одного корня с греческим прилагательным, имеющим значение «отважный, дерзкий, наглый».

Стр. 468. *...преждевременным браком.*— Минимальный срок траура вдовы был десять месяцев.

...в первую стражу ночи — между шестью и десятью часами вечера (см. прим. к стр. 57).

Стр. 470. *Мстительницы* — то есть фурии (см. прим. к стр. 100).

Стр. 471. *Мы везли на себе... воробьев.*— Прирученные воробьи были любимой забавой детей и женщин.

Химера — см. прим. к стр. 460.

Стр. 473. *Гений-хранитель.*— Римляне верили, что каждого человека от колыбели до могилы сопровождает особое божество, добрый дух-хранитель, который назывался гением.

Стр. 475. *Глашатай.*— Этим словом обозначали, между прочим, посредника, бравшего на себя ведение аукциона.

Стр. 476. *...сообщает, что родом я из Каппадокии.*— Издеваясь над жрецом, глашатай ведет аукцион так, как будто продает раба. Рабы-каппадокийцы (Каппадокия — область на юге Малой Азии) славились силой и выносливостью.

Сирийская богиня.— Имя этой богини точно не установлено. Сирийской она называлась потому, что центром ее культа был Гиераполь в Сирии. Празднества в честь богини носили характер оргий, во время которых многие ранили себя мечами, бичевали и даже оскопляли. Скопцами были и жрецы богини.

Сабадий — азиатский бог, отождествляемый с Дионисом, а также с Аттисом, любимцем и жрецом богини Кибелы.

Беллона — каппадокийская богиня, фанатичный и кровавый культ которой был перенесен в Рим.

Идейская матерь — Рея, супруга Кроноса, мать олимпийских богов.

Адонис — божество восточного происхождения, символизирующее умирание и пробуждение природы. Миф рассказывает, что Адонис был возлюбленным богини Афродиты (Венеры) и Персефоны (см. также прим. к стр. 431).

Альфа — трава, служившая для изготовления плетеных изделий.

Стр. 477. *...не дева подменена ланью, а мужчина — ослом...*— иронический намек на миф об Ифигении, которую должны были принести в жертву богам (без этого боги не давали попутного ветра, и греки, во главе с Агамемноном, отцом Ифигении, не могли начать поход на Трою). Но в момент жертвоприношения богиня Артемида заменила девушку ланью.

...женскими повязками и... платьями.— Жрецы-кастраты носили женскую одежду.

Стр. 481. *Жертвенный пир* — пир, устраивавшийся в честь какого-нибудь бога после жертвоприношения ему, причем кушанья приготовлялись из мяса жертвенного животного.

Стр. 483. *...узнаем там забавную историю.*— Далее следует новелла, которую почти без изменений заимствовал у Апулея Боккаччо («Декамерон», день VII, новелла 2).

Стр. 486. *Мать Богов* — то же, что Индейская матерь (см. прим. к стр. 476).

Туллианум — подземная часть государственной тюрьмы в Риме. Апулей, как мы видим, пользуется этим названием как синонимом тюрьмы вообще.

Стр. 487. ...*что за жалкий люд окружал меня!* — Работа на мельнице была одним из самых тяжелых наказаний для рабов, которым приходилось наравне со скотом вращать жернова; трудиться они должны были в цепях, и надсмотрщики подгоняли их ударами бича.

...*веки разъедены дымом и горячим паром.*— При каждой мельнице была обыкновенно и пекарня.

Стр. 488. ...*творец древней поэзии у греков... воспел человека.*— Апулей имеет в виду Одиссея, воспетого Гомером.

...*утверждая, что чтит единого бога.*— Из этих слов явствует, что жена мельника исповедовала какую-то монотеистическую религию, возможно — христианскую или иудейскую. Апулей, ревностный поклонник Изиды, высмеивает здесь каких-то своих религиозных противников.

Стр. 489. *Декурионы* — члены местных сенатов; такие сенаты во времена императоров имелись уже почти во всех провинциальных городах.

Стр. 492. ...*дорогие вина процеживать.*— Древние не умели хранить вино так, чтобы в нем не образовывался осадок, поэтому перед употреблением его приходилось процеживать.

Стр. 493. ...*клянусь вот этой богиней Церерой* — то есть статуей богини, стоявшей в доме.

...*так начал... повесть о бедствиях чужой семьи.*— Эта новелла также попала в «Декамерон» (день V, новелла 10).

Стр. 497. ...*год... склонялся к зимнему инею Козерога.*— Солнце вступает в созвездие Козерога в начале зимы.

Стр. 498. *Латук* — кочанный салат.

Шестьдесят стадий — 9,5 километра.

Стр. 500. ...*бич для фурии.*— Как олицетворение нечистой совести, терзающей преступника, фурии часто изображались с бичами в руках.

Стр. 502. ...*жезлом из виноградной лозы.*— Такой жезл был отличительным знаком центуриона и служил для расправы с провинившимися солдатами. Впрочем, этот солдат был, по-видимому, простым рядовым и жезл прихватил с собой лишь «для устрашения несчастных путников».

Стр. 503. ...*он боялся... ответственности за бесчестие, причиненное Гению, которому приносил... присягу.*— В Римской империи существовал официальный культ гения — хранителя императора. Этому божеству присягали на верность солдаты. Поэтому потеря меча была не просто военным преступлением, но и святотатством и оскорблением величества.

Стр. 504. ...*поговорка о взгляде и тени осла.*— Речь идет не об одной, а о двух случайно смешанных греческих поговорках. Первая — (судиться)

«из-за ослиного взгляда». Ее применяли к тем, кто возбуждал судебное дело из-за пустяков, или в тех случаях, когда ничтожные причины вызывали серьезные последствия. Вторая — (говорить, спорить) «о тени осла», то есть «интересоваться пустяками, спорить из-за пустяков».

Стр. 506. *...сменим-ка... комедийные башмаки на котурны.*— Слово «сокк» (легкий греческий башмак — обувь комических актеров) было синонимом комического стиля, а котурн — трагического.

Стр. 509. *Куриями* — назывались здания, в которых заседал римский сенат. Подобная терминология, как видно, была принята и в провинциальных сенатах.

...по закону Аттики и Марсова судилища — то есть ареопага, древнейшего судебного учреждения в Афинах, получившего свое название от места, где заседал этот суд (холм Ареса, то есть римского Марса). Ведению ареопага подлежали, между прочим, дела об убийстве.

Стр. 510. *...быть зашитым в мешок.*— Виновных в убийстве ближайших родственников секли розгами до крови, а затем зашивали в кожаный мешок вместе с собакой, петухом, обезьяной и змеей и топили в море.

Стр. 511. *Мандрагора.*— Из корней и плодов этого растения добывался сок, который в смеси с тремя частями вина употреблялся как снотворное и обезболивающее средство. Легенды о волшебных свойствах корней мандрагоры, напоминающих своими очертаньями человеческую фигуру, были распространены и в древности.

Стр. 512. *Трибун.*— Военные трибуны командовали легионами. При каждом легионе было по 6 трибунов, которые несли службу по очереди.

Стр. 513. *Этеокл и Полиник* — см. прим. к стр. 287.

Финей — легендарный фракийский царь, ослепивший, по наущению жены, своих сыновей от первого брака. В наказание за это гарпии (крылатые чудовища с девичьими лицами) похищали его пищу и марали своими нечистотами все, что не могли унести.

Стр. 515. *...магистратурой на пятилетие.*— Имеется в виду должность городского цензора, существовавшая в колониях римских граждан и некоторых иных городах империи. В обязанности такого цензора входило разделение граждан по имущественным категориям, а также надзор за общественными зданиями.

...благородное потомство которых ценится так высоко.— Древние высоко ценили галльских муллов, которых Апулей изысканно именует благородным потомством галльских скакунов.

Стр. 516. *...как ослиная Пасифая.*— Бог Посейдон, разгневавшись на критского царя Миноса, заставил его жену Пасифаю влюбиться в быка. Плодом этой страсти был человекобык — Минотавр.

Стр. 519. *...питье... которое... носит название «священного».*— Священным питьем назывался, по-видимому, отвар эллебора (чемерицы) (см. также прим. к стр. 293).

Стр. 522. *Пиррический танец* — военная пляска (вероятно, спартанского происхождения), исполнявшаяся под звуки флейты; танцоры подражали движениям воинов в бою.

...сцена открывается перед глазами зрителей.— Следует знаменитое описание пантомима — наиболее популярного вида театральных представлений эпохи империи. Обыкновенно танцы и игра актеров сопровождались песнями хора, объяснявшего зрителю, что происходит на сцене.

Идейская гора.— Ида — горный хребет в Малой Азии, у подножья которого лежало древнее Троянское царство.

...юноша, одетый на фригийский манер — Парис (см. прим. к стр. 412).

Прекрасный отрок — Меркурий, вестник и глашатай богов, поэтому его атрибуты — крылья и кадуцей (жезл глашатая, вырезывавшийся из дерева в форме стержня, обвитого двумя змеями). Кадуцей Меркурия увенчан парой крылышек.

Эфебы — афинские юноши в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, несшие пограничную службу. Становясь эфебом, юноша одевал хламиду (род плаща).

Стр. 523. *Кастор и Поллукс* (Полидевк) — близнецы, сыновья Леды. Отцом Кастора был смертный, а отцом Полидевка — Зевс.

Стр. 524. *...обрекая вместе с тем весь свой род на гибель* — намек на Троянскую войну, погубившую род царя Приама.

Прославленные ахейские вожди — вожди греков, сражавшихся под Троей.

Паламед — один из героев троянского цикла мифов. Одиссей и Агамемнон, завидовавшие его хитрости и уму, подбросили в его палатку золото и подложное письмо от троянского царя Приама, а затем обвинили Паламеда в предательстве, и народ побил его камнями.

Старец божественной мудрости — Сократ, который был обвинен в нечестии и развращении молодежи и приговорен к смерти.

Стр. 525. *Кенхрей* — главная гавань Коринфа, в двух часах пути от города.

Саронической морем — Апулей называет Эгинский (Саронический) залив Эгейского моря...

Колесница солнца уже обогнула последний столб на ипподроме дня.— Во время скачек колесницы должны были огибать столбы (меты), стоявшие на противоположных концах ипподрома.

Стр. 526. *...к царственному лику священной богини*— то есть к Луне, которую в эпоху поздней античности отождествляли с Изидой.

...вновь дочь обретя.— Прозерпина (Персефона), дочь богини земледелия Цереры (Деметры), похищенная богом подземного царства, была возвращена матери по приказу Зевса (но половину каждого года она должна была проводить с супругом в преисподней) (см. также прим. к стр. 431, 432).

Сестра Феба (Аполлона) — Артемида, которая считалась, между прочим, покровительницей рожениц. Эфес в Малой Азии был главным центром ее культа.

Стр. 527. *Прозерпина* (Персефона) — отождествлялась с Гекатой, владычицей призраков и злых духов; вместе с ними носится она ночью повсюду, и испуганные собаки воем извещают о ее приближении.

...триликим образом своим.— Геката изображалась трехглавой. Возможно, однако, это намек на слияние в одном божестве трех богинь: небесной — Луны, земной — Артемиды и подземной — Персефоны.

...по различным рощам бродишь.— Рощи часто посвящались богине охоты Артемиде.

...о Прозерпина... проливающая.— Эта часть молитвы обращена к Луне (Селене).

...влажными лучами.— Луна считалась причиной и источником ночной росы.

...змеи ...хлебные колосья...— атрибуты Цереры.

Черный плащ — мог быть эмблемой Луны (часть которой всегда покрыта тенью), подземной богини Прозерпины или оплакивающей Прозерпину Цереры.

Стр. 528. *Медный погремок* — систр (см. прим. к стр. 379).

...чаша в виде лодочки.— Корабль был священным символом Изиды — богини моря и покровительницы мореплавателей. Возможно также, что он символизировал разливы Нила.

...победных пальмовых листьев.— Пальма — эмблема победы.

...фригийцы, первенцы человечества — намек на знаменитый рассказ о египетском фараоне Псамметихе, который, желая установить, какое из человеческих племен самое древнее, приказал, чтобы двое новорожденных мальчиков были изолированы от людей и выкормлены козами. Первым сказанным этими детьми словом было «бекос» — «хлеб» по-фригийски. Это убедило фараона, что самый древний народ на земле — фригийцы.

Пессинунт — древний город Малой Азии; здесь чтили азиатскую богиню Кибелу, которая была отождествлена с Реей, Великой матерью богов (см. прим. к стр. 476).

...исконные обитатели Аттики.— Считалось, что афиняне — исконное население своей страны, Аттики, в то время как большинство племен, населяющих Грецию,— переселенцы из других мест.

...кекропической — Минерва (Афина), покровительница Афин, называется по имени Кекропа, легендарного основателя и первого царя Афин.

...критские стрелки.— Критяне славились меткостью стрельбы из лука.

Диктинна — Артемида, которой критское предание приписывало изобретение рыбацких сетей (сети — по-гречески «диктюон»).

Трехъязычные сицилийцы — то есть говорящие на местном сицилийском наречии, по-гречески и по-латыни.

Рамнузия — богиня справедливого возмездия Немезида, главный храм которой находился в аттическом селении Рамнунт.

...эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца — то есть западные эфиопы (см. прим. к стр. 355).

Арии — народ, обитавший на юге современного Афганистана.

Изида — первоначально египетская богиня, олицетворяющая плодородье Нильской долины, позднее — также богиня Луны. С распространением ее культа за пределы Египта ее постепенно отождествляют с самыми разнообразными божествами, и, наконец, в глазах своих многочисленных почитателей она становится верховной владычицей всего сущего.

Стр. 529. *...твое превращение не внушит никому подозрения...*— Неожиданное превращение могло вызвать подозрение в преступных занятиях магией или могло быть расценено как злое предзнаменование.

Ахеронт — река в царстве мертвых; в переносном смысле (как и здесь): само подземное царство.

Елисейские поля, или Острова блаженных — по представлениям, характерным для поздней античности, место, где пребывают души людей, праведно проживших свою жизнь.

Стр. 530. *...вот Беллерофонт, а вот Пегас.*— См. прим. к стр. 460.

Стр. 531. *Сарапис* — см. прим. к стр. 97.

Первый держал лампу...— Лампа могла быть символом как Изиды-Луны, так и Изиды-Персефоны. Наконец, она могла символизировать свет истины и надежды.

Пальмовая ветвь и Меркуриев кадуцей — эмблемы бога Анубиса, как видно из описания этого бога в следующей главе. Египетский Анубис, проводник душ умерших в подземное царство, был отождествлен с Гермесом-Меркурием (отсюда — кадуцей). Пальма у египтян — эмблема астрологии и магии (Анубис, как и Гермес,— покровитель магов).

Веялка — символ плодородия и в то же время чистоты.

Амфора с чистой водой — посвящена олицетворяющему Нил и вообще воду Озирису, супругу Изиды, разделяющему с нею власть над миром.

Стр. 532. *Сразу же вслед за ним — корова.*— В образе коровы почиталась древняя египетская богиня Хатхор, отождествленная с Изидой.

...искусно выгнутая урна.— Большинство ученых видит в этой урне символ соединения Изиды (в образе змеи) с Озирисом (полагают, что в урну была налита вода, может быть даже нильская).

Стр. 535. *Пастофоры* — египетские жрецы среднего ранга, во время религиозных процессий носившие изображения богов.

...священных деревьев — то есть лавра, мирта, оливы, розмарина.

Стр. 536. *...приветствуя восходящее солнце.*— Озириса отождествляли с богом Солнца.

Стр. 537. *...рабу Кандиду соответствовал возвращенный мне конь, который был белой масти.*— «Кандидус» — по-латыни «белоснежный».

...воздерживаться от недозволенной и нечистой пищи.— Посвященные в таинства Изиды не употребляли в пищу мясо некоторых животных, отдельные части туши и т. п.

Стр. 538. *Изображения... животных* — египетскпе иероглифы.

...узлами... переплетаясь и наподобие колеса изгибаясь.— По-видимому, демотическое письмо — поздняя форма древнеегипетской скорописи.

Стр. 539. *Сто́ла* — длинное просторное платье; в Риме его носили обыкновенно женщины. Число двенадцать указывает, вероятно, на двенадцать знаков Зодиака (ведь Изида — Луна, а Озирис — Солнце).

Гиперборейские грифоны.— Древние помещали сказочную страну гипербореев на Крайнем Севере (туда не долетает холодный ветер Борей), на границе нашего мира с миром антиподов.

Стр. 540. *...рока нерасторжимую пряжу распускаешь* — намек на знаменитый греческий миф о трех богинях судьбы, которые прядут нить жизни человека и решения которых непреложны.

Стр. 541. *Августова гавань* — Остия в устье Тибра, порт Рима.

...накануне декабрьских ид — 12 декабря.

Святейший этот город.— В Риме было огромное количество храмов самых разнообразных богов.

Чтили под названием Полевой — по местоположению ее храма.— Храм Изиды находился на Марсовом поле.

Озирис — см. прим. к стр. 531, к слову *амфора*.

Тирс (жезл, увитый плющом и листьями винограда и увенчанный сосновой шишкой) и *плющ* — эмблемы Диониса, отождествляемого с Озирисом.

Стр. 542. *...имя, не чуждое моим превращениям.*— Осел по-латыни «азинус».

Мадавра — небольшой город в Северной Африке (ныне Мдаруш в Алжире), родина Апулея. Судя по тому, что герой романа из грека превратился в уроженца Мадавры, Апулей говорит теперь о себе самом. Таким образом, в начале следующей главы речь идет, по-видимому, о путешествии писателя в Афины, где он изучал философию, а затем в Рим.

...голову выбрил вдобавок.— См. в гл. 10 одиннадцатой книги.

Стр. 543. *...из самого числа посвящений.*— Представление о священном значении числа три характерно для многих религий (в том числе христианской) и мистических философских учений.

Облачение богини — сто́ла, которая была на Луции во время посвящения.

Стр. 544. *...во времена Суллы* — то есть 70-е годы I века до н. э.

С. Маркиш

СОДЕРЖАНИЕ

С. Полякова. Об античном романе 5

АХИЛЛ ТАТИЙ. ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ
Перевод с древнегреческого В. Чемберджи 21

ЛОНГ. ДАФНИС И ХЛОЯ
Перевод с древнегреческого С. Кондратьева 167

ПЕТРОНИЙ. САТИРИКОН
Перевод с латинского Б. Ярхо 235

АПУЛЕЙ. МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ
Перевод с латинского М. Кузмина 349

Примечания *В. Чемберджи, М. Грабарь-Пассек, Б. Ярхо, С. Маркиша* 545

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 7

Ахилл Татий
ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ
Лонг
ДАФНИС И ХЛОЯ
Петроний
САТИРИКОН
Апулей
МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ

*

Редактор М. Ваксмахер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
На суперобложке иллюстрации
Б. Дехтерева
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
А. Новикович и В. Широкова

*

Сдано в набор 10/IV 1968 г Подписано к печати 29/I 1969 г. Бумага типогр № 1. Форм. 60×84¹/₁₆. 37 печ. л. 34,52 усл. печ. л. 33,3 уч.-изд. л. + 6 накид. = 34,07. Тираж 300 000 экз. Заказ № 3443. Цена 1 р. 57 к.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
им. А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.